

Ubanhewunz

И.А.ИЛЬИНИ

Собрание сочинений
в десяти томах

Москва
·РУССКАЯ КНИГА·
1994

И.А.ИЛЬИН

Собрание сочинений
Том третий

Москва
·РУССКАЯ КНИГА·
1994

87.3
И46

Составление и комментарии
Ю. Т. Лисицы

Художник
Л. Ф. Шканов

Ильин И. А.
И46 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 3/Сост. и коммент.
Ю. Т. Лисицы; Худож. Л. Ф. Шканов.— М.: Русская
книга, 1994.— 592 с., 1 портр.

В третий том вошли философские и философско-художественные произведения И. А. Ильина «Шлейермахер и его «Речи о религии», «Религиозный смысл философии. Три речи. 1914—1923», «Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий», «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний», «Путь к очевидности», в которых он выступает как религиозный философ и духовный писатель.

И $\frac{0301070000-056}{M-105(03)94}$ инф. 94

87.3.

ISBN 5—268—01425—0 (т. 3)

ISBN 5—268—01393—9

© Лисица Ю. Т., 1994 г., составление и комментарии.

ШЛЕЙЕРМАХЕР
И ЕГО «РЕЧИ
О РЕЛИГИИ»

Как хорошо, что эта книга переведена на русский язык!* Это, бесспорно, одна из самых глубоких и освобождающих книг, написанных о религии. Обаяние ее проистекает не только из силы мысли, т. е. из силы проникновения в исследуемый предмет, но и из подлинности того предмета, в который стремится проникнуть мысль. Важнейшее и основное, что в ней сказано, — не придумано, а пережито, не построено, а как бы рассказано; извлечено не из понятий, а из живой души. Все те, кто исследует не внешние предметы, а внутренние, т. е. такие, которые нельзя воспринять внешними чувствами, — будь это мысль, чувство, волевое движение души и т. д. — должны помнить, что и в их области только то ведет к настоящему знанию, что покоится на действительном воспринимающем переживании исследуемого предмета. Человек, не способный переживать образов искусства, не должен пытаться говорить и писать об искусстве; ибо душа его — художественно пустынна, а в пустыне знак не прозябает. И точно так же человек, не способный переживать «моральное», лишенный дара к нравственности, как живому стремлению, как борьбе между волей и хотением — не должен пытаться исследовать сущность морального; ибо нельзя познать что-нибудь там, где есть лишь пустое место. И то же самое о сущности мысли и о сущности религии. Исследуемый предмет должен быть *подлинно* представлен *в душе* исследующего, а не в «сознании» только, где так часто преобладают мертвые мысленные образы и концепции, минутные гости, оторвавшиеся от породившей их души и случайно задержав-

* Д. Ф. Шлейермахер¹: «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим». «Монологи». Перев. с немецкого С. Л. Франк². Москва, 1911 г.

шиеся в чуждой им среде. Кто не имеет религиозного дара, чья духовная жизнь не религиозна, — тому лучше не говорить и не писать о религии; ибо предмет этот *не дан* ему. Ему даны, самое большее, чужие высказывания об этом предмете и наблюдение над чужими проявлениями. Он лишен основного, главного — непосредственного отношения к предмету, т. е. к религии, неизбежно заключенной в единстве религиозного переживания. Пора, наконец, истребить тот предрассудок, будто о философии, об искусстве, о нравственности, о религии может судить и писать всякий, кто имеет досуг от других дел! Здесь более чем где-либо нужен дар — *жить в том, на что устремляется познание*. Но и этой внутренней данности, этой живой подлинности исследуемого предмета недостаточно. Необходимо уметь остановить исследуемое переживание в моменты его рождения и подъема, оторваться от него внутренне, воспринять его как чуждую якобы данность, проникнуть в него мыслью и, вскрыв его, найти для закрепления итога чуткую и гибкую форму слов. И этот труд познания требует нового дара — дара мыслителя. Вот почему познающий сущность религии должен иметь два дара: дар религиозного созерцания и дар философского анализа³. Шлейермахеру было дано и то и другое. И еще один дар — дар художественного «рассказа» о пережитом и познанном. Вот почему то, что он говорит о религии, — подлинно по предмету и глубоко по проникновению. Как бы ни относиться теоретически к тому пониманию религии, которое установлено им в его «Речах», — нельзя не видеть в нем самом одного из тех немногих избранных «посредников и истолкователей», которые черпали и черпают свое знание о религии из непосредственного касания к подлинному предмету — собственному, личному религиозному чувству.

То, что высказано Шлейермахером о религии, направлено на освобождение личной, субъективной интуиции и оправдание ее в деле религиозного постижения. Исторически положение индивидуальной человеческой души слагалось почти неизменно так, что ее самостоятельному религиозному исканию и усмотрению противопоставлялась — в лучшем случае — обретенная и сформулированная *религиозная истина*, а в худшем случае — запрет и подавление. В течение столетий искоренялась самая

идея о допустимости личного и непосредственного касания к тому центру и общения с тем средоточием, отношении к которому составляет самую сущность религии, самую ткань религиозной жизни. Религиозная жизнь души была опосредствована и подчинена уставу; самодеятельность ее полагалась греховной, а порыв к ней — дьявольским искушением. Протестанство в принципе разрешило душе религиозную самодеятельность и тем самым поколебало, но только поколебало представление об объективности, универсальности и абсолютности религиозной истины, «соборно» выработанной и вылитой в зрелые «священные» формулы. «Совесть» верующего была признана не греховным, а необходимым началом в религии. Но, в сущности, была лишь отвоєвана возможность заново начать дело соборного обретения и образования *единой религиозной истины*. Все протестанство есть борьба за *новую*, правда, но *правую веру*. А между тем в самом представлении о *правой* вере заключено признание того, что другие веры, несходные, иные — суть веры *неправые*, неверные, суть уклонения от истины; заблуждения, ереси. Если религиозная истина *едина*, более того — единственна, то все, кроме обладателя ее, суть еретики. А так как религиозная истина содержит адекватное, соответственное постижение сущности Божества и его природы, то все неприемлющие ее — суть искажители истинного представления о Божестве, они пребывают в отчуждении, во тьме, в грехе и *не знают Бога*. Мало того: если в религии вообще можно говорить об *истине*, то *знанию* ее неизбежно противостоит *незнание*, заблуждение, ересь, грех.

Таким образом, протестанство не спасло верующую душу от того состояния придавленности отовсюду, от тех несущихся повсеместно восхвалений *множества различных* и в то же время *единственно верных*, истинных и спасительных религиозных путей и исповеданий и, следовательно, от неизбежных *угроз и осуждений*.

Страх заблуждения и, соответственно, греха — вот иго, которое и до сих пор тяготеет над верующим и которое поддерживают и культивируют в нем почти все существующие исповедания. И в основе этого лежит общая твердая уверенность в том, что *верование может быть истинным и ложным*. Момент *единственной, исключительной* верности лежит в самом понятии истины, и отсюда — исключи-

тельность, отмежевание, спор, осуждение, озлобление и анафема.

Снять это иго, этот страх с души верующего, освободить его от всех этих угроз, осуждений и анафем — вот основное стремление Шлейермахера. Идее истины нет места в религии, ибо религия не теория, не учение, не ряд основоположений, понятий и догм; вот его основная мысль, освобождающая и потому радостная. Религия, по Шлейермахеру, не есть доктрина, которая может быть истинной и ложной, доказанной и недоказанной, систематизированной и несистематизированной; все эти определения и свойства чужды той сфере, в которой пребывает религия. Религия есть состояние или деятельность индивидуальной человеческой души, во всем ее неповторяемом своеобразии, и притом именно *чувствующей* стороны души; религия есть чувствующее восприятие вселенной в ее целом, открывающее в каждой конечной вещи мира присутствие единого Бесконечного, Божества. Для того, кто подходит извне, — это есть чувствующее состояние души; на самом же деле — это есть слияние души с Богом, через чувствующее созерцание вселенной. Бесконечное разнообразие человеческих душ ведет к бесконечному разнообразию этих чувствующих состояний, этих созерцаний, религий. Отношение же их к единой бесконечной Сущности слагает все эти виды слияния души с Божеством в единую, бесконечно богатую, все охватывающую и в каждой своеобразной субъективной религии нуждающуюся религиозную цельность — Бытие Бога в душе человечества.

Понятно, почему идее истины нет места в религии: каждое религиозное состояние само по себе «истинно» (так выражает Шлейермахер эту мысль иначе) и не может быть заблуждением, ибо одна *наличность* его свидетельствует о том, что в Боге есть *и такой аспект*. Бесконечное многообразие этих аспектов нельзя исчерпать, и каждому новому своеобразному постижению Божества готово радостное место и свободный путь. Здесь все «верно», в качестве аспекта, или части, или стороны Божества, бесконечного по многообразию своих аспектов. Каждый верующий верует непременно по-своему, и вера его есть, безусловно, правая вера; но эта правота есть правота лишь одного из множества других, своеобразных и в целом незаменимых, но столь же правых верований. Отсюда

непритязательность верующего, исчезновение суда над чужой верой, полная субъективация и полное освобождение религиозного творчества.

Таков освобождающий путь Шлейермахера. В основе его лежит резкий отрыв чувства от мысли, веры от знания, религии от науки. В религии, по его убеждению, недопустима исключительность, невозможен спор, неуместно опровержение. Все это — дело мысли, знания, науки. Но возможен ли такой отрыв? И если он возможен, то выполнен ли он Шлейермахером? И если он не выполнен им, то не сохранилась ли возможность того, что в религии воскреснет идея истины и, соответственно, заблуждения?

В корне всего отграничения веры от знания и религии от науки*, как и в основе всей теории познания, лежит одна, самая основная и глубокая проблема и идея — *очевидности*. Каждое познание, каждое научное утверждение опирается в сущности на некоторое переживание очевидности; переживание некоторой очевидности дано в каждом религиозном переживании, поскольку содержание его является сколько-нибудь зрелым и определимым. Именно переживание очевидности во всем его своеобразии и сложности образует то общее лоно, в пределах которого проблема отграничения научного знания от религиозного верования становится крайне утонченной и затруднительной. Анализ религиозного переживания, выполненный Шлейермахером с истинным искусством и глубиной (такой анализ можно назвать *феноменологическим*, т. е. интроспективно-аналитическим выделением *сущности из явления*), остановился перед этим вопросом и, едва коснувшись, обошел его. А между тем именно переживание очевидности вновь вводит в религию настроение исключительности, отмежевания и осуждения.

Нельзя развернуть здесь этого тезиса во всем его значении. Но каждый может до известной степени проверить его в своем личном внутреннем опыте. Конечно, есть люди с уравновешенным и тихим, спокойно-мудрым восприятием и переживанием очевидности. И у них указанные черты будут выражены не столь ярко, может быть,

* Приравняем условно эти две, в сущности различные, проблемы отграничения.

даже вплоть до кажущегося отсутствия. Не то — у страстных и мятежных искателей. В религии переживание очевидности особенно может иметь характер потрясающего и обжигающего душу открытия («откровения»), вдохновенного постижения, «абсолютного» усмотрения. И именно в религии, где эта очевидность не может быть проверена трезвым и нивелирующим рассудком, где она не подчинена правилам дискурсивного⁴ мышления, где переживание ее не дисциплинируется скепсисом — этим философским аскезом, — и не подвергается воздействию осторожного, крадущегося вопрошания, — пережить очевидность известного «обстояния»* значит вступить непосредственно в окончательную инстанцию, в сферу его «несомненности». Зрелое религиозное переживание имеет в себе всегда известный связный представляемый материал, известное «обстояние», очевидность которого в нем дается. Религиозное переживание не исчерпывается, конечно, переживанием очевидности, но последнее в нем всегда налицо: категорическое, «откровенное», *так есть* и усмотрение того, что так есть. Вместе с этим дан и источник религиозной уверенности. Вера есть не только уверенность *в абсолютном*, но и *абсолютная* уверенность в абсолютном.

Естественно, что в тот момент, когда дух горит в религиозном усмотрении (а, строго говоря, он *религиозен* именно в этот момент), он не воспринимает и не может воспринять того, с объективно-внешней точки зрения верного, но представляющегося ему рассудительным и тепловатым, замечания, что кроме того, что есть «так», есть «еще и иначе» и что это «иначе» тоже абсолютно. Когда дух живет в самом религиозном содержании, для него *нет «другой»*, равноправной верности и не может быть. Выйдя из него (т. е., строго говоря, перестав быть *религиозным*) и размышляя о нем, он увидит это «другое» и, может быть, даже почувствует его возможную верность; но эта «верность наравне» есть, *по сравнению* с абсолютной силой его собственного, потрясшего его душу усмотрения, — не более как терпимость равнодушного мысленного признания. И чем сильнее переживание очевидности, тем более исключительным оказывается его содер-

* Т. е. что обстоит именно так, как это очевидно.

жание. Напрасно было бы думать, что источник этой исключительности лежит непременно в самоуверенности, тщеславии или властолюбии верующего субъекта. В истинном переживании очевидности, когда мысль или чувство уходят всецело в данное содержание, когда отмирает все эмпирически личное и когда очевидность охватывает душу с тем большей силой и победностью, — нет простора и праздника для голодного самочувствия.

И вот, если мы учтем эти краткие соображения, то мы увидим, что отречение от исключительности возможно для того, кто *философствует* о религии, но не для того, кто *объят религиозным переживанием*. Переживая бытие личного Бога и общение с ним, нельзя признавать верность (хотя бы и ограниченную одним из аспектов) бытия *не* личного Бога. И если религия, как это признает Шлейермахер, имеет естественную тенденцию распространиться вглубь — на все мировосприятие, и вширь — захватить каждый момент жизни верующей души, — то как возможно представить себе тот момент, когда верующий допустит «верность наравне» иного, противоположного усмотрения или «аспектуальную» только верность своего? Вот почему трудно отделаться от впечатления, что Шлейермахер говорит в «Речах о религии» не как верующий, а как философ.

Но если так, значит ли, что Шлейермахер неправ в своем понимании религии? И да, и нет. Шлейермахер подошел в своем исследовании к одной из основных антиномий, заданных религиею — религиозной философией: *как примирить абсолютную, т. е. единственную, исключительную и конечную верность и истинность религиозного усмотрения и верования, с множественностью столь же абсолютных, но иных по содержанию усмотрений и верований?* Здесь возможны два ответа: один — религиозная истина единственна, а все иные верования суть заблуждения; этот ответ удовлетворяет верующего, но не удовлетворяет философа; другой — все верования истинны, как таковые, и нет заблуждений в религии; этот ответ удовлетворяет философа, но *не* удовлетворяет верующего. Психологически есть, конечно, еще один исход — признать в своей душе два существа и принять для каждого из них особый самостоятельный ответ. Но Шлейермахер искал примирения и разрешения этой анти-

номи, под полуосознанной силой которой непрестанно страдает человечество, и избрал то разрешение, которое удовлетворяет философа. И он обошел молчанием запросы верующего и оставил в стороне проблему религиозной очевидности. То светлое, освобождающее, что дает его построение, не утоляет жажду, присущую религиозно постигающему человеку, — жажду выявить и оправдать исключительность и универсальность воспринятого откровения, жажду, делающую человека — при неутолении и при отсутствии интеллектуальной и, главное, *моральной* дисциплины воли — воинствующим нетерпимцем, чающим ауто да фе⁵ для несогласных. С легким и радостным вздохом закрывает его книгу философ и с разочарованием и протестом дочитывает ее верующий. Где же исход?

На новых поколениях религиозных мыслителей лежит задача снова подойти к этой антиномии, признав ее неразрешимость лишь за неразрешенность в прошлом (неизбежная и необходимая героическая иллюзия!) и вновь пытаясь найти примирение для нее, с опытом прошлого в руках и с феноменологической тенденцией в исследовании. Но прежде всего следует установить, что проблема практической «веротерпимости» и внешней социально-политической организации религиозного общения не зависит в своем разрешении от судьбы этой антиномии. И если бы, например, исследование действительно показало, что в сущность религиозного верования входит исключительность и нетерпимость, то важно с самого начала выяснить со всей силой искренности и недвусмыслия, что эта нетерпимость есть не более, как религиозно-созерцательное, хотя и пламенное «нет» по отношению к иным верованиям и что крайним практическим последствием этого осуждения может быть только исповедание «не приемлю».

РЕЛИГИОЗНЫЙ
СМЫСЛ
ФИЛОСОФИИ

Три речи
1914—1923

І. ФИЛОСОФИЯ КАК ДУХОВНОЕ ДЕЛАНІЕ

Всякій, кто любит философию, — а я обращаюсь мысленно к тем, которые ее любят, — наверное, не раз спрашивал себя, откуда это проистекает, как это слагается, что в философии такое бесчисленное множество разноречий, несогласий, неразрешенных споров, взаимных отрицаний? Отчего это философия, существующая более двух с половиною тысячелетий и признающая себя за некое высшее, лучшее, безусловно достоверное знание, — живет доселе в притязании на столь великое и с неопределенностью в своем существе? Приступающие к ее изучению нередко выносят и осуществляют убеждение в том, что именно это обилие разногласий и бесплодных споров отдает философское творчество в распоряжение личного произвола и усмотрения; что философствование есть дело субъективного вкуса, личной склонности, личного настроения; что всякій философствует сообразно своим влечениям и симпатиям и что никто не вправе мешать другому в этом занятии: ведь все равно общеубедительной истины нет, или, что (якобы) то же самое, она не находима, или, во всяком случае, *еще не найдена*; но если бы даже ее вдруг нашли, эту единую, общеобязательную истину, самое истину, то можно быть вполне уверенным, что она не встретила бы общего и полного признания. И вот, слагается успокоительная уверенность в том, что на наш век хватит сектантского духа в философии, что не иссякнет так скоро поток распрей и субъективистических построений и что в этой сумятице мнений, в этом водовороте разноречий можно будет с успехом проложить себе путь к «оригинальной» философской системе; ибо, как говорили еще софисты¹, истинно то, в чем ты сумеешь убедить других...

Всякая наука имеет свой особый предмет, и судьба

ее связана теснейшим образом со свойствами этого предмета.

Наука слагается тем легче и достигает содержательной и формальной зрелости тем быстрее, чем менее внутреннего напряжения и умения, чем меньше душевной и духовной зрелости надо для того, чтобы заметить и воспринять явление ее предмета. В этом отношении бесспорное преимущество имеют все те науки, предмет которых дан *внешним образом*, в чувственно-воспринимаемом виде «вещи» и «вещественности». Здесь, кажется, стоит только «взглянуть повнимательнее», прислушаться, измерить, сравнить одну вещь с другою — и вот уже первые начатки знания состоялись. Предмет, данный с самого начала в виде постоянно окружающей нас материальной или вещественной обстановки, доступен всякому, у кого есть достаточно досуга, интереса и желания для того, чтобы сосредоточиться на показаниях зрения, слуха или осязания и, далее, на «бесхитростном» размышлении о восприятии.

В этой чувственной данности, в этой внешней, телесной наличности того, что для начала признается «исследуемым предметом», есть некое великое преимущество, которого лишена философия. Опытное знание о вещественном мире имеет здесь некую гарантию того, что разногласия не будут бесконечны и безмерны по диапазону своих колебаний. Возможность апеллировать к легко осуществимому, повторному, — если нужно, то постоянно, — восприятию наблюдаемой вещи; возможность многократно справляться и проверять свои восприятия, утверждая наличность или отсутствие известных свойств у данного предмета, — эта бесценная возможность и ее сравнительно легкое осуществление облегчает и обеспечивает развитие естествознания. Волны субъективной фантазии, легкомысленного произвола и злокачественного уклонения оказываются не в состоянии захлестнуть корабль научного познания. Ошибку зрения или слуха исправит повторное восприятие, эксперимент или, наконец, бесстрастная кривая, начерченная измерителем.

Мало этого, в естественных науках прогресс и единство знания поддерживаются еще и угрозой возможных в будущем роковых последствий, порождаемых ошибкою: кажется, что возопиют самые вещи, если их исказит

или о них умолчит человеческое сознание. Здесь человечество не может и *не смеет* распустить энергию своего внимания, ослабить волю к верности знания, субъективистически исказить подлинное обстояние: *практическая расплата* приходит слишком быстро, обрушивается слишком нещадно, сметая с лица земли *самую жизнь* людей, допустивших ошибку или не исправивших ее. Знание о внешнем, вещественном мире ограждено как бы внутренним, естественным образом от того бедствия, под бременем которого страдает философия: *от разложения воли к предметной истине и от ослабления теоретической совести*. Здесь есть некий, беспощадно карающий перст: самое земное существование человека стоит в зависимости от его верного знания о внешнем мире и от технических умений, вырастающих из этого знания. Забывающему о требованиях теоретической совести, погрешающему этим против *духа*, материальная природа слишком скоро напомнит о том, что он *сам* существует на земле в виде тела, и если он не сумел познавательного господствовать над вещью, то он погибнет, подчиняясь недопознанным законам природы...

Эта предметная гарантия осуществляется далеко не с тою же силою и верностью в области гуманитарных наук, именно постольку, поскольку они изучают не внешний, телесный состав человеческого существа, но внутренний, *душевный*. Здесь предмет, в его первоначальном виде, дан внутренне, т. е. уже не в виде пространственно-временной вещи, одинаково доступной многим, наблюдающим ее со стороны, но в виде субъективно-душевных переживаний, лично испытываемых, у каждого своеобразных и доступных каждому только про себя и для себя. «Душевное» — не пространственно, не протяженно, не материально, хотя оно и длится во времени и потому нередко описывается как «душевный процесс». Но этот процесс всегда *субъективен*, — это есть процесс или в субъективном сознании, или в субъективном бессознательном, так что «душевное состояние» многих лиц всегда представляет из себя множество субъективных, личных душевных состояний. Для того, чтобы уловить «душу» как предмет научного изучения, недостаточно замечать и рассказывать то, что человек бесхитростно переживает; на самом деле здесь нужна гораздо более сложная и тонкая

познавательная техника, и с этой точки зрения понятно, что психология и психопатология становятся научным знанием только в девятнадцатом и двадцатом веке, а социальная психология, психологическая история и философия доселе стоят еще под знаком научного сомнения. И в самом деле, как много еще в этих «науках будущего» случайных догадок, верных предчувствий, неверных предвосхищений, несобранного и недоступного материала, несистематических, хотя подчас и глубоких интуиций...

Бесспорно, что эта трудная уловимость «души» как предмета исправляется несколько *практическими* опасностями и угрозами: ибо воспитание, душевное лечение и политика как деятельности, основанные на знании о душе, о ее «одинокой» и «общественной» жизни, несут в себе все-таки известные гарантии от чрезмерных уклонений познающего *ума* и некоторые побуждения к надлежащему напряжению познающей *воли*: люди, душевно измятые уродливым воспитанием; люди, бессильно присутствующие при душевном разложении близких или далеких, но духовно дорогих индивидуальностей (Хельдерлин, Шуман, Ницше, Врубель)²; политические правители, пожинаящие плоды созданного их невежественными или порочными предшественниками духовного и нравственного разложения массы,— все эти люди, и мы сами, через знание о них, получаем практическое напоминание и действенный призыв к активности и бодрствованию нашей теоретической совести.

Но, несмотря на то, что гуманитарные науки не лишены некоторых *практических* гарантий от чрезмерных уклонений от истины; несмотря на то, что в них возможна и предметная проверка,— через подведение уклонившегося ума к строгому восприятию самого предмета, и практическая угроза,— в виде горьких последствий, встающих в итоге познавательной лени или недобросовестности; несмотря на все это,— как часто приходится здесь взывать к чистой и бескорыстной жажде знать истину как таковую исключительно ради того, что она сама по себе так прекрасна и что знание о ней само по себе так радостно. Практический вред, проистекающий от ошибок в гуманитарных науках, слишком часто не возвращается на голову того, кто в них повинен; тяжелые последствия, созданные ложным учением о «душе», слишком легко

распыляются в окружающей общественной среде настолько, что бывает трудно доказать с наглядностью причинную зависимость между теоретическим искажением и практическим бедствием. Уже в гуманитарных науках требования теоретической совести, во всей их чистоте и силе, могут оказаться в душе исследователя *единственной* гарантией научного уровня.

Не подлежит никакому сомнению, что требования теоретической совести и вытекающее из них чувство ответственности должны лежать в основании *всякого* научного творчества как такового; это определяется самым основным заданием, самою единою и единственной целью научной деятельности: *познать истинное*, т. е. уловить опытом и мыслью подлинное предметное обстояние. Ученый, который *не* имеет в виду этого задания, ученый, который работает не ради этого достижения, — есть своего рода трагический курьез или явление нравственного уродства. Бесспорно, практическая деятельность во всем ее разнообразии знает подобные и даже еще более резкие отклонения действующего от той цели, к которой он призван. Но среди этих отклонений самым тягостным по духовным последствиям и наиболее искажающим человеческую жизнь — является отклонение *священнослужителя, художника и ученого* от чистого и последовательного определения их деятельности содержанием их верховного задания. Эти люди, по самому положению своему, по роду того дела, которому они открыто и сознательно посвятили себя, стоят непосредственно лицом к лицу с тем *высшим, верховным жизненным содержанием, через которое жизнь человеческая вообще имеет значение и ценность*. Изъять из жизни человечества: живое Добро, которое священнослужитель раскрывает в форме религиозной очевидности; художественную красоту, осуществленную и осуществляемую в чувственно-реальных образах; и истину, открываемую в опыте научной очевидности, — значило бы превратить ее в сумятицу инстинктивных влечений и в судорожную, озлобленную борьбу за их удовлетворение. Жизненное дело священнослужителя, художника и ученого есть труд, протекающий в непрерывном *предстоянии* высшему Предмету; их служение отличается от обычного жизненного дела именно *призванностью, непосредственностью и непрерывностью*, в которой они стоят пред лицом послед-

него и безусловного, пред лицом тех сфер, где кончается и отмирает все «только человеческое» и где открывается подлинное духовное и *божественное* обстояние.

В повседневной житейской суете, в погоне за личной удачей и за удовлетворением инстинктивных влечений,— в их примитивном или слегка приукрашенном виде,— все это забывается с чрезмерной легкостью, и сознание людей, незаметно привыкающее к известному уровню разложения и порочности, изумляется и негодует только тогда, когда замечает деяния, из ряда вон выходящие. Процесс обыденной жизни вырабатывает «скрытые» и «терпимые» формы искажений, и только в минуту острого нравственного отрезвления перед человеком встает въяве их сущность и их значение. Если священнослужитель мертв в молитве и корыстен в обряде; если художник лъстиво служит своим и чужим большим страстям; если ученый слагает выводы в угоду толпе или силе и непредметно приспособляет научное творчество,— то значение этих явлений имеет всегда трагическую глубину. Те люди, которые по самому основному делу своей жизни стоят ближе всего к живым истокам *духовной значительности*; которые взяли на себя непосредственное служение раскрытию и осуществлению самого добра, самой красоты, самой истины; которые добровольно прияли на себя величайшее бремя и с ним величайшую ответственность,— эти люди, если они попирают требование *творческой совести*, являют поистине величайшее падение, ибо и высота их задания, и размер их ответственности суть величайшие.

И вот, если это сказано о всяком ученом как таковом, то к *философу* это должно быть отнесено с особенною силою и значением. Ибо, во-первых, философ, единственный из ученых, берет на себя разрешение вопроса о том, *что есть истина*; подобно священнослужителю, он стоит постоянно перед лицом *добра*, испытывая его природу и раскрывая другим испытанное; подобно художнику он имеет дело с самою *красотою*, исследуя ее сущность и обнаруживая пути к ее осуществлению, узрению и уразумению. Так, теория познания раскрывает природу истины; этика исследует сущность добра; эстетика познает природу красоты. Во-вторых, философия как познавательное творчество есть в особом и углубленном смысле *внутреннее*

делание и притом такое внутреннее делание, предмет которого,— и по сложности, и по значительности своей, и по неуловимости своей для какой бы то ни было внешней и механической проверки,— требует особой, напряженной *душевно-духовной культуры*, особой остроты и чуткости *теоретической совести*, особой *чистоты ока и воли*. Философия, как никакая другая наука, стоит перед последними, самыми углубленными и утонченными, и притом самыми духовно-значительными проблемами; утверждать что-либо в этой сфере — есть дерзание, и философ больше, чем кто-нибудь, должен помнить о размерах своей ответственности.

Философствование, как всякая познавательная практика, есть не внешнее умение или делание, но внутреннее; это есть *творческая жизнь души*. Однако это не есть просто душевное, но *душевно-духовное* делание. Душа не то же самое, что дух. Душа — это весь поток не-телесных переживаний человека, помыслов, чувствований, болевых ощущений; приятных и неприятных, значительных и незначительных состояний; воспоминаний и забвений, деловых соображений и праздных фантазий и т. д. Дух — это, во всяком случае, лишь те душевные состояния, в которых человек живет своими главными, благородными силами и стремлениями, обращенными на познание истины, на созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на общение с Божеством — в умозрении, молитве и таинстве; словом, на то, что человек признает *высшим и безусловным благом*. Этим различие между «душою» и «духом», конечно, не исчерпывается; но, в пределах человеческого опыта, оно начинается именно здесь. Дух это то, что *объективно значительно* в душе; и философствуя, человек живет в сфере именно этих, объективно значительных состояний. Стать участником в духовном делании — значит, прежде всего, создать в своей душе необходимый уровень внутренней жизни, отсутствие которого делает неизбежными совлечение и пошлость. Тот, кто создал в себе этот уровень, испытывает нечто, как *самое лучшее и высшее*, и поставляет его надо всем остальным; но он испытывает и сознает это лучшее не как лучшее только *для него*, не как субъективно наиболее приемлемое, приятное, но как *объективно ценнейшее*, как объективно-главное; как главное не только для всех

людей, но безотносительно, как главное и совершенное *само по себе и на самом деле*, так, что оно не может потерпеть ущерба в этом качестве своем даже и в том случае, если бы никто из людей не захотел признать его, или если бы все от него отвернулись и отвергли его совершенно. Это «нечто» испытывается притом как *бытие* или как *проявление* некоего высшего Предмета и в то же время как объективная *мера* для всего остального; может быть, как самый этот Предмет, *главный* в жизни мира и в делах людей. И человек, обращающийся к нему, чувствует и всегда должен чувствовать себя стоящим *перед лицом Божиим*.

Именно за это, в силу такого своего значения и совершенства, это «нечто» делается предметом любви и радости. Оно любитя всем сердцем, всею душою, всем помышлением; душа радуется ему и стремится к нему, как к источнику истинной радости; но это «нечто» не потому хорошо, что оно приятно, что оно радует; но радует оно потому, что оно в самом деле драгоценно и объективно прекрасно. Человек любит его не просто «душевно», — по сильному и слепому влечению, доверяя своему настроению и полагаясь на свое чувство; но *духовно*, — по столь же сильному, но предметно удостоверенному и объективно правому, зрячему и *все более прозревающему* влечению. Душа оказывается побежденною объективным качеством Предмета, следует его зову, готовит себя к его восприятию, к полной и чистой радости его явления. Эта любовь к совершенному есть любовь, поглощающая личный интерес, личную страсть, личную корысть человека; она приходит с сознанием, что невозможно не любить этого предмета; с непреложною уверенностью, что раз увидевший его, пойдет за ним, оставляя иное. Это чувство, эта *бескорыстная радость объективному качеству предмета*, приучает человека к тому, что все, что есть в нем самом *только* личного, *только* субъективного, — второстепенно и несущественно; что важно, значительно и ценно, — и в нем самом, и в других людях, и в вещах, — то, что *объективно* ценно, *объективно* значительно; что эрос души должен принадлежать и не может не принадлежать именно объективному, безусловному качеству предмета: истинности знания, нравственному совершенству душевного настроения и делания, красоте воспринимаемого и осуществляемого

образа, таинственной божественности мироздания. Уметь бескорыстно радоваться объективному и безусловному качеству предмета, — вот первое условие и первая основа истинной и благородной философской атмосферы. Это есть тот уровень, на котором философствование, действительно, получает значение *духовного делания*.

Предметная чистота воли, направленной к истинному знанию, — вот необходимое условие для жизни и роста философии. Конечно, не только в том отношении, чтобы не подчинять процесса познания и обнародования познанного грубым соображениям о личной жизненной выгоде. Нет, тот, кто единожды возвысился душою до самозабвенной радости объективному качеству Предмета, для того опасность этих элементарных, деморализующих уклонений не страшна. Но есть в пределах самого процесса философского познания не столь заметные, но тем более опасные возможности уклонения от истинного пути, с которыми каждому из нас предстоит бороться всю жизнь. Философия как духовное делание должна быть и здесь свободна от незаметных упущений и попущений, от уступок личным потребностям, влечениям, тайным симпатиям, от потакания своей личной, осознанной и неосознанной несчастью и от вырастающих из всего этого ложных проблем и их мнимых решений.

Дело в том, что предмет философии, по первоначальному способу своего «бытия», не подобен предметам других наук: он не дается нам в пространственно устойчивом или легко повторяющемся внешнем виде. Философствующий человек имеет перед своим внутренним взором предмет незримый, неслышимый, нечувственный, не материальный, не существующий в пространстве и не длящийся во времени. Правда, все, что предстоит другим людям, предстоит и ему: и цветы, и реки, и горы, и звезды, и люди; и слово ему звучит, и звук поет ему; и цвета, и линии, и дали говорят его оку. Но философская мысль ищет в явлении *не* явления; она не прельщается видимостью и не успокаивается на знаке. Видимое и слышимое, телесное и душевное радует ее, как верный знак, подлежащий приятию и разумению, ибо лесной огонек горит там, где таится сокровище. В содержании всякого явления и всякого состояния философская мысль видит *духовный смысл* его, полагая в этом духовном смысле свой предмет, а в его разумном, для

каждого очевидном раскрытии — свою задачу. Познавательно обращаясь к этому предмету, вступая с ним в познающее «общение», человек сосредоточивается на своем собственном, непосредственно переживаемом опыте и потому оказывается внутренне замкнутым и отъединенным от других людей; в своем духовном опыте человек предоставлен всецело самому себе, на основе самопомощи и самоконтролирования. В этом внутреннем отъединении философ должен сам, одиноким и самостоятельным напряжением воли, внимания, воображения, чувства, памяти и мысли *вызвать в себе реальное переживание того предмета*, который он хочет исследовать; он должен предоставить силы своей души для того, чтобы в них осуществилось, стало непосредственно и подлинно наличным то содержание, которое подлежит изучению. Познаваемый предмет должен как бы завладеть тканью души и состояться в ней; содержание его должно выступить как бы объективным узором на ткани отдавшейся ему души. Этим и только этим философ может поставить себя в положение ученого, исследующего объективную природу предмета; творческое и согласованное сотрудничество всех указанных сил души в совместном напряжении и общей заботе о верном испытании предмета, его отчетливом увидении и точном описании, дает философу возможность обрести подлинный опыт и объективность в подходе к своему предмету. Мысли предшествует видение (интуиция); видению предшествует опыт. Создав в себе душевным напряжением подлинное переживание своего предмета, философ приступает к одинокому напряженному *внутреннему взгляду в сущность внутренне данного содержания*. Понятно, что это внутреннее взглядывание тоже требует участия всех сил души, напряжения ее сознательных способностей и ее бессознательных сил. Здесь осуществляется своеобразное увидение, интуитивное вхождение духа в исследуемое содержание; то, что опыт принял, включил в свой жизненный состав, то, что осуществилось в его недрах, — является теперь предметом систематически интуитивного восприятия. При этом само собой разумеется, что воспринимающее внимание сосредоточивается не на субъективном переживании, не на состоянии или настроении испытавшей души, но на сущности испытанного предмета; эта духовная сущность самого предмета и есть то искомое,

философски познаваемое, радующее и любимое обстояние, к которому стремится познающий разум философа³.

И вот это *испытывание* и это *вглядывание* имеют известный, теоретическою совестью определяемый необходимый уровень, по достижении которого наступает третья стадия: аналитическое описание и разумно-логическое раскрытие испытанного и усмотренного содержания. Душа, переходя к этой последней стадии, должна иметь твердую уверенность в чистоте и верности выполненной ею работы; но для этого она должна использовать сначала все пути и средства, могущие ей дать гарантию в этом, она должна уметь творчески сомневаться, испытующе вопрошать и беспристрастно проверять; она должна создать в себе твердую и обоснованную уверенность в отсутствии субъективистических искажений. И только тогда, когда все это сделано и осуществлено, она имеет право приступить к разумному раскрытию того, что она испытала и увидела, — к непредвзятому, отчетливому описанию и логически ясному формулированию того предметного содержания, которое как бы ждет своего окончательного раскрытия; к избавлению видимого предмета от той видимости неразумного пленения, в котором он томится. Настоящее подлинное философствование дает человеку истинное знание и притом в форме разумной мысли, которая должна заключить в себе все, что объято опытом и преодолено видением. Вот почему философия всегда имеет единое задание: раскрыть с силою разумной очевидности подлинное содержание предмета, систематически испытанного и усмотренного философствующею душою.

В этом внутренне сосредоточенном и утонченном *духовном делании* философствующая душа, как это уже ясно, пребывает в отъединении и своеобразном одиночестве. Она остается в непроницаемой для чужого сознания замкнутости, с глазу на глаз с самостоятельно добытым, испытываемым, интуитивно исследуемым и мысленно раскрываемым содержанием предмета. Вообще говоря, никто никого не может впустить в свою душу; никто не может заменить другого в делах духовного строительства; никто не может снять с чужой души бремя самостоятельного очищения души и самостоятельного *вынашивания* очевидности — бремя одинокого опытного интуитивного и разумного, духовного познания. Философское по-

знание требует высокой, *лично* выращиваемой и осуществляемой духовной культуры. И в этом деле необходима именно та неустанная *нравственная активность в познании*, которой учил Сократ и к которой взывал Фихте⁴. Здесь необходима личная непреклонная воля к совершенному знанию и напряженная чуткость личной теоретической совести. Теоретическая совесть ставит перед познающей душой всегда одно и то же единое требование: «ты можешь и должен признавать и открыто исповедовать как истинное только то, в познании чего ты, по крайнему, активно проверенному разумению своему, освободил себя от всех субъективистических искажений, осуществил все средства личного очищения и предметного углубления, известные человечеству, и достиг на этом пути испытания личной по душевному переживанию, но сверхличной по содержанию и значению познавательной очевидности». Это требование теоретической совести поистине неуклонно и неумолчно; и философ, больше, чем какой-либо другой ученый, должен постоянно иметь его в виду, уже по одному тому, что философское познание имеет в теоретической совести свою главную, а может быть, и единственную ограду от искажений и от субъективистического вырождения. Ибо практический жизненный вред, приносимый ложным философствованием, виден воочию только тому и постижим только для того, кто уже закалил свою душу в требованиях духовного уровня; и этот вред не всегда есть вред материального или только душевного характера, как в других областях знания и жизни, но прежде всего вред духовной природы; он выражается в том коренном вырождении религиозного, познавательного, эстетического и политического уровня жизни, которое обладает свойством — в течение долгого времени быть незаметным и вдруг обнаруживаться с вопиющей очевидностью уже состоявшегося падения и разложения всей духовной атмосферы.

Философствование обязывает. Сознание этого должно непрестанно гореть в душах тех, кто говорит от лица философии. Оно обязывает уже потому, что философия есть *знание*; а всякое знание дает духовные права и возлагает духовные обязанности. Знание есть дар и богатство, потому что знающий именно в том, что он знает и поскольку он знает, знает не только «наверное», но знает верно, *подлинно*, объективно: он выбрался из колеблющейся трясины

мнений и достиг очевидности. У того, кто знает, знание и вера не расходятся и не стоят в противоречии: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и очевидно той единой очевидностью, которая силою объективности своей создает *верующее знание и знающую веру*. Верить и веровать можно лишь в то, что верно, что *в самом деле* так. Нельзя верить во что-нибудь, зная, что *на самом деле* «это иначе»: такой человек был бы невменяем. Но нельзя и знать что-нибудь, веря, что *на самом деле* «это иначе»: такой человек был бы лишен и веры и знания. Знать — значит иметь объективно обоснованную уверенность; но как же может тогда человек, говорящий о знании, не верить в знаемое? Верить значит гореть признанием истины; но как же может тогда человек, признавший истину, не иметь объективно обоснованного знания? Знание может быть еще нераскрытым, вера может временно пребывать в состоянии бессознательного аффективного опыта; но *по существу* — они одно. Ибо гипотеза и предположение не есть еще знание; а воздыхание и мечта, ожидание и вождение, чаяние и упование не есть еще вера. Вот почему знание есть дар и богатство.

Но философия как знание о важнейшем, о духе, о безусловном — есть лучший дар и большее богатство. Философия, познавая сущность духа и безусловного, должна вынашивать именно ту объективно обоснованную уверенность, очевидность, достоверность, без которой нельзя ни знать, ни верить. Но эта очевидность и достоверность не должна храниться в тайне и открываться только посвященным. Философский предмет объективен и един для всех; он должен быть доступен всем вопрошающим и ищущим; и то, что знает, и то, во что веруется, что утверждается как очевидное и достоверное, — должно быть раскрыто всем, жаждущим знания, ибо философия есть наука, она организует свой опыт, проверяет свое интуитивное восприятие, описывает воспринятое, анализирует, синтезирует и доказывает. В философии не должно быть места для произвольных построений или воздушных замков, для самообмана, мнимых наитий или волшебства. Философия не мистифицирует ни себя, ни других. Она может и должна быть вполне свободна от *суеверия*, когда человек достаточно «верит», чтобы бояться, и не достаточно «верит», чтобы не бояться, «верит» от страха и боится от

визма и релятивизма⁷, до успокоительного учения о том, что «все относительно». Философское исследование превращается в более или менее неудачный рассказ о том, «что я за человек» и «каковы мои мнения», а призыв к предметности, к ответственности и сверхличной очевидности объясняется претенциозностью и самоуверенностью призывающего.

Во втором случае предметный опыт заменяется нагромождением хаотических созданий личной бессознательной сферы, и философствование вступает на путь своеобразного волхования. Двигаясь на этом пути, люди становятся профессиональными «тайноведами» и разделяются на две большие группы: одни технически владеют приемами своего «тайноведения»⁸ и искусно прививают их своим неприхотливым, простодушным, наивно-доверчивым ученикам; другие сами оказываются во власти своих мнимых откровений и растерянно несутся в их неуравновешенном течении.

К первым принадлежат, например, современные «антропософы»⁹, которые любят прикрываться словом «наука», а на самом деле проповедуют некую, якобы мистическую, душевную практику. В этой сумеречной душевной практике, которая представляется им, если не мудростью, то во всяком случае истинною дорогою к мудрости, меркнет чистый свет философского знания, и разумная жизнь духа растворяется в культивировании наиболее физиологических сторон и способностей души. Таково их «ясновидение», покупаемое ценою беспредметности и отказа от предметного опыта. Напрасно говорят они о науке: их «наука» не имеет ничего общего с тою наукою, которая ищет объективности в исследовании, открыто утверждает и открыто доказует; их «наука» есть *магия*, а содержание их «учения» — смутная химера. «Антропософ» старается магически овладеть тайною своей личной бессознательной сферы и вступает для этого в практическое жизненное общение не с предметом, а со своим собственным бессознательным. Это общение погружает центр его личной жизни в непонятную для него глубину родового инстинкта; и совершается это *не* ради знания: как истинный «маг», антропософ ищет не знания, а господства, *власти* над непокорной и несчастной стихией своего существа. Играя и ужасаясь, страдая и наслаждаясь этим

процессом медленной, постепенной утраты своего *личного духа* в предписанных «учителем» «медитациях», он идет ко дну, не выходя из себя, ничего не познавая, хотя испытывая «новые ощущения»; и так он покупает себе, наконец, личное успокоение ценою своей духовной личности, ценою отказа от разума и философического бремени. Трагедия его в том, что, ища овладения и господства, он вступает на путь, приводящий его к успокоенной подчиненности, к содержательному и формальному торжеству бессознательной стихии над духом и сознанием; душевное равновесие иногда приобретается, но личность выводится из ряда духовных борцов и свершителей. И тщетно пытается антропософ сослаться в свое оправдание на свою «мировую» «умудренность». Он имеет, конечно, некоторую видимость «учения», но оно представляет из себя не более, чем несамостоятельную и эклектическую химеру. Знание как предметный опыт, верное видение и разумеющая очевидность — вообще не ценятся и не культивируются ими, а то, что они называют «оккультным», т. е. сокровенным знанием, не скрывает за собою ничего, кроме родовых содержаний бессознательного. Они, по-видимому, не знают, что научный опыт проник дальше их и глубже их в жизнь бессознательного, проник знанием не беспредметным и сокровенным, а предметным и открывающим и что самая «тайна» их таинственной практики уже во власти науки. Они «ворожат» всю жизнь вокруг непонятого им самим центра и не видят, что от их «мудрости» уменьшается свет на земле.

Другая группа «тайноведов» по-иному уклоняется с философского пути. Эти искатели сами оказываются во власти своих, якобы религиозных, «откровений» и, изнемогая от их смутного и, нередко вполне личного содержания, они блуждают потому, что не выдерживают бремени личной душевной несчастья и, запутываясь все больше, чувствуют себя все более несчастными. Та особенность философского опыта, в силу которой в его осуществлении должны участвовать *все* силы души и притом в обращении к не вещественному предмету, приводит к тому, что в дело вовлекается вся бессознательная сфера во всей ее утонченности, страстности и трудноуловимости. Но именно вследствие этого все тайные влечения и желания, обычно недопускаемые на порог дневного сознания и

хоронящиеся, подобно Нибелунгам¹⁰, в тайниках ночной души; все особенности личного «вкуса», приобретенные в жизни и духовно неочищенные; все те ранения душевной ткани, которые у каждого из нас приобретаются с детства и живут, неисцеленные, всю жизнь, нередко разъедавая душу и повергая ее во всевозможные психозы и неврозы¹¹, — все эти, при отсутствии надлежащей очистительной работы, при отсутствии безжалостности к своей душевной традиции и к своему душевному самочувствию, вторгается в философскую работу и делает душу мало способной к предметному опыту и исследованию. Философия становится тогда игрищем скрытых страстей; она оказывается более или менее удачно найденным компромиссом между запросами личного бессознательного и сознательной идеологией; она говорит гораздо более о личном укладе души, чем о предмете. При этом энергия познания нередко растворяется в субъективную слепую убежденность, которая следует за всеми превращениями все вновь и вновь перестраивающейся «идеологии» и, в сущности говоря, может нати себе успокоение только в гетерономном¹² приятии той или иной догмы.

Наконец, есть еще третья опасность для философии, это опасность рассудка, отрывающегося от живого предметного опыта и интуиции. Этот опыт ведет философию не к волхвованию и не к субъективистическому вырождению, а к смерти в безводной и безвоздушной пустоте. Здесь философия сохраняет, правда, видимость научного знания, но именно одну только видимость; и отстаивая ее, она как бы гибнет на посту с оружием в руках. Такие мыслители начинают ценить выше всего формальные различия и определения понятий, формальное единство философской «системы», формальные проблемы и постановки вопросов. Утратив живое отношение к предмету, не сознавая, что при таком положении дела философия неминуемо вырождается в комбинацию беспочвенных понятий, они остаются нередко без всякой предметной опоры и начинают заменять ее опорой *чужой мысли*. Но чужая мысль, быть может, в свою очередь ведет оторванное, беспредметное существование, опираясь на более ранние системы и учения; и тогда в философии начинает обнаруживаться какая-то наследственная опустошенность. Пишутся книги о книгах; строятся особые толкования

и понимания чужих идей; чужие воззрения исследуются, как некая самостоятельная ценность; культивируется изощренная библиографическая осведомленность. Мысль как бы высыхает и запутывается в сетях собственных мертворожденных утонченностей. Потомки бессильно увязают в наследстве, оставшемся от предков; и тогда история философии не только не научает предметному философствованию, но прямо уводит от предмета: отжившие системы вырастают перед эпигоном как заколдованный лес, через который нет ни прохода, ни проезда и скудный свет абстрактного рассудка не может пронизать эту чашу и показать заблудшему дорогу к истинной цели.

Таковы основные опасности философского пути. Преодолесть их возможно только через верность предметному опыту и требованиям теоретической совести: философ должен утверждать и исповедовать только то, что он сам испытал в духовном опыте и с очевидностью узрел в исследованном им предметном обстоянии. И если он будет верен этому правилу, то в философии начнет уменьшаться число беспочвенных разногласий и бесплодных споров и она получит возможность превратиться в подлинное знание о сущности духа, о его путях и законах.

Философия не в отвлеченности, не в сплетениях хитроумия и не в праздно-лукавом мудровании. Нет, настоящая философия духовна, опытна, честна и проста; и именно в этих свойствах своих она приближается к настоящей религии.

Когда-то Гегель сокрушался о низком уровне той национально-духовной культуры, которая не создала еще своего самостоятельного религиозно-метафизического чувствования и понимания Бога, мира и человека. Он знал, как до него разве один Аристотель, что духовный опыт и философическое созерцание составляют самую глубокую сущность всей национальной жизни; что именно *предметное раскрытие жизни духа* есть то делание, то совершаемое немногими творчество, ради которого в слепоте жили, в слепоте страдали и умирали столь многие; что именно *разумное утверждение духовного Предмета* (метафизика, вырастающая из подлинного религиозного откровения) есть та вершина духовного горения, которая

религиозно питает, освещает и завершает культуру народа как живого единства и которая действительно может быть источником подлинной духовной чистоты и силы.

II. ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

1

Философия больше, чем жизнь: она есть *завершение* жизни. Но жизнь первее философии: она есть ее *источник* и предмет.

Среди людей, чуждых и предмету и заданию, издревле существует распространенное воззрение, согласно которому философия не имеет никакого отношения к «действительной жизни» и сама по себе не есть «наука». Философия — это в лучшем случае «прекраснодушная мечта»; тогда как жизнь и наука суть нечто трезвое: трезвая практическая деятельность и трезвое практическое знание. Именно поэтому жизнь нуждается в науке и *не* нуждается в философии; а наука проверяется жизненной практикой, но вполне может обойтись *без* философских отвлеченностей.

Философия, думают многие, есть «мечтательное умствование» или «умственное мечтание»: человек, слабый волею, но сильный воображением и праздный умом, бежит от очередных «больших» запросов жизни и создает мир химерических отвлеченностей. Он утешается этим миром, «верит» в него и замыкается в нем; он пытается «заговорить» себя, «обмануть» и свой и чужой разум; и постепенно ограждает себя стеною громких слов, туманных настроений, утонченных и непонятных выдумок.

Здесь нет единого, общего всем предмета; нет единого и зрелого научного метода; здесь все субъективно и произвольно, ибо каждый говорит про себя и о своем: каждый твердит о своей «химере». Ни один не понимает другого; но «все не согласны»: каждый не приемлет чужую химеру, ибо чужая — никому не нужна. Нужна *своя*: только она есть «истина», она — родная выдумка, *личный миф*, «моя сказка». В ней излилась, ею закрепилась личная мечта о себе, о мире и о Боге; и отсюда ее чисто личное значение. «Чужая философия» — это чужое *излияние*; сколько же надо терпения, чтобы слушать подолгу

и внимательно чужие излияния? Вот почему философы не могут спорить друг с другом и не умеют друг друга выслушивать: они подобны, в лучшем случае, сонму дerviшей, выкликающих, каждый про себя, никому не понятную молитву никому не известному божеству.

Для чего же все это утонченное препарирование личной мифологии? И как можно преподавать философию? Разве история ее не есть история духовных блужданий и недугов? Разве возможно какое-нибудь научно-философское достижение?

Бесспорно: если философия порождает одни «личные химеры», вненаучные излияния или умственные мечты, то ее *нет вовсе* и преподавание ее невозможно. Все создания ее порождены игрою ума и таланта; они войдут, может быть, в объем искусства, и тогда история философии будет поглощена историей литературы.

Однако верно ли это? Верно ли, что философия творит одни «беспредметные химеры»? Что самый способ ее творчества делает ее индифферентною истине? Что она оторвана от жизни и не нужна ей?

Среди тех, кто занимается философией или говорит от ее лица, есть и в наши дни немало таких, которые виновны в столь неверной репутации, сложившейся у философии и у философов. Так, германская философия последних десятилетий действительно создала немало мертвых отвлеченностей, ненужных для подлинной жизни; а философская культура России не сумела еще побороть в себе ни беспредметного импрессионизма, ни склонности к увлечению чисто личною, релятивистическою химерою. Но разве недостатки осуществления компрометируют самое задание? Разве недуги составляют самую сущность организма? Разве можно заключать от того, что чего-то *нет*, к тому, что оно *не может* или *не должно* быть? Разве чье-нибудь неумение доказывает что-нибудь, кроме того, что неумеющий не умеет? Если отрицать философию по этим соображениям, то следует навсегда покончить не только с философствованием, но и с политической деятельностью, с врачеванием, с педагогикой и вообще со *всякой* другой деятельностью; ибо везде были ошибки, всюду есть неумение, всегда будут неудачи.

Однако, быть может, враги философии допускают, что именно *она* является несчастным исключением из всех

других деятельностей и наук; что именно у философии недуг составляет самую сущность организма; что самое задание ее таит в себе *внутренний порок* неосуществимости; что здесь есть *мнимая проблема*, порождающая сплошные гнезда недоразумений. Но это значило бы, что у философии нет и не может быть особого, самостоятельного предмета; что ей недоступен систематический метод; что она никогда не могла доказывать и никогда не сможет доказать своих утверждений; что она пуста и мертва; что у нее нет и не может быть подлинной, творческой связи с жизнью.

Тот, кто взялся бы доказать и доказал бы эти тезисы — оказал бы великую услугу человечеству: он положил бы раз навсегда конец претензиям и посягательствам философов; он упрочил бы пределы истинной науки; он указал бы философии ее истинный предел и направил бы силы молодых поколений в сторону *искусства* и *религии*. И в результате этого подвига философия оказалась бы культурным пережитком наряду с философским камнем и жизненным эликсиром, наряду с *perpetuum mobile* и гомункулом.

2

Доныне врагам философии не удалось доказать этих тезисов. Правда, они иногда побеждали там, где доказывали недостаточную методичность того или иного философствования; они всегда бывают правы, когда указывают на расхождения и разногласия между отдельными философскими учениями; они всегда будут иметь основание отвергнуть мертворожденные выдумки философов всюду, где такие выдумки возникнут. Однако все это несколько не подтверждает их принципиального отрицания философии. Доказывая ее невозможность или несостоятельность, они имеют перед собою творчество, сущность которого скрыта от них, и предмет, доступа к которому они не знают. Их сомнение порождено не опытом или исканием, а непониманием и предвзятостью. Они отрицают то, чего не видели; они объявляют неосуществимым то, чего сами не пытались осуществить. Их рассуждения не восстают из страдания в предмете и не покоятся на подлинном познавательном напряжении; они судят со стороны, лишены запросов, органа, опыта и компетентности.

Поэтому соображения их имеют всегда априорный и неубедительный характер; а компетентный ум спокойно созерцает комизм их усилий — доказать *невозможность* того, что на *самом деле уже реально*.

Ибо, вопреки их мнению, философия имеет свою *научную лабораторию* и свои *жизненные достижения*.

Эта лаборатория доступна далеко не всякому, и многим войти в нее не удастся. Даже из тех, которые мнят себя философами и имеют соответствующую репутацию, не все служат философии и творят ее. Зато в этой лаборатории живут и работают многие, не знающие о том и не понимающие своего жизненного дела, так что они удивились бы, узнав об истинном значении своей деятельности. В этой лаборатории накапливается и осмысливается *духовный опыт*, без которого нет, не было и не будет настоящей философии; из нее выходят все подлинные философские *достижения*, *научные* по своей форме и *глубоко жизненные* по своему содержанию.

Доказать невозможность таких достижений нельзя потому, что они фактически имеются налицо в великом историческом хранилище философии. На протяжении истории философия *уже* показала, что она имеет подлинную, творческую *связь с жизнью*; каждым серьезным совершением своим она доказывает, что у нее есть особый, самостоятельный *предмет*; ее лучшие творцы и вожди выковывали систематический *метод* и владели им; она по самому существу своему ищет *доказательств* для каждого своего утверждения и многие уже доказала. Поэтому тому, кто не признает философию, приходится отрицать факты или закрывать себе на них глаза; ему предстоит доказывать, что состоявшееся не состоялось, что предстоящего нет, что оно невозможно; для этого он должен обеспечить слепоту и себе и своему слушателю. И потому, если он «победит», то его «победа» будет свидетельствовать только о его некомпетентности; а это значит, что он совсем не победит.

Напротив, сама история философии есть живое доказательство того, что философия — не бред, не пустословие и не беспредметное блуждание; мало того, что философия *есть наука о жизни*. Ибо, в самом деле, *философия есть систематическое познавательное раскрытие того, что составляет самую глубокую основу жизни*. Сама

жизнь в ее истинном смысле и содержании составляет ее источник и является ее предметом, тогда как форма ее, задание, приемы, категории, итоги — все это делает ее наукою в строгом и подлинном значении. Философия рождается в жизни и от жизни, как ее необходимое и зрелое проявление; не от быта и не от животного существования, но от *жизни духа*, от его страдания, созерцания и жажды. И, рожденная духом, ищущая знания, она восходит к его зрелой и совершенной форме — к сознательной мысли, с ее ясностью, систематичностью и доказательностью. Философствовать значит *воистину жить и мыслью освещать и преображать сущность подлинной жизни*.

Естественно, что философия чужда и недоступна тем, кто не знает или не чувствует различия между *бытом* и *духом*, кто исчерпывает свою жизнь бытовыми содержаниями или отдает ее на служение технике быта. Для таких людей «не существует» ни того задания, которое движет философию, ни того предмета, который она созерцает, ни того измерения, в котором она движется и раскрывается. Быт, слепой для духа, не знает философии и не творит ее; но вправе ли он отрицать ее значение и ее возможность, отправляясь от своей слепоты? Для того, чтобы жить философскими содержаниями, и тем более для того, чтобы придавать им форму мысли, человек должен иметь как бы особый орган; или, вернее, душа его должна быть достаточно глубокой для философского предмета, достаточно восприимчивой для философского содержания, достаточно утонченной для философского мышления и достаточно творческой для дела оформления. Каждое из этих свойств, каждая из этих способностей может быть присуща человеку в большей и меньшей степени; и каждая иная комбинация этих сил даст иную творческую индивидуальность. Однако душа, лишенная первой способности, т. е. совсем не живущая на той глубине, на которой впервые открывается наличность философского предмета, — окажется пораженною философской слепотой, а потому и не компетентной в вопросе о бытии, значении и жизненной силе философии.

Для того, чтобы судить о философии, надо жить ею; и тот, кто не может или не хочет жить философским предметом, обязан воздерживаться от суждений и о самой философии, и о ее предмете.

Итак, философия, по самому существу своему, не только не чужда жизни, но связана с нею, как со своим *источником и предметом*.

Как бы ни определить философию, она всегда окажется *знанием*. Но знание не может состояться иначе, как в форме встречи, или схождения, или соединения между *объектом и субъектом*. Отсутствие объекта сделает знание лишенным предметного содержания, т. е. беспредметно-неопределенным и, в смысле истины, бесплодным состоянием души; т. е. *незнанием*. Отсутствие субъекта оставит предметное содержание субъективно-неиспытанным, не усмотренным, не помысленным; т. е. *непознанным*. Но для того, чтобы знание состоялось, необходимо, чтобы *содержание* объекта вступило, так или иначе, в *пределы субъекта*. Ибо знание есть разновидность обладания, *имения*; чтобы иметь, надо взять, по-ять; без взятия, по-ятия, не может быть ни по-нимания, ни по-нятия.

Это значит, что содержание предмета должно состояться, обнаружиться, выступить в душе субъекта. Познающая душа должна *предоставить свои силы и средства предмету*; это необходимо для того, чтобы принять в себя его содержание, дать ему *осуществиться* в себе. Предмет должен как бы прозвучать своим содержанием в познающей душе; высказаться в ней; страстись в ней; как бы выжечься в ее ткани; подлинно присутствовать в ней так, чтобы душа зажила стихией самого предмета и стала *одержимую* его содержанием. Только тогда человек может сказать, что он *испытал* предмет, что он приобрел первую основу всякого знания — *предметный опыт*.

Вне предметного опыта невозможно никакое знание. Каждый ученый посвящает свои силы именно тому, чтобы приобрести и накопить *подлинный предметный опыт*. Каждый ученый превращает свою душу в хранилище испытанных содержаний. Именно присутствие их в нем делает его ученым или, вернее, дает ему возможность *научного познания*. Человек может быть назван ученым лишь постольку, поскольку он превратил свою душу в *среду, систематически одержимую предметом*; ибо научное изучение есть, прежде всего, *систематическая практика*

предметной одержимости; этим знание не исчерпывается, но именно в этом его начало и его подлинная основа. Вне мобилизованного предметного опыта *никакого* знания *никогда* не было и не будет.

И вот возникает силлогизм; всякое знание есть опытное знание; всякая философия есть знание; следовательно, *вся философия есть опытное знание*. Неопытная, сверхопытная философия есть недоразумение или легенда. Известно, что философы не раз пытались утвердить свое знание «независимо от опыта»; об «априорном» знании написано немало исследований. И тем не менее безопытной философии никогда не было и не будет. Именно тогда, когда философ думает, что он освободил себя от опыта, он или *предвосхитил* его и совершил самообман; или освободил себя от известного, *специфически* определенного опыта и обратился к другому опыту (например, от чувственного — к нечувственному, от «внешнего» — к «внутреннему», от созерцающего — к мыслящему); или освободил себя от восприятия *одного предмета*, осуществляя восприятие другого; или же уклонился *совсем* от *предметного* опыта, удовлетворяясь его беспредметными суррогатами. На самом же деле опыт остается налицо, во *всех* этих случаях; ибо предвосхитить не значит обойтись *без* него, но значит получить его на неверном, на дурном пути; специфический опыт не перестает быть опытом, а неверный или беспредметный опыт отнюдь не открывает душе сверх-опытную сферу.

Необходимо покончить раз навсегда с предрассудком «внеопытного знания». Философские учения делятся не на «опытные» и «сверх-опытные», а на такие, которые *сознательно культивируют предметный опыт*, и такие, которые этого *не* делают. Ибо от опыта не освобождает никакая *интуиция*, никакое «прозрение», никакая метафизическая *спекуляция*¹³, никакая рационалистическая *дедукция*.

То, что обычно называют *интуицией* или «прозрением», есть или *случайное опытное восприятие предмета*, над которым философ не властен, которого он не умеет ни повторить, ни проверить, ни подвергнуть систематическому очищению,— и именно потому беспомощно ссылается на таинственную «интуицию»; или же это есть *систематическое, методически руководимое опытное созерца-*

ние предмета. В обоих случаях опыт имеется налицо; однако в первом случае философ не владеет им, не организует его, не превращает его в сознательно практикуемый метод, тогда как во втором случае опытное восприятие становится подлинным, систематически применяемым орудием или методом познания. Это значит, что «интуиция» не только не «освобождает» от предметного опыта, но сама есть не что иное, как известная стадия осуществляемого опыта; и так обстоит дело не только в философии, но и во всяком религиозном откровении, и в нравственном наитии, и в творческом воображении художника.

Подобно этому от опыта не освобождает никакая метафизическая спекуляция. Во всякой подлинной, глубокой философии «спекуляция» покоится на систематическом созерцании предмета; она питается этим опытным восприятием, почерпает из него свое содержание и проверяет себя его показаниями; так что истинный философ дорожит в своем творчестве отнюдь не игрою мысли и не комбинациями понятий, но именно систематическим опытом и систематическою интуициею предмета. Бывает и так, что опыт и созерцание прерываются или восполняются чисто мысленным, гипотетическим или дивинаторным¹⁴ напряжением; но именно такие перерывы и восполнения порождают наиболее субъективный элемент всего учения. Аналитическое или синтетическое придумывание всегда рискует исказить, изуродовать предметную ткань теории, и этот риск слишком часто ведет к глубоким искажениям и ущербам. Философ додумывает и при-вдумывает именно там, где он не-до-внял предмету, т. е. где его внимание, или, что то же, его предметное «внутри-имание» — не выдержало и изнемогло. Конечно, в этом додумывании он иногда верно предвосхищает возможные показания опыта, к которому он всегда обязан обратиться в дальнейшем; но понятно, что это предвосхищение будет содержательно верным и ценным лишь постольку, поскольку ранее состоявшийся опыт был действительно предметным.

Напрасно думать, будто возможно спекулятивное знание в смысле неопытного происхождения. С идеей такого знания победоносно боролся еще Кант; и когда его ближайшие преемники — Фихте, Шеллинг, Гегель снова вернулись к «метафизике»¹⁵, то в основе ее лежал уже но-

вый опыт, почерпнутый из ново-открытой Кантом духовно-творческой сферы в «субъекте». «Метафизические» выдумки, сложившиеся на основании случайного, непроверенного или, еще хуже, *чужого и беспредметного «опыта»*, остаются всегда возможными; но такие построения будут всегда подобны карточным домикам: первое же прикосновение предметной действительности превратит их в развалины.

Наконец, и *дедукция* невозможна без опыта. Великие философские учения, подобно системе Спинозы¹⁶, дедуктивны только *по форме изложения*. Ибо их «верховная идея» *уже* сосредоточивает в себе результат долгой и систематической интуитивно-опытной практики; она *уже* таит в себе все испытанное содержание предмета и, развертываясь, обнаруживает дедуктивно то, что добыто долгим опытным страданием в предмете. Понятно, что предметная верность всей последующей «дедукции» зависит именно от предметной верности первоначального опыта. В таких учениях опыт до известной степени отрывается от последующего разумного развертывания, но он отнюдь не отсутствует и не смолкает; он *не* обогащается и *не* исправляется в процессе дедуктивного построения, и в этом есть известная опасность и дефект; но вся теория покоится на его эксплуатации и, принципиально говоря, не смеет дать более того, что она получила из опыта. Вот почему мыслитель, который созерцательно продумает «определения», установленные Спинозой в начале «Этики», усвоит без труда все дальнейшие «теоремы» и никогда не примет «геометрический» способ изложения за подлинный познавательный метод великого «рационалиста». Настоящая философия понимается не отвлеченной мыслью, но только *конгенциальным предметным видением*.

Понятно, что без опыта не могут обойтись и повседневные «дедуктивные построения» в философии; но в них опыт остается случайным, непроверенным и часто дурным и убогим. Это бывает особенно тогда, когда строящий ум сознательно разрешает себе пренебрегать опытом и сочетает дедуктивное тяготение с релятивистической постановкой вопроса: тогда возникают произвольные и беспочвенные комбинации, прикрываемые нередко ссылкой на безысходный «субъективизм» всякой философии.

фии. «Можно так построить», рассуждает беспочвенный комбинатор понятий, «тогда выйдет то-то; а можно иначе,— тогда выйдет другое». Но *как* именно *необходимо* и *должно* строить, повинуваясь предмету,— он не знает и не может знать, потому что опыт его беспредметен и не систематичен. Такие «строители» философских теорий не обходятся совсем без интуитивного опыта; но они не культивируют его предметную основу и довольствуются случайными, мимоходом добытыми данными; они не созерцают, а подглядывают; не испытывают, а похищают; и подвергая свой скудный материал произвольной и беспринципной перетасовке, они уродуют в корне свои, ни для кого не убедительные построения.

4

Философское знание есть *опытное* знание. Что бы ни исследовал философ, он не имеет другого источника; и в этом его положение подобно положению всякого другого ученого. Философская наука, как таковая, покоится на предметном опыте, т. е. на проверенном, верном, адекватном восприятии изучаемого предмета изучающею душою. Без этого восприятия душа философа остается познавательно-бессильною и некомпетентною. Так, сознание, не воспринимающее чистого, безобразного понятия, не в состоянии формулировать законов логики; душа, отвращающаяся от показаний совести, бессильна судить о добре и зле; суждение о красоте и художественности беспредметно и праздно, если орган эстетического восприятия пребывает в бездействии и немощи. Самое обычное, отвлеченное мышление, при всей своей «формальности», есть своего рода *опыт*, и этот опыт нуждается в *культуре*; именно поэтому так бесплоден спор с некультурным человеком, не привыкшим испытывать неизменную тождественность понятия и принудительность верного силлогизма. Итак, *не испытанное содержание — не познано; неиспытываемое содержание — непознаваемо*. Такова *первая аксиома философской методологии*.

Однако это совсем не означает, что *всякий* опыт есть *чувственный* опыт, т. е. что он *состоит* в восприятии *вещи телесными «чувствами»*. Бесспорно: всякий чувственный опыт есть опыт; но далеко не всякий опыт есть опыт чув-

ственный. И вот, философия творится именно *нечувственным опытом*; в этом *вторая аксиома философской методологии*.

Душа человека может испытывать и фактически испытывает многое *не* чувственное. Правда, обычное сознание занято по большей части чувственными восприятиями: оно-то живет непосредственно в наплывающих извне звуках, красках, пространственных образах и ощущениях своего тела, ориентируясь через их посредство в мире вещей и строя по ним свою жизнь; то оно занято тем, что воображает поблекшие тени воспринятых вещей, возрождая их из прошлого и подчас разжигая еще сильнее их яркость. И даже тогда, когда она имеет дело с нечувственными предметами, она воспринимает их в их чувственном воплощении, подставляя вместо общего — частное и вместо идеи — одноименный образ, осуществляя волевой порыв телодвижением, выражая напряженное чувство смехом, рыданием, воплем. Даже «отвлеченное» мышление обычного сознания бредет по чувственным образам и схемам; и двигаясь в лесу понятий, оно опирается на чувственные костыли и спотыкается о чувственные образы.

Тем не менее и оно имеет дело с нечувственными содержаниями. Конечно, сенсуальные¹⁷ образы вещей проникают глубоко в бессознательное человека; они служат ему легким, гибким орудием, то радуя дух созданным совершенством, то угнетая душу загадочными ночными страхами. Но в то же время они легко блекнут, тают и исчезают в неопределенности. И именно тогда, когда они становятся совсем неопределенными и неуловимыми, каждый из нас может заметить, что *дух иногда продолжает жить с интенсивностью, не соответствующею чувственной бессодержательности акта*. Дело не сводится к тому, что душа «продолжает волноваться» под воздействием *забытых* ею, т. е. вытесненных в бессознательное, *чувственных содержаний*. Здесь можно обойти вопрос о том, сохраняет ли чувственное содержание свою сенсуальную природу *после того*, как акт вытесняющего забвения отрывает его от ощущающих и воображающих сил души, сберегая его аффективные следы и его травматическое влияние на весь строй души. Можно даже *условно* принять, что *всякий* душевный процесс нуждается в качестве возбудителя или разрядителя в чувст-

венном раздражении или восприятию. Но даже это условное допущение отнюдь не предрешит еще вопроса о том, *исчерпывается ли весь объем души чувственными содержаниями?* Если даже допустить, что душа просыпается только от сенсуального толчка или воздействия, то остается еще возможность, что этот толчок пробуждает в ней *нечувственные акты* и соответственно *нечувственные содержания*. Повод не предопределяет еще свойств результата; пробуждающаяся сила может быть инородна возбудителю. Именно этому благодатному восхождению души от чувственного восприятия к нечувственной жизни и был посвящен в древности пафос Платона.

На самом деле силы души могут быть заполнены *нечувственными содержаниями*, т. е. такими, которые лишены не только пространственно-материального, но и протяженно-образного характера и не имеют для себя *никакого*, не только «адекватного», но даже «подобного» чувственного коррелата¹⁸.

Так, самый *строй содержаний*, открывающихся логически-зрелому *мышлению*, имеет нечувственную природу и являет зрелище, привычное оку нечувственной мысли, но невидимое для глаза, взирающего на вещи. Современная логика в лице Гуссерля¹⁹, следуя за Больцано²⁰, убедительно показала, что человеку доступно, при известной внутренней культуре, *безобразное мышление* и что именно такому и только такому мышлению открывается строй понятий во всей его законченности и чистоте. Понятие и вещь, смысл и образ суть предметы различных измерений. Чувственной вещи свойственно непрерывно меняться; понятию и смыслу свойственно ненарушимое *тождество*. Различие чувственных содержаний и вещей доходит только до противоположности; различие понятий всегда закреплено остротою *противоречия*. Только нечувственное содержание и нечувственный предмет могут иметь логический «объем» и логическое «содержание»; только им может быть свойственна «родовая-видовая» связь; именно они слагаются в логические «суждения — тезисы»; только при их помощи можно строить силлогизмы, доказывать, познавать и спорить. Примешиваясь к этому строю, чувственные образы отчасти искажают его, отчасти подчиняются ему, но *отнюдь не совпадают* с ним и не отождествляют своих законов с его законами. Зрелая мысль видит инородность и

специфичность этих рядов; незрелая душа блуждает, смешивается и запутывается. И тем не менее *всякий* человек, поскольку он *умозаключает* или *спорит*, имеет дело с *нечувственными, логическими* содержаниями, как бы беспомощно, сбивчиво и недоуменно он ни обходился с ними. Именно в этом нечувственном виде мыслитель познает *истину*, ибо истина есть всегда *истинный смысл*, подлежащий закону тождества и закону внутренней непротиворечивости. Итак, истина имеет нечувственную форму, и путь к ней ведет через восприятие нечувственных содержаний.

Далее, и *воле*²¹ доступны нечувственные содержания. Обращаясь к какому-нибудь содержанию и приемля его, воля делает его *целью*, т. е. предвосхищаемым предметом своих творческих напряжений. Это предвосхищение и творчество может относиться к вещественно-чувственным явлениям, но может возводить душу и к нечувственным обстоятельствам. Такова, например, воля к истине. Но еще доступнее для обычного сознания *воля к добру*, также возводящая душу к особым нечувственным содержаниям. Когда добро является искомым и осуществляемым заданием, то душа имеет перед собою проблему *объективной ценности* своей цели и обуславливает принятие цели именно ее объективную ценность; она вопрошает о нравственно-наилучшем, *совершенном* и к нему применяет свою волю. Это вовлекает волю в особое ценностное измерение действий и состояний и делает предметом ее особое *нечувственное качество*, именуемое *нравственным совершенством*. Нравственное совершенство обретается особым нечувственным органом души, именуемым *совестью*, и не поддается никакому чувственному восприятию. Совестьный акт, имеющий сложную эмоционально-познавательную, но прежде всего *волевою* природу, заставляет человека воспринять нравственное *совершенство* как *живую сверхчувственную силу* — сначала в самом себе, а потом и в других людях; и на этом пути душа вовлекается в особое, опытное, но нечувственное созерцание мира и привыкает вращаться среди тех содержаний, нечувственный строй которых может быть ориентирован на чувственных явлениях и образах, но отнюдь не совпадает с ними своим строем и своими категориями. Таково, например, обстояние *нравственной правоты, побеждающей в жизни вопреки своему житейскому бессилию*. Великие создатели этики всегда утвержда-

дали, что совестный опыт вводит душу в новый порядок бытия, как бы ни охарактеризовать этот строй — как «даймонический», вместе с Сократом, или как «нравственный миропорядок», вместе с Фихте, или же как сферу «всеобщей воли», вместе с Гегелем.

Добро есть нечувственный предмет; совесть есть живой орган, открывающий к нему доступ. Поэтому *всякий* человек, поскольку он не стал жертвой исключительной, сатанинской злобы, поскольку он способен видеть нравственно лучшее и желать его, — имеет дело с *нечувственными, этическими содержаниями*, как бы беспомощно и сбивчиво он ни обходился с ними.

Подобно этому, человеку доступен целый ряд *аффектов*, посвященных нечувственным содержаниям. Напрасно было бы думать, что аффекты души могут пленяться и возгораться только от восприятия вещей или их протяженных образов. Если даже обычно страсть человека прилепляется к внешней видимости, то это еще не значит, что ею не руководит в этом смутное искание сверхчувственной сущности. *Искусство* обнаруживает это искание с несомненною определенностью и силою: ибо то, что вынашивает и осуществляет истинный художник, есть всегда обстояние, несводимое к чувственной видимости его произведения. Художественный аффект, приводящий в движение творческую фантазию, всегда глубже своего чувственного повода; так что предметное содержание эстетического произведения никогда не исчерпывается его чувственно воспринимаемою материею. Истинный художник ищет не «удачного» выражения и не «красивого» сочетания, но *красоты*: он стремится *явить сверхчувственное, предметное содержание своего аффекта* в виде адекватного, чувственно-единичного образа, «красивость» и «удачность» которого могут быть только порождением сверхчувственного предмета, уловленного в адекватном опыте. Такова природа всего художественного.

Однако жить сверхчувственным содержанием дано не только аффекту, обращенному к *красоте*, но и аффекту, религиозно обращенному к *Богу*, этически обращенному к *добру* и познавательному обращенному к *истине*. Молитва, умиление, покаяние, мировая скорбь, сомнение и очевидность — вот состояния души, которые доступны всем людям и в которых аффект одержим сверхчувственным со-

держанием. Историк духовной жизни достаточно указать на молитвенный экстаз брамина, на одухотворенный эрос Сократа, и на ту «интеллектуальную любовь к Богу», о которой говорил Спиноза; а христианину надлежит вспомнить о том поклонении «духом и истиною», которому учил Христос.

Наконец, самое *воображение* может быть посвящено нечувственным содержаниям, — и в повседневной жизни, поскольку человек воображает себе душевные состояния своих ближних, и в искусстве, поскольку оно изображает состояние человеческого духа, и в религии, поскольку душа восходит к созерцающему восприятию Божества, и в философии, поскольку воображение покорно следует указаниям безобразной мысли или сверхчувственного воленапряжения.

Все это означает, что старая классическая формула «*nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu*»²² неверна; и не только потому, что она принимает генетический повод переживания за самое содержание возникшего акта, но и потому, что *сенсуальность* отнюдь не есть черта, свойственная *всем* содержаниям души и духа. Здесь недостаточна даже оговорка «*nisi intellectus ipse*»²³, ибо дело не только в том, что сам познающий интеллект имеет нечувственную природу, но в том, что дух человека *может* и *должен* иметь дело с нечувственными содержаниями и через них — со сверхчувственными предметами.

Духовная же значительность этого опыта говорит сама за себя.

5

Значительность этого опыта определяется самою природою его предметов. Философия исследует сущность самой *истины*, самого *добра* и самой *красоты*; она исследует самую *сущность бытия* и жизни, вопрошая об их сверхчувственной первооснове; она исследует самый *дух человека* и природу его основных *актов*, воспринимающих эти предметы; она исследует *право*, как необходимый способ духовной жизни, как естественный атрибут человеческого духа. Иными словами, она исследует божественную природу во всех предметах и, наконец, восходит к познанию самого *Божества* как единого лона и источника всего, что божественно.

Все эти предметы философия утверждает, как сверхчувственные и в то же время как объективно обстоящие; причем недоступность их для телесного восприятия несколько не умаляет их объективность. Сверхчувственный предмет объективен; это значит, во-первых, что он сохраняет свой особый *способ* обстояния, отличающийся от того способа, который присущ его отражению в человеческой душе (*категории* предмета не совпадают с *категориями* одноименного «содержания сознания»); это значит, во-вторых, что он сохраняет свои *самобытные черты и качества*, в отличие от тех, которые человек приписывает ему по недоразумению (*содержание* сознания может не совпадать с *содержанием* предмета); это значит, в-третьих, что он сохраняет свое *единство*, несмотря на множественность тех субъективных актов, которые направлены к его восприятию, и тех содержаний сознания, которые человек нарекает его именем. Так, *понятию* свойственно обстоять по категории тождества, несмотря на то, что философы не раз приписывали ему процессуальность и изменчивость; так, *праву* совсем не присуща черта насильственного принуждения, несмотря на то, что юристы не раз приписывали ему эту черту; так, *Божеству* свойственно объективное единство, несмотря на множество субъективных религиозных воззрений и концепций. *Добро* едино, хотя история создала множество «этических учений»; *красота* объективна, хотя художники видят ее «субъективно» и осуществляют ее по-своему; и *самая жизнь человеческого духа* имеет трагическую природу, вопреки всем попыткам изобразить ее как идиллию.

Понятно, что объективность сверхчувственного предмета усматривается не всеми и познается немногими. Исследование его требует особого подхода, особого восприятия, особой культуры воли и внимания; оно возможно только при спецификации душевно-духовного опыта и удается только тому, кто выработал в себе *умение* *внимать* *сверхчувственному предмету*. Исследуя свой предмет, философия начинает с реального восприятия и подлинного опыта; она останавливается первоначально на единичном восприятии и добивается в его пределах адекватности, стремясь воспринять предмет так, как он есть *на самом деле*, т. е. так, как он есть *для всех и каждого*, т. е. так, как он есть *сам по себе* и как, следовательно, он должен быть правильно и

адекватно воспринят всеми; этим она как бы переселяет содержание предмета в среду испытующей души, чтобы вслед за тем сосредоточить все внимание на усмотрении *сущности* этого адекватно испытанного содержания, на уловлении ее мыслью и на выражении ее словом.

Все это удастся, конечно, не сразу, не всегда и не при всяких условиях; это требует большого напряжения всех сил души, и притом не только позитивного, но и негативного напряжения, т. е. и в смысле интенсивного *участия*, и в смысле произвольного *задержания* той или иной функции. Здесь бывает необходима и своеобразная, утонченная, индуктивно-экспериментальная проверка внутреннего опыта — то скепсис и осторожное, крадущееся вопрошание, то наблюдение за собою, самоанализ и *homo sui*²⁴, то забвение о себе и сосредоточенное погружение в непосредственное переживание предмета.

Но и этого мало. Философ больше, чем всякий другой ученый, должен овладеть силами своего бессознательного, очистить их, придать им гибкость и покорность, сделать их совершенным орудием предметовидения.

В древней философии и ранее еще, в древних религиях, была выношена уверенность в том, что человеку, ищущему познать подлинную природу высших предметов и ценностей, необходимо осуществлять в постоянной внутренней работе особое *очищение ума и души*. Человечество долго и мучительно отыскивало верные пути к такому очищению. История этих исканий полна глубокой значительности: начиная от аскетических упражнений индийских йоги, искавших духовной чистоты через волевое покорение индивидуального тела, она восходит к греческим мистериям с их искупительными жертвами, покаянием и символическим восхождением от мрака к свету. Древние народы знали государственно узаконенные обряды, совершавшиеся ради очищения души всякого, ищущего в жизни предметной чистоты. Христианство, сосредоточившее внимание человечества именно на его внутренней жизни, установило посты, учредило исповедальни и очищающие, подъемлющие душу таинства, И когда современная наука в лице князя С. Н. Трубецкого²⁵ глубокомысленно связывает историю философии с историей религий и мистерии, то она движется по верному пути: ибо *философия с самого начала приняла в себя тот самый предмет, в аффективно-иррациональ-*

ном переживании которого пребывала религия. Философия, по слову Гегеля, есть культивирование *религиозного содержания*, но в иной форме — в форме систематического опыта и разумного, очевидного и адекватного, мыслящего познания.

Вот почему еще древние философы унаследовали от религии вместе с предметом *идею очищения души*; а история превратила ее в глубокую и утонченную традицию. Достаточно вспомнить мистерии пифагорейцев²⁶ и их деление адептов на «акусматиков»²⁷ и «математиков»²⁸; или учение Гераклита²⁹ о том, что познание божественного огня доступно только душе, обладающей «сухим блеском»; или требование Парменида³⁰ об отречении от чувственных восприятий и об обуздании воображения мыслью. Недаром Сократ соединял познание добра с воспитанием души к добру и, следуя за дельфийским богом, начинал с «самопознания»³¹; недаром Платон чтит мистерии и учит о том, что философ при жизни умирает для земного мира³²; недаром Аристотель требовал от философа высшей, дианоэтической³³ добродетели. Это искание живет и в новой философии; достаточно вспомнить медитации³⁴ Декарта³⁵ или глубокомысленный трактат Спинозы об «очищении интеллекта»³⁶. Фихте прямо высказывает эту связь между *знанием* философа и его жизненно-духовным опытом: человек выговаривает в философии только то, что он сам творит духом и жизнью; а Гегель дает немало тонких указаний человеку, ищущему подлинного философского созерцания. Наконец, современная наука о душевных болезнях, в лице осторожного и зоркого Зигмунда Фрейда³⁷, открывает *психоанализ*, как метод, которым человек может не только исцелить и очистить свое бессознательное, но и сообщить своему духу органическую цельность, чуткость и гибкость.

В жизни философа душа является *орудием богопознания*. Естественна и необходима забота о здравии, чистоте и гибкости этого орудия, о его непопачкванности и свободе. Целостно испытать сверхчувственный предмет значит сделать свою душу одержимою им. Но для этого душа должна быть способна к произвольному сосредоточению внимания, к непредвзятому подходу, к целостной преданности предмету, к легкой покорности его зовам и откровениям; она должна владеть и бурями своих страстей, и своими жизненными предрассудками, и своими житейскими попечениями.

Философ должен выковать себе *свободу духа* для того, чтобы наполнить ее силою и славою своего Предмета и на этой силе утвердить энергию своего познания и своего жизненного акта.

Человечество веками вынашивало уверенность в том, что философия есть знание *ценнейших* предметов в их основной сущности; что это знание требует особого, внутреннего нечувственного *опыта*; и что добиваться его адекватности необходимо посредством особого внутреннего *труда* и жизненного *очищения*. И человечество не ошибалось в этом. Все люди различны и своеобразны; каждый чувствует, желает, воображает и думает по-своему; и у каждого желания и чувства руководят воображением и поставляют мысли такой опыт и такие содержания, которые, может быть, субъективно наиболее приемлемы, приятны, а объективно — нередко наиболее неприемлемы. Но при всей этой пестроте субъективных состояний *предмет* остается *единым, объективным и для всех общим*. Люди различны; но предмет один и истина одна. Отсюда необходимость приспособления субъективного своеобразия к объективной природе предмета, необходимость адекватного «переселения» предметного содержания в личный опыт. Для того, чтобы верно познавать, философ должен *жить* так, чтобы его предмет становился его *собственным* жизненным содержанием; он должен *жить тем, что познает*; так, чтобы его *личная жизнь* стала *жизнью предмета* в нем.

Такова основа философии, усмотренная еще пифагорейцами и Гераклитом, выношенная Сократом и Платоном и возрожденная Спинозой, Фихте и Гегелем. Только через признание и соблюдение ее возможна и *философия, и история философии*.

Философия как наука возможна только тогда, если возможен спор о ее предмете; а спор есть *предметное* состязание об истине, допускающее с самого начала, что предмет *един* для двух субъектов, что он *общ* им и что они могут *одинаково воспринять* его, *одинаково зажить* им и *тождественно формулировать* его объективное содержание.

История философии имеет смысл только тогда, если люди, разобщенные душою, эпохою, культурою и языком, пространством и временем, имеют дело с *единым, общим предметом* и могут одинаково переживать его, понимать

видение своих предшественников, усвоивать его и видеть благодаря этому больше, чем виделось ранее; и так накапливать богатство истинного знания.

Философия и история философии покоятся на *живом испытании сверхчувственных предметов*, и притом *важнейших и ценнейших в жизни человечества*. В этом основная природа обеих наук; отсюда и возможность их преподавания.

6

Все это с очевидностью свидетельствует о том, что философия как наука, основанная на *предметном опыте*, не только не чужда жизни, но связана с нею глубочайшею и драгоценною связью. Настоящая, большая философия, заслуживающая своего имени и ведущая к действительной мудрости, слагается в предметном переживании и верном познании тех *ценностей*, через которые *самая жизнь человеческая получает свой смысл и свое значение*; она *исследует то, ради чего человеку и человечеству только и стоит жить на земле*; и исследование это требует от исследователя *подлинной жизни в предмете*.

Именно *опыт* делает философию наукою и вводит ее в глубину жизни. Ибо наука вообще невозможна вне опыта; она питается опытным переживанием предмета, его *систематическим восприятием и созерцанием*. Систематическое восприятие есть уже само по себе *живая и жизненная практика*, воспитывающая душу и населяющая ее предметными содержаниями. Но философ вводится эту практическую именно в те предметные содержания, через которые *жизнь человека есть жизнь*, а не быт, не прозябание и не пресмыкание. Ибо на самом деле *жизнь человека есть не игра естественных сил и не беспринципная борьба за существование, но творческий процесс, протекающий пред лицом Божиим и при участии божественных сил, живущих в человеке*. Жить значит сочетать, соединять подлинную *ценность* с подлинною *силою*; придавать объективно-ценному природу силы и сообщать силе значение объективной ценности и правоты; иными словами: осуществлять *ценность, как побеждающую силу*, и осуществлять *силу, как духовную ценность*. Но именно таково призвание философии, которая исследует *все* в меру его *божественности*

и тем *населяет души людей божественными содержаниями*. Вот почему она является настоящим источником великих жизненных *убеждений*, без которых нет и не может быть достойной жизни для человека. Ибо нельзя иметь убеждение по приказу; не стоит иметь убеждение по суеверию или из страха; его можно иметь только по *самостоятельно испытанной очевидности*. И вот философия, приемля в себя предмет религии, имеет задание открыть *каждому* доступ к *самостоятельному испытанию очевидности* в вопросах *высшего и последнего жизнеопределения*. Этим она соблюдает *автономию личного духа*; но этим она соблюдает и *предмет* религии, преодолевая всяческий нигилизм, релятивизм и беспринципность. Предметный опыт философии есть путь достойный и человеческого духа, и его божественного предмета.

Итак, в основе философии лежит систематическая практика духовного опыта. Однако этот опыт, ведущий философию, совсем не является достоянием замкнутой коллегии ученых. Напротив, философия, посвящающая себя специально этому опыту, может явиться только там, где народ вынашивает или уже выносил зрелый духовный опыт. Быть ученым, быть философом — есть, конечно, состояние личное, индивидуальное; но иметь науку, иметь философию, религию, искусство, нравственную культуру, государство — есть состояние всенародное, национальное. Духовная культура не есть личное, или групповое, или классовое достояние; в своих истинных достижениях она даже *сверхнациональна*. Но по своему опытному источнику, по своему творческому ритму и по своему своеобразию она *национальна*, а в пределах единой, духовно принадлежащей нации она *всенародна*. Духовная культура народа определяется тем, живет он духовным *опытом* или нет; и если живет, то в лице большинства, или меньшинства, или отдельных, исключительных индивидуумов; и притом, интенсивна и предметна эта жизнь или нет. Этим-то состоянием всенародного духовного опыта определяется и судьба национальной философии.

Так, народ, утративший или выродивший свой подлинный и чистый религиозный опыт, будет жить вместо религии пустыми суевериями или мертвыми обрядами; слабый в молитве, немощный в богоиспытании, он будет мертвенно-бесплоден и в *богопознании*: его *философия* будет иметь

скудный и бледный сверхчувственный опыт о Боге, а его философия религии будет нагромождать пустые и мертвые выдумки. Подобно этому, народ, бессильный в созерцании красоты, с незрелым, больным или изуродованным вкусом, будет иметь убогое, уродливое, безобразное *искусство*; лишенный органа к прекрасному, беспомощный в художественном творчестве, он будет не в состоянии ни осмыслить эстетическую функцию души, ни осветить мыслью глубину эстетического предмета. Народ, не выносивший зрелого правосознания, не создавший сильной и духовно верной государственности — не может иметь подлинной и предметной *философии права*: она зародится только тогда, когда для него придет эпоха великой борьбы за правосознание и за настоящую государственность. Там, где царят грубые, жестокие нравы, где молчит любовь и дружба, где царит корысть и беспринципность, не расцветет философское учение о добре; ибо *знание* всегда было и всегда будет зрелым завершением *опыта*, а духовный опыт нуждается в национальной лаборатории и возрастает лишь в атмосфере всенародных достижений.

Философ, подобно поэту, художнику и ученому, подобно политику и пророку, питается, — сознательно или бессознательно, *volens aut nolens*³⁸ — духовным опытом своего народа. Он имеет *родину*, т. е. национальную духовную культуру, в которой сложился его индивидуальный дух, с его любимыми и ведущими предметными содержаниями, с его творческим актом, с его жизненными убеждениями; от этой-то духовной культуры питается — и положительно, и отрицательно — его личный опыт и его личное познавательное творчество. Личный духовный опыт философа в глубине своей связан *происхождением, подобием и взаимодействием* с опытом его родного народа; ему удастся выработать этот опыт и мобилизовать его, осуществить и осмыслить тем легче и тем продуктивнее, чем выше и зрелее духовный опыт его народа. Совсем не случайно, что есть народы, *еще* не имеющие или *уже* не имеющие своей национальной философии; напротив, это естественно и понятно. Учение о *добре* нуждается в том, чтобы нравственность народа выработала себе известный устойчивый уровень не только порока, но и *добродетели*; и если этот уровень настолько низок, что *совесть* — этот орган испытания добра — пребывает в национальном

омертвлении и жизненном бездействии, то даже нравственно-гениальной натуре будет трудно подняться до зрелого учения о добре и зле. Подобно этому, философское учение об *истине* нуждается в том, чтобы *научное знание* достигло в других отраслях высокого и зрелого уровня: ибо *теория познания* вырастает только там, где скопился *опыт истины*, а этот опыт вынашивается не одним философом, а *всеми учеными и всеми мыслителями* данного народа. Так, сокровищница духовного опыта едина и национальна, и философ по своему призванию есть его хранитель, углубитель и истолкователь.

То же самое совершается во всех областях духовной жизни: народ создает своим духовным опытом то содержательное богатство и ту духовную среду, в которой зреет и творит индивидуальный дух героя, художника и пророка; народ сообщает своим философам самый подход к духовному опыту, а философ дает своему народу *углубление, очищение и осмысление* духовного делания. Жизнь народа слагает ту духовную лабораторию, в которой творит потом его вождь — чувством, волею, воображением, мыслью и деяниями. Отсутствие духовных вождей свидетельствует о временном духовном оскудении нации; и обратно: ибо духовная жизнь народа и его вождей образует некое неразрывное предметное единство. Страдания народа питают мудрость вождя; подвиги вождя проясняют и очищают мудрость народа.

Этим решается вопрос о связи между философией и жизнью: ибо жизнь есть *страдание, ведущее к мудрости*, а философия есть *мудрость, рожденная страданием*. Иными словами: жизнь в ее настоящем, углубленном значении есть вынашивание и осуществление духовного, метафизического опыта, т. е. опыта, посвященного божественному. Философия в ее первоначальной, опытной стадии разлита в душах всего народа. Каждый человек, независимо от своего образования и личной одаренности, становится участником национального философского и метафизического дела, поскольку он в жизни своей ищет истинного знания, радуется художественной красоте, вынашивает душевную доброту, совершает подвиг мужества, бескорыстия или самоотвержения, молится Богу добра, растит в себе или в других правосознание и политический смысл или даже просто борется со своими унижающими дух слабос-

тями. Такой человек по *сознанию* своему, может быть, *еще не* является философом, но по *духовному опыту* своему — он *уже* философ. В совокупном всенародном духовном делании нет ни одного усилия, ни одного достижения, которое пропало бы даром: ибо всякое усовершенствование, всякое просветление в человеческой душевной ткани незаметно живет и размножается и передается во все стороны, никогда не исчезая бесследно. Здесь драгоценно каждое личное состояние: ибо все поступает в единую национальную сокровищницу духовного опыта. Поэтому можно сказать, что *духовный расцвет народа есть расцвет его философии*; и обратно: где растет и углубляется настоящая философия, там народ уже накопил прочный духовный опыт и продолжает духовно возрастать, там *жизнь* его пребывает на достаточной высоте, и высота эта измеряется его *философией*.

Философия рождается в жизни духа и от духовной жизни. Поэтому тот, кто желает творить ее, должен прежде всего начать духовную жизнь; он должен *быть духовно*. Но духовное бытие есть такое состояние, в котором душа *любит* божественные предметы, *радуется* им и *творит* их. Поэтому философ должен прежде *быть духом* и *действовать в духе*; и только это может дать ему *подлинный предметный опыт, энергию мысли и право на знание*.

Ибо философия больше, чем жизнь: она есть *завершение жизни*; а жизнь первее философии: она есть ее источник и предмет.

III. О ВОЗРОЖДЕНИИ ФИЛОСОФСКОГО ОПЫТА

1

Когда историк позднейших поколений — через сто или более лет — будет останавливаться мыслью на нашем времени, то он будет изображать его как эпоху *великой духовной смуты*.

И он будет прав. Потому что человечество в наши дни действительно переживает *смутное время*. В результате долгого предшествующего процесса, истоки и развитие которого далеко еще не опознаны, души людей замутились,

и всюду воцарилась, по слову русских летописей, «шатость в умах». Человечество в своей массе, т. е. в большинстве составляющих его индивидуальных душ, *оторвалось от духовной почвы* и потеряло органическую живую связь с самым *корнем духовной жизни*. Современный человек не испытывает *главных, священных предметов*, не любит их, не внимает их зовам, духовно не питается ими и не строит ими своего мирозерцания, своего характера, своего жизненного делания. Может быть, он не видит их потому, что не любит их; но может быть и обратно — он не любит их потому, что разучился испытывать и видеть. Во всяком случае он часто настолько не видит их и не любит их, что совсем перестает верить в то, что они *вообще имеются и обстоят*.

Но именно поэтому в душе современного человека или не остается *ничего священного*, или же *ничтожное* приобретает значение главного и руководящего. Души людей или духовно слепы и пустынные, и тогда они живут инстинктом, наподобие животных; или же они близоруки и увлечены тленом, и тогда ими владеет судьба всего тленного и суетного. Но именно поэтому в них нет *духовно состоятельных и предметно непоколебимых* основ и граней: ни неба, ни звезд, ни горизонта, ни достижения. Нет того, чем действительно стоило бы жить и за что, именно поэтому, стоило бы и умереть; нет безусловно любимого, и потому нет священного огня и священного гнева; нет тех высших обязанностей, обязательность которых была бы субъективно равносильна *неизбежности*; нет и безусловных запретов, от прикосновения к которым душа трепетала бы. Современный человек совсем не живет *духовными необходимостями*, но вращается в пестрых, условных и относительных, не связывающих *возможностях*. Думать, желать, воображать, говорить, слагать стихи и музыку, поступать — всякий *волен* по своему усмотрению; и все, что бы и кто бы ни сделал, будет одинаково «условно хорошо» и «условно дурно». Ибо современный «культурный» человек настолько «умен» и «образован», что для него давно уже *все условно и относительно*; и чего-нибудь абсолютного или хотя бы просто безусловно верного для него нет и быть не может. Добро и зло; право и несправие; высокое и низкое; правда и ложь; злодеяние и геройство — все это до такой степени спорно, субъективно и условно, «зависит от взгляда и вку-

са», что не только *доказать*, но и *различить* здесь что-нибудь — невозможно.

Но именно поэтому за пределами повседневного быта, его мнимых благ и двусмысленных принципов современный человек не видит ни *смысла жизни*, ни *цели жизни*; и не ищет их; и не думает о них. Его воля, внутренне раздробленная и ослабевшая для духовных побуждений и мотивов, гонится за теми мелкими целями, которые подсказываются ему личными потребностями и страстями и которые на самом деле не строят жизнь, а только разрушают ее. Ибо за мелкою целью укрывается мелкая, но упорная страсть и извилистая, беззапретная линия поведения. Вихри мелких целей и страстей скрещиваются, ожесточенно борются, условно и временно, полупредательски солидаризируются, вредят друг другу, государству, культуре, человечеству и уносятся временем в то накапливающееся прошлое, которое чревато для всех нас и для наших потомков грядущими бедами.

И в основе всего этого лежит какая-то наследственная духовная разочарованность у людей, никогда и не испытывавших того, от чего они отвернулись, наивно поверивших, что духовная слепота есть признак умственной зрелости и бескрыло разлюбивших духовный полет. *Человечество перестало испытывать, видеть, любить и творить главные, священные, зиждущие предметы; оно не верит в их объективную реальность, в их исследимость, в их сущую прекрасность, в их самоценность, в их жизненную силу, в их спасительность.* И отсюда всеобщая смута, всеобщая шатость, духовное разложение; подлинное горе от мнимого ума.

Слагается *порочный жизненный круг*: от слепоты беспомощность; от беспомощности несчастье; от несчастья ожесточение; от ожесточения слепота. А для того, кто духовно слеп, всякое искушение непосильно и все зовы зла неотразимы. Затруднения пространства и времени, законы инстинкта и хозяйственные механизмы доделывают остальное, и человечество сползает вниз по наклонной плоскости.

2

При таком положении дел и при наличии такого духовного диагноза философия наших дней должна высту-

пить и установить, что вопрос об объективной реальности и объективном значении духовных предметов есть вопрос философический и что разрешать его помимо философии, ее опыта и ее исследования невозможно; во всяком случае — претенциозно, легкомысленно, несостоятельно, смешно. Природа добра, художественной красоты, истины, права и государства и вообще всех содержаний, совместно слагающих духовно зримую земную ризу Божества, исследуются философией и *только* философией; это предметы ее специальной компетенции; это вопросы ее ведения и ее решения. Сомнение в бытии этих предметов есть философическое сомнение, которое обязано осознать свою природу; отрицание этих предметов есть решение философического вопроса, философски даже не поставленного теми, кто его якобы решает.

Философия должна установить здесь свою непререкаемую компетентность и, далее, явную некомпетентность некомпетентных; и вслед за тем поставить весь вопрос заново и по существу.

Ибо, в самом деле, здесь древняя, исконная, неоспоримая домена³⁹ философии; здесь ее, именно ее опыту открытый, предмет; здесь ее тысячелетняя лаборатория; здесь ее служение, ее сила, ее заслуга и слава. В этой лаборатории все драгоценно и утонченно, все требует облагороженного подхода, очистительного напряжения, предметной сосредоточенности и духовного горения; здесь все сложно, глубоко и ответственно; и *каждый* человек без исключения, по самой духовной природе своей, должен добыть, заслужить, выработать себе доступ в нее. Опасность здесь, конечно, в том, что каждый человек приобретает этот доступ *в самом себе и через самого себя*, в темной непосредственности своего одинокого самоуглубления; и потому он оказывается почти *безнадзорным* и *бесконтрольным* в своем внутренне-духовном делании; во всяком случае — недоступно замкнутым для большинства. В своей душевной и душевно-духовной жизни каждый человек уединен и непрозрачен; и трудно бывает людям сказать о чужой душе — пещера ли это, в которой тлеет колдовской огонь, или келия, в которой возжжена молитвенная лампада. Высказываясь о духе, человек может или совсем не подозревать, что тут нужен особый духовный подход, что здесь особый *опыт*, требующий особой культуры; или, зная это, он

может вообразить, что он уже приобрел этот опыт или даже удостоверился в чем-то, тогда как на самом деле он ничего не испытал и ничего не увидел. Ибо иметь естественное право на духовный опыт и естественную способность к нему не значит еще осуществлять это право и укреплять эту способность.

И так возникает эта, столь распространенная в наши дни духовная болезнь, сочетающая *самоуверенную претенциозность* в вопросах духа с *наивною слепотою*. Судящие о духе оказываются *само-уверенными*, ибо без общения с предметом уверенность не может стать *предмето-уверенною очевидностью*. Они *наивны* потому, что не просто не знают духовных предметов, но не знают и об этом своем незнании; и дважды незнающие, *слепые* и к предмету и к себе, они судят о нем так, как если бы они все видели и знали. Но именно поэтому они *претенциозны*, ибо, неосновательно посягая, они утверждают небытие духовных предметов, тогда как на самом деле они не имеют основания утверждать ни их бытие, ни их небытие.

Так слагается духовная язва нашего времени — эта самодовольная слепота в восприятии земных риз Божиих; имя этой слепоте — *пошлость*.

3

Этой наивной и претенциозной слепоте философия должна противопоставить *подлинный и предметный духовный опыт*.

Но для этого ей самой необходимо осуществить некоторое самопреодоление.

За последние полвека философия сама почти не работала в своей настоящей лаборатории. Пережив кораблекрушение в морях немецкого идеализма, пройдя через пустыни материализма и узкого позитивизма, философия вернулась домой растерянная и напуганная, удрученная теоретико-познавательными страхами и *подавленная* неокантианскими вопросами и запретами. Долгое время она не решалась войти в свою лабораторию и подойти к своим драгоценным предметам. Она предалась многолетней гносеологической рефлексии. Ей все казалось, что знание о знании предшествует знанию предмета; что, не изучая самого предмета, можно и должно сначала узнать о том,

что такое *знание* и что такое «предмет вообще»; что опытно пустая или не воспитанная душа может извлечь из себя что-то необходимое для знания и науки. И вот она долгие годы рассматривала свои основные логические категории, принимая их за «орудия» и «инструменты» своей лаборатории: то сомневалась в их пригодности, то чистила их, то располагала их в известном порядке и любовалась ими; то она принималась доказывать себе, что ими можно сделать кое-что, хотя и не главное; и ничего ими не делала; и вслед за тем она пыталась высказать нечто о предмете, но не из предмета, а из анализа своих «орудий» аргюги и т. д. И все это происходило, по-видимому, от того, что философия, оторвавшись от предметного опыта, сама потеряла живую уверенность в бытии и в объективности своих предметов; и уже казалось, что, может быть, и в самом деле их нет, как нет и насыщенного ими опыта, а есть только условно допущенные сознанием, имманентные сознанию, предметно-образные содержания...

Эта *гносеологическая рефлексия, не вскормленная живым общением с предметом, была обречена на несущественность, отвлеченность и бесплодность*. Живой опыт философического знания не культивировался; плыть, не вступая в воды предмета, не удавалось, и абстрактные рассуждения о неосуществляемом плавании были беспредметны и мертвы. Люди, говорившие от имени философии, теряли самое главное — *предметную интенцию*⁴⁰ и заботились более всего о *непротиворечивости* и *систематичности* своих произвольных построений, так, как если бы непротиворечивость и систематичность самого предмета были им уже известны с самого начала. Эти рассудочные комбинации обходились без духовного опыта, и соответственно с этим духовная жизнь не получала от них ни углубления, ни чистоты, ни содержательного научения. Понятно, что такая философия только разочаровывала живые души в духовных путях и предметах и этим только содействовала углублению современного духовного кризиса.

Итак, чтобы помочь человечеству выйти из духовной пошлости, философия должна сначала сама выйти из мертвенной пустоты и отвлеченности. Она должна мужественно и спокойно вступить в свою древнюю лабораторию и предаться со всею сосредоточенностью, энергиею и чувством ответственности *исследованию своих основных ду-*

ховных предметов. Праздное конструирование возможных и субъективно привлекательных комбинаций должно замениться выдержанным и героическим исследованием по существу.

Это значит, что философии предстоит опять положить в основание своей работы *духовный опыт* и для этого философы должны взрастить его в себе во всей его подлинности и требовательности.

Ведь настоящая философия ничего не придумывает, не устанавливает произвольно и не строит воздушных замков по личному вкусу и усмотрению. Она исходит от особого и утонченного, но *подлинного и предметного опыта*, добывая его, возвращая его, очищая и познавательно эксплуатируя его, так, как это подобает настоящей науке. С этим опытом она связана как с единственным источником материала, как со своею плодоносящею почвою. Через него она получает и берет свой предмет. Без него она пуста, мертва и даже зловредна.

Этот опыт, как и во всех науках и во всей человеческой жизни, переживается *личною* душевною и душевно-телесною тканью; и постольку он неизбежно и неизменно *субъективен*. Но эта субъективность характеризует только общий способ взятия и осуществления и сама по себе отнюдь не предустанавливает искаженности или ложности взятого содержания. Так, например, испытать логическое понятие значит испытать его лично, пережить его субъективно; но это совсем не значит пережить его искаженно или испытать его ложно. Испытывающий добро и зло еще не обречен тем самым на ошибку; и ликующий от прикосновения к художественной красоте, может быть, пережил ее предметно. Субъективность означает *возможность* заблуждения; но *не* означает *необходимости* искажения. Субъективизм опыта, бесспорно, *опасен* для предметности; но совсем *не враждебен* ей при всех условиях и тем более не несовместим с нею.

Однако *личный* характер философического опыта не следует рассматривать только как грустную неизбежность, это есть в то же время первая гарантия его подлинности. То, что философ исследует, он должен испытать *сам*, не полагаясь ни на кого другого и ни на чьи показания. В общении с предметом никто никому никого не заменяет и заменить не может; таков общий закон духа, духовной

культуры, всей науки и — в частности — философии. Самое правдоподобное известие из самых добросовестных уст не может освободить исследователя от приобретения собственного, *самостоятельного и непосредственного* предметного опыта. А в философии, где всю работу предстоит начать с самого начала, это требование получает особенное значение. Кто бы, например, ни уверял меня, что совесть дает разным людям разноречивые показания, я должен сам покрыть это *лично-подлинным опытом*, не заменяя его ни домыслом, ни воображением. Да и кто же, будучи серьезным философом, поверит другому на слово, что два противоречивых тезиса могут быть вместе истинными, или что здоровое правосознание допускает предательство, или что религиозность по природе своей лицемерна — поверить и не поспешить проверить и покрыть это лично-предметным опытом? Решение придет, конечно, не от личного испытания, *как такового*; хотя без него оно тоже не может состояться. Решение придет от некоей, имеющей центральное значение, *встречи между подлинным составом личного субъекта и подлинным содержанием духовного предмета*, встречи, имеющей произойти в функции и в терминах лично-душевных сил.

Эта встреча и порождает необходимый для философии подлинный и предметный духовный опыт.

4

Именно *подлинность* философического опыта открывает его первоначальную, *исходную онтологическую природу*.

Все, что составляет и живет в субъективной душе смертного человека — все имеет психическое *существование*, но не все имеет *духовное бытие*. Ибо духовное бытие отличается от существования по природе своих *содержаний* и соответствующих им способностей, по *способу* своего *обстояния*, по своей *подлинности* и *силе*. Для того, чтобы убедиться в этом, необходимо, конечно, приобрести самый *опыт бытия*; исходить же из одного опыта существования, как такового, совершенно недостаточно.

Качественное отличие бытия от существования в человеческой душе определяется прежде всего *объективной разнозначительностью* ее содержаний и способностей.

Так душа человека может жить (и слишком часто живет) *ничтожным и по-ничтожному*. Она не различает того, что *на самом деле* есть *главное и самоценное* в жизни, от того, что на самом деле в жизни не существенно, не самоценно, второстепенно или совсем незначительно; и не различая, она обращается к субъективно-важному, нравящемуся и приятному, как если бы оно заслуживало настоящей преданности. Тогда жизнь ее слагается так, как если бы мир имел одно только измерение, определяющееся ее личными удовольствиями и страстями или соответственно удовольствиями и страстями других людей. И весь остальной состав жизни и мира, измеряющийся высшими, объективно-значительными мерилами — достоинством, величием, благом, красотой, свободой, ответственностью, правом, умудряющим страданием и смертью, — для нее, субъективно, как бы не существует; она его не видит, им не живет, отвертывается от него. Она живет ничтожным: поверхностными содержаниями и незначительными целями, превращая для себя пустяк в главное и воспринимая главное как пустяки. В лучшем случае она прилепляется к ничтожному тою страстною преданностью, которая соответствует и подобает объективно-значительному: она творит кумира. В худшем случае самое предпочтение ее остается столь же ничтожным, сколь ничтожен ее предмет: она *поверхностно* относится к *незначительному*, не входя в глубокие и цельные отношения к существенному и главному. Все ее жизненные содержания оказываются духовно праздны и ненужны; это шелуха без зерна, видимость без сущности, *существование без бытия*: они в высшем смысле *беспредметны*. И жизнь ее протекает в столь же праздном и ненужном перебирании этих беспредметностей, в состояниях эфемерных, духовно бесследных, религиозно мертвенных, слагающих омут скуки и ничтожества; такая душа *существует*, но, по-видимому, *не имеет бытия*.

Для того, чтобы *быть* и иметь *опыт бытия*, необходимо жить существенным и по-существенному, главным и по-главному; для этого необходимы содержания *другой природы* и соответствующие им *другие* состояния. Для того, чтобы приобрести опыт бытия, человек должен найти в себе те силы и способности, которыми воспримется, переживается и творится объективно-значительный состав мира и жизни; и далее он должен сосредоточенно — цельно и

интенсивно — зажить этим новым предметом, превращая его в центр или фокус своей жизни. Тот существенно-главный состав мира и жизни, через присутствие которого и жизнь и мир являются ризой Божией, предметно тайною, насыщенным иероглифом, этот состав дается *каждому* человеку, но усматривается, ищется и берется сравнительно *немногими*. Он может быть взят только тем, кто повернется к нему *главным* центром своей личности, последними истоками и корнями своей любви и воли; *главное в предмете* отзывается только на *главное в личной душе* и, отозвавшись, оно вовлекает этот центр личного духа в такие состояния, закономерности и связи, которые в свою очередь оказываются *главными* для всей остальной жизни и судьбы человека. У каждого человека есть некоторые *духовно главные* силы и способности, которыми он, напрягая их *по главному* и центрально отдавая себя, может воспринять *существенно главный* состав мира и жизни. Для того, чтобы совершить это, необходимо: обрести в себе исходную, первоначально данную сферу духовного бытия; перенести в нее центр своего жизненного внимания и делания; подчинить этому духовному центру в себе все остальные цели и задачи и обратиться всею энергиею своего существа к тем особым содержаниям, которые откроются этим духовно главным силам и способностям души. Обратившись к ним так, человек будет не только «наблюдать» и «замечать» в интересах описания и познания. Нет, он начнет *по-новому быть*. И эта сфера *нового духовного бытия*, погашающая пустоту былого существования, даст ему *философический опыт* и откроет ему доступ в философическую лабораторию.

Для того, чтобы познать духовный предмет, необходимо самому духовно быть и организовывать в себе подлинный духовный опыт.

Ибо содержания, исследуемые философиею, имеют особую природу, особое качество, особые измерения. Нельзя испытывать, описывать и познавать их, не имея для этого необходимых и соответствующих духовных органов. Эти духовные органы — очевидность, совесть, правосознание, художественное видение, любовь — в зачатке и в возможности большего даны каждому; но они должны быть укреплены, приспособлены, изошрены и поставлены в центр жизни тем, кто желает посвятить себя философскому знанию.

И тот, кто переместит свой жизненный центр в эти способности и в их осуществление, не только обновит *качество* своих жизненных содержаний, но приобщится новому *способу быть* с его особою *подлинностью*, своеобразными *законами* и исключительною *силою*.

5

В зачатках очевидности, совести, правосознания, художественного видения и любви каждый человек *уже* имеет в себе особый *способ бытия* — *modus essendi spiritualis*⁴¹. От него зависит усмотреть этот способ, принять его и им построить свою личность; или оставить его без внимания и пребыть в *ничтожестве* существования; или же, наконец, усмотрев эти способности, отвернуться от них, возненавидеть их и утвердить свои личные силы на их гонении и попрании. Первый исход осуществит бытие духа во благе; третий — бытие духа во зле. Второй исход явит самоопределение духа к существованию вне бытия.

Духовная способность уже и в первоначальном, глухом, неосознанном, неукрепленном своем состоянии отнюдь *не пуста* и *не бездеятельна*. Но *содержание* ее остается неуловимым для личного сознания и потому проблематичным для него, неопределяемым, часто томящимся и томящим душу; а *деятельность* ее остается непризнанной, часто подавленной и потому слабой, неуверенной, отчетливо выступающей только в отрицании — например, укор совести, эстетическое отвращение, критика чужой познавательной ошибки. Однако и в таком виде духовная способность есть *живая сила личного бытия*, срывающаяся, как сила, *всем дальнейшим* ростом и формированием. Это есть некая *глубокая бессознательно-духовная сфера* реальности в человеке, к которой ее носитель не умеет или не хочет обратиться; но именно к ней с изумительной уверенностью обращались и всегда будут обращаться духовные вожди человечества, *безошибочно ведая чужое сердце* и призывая *чужую волю* к духовному перерождению. Человек *искони* имеет в себе *духовное бытие*; ему предоставлено определить себя к нему и утвердиться в нем или предпочесть иное. Но в этом *духовно-эмбриональном* состоянии он *уже* причастен и бытию, и предмету, подобный морю, таящему на дне своем кораллы и жемчуга, которые суть *в* море, и *через* море и *из* моря, но сами не суть море.

Понятно, что духовное бытие крепнет и расцветает в душе и начинает перерождать всего человека, как только он обращается к духовным предметам, приемля их и предаваясь им. Этот процесс состоит в том, что человек, отправляясь от первоначального зерна своей духовной реальности, осуществляет систематическое единение с духовным предметом, доводя это единение до сущего единства, до живого тождества.

Для этого необходимо взять предмет живым опытом, пережить его не в предположении или в гадании, а стать лицом к его лицу и утвердить его в себе онтологически. Тогда человек вводит духовный предмет в ткань своего собственного существа, но так, что предмет поглощает душевные силы субъекта, занимая собою всю его восприимчивость, заполняя весь его внутренний горизонт, превращая всякое само-чувствие в предмето-чувствие. Все, чему субъект может внять, т. е. все, что он может «принять внутрь», сводится к предмету, на который и переходит не только опытно-познавательный, но и онтологический центр тяжести. Субъект чувствует себя так, что для него самого в нем самом не осталось места из-за предмета; предмет как бы «стал», а субъект как бы «прекратился»; на самом же деле в субъективной, душевно-духовной или, даже более, телесно-душевно-духовной ткани развернулось содержание предмета с его особыми законами и с его живым ритмом. Субъект насыщается духовным предметом так, что заживает им, как самим собою; он не отрывает себя от него, не противопоставляет его себе; и когда отличает его вообще от себя, то это состояние рефлектирующего разделения определяет сам как состояние отпадения, неполноты, недостаточной духовности; ибо полнота духовного опыта определяется как живое тождество духовного предмета и субъективного духа.

Человеку и в обыденной жизни свойственно, как это не раз отмечалось в психологии, непроизвольно вживаться, сосредоточенно вчувствоваться в содержания опыта, уходя в них до самозабвения или даже художественно отождествляясь с ними. Эта душевная способность, вообще говоря, может ускользнуть от духовного контроля, стать нецелесообразным, капризным психическим механизмом и привести человека к неприятным истерическим явлениям или даже психонейрозам. Но руководимая и организуемая

духовно, эта способность является драгоценнейшим духовным даром к саморасширению, самообогащению и духовной объективации. Все великие свершения в духовной истории человечества были осуществлены именно ею; и в частности, настоящий философический опыт состоит именно в осубъективлении духовного предмета и, соответственно, в опредмечении философствующего субъекта; в результате этого единения предмет онтологически овладевает субъектом и благодаря этому субъект познавательно овладевает предметом.

Тайна подлинного, великого философического опыта состоит в том, что человек лишь постольку познает философский предмет, поскольку приобщает ему самые корни или истоки своего духовного бытия. Чтобы познать духовный предмет, надо быть или стать сродни ему; надо уподобиться ему, приобрести его существенные свойства, стать его живым органом, его верным эхом, его адекватным медиумом, его творческим носителем. Искренно, интенсивно и цельно переживая какой-нибудь духовный предмет, человек оказывается одержимым этим предметом; и если он изволением своего духа приемлет эту одержимость, то он сам становится видоизменением предмета. Он и предмет его — суть одно; он пребывает в своем предмете; и предмет его пребывает в нем, но предмет свой он испытывает как нечто большее, чем он, подобно тому, как Отец больше Сына, очаг больше искры, субстанция больше модуса⁴², всеобщее больше единичного, род больше вида, родина больше патриота. Философский опыт дается только через самоотожествление духа с предметом, и притом не через условное, или воображенное, или обставленное обессиливающими резервациями отождествление, но через безусловное, реальное, определяющее жизнь и судьбу личности. Философический опыт, как и всякий опыт, должен быть познавательно предметен; но он может быть познавательно предметен только тогда, если сам носитель его станет предметным по бытию. В этом смысле философская гносеология есть подлинная онтология: ибо философу необходимо предметно испытывать, чтобы верно знать; и предметно быть, чтобы верно испытывать.

Подобное доступно подобному и открывается только ему. Если бы в составе человеческого существа не было материи, то ему нечем было бы испытать, увидеть и познать материальную природу внешних вещей: человек до известной степени сам есть вещь и только благодаря этому он может стать естествоведом. Только существо, имеющее *душевное* бытие, способно испытывать и постигать психическое как предмет: способ бытия объекта и способ бытия субъекта должны быть однородны для того, чтобы состоялся предметный опыт. Так обстоит и в духовной лаборатории: если бы в составе человеческого существа не было духовного способа бытия, то ему *нечем* было бы испытать, увидеть и познать духовную природу «внутренних» предметов; человек, *не* живущий своим духовным составом и потому лишенный духовного опыта, будет обречен на беспредметность и «достижения» его будут пустою и вредною мнимостью. Именно поэтому *художник*, мертвый духом, будет всегда поэтом пошлости, и никакая «талантливость» не спасет его от этого, не заполнит его пустоты и не выведет его на стезю величия; и подобно этому, *правитель*, не живущий духом, всегда будет недооценивать духовную автономию как основной закон индивидуального и общественного бытия и всегда будет склонен пренебречь политической воспитания и обратиться к деспотическому подавлению свободы; и подобно этому, духовно слепая *наука* всегда будет превращаться в ворох ничтожных мелочей, в беспринципную лабораторию, обслуживающую личную жадность и общественный порок.

Но именно поэтому и философ духовно пустой, слепой и мертвый — есть *не* философ, а софист и лицемер, порочный фантом. Ибо есть звания и призвания, *обязывающие* к интенсивному и цельному духовному бытию: таковы звания священника, пророка, художника, ученого и правителя. Только духовный опыт открывает человеку природу Божества, дает ему доступ к эстетическому предмету, вводит его в предметный ритм мира, указывает ему высшие цели жизни и раскрывает перед ним самое естество человеческого духа в его основных свойствах и законах. Но именно таково и дело философа, сосредоточивающего в себе и религиозный, и художественный, и научный, и нравственный, и

политический, и педагогический опыт — весь духовный опыт, во всем его объеме, для его *научного раскрытия*. И подобно тому, как священник, художник, ученый и правитель, пребывая на высоте своего звания, *являются живыми очагами духовного бытия*, излучающими огненную энергию, так и *все настоящие философы*, от Конфуция и Гераклита и до наших дней, всегда были и всегда будут излучителями духовной энергии, *очагами подлинного бытия*: ибо они являются живыми средоточиями духовного опыта.

Подлинный духовный опыт уже предполагает в душе человека известный минимум духовного бытия и в свою очередь сообщает ей *онтологическую полноту и силу*. Приемля божественный предмет «*всем сердцем, всю душу и всем помышлением*», человек устанавливает в себе некое *нерасторжимое живое единство с предметом*, которое обновляет его и *делает его чем-то несравненно большим, чем он был сам по себе*. Целостное наполнение чувства делает его чувство *предметным*; целостное приятие волею делает его волю *предметоодержимую*; поглощенное воображение видит невиданное; *насыщенная мысль* мыслит из неизреченной глубины; органы внешних ощущений различают за преходящими видимостями вещей сокровенную предметную сущность. Вся душа заживает природою Предмета как своею собственною, утверждая *его* содержание как свое и обновляя тем свои побуждения, свои мотивы, свои мерилы, отношения, решения и дела. Предмет своим лучом как бы пронизывает и *прожигает* душу до дна, сожигая в ней *противопредметное*, разоблачая беспредметное и насыщая своим светом, своею интенсивностью и чистотою все остальное. Прожженная этим лучом, душа приобретает тот «сухой блеск», о котором свидетельствовал Гераклит, и сама становится как *огненный уголь*. Эта огненность уже не есть просто ее личная страсть, но *интенсивность Предмета, сущего в ее виде*: она и разгорается и угасает не своею склонностью и несчастьем, но *мерю самого предмета*. Жизненный ритм одухотворенной души есть *предметный* ритм, подобно тому, как предметен ритм движений в художественном танце. Подобно алмазному, чуть видимому в темноте, но ослепительному в солнечном луче, человеческий дух приобретает неопишемую *самобытность* и являет *сверкающую силу* именно тогда, ког

да он *целостно одержим очевидностью духовного Предмета*. Тогда его ум приобретает, по слову Антония Великого⁴³, свою «умную силу» и становится тем «*боголюбивым умом*», *любомудрие* которого действительно заслуживает великого имени *философии*.

Настоящий философический опыт всегда состоял в *одержимости души духовным Предметом*; настоящее философское видение всегда доводилось до *очевидности духовного Предмета*. И в основе этой одержимости всегда лежала *страстная преданность Предмету*, именуемая *любовью*, которая и порождала необходимые напряжения *воли* в испытании, созерцании и познании; и естественно, что *воля*, доведя Предмет до очевидностного переживания, оставалась *верною ему* и далее: и в слове, и в поступке, и в смерти.

Именно этим объясняется то *исконное единение* между философией и религией, которое превращалось в их *живое и жизненное единство* у всех великих учителей и религии, и философии. Это единство определяется формулой: *целостная духовная предметность души*.

7

Естественно, что зрелый философический опыт, доведенный до надлежащей интенсивности, цельности и предметности, сообщает человеческому духу целый ряд свойств, черт и способностей, проявляющих *подлинность его бытия*.

В духовно-предметном опыте человек находит основу для *верного само-утверждения*: в *нерушимое основание* своего существа он полагает некое *объективно-определенное содержание*, которое само по себе *заслуживает* *цельной преданности* и вот, действительно, эту заслуживаемую преданность от него *получает*. *Вживаясь* в это предметное начало и *вживая* его в себя, человек приобретает *уверенное чувство* своей *объективной правоты* в главном: он утверждает свое *сродство* с *объективным благом*, свою *однородность* и, в конце концов, свое *живое единство* с ним. Этим он *упрочивает* в себе *чувство собственного духовного достоинства* и *приобщается* тому *уравновешенному уважению* к своему личному началу, *незримое присутствие* которого *предохраняет* его от падений и *заставляет* других людей *питать* к нему *невольное почтение*.

От постоянного и напряженного общения с предметом в его душе возникает *живой центр духовных содержаний*, как бы алтарь или храм личного духа, от которого и к которому движется вся его жизнь. Духовный предмет *центрирует* личную душу, сообщая ей такую центральную ценность, которая образует в ней доно подлинного личного бытия. В нем личная душа имеет критерий истинной реальности; сюда она спасается от пугающих призраков земного существования, чтобы удостовериться в их *небытии*; здесь она почерпает силу в минуту слабости и страха; отсюда она решается и идет на смерть. Этот центр управляет личной жизнью; или, вернее, *личный дух сам управляется из этого центра*. Руководимый из него «даймоническими» указаниями, философический дух является *автономною* и в то же время *предметно самоопределяющеюся силою*. Предметный центр его личности господствует в нем, и он не противопоставляет себя ему; поэтому *этот предметный центр* есть его *власть* и в то же время *это он сам*; сила этой власти есть его собственная сила, но это сила несравненно больше той силы, которою он располагает вне этого центра и помимо этой власти. Предметный центр сообщает человеку некую сверхобычную духовную мощь, простирающуюся и на него самого, и на других людей. И пока человек пребывает в своем предметном центре и живет из него, он не испытывает его как инобытие; он воспринимает его *сверхличную* природу лишь с того момента, как он внутренне из него *выходит*. Именно поэтому даймоний Сократа давал ему одни только отрицательные указания⁴⁴.

Зрелый духовно-предметный опыт, властно центрируя человека, превращает его жизнь в *самостроительство*, а его творчество — в *предмето-осуществление*; в действительности же то и другое совпадает: он чувствует себя подлинно живущим только в предметном творчестве, и обратно: предметы реализуются именно через то, что он сожигает в их становлении свою жизнь. Его жизнь есть, в сущности, жизнь Предмета в нем; так что, исходя от субъекта, можно сказать: личный дух созидает себя при помощи Предмета; а исходя от объекта, можно сказать: Предмет созидает себя при помощи личного духа. При этом единственность предметного центра и главенство его над *личною перифериею* ведет к тому, что *искра предметного огня пронизывает все слои личности* и, властно сверкая в

ее проявлениях, придает ей черту высшей *искренности*, прозрачности, правдивости и прямоты. Личный дух, живя из Предмета, не двоится, не колеблется, не делится на обманнные фантомы и не расплывается на множество ничтожных случайностей: он обнаруживает подлинную неделимость и выступает в качестве *организованной индивидуальности*.

Таким образом, духовный опыт сообщает философу черту преимущественной и высшей силы. Дух, утвержденный на Предмете, является не рыхлою средою, не «жидким» началом и не «сыпучим» телом; жизнь его не течет, не обсыпается и не растворяется, она разворачивается в ряд предметных поступков, в неуклонное духовное восхождение. Не его вовлекает, заражает, влечет и гонит поток обстоятельств; но он останавливает собою все воздействия, идущие от инобытия, преломляет их, отбирает, приемлет или отвергает и, формируя, направляет по-новому. Не поводы его подчиняют, а он создает новые причины; ибо он есть больше, чем естественный итог скрестившихся причинных рядов: в нем живет творческое начало, от которого завязываются и уходят в будущее ряды причин и воздействий. Воля его, конечно, не имеет абсолютной свободы; но она всегда сохраняет *свободу неограниченно-превозмогающей силы*: она способна двигаться по линии *наибольшего сопротивления* и, осуществляя это движение, она обнаруживает этим *свою независимость*, свое единство с *предметною необходимостью* и тем самым *свою предметную свободу* по отношению к чужеродному инобытию.

Это можно называть, если угодно, «силою воли»; однако это есть нечто больше, ибо *сила* ее утверждена здесь во *благ*. Это можно называть и «характером», но *предметным* или *духовным* характером. Ибо духовный опыт воспитывает не просто «сильную» личность, но личность, сильную в предметном служении, которая потому сильна в служении, что служение принято ею добровольно, стало ее собственною сущностию и превратилось в свободное горение. Именно через это она сделалась больше, чем она сама.

Вынашивая и вынося в себе духовно-предметный опыт, философический дух приобретает особый закономерный жизненный ритм — в чувствовании, в восприятии, в видении, мышлении, слове и действии, — который нередко

делает его для других странным, темным, недоступным, то чудесным и неотразимо привлекательным для одних, то неприятным и ненавистным для других. Своеобразие этого личного строя выражается нередко в самом отношении личного духа к его собственному телу, в этой преимущественной властности, независимости, в способности к забвению, отвлечению, нечувствующему уходу. Пребывая в духовном опыте, человек способен не страдать от того, что неизбежно вызывает страдания в других, радоваться без явных причин и испытывать глубокий покой там, где другие изнемогают от мертвящего страха. Имея в себе и перед собою предметную градацию целей и ценностей, он слагает свою жизнь не из субъективных «возможностей», но из духовных «необходимостей», так что он чувствует себя правым только тогда — но тогда уже *окончательно* правым, — когда, выбирая и решая пред лицом своего центрального алтаря, он иначе не может и не хочет, и не может иначе хотеть, и не хочет иначе мочь. Именно это центрально-предметное судилище выводит его из царства внешних случайностей и безначально-хаотических внутренних возможностей и уводит его к духовной *необходимости* жизненного ритма и жизненных свершений. Именно это судилище делает его самого компетентным судьей, придавая ему способность к неличным оценкам, противоположным решениям и сверхличным поступкам; именно оно ведет его к занятию окончательных, недвойщихся позиций и научает его пренебрегать вопросами пользы, опасности и смерти. Вступая в эти высшие необходимости по добровольному приятию их и через самоотжествление с их источником, он сливает свою личную судьбу с земною судьбою своего Предмета; он утверждает себя в качестве его живого органа и его *победу* полагает в *своей* верности ему. Ибо духовный опыт учит, что сущая победа может иметь обличие внешнего поражения и что духовное поражение может принять видимость внешней удачи. На самом же деле духовная, т. е. сущая победа всегда остается за тем, кто был предметно прав и пребыл до конца в верности предмету. Вот откуда у великих философов возникает этот непоколебимый оптимизм; эта уверенность в том, что с ними не может случиться никакого зла; это спокойное настаивание на том, что победа обеспечена и что поражение невозможно. Этот оптимизм порожден не земною близорукостью или неверным внеш-

ним наблюдением, но духовною дальноркостью и верным созерцанием Предмета. И древний грек, начертывая на могиле Леонида бессмертное двустиие⁴⁵, провозглашавшее бессмертие умерших, был движим именно этим созерцанием высшей духовной реальности. Именно в предметной правоте человеку дано обетование и осязание подлинного бессмертия, превращающего самую смерть в потенцированное духовное бытие.

Так, недвоящийся духовный ум есть подлинная основа сильного характера, а благородный характер есть подлинная основа философического опыта. Настоящий философ выговаривает только то, что составляет содержание его духовного опыта; он утверждает, прежде всего, свое предметное бытие; удостоверяет его своим предметным деланием; и затем формулирует увиденное в своём предметном философствовании. Таков смысл этого основного философского правила: «*primum esse, deinde agere, postremo philosophari*»⁴⁶. И только соблюдая это правило, можно понять, почему Конфуций утверждал, что Тао⁴⁷ есть источник силы; почему Гераклит требовал огненности от философствующего духа; почему Сократ ушел из жизни победителем, утверждая, что «для человека доброго — нет зла ни в жизни, ни по смерти»⁴⁸; почему православная восточная аскетика настаивает на том, что молитва есть источник подлинного знания и подлинной силы; в чем заключается нравственный смысл учения Спинозы о *natura naturans*⁴⁹; что имел в виду Фихте, когда говорил о субстанциальности субъекта и о «нравственном миропорядке»⁵⁰, почему Гегель настаивал на онтологическом значении ухода личности в субстанциальную всеобщность, хотя бы этот уход получал видимость земной смерти⁵¹; в каком смысле Шопенгауэр⁵² полагал одиночество мерилom духовности — и многое, и многое другое.

8

Таков философский опыт в его столь простом и в то же время столь сложном, классическом строении и значении. Этот опыт приобретаетс_я длительным и целостным деланием — деланием целой жизни. Естественно, что человек, предающийся такому опыту, неизбежно начинает быть по-новому; по-новому воспринимать сначала одни духов-

ные предметы, а потом, через них, и все остальное, по-новому видеть, по-новому утверждать себя и жить. Он совершает переход в другой способ бытия. μεταβασις εἰς ἄλλο γένος⁵³, а вследствие этого и в другой способ *делания*.

Духовный опыт, при систематическом и цельном культивировании его, всегда дает человеку *очевидность* и основанные на ней *окончательные убеждения*. Такие убеждения строят личность, обновляют ее фундамент, сообщают ей грани, утверждают ее несломимую силу и уводят ее к *исповеданию* и *поступку*. Только настоящая предметная очевидность порождает настоящую философию; но раз состоявшись, она пронизывает своим лучом *все* слои души, сверкая и в мысли, и в слове, и в деянии. Призвание философа состоит в том, чтобы *быть одержимым очевидностью духовного Предмета*; но это и значит быть истинно религиозным человеком. Такая одержимость захватывает и определяет всю жизнь человека: она заставляет его *мыслить* именно то, что имеется в систематически удостоверенном опыте; *говорить* именно то и только то, что испытывается и *мыслится*; и *делать* именно то, что предметный опыт посылает через видение, мысль и слово. Философ, как и всякий человек, не может не поступать в жизни; но если духовный опыт его подлинен и предметен, то он не может не поступить предметно. Больше, чем к кому-нибудь, к нему относится та истина, что человек есть живое единство своих поступков; та истина, что человек узнается по его плодам.

Именно в этой связи между предметом философии и жизнью философа обнаруживается *научная* природа философического познания. Всякий ученый есть ученый именно постольку, поскольку он одержим *волею* к верному знанию своего предмета и *опытом*, посвященным этому предмету и занятым его содержаниями; и успехи наука делает лишь постольку, поскольку эта одержимость предметным опытом превращается в предметную *очевидность*; и удостоверяются эти успехи *экспериментальным* деланием, а закрепляются *жизненным* применением. И вот философ, как и всякий другой ученый, имеет свой предметный опыт, свою опытную одержимость, свою одерживающую очевидность, свое удостоверяющее *жизненное* применение. Но только опыт его есть *опыт* нечувственный, утонченный и безмерно более ответственный; а его *жизненное* применение состоит не в

экспериментах над внешнею вещью, а в активном переделывании своей собственной духовной личности и в жизни по указаниям испытанного духовного Предмета. Философия вмещает и смеет вмещать в себя только то, что сам человек вместил в свой духовный и жизненный опыт. Подобно всякому другому ученому, философ обязан и уполномочен мыслить и выговаривать *именно то, только то и все то*, что он выносил в своем максимально опредмеченном опыте; при этом опыт его есть не только опыт аффекта, или воли, или воображения, но опыт всех строений и всех напряжений, которых требует Предмет, и притом всегда — опыт цельный, начинающийся из глубины и кончающийся на поверхности внешнего проявления. Настоящий философ смеет, должен и призван категорически утверждать только то, что он исполнил полностью (плéромую) своего духовно-жизненного делания. И это делание остается жизненным деланием и тогда, когда оно сводится к безмерно напряженному внутреннему созерцанию при минимальной внешней активности, и тогда, когда оно разворачивается в ряд внешних поступков по отношению к природе или к другим людям.

Это можно выразить так: *орудием* философского познания является *живое существо самого философа*. Это орудие должно быть чисто, гибко, лепко и цельно для того, чтобы оно могло стать *живым препаратом самого духовного предмета*. Для того, чтобы познать свой предмет, философ должен как бы вылепить его из себя или, точнее, помочь своему существу, и прежде всего своей душе, адекватно вылепиться в образ духовного предмета. Но этот субъективный препарат будет не просто подобием, или снимком, или копией, или слепком с философского предмета, но *самим, вживе осуществившимся предметом*; ибо духовный предмет способен быть сразу во множестве, не нарушая своего единства. Осуществившись в чьей-нибудь живой личной среде, он относится к ней так, как эстетический предмет относится к воплотившей его эстетической материи в художественном произведении: личное естество настоящего философа становится художественной ризой вмещенного им духовного Предмета, его верною, сущою явью. Пребывая в духовном Предмете, держа его в себе, человек сам пребывает в его силе, в его ритме, в его раскаляющем и закаляющем душу течении. В этом состоянии он даймо-

ничен или гениален, и злодейство поистине недоступно ему. Зато ему доступно видение предмета и деятельное обнаружение его: он знает его и именно потому не может не осуществлять его. Именно это имела в виду мудрость Сократа, когда утверждала, что знающий добро не может быть порочен и что добродетель может быть исследована только тем, кто воспитывает ее в себе и творит ее в жизни.

9

На этом пути и только на этом пути может быть правильно поставлен и разрешен вопрос о том, имеют ли духовные предметы объективную реальность или не имеют.

Во всех науках без исключения путь к предмету один — это верно организованный и исчерпывающе осуществленный *опыт*; правила этого опытного исследования, выработанные человечеством, применимы, *mutatis mutandis*⁵⁴, и в философском исследовании.

Самый вопрос о том, имеются ли вообще такие «духовные предметы» и не исчерпывается ли здесь все содержаниями субъективных переживаний, не может решаться в порядке простой презумпции и при том ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Необходимо, прежде всего, организовать в себе их правильное и подлинное испытание и затем приступить к познавательной эксплуатации этого опыта. Для этого чувствилище личного опыта должно быть очищено, утончено, углублено и расширено; необходимо как бы обнажить нервы духовного осязания, чтобы они могли реагировать на веяние всех духовных зефиров. Надо научиться и привыкнуть внимать утонченным свидетельствам этих органов, уходя в них, как в главные и в момент восприятия исключительные, единственные источники самозаселения. Надо понять, что философский *опыт* должен быть приспособлен к природе своих предметных содержаний и организован; что созерцающее *восприятие* его показаний должно быть длительно, настойчиво, повторно, критически проверено; что *описание* увиденного должно вестись с осторожностью, с чувством величайшей ответственности, с напряженной остротой в словоразличении, с величайшею строгостью терминологического выбора и бракования; и что только вслед за тем четкая ясность мысли и целостная верность по-

ступка могут дать *истинную философическую формулу*.

Лишь после этого позволительно и продуктивно *ставить* вопрос о *бытии* духовных предметов и о *самом способе* их бытия. Ибо *субъективная духовная анестезия*, как реальное познавательное препятствие, окажется преодоленной и отпадет. И первое, что исследователь поймет, будет то, почему *одни утверждают* их бытие, а другие — *отрицают*, тогда как, по существу и принципиально, испытать их может всякий... Только осуществляющий опытное общение с ними может измерить всю необходимость, незаменимость такого опыта, всю его доказательно-показательную силу.

Естественно, что исследователю, сомневающемуся в бытии этих предметов, придется сначала пройти через период неуверенности и колебания. Ибо на первый взгляд все то, с чем ему придется и удастся иметь дело, будет «только содержанием его собственного, субъективного переживания». Так, *мысль* его будет переживать безобразный логический смысл; но ведь это и будет как раз смысл, переживаемый его собственным, субъективным мышлением: смысл, помысленный его мыслью, в ней содержащийся и заключенный; «не более». Подобно этому, *воображение* его будет переживать художественный образ; но ведь это и будет как раз *воображенный* им образ, имманентный его воображению: вещественный субстрат пейзажа, его *эстетическая материя* окажется вне субъекта, картиною в пространстве; *воображенное содержание* пребудет в его субъективном акте; где же еще *духовный предмет*? Если *я переживаю* веяние божественного присутствия, естественное право, доброту, то разве это не дает *возможность* и основание говорить только о моих субъективных состояниях и о пережитых в них мною осубъективленных содержаниях?.. Где же здесь объективные предметы? Да и возможно ли вообще добраться к ним через сплошную чашу субъективных переживаний и осубъективленных содержаний? А если невозможно, то зачем о них говорить и думать?

Трудность проблемы ясна. Для разрешения ее необходимо *отличить в самом содержании*, распознать *через содержание*, осязать *из-за содержания* — *присутствие самого предмета*, его *живой ритм*, его *содержательные качества* и его *способ бытия*. Необходимо удостовериться

с очевидностью, что *духовные предметы*, каждый по-своему, *не сводятся к субъективным* (моим или чьим-нибудь чужим) *пережитым содержаниям*, не совпадают с ними ни по количеству, ни по качеству, ни по модальности, ни по законам своего ритма и своей судьбы. Так, надо опытно и окончательно убедиться, что субъективно переживаемых содержаний может и не быть, но что предметы от этого не гибнут; что эти содержания множественны, бесчисленны, а каждый духовный предмет, как таковой, един; что эти содержания различны, повторны, часто изменчивы и периодичны, тогда как духовный предмет единообразен и непреходящ; что, наконец, эти содержания могут быть *неверны*, причем самая идея неверности уже таит в себе предположение объективного предмета, тогда как приложение к духовному предмету идеи неверности или ошибочности — несостоятельно и дает бессмыслицу. Кто испытает и увидит это различие, тот eo ipso⁵⁵ осызает за субъективными духовными содержаниями *второй*, по-иному сущий и обстоящий план бытия, не сводимый к субъективному плану и не разложимый на его элементы. Этот второй план бытия необходимо различить и увидеть наподобие того, как человек уже научился различать и видеть *пространственные вещи* из-за *протяженных субъективных содержаний*, коррелятивно и сходноименно с ними связанных. В этом втором плане и обстоит духовные предметы; они обстоит по другому способу, чем субъективные содержания, и потому мыслятся и познаются в других, особых категориях.

Так, разные люди в различные времена то мыслили *идею тождества*, то не мыслили ее; имея ее в виду, относили к ней многоразличное, часто ошибочное; сама же идея тождества не становилась от этого ни эфемерною, ни многоразличною, ни вздорною. Точно так же различные люди в различные времена то переживали *естественное право*, то не переживали его; обращались к нему неверным или полуверным актом, приписывали ему несоответственное, нарекали его именем свои выдумки и уверяли других и себя, что это так и есть на самом деле; а само естественное право от этого не улетучивалось и не искажалось, не становилось ни призраком, ни произвольно меняющимся вздором. Тот, кто думает, что ложное мнение о добре искажает самое добро и что беспредметная фан-

тазия о «божестве» придает Богу на самом деле субъективно-химерические черты, тот обнаруживает только свою полную непричастность духовному опыту.

Напротив, тот, кто, различив впервые своеобразные предметные сверкания и следы в субъективных содержаниях, сосредоточится на их категориальном своеобразии, предастся им своею предметною интенцией и доведет себя до очевидности предметного бытия, тот, осиянный и прожженный этою очевидностью, сохранит несомневающуюся уверенность в бытии очевидного Предмета. Утвердив себя этим сущим Предметом, став его жилищем и проявлением, питаюсь им духовно и как бы излучая его из себя, душа человека впервые измеряет вообще, что *значит подлинно быть* и что значит вести проблематическое существование в виде скудного, предметно-пустынного существа. Вживаясь в духовный Предмет, она уподобляется ему, приобретает по-своему его свойства, возвращает в себе новые атрибуты: так, тождество понятия воспитывает в душе твердость и верность себе, определительность и прозрачную искренность; так, настоящее совестное испытание всегда уводит человека к непосредственному, гранеутверждающему совестному поступку; так, подлинное переживание естественного права пробуждает в человеке художника естественной правоты; так, художник, одержимый эстетическим предметом, несет в самом себе космическую глубину и ширину, и сам, в непосредственном вдохновении, сверкает лучами Предмета; так, подлинная молитва подлинно преображает человека и внутренне и внешне...

Понятно, что душа, онтологически обновленная общением с Предметом, остро испытывает дефективность и неполноту своего личного существования в прошлом. Понятно также, что она не может иметь ни повода, ни основания, ни склонности к отвержению объективности духовных предметов. Ей легче, естественнее, логически приемлемее допустить, что *она сама*, как таковая, не реальна, чем <то>, что они не имеют бытия.

Таков тот путь, на который должна вернуться философия наших дней для того, чтобы возобновить свое древнее

и глубокое дело. Это есть путь *возрождения философского опыта*. Здесь необходимо возвращение к положительным основам знания: к *сосредоточенному испытыванию и честному, непредвзятому описанию*. Философия должна пройти через эпоху сознательно принятого и осуществляемого *духовного позитивизма* с его последовательным отречением от суеверия, предрассудка, беспочвенности, отвлеченной конструкции и самодовольной дедукции; с его вниманием к данному, к единичному испытанию, к восприимчивому органу и его строению, к показывающему доказательству и обоснованию.

Предметная философия, вскормленная предметным опытом, предметною очевидностью, предметным характером... Вот духовное задание наших дней! Вот один из ключей к современному духовному кризису! Вот к чему мы должны воспитывать сами себя, и друг друга, и молодые поколения! И теперь это становится осуществимым больше, чем когда-нибудь, ибо окружающая катастрофическая атмосфера, уже разрядившаяся потоком страданий, но далеко еще не оскудевшая грозными перспективами, будит в душах заснувшие глубины и разверзает в них заброшенные шахты. А духовно пробужденная душа может сделать многое, что не по силам спящей: потрясенная, воспрянувшая, настороженная, она больше, чем когда-нибудь, способна внять предметным голосам в ночи и ответить на их зовы и знаменования приятием и личным переждением.

Понятно, однако, что для добывания такой философии нужно *вскрыть пути*, ведущие к ней. А это означает, что необходимо *возродить настоящую философическую методологию*; методологию не в смысле системы отвлеченных правил и не в смысле гносеологической рефлексии вне отношения к предмету; но в смысле *живого описания* того, уже пройденного, но еще не проторенного творческого пути, который *наверное ведет* к испытанию, увидению и познанию духовного предмета. «*Одос*» значит «путь»; «*методос*» — путь *вослед* чему-то, верный путь к некой цели. Нельзя, нелепо предполагать, что этот путь *уже* известен каждому про себя, ибо если бы это было так, то духовного кризиса, может быть, вовсе и не было бы. Но не следует осуществлять этот метод и *молча*, обнаруживая лишь одни итоги, ибо здесь необходима взаимная

проверка и исправление, здесь необходимо помогать начинающему и неуверенному в его затруднениях...

Вот почему философия наших дней, восходя к древним истокам и образцам своим, должна начать свой познавательный поход от *экзотерического*⁵⁶ учения о методе. Она должна поставить методологический вопрос с величайшей простотой: что следует сделать со своими телесными, душевными и духовными способностями для того, чтобы испытать и увидеть в исследуемой области духовный предмет? какой комбинации душевно-духовных сил, при каком направлении их дается в этой области духовный предмет? как возможно здесь узнать и проверить, что предмет действительно взят? какие могут быть признаки того, что опыт состоялся, что очевидность пережита? как воспитать в себе верный, безошибочный или, если угодно, нормальный духовный опыт в обращении к истине и понятию, к праву и государству, к добру и злу, к художественности и красоте; в обращении к божественному и Богу?

Ответить положительно и определенно на эти вопросы значит развернуть философию духовного опыта, необходимо предшествующую философии самого духовного предмета. Конечно, оторвать друг от друга эти две стороны философского исследования невозможно; в эпохи духовного полета и расцвета в этом, может быть, не бывает и надобности. Однако история философии знает такие учения, которые почти не доходили до второго задания, и такие учения, которые обходили молчанием первую задачу. Наше время, время духовного упадка и разложения, время релятивизма и нигилизма, требует предварительного и самостоятельного подхода к первому заданию: ибо как же возможно исследовать предмет, потеряв или забыв пути, ведущие к нему? можно ли подразумевать наличность и верность опыта у со-исследователя, если он самими отрицаниями своими свидетельствует об отсутствии его? Нет, здесь необходимо заново исследовать состав и строение верного, или нормального, духовного опыта; не для того, чтобы создать психологию духовной культуры, изучающую фактический состав душевных переживаний у определенных индивидуумов, групп или народов; но и не для того, чтобы выдвинуть чисто нормативное построение, трактуемое о должном пезависимо от действительности. Философия духовного опыта будет иметь в

виду нормальный, здоровый и в высшем достижении идеальный духовный опыт, который не раз уже осуществлялся и будет не раз еще осуществлен в истории человеческой духовной культуры. Бывало так, что идеальный духовный опыт осуществлялся совсем не философами и не в философии, а великими художниками, героями, святыми, пророками, или такими, которых народы узнавали и признавали, или такими, которые оставались безвестными предметовидцами; но бывало и так, что его осуществляли именно философы, которые или рассказывали об этом опыте, или прямо излагали его предметные результаты. Во всех этих случаях *идеал* оказывался осуществившимся *фактом*, а наличный факт являл *одержимость человеческого духа предметною очевидностью*. Все эти явления образуют как бы единую, великую сокровищницу духа, или его пантеон, или горный хребет человеческой духовной истории. Обращаясь к этим явлениям, современный философ должен осуществить *научно-художественную реставрацию* этих персональных очагов духовного опыта; не в виде жизнеописания великих людей, но в виде постижения и *усвоения* того духовного опыта, через который воспринимался Предмет и, далее, для *описания Предмета*, вновь самостоятельно воспринятого исследователем через усвоенный им опыт отжившего гения. Так, сила предметного опыта, осуществленного прошлыми веками, должна быть собрана, осмыслена и претворена новыми поколениями в новое и самостоятельное восприятие Предмета.

Вот почему первая и основная задача современной философии состоит в создании *новой философической методологии* — новой и в то же время по бытию столь древней...

Необходима новая философия *научной очевидности*, отправляющаяся от пересмотра идей *метода* и *доказательства* и освобождающая науку от порабощения чувственному восприятию; это необходимо для того, чтобы осмыслить гибельный фантом противорелигиозной науки и трагическую немощь противонаучной религии; чтобы развязать предметные крылья и науке и религии и помочь ученому возродить в себе созерцание *своего* предмета при свете великих духовных Предметов.

Необходима новая философия *правосознания* и *государственности*, чтобы осмыслить единую, священную при-

роду права и благородную, но трагическую природу политики; чтобы измерить падение современного государства и помочь человечеству возродить предметное общественное строительство.

Необходима новая философия *совести и доброты*, чтобы вновь увидеть живое тождество *добродетели и ума*; чтобы измерить беду современного нравственного индифферентизма; чтобы помочь человечеству побороть в себе извращенный вкус к порочности и возродить в себе способность быть *счастливым в доброте* и быть *добрым в несчастии*.

Необходима новая философия *эстетического восприятия и художественности*, чтобы вновь утвердить власть эстетического предмета и подчиненность эстетической материи; чтобы восстановить священное назначение искусства, вызвать к жизни очистительную художественную критику и великое предметное искусство; чтобы помочь человеку стать мудрым в непосредственности, стать цельным в вещественности, стать прекрасным иероглифом божественности на земле.

Наконец, необходима новая философия *религиозности и откровения*, чтобы вновь открылось замкнутое око человеческое, по-старому приемля Бога и по-новому приемля мир; чтобы осветились современные религиозные падения и блуждания и чтобы в религиозном обновлении душ возобновилось одинокое боговидение и соборное богоутверждение.

Философское учение о духовном опыте должно быть осуществлено и осуществится, если не нашим поколением мыслителей, то нашими ближайшими потомками. Они найдут в себе тот бестрепетный ум, который не убоится глубины; то глубокое чувство, которое превратит философию в духовное искусство; то художественное видение, которое найдет для себя новые, небывалые слова. Они вложат в это дело ту умудренную энергию характера и ту преданность духовному Предмету, которые делают философию *подлинным богослужением*.

Тому залог — падения и страдания наших дней.

**Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ
В ЖИЗНЬ**

**Книга
раздумий**

Вступление

ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Каждый писатель мечтает порою о своем читателе — каков он и как ему надо читать, чтобы верно и полно понять написанное... Ибо настоящий читатель обещает ему желанное счастье духовной «встречи»...

В некотором смысле все мы «читатели»: глаза бегают по буквам, буквы слагаются в слова, за словами кроется определенное значение и связь, благодаря чему слова становятся фразами, и ты уже представляешь себе что-то повседневное, затасканное, мимолетное, достаточное для употребления, не всегда с ходу понятное и так же охотно исчезающее в бездне прошедшего. Бедные «читатели»! Бедное «чтение»! Механизм без духа. Поток пустословия. Культура верхоглядства.

Нет, то, что действительно можно назвать «чтением», — нечто совсем иное.

Прежде всего уже написано то, что предстоит читать: кто-то жил, думал, чувствовал, возможно, страдал; он хотел нам поведать о чем-то таком, что казалось ему важным, — стало быть, что-то значительное о важном; он искал слово и выражение, боролся за истинность и точность, старался найти красоту и ритм. И вот он отдает нам свое произведение: газетную статью, стихотворение, драму, роман, исследование.

Перед нами — богатство чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, призывов, упорядочений, целый кладезь духовности — явное и одновременно скрытое, данность, одновременно исполненная тайнописью. Пусть тот, кто сможет, освободит это собрание черных мертвых крючочков, расшифрует и оживит его, чтобы затем посмотреть на него. Думают, что это так легко; полагают, это могут все... В действительности же на это способны лишь немногие. Почему?

Потому что надо отдать книге все свое внимание, все душевные способности и верную духовную установку. Пробегая глазами по строчкам, ничего не добьешься; настоящее чтение требует сосредоточенного внимания. Также мало добьешься, читая лишь холодным рассудком и пустым воображением. Надо всем сердцем понять пылкую страсть, надо внять всем вздохам в нежном лирическом стихотворении, а великая идея может потребовать всего человека. Это означает, что читатель должен верно воспроизвести душевный и духовный акт писателя, следовать ему, зажить им. Только тогда произойдет истинная встреча автора с читателем. Ибо истинное чтение — это своего рода художественное ясновидение, которое призвано и способно точно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и духовно обогащаться ими. Это есть победа над разлукой, далью и эпохой. Это есть сила духа — оживлять буквы, открывать в себе внутренние пространства, созерцать нематериальное, отождествляться с незнакомыми или даже умершими людьми и вместе с авторами, художественно или мыслительно пережить сущность вселенной.

Читать означает искать и находить — читатель старается отыскать зарытый клад во всей его полноте, присвоить его себе. Это есть творческий процесс; это есть борьба за встречу; это есть свободное единение с тем, кто зарыл клад; это есть победоносный полет в кажущееся невозможное.

Надо заботиться об искусстве чтения и укреплять его. Чтение должно быть глубоким, оно должно стать творческим и созерцательным. Только тогда каждый из нас сможет точно познать, что достойно чтения, а что нет; что может созидать дух и характер в читателе, а что несет в себе только разложение.

По чтению можно узнавать человека. Ибо каждый из нас есть то, «что» он читает; и каждый человек есть то, «как» он читает; и все мы становимся тем, что мы вычитываем из прочитанного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов...

И с этим напутствием я кладу мою книжечку в руки читателя.

І. ТЯГОТЫ ЖИЗНИ

І. СКУКА

(Из письма)

Там, где все кажется безутешным, утешение уже стоит у порога. Прислушайся, оно стучится в дверь... Открой ему без промедления, ибо оно несет тебе самое лучшее — самое себя.

Что может быть безутешнее скуки? Кто знает, откуда она берется? Но вот она уже здесь. Жизнь становится внезапно такой бедной, такой бесцветной, такой сухой и такой чужой. Ничто не привлекает, ничто не радует, ничто не приветствует меня ни тут, ни там. Всюду только увядшая трава, серые камни, мертвая пустыня жизни. Время становится пустым и тянется медленно. Все сущее оставляет меня равнодушным; а то, что должно занять его место — неопределенно: я этого не знаю... Напрасно я брожу в потемках: все «не то». Но ведь я остался тем же самым; значит, это мир, это он сделался скучным. Мир банален и низок; слишком банален и слишком низок для меня; он ничего не может мне предложить. И моя скука только подтверждает мое «духовное превосходство»...

О, жалкое утешение! Едва ты почувствовал радость от собственного превосходства, как скука тут же исчезает, между тем она утверждается навсегда, уплотняясь, делается жизненной установкой и мрачно светится из твоих глаз высокомерием и жестокой душевной депрессией. Нет, истинное утешение приходит из глубин твоего собственного духа!

Источник скуки — не в мире, а в тебе. На какое-то время ты устал от жизни; оставь, не принуждай себя, любовь проснется сама по себе... Может быть, ты слишком сильно любил? Или твоя любовь не находила ответа? Или ты сам помешал своей любви? Или у тебя не хватило воли для любви?.. Короче, твоя любовь ушла; она повернулась к миру спиной и больше не дарит себя. Молчат желания; сердце не хочет больше петь — ни Богу, ни идолу, и кажется, мир потерял свою прелесть.

Душа без желаний всматривается в мир, глядит на него без любви и именно поэтому находит его жалким и скучным.

Но мир совсем не таков: природа, как всегда, полна чудесных тайн; человек, как всегда, полон страсти и стремлений, запутан, божествен и inferнален¹ одновременно, в целом — несравненное зрелище! Мир остался таким же, что и был. Бездейтельно только твое желание; и ты называешь это бездействие «скукой». Но в действительности скука лишь только взгляд вокруг в поисках утешения, исцеления, нового желания, новых ценностей. И прежде всего — новой любви к ближнему, к твоему народу, к Богу.

Надо прежде всего найти в себе мужество перенести скуку: переноси ее спокойно, она исчезнет сама по себе, когда возродится любовь.

Но это не должно быть слишком долгим... Скука должна быть краткой, ведь и сама жизнь слишком коротка для долгой скуки.

Скука подобна темным очкам; она искажает мир, однако дает отдохновение оку сердца. Но довольно, око отдохнуло, прочь очки, чтобы снова смеялись солнце и краски! Смотри и радуйся!

Есть особое искусство: примириться с сущим, творчески соединиться с ним, вновь найти отправную точку и отдаться ему.

Есть особое искусство: преобразиться и всегда находить новое в старом, ценность в, казалось бы, обесцененном, любимое в безразличном.

Есть особое искусство: всегда что-то любить и чего-то хотеть. И это должно быть тем, *что не может разочаровать*.

Этому учит скука. Это — средство от скуки. Это ес утешение: ведь скука сама утешение.

2. БЕССОННИЦА

Вы страдаете бессонницей? Безутешное состояние! Как нам избавиться от него? Как нам справиться с ним?

Но только не торопитесь с «избавлением»! Ничто в жизни не бывает напрасным. И болезнь тоже. И бессонница тоже. Все целесообразно, все служит таинственному предназначению, из всего должно извлечь урок. Все несет нам свой дар. Было бы неумным уклоняться от этого дара. Почему не принять его? Нетерпеливый произвол — вот кто жаждет немедленно «уйти» от неприятного. Жизнен-

ная мудрость поступает наоборот: она хочет принять, и не-при-ятность тоже! А может быть, самый дорогой как раз дар неприятного... Все, что хочет высказаться, должно непременно высказаться. Вот объявляет о себе бессонница... Добро пожаловать! Только никакого страха перед ней... Иначе душа будет скована судорогой. Только не надо ее превозмогать... Иначе она будет упрямо утверждаться. Сон всегда приходит легко. Вот и мы пойдем навстречу бессоннице самой легкой поступью... И примем от нее ее дары и уроки.

У нашего произвола есть предел — это первый урок бессонницы. Никто из нас не является неограниченным властелином своей жизни. Напротив, нам приходится считаться с непреложными данностями нашего естества; мы должны приспособиться и покориться им, чтобы *Божественное начало* в нас вернулось к жизни, чтобы *Оно* в нас обрело творческое равновесие, чтобы *Оно* обрело покой. Если мы не сделаем этого, мы потеряем здоровье, равновесие, сон, до тех пор пока они снова не восстановятся «через себя самого». «Через себя самого» — так звучит глубокое, меткое слово Аристотеля... Ну, а теперь нам следует подождать, пока сон не наладится сам собой. Не волнуйтесь! Бессонница походит на скуку: она здесь, только чтобы отступить. Она останется лишь до тех пор, пока не окрепнет жажда сна.

Так что лучшее средство помощи сну заключается в том, чтобы не мешать бессоннице, предаться ей, испытать ее как *поднесенный кубок*. Лучше всего забыть, что пора или даже давно пора спать; совсем не думать о своей бессоннице, о ее возможных последствиях и т. д., а чисто-сердечно и непосредственно отдаться содержаниям жизни, которые бесцеремонно вторгаются к нам и прогоняют сон. Пусть приходит, что хочет; пусть распутается весь клубок идей и аффектов. Остальной мир может спать. Я отдаюсь своей бессоннице и ее скрытым содержаниям, для которых у меня «нет времени» в течение дня. Я остаюсь наедине с собою...

Так бессонница приносит мне свой второй дар — способность вынести *одиночество*. Там, где все покинули меня; где все, уйдя в себя, забыли целый мир и меня; где я совсем один, предоставленный самому себе, лежу и уверен в том, что только я в состоянии себе помочь, — начи-

нается необычная, отторгнутая напряженная жизнь. Эта жизнь зачастую слишком интенсивна, чтобы сделаться скучной; напротив, она часто так неожиданна и поразительна, что во мне просыпается настоящее любопытство; и зачастую так полна смысла, что я ощущаю себя в суровой школе одиночества, самостоятельности и самообладания. Ах, сколько людей на свете, которые только бессонными ночами впервые почувствовали и осознали свое душевное и духовное одиночество, только из этого, по-видимому, столь безутешного одиночества воззвали к *Богу на небесах* и нашли его! Потому что Он стоит ближе всех к страдающему бессонницей. Там, где жизнь кажется совершенно безутешною, сразу же появляется утешение. Там, где, казалось бы, гибнешь в своем одиночестве, легче всего находишь дорогу к Богу. А это ведь несомненно благороднейшее утешение и ценнейший дар...

А теперь — третий ценный дар бессонницы. В этом ночном бодрствовании учишься представлять себе и подслушивать скрытые смыслы собственных неосознанных и полуосознанных тайников. И не только огорчений и оскорблений бодрственного дня; но также и ошибок, грехов и ран потаенного Я — есмь. И не только их, но также и святые и исцеляющие лучи света *совести*. Ибо ничто так не располагает и так не предначертано для восприятия этих лучей света, как сумеречное состояние полумрака бессонницы. Там, где погас дневной свет и свет сознания, где накапливается и повышается способность воспринимать внутренние лучи и где мрачная картина повседневной жизни тоскует по *новому, несказанному свету*... Ах, есть так много людей, которые только в бессонные ночи пережили просветляющее благо мук совести и исцеляющее благословение *раскаяния*, одинокого, горького, примиряющего раскаяния! Это ли не драгоценный дар? Это ли не утешение, возникшее из безутешности? Правы ли трусливые люди, пытающиеся избежать этих даров и этого утешения и прибегающие из страха появиться утром «бледными»... к лекарствам?

Бессонница учит нас мужеству. Мужеству перед лицом природы, перед самим собой, перед своей совестью. Мужеству для пребывания в одиночестве и *для воздания молитвы*.

Это ее последний дар и ее лучшее утешение.

3. ЗАБОТА

Если бы только можно было избавиться от забот! Если бы только иметь беззаботную жизнь! Но это, к сожалению, невозможно...

Почему же это так невозможно? Нужно только преодолеть заботу! Для этого надо лишь немного духовной свободы!

Человек никогда не бывает до конца удовлетворен. В нем всегда возникают новые стремления, всегда громятся новые желанья и новые потребности. Достаточно ему лишь заглянуть в будущее или подумать о «завтра-послезавтра», как начинают бурно разрастаться сорняки заботы. Ибо будущее всегда туманно; и кто знает, что поджидает меня завтра-послезавтра? А в мире буржуазной самостоятельности и самообеспечения, где каждый думает о себе и только о самом себе, где никто не думает о другом, где все вокруг так адски жестоко хозяйничает, — там системой жизни становится неуверенность, а неприятный, неожиданный случай — властелином будней. Забота держит всех нас в цепких когтях. Как мусор на улице, подхваченный и несомый порывом ветра, она входит к нам в открытое окно будущего. Так было всегда, так будет всегда. Что можно здесь «преодолеть»?

Будущее остается, остаются и потребности, и неуверенность не исчезнет. Вот окончательно разоблачен и большой обман коммунизма: ибо его попытка упразднения неуверенности, обеспечения всех и удовлетворения всех потребностей создала как раз прямо противоположное. Еще никогда и нигде, как только под игом этого централизованного безумия, не была так ужасающа общая неуверенность, настолько неслыханна всеобщая нищета, так удручающе бремя лишений. Только в том смысле он «обеспечивает» всех, что топит всех в «изнурительной, заботе»...

Короче говоря, надо примириться с «неуверенностью», «нуждой» и «будущим». Но чтобы вынести их, надо научиться их преодолевать. С чего начать?

Начинают с будущего: повернувшись к нему спиной. Ищут утешения в прошлом, непреходящем, в вечности; и не только созерцательно, но и творчески. Прекрасное прошлое твоего отечества, твоего народа — разве оно тебе

не дорого? Великое прошлое других народов и стран — разве оно тебе ничего не говорит? Великолепный ход движения созвездий, там, наверху, раннее прошлое нашей планеты, история животного и растительного мира — это богатство божественного творения, которое ждет твоего наблюдения и твоего исследования, спасет тебя от твоей заботы. Всякий прекрасный образ искусства, всякая математическая проблема — вне времени и вырывают тебя из наполненного страхами и заботами будущего, дают тебе покой и отдых. Устремись в глубины человеческого духа с книгой Лейбница, Шеллинга или Гегеля в руках; или еще лучше — обрати свой взор ввысь, к Богу, — и ты обретешь вечность. И тогда ты покажешься себе таким несчастным, как ездовая собака твоего сомнительного будущего, как верблюд с грузом твоих проклятых забот.

Однако это освобождение от заботы может быть еще и завершено.

В заботе кроются, собственно, два начала. Во-первых, то, в чем ты нуждаешься, о чем ты должен заботиться, то есть содержание твоих забот; и, во-вторых, — твой страх. Да, страх пред неуверенностью в жизни. Впрочем, пусть неуверенность остается; пропасть должен страх перед нею. Пусть и нужда остается; но нельзя, чтобы она мучила и терзала тебя. Человек тем более унижен, связан, даже парализован, тем слабее для осуществления своей цели в жизни, составляющей содержание его заботы, чем сильнее заботящий его страх. Занимайся своим насущным без заботы, тогда ты справишься с ним в три раза лучше. Страх, зреющий в заботе, утомляет душу и вредит делу; так что пусть забота улетает. Подумай только: что было бы наихудшим? Лишения? И перспектива лишиться чего-то — парализует и сковывает тебя? Отнимает у тебя силу, мужество, достоинство и досуг?

Забота всегда мелочна и близорука, ты погрязнешь в ней. Она хочет скрыть от нас великие, божественные жизненные цели. Забота увязает в мелочах, в жалких «здесь» и «теперь», в расплывающемся и исчезающем. Она — настоящий враг творческого восторга и вдохновения. Она разделяет людей, враждующих из-за своих противоречивых забот. Она возникает, как пыль, и расплетает жизнь и людей. Она печется о том, чтобы мы

стали корыстными и мелочными. Мы должны научиться ее преодолевать.

И только заботливая мать остается для нас вечно любимой: ибо она заботится о других и тем самым облагораживает заботу любовью.

4. БУДНИ

Они — сплошная беспробудность. Вечная забота. Тягучая скука. Непрестанный шум, время от времени прерываемый очередной неудачей. О, плохое настроение! А понедельник — это прообраз будней.

Да, тогда дело с жизнью обстоит плохо! Но нельзя перекладывать вину за это на «жизнь». У тебя не хватает искусства жить; было бы глупо ожидать, что жизнь устроит тебе торжественный прием. Так что твори сам и преобразайся, иначе будни одолеют тебя. А в жизни нет большего стыда, чем быть побежденным — и не великаном, не могущественными врагами, не болезнью, а серую повседневностью существования.

Итак — искусство жизни!

Прежде всего: спокойно и мужественно смотреть в глаза врагу! Нам никогда не избавиться от будней. Они будут всегда. Они составляют материю нашей жизни. И если праздник служит лишь тому, чтобы, подобно молнии, осветить серость будней и обличить повседневность, то он нам вреден и мы недостойны его. Только тот заслужил радость праздника, кто полюбил свои будни. Как этого добиться?

Этого можно достичь, отыскав священный смысл в своей будничной работе, погрузив его в глубину сердца и осветив и воспламенив повседневность лучом его света. Это первое требование, даже первооснова искусства жизни. Что есть ты во Вселенной? Каковы твои деяния перед Отечеством? Каким предстаешь ты пред Лицом Божиим с твоей будничной работой? Что воздаешь ты ему, Господу?

Ты еще этого не уяснил? Ты еще этого не знаешь? Как же ты живешь? Бессмысленно, слепо, тупо и бессловесно? Тогда легко постичь «сплошную беспробудность» твоих будней. И скуку, и плохое настроение, и все им сопутствующее.

Нельзя слепо воспринимать ежедневный труд как лишнюю смысла работу по принуждению, как галерную пытку, как муку от зарплаты до зарплаты. Надо одуматься. Надо понять серьезный смысл своей профессии и заботиться о ней во имя ее высокого смысла. Надо серьезно отнестись к самому себе, а значит, и к собственной профессии, и к собственным будням. Будни остаются, но их необходимо *преобразить изнутри*. Они должны наполниться смыслом, ожить, стать многоцветными; а не оставаться «сплошной беспробудностью».

Бессмысленно — это безрадостно. Человек создан так, что не может жить безрадостно. Тот, кто кажется живущим без радости, непременно выдумал себе замену радости. Радость должна, однако, вырастать из повседневного труда, пусть даже только в том смысле, что трудишься все лучше и лучше, повышаешь качество своего труда, перемещаясь тем самым вверх по ступеням совершенствования.

Если же ты нашел высокий смысл твоего труда и радость в его качестве, сможешь ли ты и после этого говорить о «сплошной беспробудности»? Жизнь станет для тебя тогда светящейся нитью. И взлет в твоей жизни обеспечен. Ведь радость высвобождает творческие силы; творческие силы создают качество; а качество труда вызывает радость от труда.

Посмотри: так твои будни попадают в добрый круг духовного здоровья. И теперь для тебя нет больше тягучих будней, ибо ты предстаешь *пред Лицем Божиим* освященным и исцеленным.

5. НЕУДАЧА

Устоять пред неудачей — первое, чему должен научиться каждый. Откровенно говоря: кто не понимает этого, тот — не мужчина. Простите! Также и не женщина. Скорее всего, это — трусы обоего пола.

И тем не менее каждый из нас должен однажды сдать экзамен на свою первую большую неудачу. В честь этой первой неудачи здесь дается несколько утешительных советов.

Да, конечно, это мучительно; часто даже страшно мучительно: столько надежд, столько усилий и столько огорчений!

Итак, первое: не погрязать в неудаче; не стенать; не составлять «длинный список потерь» и не думать о них непрестанно. Предоставим зверю зализывать раны. У человека есть более достойный выход: не признавать рану души своей. И — все.

Второе: нельзя представлять себя единственным несчастным дитятей на белом свете; ведь у каждого были неудачи, и у всех они будут. Нельзя также воображать, что эта неудача была «фатальной» или «непоправимой». Пока жив человек, все можно исправить, каждую неудачу можно и должно обратить в успех; да, даже каждый дурной поступок может и должен быть искуплен и произрасти исцеленным в ткани раскаивающегося, творческого духа.

Третье: нельзя, чтобы неудача казалась вам «позором», особенно в чужих глазах. Существуют миллионы таких чужих глаз. Стоит только представить себе, что из миллионов глоток кричат тебе: «Позор! Позор!», чтобы никогда больше не подняться на ноги. Для того, кто свободен от этой тяжести, неудача не является позором. В неудаче человек ощущает себя, конечно, внизу, как будто он свалился с горы, как будто он лежит там обессиленный... Но поэтому нужно как можно скорее покончить с этим! Близящийся успех уже зовет тебя; ты не можешь ему изменить.

Четвертое: неудача — лучшая школа успеха. С ней надо обращаться как с предметом тренировки, как с необходимым закаливанием; как с источником понимания и мудрости жизни; как с дорогим поучением, как с трамплином для новой борьбы. Но это означает, что неудачу нельзя отдавать на расправу оскорбленным и разочарованным чувствам, ее необходимо воспринимать с помощью воли и обращаться с ней как с проблемой воли, и с помощью спокойного исследовательского разума — как с проблемой разума. Тогда путь к успеху проложен!

Скажи себе, твердо и решительно: «Задача была поставлена правильно; она осталась невыполненной; ее надо осуществить; это была лишь попытка; сейчас я снова займусь ее решением. Как мне лучше сделать это?»

Затем нужно продумать все так, как будто это была чужая неудача, на которой надо учиться: «Откуда пришла неудача? Чего мне не хватило? Где я действовал неправильно? Возможно, неосторожно или нерешительно? Воз-

можно, заносчиво, поспешно, бестактно?» Надо всегда спрашивать и отвечать так, как будто речь идет о добром друге, которого, к сожалению, постигла неудача и которому надо помочь словом и делом. Чтобы умолкло собственное тщеславие и своенравие; чтобы выработать привычку спокойно переносить собственные недостатки и ошибки (а возможно, и собственные грехи и пороки) и научиться смирению; чтобы научиться извлекать из неудачи не только отдельную предстоящую удачу, но и — что более важно — возможность укрепить и облагородить собственный характер. И тогда, пожалуй, пусть жизнь превратится в бесперывную неудачу: в любом несчастье, при любом промахе победитель поднимет голову. Ведь в жизни действительно существует нечто большее, чем просто жизненный успех, а именно — *духовная победа над мелочным, тщеславным поганцем в собственной душе!*

Не правда ли, этот выигрыш — не второстепенное дело, непосредственно задуманное нами? Разумеется! Но в жизни часто бывает так, что в первоначально «второстепенном деле» позже узнаешь главное. Хотелось пробиться к «удаче», а обнаружилась дорога к победе, к духовному просветлению. И победитель, возможно, будет думать о совсем иных удачах, чем те, которых ему удастся достичь, и он будет славить свою прежнюю неудачу как составляющую настоящего счастья.

Поэтому — счастья тебе! Вперед, к неудаче!

6. ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

Знать бы, откуда оно берется! Если бы можно было скорее прогнать его. Но оно как погода: никто не знает, откуда, когда, почему... В отличие от погоды, для нашего меняющегося настроения нет даже предсказателей. Нужно просто покориться.

Нет, ни в коем случае! Не может быть и речи о покорности!

Плохое настроение должно нас слушаться!

Плохое настроение — это не то, что я представляю собой, не то, что происходит в глубине моей души, оно лишь обозначает, как я к этому отношусь, и затем, что я даю почувствовать другим людям. Два последних обстоя-

тельства — в нашей власти: мы распоряжаемся ими, и они должны покоряться. Кто этого еще не понял, должен по возможности скоро научиться понимать; потому что это относится к основам самообладания.

Плохое настроение возникает из внутреннего разлада, основной узел которого остается в подсознании, и его нелегко распутать. Этот разлад или, как выражаются лечащие душу врачи, этот «конфликт» возник не вдруг; скорее всего, он сохраняется с детских лет и может внезапно оживиться или слегка обостриться. Возможно, я избавлюсь от него; однако возможно также, что я буду нести его с собою до самой смерти. Да, я буду носить его в себе и его выносить, примирюсь с его существованием, буду вынужден поставить его на службу делу, одним словом — я справлюсь с ним творчески. Боже небесный, ведь это не причина для «плохого настроения»!

На свете вряд ли найдется человек, которому не приходилось иметь дело с душевным конфликтом. У каждого он свой, и каждый хотел бы избавиться от него. Неужели поэтому у всех есть право на плохое настроение? Должны ли все по этой причине становиться угрюмыми, ходить со злыми лицами или даже кричать друг на друга?

Внутренний разлад следует воспринимать серьезно, совершенно серьезно. Он принадлежит тому, что я есть. Он обозначает одну из моих внутренних жизненных задач. Он может обостриться, создать душевный застой, вызвать дурное настроение. Это дурное настроение остается для меня неясным, непроницаемым; оно входит в мою сознательную жизнь и в мое общее самочувствие как необъяснимый факт. Я чувствую себя подавленным, беспомощным, унылым. Из-за этого я раздражаюсь, и этому моему раздражению в виде «плохого настроения» я даю волю в обществе. Так это выглядит на самом деле. Но нельзя, чтобы так было и впредь.

Ясно, что за плохим настроением стоит конфликт. Этот конфликт нужно рассматривать как своего рода творческий заряд и обращаться с ним соответственно. Хорошо, что этот заряд есть; ведь из незаряженного орудия не выстрелишь. Совсем не страшно, что еще не удалось подчинить себе этот заряд: значит, есть задача и ее надо разрешить. Душевный застой неприятен. Но неприятность — всего лишь скорлупа новой силы и новой жизни.

Расколи орех — получишь сладкое ядро. Нет причины для дурного настроения! Однако дурное настроение есть. Переноси его спокойно и уверенно! Ты его уже видишь насквозь. Посмотри, конфликт — это обещание, и вскоре ты уже победитель.

Ты вовсе не беспомощен. Ты обрел мужество, и подавленность пропала. Плохое настроение рассеялось.

Или еще нет? Так ты понял его творчески-интимную природу и будешь остерегаться делать сокровенное достоянием общества.

Твое личное дело, как ты относишься к своему внутреннему конфликту, к этому предчувствуемому заряду новых сил. Если ты не умеешь утвердиться внутри себя как победитель, если ты настолько неблагодарен, что, стоя перед главной задачей своей жизни, видишь лишь «трудности» и «неприятности» и становишься «угрюмым», то не выноси хотя бы на люди свою трусость! Сильный характер радуется трудностям и улыбается неприятностям. Чем труднее испытание, тем радостнее победа. Если ты еще не нашел в себе этих сил, будь тем не менее уверен, что ты их найдешь. Не можешь один — ищи помощи, но самое главное — молись: искреннюю молитву всегда услышат. Но только не обнаруживай свою преходящую слабость пред чужими!

Неприлично выбалтывать секреты; а плохое настроение совершает это. Как по-детски — плакать от боли; а плохое настроение — плакса. Как преступно заражать других своей болезнью; а плохое настроение заразно.

Разве ты не знаешь, как спокойно и мило умеет улыбаться превосходящий тебя? Эта улыбка для плохого настроения невыносима.

7. БОЛЕЗНЬ

Сначала установи, действительно ли это болезнь! Жизнь нелегка, часто довольно мучительна, возможно, даже безрадостна; а наше подсознательное подобно ребенку, подобно женщине, подобно плуту: оно способно подражать любой болезни, убежать в «болезнь», играть роль «больного». Подобное невротическое состояние, несомненно, само является «болезнью», но это совсем иная болезнь: ее можно исцелить искренностью и пониманием...

Если же это действительно болезнь, — никогда не ворчи, всегда прислушивайся! Она как посетитель: что он хочет от меня? Она как путешествие: куда же я попал? Она как друг, который хочет предостеречь меня: берегись, здесь ты сделал в жизни ошибку, здесь с тобою может случиться нечто серьезное.

Благодарю тебя за предостережение, дорогой друг, за то, что посещаешь меня и побуждаешь к этому путешествию. «Кто хочет путешествовать, должен уметь молчать». Так что смотри и слушай! Оба — инстинкт и дух — должны дать знать о себе. Оба должны поведать нечто значительное; оба должны быть едины во мнении. Инстинкт должен излечить тело; дух — исцелить душу. Ведь здоровье — это одновременно здоровье души и тела; быть больным означает нуждаться одновременно в исцелении души и тела. И только Христос, наш Спаситель, ведал, как с помощью духа исцелить и душу, и тело.

Инстинкт исцеляет тело. То есть: любое лечение есть самолечение. Эту таинственную работу не могут заменить ни врач, ни лекарства. Они могут только помочь, поддержать, ободрить. Этот метод исцеления действует сам по себе, по собственному побуждению. И действует так, что не набрасывается на симптомы немедленно, чтобы их устранить; ведь они целесообразны, служат исцелению и исчезают в свое время. Инстинктивное самоисцеление и есть восстановление. Больной и врач должны самым внимательным, самым желанным образом идти навстречу этому восстановлению. Что идет ему на пользу? Отдых, покой, накопление сил, питание, воздух, тепло, хорошее настроение. И только потом остальное. И если больной умеет к себе прислушиваться, он скоро заметит, что инстинкт совершенно самостоятельно выбирает полезное («мне хочется», «мне так хотелось бы», «мне было бы приятно») и чурается вредного («неприятно», «неловко», «отвратительно»).

Инстинкт хочет доверия. Чем самоувереннее он проявляет себя, чем послушнее ведет себя больной, тем скорее наступит исцеление.

А дух исцеляет душу. И здесь — исцеление есть самоисцеление; только не «снизу», а «сверху».

Итак, прежде всего — не брюзжать, не проклинать, не отчаиваться, как бы ни было плохо. Болезнь требует

спокойной души, легкого настроения, уверенности. Еще для нее, возможно, потребуется некоторое время (она должна чуточку продлиться) и пространство (место, пребывание на курорте). Все это ей по возможности следует предоставить. Тогда-то и начинается самое главное.

Что существенного она должна мне сказать? О моей жизни: что я не сумел хорошо ее устроить; что я не ценю здоровье как дар Божий; что я сам должен расплачиваться за свою вину в том, что заболел; что здоровье уже само по себе — счастье и радость. Вообще о жизни: что она полна прекрасного, мимо которого я до сих пор слепо и равнодушно пробегал; что она предоставляет бесчисленные возможности для любви, добра, самопожертвования и подвига, которым я, непонятно почему, дал пронестись мимо; что время спешит и земной эпизод моей жизни отмерен; что я бездумно жил до сих пор, растрчивая великолепнейшие дары, и что завтра, да, уже завтра, начну новую жизнь. Затем еще о страданиях: что их нужно принимать как должное, что человечество непрестанно страдает и что предназначение страдания — дать понять человеку законы творения и волю Создателя, что вообще человек через страдания приходит к отрезвлению, просветлению, к совершенствованию; что самое важное в жизни — обрести через каждое страдание частицу *истинной веры* и *истинной мудрости*.

И что дальше? Болезнь стала восстановлением, отдыхом, просветлением в жизни! А теперь вот и исцеление. Нужны ли еще утешения?

8. БЕДНОСТЬ

Где она начинается, бедность? Какой малостью должен обладать человек, чтобы считаться «бедным»? Кто знает?

Я часто видел богатых и даже очень богатых людей, считавших себя «бедными» и в самом деле посивших в себе это ощущение. Они страстно жаждали большего, гораздо большего; они «нуждались» в том, в чем они вовсе не нуждались; они напряженно глядели «вверх», и только «вверх», и постоянно подсчитывали, чего им еще не хватает. Ненасытный, когда насытится он? Как помочь тому, кто забыл прекрасное слово «довольно»?

Я видел также людей в довольно стесненных обстоя-

тельстввах, считавших себя «достаточно богатыми» и в самом деле носивших в себе это ощущение. Их «состояние» было более чем скромно: они жили от зарплаты до зарплаты. И не нуждались в том, что им действительно было нужно; спокойно смотрели они «вниз» и часто подсчитывали, чего еще они должны лишиться и как много людей, которым не хватает самого необходимого. Так называемые «лишения» давались им легко. Они были мастерами утешения; сами же не очень нуждались и в утешении. Мне казалось всегда, что свое «состояние» или скорее — «сокровище» они поместили куда-то в другое место. (Куда?)

Но это означает, что объективные размеры состояния не могут решить вопрос «существования в бедности». Маленький мешок скоро наполнится; но большой мешок с дырой — никогда. И еще: каждый должен решать сам для себя, «беден» ли он; другие судят об этом всегда неверно. И последнее — если ты хочешь для своих детей богатства, научи их смотреть «вниз» и легко переносить лишения; а еще вкусу к «довольно»; и духовной способности помещать свое «сокровище» куда-нибудь в другое место.

Итак, на земле нет бедности вообще?— Увы! Существует двоякая бедность. Материальная — когда человек теряет работу и переживает трагедию, которая кажется ему трагедией «лишнего» существа на свете; когда уже не имеет силы его право на работу и на жизнь; когда он сам уже не нужен; когда он уже не может смотреть «вниз», потому что для него нет больше «низа»; когда ему уже не может помочь искусство переносить лишения и довольствоваться тем, что есть. Тогда человек беден, действительно беден; тогда это настоящая бедность.

Наряду с ней существует и духовная бедность, это когда человек не может постичь, что есть верное и прекрасное «иное место», в которое он может поместить свое истинное «состояние», свое истинное «сокровище»; когда он воспринимает речи об этом «ином месте» как глупость, с издевкой отвергая их. Из-за этого сам человек делается как бы «лишним»; бессмысленными становятся его жизнь и его достижения; и пока он не поймет этого, сам он едва ли нужен. Он даже не подозревает, чего в действительности лишился и куда, собственно, направляется. В этом случае человек снова беден, по-настоящему беден, но

совсем в другом смысле. Вот это и есть настоящая бедность.

Но самое печальное заключается в том, что люди второго вида бедности так часто проходят холодно и гордо мимо людей первого вида бедности. Отсюда возникает безбожный, нехристианский порядок жизни. А в нем — беда и опасность сегодняшнего мира.

II. ЖАЛОБЫ

9. РЮКЗАК

Роковая вещь — этот рюкзак! Точнее говоря — чудовищная вещь! Сколько раз я собирался сделать его легким и удобным для переноски! Но он всегда противится! Он этого не хочет. У него свои желания, он упрям.

Все говорит о том, что я уменьшу его. Кто, в конце концов, господин? Он или я? Кому надлежит повелевать, а кому подчиняться?! Значит...

Что такое путешествие с терзаниями и пыткой? Настоящее разочарование. А этот раздутый, огромный рюкзак разве не пытка египетская²? Уже в трамвае я выгляжу «двухместным»; прислониться совершенно невозможно. При входе меня из-за него толкают туда-сюда. Просто загадка, как я попадаю в купе. Снятие его с плеч опасно для жизни окружающих. Наверху, в сетке, он подобен горе, так что сидящие внизу дамы весь день боязливо косятся на него! И еще он хочет, чтобы я брал его с собой на каждую прогулку...

Что такое путешествие без возможности сосредоточиться? Ничто. Чепуха. Потерянное время и усилия. Вот, кстати, эта чудесная гора, эта «великолепная громада», «вершина»³, или как там ее назвать, что вижу я в ней? С поникшей головой, согбенной спиной, стесненным сердцем иду я с моим рюкзаком и чувствую только, как его ремни врезаются мне в спину и как его седло до крови стирает мне позвоночник. Как я могу духовно «сосредоточиться», когда мой «центр» телесно сместился вниз и лежит на мне тяжким грузом? Вероятно, именно этот гном наслаждается путешествием. Потому что я не наслаждаюсь почти ничем. Он, этот идол, это чудовище, этот

кошмар, который я несу по жизни. Да, он скачет, я тащу; он властвует, я служу; он путешествует, я только сопровождаю его. Обременительно, невыносимо, унижительно!

Но сегодня я наконец-то выяснил, как удалось ему унижить меня до роли своего слуги, и смею думать, что вскоре смогу освободиться от него. Дело в том, что я уразумел, почему он не дает себя уменьшить, а точнее, почему я этого не понимаю. Во-первых,— из страха; а во-вторых,— из тщеславия.

Ведь это же я его укладываю. А когда укладываю,— говорю это совершенно искренне,— мною владеют, терзают меня два соображения. Первое называется — «вдруг»... Второе — «настоящий альпинист». Потому-то он и становится полным, сверхполным, огромным.

«Вдруг»... Это значит — страх перед случайностями и опасностями путешествия: вдруг похолодает, станет сыро, дождливо, ветрено, туманно, жарко, душно; вдруг я промочу ноги, получу насморк, кашель, у меня начнется головокружение, мигрень, заболит желудок или случится что-нибудь еще; вдруг мне придется ночевать под открытым небом, слишком рано вставать, оставаться без горячей пищи и т. д. Ведь все надо предусмотреть, почувствовать себя обеспеченным и снаряженным...

«Настоящий альпинист»... Это — тщеславие, знать, что ты снаряжен, как настоящий альпинист. А если совсем доверительно, между нами, то я никогда не предпринимаю большие и трудные подъемы на горы. Настоящий альпинист должен захватить с собой много чего: кайло, топор, веревку и еще кое-что. Все это тяжело, обременяет и давит. Я же ощущаю, что только тогда «по-настоящему путешествую», если выгляжу как «настоящий альпинист». Ведь «вид» относится к «бытию»! Или нет? А если этот «вид» стоит таких трудов, что до истинного «бытия» дело уже не доходит?..

О, Властелин жизни моей! Чего только нам не придется подобным образом нести по жизни! Нам все кажется, что мы не можем этого лишиться: сначала мы должны все это накопить, заработать, добыть, захватить; затем — сохранить, уберечь, застраховать, следить. Конечно, никто нас не сможет за это упрекнуть: умный человек копит и всегда предусмотрителен. Но, само собой разумеется, и то, что никто из нас не хочет отставать от других: ка-

сается ли это меховой шубы, мотоцикла или еще чего-либо. Хорошо! Частная собственность, естественно, утверждает-ся и охраняется. Однако тут встает главный вопрос: как получается, что все нажитое владеет нами, отягощает нас и ездит на нас верхом, становится нашим властелином и идолом? Как образуется этот фальшивый центр в спине, этот проклятый «рюкзак»?

Что мне делать с моим рюкзаком, я уже знаю. Вчера я попробовал, и все получилось отлично: проявилась способность сосредоточиваться, прогулка была чудесной.

Ну, а что же нам делать с нашим «состоянием», чтобы оно не стало нашим властелином, а оставалось нашим действенным орудием? Возможно, и здесь нам поможет внутреннее «преображение», и мы начнем борьбу за освобождение от внешнего мира — из себя?!

10. КНИЖНЫЙ ШКАФ

Прощай, старый друг! Мы должны расстаться. Я отправляюсь в дальний путь, а ты не можешь последовать за мной.

Забуду ли я тебя? Никогда! Это означало бы забыть самого себя: ведь моя жизнь всегда была связана с твоею...

Там, внизу, стояли сказки Андерсена и братьев Гримм, которые нам читала бабушка. С тех пор я — «стойкий оловянный солдатик» и сохраняю «невозмутимое выражение лица»; даже теперь, когда я должен попасть в «летающий сундук». С тех пор и я мечтаю о «верном Иоганне».

Позднее появилась история. О, эти часы, когда мне разрешалось читать отцу вслух Плутарха⁴ и Светония⁵ и когда мне впервые повстречались герои древности! Я брал их с двух верхних полок; и когда я вспоминаю о них, я и сейчас смотрю наверх, туда, где они стояли. Я хотел жить, как Аристид⁶, умереть, как Сократ⁷. И думал при этом постоянно о моем собственном Отечестве. Моим первым героем стал тогда Вильгельм Оранский⁸, Фридрих Великий⁹ — вторым...

А здесь, на средних полках, стояли философы. Каким блаженством наполнял меня Лейбниц и его прекрасная мечта о «самом лучшем из миров»¹⁰. Таков ли он в действительности? Как я воздавал вместе с Кантом его прекрасную молитву долгу: «Долг, ты возвышенное, великое

имя!»¹¹ и совсем по-детски часто чуял, что непостижимая «вещь в себе»¹² таится там, в темной глубине полок.

Так ты стал для меня хранителем моего детского духовного очага; так ты, старый друг, принадлежал к моим пенатам! С какою добротою и щедростью ты предлагал каждому свои сокровища; как завлекающе шелкал твой замок; как тихо и таинственно скрипели твои дверцы, когда их открывали; с каким терпением ты часто оставался открытым весь день и с какою скромностью и достоинством ты стоял, закрытый, погруженный в раздумье, пока никто не домогался тебя! Эта благородная непритязательность, эта простая и изысканная сущность внутренне такого богатейшего создания! Как часто я говорил о тебе моим детям, о твоём загадочном, значительном молчании, о твоей скромной мудрости!..

И вот все кончено. Мы должны расстаться.

В последний час моей жизни я по-прежнему буду точно знать, где стоял мой Гете. Ведь это его голос я и сейчас все еще слышу: «Можешь ли ты сказать мне, отчего это нежные души страдают всегда одиноко, безгласно?» Но в час прощания — особенно?! А также, где стоял мой Эйхендорф. Он еще шепчет мне в последнее мгновенье: «Вещи спят и ждут лишь зова, в каждой — песня взаперти»¹³. Мне хочется думать, мой верный мечтательный хранитель, что я правильно расслышал твою безмолвную песню!

Но вот я снова — «стойкий оловянный солдатик» и «летающий сундук» ждет меня. Я отправляюсь в дальний путь, а ты не можешь последовать за мной.

Прощай! Прощай навсегда!

11. ОБИЖЕННЫЕ

Разве все мы не мимозы? Ах, как мы чувствительны, как чутки, когда это касается нашего, личного! Как быстро мы замечаем малейший промах в этой области! Как «горько» сразу становится у нас на сердце! Как будто мы — естественно, каждый по-своему — окружены необычайно возбудимой воздушной «аурой», которая тут же вздрагивает, трепещет, чувствует себя «обиженной».

Лишь совсем немногие из нас так «чувствительны» и «восприимчивы» в деловых обстоятельствах, тем более

что никто не знает, как выглядит «деловое» и где оно пребывает. Если же «я» способствую делу, то это «мое дело»; а «мое дело» — это «я сам». Или еще проще и откровенней: мое «я» — мое «дело», мое «главное дело»; и кто с ним не соглашается, тот, значит, «против меня», он мой «враг» и только поэтому, вероятно (или даже — точно), — мерзавец. Сердца людские инстинктивно тщеславны. Круг их признания, их действительности, их компетенции кажется им слишком малым; их самолюбие, их самооценка, их честолюбие, их тщеславие требуют большего. Чувствуешь себя недооцененным; втайне составляешь длинный счет — «все, что мне задолжал несправедливый мир», — и носишься с этим счетом повсюду. Так инстинкт тщеславия переходит у нас в голод тщеславия; наша «аура» становится все чувствительней; и на такую ауру градом падают обиды. Тогда мы — «обиженные».

Но ведь не все люди «таковы»?! — Нет, слава Богу, не все. Есть бесконечно много ступеней и оттенков: от алчности до полного самообладания, от острейшей раздражительности до просветленного и мягкого спокойствия. А там, где есть самообладание, где человек преодолел возбудимость своей личной ауры, все сразу же чувствуют успокоение, облегчение; в этом случае не надо ходить на цыпочках вокруг болезненной раздражительности ближних, чтобы сдуть мельчайшую пылинку возможной обиды; тогда в жизни образуется как бы оазис душевно-созидательного равновесия и здоровой деловитости.

Наряду с этим существуют люди просто с манией обиды, будто их где-то, когда-то — кто знает, где и когда! — раз навсегда обидели. Встречаешь такого, приветствуешь и тотчас же видишь, что он уже «обижен». Тогда целый час ломаешь себе голову, гадаешь, что бы это значило; напрасно — «обида» присутствует изначально, «непрестанно, неудержимо, всевластно» она рвется вперед и ищет лишь, к чему бы ей прицепиться. Для этого годится все: ваш более красивый галстук, ваш рассеянный взгляд, ваша недостаточно высоко поднятая шляпа, все дает повод, все раздражает раненую душу. Восхваления? Не помогают! Содержания этих восхвалений он не слышит; все остальное — форма, тон или то, что его вообще восхваляют, как если бы для «него» важны «восхваления», — обижает его снова. Неопытный любитель — а такие

мы все и есть — здесь мало что может сделать. К месту только снисходительность и прощение.

С подобными людьми надо обращаться как с душевнобольными. Не как с безумцами или сумасшедшими (такowymi они вовсе не являются), а как с больными и страдающими. Есть люди с открытыми ранами на теле. Здесь же говорится об открытой ране в душе. Эти люди больны изначальной обидчивостью, и с ними надо обходиться бережно. Свою накопившуюся боль, свою наслоившуюся и сгустившуюся горечь, свое судорожное недоверие, зависть и ненависть, свое странное самоистязание и совсем особо — свое удовольствие чувствовать себя жертвой истязаний они должны излить в потоке жалоб, описаний и слез, выстонать, вырыдать их; чтобы броситься затем в благословенный поток *беспощадной любви и беспощадной жажды быть любимым*.

Но кто захочет прислушаться к ним? Где тот мудрый и добрый, у которого есть ухо и сердце для этих обиженных? Ведь ни один из нас, «людей ауры», подобных мимозе, не согласится на это...

О, совсем не легко идти по жизни одиноким, непонятым человеком, обиженным, непощаженым, нелюбимым и беспомощным!

12. ОДАРЕННЫЙ

Бедный человек, чего ему только не приходится выносить в жизни! И его еще причисляют к «счастливым», не имея ни малейшего понятия о том, как ему, собственно, живется.

Прежде всего — повышенное бремя требований. Каждый считает себя вправе ожидать и требовать от него большего. Собственно, еще никто не знает, что в нем творится, что это может быть за «одаренность». Но у бедного мальчика уже есть эта несчастная слава — что он «одаренный»; и никто не хочет думать о том, что у каждой «одаренности» есть своя мера и свои особые пределы, что всякая одаренность есть в некотором роде *ограниченность*. Еще ребенком одаренного мучают, гоняют, травят, треплют.

Затем из него должно получиться нечто «особенное». Нам, остальным заурядным людям, живется легко: получится из нас нечто полезное — и этого довольно, осталь-

ное никого не касается. А одаренный всегда находится в опасности «осрамиться». Он всегда в неприятном положении невольного обманщика: будто он наобещал «Бог знает что» и должен сдержать обещание. Всю жизнь он видит себя перед этой дилеммой: или сверхдостижение — или «срам», и не знает, как и когда обретет покой.

Он опять же совсем не знает, как это получается, что почти все люди вокруг настроены по отношению к нему скептически и иронически, зложелательно и злорадно. Как если бы он каким-то образом их обидел или оскорбил; как будто его неудача доставляет им какое-то странное удовлетворение, как если бы их повысили по службе или, по крайней мере, намазали им немного меда на черствый хлеб будней. Будто большинство безмолвно шепчет ему: «Как, ты еще здесь? Когда же ты исчезнешь, докучливый?» Он должен всячески внушать себе — это только его воображение, легкая мания преследования, все с ним мило и любезно. Но это не помогает. И он прав: ведь мы, заурядные люди, отлично умеем подперчить одаренному пирог жизни и подкислить ему вино наслаждения в бокале. Ведь его «чувство превосходства» просто невыносимо, а его «самоуверенность» переходит все возможные границы. Не правда ли?..

К тому же на него направлены все глаза; все хотят узнать о нем побольше: сколько он получает, где бывает, как ведет себя, не заводит ли любовных шашней на стороне... Для нас, заурядных людей, он предмет разговоров, сплетен; для этого они и существуют — одаренные, незащищенные, выдающиеся, — чтобы мы могли удовлетворить наше подлое любопытство и позабавиться за их счет.

К этому, кроме прочего, примешивается зависть соперников, козни противников, косые взгляды коллег — короче, атмосфера, окружающая одаренного на работе, где правилом считается: «Твоя удача — моя неудача, твой промах — мое процветание...»

А если его, бедного одаренного, посетят еще и все наши пытки египетские: скука, бессонница, забота, неудача, хандра, болезнь и бедность; и если кто-то еще обидится на него за случайную слезу на глазах, тогда... разве тогда не полна его чаша? Кто тогда нуждается в утешении — одаренный или неударенный?

О, если бы сердце наше могло освободиться от зависти!

13. НЕПОЛНОЦЕННЫЙ

Мучительно для человека, да почти невыносимо, идти по жизни с чувством собственного ничтожества или просто неполноценности. Постоянное ощущение: «я — плохой», «бездарный», «неспособный» или вовсе «достойный презрения» — тяжестью лежит на сердце. Подобно свинцовым сапогам водолаза, оно тянет человека вниз, ниже уровня здоровой жизни; подобно грозовой туче, оно закрывает ему солнце жизни, горизонт радостей. Ни одно дело не делает он уверенно и достойно; никакое наслаждение не тешит и не веселит его до конца; никакие отношения с другими людьми не дышат у него спокойствием, свободой и равенством. Он несет в подсознании рану своей — так часто воображаемой — неполноценности, боль неудовлетворенности собой; он сломлен и не прощает другим; он унижает сам себя и испытывает вечный голод по признанию и чествованию; он хотел бы отомстить, да не знает кому... Он подавлен; его всегда нужно утешать, ободрять, поощрять. С него нужно снять бремя его муки; его надо освобождать для равенства; он должен обрести доверие к самому себе и научиться верить в самого себя. Иначе он никогда не обретет счастья.

Иные не понимают этого. Они видят такого страдающего от чувства неполноценности человека и не понимают, почему он так беспокойно двигается туда-сюда, постоянно извиняется, крадет, вместо того чтобы идти, хихикает, вместо того чтобы смеяться, так легко унижается до небольшого подхалимства, то преувеличенно учтив, то чувствует себя обиженным без всякой причины; короче — почему он ведет себя как ничтожество. Пару раз чудака внимательно разглядывают, отмечают про себя его низкое звание и начинают совершенно бессознательно обращаться с ним, как с рожденным для рабства. Никто не знает, что он может быть освобожден для равенства и воспитан для достоинства лишь спокойным уважением. Вместо этого его пинают. Если бы только знали, как они вредят ему тем, что к его необоснованному самопрезрению добавляют бремя реального презрения окружающих! Если бы только знали, как быстро он это замечает и как глубоко он это чувствует; какие мстительные, порой адские побуждения просыпаются в нем! Как он ищет тогда «ком-

пенсации» — то в фантазиях, то в тщеславном хвастовстве, то в медленно вынашиваемой мести...

Лучшей и целительной «компенсацией» было бы, однако, то, чтобы он резко очертил проблему своей истинной или воображаемой неполноценности и с непреклонной честностью осознал ее; чтобы он воспринял ее, примирился с ней так, чтобы потом уже не обращал на нее никакого внимания. Есть такая боль, которая не стоит того, чтобы выносить ее снова и снова... Гегель говорил, что надо как можно скорее похоронить ее, а затем раз навсегда забыть место захоронения.

Но пока неполноценному не удастся это окончательное «захоронение», он больше кого бы то ни было нуждается в уважении, доверии, утешении и любви; то, чего он не позволяет самому себе, он ждет от других: бальзам на рану. Он должен понять, что каждый из нас в том или ином смысле неполноценен. С этим надо примириться. Нельзя стенать над бесплодной грядкой своей души, когда другие грядки в том же саду, возможно, приносят чудесные цветы. Надо радоваться своему богатству, а не жаловаться на недостающее. Что станет с жизнью, если все мы начнем испускать жалобные вопли? Да, все; ибо перед Богом все мы неполноценны.

14. КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Она писала мне: «Да, я не хотела высказываться тогда, перед всеми, когда почтенный старый господин задал вопрос — прекрасно ли быть красивой. Я совсем смутилась и сидела тихо-тихо. Я предоставила говорить другим. Кстати, я совсем не так красива; вероятно — красива только наполовину. И другие бы тоже не поняли или — неверно истолковали. Но Вам я хочу высказаться без стеснения, Вы поймете меня, и потому я так охотно болтаю с Вами.

Будучи совсем молодой, по-детски любуешься своей «красотой». С удовольствием смотришься в зеркало и очень радуешься этому, и, ах, как хотелось бы еще чуть-чуть добавить до полной красоты. Но позже, когда, возможно, сделаешься подлинно красивой, эта радость исчезает. Куда? Поверьте мне, я много страдала и много думала! Она исчезает из-за отношения других.

Женщине, считающейся красавицей, стоит только войти — как сразу же начинаются мнения и пересуды. Она чувствует, что за ней наблюдают, на ней останавливают внимание, она выставлена напоказ толпе так называемых знатоков и оценивается ими. Мужчины смотрят сладострастно, дамы — критически или даже саркастически. Достаточно только раз заметить это перекрестье взглядов, как теряешь непосредственность, все становится таким мучительным, и сидишь такой несчастной.

Затем сыплются банальные комплименты, в которых мы вовсе не нуждаемся. Мы, женщины, ощущаем моментально и без слов впечатление, которое мы производим. Эти жалкие и плоские речи о «прелестном» и «прекрасном» могут тешить и прельщать лишь самых тщеславных из нас. А если эти неизбежные любезности высказываются еще и в присутствии других дам, гнев застилает нам глаза; и это опять же находят «восхитительным».

И как следствие — зависть и ревность, незаслуженно, но обидно; а с ними — это нескрываемое злорадство и эти колючие намеки, которые надо не замечать! Мне приходится расплачиваться за мои глаза, за то, что они большие и голубые, а к тому же еще и лучатся; за мою улыбку, о которой мне однажды было сказано, что «ее свет проникает прямо в сердце» — и за кое-что другое. На самом деле красавица не должна быть красивой, чтобы не ранить других. Ее красоту ей просто не прощают.

Но я еще не сказала о настоящем несчастье. Для большинства людей красота женщины исчерпывается ее внешностью. Восхищаются ее телом и желают его; ах, так часто, так элементарно, так без всякого желают его! Ей «не нужно» быть умной, тонкой, образованной. С духовностью она тоже может не иметь ничего общего. Все это «излишнее», как шестой палец на руке. Мужчины смотрят на нас — и их взгляд становится тяжелым, мутным и глупым. К нашей душе, какой бы она ни была богатой и нежной, они едва ли способны проявить настоящий интерес. Как часто мне приходилось чувствовать, что кто-то равнодушно проходит мимо и принимает мою так называемую красоту за *меня самое*.

Каким трудным становится для нас из-за этого подлинное духовное сближение, подлинная дружба! Умные мужчины часто робки и считают нас глупыми и пустыми;

а иные, которые так легко отваживаются приблизиться к нам, самоуверенные и дерзкие, обычно не знают ничего о духовности и дружбе.

Если бы можно было быть красивой — не для всех, лишь для немногих, для избранных, возможно, было бы много лучше! Но так не бывает. Поэтому я часто вынуждена говорить себе: пока люди не научатся беречь красивую женщину, красота будет скорее бременем, чем счастьем, скорее мукою, чем радостью; и лишь бесчувственные, ветреные женщины или глупые и злые умеют бесцеремонно наслаждаться своею «красотою».

Может ли быть красивой глупая или злая женщина, я не знаю. На этот вопрос мне должны ответить Вы. В благодарность за мою откровенность».

15. НЕКРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА

Я писал ей: «Так печально сказали Вы мне тогда: «Он не полюбит меня, ведь я некрасива!», что я ушел домой со стесненным сердцем. Но Вы неправы, фрейляйн Лотта! Откуда Вы знаете, что любят только красавиц? Что, быть красивой легко и весело? Что, красота и счастье идут рука об руку?

Если мы увидимся вскоре, я прочту Вам отрывок из письма, которое мне написала как-то одна действительно красивая дама. Это было письмо-жалоба о нескромности, о тщеславии, о зависти других, о преграде, которой стала красота для красавицы, об ослеплении людей, об одиночестве красивой женщины... Искренние и глубоко прочувствованные слова; они исходили из души, которая сознает внешнюю красоту своего тела и следует в одиночестве внутренней, духовной красоте. Ведь что может быть отвратительнее, чем уродливая, злая, глупая душа, заключенная в прекрасном теле?..

Совсем не нужно быть красивой для того, чтобы заслужить любовь и иметь право наслаждаться счастьем. Да, мужчины легко влюбляются в красивых женщин. Однако влюбленность еще далеко не любовь и не счастье; она — скорее опьянение и судорога, часто болезнь, порой катастрофа. И счастье дает лишь тогда, когда с самого начала несет в себе священное зернышко духовной любви и тем самым обладает способностью углубиться и созреть до любви.

Что есть красота, где начинается она? Я смею утверждать, что каждая женщина может быть красивою и может стать красивою; и если она это может, то в ней уже дремлет красота, как скрытая предрасположенность, или власть и влечение. Это предрассудок, что красота всегда предстает раскрытой, положительной и совершенной. Напротив — она приходит и исчезает, созревает и искажается; и самая раскрасавица мгновениями бывает уродливой. Предрассудок также и то, что определение красоты можно свести к правильности черт, форм и красок: напротив — все оживляет именно душа; все решает именно живое выражение; именно внутренняя красота делает внешнюю гармоничность истинной красотой! И эта внутренняя красота имеет тайную власть, которая превращает неправильные черты в пленительные, да, пленительно красивые, изменяет и освещает их.

Каждый человек получает свое лицо и свое тело не как нечто окончательное, раз навсегда завершенное, а скорее как исходную точку, предварительно данный материал, пластическая обработка и формирование которого предоставляется, доверяется, поручается его душе. Он должен жить в своем теле и творить его; а то, что он переживает в душе, непосредственно и неизбежно запечатлевается в его теле и в чертах его лица. Ведь, как говорил Гете: «Что внутри — то и снаружи». Внутреннее уродство искажает самое красивое лицо; внутренняя красота освещает и облагораживает самые неудачные черты так, что они становятся незаметными. Внутренняя гармония, доброта, достоинство, идейное богатство, сила характера, любящее сердце и веселый нрав — если все это лучится из очей, одушевляет лицо, управляет движениями, кто видит тогда математически неправильные черты, несовершенные краски, недостаток внешней красоты? Тогда дух властвует над телом; тогда прекрасная душа говорит из внешне некрасивого тела — и тело выражает это — делая его, некрасивое, красивым.

Каждая некрасивая женщина может и должна стать красивою. Но — изнутри, только изнутри, не путем этих поверхностных внешних «поправок», которыми так безнадежно стараются наверстать упущенное внутри... и именно так, что все упущенное и все «поправленное» без труда читается на лице.

Каждая некрасивая женщина может и должна стать красивой. При этом она должна уйти в себя, в глубину, где она слышит пение ангелов. Она должна вслушаться в это пение, забыться в нем, очиститься в нем и жить им. Тогда это пение зазвучит из ее души, и она сама будет цвести и светить другим людям.

И кто не полюбит эту «некрасивую» женщину, тот поистине не достоин ее».

16. ШУМ

Природа никогда не создает шума. Она учит человека величю в тишине. Молчит солнце. Беззвучно разворачивается перед нами звездное небо. Мало и редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. Даже море способно к «глубокой тишине». Самое великое в природе, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно...

А человек шумит. Он шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. И этот шум никак не соотносится с достигаемым благодаря ему результатом. Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, потому что все, что природа дает нашему слуху, это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. Пораженные и захваченные, стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или ураган; и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное. Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шепот леса, журчанье ручья, пение соловья — мы слышим не как шум, а как речь или песню родственных нам, но таинственных сил. Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рев мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рев радио, — это шум, докучливый шум, связанный с определенными явлениями, но так ничтожно мало значащий в духовном смысле. Шум присутствует везде, где звук безотносительно мало значит или вовсе ничего не значит; где гроыхание, свистение, жужжание, гудение, рев, проникая в человека, мало что дают ему. Шум — дерзкий и разочаровывающий, кичливый и

пустой, самоуверенный и поверхностный, беспощадный и лживый. Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. Он не таит в себе ничего «духовного»; он свободен от всякого «третьего», духовного измерения. Он «говорит», не имея что сказать. Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум.

При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». Он выманивает человека из его духовного убежища, из его сосредоточенности, вызывает его оттуда, раздражает, связывает, так что он живет уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. Говоря языком современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. Примерно так: «Приветствую тебя, человек!.. Послушай-ка! Погоди!.. Впрочем, мне нечего тебе сказать!..»

И снова... И снова... И бедный человек подвергается нападкам и даже не может отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь меня в покое... И чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. Он предается внешнему...

Благодаря шуму внешний мир делается значимым. Он оглушает человека, поглощает его. Он превращает его в материалиста: поскольку материалист — это именно тот, кто фиксируется на внешней материи и считает ее единственной реальностью. Шум, так сказать, «ослепляет» человеческое ухо, его слух, его восприятие; человек становится духовно «тугоух» и духовно «глух».

Шум перекрывает все: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от космического безмолвия. Во внутреннем — возникновение слова, рождение мелодии, отдохновение души, покой разума, «тихий голос говорящего в нас Бога»¹⁴ (Лафатер). Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя; где шумит ничтожное, там смолкает Вечное; где суетится черт, там не услышишь пения ангелов. Сад Божий цветет в тишине.

Робка также и муза. Как легко спугнуть ее шумом!.. Нежна ее сущность; голос ее нежен. А шум — дерзкий парень. Ничего не знает этот грубиян о таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая.

Он «а-музыкален» и «анти-музыкален»; он вытесняет изначальную мелодию из земной жизни и земной музыки... И наше шумное время уже зашло так далеко, что только титанически одаренные музыканты в состоянии воспринимать эту божественную изначальную мелодию...

От этого бедствия я не знаю утешения. Есть только одно: побороть шум...

III. СВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЧЕТОВ

17. ЛЮБОПЫТСТВО

Прекрасная вещь — обходиться без утешения, не нуждаться в нем, не ждать его! Так человек становится победителем, ему покоряется судьба.

Но любопытный на это не способен. Каждый миг его надо чем-то новым утешить, чем-то новым обнадежить. Напряженно всматривается и вслушивается он в мир: не промелькнет ли там что-нибудь новое. Что?— Неважно! Что-нибудь неизвестное, неиспытанное, неслыханное. Иначе — иначе грозит скука...

Любопытство ненасытно. Любопытный — обжора; его призвание — волчий аппетит. Подобно пылесосу, следует он за добычей и проглатывает новую пыль маленьких и больших событий. Да, разумеется, только пыль, которую он где-то накопил и с которой не знает что делать; позже искусная рука извлечет из него эту пыль — пыль разрозненных известий. Любопытный всегда восприимчив, но поверхностно: потому что он не вглядывается, он только смотрит; он хочет брать, «воспринимать», пусть даже взятое вовсе не правда. Лишь изредка он это как-то использует; потому что он не созидатель. Он курит новизну, как сигареты — одну за другой; и дым улестает в воздух. Но сам он — действительно ли существует? Представляет ли он действительную реальность? Может быть, он только сказочная шляпа с дырой, которая, наполняясь золотом до краев, всегда оставалась пустой? Или, может быть, он подобен шлангу водяного насоса?

Для любопытного важен не факт, не правда, не проблема; а лишь порог неизвестного: он вновь и вновь преступает его; это его радость, его утешение, его новая сига-

рета. Ради чего же переступать? Этого он не знает. Тогда его «волчий аппетит» ограничивается вкусом и запахом. Он останавливается на предвкушении. Он хочет лишь прелести новизны; лишь приправы, а не сущности пищи. Может быть, он хочет «приподнять завесу Изиды¹⁵»? Нет; это было бы для него слишком, это могло бы его сразить, обязать, наложить на него ответственность. Тогда ему пришлось бы созерцать; а это ему не подходит: ему не дано больше, чем смотреть. Ведь тогда ему, возможно, пришлось бы еще и действовать; а это ему также не подходит: он может только порхать. Он — безответственный потребитель, который, утоляя жажду, хлебает утешение жизни из чаши собственной пустоты...

Итак, нам не надо его утешать. Пусть он утешится сам. А что же другие, на коих он часто производит столь безутешное впечатление?

Он благоразумен и умен для того, чтобы принимать людей такими, какие они есть. Но никто из них не может превзойти самого себя; ни один воробей не пролетит над горой, ни один червь не переползет через облако. А ведь каждый фотограф тоже оказывает добрые услуги. Любой исследователь может найти хорошее применение чужому любопытству. Есть даже профессионалы, занимающиеся сбором новостей.

Однако любопытство, как таковое, следует правильно оценивать. Тому, кто воспринимает жизнь всерьез, чужое любопытство обременительно, а собственное — несносно: он скоро с ним справится. Кто хочет глубины, тот должен учиться *видеть*, тот не может гнаться за «новым», тот должен полюбить «старое». Потому что Великое и Существенное, Святое и Божественное — это древнее и вечное, но всегда новое и благодатное для видящего...

Любопытство — источник поверхностности, опошления жизни, безбожия. Подобно плохой тропе, оно незаметно ведет человека в пагубное болото.

18. НЕНАВИСТЬ

Существует так много мерзостей на свете, против которых уместными и естественными кажутся моральное неодобрение, духовное отвращение, справедливый гнев! Преступления, подобные торговле девушками, измене Оте-

честву, злостной клевете или заведомо ложным доносам призывают к решительному осуждению, которое должно действовать наказующе и очищающе.

Но ненависть...

Ненависть — это душевная болезнь, несчастье для самого ненавидящего и его окружения. Эта болезнь состоит в том, что сердце человека, то есть чувствительный центр его личной жизни, упорствует в отрицании, высыхает и каменеет в нем. При этом все в личности перерождается — ее мысли, ее воображение, ее интересы, ее оценки, шутки, смех, речь и даже почерк; и, конечно, стремления, намерения, образ действий. Все подчинено душевному спазму отрицания. Все пропитано ненавистью и опирается на нее.

Человек счастлив лишь тогда, когда он отдается любви и отдается самозабвенно. Ненависть же делает это счастье невозможным. Ненависть — отрицающая, разделяющая, презирующая; она отступает, она зложелательно оценивает врага; она не может и не хочет отдаваться. Она ведет себя жестко, холодно и неприступно; любовь кажется ей «мягкотелой» и «глупой». Забыться она не может, потому что является разновидностью вечного голода и вечной боли. Она подобна ране; и сама же берedit эту неизлечимую рану, как бы наслаждаясь собственной болью. Она — это судорога, которая сама себе нравится и потому не дает себе прекратиться. Этим затормаживается и парализуется эмоциональная жизнь ненавидящего. Застой царит в его душе; тяжелая, напряженная, насыщенная злобой атмосфера. И только тонкий душевный слух мог бы уловить сквозь этот плотный воздух в подземной камере пыток тихий стон еще не задушенной любви.

Ненавистник болен своим ненавистным врагом, кто бы он ни был — соперник, социальный класс, другой народ или целый мир. Внутренне он не может отделить себя от своего врага; у него неутолимая потребность видеть его в черном свете, объяснять его действия в черном свете, желать ему зла; он фиксирует его «отвратительность»; в душе как бы «лелеет» его гибель: он унижает его, заставляет его страдать и наслаждается его воображаемой гибелью. Он мечтает о «наказании»; он взыскует отмщения; он упражняет свою душу в злобе и мерзостях. И все,

что он замышляет, и все, что он желает своему врагу, заражает все уголки его собственной души, искажает и портит ее изначальную естественную доброту, парализует ее творческие силы. Ненавистник несет в себе самом свое проклятие и свою судьбу, служа разрушению и социальному разобщению. Необъективным и неясным становится его духовный взор; и чем больше он предается ненависти, тем больше он склоняется к галлюцинации. Уже он теряет способность трезво и реально наблюдать, уже он ищет врагов везде; уже он преувеличивает все; уже в его взоре проскальзывает начинающаяся мания преследования...

То, что при этом «светится» из его очей,— это черные лучи ненависти; они проникают в другие души и будят в них злые инстинкты. То, что он проповедует,— это подозрительность, жажда мести и убийство. Там, где он «работает», рвутся всяческие естественные связи, там объединяются завистники, неполноценные, люди злой воли. Там, где он имеет «успех», все идет к разложению, там пахнет кровью.

Сегодня мир болен ненавистью. И если мы не найдем верного противоядия и со своей стороны будем лишь ненавидеть ненавистников, то сами увязнем в ненависти.

19. ПРОДАЖНОСТЬ

Когда я слышу или читаю о чужих странах, где процветает продажность и где чиновники предлагают себя на продажу, у меня иногда появляется желание написать этим господам следующее письмо:

«Господа, позволяющие себе продаваться! Знаете ли Вы, что Вы делаете и чем Вы торгуете? Думаете ли Вы когда-нибудь об этом? Вникали ли Вы когда-нибудь в суть этого?»

Каждому из Вас доверена служба, где Вы должны поступать согласно законам и рабочему распорядку. Однако кое-что, а возможно, и наиболее существенное предоставляется Вашему суждению, Вашей «чести и совести». Иначе и быть не может, поскольку государственная власть не в силах всего предусмотреть и превратить чиновников в постоянно действующую машину. То есть каждый из Вас является тем, кто должен регулировать отдель-

ные явления жизни. И тут Вы открываете свою лавочку.

Вы продаете то, что Вам не принадлежит. Что сказали бы Вы, если бы кто-то другой стал продавать Ваши вещи, как свои собственные? Разве не закричали бы Вы тут же «держи вора»? Дело Вашей службы далеко не Ваше личное дело. То, что предоставлено Вам, называется «Государственными полномочиями для соблюдения общественного блага», а не «частным правом, защищающим Ваши дражайшие личные интересы».

Однако Вы превращаете общественное благо в частный товар, нарушая тем самым доверие, которым удостоил Вас Ваш народ и Ваше начальство. Вы думаете, что после этого Вам все же удастся поддержать личную честь и достоинство? Вы думаете, что человек чести может обращаться с честью и совестью, как с ходовым товаром, и предлагать его на продажу? Или, возможно, Вы придерживаетесь умного мнения: «не пойман — не вор»?

В течение многих поколений Ваш народ накапливал духовный капитал обоюдного доверия и уважения к государству и государственной службе. Это живой оплот правосознания, жизненная основа общей лояльности и законного правопорядка. И Вы расточаете это сокровище, чтобы лично обогатиться; теперь Вы разбазариваете этот духовный капитал и подрываете тем самым политическую субстанцию своего народа. Недостойные сами, способствуете исчезновению достоинства и из Вашей службы; бесчестные сами, Вы бесчестите свой народ и государство. Вы заботитесь о Вашей дорогой семье, как Вы говорите; и потому лишаете своих детей, а также весь народ благороднейшего единения, необходимого каждому народу в его истории: единения *верности* и *доверия*. Или, возможно, Вы думаете, что личное состояние может при вероломных обстоятельствах сохраняться и обеспечивать безопасность? Или Вы бабочки-однодневки по призванию? Создания, не имеющие никакого представления о том, что есть Отечество, что есть честно и что есть социально».

Такое письмо, вероятно, все мы однажды намеревались отправить этим чужим господам, прилагая при этом большие усилия, чтобы написать им «Вы» и «Ваши» с большой буквы.

Но письмо это, разумеется, осталось ненаписанным.

20. КАРЬЕРИСТ

Речь идет не о «к чему-то стремящемся» человеке, поскольку вся жизнь состоит из «стремлений»; и кто ничего не желает и ни к чему не стремится, тот не относится к живущим, возможно, он еще «не пробудился» к жизни, возможно, он «уже отжил свое», кто знает? Поэтому хорошо, если люди стремятся к чему-то.

И исследовательского диагноза требует не «целестремленный» человек, ведь целестремленный работоспособен и верен долгу, он служит со рвением, ищет лучшее, работает с радостью и гордится своей хорошей работой. Поэтому хорошо, если человек «целестремлен».

Однако надо иногда изучать и «карьериста»; и особенно — его методы.

Есть черта, которая разделяет «карьериста» от «некарьериста». Эту черту нельзя ни ровно провести, ни формально истолковать: ведь внешний признак обманчив, суждение же по формальным признакам почти всегда необоснованно. «Карьерист» — не тот, кто служит для блага своей Родины, своего народа, своего государства при любом правительстве, стараясь при этом быть деловым и добросовестным, верным и неподкупным...; а тот, кто при любом правительстве заботится исключительно о собственной карьере. Разделяющая черта касается, таким образом, внутренних воззрений человека, цели его жизни, которые он, конечно, умеет скрывать. Поэтому не так-то просто распознать настоящего карьериста и обезопасить его.

Итак, истинный карьерист живет собой и своим жизненным успехом. Остальное для него — только средство и инструмент, только беговая дорожка и трамплин. Он хочет быть хорошим спринтером. Поэтому не желает обременять себя; ни школьными товарищами, поскольку они знали его «маленьким», «необразованным» и «начинающим», ни родственниками и друзьями, которые так охотно навязываются преуспевающему человеку и цепляются за него. Такие связи для настоящего «гражданина мира» только избыточная и вредная обуза. Под «отношениями» он понимает нечто совсем иное: благоприятные, покровительственные связи с влиятельными, видными, известными людьми. Таковые он должен приобретать. Каким обра-

зом — безразлично; любим — службой или угодничеством, открытой или замаскированной взяткой, комплиментом даме или лестью мужчине, хорошей бутылкой вина или удачной женитьбой, часто совершенно беззастенчивым хвастовством или весело рассказанной непристойностью...

Совсем неприятны ему так называемые «убеждения»: «умному» человеку вообще нельзя тащить их за собой. Для чего? В жизни все — вопрос целесообразности. А тут еще эти «убежденные» люди — тупые догматики, тщеславные борцы за принципы; настоящее мучение для «реалиста».

«Реалист» рвется «вперед». Он должен посмотреть, в чем же, собственно, дело и откуда «ветер», как ему надо «настроиться» и «перестроиться» и не надо ли проделать «сальто морталя». Он создает целую «методологию» успеха в жизни, рецепты которой кажутся достойными внимательного изучения.

Никогда и нигде нельзя оставлять закрытыми двери. Нужно везде завязывать связи; всегда сохранять готовность к переговорам; особо выделять по мере надобности «за» и «против»; оставлять для себя открытыми большие улицы и маленькие переулки; и никогда, даже после пятой бутылки вина, не быть откровенным.

Затем очень важно найти одаренных людей, доверительно извлечь из них все лучшее, чтобы затем преподнести это под собственным именем. Выжатого таким образом можно позже уволить по сокращению или устранить иным способом.

Далее рекомендуется нащупать в любой ситуации центр власти на данное время, присоединиться к нему и вместе давить на более слабых; при этом лучше как можно реже показывать себя и подвергать опасности.

Полезно не отказывать ни в чем напрямую ни одному человеку, а, напротив — благожелательно выслушать каждого, отделаться от него пустыми обещаниями, выполнить его просьбу «позже», чтобы в результате свалить возможную неудачу на другого.

Но самое главное — заинтересовать как можно больше людей в их собственном успехе, становясь как бы копилкой или живым аккумулятором их надежд, симпатий и энергии. Тогда постепенно становишься «равнодействующей» в параллелограмме социальных сил. Тебя

продвигают со всех сторон, причем продвигающие не осознают своего сотрудничества.

Есть еще много подобных «методов». Настоящий карьерист владеет ими всеми и изобретает новые, расширяя свои способности к приспособлению и свою непредвзятость, не служа никакой идее и освобождаясь от любой более высокой ответственности. Человеческая история богата подобными примерами, особенно в смутные времена; и только правильное, христианское, религиозное воспитание сможет научить человека тому, что должны обозначать прекрасные слова «я служу».

21. СНОБ

Его не трудно узнать именно по чувству собственного превосходства, переполняющему его. Он же «единственный», «непревзойденный», он выше толпы. Он старается подняться над ней, создать дистанцию между собой и ней. Он — человек с положением. Он непрерывно старается дать нам почувствовать, что он снисходит до нас, серых людей толпы: он снисходителен, он терпит нас, он старается извинить нас за то, что мы так вульгарны, недостаточно прилично одеваемся (немодно! неряшливо! неуклюже!), что наш стиль жизни банален, что мы не в состоянии проявить понимание к «изысканности» «высшего света», избранных. Все это он нам и простил бы, но при условии, что мы станем им восхищаться; если же это произойдет, он попытается скрыть свое легкое отвращение.

В остальном он оказывается знатоком, сибаритом, гурманом. По-латыни: «arbiter elegantiarum¹⁶». В переводе на французский: «maître de plaisir». И при этом он считает себя знатоком и хранителем «хорошего тона».

Мир знает «легкого сноба» и «тяжелого сноба».

Легкий сноб комичен. Он ухаживает за своей внешностью: костюмом, руками, прической, манерами, особенно за галстуками, туфлями и носками. Он не ходит, он семенит. Он не садится, он «усаживает себя». Он не говорит, он картавит и сюсюкает. На его лице прочитывается высокомерное разочарование. Его улыбка напоминает гримасу. А как он держит за сдой вилку... с мечтательной грацией презирующего пищу. Все для него событие: курение, поглядывание-на-часы, чье-то обращение к нему.

Он занимается вечным кокетством с самим собою — зеркальным отражением своего Я. Аффектированно и искусственно он вышагивает по жизни, пустой сам по себе и смешной для окружающих. В остальном он мало уважаем и довольно безвреден.

Тяжелый сноб, в отличие от него, вреден. Он хочет судить, судить компетентно, решительно вмешиваться в жизнь; и там, где это ему удастся, возникает ущерб и нужда. Он — салонный знаток несущественного, с которым сам, однако, обращается как с чем-то наисущественным и, кстати, с ужасающим апломбом. Он выступает с такой непомерной самоуверенностью, что даже внушает боязнь скромным, наивным, безобидным дилетантам. Они видят перед собой «уважаемого, величайшего специалиста во всех областях жизни», позволяют ему импонировать себе, уступают ему поле сражения и с глубоким почтением молчат. Но не только его апломб валит с ног прочих, потрясенных; разумеется — и его заносчивость: «если кто-то так чванится, вероятно, у него есть на то причина... Возможно, он действительно знает все?» Уклонишься от перспективы неуместного, злого салонного спора (с грубыми окриками!), и поле боя остается за изображающим аристократа победоносным фатом...

То, что он рассказывает, годится также для того, чтобы прикончить бедных слушателей. Ведь он точнейшим образом, до мелочей, придирчиво, педантично и исчерпывающе искушен во всех областях. От него не ускользает ни одна деталь. Он разбирается в политике, моде, истории, искусстве, садоводстве, бальнеологии¹⁷, гомеопатии, истории народного костюма. Даже поваренное искусство доисторических времен и жизнеописание знаменитейших мошенников мира в сфере его специальных знаний. Особенно всезнающ он в области истории искусств. Ему известен род занятий отца второй жены Рембрандта; он точно знает, сколько кофейных зерен отсчитывал себе Бетховен по утрам на завтрак; какое имя носила по отцу бабушка Праксителя и т. д. Порою его память кажется безмерной; порою создается впечатление, что к его услугам во всех странах есть ловкое частное детективное агентство и что он выучил наизусть «Энциклопедию всеобщего знания»...

В действительности же его знания несущественны и мел-

ки, бездуховны и обесценены. Все они подобны эмпирической пыли, а он сам — пылесосу. Как знаток он беспредметен; его рассудок ничего не создает; его авторитет не является авторитетом. Святая и глубокая суть вещей ускользает от него; и то, что он схватывает, — лишь налет подробностей, показного и формального. Поэтому все его поведение поверхностно и мелко.

Сноб — духовная видимость существования. И атмосфера, которую он создает вокруг себя, — снобизм — тщеславна и вредна. Бахвал и ветреник по роду занятий, он умеет лишь болтать о великих вещах; а из болтовни еще никогда в жизни не получалось ничего доброго.

22. МУЖСКОЕ ОБЩЕСТВО

С давних пор известное, но не стареющее наблюдение: стоит нам, мужчинам, остаться в своем кругу, особенно если мы приглашены на вечернюю пирушку или сидим за нашим «постоянным столом», развлекаясь, чтобы прогнать скуку, — как уровень нашего общения начинает колебаться и снижаться. Один рассказывает о курьезе; другой пытается превзойти его в курьезности, и посмотри — всем уже хочется анекдота; все рвутся взять слово, у всех есть «что-то на сердце», что, собственно, никакого отношения к сердцу не имеет; за умным анекдотом следует глупый, за сольным — пресный, анекдоты сменяются непристойностями и, наконец, скатываются на такой уровень, что, расходясь по домам, а особенно на следующее утро, все полагают, будто при этом незримо присутствовала некая злая Цирцея¹⁸, околдовавшая и лишившая «их всех» достоинства, подобно тому, как она поступила с легкомысленными спутниками мудрого Одиссея.

Затем сидишь и думаешь, как могло дойти до такого и кто в этом виновен — начинающий шутник-любитель или неумолимейший рассказчик непристойностей? И правильный ответ гласит: «все и ни один». Как и в этой ситуации, часто бывает так, что гораздо вернее спросить о причинах, а не пытаться схватить за шиворот «виновного». Причин же существует множество.

Наиболее вероятным было бы предположить, что это мужское общество, безусловно знающее толк в винах; что отсутствие дам ослабляет внимание к требованиям хорошего тона, а упоение вином устраняет торможение, стесненное рамками обыденности. Немаловажно, что подобные пирушки или застолья почти всегда случаются под вечер. Рабочий день часто требует слишком большой сосредоточенности, напряженной собранности, строгого самообладания. Поэтому вечером хочется насладиться отдыхом, отпустить напряжение, проявить к себе снисхождение и кутиль в случайных, откровенно разгульных компаниях. Подсознательное хочет играть, шутить, вырваться на свободу; и кстати, совершенно заслуженно. Но паразитическое заключается в том, что расслабленное подсознательное так быстро застревает в тупике низкой непристойности, как будто это его любимая тема, которой оно весь день жаждало, как будто отдыхающий непременно должен скользнуть в нее. Но в этом нет абсолютно никакой необходимости.

Сознательное и произвольное расслабление от сосредоточенности могло и должно было бы пробудить и иные, более благородные силы подсознательного: художественную фантазию, остроумный анекдот, торжествующий юмор, доставляющую удовольствие карикатуру, откровенность «*enfant terrible*»¹⁹. В один из таких вечеров состоялся описанный Платоном «Пир»²⁰, на котором, кстати, присутствовала и мудрая Дюотима²¹. В один из таких вечеров Бетховен импровизировал на рояле в честь своего отъезжающего друга шуточный канон «Метроном» (все присутствовавшие подпевали ему); из этого канона позже возникло великолепное Скерцо из Восьмой симфонии. Короче говоря, там, где есть дух и творческая сила, мужское общество находит гораздо более удачную форму отдыха.

Здесь надо учитывать и своеобразную дифференциацию личности в последнем столетии: добросовестная дневная работа занимает рассудок и волю человека, чувством же, фантазией и интуицией, напротив, пренебрегают и подчиняются диктату примитивного инстинкта; получается, что они питаются содержанием последнего.

Тем не менее возможно общение и на более высоком уровне; но это стоит усилий и стараний, кажущихся по вечерам «едва ли выносимыми». К этому добавляются еще и инфантильный инстинкт тщеславия: весь день он голодал и был подавлен, а теперь стремится взять реванш, опускаясь до анекдотов и непристойностей. Так «приятно» и «свободно» сидеть вместе; появляется «настроение»... часто люди «вместе» делают такое, чего бы не сделал никто из них в одиночку. Многие «делают за компанию» — «из любезности»: иные — чтобы не показаться «заносчивыми»; третьи поддаются своеобразной силе инерции, инстинкту толпы; и все катится вниз. Глубокий социолог формулирует закон: «Чем больше социальная группа, тем примитивнее ее уровень»; только великим людям дано не подчиняться этому закону.

Гете сказал однажды: «Каждый, в отдельности взятый, довольно умен и понятлив; взятые в массе своей являют лишь тупость одну»²². Затем пробьет поздний час, и коллективный «дурак» опять разлагается на «умные индивидуальности». Потому что на свете не существует «вечных» мужских обществ.

Ах, как коротка жизнь и сколько чудесного и божественного мы упускаем, не замечая их отсутствия!

IV. ОПАСНОСТИ

23. МАТЕРИАЛИСТ

В том, что он таков, каков есть, не его вина: скорее, это бремя естественной предрасположенности. Но мы, иные, должны отвечать за то, что он остается таким, какой есть. Разумеется, нелегко расширить кругозор материалиста и облагородить его душу; тем не менее это надо сделать.

«Существует только материя и ничего, кроме материи!» Это тупик, в который он попал и где ему так приятно, что он хотел бы затянуть в это тупиковое мировоззрение все человечество: так как оно кажется ему настолько простым, настолько само собой разумеющимся, настолько «все объясняющим», что он не может постичь, почему

мы, иные, не хотим согласиться с ним; «не хотим» — категорически.

Так возникает эта комедия недоразумений вокруг материалиста: кто сам является таковым, не понимает, как можно быть кем-то другим; а кто таковым не является, тот не может постичь, как можно им быть.

Как человек становится материалистом? Он становится им сначала по природе, а затем из-за недостаточной заботы о своем духовном и умственном опыте.

Бывают люди как бы прилепившиеся к своему собственному телу и к своим чувственным ощущениям. Здесь — главный источник их жизненных содержаний, надежное пристанище их возлюбленного «Я». Реальностью для них предстает то, что являют им зрение, слух, обоняние, осязание и вкус; на остальное они не обращают внимания. Только внешний опыт, только внешний вид, только внешние отношения принимаются ими всерьез. Можно сказать, что они «повернуты наружу» (экстравертны), внутренняя жизнь их не заботит. Их удовольствие — чувственное удовольствие; отвращение — физическое отвращение; любовь — чувственное наслаждение. Голод, холод, боль, бедность, роскошь, успех в обществе, в общем, видимость — означает для них все. Они ужасающе мало знают о том, что такое сердце и совесть; их не мучит чувство ответственности, чувство социального они воспринимают с кривой усмешкой; добро и зло для них — «предрассудок для глупцов»; а о том, что нам открывают опыт и наблюдения, они и вовсе не подозревают. Лирическое говорит им мало; трагическое служит для них отвлечением; живопись и музыка для них не более чем возбуждающее средство — они ищут пестроту, яркость, броскость, какой бы безвкусицей это ни было. Они не могут представить себе, что такое религия и вера, и постоянно чувствуют за этим обман...

Приблизительно так выглядит «практический материалист». Теоретик же творит из этой практики абстрактную догму и «мировоззрение». Отсюда — настоящий волевой парень — марксистская революция и воинственное безбожие; экстравертные завистники и зложелатели бегут за ними; а остальной мир смотрит на это и толком не знает, что он может противопоставить материалисту...

С какой охотой я бы дал этим беспомощным людям

небольшой совет — несколько коротеньких детских сказочек!..

Жил-был человек, который так долго и рьяно смотрел из своего окна, что и сам потерялся в нем; теперь он думал, что он не что иное, как окно, и «только» окно, и что на всем белом свете не существует ничего, кроме окон. Вскоре он попал в сумасшедший дом, где сидит и поныне...

Жила-была умная улитка. Однажды она заметила, что без своей раковины и жить-то не может. Это было для нее большим ударом! Тогда она забралась обратно в раковину и не хотела ничего больше знать о самой себе, лишь бы только жила раковина. И вот скоро улитка высохла в ней и умерла; мертвая раковина осталась лежать на дороге, а на следующее утро ее раздавил грузовик...

В одной далекой стране жил-был когда-то дерзкий парень, который ничего не хотел знать о Боге. Тогда Бог наказал его так, что все, что он видел отныне, казалось ему мертвой материей. Для него не цвел больше ни один цветок; не сиял ни один священный образ; и радость перестала петь в нем. Неподвижно и бедно, пусто и мертво ухмылялась ему отовсюду мертвая материя. А другие не могли понять, что с ним, радовались цветам и сами цвели радостью. Тогда он пришел в отчаяние и лишил себя жизни...

Уродливый и слепой черный домовой хотел сделать человечество слепым и уродливым и наколдовал котел шипучего яда. Тогда собрались преданные и мужественные люди и опрокинули этот котел, и избавили от его содержимого добрых людей...

Потому что у добрых людей есть дела и лучше, и благороднее, нежели жалкие и злобные пошлости слепого материалиста...

24. БЕЗБОЖИЕ

«Если ваш Бог существует, покажите нам его! Где он? Где обитает? Где место его? Нигде! Ни один микроскоп не обнаружил его. Ни из одной подзорной трубы его не увидеть. Поэтому не лучше ли прекратить подобные толки».

На столь вызывающий вопрос следует непременно

дать ответ — ответ простой, ясный, научный и точный. Мы достаточно долго медлили с ним.

Где находится наш Бог?.. Если под этим «где» предположить определенное место в пространстве, то он не находится нигде. Но вы, господа безбожники, должны тем не менее признать, что есть реалии, которыми занимается позитивная наука, однако пространственно они не существуют. Это предметы без «где», без резиденции, места пребывания и местожительства; применительно к которым бессмысленными оказываются микроскоп и подзорная труба, атомный вес и химическая формула; но которыми тем не менее занимаются целые факультеты. Попробуйте-ка, господа, обратиться с вашим «где» к юристам (примерно так: надо рассмотреть в микроскоп — покупку, сдачу внаем, право выбирать); или — добиться ответа от математиков (примерно так: «Где местонахождение дифференциала или чистой величины в пространстве?»); обратитесь к психологам и спросите об удельном весе души, помучайте логика вопросом, может ли он разглядеть в подзорную трубу понятие. Для вас из этого выйдет одна стыдоба, а для любого другого — бессмыслица. Итак, прекращайте свою болтовню о «где»!

И спасайтесь, мои господа! Измените скорее свой неосторожный вопрос. Хорошо, так-то лучше: вы спрашиваете теперь, не происходит ли познание Господа из определенного *опыта* и доступен ли этот опыт всем?

Да, конечно, такой опыт есть; и как о любом опыте, о нем надо заботиться и облагораживать его. Поэтому он недоступен для всех. Примерно так, как в науке и искусстве: три, четыре, пять лет подряд заботится слушатель высшей школы о своем опыте и облагораживает его для того, чтобы правильно осознать и понять что-то; а вы хотите безо всякого судить о Боге? Кто научил вас превратному мнению, что силой суждения обладает каждый? Кто сведущ во всем? Кто чувствует себя в любой области как дома? Познают и учатся жестянщик и сапожник, а вы в самой глубокой и тонкой области духа хотели бы рубить сплеча?!

Что это за опыт? Мне придется вас тотчас препроводить в переднюю; где я вас покину, поскольку там начинаются *самостоятельные жизнь и видение*; там надо отдать самого себя, распахнуть свое сердце, открыть духовное

око, чувствовать, усваивать, схватывать, созидательно творить... Там необходимо заботиться о своей душе и очищать ее.

Этот опыт начинается с *любви*. Кто ею не обладает, кто проповедует лишь ненависть, тот остается за дверьми. Однако любовь должна быть истинною, задушевною и искреннею; здесь не поможет тепловатое лицемерие. Эта любовь должна иметь дело с качеством, истинным, неподдельным *качеством*, совершенством; во всем — в природе, и искусстве, в отношениях человека с человеком, в науке, в социальном строе. Там, где скрещиваются любовь и качество, где любовь к совершенству становится пламенем, там начинается религиозный опыт, там человек находится в луче Господнем, там он смеет перейти из передней во внутренние покои. И нам не дозволяется открыть ему то, что придется ему пережить в них.

Не хотите этого, господа, тогда идите своей дорогой; но будьте корректны и не судите о том, что вам не по силам. Иначе то-то будет опять стыдоба!

25. ЗАВИСТЬ

Добрые и злые феи подошли к колыбели человека и принесли ему свои дары. Самая злая из них подарила ему зависть. Возможно, это была переодетая фурия.

Пока люди живут на земле, они должны ладить, находить дорогу друг к другу, объединяться, помогать один другому. Иначе земля разверзнется под ними и небо расколется над их головой. Но зависть — сильнейшее средство развала: его выдумал когда-то мастер «Врозь» и «Друг против друга».

Для того, чтобы ладить, людям надо «прощать» друг другу свою непохожесть, свои преимущества, свое первенство. Не только в обладании состоянием, но во всем: ты умен, одарен, образован, красив, силен, богат, высоко стоишь по службе — я нет, ты — наверху; я — внизу; ладно, я принимаю это, я довольствуюсь этим... Мой «низ» меня устраивает; он для меня достаточно «высок»; оставайся выше меня, если можешь и если тебе это нравится. Я не завидую тебе. Если же мне станет недостаточно моего «низа», я буду бороться за «больше» и «лучше», но не желая отнять у тебя твоего. Я буду трудиться;

творчески работать; перемещу себя «вверх» — в соревновании, но без зависти. Ты только оставайся «наверху»; я поднимусь, к тебе.

Соревнование как внутренняя побудительная причина — явление здоровое, созидательное, братское. Его формула разумна и нравственна. Она гласит: «Я, и ты, и он! Мы все! Вместе — вопреки противостоянию вместе друг с другом! Да здравствует качество!»

Зависть — как внутренняя побудительная причина, — напротив, болезненна, разрушительна, враждебна. Ее формула — неразумна и безнравственна. Она гласит: «Я, а не ты и не он! Я один! Пошли все вон! То, что не станет моим, — пусть погибнет!» А так как «моим» может быть лишь малая толика, в зависти дремлет инстинкт убийства и разрушения.

Зависть — прежде всего скупость и алчность. Она ненасытна, как любопытство; она означает тем самым — вечную бедность, вечную заботу, вечно плохое настроение; всякую удачу она превращает в неудачу и оставляет человека бедствовать в безнадежном одиночестве. Жестокый завистник — зложелатель: он обижается на человека за чужое счастье; его задевает всякий чужой успех; любое положительное качество в другом мучит его как рана на сердце; гнев лишившегося на обладателя наполняет его; как ярость неполноценного, постоянно чувствующего свою неполноценность, а поэтому пристрастно отмечающего чужое превосходство. К «делу» он даже не подступает: он застревает в борьбе между «я» и «ты»; и в этой вечной борьбе изводит себя самого и своего противника. Если же его ярость расширяется до социальной программы, тогда она выливается в классовую борьбу; и начинается марксистская гражданская война.

Где же спасение и утешение? В искусстве не завидовать. Оно вовсе не сложно. Дари каждому то, что у него и так есть; и не копайся непрестанно в собственной неполноценности. Отбрось это жалкое «вычитание» — твоей мнимой «малости» из якобы чужого «превосходства». Знай, ты сам стоишь «сложения». Поднимайся вверх, не сталкивая вниз другого. Не завидуй! Не завидуй! И — самое важное — научись в большом деле забывать о себе!

26. САМОМНЕНИЕ

Оно имело место во все времена, но прежде никогда не встречалось в подобном масштабе. Эпоха все опошляющей популяризации, эпоха полунауки и полуобразованности вызвала к жизни этот тип человека. Он воображает, что умен и рассудителен, что все понимает, что знает «это» и еще кое-что, что он может «то» и еще многое. Наконец, он «все» может. И уже из одного этого он орет, третирует всех, загоняет в угол, клеймит позором. Он выступает самоуверенно и напыщенно и повергает в изумление весь мир; его могло бы, пожалуй, устроить разве что всемирное землетрясение. Меньшим он едва ли будет удовлетворен.

Чего он только не «знает»! Для него не существует трудностей и тайн: все плоско и примитивно. С Богом — давно покончено. Отечество — предрассудок. Национализм — предубеждение. Частная собственность — хищение и злоупотребление. Человек — похотливая тварь. Наука — классовый обман. Свобода — лишь во всеобщей пролетаризации. И вообще — мир должен склониться и не пищать.

Понятно: не могут все быть равно образованными и равно скромными. Многие знают немного. Ладно. Но вот один знает мало и не подозревает об этом; он наивен. Другой знает столь же мало, как и первый, однако воображает, что знает много и точно; значит, он предается высокомерию. Наивный еще даже и не размышлял о самом себе; его собственная умственная способность и власть, их пределы еще не стали для него проблемой. Высокомерный, напротив, поднял на щит самого себя. Он безмерно переоценил свои возможности. Он неверно очертил свои пределы. Мания величия точит его нутро, как червь.

Каждому из нас нужно здоровое доверие к себе («то, что я могу, я точно могу»); никому не впрок дурная заносчивость («я больше того, что я есть»). Заносчивость возникает из иллюзии; но ведь на иллюзии не построишь ничего верного; а то, что все же на ней строится, — гнило и хрупко. Так, высокомерие как будто создано для того, чтобы наказать себя. Свои опасности оно несет в себе; его тяжкие последствия дремлют в его лоне. Его слабость

суждений, его надменность, его глупо-дерзкая работа локтями ведут его к гибели.

Умный часто подвергает свой ум сомнению; он постоянно осязает собственные пределы; а когда находит их, старается расширить органично, а не перешагнуть через них механически; он упражняется в аскетичности суждений. Глупый — наоборот: ему даже в голову не приходит, что он может быть глупым; свою малость он считает истинной величиной и полнотой, и кара следует за ним по пятам.

Это — подлинная судьба коммунистического государства. Возникшее из высокомерия — ибо марксизм, прежде всего, духовное и экономическое высокомерие! — оно впадает в большевистскую грубость и в коммунистическую манию величия. И кара дремлет в его лоне: она означает разрушение качества во всех областях жизни.

От высокомерия нет спасения. Ему надо пройти суровую школу объективности; оно должно научиться первой христианской добродетели — смирению и усвоить его. Ибо в смирении человек постепенно становится тем, чем на самом деле должен быть. Ему раскрываются высота и глубина, он предстает пред Лицем Господа и чувствует себя в Руце Божией. Только так у него вырастают крылья; и он ощущает их, не впадая в высокомерие.

27. КОЛЛЕКТИВНАЯ МЕЧТА

Когда мы порою следуем своим мечтам и пытаемся, беспокойно вопрошая и беспомощно советуя, все же как-нибудь «истолковать» и «понять» их, то целесообразно и разумно прислушаться к коллективной мечте и верно истолковать ее. Хотя бы так, как герой сказки, приложивший ухо к земле, чтобы услышать далекий топот.

Тысячелетиями в трудах и муках несем мы возложенное на нас бремя жизни и нам является в ночных видениях и дневных грезах улаждающая и утешающая радость жизни. Всему, что обременительно и тягостно, мы противопоставляем не только расхожее пожелание «чтоб оно пропало», но и полуосознанное представление о том, «как могло бы и должно бы быть совсем иначе».

У нас мало времени для раздумья об этом счастливом и желанном «совсем иначе»; у нас также слишком мало

фантазии, чтобы верно выстроить его образ. Но если попытаться опросить людей о том, как они представляют себе желанное «всеобщее состояние счастья», ответы, вероятно, получатся сплошь отрицательными: вот если исчезнет все неприятное, докучливое, постыдное, утомительное, а явилась бы, пусть неясная, но «противоположность», — тогда «оно здесь!». Бессознательное в человеке страшится безотрадности и мечтает о радости; оно одновременно страстно и наивно, ненасытно и легковерно, первобытно в своих побуждениях и инфантильно в своих претензиях и ожиданиях. Оно не думает, оно живет в своих неясных мечтаниях и доверчиво слушает туманные сказки о счастье. Оно не любит трезвых речей о «необходимом» или «невозможном», о «власти нужды», о «победе неутомимости», о творческом движении в сторону «величайшего сопротивления»; все это — язык разума и жизненной мудрости и остается уделом победного духа.

Так, с древнейших времен мечтает носитель коллективного сознания о счастливом «нигде», утопическом сказочном счастье, стране с молочными реками и кисельными берегами, о рае, где есть лишь радость, наслаждение и абсолютная справедливость, а все остальное — слабость, боль и болезнь, работа и хлопоты, голод и нужда, запрет и грех, преступление и наказание, принуждение и несправедливость — исчезнет раз навсегда. Порою эта мечта относится к прошлому: так было однажды, в «Эдеме» (буквально: блаженстве), а потом потерялось, порою она относится к будущему, в котором нас ждет «золотой век» или «тысячелетнее царство» («хилиазм»²³).

Одни переносят исполнение этой мечты на тот свет; другие придерживаются мира земного. Вера в потусторонний мир дает людям надежду, душевное просветление и терпение, в то время как младенчески-земные «перспективы» могут принести лишь нетерпение, революционное брожение и разочарование.

Век, в котором оживают эти земные коллективные мечты, обычно век волнений и брожений. Тогда кажется, что усталость и уныние овладевают коллективной душой; будто эту мечту воспринимают всерьез и дерзают воплотить в жизнь; будто «терпение» коллективной души «исчерпано», будто она больше не может выносить и терпеть. Затем появляется толпа мнимых «пророков», возна-

мерившихся вещать от имени «коллективной души» и представлять ее истинные интересы. Порою это наивные мечтатели, которые сами разделяют коллективную мечту и, объятые слепым «пафосом», начинают религиозно-сектантское подстрекательство. Но чаще, однако, это честолюбивые демагоги, ведущие с коллективной душой злую и опасную игру.

Девятнадцатый век одарил нас антирелигиозным, безбожным «хилиазмом», ничего не желающим знать о потустороннем мире и цепляющимся за этот, земной, мир. Он проповедует нетерпение; ведет себя разрушительно; манит коллективную мечту в реальную жизнь. Несколько десятилетий марксистские «пророки» колебались между «постепенно» («эволюция») и «сразу» («революция»), между «уважением» и «бестактностью», пока не взял верх скрытый механизм максималистской химеры. Прошло уже двадцать лет с тех пор, как во всем мире бесцеремонно приветствуют, ободряют и раздувают коллективную мечту; с несбыточной мечтой-желанием обращаются как с «ближайшей действительностью», не считаясь более с неумолимыми законами природы и человеческой сущности. К этому призыву внемлет сегодня полуушербная в религиозном смысле коллективная душа, все еще надеясь успешно превратить древнюю мечту в трезвую, бодрствующую жизнь...

Какое ужасное пробуждение им предстоит! Что будет с современным миром, если ему не удастся заморозить раскрепощенную от «хилиазма» коллективную душу новыми духовными и социальными идеями? И где он найдет эти созидательные идеи, если не захочет прислушаться к христианскому откровению?

28. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В тот день мы были вместе. За нашим постоянным столом сидело много людей, и все слушали незнакомого, но с очень хорошей репутацией пожилого господина. Вероятно, это был англичанин. Благородное, немного усталое лицо с умными, пылающими глазами, с упрямым подбородком и двумя большими шрамами на лбу. Он много пережил, лично участвовал в трех гражданских войнах в чужих странах, говорил довольно медленно,

с внутренней силой, короткими, в форме афоризмов, фразами. Мне удалось записать немного из сказанного им, что я воспроизвожу сейчас из своей записной книжки.

«Гражданская война — это взрыв ненависти, за которым следует всеобщий пожар. Часто оставляют без внимания, как и где накапливается эта ненависть в стране; тогда создается видимость, что разразилась буря среди ясного дня. В действительности же ненависть и травля давно уже были налицо. Классовая борьба — это ведь замаскированная гражданская война; а гражданская война — не что иное, как открытая и беспощадная классовая борьба.

Гражданская война подобна эпидемии; это — психоз ненависти, распространяющийся все дальше и захватывающий все новые слои общества. Чтобы верно понять этот психоз, нужно вернуться в средние века, во времена страшных народных болезней, чумы, пляски святого Вита²⁴ и т. д. Создается впечатление, что люди так заражают друг друга ненавистью и жаждой мести, что все нравственные тормоза и общественные устои постепенно парализуются или вовсе отбрасываются. Тогда торжествует злая воля. Никто более не думает о примирении. Товарищ из народа более не является таковым. Враг в интернациональной войне никогда не устает от такой ненависти, как враг-земляк в гражданской войне. Нигде так не борются за уничтожение врага, как здесь, где пленных часто уничтожают, где нередко встретишь людей, которые похваляются количеством убитых врагов-сограждан.

Гражданская война подобна землетрясению: все колеблется, все рушится, с тою только разницей, что люди сами вызывают это нескончаемое землетрясение и бушуют в нем. Как сказал великий философ Гоббс²⁵, человек человеку становится волком. О порядке и безопасности нет больше и речи. Исчезает взаимное доверие. Все стремятся принять иное обличье и скрыть свои истинные симпатии. Все настроены на двойную мимирию, полуоткровенно славословя то одного, то другого временщика. Враг везде; и донос отовсюду угрожает. Тебя везде подслушивают, тебе завидуют, ненавидят и угрожают. Пробуждаются наихудшие страсти; объявляется забытая не-

приятель и стремится излиться наружу. Это — время всеобщего предательства и грубого сведения счетов.

Это также время всеобщей потери нравственности. Законы молчат или непрерывно меняются. Правовое сознание не успевает за ними и сдается. Никто не знает, что правомерно, что должно, что разрешено, а что не разрешено. Уголовники открыто выступают и беспрепятственно бесчинствуют. Они стремятся присоединиться к обоим фронтам, что им и удается; они проникают повсюду и увлекают нравственно слабых. Поэтому это время малого и большого авантюризма. Этих людей, авантюристов гражданской войны, надо было наблюдать непосредственно, лично, чтобы понять их природу: честолюбивые и алчущие власти, совершенно лишенные корней, деморализованные, они делают из гражданской войны профессию; бедность собственного народа им ни о чем не говорит; всеобщую разруху страны они даже не замечают; разрушение национальной культуры им безразлично. Это безродные карьеристы, которые привыкают купаться в крови и которым все равно, где добывать деньги.

Так страна, в которой идет гражданская война, сдается, как от налета саранчи, и разрушается, как от землетрясения. И чем плотнее населена страна, тем свирепее бушует гражданская война. Только беспощадное наступление обещает здесь победу... Наступление? Против кого? Против собственных соплеменников... Против соблазненных, спровоцированных, ослепленных сограждан...

Вряд ли существует большее злодейство против своего Отечества, чем развязывание гражданской войны. А кто не хочет учиться на чужом примере, тот пусть хотя бы представит, какую личную ответственность он будет нести. Здесь существуют три упреждающие задачи: нельзя допускать, чтобы в народе накапливалась социальная ненависть; нельзя, чтобы она переросла в отчаяние; нельзя, чтобы отчаяние приводило к развязыванию гражданской войны. Не стоит ли считать счастливой ту страну, в которой верно решены эти задачи?»...

С тех пор прошло уже шесть лет, а мне все слышится голос оратора и полная тишина, наступившая после речей англичанина. Спорить не хотелось, и мы разошлись, погруженные каждый в свои мысли.

29. БЕСЧЕСТИЕ

Зияющая расщелина образовалась в современном мире. Ее начало простирается далеко в XIX век. Ее истинной глубины, кажется, еще долго не достигнуть. Нельзя не замечать ее по слепоте или близорукости; скорее подобает обозреть ее спокойно и решительно. По одну сторону расщелины стоят люди, отстаивающие свое достоинство, серьезно и свято относящиеся к своей чести; по другую — люди, презирающие честь как «буржуазный предрассудок», воспринимающие и трактующие бесчестие как основу жизни. Два непримиримых противоречия, два мировых лагеря, связанных друг с другом, как «да» и «нет», как жизнь и смерть, как созидание и разрушение. Ибо бесчестный скатывается в пропасть.

Четыре ступени, одна за другой, отмечены ходом бесчестия.

Начинается оно с простенького бесчестного деяния. Им человек еще не обесчещен, но честь его уже подвергнута проверке. Это — время искушения: тут надо сделать выбор — объявить себя сторонником чести, честно осудить свое бесчестное деяние и отвергнуть его; честь восстанавливается уже тем, что ей остаешься верным и рассматриваешь свое подлинное «я» в истинном свете. Проступок может совершить каждый; главное тут — не «случай», а — результат: так человек поднимается к понятию истинной, непоколебимой в дальнейшем чести.

Но он скатится вниз, на вторую ступень, если попытается оправдать совершенное им бесчестное деяние. Для этого ему надо исказить верное чувство чести и превратно истолковать добро во зло. Искаженное чувство будет сопротивляться, пока не будет бесповоротно искалено или приведено к молчанию. Ложная казуистика заведет его в чашу ложных выкладок, умозаключений и установок. Таким образом, он сам работает на свое собственное бесчестие и скоро зайдет так далеко, что уже не будет испытывать почтения пред этой святыней и уважения к тому, кто его заслуживает. Равнодушно глотает он тогда мутную воду бесчестия, уже не испытывая к ней отвращения.

Сознательное, принципиально одобренное бесчестие характерно для третьей ступени. Здесь человек уже так

привыкает к своему бесчестию, что считает его единственно верным состоянием души и отрицает все остальное. Честь кажется ему вовсе чем-то неважным. Она не нужна, она — глупый «буржуазный предрассудок», как охотно выражаются последовательные марксисты. Чувство чести — лишь помеха в классовой борьбе. Существуют иные побудительные мотивы и положения, пред которыми честь должна напрочь отступить, например, «классовые интересы», «мировая революция» и т. д. Отсюда — обещивающая все и вся «теория» и последовательно бесчестная практика.

Вполне логично скатываешься с третьей ступени на четвертую. Раз честь — вредная помеха, нелепое препятствие, ее надо преодолеть и устранить: необходимо отлучить людей от понятия чести, теоретически и практически научить их бесчестию. Не удивительно, что идеологи бесчестия стремятся разрешить эту задачу бесчестным путем. Неудивительно, что они обращаются не к людям уважаемым, с чувством чести, а скорее к кругам деклассированных элементов общества: к закоренелым каторжникам, профессиональным шулерам, опустившимся. Для бесчестного человек чести — всегда бельмо на глазу: многозначительный, презирающий, живой упрек, счастливый «буржуй», которого сейчас же надо сломить экспроприацией собственности, монополией работодателя, террором, и притом — «во всем мире».

Так начинается процесс бесчестия — с простого, часто случайного нечестного деяния, а кончается «гигантским планом» бесчестия всех людей. Этот план рассчитан на каждого бесчестного, каждого, кто утратил чувство достоинства и самоуважения, кто плюет на святое и на свою добрую репутацию, — он рассчитан на всех подобных, чтобы победило дело бесчестия на земле, чтобы людей доброй чести одолеть, связать и обесчестить.

Зияющая расщелина образовалась в современном мире. Она стремительно расширяется. Она не случайна; она принципиальна; она бездонна. И только наивные могут думать, что им удастся безучастно проскользнуть мимо.

Сегодняшний «христианский мир» стал наполовину христианским. Тем самым он утратил божественный источник истинного достоинства. Удастся ли ему устоять перед всеобщим бесчестием?

30. НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

О несправедливости говорят и пишут с древних времен — возможно, с тех пор, как человечество вообще научилось говорить и писать. Что же она такое, все еще не ясно. Очень непросто прийти к согласию в этом вопросе, поскольку в данном случае спор сводится к практическим результатам в перспективе и никогда не ведется с достаточной долей «незаинтересованности». Каждый хочет, чтобы с ним обошлись «справедливо», и жалуется на «несправедливость»; однако пытается так истолковать справедливость, чтобы сразу же стала очевидной явная несправедливость по отношению к нему. И каждый обладает достаточным самомнением, чтобы судить «справедливо» об отношении к другим людям, и совсем не замечает, что другие возмущаются его мнимой «справедливостью». Так проблема искажается страстями и окутывается предрассудками; целые поколения застревают в этих предрассудках, и замечаешь порой, как само слово «справедливость» вызывает язвительную улыбку.

Но мы неумолимо стремимся сохранить приверженность старой, благородной идее, которую противопоставляем любой классовой борьбе и любому несправедливому уравнительству; мы также твердо уверены, что ей принадлежит великое будущее. Только как надо понимать ее?

Французская революция научила и передала по наследству человечеству вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы «равны» и вследствие этого с ними надо обходиться «одинаково». Ничто так не препятствует разрешению нашей проблемы, как этот самый предрассудок. Ибо сущность справедливости состоит как раз в неординаковом обхождении с неодинаковыми людьми.

Если бы люди были действительно равны, жизнь была бы предельно простой, и справедливость было бы чрезвычайно легко найти и ввести в обиход. Стоило бы только сказать: одинаковым людям — одинаковую долю; или — всем всего поровну. Тогда справедливость можно было бы обосновывать арифметически и создавать механически; и все были бы довольны, потому что стали бы ничем иным, как одинаковыми атомами, своего рода механически-всюду-катящимся шариком внешне и внутренне оди-

накового душевного склада. Как нанвно, как просто, как мелко! Прошло сто пятьдесят лет; думалось, этот плоский материализм давно уже отжил свой век, и вдруг — видишь его проявление во всем мире.

На самом деле люди не равны ни телом, ни душою, ни духом. Они роятся существами различного пола, с различным здоровьем и силой, с совершенно различными предрасположенностями, дарами, инстинктами и желаниями, они творят неравноценное, принадлежат к различному духовному уровню, и с ними (в силу справедливости!) надо обходиться различно. В этом заключается основа и главная трудность справедливости: людей — бесконечное множество; все они различны; как сделать, чтобы каждый получил согласно своей особливости? Они не одинаковы — значит, и обходиться с ними надо не одинаково; а именно — каждый раз согласно их живому свособразию. Иначе возникает несправедливость.

Тем самым справедливость вовсе не означает равенства; скорее — неравенство; но применительно к каждому предмету, так сказать — «предметное неравенство». Что-то вроде: беречь ребенка, помогать слабому, снисходить к уставшему, ухаживать за больным; проявлять больше строгости к безвольному, больше доверия честному, больше осторожности к болтуну, с одаренного справедливо взыскивать больше, герою подобают почести. Справедливость поэтому — искусство неравенства и присуща лишь благородным душам. Она проистекает от доброго сердца, живой наблюдательности; у нее обостренное чувство реальности; она отвергает механический метод; она интуитивна и созерцательна; она хочет вчувствоваться, индивидуально подойти к каждому случаю. В ней есть нечто художественное; она старается уловить в человеке его сущее, его своеобразие, и соответственно этому обходиться с ним. Она делает человека деликатным, «социальным», настраивает его на меру, располагает к состраданию. Справедливость родственна такту, чувство ответственности ей ближе всего. И если где-нибудь на свете — возможно в небесах? — есть весы всеобщего уравниательства, верно взвешивающие неравенство, то справедливость стоит у этих весов как строгий и снисходительный страж.

Однако самое важное в жизни — не найденная справедливость, а *всеобщая уверенность*, что ее *искренно хотят и честно ищут*. И если это на самом деле так, тогда несправедливость переносится легко, ибо ее воспринимают как нечто «преходящее» и сглаживают готовностью к самопожертвованию. Тогда несправедливость перестает быть «опасностью»...

31. ОТОРВАННОСТЬ ОТ КОРНЕЙ

В современном мире есть большая беда, а именно: оторванность человека от корней. Люди блуждают, носимые ветром судьбы, как блеклые листья, нигде не закрепляясь, ни с чем не срастаясь, нигде не оседая, нигде не становясь верными, как внешне, так и внутренне.

В социальном смысле их называют пролетаризированными; в культурно-политической сфере — не имеющими Родины; в религиозном отношении — неверующими. Не единое ли это явление единого происхождения? Разве земля привязывает одновременно к работе, к природе, к Богу, к семье, народу и Родине?

Два социальных элемента противостоят один другому: связанный с землей, пустивший в нее корни, оседло трудящийся и не связанный с землей, лишенный корней, скитающийся элемент. Никто не может без земли: ведь и не связанному с землей нужна земля, и даже цыган использует ее на свой, пусть худой, манер. Вопрос состоит лишь в том, как правильно заботиться о земле; мы говорим лишь о связи или об отсутствии связи человека с землей, о длительности и надежности ее. Что есть естественное, инстинктивно верное, покровительствующее хозяйству, морально воспитующее, образующее характер, строящее культуру, привязанное к Родине, определяющее национально, закрепляющее в духовном и религиозном смысле? Что делает свободным человека в Боге и что освобождает его для хаоса разрушения?

Не связанный с землей, лишенный корней покидает природу и теряет обязующее и благодатное общение с ней; становится жертвой города и машины; погрязает в болоте слишком человеческого, произвола, разума, пустоты. Связанный с землей остается связанным с природой, породненным с ней, включенным в ее вечный ритм. Он думает

реально, чувствует и уважает ее законы, вживается в ее насущные потребности, в ее глубокую мудрость. Живая тайна природы будит в нем живое лицезрение Бога и приводит его к Богу...

Инстинкт не связанного с землей лишен корней и беспризорен: он остается предоставленным собственному эгоизму, живет одним днем, задыхаясь, утопая в заботе и зависимости будней, без прошлого и настоящего, прислушиваясь ко всякому роду мудрствований и утопиям, чуждым инстинкту. Инстинкт связанного с землей имеет свой установленный и оберегаемый круг действий. Его инстинкт самосохранения обусловлен, побуждаем и силен наследственностью. Его хозяйство для него одновременно — святое прошлое, созидательное настоящее и полное надежды будущее...

Не связанный с землей чувствует себя в глубине своего существа как бы «лишенным прав». Скованный неуверенностью, считающий свою мастерскую временной, он и к работе относится почти без интереса: как на чужого, холодно смотрит на него отстраненное и равнодушное окружение. Он не отдается работе сполна, бережет свои силы, он не любит свою работу. А что такое работа, что такое жизнь — без любви?.. Связанный с землей чувствует себя уверенным в своих правах и в отмеренном ему сроке владения частной собственностью. Поэтому он «выкладывает» себя самого, свой труд, свои сбережения: он работает интенсивно, настраивается на качество, стремится создавать лучшее. Он любит свой клочок земли, любит свою работу, и от любви цветет его предприятие. Фридрих Великий был прав, говоря: «Люди срастаются нутром лишь с тем, что им принадлежит»...

Рабочего на производстве его труд лишь дисциплинирует: его сковывает и механизмирует машина. А связанного с землей органически и нравственно труд воспитывает. Он как бы дышит духом своих предков, учится уважать и любить своих отцов. Его поле учит его работать добросовестно и ответственно; с детских лет он выполняет обязанность, возложенную на него природой, и, став взрослым, он уже имеет привычку созидательно думать о детях и внуках. Земля дает человеку семейный очаг, жилище, учит его заботиться об интимном семейном круге. Из этих здоровых клеток состоит народный организм...

У не связанного с землей отнято счастье этого наследственного, прочного «где». Нигде нет у него родного дома, он всюду «у себя». Это запечатлевается в его душе и сердце. Его характер создается и закаляется в социальных «битвах» и «завоеваниях»; поэтому он слишком часто застывает в судорожном, завистливом «отрицании». Совсем по-иному происходит все у связанного с землей: его характер становится самостоятельным ввиду того, что он работает по собственному побуждению в собственном хозяйстве и наслаждается тем, что сам себе позволяет. Его правовое сознание происходит из частной собственности. Из спокойного собственного бытия, из достойного самоопределения — у него появляется здоровое чувство свободы...

И как часто, ах, как часто лишенный корней теряет живое чувство Отечества: ибо Отечество — это «страна отцов», об образе которой он конкретно слишком мало знает. Напротив, счастлив связанный с землей, который знает, что его участок есть живая часть государственной территории и которому территория его Отечества кажется собственным обширным участком. Он знает, что его народ — огромный живой поток, в котором течет и жизнь его рода. Он дышит вместе со своим народом, и его собственное дыхание гарантирует жизнь его народа...

Не целесообразна ли связанность с землей и не угодна ли она Богу? Не лежит ли в основе всякого «дела» возделывание пашни? Не первая ли культура — земельная? Ведь и вправду, там, где приходит в упадок земельная культура, гибнет всякая материальная и духовная жизнь, прекращается всяческое созидание, и всякая культура оказывается мнимой...

Отрыв от корней — большая опасность в современном мире: потерявшая корни жизнь становится противоестественной; лишенная корней душа — безбожной. Затем наступает развязка: человечество разрушается.

Ибо без Бога человеку не удастся ничто на земле.

V. ПРОБЛЕМЫ ХАРАКТЕРА

32. УЛЫБКА

Были ли вы когда-либо счастливы без улыбки, без с улыбкой сказанного друг другу «да»? Тем не менее счастливыми нас делает не всякая улыбка...

Стоит лишь вымолвить слово «улыбка», и каждый тут же представляет себе милое, приветливое лицо с несказанным выражением здоровья и доброжелательности. Искра счастья — для себя и для других. Пусть хотя бы немного облегчения, утешения, а может быть, даже любви... Так бывает порою. Но так бывает далеко не всегда.

Улыбка «играет» не только вокруг рта; она «играет» на всем лице и особенно в глазах, из которых она лучится. Когда улыбается лишь рот, а глаза остаются серьезными или застывают, нам становится как-то неуютно и даже жутко. Когда же улыбаются одни глаза, то мы нередко наслаждаемся скрытым, сдерживаемым юмором. Но мертвые, с закрытыми глазами, улыбаются лишь чуть-чуть — выражая общее для них блаженное успокоение.

Поэтому улыбка не так уж и проста и не всегда говорит о счастье. Существуют, можно сказать, бесчисленные разновидности улыбки. Стоит только, например, принять во внимание, что преобладает в улыбке — *собственное здоровье* или *доброжелательность к другому*. Здоровье переносит акцент на дражайшее «я» улыбающегося: он подразумевает самого себя, дела у него идут хорошо, чувствует он себя уютно. Доброжелательность, напротив, переносит акцент на отношение к другому; тогда улыбка подразумевает «тебя», ближнего.

«Я — улыбка» чаще всего самодовольна, отвергающая, бессердечна и несимпатична. Она может совершенно по-детски, наивно означать: «я здоров и наслаждаюсь, что мне до других?» Или самодовольно: «все во мне и на мне превосходно». Или, более того, заносчиво и высокомерно: «чего стоят остальные по сравнению с моим совершенством?» Далее улыбка может стать даже насмешливой и язвительной: «что, кто-то осмеливается сравнивать себя со мной?» Или — презрительной: «и вы тут,

низменные создания?»; разочарованной, обиженной и т. д. И когда эта обиженная, презрительная ирония обращается против «верхов», она становится саркастичной и богохульной: «эти там, наверху», или «тот там, на небесах». Пропитанная затаенной злобой, рассеивая черные лучи ненависти, зависти, неутоленного чувства мести, улыбка становится inferнальной и сатанинской — судорожная гримаса неудавшегося самообожествления... Так самоутверждающееся «хорошее здоровье», не связанное с сердечной доброжелательностью, из-за примитивного эгоизма скатывается в ад, чтобы улыбаться еще и из ада...

«Улыбка тебе», напротив, улыбка сердечной симпатии во всех своих оттенках, от наивно-чувственного желания до навеянной потусторонним миром жертвенной, духовной любви, улыбающейся из дали неверному возлюбленному на счастье. Бывает улыбка целомудренной скромности: «Я — цветок в саду» и улыбка бесстыдной навязчивости. Бывает улыбка дразнящего кокетства и улыбка святой тайны; улыбка вопроса, изнемогающей тоски, пробудившейся ревности, прощения, утешения, благодарности. Бывает улыбка блаженного просветления и улыбка счастливой матери. Бывают случаи, когда уродливое лицо спасает улыбка и когда самое прекрасное лицо она искажает и компрометирует. В целом — неисчерпаемое богатство выражения.

Но истинная улыбка всегда вызвана вполне конкретными условиями. Улыбка — это выражение, продиктованное чувством «да», и это «да» должно светиться полно, живо и искренно. Неискренняя улыбка — всегда фальшива и отвратительна: она отравлена изнутри и обессилена отрицанием «нет». Настоящая улыбка, однако, должна быть полноценной — внешне, светясь на лице, и внутри — лучась от души. Ясность и искренность образует ее душевное благоухание. Человек в своей улыбке должен быть весь на виду, подобно ребенку, вести себя чистосердечно и свободно. Только тогда он предстает как «дитя сердца» и его улыбка действует чарующе. Легкая, светлая нить протягивается тогда от человека к человеку; сразу возникает взаимное расположение душ, а по мере того как улыбка становится все сердечнее и ласковее — дружба и любовь.

Такая улыбка может и вправду стать орудием Бога на земле.

33. ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Не дар ли оно богов, которые порою сочувствуют нашей тоске? Или оно лишь случайный сквозняк в нашей чердачной каморке? Безобидный и радостный порыв в танце жизни или чреватая последствиями ветреность неполноценного человека? Цветение невинности или дорога в вину? Возможно — все вместе?

Легкомыслие — род свободы, получаемой путем душевного стряхивания приобретенного бремени; свободы, достигнутой не силой, покорением и властью, а скорее — отсутствием проблем. Задачи не разрешаются, но делается вид, будто их вообще не существует. Легкомысленный убегает в свободу, он закрывает глаза и грезит, что он свободен. От чего?

Во-первых, от прошлого и от будущего. Пусть исследователь копается в прошлом и сидит над своими раскопками. Пусть беспокойный мечтатель утомляет свое зоркое око на пустом будущем. Оба «ищут», потому что у них «этого нет». У легкомыслия «это есть». Что? Мгновение. Он живет в настоящем, а настоящее — лишь мгновение: краткое «сейчас» в маленьком (редко — большом) «здесь». Это мгновение так же быстро исчезает, как и возникает; так же кратко пребывает в нем и легкомыслие, не ломая себе голову над «почему» прошлого или «куда» будущего. Легкомыслие забывает прошедшее и весьма близоруко по отношению к приходящему. Оно сжигает нить жизни и горит само вместе с ней — дитя легкокрылого времени.

Потом ему грезится, что он свободен и от ответственности. Ответственность — бремя. Бремя унаследованного прошлого, которое надо достойно нести и творчески передать будущему. Но тот, кто живет настоящим, ничего об этом не ведает. Кто ныряет в мгновение и в каждом мгновении находит «жемчужину», тот не спрашивает ни о чем и не дает ответа. За что может отвечать бабочка-однодневка? Ведь удовольствие и забава беззаботны и живут без оглядки. Поэтому легкомыслие не умеет и действовать: оно отдается своим «настроениям». Оно не знает, что значит деяние; оно знает лишь «состояние»; и жизнь несет или влачит его из одного состояния в другое. Так легкомыслие предстает дитятей легко порхающей беззаботности.

Легкомыслие свободно и от высочайшего смысла жизни. Явление внешнего мира и события мира внутреннего не «предвещают» ему ничего более глубокого, таинственного и святого. Раздумывать о смыслах и символах бытия оно предоставляет философам. Факты для него — просты и безобидны; они во множестве проносятся мимо него; они не вызывают ничего иного, кроме любопытства; они не приносят ему ничего более, кроме развлечения; и если они не обещают ему никакого, пусть мимолетного, наслаждения — оно хочет знать о них как можно меньше. Потому что легкомыслие — дитя простодушной радости и не хочет грустить.

Таково легкомыслие. Оно живет без раздумий и, пытаясь быть счастливым, не считается ни с чем. Оно не любит связей и избегает трудностей. Оно не любит стараний; не его дело строить; оно не склонно к выдумке. Оно как дитя: ему трудно и скучно делать выводы и принимать решения. Особенно сильно оно не любит, когда его хулят и осуждают, оно находит это «нелюбезным» или даже «бестактным». Здесь оно умеет и нападать. Тогда оно засыпает нас издевательски-дразнящими вопросами: «Всегда ли трудное верно? Всегда ли глубокое ясно? Всегда ли прав мечтатель? Всегда ли старание неподдельно?»... И тут уже приходится думать, как нам защититься.

Если легкомыслие дается нам как дар богов, которые опять же сочувствуют нашим жизненным тягостям, нашей тоске и нашим вечно бесплодным мечтаниям, тогда надо принять его радостно, как весенний воздух. Оно принесет успокоение, отдых и покой, оно оживит, укрепит и исцелит нас. Тогда оно цветет невинностью и дарит нам в жизни радостное воодушевление. Отвергнуть его могут лишь педант и ханжа. Хорошо и необходимо время от времени стряхивать душевные тягости; делать вид, будто их вовсе и не было; убегать в раскрепощающее безналичие проблем, в привидевшуюся свободу. А кто не может или не хочет этого, пусть постарается хотя бы не сорваться.

Тому, однако, кто легкомыслен; кто никогда не несет бремени прошлого и будущего; кто вообще не знает ничего об ответственности и легкомысленно лишь служит легкомыслию, тому и стараться долго не надо, так как он уходит в вину и крах его произойдет в ночь.

34. СЛОВООХОТЛИВЫЙ

Существуют люди двух типов: один замолкает, когда вдоволь наговорится; другой начинает говорить, когда вдоволь намолчится. Послушаем сначала словоохотливого.

Каждый человек цветет по-своему; словоохотливый цветет лишь тогда, когда получает слово. Тут он находит себя, благоухает на все четыре стороны, парит в своей стихии. Напрасным делом, несправедливостью было бы препятствовать ему в этом благоухании и парении. Это — внутренний порыв, который ведет его; это — неосознанная необходимость, которой он подчиняется, — раскрыться, позволить бить фонтану, исчерпать себя в словах. У него своеобразное ощущение, что он постоянно переполнен; чем? — этого он сам не знает, как не знает и того, откуда течет поток его «мысли» и как он возникает. Но всегда есть запруда. Он должен открыть шлюзы, иначе произойдет наводнение. Порою создается впечатление, что он распространяется о чем-то, что он не в состоянии высказать и что ускользает от него самого: всегда слишком многословно, потому как не то, что надо; всегда мимо цели; отсюда эта вечная жажда слов. Знал бы он сам, где сидит у него гнойная заноза...

Речь для него не поступок, тем более не действие; скорее состояние: так падает снег, так сыплется песок... Разговор становится его главным душевным двигателем. Рот — главным жизненным органом: думать, чувствовать, желать он может только тогда, когда говорит. Поэтому его ощущения — не более чем слова об ощущениях; его мысли — лишь движения губ; он даже не замечает, как шарахается от исходной «точки зрения» к противоположной. Как часто он дает себя «убедить» только для того, чтобы беспрепятственно говорить далее. Что такое «слово», он не знает вообще, поскольку слова извергаются из него, подобно толпе празднующих гостей или подобно великому переселению народов. Он — великий расточитель; но расточает только слова, в которые вкладывает ужасающе мало одухотворенного смысла. Он подобен мельнице без зернохранилища; или трескучему фейерверку, оставляющему после себя неприятный запах и грязь.

Молчание для словоохотливого неприятно, чаще невыносимо. Нередко создается впечатление, что он страшится тишины, не выносит одиночества; или, что, оставаясь один, разговаривает сам с собою. В обществе он говорит, как если бы был один. Он злится на желающего говорить одновременно с ним: это его соперник. Прерывающего он презирает как нарушителя покоя. Ему нужен молчаливый или, точнее, его уши. Паузы в беседе он ощущает как нечто неприятное, как брешь в общении; и никогда не может постичь того, что полные значения, насыщенные содержанием паузы могут дать человеческому общению отраду и благодать.

То, что он сказал, никогда не надо принимать всерьез: это лишь капли осеннего дождя, за которыми не последует ни грома, ни солнечных лучей; это словесная трескотня; разрядка без заряда; изливание «переполненной» пустоты. Если он что-то обещает, то столько, что кажется, будто он оговорился. Его слова как чек без покрытия денежной массой. И то, что словесный чек требует точно так же духовного покрытия, совсем не приходит ему в голову.

Как мало он знает о нас, его друзьях! Как мало склонен к «познанию людей» вообще! И когда он, полностью «выговорившись», однажды уйдет, с каким удовольствием мы беремся за удочку, чтобы насладиться молчаливостью маленьких рыб в глубоком озере, чтобы отдохнуть от его суеты...

35. МОЛЧАЛИВЫЙ

А теперь послушаем молчаливого. Он ведь тоже говорит, и его речь достойна особого внимания, поскольку молчание исцеляет слово.

Да, у слова свои болезни, и наиболее опасная в том, что слово, легкое как пух, случайно рожденное, ничем не сдерживаемое, ничем не связанное, ослепительное и забавное, обманчивое и ненадежное, бесчинствует среди людей. Такие слова пусты и мертвы; им несвойственно истинное значение; ни одно сердце они не заставят забиться; никакого действия они не вызовут; в целом — это духовный ублюдок, смутное призрачное существование. Религия, искусство, наука, политика — все вырождается, когда смерч духовного разложения поднимает

в огромном множестве такие слова. Тогда хочется прямо-таки взывать к спасению и требовать: пусть говорит только тот, кто умеет и молчать. Потому что молчание исцеляет слово...

Он внемлет и молчит. Часто создается впечатление, что слова, которые он слышит, разбиваются об него или всецело в нем исчезают. Однако они не пропадают, а спускаются на дно. В душе молчаливого есть внутренние пространства, значение которых он сам едва ли сознает; тихие покои, куда он помещает свои сокровища; надежные тайники, где ничто не пропадает бесследно; таинственные колбы, где медленно бродит, оседает и отстаивается в тиши вино мысли. Этот процесс он не пытается искусственно ускорить; это было бы для него неприятно, возможно, болезненно. Это должно происходить само по себе; и так оно действительно происходит. Из сердца исходят лучи света: они должны пронизать каждую колбу и прокалить ее. Мысль должна сформироваться, стать образной; это требует воображения и фантазии. Тогда пробуждается и поднимается из глубин воля: мысль требует выхода. Тысячи нитей заявляют о себе из других покоев и тайников; стараются прикрепиться; пытаются создать творческую ткань. Здесь нельзя мешать, прерывать, спешить; Боже упаси — подстегивать!

Если мысль должна действительно родиться, она должна зреть в тишине, пока не потребует слова. Греческие философы знали различие между словом «изреченным» (т. е. произнесенным) и «существующим внутри». Последнее не имеет ни звука, ни формы. Это скорее внутренний, духовный заряд. Оно дремлет под сводами душевного царства теней; но оно пробудится. Это уже мысль, но еще не слово; но оно станет словом, оставаясь мыслью сердца, воплощением чувств, идеей воли. Тогда и только тогда оно станет истинным словом, которое приходит в мир как реальность внутреннего: лишь высказанное, но уже деяние; подобно дитю рожденное, но уже созревшее; простое, но насыщенное смыслом настолько, что может стать роковым; не существующее само по себе, но проявляющее невидимую, возможно, божественную власть.

И когда молчаливому, который говорит подобные слова, сердечно внимают, порою возникает впечатление,

что в душе его заключен тигель, в котором переплавляются в жидкий огонь, поднимаются вверх, падают в жизнь раскаленными каплями все восприятия мира, все мысли и слова человечества. Поэтому такие слова светят и зажигают; поэтому они так весомы; поэтому каждый раз они сами по себе событие; поэтому их так долго и с благоговением повторяют.

На свете есть творческое молчание, святая тишина, в которой рождается истинное слово; божественная наполненность, которая бесшумно ведет себя вовне; обращенное в себя созерцание, в котором возникают слова, подобные деянию, и деяния без слов. В таком молчании мы дадим нашим словам исцелиться...

36. ХИТРЕЦ

Все люди хитры, за исключением, может быть, душ наивно-чистосердечных и детски-невинных. Наша хитрость происходит из инстинкта, из чувства самосохранения и от сознания, что очень немногие действительно хорошо к нам расположены; а иные, большинство... кто знает, как они относятся к нам? Подобно пугливой птице, подобно робкой серне, ходит человек по лесным дебрям жизни и остерегается, не хочет подвергать себя опасностям; он оглядывается вокруг, скрывает свои намерения, готов спрятаться от возможных врагов или направить их по ложному пути. Это простой социологический факт, и только в раю, возможно, будет иначе.

И тем не менее не каждого из нас можно назвать хитрецом; да и саму хитрость не следует так уж переоценивать.

Хитрец не тот, кто постоянно настороже и прибегает несколько чаще к хитрости, чем остальные; а скорее тот, кто возлюбил хитрость, кто наслаждается своими уловками и проделками, кто верит в «жизнетворную власть» хитрости и принимает ее за «мудрость». Он презирает открытых сердцем и прямых, считая их всех простофилями. Он питает отвращение к прямым путям, яркому свету солнца, ко всякому смелому утверждению или отрицанию. Все это представляется ему «глупым»; а «умный» лишь он один — большой хитрец.

В действительности же все не так. Умный тоже может быть хитрым; однако хитрость отнюдь не является субстан-

цией разума. Напротив: когда истинно умный человек прибегает к хитрости — а это бывает, — у него нередко возникает чувство, что он деградирует, действует мелко, малодушно, возможно, даже «низко» и изменяет истинному пути. Он делает это крайне неохотно, в исключительных случаях; и всегда готов признать, что «хитрость есть не что иное, как замена ума у маленьких и глупых людей».

Безусловно, хитрец никогда не признается в этом. Ведь он не «теоретик», занимающийся «общими» и «принципиальными» вопросами; это он предоставляет «доктринам», «филистерам» или, по пренебрежительному определению Наполеона, «идеологам». «Настоящий мужчина» в противоположность этому — «практик». «Владеть методом познания» — для него слишком высоко и скучно; он желает завоевывать и господствовать, не изучая и не познавая. Он хочет вообще выгоды, успеха в жизни, прибыли; и в его интересы не входит различать между «плохими» и «хорошими» средствами; для этого у него также нет времени. «Хорошо» для него то, что целесообразно; а целесообразными ему представляются окольные пути и притоны. Его устраивают сумерки, когда трудно отличить волка от собаки. Ему удобны переулки; охотно приемлет он и черные ходы. Когда он говорит, то никогда не смотрит в глаза собеседнику; если обещает, значит, уже нашел «умный» выход. И там, где никто не может сориентироваться, он уж точно что-то намудрит, что-то придумает.

О «деле» он знает мало; о деловитости говорит только с иронией. Главное для него — сделка, и не в одной торговле, что совершенно естественно, а вообще в жизни: он не «усердный», а просто «карьерист». Собственные идеи и убеждения он не воспринимает слишком серьезно: он всегда может иметь и другие. Прекрасных и величественных слов Лютера: «На том стою и не могу иначе»²⁶ ему никогда не постичь. Он всегда «может» «иначе»; а внезапно — еще и «совсем иначе». При этом он не думает о предательстве: он предает, не подумав о предательстве. Поток его жизни растекается сотнями маленьких ручейков над тысячами камешков. И чем старше становится он, тем пронырливее и лукавее становится его душа.

Там, где властвует такой муж, вся жизнь представляет

собой мастерское, но ложное сплетение корысти. Тут совесть молчит; тут стоят большие часы «государственного разума»; не процветают великие идеи; не используются широкие пути. И Божественное исчезает из жизни, потому что там, где так много хитрости и коварства, царит *иная стихия...*

37. УМНЫЙ

Если кто-то действительно умен, другие замечают это очень скоро и сходятся на том, что он «умен», даже весьма «умен». Но если задать вопрос: «Что значит умный? Как это распознать?» — никто не знает. «Умный и есть умный, можно также сказать: толковый, понятливый, интеллигентный, что еще?» Удовлетворяясь такими «родственными по смыслу» словами, которые, собственно, и не являются таковыми, переадресуют этот вопрос мыслителям по профессии: пусть помучаются с этой проблемой, если у них есть время и охота. Но в действительности мука эта не так уж велика, стоит только понаблюдать и подумать. И прежде всего над тем, что не является умом.

Не следует смешивать ум и образованность. У умного может не быть образования: так, умный крестьянин, самобытный, некультурный, мало знающий, но смысленный, остро и, вероятно, глубоко думающий, возвышается, подобно горе, над уровнем обывателя, и образованным людям есть чему у него поучиться. И наоборот: ни диплом, ни ученая степень, ни энциклопедическая память не являются порукой ума человека. Так думал и древний Гераклит: «Многознание уму не научает»²⁷.

Существует также предрассудок, что умный «быстро соображает». Конечно, есть умные люди, которые мгновенно все обдумывают; но есть такие умные и глубокомысленные люди, которые соображают медленно, с опозданием; и как часто завзятый остряк, который, казалось бы, «хватает все на лету», не более чем легкомысленный недалекий тупица.

Совсем неосторожно было бы также употреблять «понятливый» вместо «умный». Разумеется, тупого невежду (этого «не могу знать» по призванию) едва ли можно причислить к умным. Однако способность понимать чужие

мысли, т. е. способность пассивного восприятия — это в общем-то немного. Людей, не имеющих «собственных мыслей», Аристотель считал «рабами по природе»²⁸, пригодными лишь к послушанию.

И, наконец, что не следует переоценивать, так это так называемую последовательность мышления. Прямолинейная последовательность может импонировать, увлечь и прельстить; но не следует забывать, что такой образ мышления подобен падающему камню, что он задействован пассивной силой тяжести, что это наиболее легкий вид мышления и особенно присущ людям полуобразованным. Первичный заряд мышления задан, и нужно лишь решительно использовать его. Общий закон установлен, и надо только подводить его к различным конкретным случаям. «Движение» мысли здесь обманчиво: на самом деле происходит топтание на месте. И тем самым «дедукция» является образом мыслей ограниченности.

И все же — что такое разум? Как думает умный?

Он думает творчески. Разум есть созидательная энергия, энергия понимания. В разуме заключен особый порыв: порыв — овладеть методом понимания. Мышление умного в известной мере поглощает прочие духовные силы. Часто умный человек производит впечатление «безвольного»; это впечатление обманчиво: его воля раскрывается именно в мысли, в этом его сила. Умный человек также не «холоден»: это его страсть думает в нем. В мышлении расцветает и его воображение. Мышление постепенно становится главным органом его жизни: оно становится воинственным, пылающим, победительным, завоевательным. Его мышление — это власть; то, что он продумал и понял, он подчинил себе, творчески обработал и включил в свое «царство». Он добился своего и отправляется к новым завоеваниям. Эту власть понимания чувствуют в нем и другие и подчиняются ему. Часто даже создается впечатление, что сами предметы чувствуют эту силу и легко и охотно предаются ему...

Таков истинный мыслитель: умница по преимуществу, призванный овладеть широким полем земной деятельности или небесных идей.

Разум, таким образом, — это творческая прозорливость в восприятии и творческая сила оценки в единстве, разъединении и упорядочении воспринимаемого.

Он предполагает способность к концентрации и силу интуиции. В его власти охватить сущность всего и целесообразно оформить его. Поэтому разум не сводится к «мышлению». Умный — это умный человек в целом: у него также умное сердце, умная воля, умная фантазия. Только тогда он умен: только тогда дышит в нем *сущность мира*, только тогда его разум становится мудростью.

38. ОДИНОЧЕСТВО

На дитя человеческое, приходящее в этот мир, негласно возлагается тяжкое испытание. Никто ничего не говорит ему об этом; он должен сам пережить ситуацию, осмыслить ее и справиться с нею. Часто проходит слишком много времени, пока это произойдет; часто понимание приходит слишком поздно, и тогда человек становится беспомощным и потерянным.

Задача гласит: по своему основополагающему принципу существования ты, как все люди, *одинок в мире*; ты должен понять это одиночество, принять его, подружиться с ним и духовно преодолеть его; оно ведь останется с тобою до конца дней твоих, но твой характер обретет благодаря ему силу, достоинство и доброту.

Одиноким приходит человек в эту жизнь с первым вырвавшимся криком страдания, требующим глотка воздуха; одиноким покидает он этот мир с последним вздохом, стараясь произнести слово. Как много порою делается для него вокруг; а он так и остается отшельником, заключенным в камеру своего тела. Того, что он за всю свою жизнь в этой камере ощущает, воспринимает, чувствует, чего жаждет, о чем думает — никто не сможет пережить так, как он; все, что он в своем одиночестве избирает, решает, исполняет, жертвенно осуществляет, переживает и выносит в бессоннице, в болезни, в заботах, в неудаче, в отчаянии — знает он один. Всякое значительное событие в жизни, от первой любви до смерти своих родителей, всякое важное решение, всякая возлагаемая на него ответственность, всякая великая боль и скорбь — дают ему ощутить свое одиночество. Лишь очень немногим пришлось пережить предельное одиночество в величайшей нужде — в бушующем море, в без-

молвных горах, в забвении вчерашнего поля боя, в тюремной камере,— чтобы постичь свое душевное и духовное одиночество.

Это пожизненное одиночество — тяжелое бремя. Но оно одновременно и великое благо.

Когда человек осознает свое одиночество, он вопрошает: «Кто поможет мне?» И ответ гласит: «Я сам должен помочь себе»... И заложен первый камень характера. А еще ответ гласит: «Господь в небесах поможет мне тем вернее, чем преданнее ему буду я»... И заложен основополагающий камень живой веры. В одиночестве человек находит самого себя, силу своего характера и святой источник жизни.

Когда же человек постигает чужое одиночество, а именно то, что каждый существует, замкнувшись в себе, и пока не постиг бремени и благо одиночества, это — сострадание и любовь, которые овладевают им: сострадание к слабому, любовь к сильному. Тогда он говорит: «Я помогу им! Братья, я помогу вам — поскольку вы одиноки, а я знаю тягость и выкрутасы одиночества». Сам находясь в одиночестве, человек находит своего одиноко страдающего брата и помогает ему. И как раз тут — зарождение духовной любви, братства и истинного единения чувств.

Нам не дано избавиться от одиночества. Но все мы призваны достойно и с верою каждый нести свое одиночество; и, любя и помогая, делать чужое одиночество сносным, достойным и духовным.

В этом — утешение. Так и только так сможем мы преодолеть одиночество, мы, одинокие дети человеческие, взирая ввысь и с любовью помогая друг другу.

VI. ОБ ИСКУССТВЕ ЖИЗНИ

39. ПОДАРОК

Как легко ее развеять, хрупкую душу подарка! Какой безжизненной, какой пустой покажется нам тогда подаренная вещь! Как неосторожно, как беспонятливо вел себя дарящий! Как неуютно становится получающему подарок! Дарить — это искусство; и дар имеет скрытый смысл и говорит на тайном языке.

Чего хочет дарящий? Он стучится в дверь, можно ли войти. Он стучится в дверь любви. Потому что хочет сказать что-то о любви. Возможно, спросить, можно ли ему любить. Возможно, сообщить, что он уже любит; или что он будет любить вечно. Может быть, он хочет просить о любви; или ответить любовью на любовь. Если он ничего не знает обо всем этом, он лишь злоупотребляет символом подарка; и его поступок покажется неестественным и плоским. Почему? Потому что духовный аромат жизни не выносит холодного неискреннего сердца.

А получающий подарок, каково ему? Ему ведь нельзя отказать от подарка, это было бы оскорблением. Однако иногда все же приходится это делать: бывают ложные подарки, которыми хотят подкупить или скомпрометировать; бывают высокомерные подарки, которые выступают символом завоевания и власти; бывают подарки оскорбительные, унижающие, вызывающие («ты — мой»). Кто принимает эти дары, приносимые с недобрыми намерениями, тот лицемерит с самим собою, тот наносит урон собственному достоинству и участвует в фальшивом замысле злого дарителя. Иногда дарят, чтобы показать, что любви конец или чтобы не любили: последняя обида исчезнувшей любви, которую только и можно принять как обиду, не как подарок.

Не безразлично и то, кто, что и кому дарит. Если хочешь подарить «навверняка», то твой подарок должен верно выразить твою любовь. Что ты любишь в любимом? Его душу, его творчество, его работу, его отдых, его красоту, его здоровье? Каким ты любишь его более всего — когда он молится, музицирует, читает или когда он болтает, играет в шахматы, может быть, когда он курит?.. Что бы тебе хотелось сказать охотнее всего любимому без слов? Спросить его? Помочь ему? Отучить от чего-то? Утешить? Ободрить? Связать? Освободить?

Твой подарок должен сам говорить за тебя. Он должен принять в себя твою тайну и незаметно раскрыть ее.

И что бы это ни было, пусть это станет символом живой любви!

Поэтому подарки делают к Рождеству, в день, когда в мир пришла живая любовь.

40. СВЕТСКАЯ БОЛТОВНЯ

Болтать могут все, даже те, кто никогда этим не занимался. Говорить умеют лишь немногие. Занимаются светской болтовней — некоторые; сомнительно, чтобы многие. Остальные разговаривают. А так как мы все относимся именно к «остальным», то нам хотелось бы сейчас «поговорить» о «светской болтовне».

Светская болтовня есть нечто легкое, «естественное», приятное. Она возникает без особых стараний и усилий, ни для кого из собеседников не утомительна или неприятна: лишь только покажется, что она становится таковой, она должна принять оборот еще более легкий, еще более приятный. Подобно тому, как если бы аромат цветов веял в комнате, и неизвестно, откуда появился этот аромат. При этом нельзя ни «беседовать», ни «выяснить», ни слишком углубляться. Здесь не уместен никакой «обмен мнениями». Бога ради, не надо никаких «дискуссий», никаких споров! Поэтому для болтовни совсем не годятся мыслители, педанты, всезнайки, ханжи, а также слишком самовлюбленные, которые умеют говорить только о себе...

Светской болтовне свойственно легкомыслие. Кто не обладает легкомыслием, тот должен уметь изображать его. Кто и этого не может, тот выключается из светской болтовни: он ищет подходящего для себя «спорщика», садится с ним в удобный эркер и полемизирует с ним сколько душе угодно.

Так что существует искусство светской болтовни; и это искусство требует упражнений и опыта. У того, кто владеет этим искусством, нужные слова текут как бы сами собой: беззаботно, непосредственно, нередко в кажущемся самозабвении или наивности. Часто создается впечатление, что для него самого означает отдых и подкрепление так доверительно, так искренне изливаться в словах. Мастера светской болтовни следуют своим внезапным, случайным мыслям; эти случайные мысли всегда к месту, всем понятны, никого не задевают, всегда занимательны, увлекательны, забавны и со вкусом преподнесены. Здесь вовсе не требуется слишком много «утверждать»; напротив — как можно меньше, чтобы оставить открытыми двери и для других возможностей и мне-

ний. Ничего не следует слишком подчеркивать. «Солидные суждения», «убеждения» лучше совсем оставить в стороне. Не следует также вводить ближнего в искушение, скажем, вопросом, поскольку он может вдруг принять его всерьез и «совершенно серьезно» на него ответить. Тогда словно привели слона в посудную лавку, и порхающей и щебе-чущей светской болтовне — конец...

Настоящий болтун и не ищет никакой темы. Все для него тема, ибо он так берется за любую вещь, как если бы она была плоской или, еще лучше, круглой и гладкой. Светская болтовня подобна игре; и как хорошо играть со всем, что гладко и кругло! Болтают примерно так, как катаются на коньках; пусть это дается с трудом — выглядеть должно воздушно и грациозно. Должно отдавать радостью, радостно начинаться и радостно заканчиваться. Тогда все идет как надо!

Часто видишь, что человек чувствует себя в этой среде хорошо. Но не легко поверить, что эта среда способна исчерпать все сердце и заполнить всю жизнь человека. Конечно, такое случается. И все же надо чувствовать, что болтающий знает и другую жизнь и живет ею, что он принимает эту установку на болтовню лишь традиционно и следует ей. Есть серьезность, которая может скрываться за этой игрой. Есть убеждения, которые в данный момент нельзя высказать. Болтающий может также обладать отменным даром наблюдательности, совершенно не забывая при этом о своих жизненных проблемах. Его легкомысленная болтовня вовсе не означает, что он стал безвольным. Умный и болтая думает. Хитрый болтает, чтобы что-то утаить, может быть — о чем-то умолчать.

Отсюда порою после часика-второго светской болтовни у нас возникает жутковатое чувство, как будто мы счастливо проскользнули на санях по тонкому льду едва замерзшей реки. Как хорошо, что это позади! И какой мелкой, какой плоской становится часто наша жизнь — такой незаметной, такой самой по себе!..

41. ОПОЗДАНИЕ

«Ах, это время — никогда с ним не справиться! Оно выкидывает с нами скверные шутки. Оно непредсказуемо: то его в избытке, то опять страшно в обрез. И не знаешь,

как это происходит, но порою становится так поздно, так поздно, что все упускаешь. Будто застреваешь во всем; или будто ноги становятся свинцовыми, как во сне; или будто все сговорилось против нас. И тогда видишь везде кислые, раздраженные лица!»...

Так жалуется на свои горести бедолага, не научившийся искусству управлять временем.

Не будем слишком строги! Каждый из нас может случайно опоздать. Как это ни неприятно — хороший тон и такт требует не попрекать виноватого провинностью: помолчать, простить, дружески улыбнуться. А если он сам смущен и вдобавок чувствует себя несчастным из-за своего опоздания, ему нужно помочь. И тогда виноватый благодарно наслаждается своим «оправданием», а партнер — своим мягкосердечным благоразумием. А иногда непоправимое, что стоит за любым опозданием, умный умеет просто «списать», и не фиксировать это постоянно.

Если же опаздывает уже известный этим грешник, тогда лучше не ждать его, а с элегантною непреклонностью оставить наедине с досадными для него же последствиями его образа действий. Лишь таким способом можно воспитать его, чтобы он преодолел свою медлительность и отрекся от скрытого удовольствия опаздывать.

Возможно, звучит парадоксально, однако факт: существует тайное удовольствие от опоздания. Это удовольствие пассивной приверженности к внешним обстоятельствам жизни: предаешься волнам случая и, как лягушка в пруду, наслаждаешься своим безволием. Это удовольствие наверстывающей спешки и гонки, вид компенсирующей судороги воли со всеми ощущениями азартной игры. То есть это не время, которое то «тянется», то «мчится», а сам опаздывающий. Это он, у которого запас времени то в избытке — и тогда оно тратится попусту, то, напротив, в обрез — и тогда вызывает гонку. Мнимый «заговор обстоятельств» сидит в нем самом.

Нет, время не играет с ним никаких шуток. Его ход прекрасно устроен: соразмерно, спокойно, легко. Свободно и благосклонно оно раскрывает нам свое пространство и длительность. Мы должны лишь правильно заполнить его. Не давать ему протекать впустую. Иначе наступит скука. Не расточать! Иначе наступит гонка. Не заполнять сверх меры! Иначе мы обречены на опоздание.

42. ПРАВО НА ГЛУПОСТЬ

«Что же касается глупости, то она действительно нечто нестерпимое: она ведет себя мелко, близоруко, самоуверенно, претенциозно; она воздействует вредно, зачастую просто опустошающе. И такое выносить — из мнимой терпимости? Почему? Для чего? Такая терпимость сама не что иное, как разновидность глупости. Убрать ее! Выполоть, искоренить, растоптать! А вы, господин профессор, конечно, молчите и стоите на стороне глупости?»

«Ах, нет, господин директор, это не так, защищать глупость вовсе не в моей компетенции. Но мы, кто действительно в силу своей профессии борется с глупостью, мы знаем точно, как запутан этот вопрос. Поскольку Вы причисляете к глупым преступников, предателей, растлителей, мошенников, коммунистов и других социальных вредителей, совершающих злодеяния против закона человеческой общности, я, конечно, буду рекомендовать борьбу. Каждый из них требует особого подхода. Впрочем, искоренение их дело не простое: эти дураки часто весьма продувные ребята. Но учтите: здесь, собственно, и начинается проблема»...

«То есть как это начинается? Глупость надо изгнать вообще!»...

«Да, но куда же? Она пребывает в каждом заурядном человеке. Куда мы его денем? Вам наверняка удастся заменить два-три глупых мнения более умными; при этом исчезнут симптомы болезни, но болезнь останется. Что есть глупость? Она есть тупая интуиция и слабые умственные способности; как можно их искоренить? Вы пробовали когда-нибудь одолжить свою замечательную память забывчивому? Свою волю — слабовольному? Свое чувство ответственности — легкомысленному? Нельзя же заменить другого в жизни, умно размышлять за него, умно поступать за него, умно любить на его месте, умно жениться, умно устроиться?»...

«Но — наставлять его?»

«Правильно — будешь наставлять его, дурака, не задевая при этом бремя его глупости и тем самым обеспечивая ему право на глупость²⁹... Даже умные суждения, которые Вы хотите ему преподать, он наверняка обду-

мает и истолкует в своем глупом смысле и, вероятно, исказит на свой глупый манер; а в следующий миг создаст новое глупое суждение в другой области. Кто станет и кто захочет бегать за ним? Кто сможет ему помешать, когда он по-дурацки вложит свои сбережения, когда он по-дурацки снимет жилище, когда он по-дурацки оденется и вечером, отходя ко сну, будет бормотать под нос свои дурацкие суждения? Глупость остается — ее не выполоть, не искоренить. Ее надо терпеть, пока она касается личной жизни дурака. Ведь у умного есть дела поважнее, нежели опекать дурака на каждом шагу. И здесь начинается второе осложнение».

«Да, если осложнения накапливаются до такой степени?!»...

«Вы, конечно, согласитесь со мной, господин директор, что каждый из нас совершает глупость, если в своих суждениях выходит за рамки умственных способностей. Кто из нас не делал в жизни глупостей и не терпел дурацкого краха? И что же, мы взялись тут же искоренять, растаптывать нашу собственную глупость? Ничего подобного! В абсолютной глупости дремал мудрый совет, который пришел к нам задним числом. Да, дела на свете обстоят не так, будто глупость сосредоточена в отдельных особях, которые нужно растоптать, а остальные бегают умненькими. Каждый в отдельности — одновременно глуп и умен; всегда относителен и неустойчив. И научение, истинное научение дается страданиями из-за собственных ошибок. Никто не становится умным, не пострадав; никого не научишь на чужом опыте. Мы обязаны всегда предостеречь, но не должны ожидать от этого многого. Терпимость есть лишь сочувствующая доброта умного, который сам поднялся над глупостью; и не забыл этого... Право на глупость — это как раз право на то, чтобы потом сделаться умным. Не так ли?»

43. ПОРИЦАНИЕ

Кто бы ты ни был, готовься: упрек доберется и до тебя! Устоять перед ним — сила характера; творчески использовать его — искусство жить.

Ясно, что нам бывает не легко его вынести. «Я хотел как лучше, преодолел все трудности, сделал все, что в моих

силах, а теперь мне говорят: плохо! Эти брюзги! Они меня унижают. Они парализуют мой жизненный взлет! Они сдерживают мои творческие силы. Они хоронят мою уверенность в себе. Мне что — отчаяться и отказаться? Или — как мне стряхнуть позорную тягость этого порицания?»

В такие моменты появляется искушение изменить тактику и повергнуть самого порицающего. Примерно так: «Кто вы, наносящие мне оскорбление? Откуда у вас права контролировать и порицать меня? Вы же сами негодные люди! Ваша критика завистлива и бесчестна. Все ваши претензии возникают просто из нездоровой придирчивости. Это же совершенно несерьезные и несведущие критики; это критиканы, зложелательные брюзги, и их придирки к каждому слову не что иное, как презренная интрига»...

Никогда не идите этим путем — в пустоту и злобную мелочность! Никогда не унижайтесь до этого! Бесчисленные завистники, придиры и привередники бегают вокруг и изливают желчь; и кто не устоит пред этой желчью, тот начинает им подражать.

Тот же, кто начинает созидать, пусть запасется сначала доброю волею. Кто искренне хочет добра, того не сможет сбить с ног или хотя бы выбить из колени никакая придирчивость, никакое критиканство. То, чего я действительно хотел, знаю лишь я один и Господь надо мною; то, что мне удалось, пусть критикуют. Но тогда уже не станет критики, которая отняла бы у меня мое доверие к себе, мой жизненный полет, чтобы я отчаялся и отказался.

Чтобы еще более усилить это спокойное равновесие, рекомендуется рвать духовную пуповину, связывающую меня с моим трудом, но не ранее, чем труд окончательно завершится; и тогда, после завершения его, радикально отсечь ее: не задерживаясь более на нем, удалиться, чтобы этот труд, как нечто законченное и преодоленное, воспринимался через мое прошлое, о котором сужу я сам как господин и мастер, «ибо теперь — я смог бы сделать его лучше». Тогда меня уже не представляют как автора таких-то трудов, и я уже неуязвим; совершенно независимо я спорю как критик с другими критиками о моей работе: они уже задевают не меня, а лишь мою тень, лишь мое прошлое, в то время как я сам живу уже в будущем, в моих новых замыслах.

Великодушно и свободно встречаю я тогда моих критиков и критиканов; у меня нет потребности унижать их. Деловито и спокойно я выслушиваю их мнения, они могут как угодно хулить и порицать мой труд. Они служат мне и помогают мне. Если они правы, я проанализирую свою работу и свой творческий акт, попытаюсь установить, почему эти недостатки и ошибки ускользнули от меня, ибо я хотел совершенства. Таким образом, я учусь скромности и смирению, ибо я понимаю, что даже мои «лучшие намерения» не спасают меня от несовершенства. Если критики не правы, я учусь на их неверном взгляде, на их плоских суждениях, на их извращенном вкусе...

Только не обижаться! Оставаться спокойным! Спокойствие дает свободу взгляда; свобода взгляда ведет к объективности. А в ком есть вкус к объективности и кто служит ей — в том есть нечто королевское: он подобен «калифу инкогнито». Да, инкогнито: ибо другим совсем не положено этого знать...

44. ИСКУССТВО ПОХВАЛЫ

Самое легкое — порицание; а именно: необъективное, страстное, безмерное порицание. Самое трудное — похвала; а именно: объективная похвала. Для этого человеку требуется подлинное искусство. Но не для того вовсе, чтобы говорить комплименты или тем более льстить (это было бы само по себе умение!), а для честной, искренней и объективной похвалы, которую так редко услышишь в жизни и которой так сильно недостает.

Чтобы хвалить объективно, человек фактически должен научиться дышать в стихии объективности. Он должен хорошо знать, что речь идет не о субъективной «любезности», личном «удовольствии» или собственном «наслаждении», а о реальном качестве деяния, стихотворения, сонаты и т. д. Мир полон случаев, когда добротнo-совершенное людям «не по вкусу», а дурное и мелкое пользуется «большим успехом». И вот объективная похвала говорит не о субъективном «удовлетворении» или «удовольствии», а о действительно добром отношении. Совсем не похоже на: «Ах, это доставило мне большое удовольствие», скорее: «это хорошо», «значительно», «самобытно», «совершенно», возможно — «прекрасно, истинно, справедливо».

Пусть еще или уже нет аплодисментов — деяние говорит само за себя; «труд хвалит мастера», будь мастер даже еще более скромным или вовсе смиренным. Объективная похвала исходит как бы из самого деяния, а говорящий похвалу выступает лишь как представитель деяния.

Разумеется, он должен обладать известной компетентностью и силой суждения в соответствующей области. Хвалящий сапожник, который мерит всех на свой аршин, должен быть готов к вопросам о причинах его похвалы. Тогда его разоблачат по его запутанным, бессвязным, пустым речам. Впрочем, те, кого хвалят, очень редко склонны детально расспрашивать выражающего хвалу; но завистливые соперники — эти часто смотрят в корень...

Искусство объективной похвалы требует еще и многого другого. Так, похвала должна — внутренне и внешне — быть выше скрытого и утонченного эгоизма, умения делать комплименты. Произносящий хвалу должен держаться, подобно приверженцу идеи — искренне, убежденно, от всего сердца; однако быть свободным от всякой аффектации, от всякой позы, без всяких ужимок и речей. У него должна быть одна цель — истина; ему надо не милости хвалимого и не славы «первооткрывателя», который старается вытащить на свет новое дарование. Объективность скромна; объективная похвала дышит целомудрием. Она коротка; она знает, что ее сила рождается из духовной глубины и не требует жеманства. Порою все зависит не от того, *что*, собственно, сказано, а от того, *как* это сказано. Часто довольно одного взгляда; возможно, слеза на глазах скажет больше любого красноречия...

Однако все происходит совершенно по-особому, когда имеешь дело с великим человеком. Тогда надо всегда считаться с тем, что он живет в объективности и обладает чувствительностью, которая часто переходит в ясновидение; что он тонко чувствует всякую разумную лесть, неискренность, искусственность, аффектацию и — презирает их; что ему немного нужно, чтобы многое понять; что он точно знает, как следует толковать его деяние или его труд; что он, наконец, знает себе цену.

И если все это принять во внимание и взвесить, то понимаешь, что объективная похвала скрывает в себе претензию — «я также один из объективных и вместе с вами могу сказать решающее слово», и духовная зрелость и искус-

ство предполагают творческий такт, тонкое чувство меры и формы, объективно-критический дар.

Возможно, поэтому так редко слышишь объективную похвалу. Кто ~~не~~ способен на это, тот застревает в необъективных любезностях; а кто способен, тот часто воздерживается — из скромности. Ибо атмосфера великой вещи делает человека скромным.

45. ПРОТИВНИК

Если я слышу, как кто-то говорит, что он хотел бы «избавиться» от своего «противника», я далеко не уверен, что это действительно так... «Едва ли!» — шепчу я тайком, но сочувственно киваю головой — из любезности. Легко сказать: избавиться — от противника, т. е. от своего «собственного» противника... Ведь он нужен мне! Каждому из нас, для себя — по крайней мере один. Без него я в жизни не справлюсь. Он оказывает мне огромные услуги! Какие же?..

С детства ношу я в сердце негативные аффекты — сердечные раны, которые возникали из неотмщенных обид, из несправедливых наказаний, из обременительных запретов и унижений и остались втуне неудовлетворенными. Что с ними делать? Они связаны с противником; ему приписываются; в нем объективируются. Он становится как бы живым гардеробом для моей ненависти; кладовой для моего осуждения; манекеном для моей враждебности. Нередко невинный, без малейших на то оснований, терпит он на протяжении своей жизни мою антипатию; почему — не знает никто, ни он, ни я сам. Для него это чаще всего бремя жизни; для меня — облегчение. Бедный «противник»! Добрый «противник»!..

Далее он нужен мне для того, чтобы «объяснить» многие мои неудачи и ошибки. Ведь я всегда был прав! Ведь я постоянно на высоте! Когда мне чего-то недостает, когда наступает крах, в этом виноват он, он с его недоброжелательностью, интригами, ядовитой завистью. Черт! Козел отпущения! Так, он нужен мне во-вторых: он переносит вину и тяготы; у меня же есть утешение и успокоение.

В-третьих, он нужен мне как трамплин в состязаниях. Без него я, возможно, заснул бы; лежал бы я, вялый и рыхлый, профессиональный лентяй, шапка на ушах.

Одна мысль о нем будит меня; назову его по имени — это для меня как звук трубы, «ржание и топот коня». Что? Он — впереди? Я — позади? Он — вверху, я — внизу? Никогда! Вперед!! Спасибо, спасибо, мой верный противник...

Так, я имею в нем, в-четвертых, живое мерило своих задач и достижений. Из-за него — вверх, во вдохновенный полет! Я уже так далеко? Что-то достигнуто? У меня лучше, чем у него? Я уже усвоил его умение? А еще есть у него какая-либо способность, которой нет у меня? Тогда я поосновательнее посмотрю за ним, возможно, изучу кое-что, возможно, воспитаюсь на его примере. Только пусть он остается, мой противник! Только пусть служит мне противником!..

Появляется искушение, и я думаю о нем: он-то обрадуется случившемуся со мной! Если я колеблюсь, тут же вспоминаю о нем: моя слабость равна его победе. Так его порок поддерживает мою добродетель. Так он служит мне как бы перилами, если закружится голова. Отрицание, которое я выкрикиваю ему, помогает мне в утверждении. Отрицая, я утверждаюсь. Проклятие становится мне отрезвлением и укреплением. В-пятых, мавр делает свое дело.

Наконец, он служит мне зеркалом. Своеобразным зеркалом: мои недостатки преувеличены, мои хорошие стороны сильно преуменьшены. Безобразно выгляжу я в этом зеркале враждебного мнения. Путем созерцания моего отраженного в нем искаженного образа я приобретаю силу характера и самопознание. О, самопреодоление! Мужество и свобода моего взгляда!..

И я должен «избавиться» от тебя, мой дорогой противник? Я должен лишиться тебя? Никогда. А если кто-то другой говорит об этом, я участливо киваю головой — из любезности.

46. ИСКУССТВО СПОРА

Если два поезда идут по одним и тем же рельсам и сталкиваются — это несчастье; порою катастрофа. В споре — наоборот: он удастся только тогда, когда противники движутся по тем же «рельсам» и по-настоящему «сталкиваются». Один должен утверждать именно то, что

другой отрицает; иначе возникает масса недоразумений, нечто вроде мальчишеской игры, когда один все время перепрыгивает через другого. Тихо улыбается этому Богиня мудрости; а маленькие кобольды³⁰ комического, которые постоянно окружают нас, хохочут над нами до смерти...

В этом их упрекать не надо. Ибо неосмотрительно поступает тот, кто, начиная спор, делает вид, что намеревается добиться истины и объективно спорить за нее с другим, а вместо этого самодовольно заводит медвежий танец с рычанием или впадает в ярость. Тогда он проигрывает сражение уже только потому, что не постигает сущности борьбы и принципиально грешит против искусства спора.

Прекрасно присутствовать при удачном и солидном споре. Почему? Потому что в таком споре объективная гармония господствует над чисто личной дисгармонией и духовное единство празднует победу над человеческой разобщенностью. Как бы велики ни были разногласия и напряженность противоречий — стремление к истине и искусство объективности преодолевают все и объединяют противников, которые оказываются подлинными сыновьями истины и настоящими братьями объективности!

Кто хочет такого рыцарского и творческого спора, тот прежде всего должен усвоить следующее: не воспринимать столь серьезно свое дорогое «я» и по возможности оставлять его дома. По-человечески, слишком по-человечески хотеть быть всезнайкой, всегда быть правым и отдавать должное тому, что с этим связано: тщеславию, честолюбию, стремлению к власти и, наконец, страху перед возможностью опозориться. Кто хочет настоящего спора, должен пробиться через эти дебри.

Настоящий спор требует спокойствия, почти олимпийского спокойствия. Это спокойствие достигается тем, что целиком отдаешься делу и забываешь себя в нем; а на это способен лишь тот, кто обладает настоящим стремлением к истине. Тогда приобретаешь остроту взгляда на существо дела, чуткое ухо, чтобы слышать противника, и рыцарскую форму выражения. Противник не будет ни презираем, ни ненавидим; его откровенность не подвергнется сомнению; его умственные способности не будут ничтоже сумнящиеся приравнены к нулю. Напротив: с ним

будут обращаться как с другом, с которым исследуешь предмет спора. Оба противника тогда подобны богам, обсуждающим проблему, и кто уступает по существу, того чествуют как героя спора.

Кобольды комического тогда уже не осмелятся показаться. Ибо там, где совещаются боги, мир внемлет им в священной тишине.

47. ТАКТ

Жизнь — искусство; а всякое искусство призвано создавать гармонию. Существует и социальная гармония; искусство подготовить ее, создать и сохранить называется «тактом».

Но что такое такт, не знает никто. Ибо тот, кто им обладает, пользуется им почти бессознательно, интуитивно, творчески; а у кого его нет, тот живет, как будто «этого» и вовсе нет. Бестактный от природы не поймет и проблемы такта.

Человек сразу становится бестактным, если он внимателен лишь к себе и оставляет без внимания чужую душу. Так, однако, поступают многие — отчасти от душевной грубости, которая вовсе не воспринимает сложное и тонкое, отчасти от высокомерия и самодовольства или от жесткой негибкости характера, делающей невозможным какое бы то ни было вчувствование в чужую жизнь. Бестактный в известной степени подобен близорукому или слепому, который не подозревает, однако, о слабости своего зрения; каждый его шаг неверен, он бредет на ощупь, часто неуклюже, он губит все, перекрывает себе все пути, окружает себя изгородью постоянно возникающих невозможностей и, конечно, не подозревает о том, что он неотесанный парень. Он относится к другим так, будто все они подобны друг другу или все они — «низкие заурядные люди»; то есть он не видит присущее им своеобразие и обходится с ними грубо. Возникающую при этом неудачу он, «разумеется», инкриминирует тому самому «обычному человеку-каналье». Однако неудача следует по пятам бестактного — в дружбе, в работе; в личной жизни, общественных делах.

Изначально ясно, что нельзя доподлинно изучить человека своего окружения. Часто довольно подчас быстро-

го взгляда, мгновенной интуиции. Однако же требуется постепенное вчувствование в жизненный ритм и содержание других, то есть тонкость восприятия, повышенная чувствительность и дар наблюдательности восприимчивой души. Это вчувствование позволяет человеку верно предвидеть душевную и реальную реакцию своего партнера (возможно, своего врага) или с уверенностью ожидать ее. Для этого часть души обособляется, чтобы жить как бы противником или как бы «в противнике», чтобы освещать и претворять в дело разрешаемую задачу не только с своей собственной, но и с чужой точки зрения.

Такт является, таким образом, ценным искусством для правильного понимания других — и друга, и врага; избегать ненужных уколов; не разжигать вредных страстей, а успокаивать их; сдерживать центробежные силы. Такт подобен дорожному сторожу: он «прокладывает путь», «расчищает», «перекрывает». Он умеет воздать должное каждому, так что все чувствуют себя «хорошо понятыми» и окруженными вниманием. Он владеет любой ситуацией, в том числе неприятной и запутанной. Он вносит посредничество, меру и вкус. Он создает «взаимное понимание» и творит мир; «примирение» — его пароль; «взаимость» — его лозунг. Он «дипломатичен» в самом благородном смысле слова. Он всегда заботится о том, чтобы люди не только «спорили» между собой, но и «находили» друг друга; чтобы созидательное общество и органичное сотрудничество стало возможным на земле.

Тут Платон, возможно, спросил бы: не заложено ли в такте нечто «божественное»? А Конфуций утверждал бы, что такт относится к «тао»³¹, то есть к созидательному «пути середины», к вечному ритму мира, из которого и возникает гармоническое равновесие.

48. ЮМОР

Есть люди, которые владеют прекрасным искусством: они умеют в любой ситуации — сколь бы трудной, запутанной или безнадежной она ни была — отыскать присущий ей издревле комизм, задержаться на нем и наслаждаться им. Мы же часто вовсе не замечаем, что многое вокруг нас как бы несет в себе скрытый «источник смеха», как будто оно лишь ждет мастера, который вот-вот

появится и освободит для действительной жизни это «спеленутое» ядро смеха. Сколько истинного утешения и душевной отрады он может подарить нам!

Однако, когда приходит мастер юмора и демонстрирует нам комизм, у нас нет ощущения, что он произвольно выдумал его и опозтизировал ситуацию, а скорее создается впечатление, что он лишь извлек его: он уже был здесь сам по себе, возможно, только в дремотном состоянии, а сейчас его разбудили, чтобы он играл и цвел. Подобно тому, как умелый ювелир помещает драгоценный камень на свет, чтобы он заиграл своими скрытыми внутренними лучами, чтобы он цвел, играл и дарил нам утешение.

Если внутренний комизм проявляется неожиданно, смех просто одолевает нас. Было бы, однако, благоразумно не поддаваться смеху, удержаться. Тогда юмор действует безотказно и внутренне расцветает, как «букет» старого благородного вина, неописуемый аромат которого оставляет послевкусием изысканное, мечтательное чувство радости. Сдерживаемый смех как бы одухотворяется: его душевный заряд существенно перерабатывается и поглощается «комическим» жизненным содержанием.

Тогда становится ясным, что комическое значительно сложнее, чем может показаться с первого взгляда, и что собственно «смешное» есть лишь поверхность, лишь внешняя оболочка явления. Теперь смотришь глубже и впервые замечаешь серьезность комизма, которая доставляет тебе наслаждение. Ах, эта изысканная серьезность комического, столь богатая мыслями и столь остроумно освещенная! Играющее мышление! Мыслящая радость! Смех превращается в улыбку, морщину и умно светится лучистое око.

Еще один острый взгляд, и мы открываем самый глубокий слой — затаенную боль. Ибо так оно в действительности: что для смеющегося — шутка, для осмеянного — боль; на поверхности — веселье, а глубина жизни движется, страдая; и боль есть изначальный корень комического. Мы прибыли в место, где прекращаются веселье и игра и где они могут начаться снова; где даже улыбка исчезает и где она тем не менее имеет самые глубочайшие корни; где слеза сострадания может появиться на мечтательном оке зрителя.

Собственно, здесь и рождается юмор. Ибо юмор возникает из меланхолии духа, который преобразует свою боль в улыбку и тем самым преодолевает ее. В такие моменты он пытается утаить глубину страдания и выступает как явный комизм. Он сделал большую работу, сам не смеется — пусть «смеются» другие, которые ничего не знают о тайне.

Итак, искусство юмора в том, чтобы заставить себя улыбаться в своих страданиях. О, эта драгоценная улыбка отступающей боли, этот первый шаг к своей победе над тварью!

Существует ли душевная боль, которая может противостоять тебе? Улыбка вырывает меня из моих страданий. Я рассматриваю их уже «снаружи». Я уже схватил, постиг и превратил в искрящуюся шутку исходный комизм ноющего, запутанного созданища, которое способно думать лишь о себе самом. Я завоевал свободу. Я возвысился над своей «креатурщиной»...

Я наслаждаюсь утешением юмора. А глубину моей боли другим знать не надо.

VII. НАСТАВЛЕНИЯ

49. ДЕЛОВИТОСТЬ

Не надо! Я имею в виду не строгое исполнение служебных обязанностей, не верность долгу и не деловое умение. Давайте-ка взглянемся поглубже! Вникнем прямо в суть!

В каждой работе, в каждом деянии имеется большое, идейно-направляющее «для чего?». Это высшее и последнее предназначение наших усилий; прекрасная и святая цель нашей жизни. Ведь все мы — от подметальщика улиц до высшего чиновника, от фабриканта до ученого — не машины проклятого долга, не рабы или галерные арстанты, не равнодушные поденщики мира, не трутни Божьи. Мы призваны смотреть в суть своей работы, думать о живом и творческом смысле своего труда. Все мы служим делу — главному в нашей жизни, и призваны привязаться к нему, никогда не забывать об этом. И тот, кто

так работает, тот привносит в свой труд *истинную деловитость!*

Где бы я ни находился — я служу. Не просто «хозяину»; не просто «начальству». А гораздо более важному: я служу *великому делу Господа на земле.*

Итак — прежде всего, сознание! Где и как моя профессия включается в великое дело — совести, веры, права, моего народа, моего Отечества? И далее: как мне ему лучше всего служить? Не так, чтобы я механически крутил шарманку своей повседневной работы; но чтобы я самым наилучшим образом способствовал делу. Чтобы вечером я чувствовал: сегодня благодаря мне стало немного лучше на белом свете; и завтра пусть будет так же; и каждый последующий день. Кто никогда не испытывал этого чувства, тот должен позволить себе хотя бы иметь его.

Благодаря этому наш взгляд, наше сердце, наша воля проникают в самые глубинные слои жизни и труда, для которого только и имеет смысл жить и работать: мы творим тогда, исходя из нашего самого существенного для вечной сущности нашего народа. Тем самым преодолевая и устраняя обоих врагов: рабское безразличие и личную корысть. Строгое исполнение служебных обязанностей остается тем же, но оно становится добрым и справедливым. Утверждается верность долгу, однако она исходит уже из сердца и теряет налет обязательности. И деловая сметка начинает прислушиваться к совести и правовому сознанию.

Ибо дело — главное дело, одновременно живо и священо. Оно требует от нас, чтобы мы не только выполняли «обязательное», но чтобы мы созерцали, любили и служили. Оно хочет, чтобы мы почаще обращали свои взоры вверх, к Богу, и следовали Божественному на земле.

50. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«А если этого никто не увидит? И никто ничего не узнает?» — интересовался маленький Ганс чуть обеспокоенно и упрямо. «Тогда, дитя мое,— тем более». — «Почему тем более?» — «Потому что тогда ты совсем один; ты

должен сам решать и сам нести ответственность». — «Что такое ответственность?»

Как мне объяснить малышу, чтобы он не только постиг это, но и принял сердцем, и жил, и стремился к этому? Как пробудить в нем чувство ответственности, чтобы оно никогда не исчезло, никогда не заснуло? Ведь в противном случае придется нам, родителям и воспитателям, отвечать за безответственность грядущего поколения...

«Смотри: мир вокруг нас есть одно огромное единство, где все взаимно связано. Тучи приносят нам дождь, дождь наполняет реки, реки влекут свои воды к морю, а море омывает весь земной шар. Далекое солнце освещает каждый уголок и посылает нам тепло, свет и радостные дни. То же происходит и с нами, людьми: мы все вплетены в великую и прекрасную ткань мира, чтобы сделать этот мир и, прежде всего, нас самих еще прекраснее и совершеннее. Прекрасны дела земные, где все связано живою связью и где каждое деяние, а также каждое недеяние незаметно сказывается на всем остальном. Сегодня ты не помог человеку в беде; завтра он обессилел в отчаянии и сделал что-то дурное, попал в тюрьму, и его дети голодают, крадут и следуют плохим людям. Да, это так; мы все едины — мы поддерживаем друг друга, мы вместе стоим и вместе падаем. Своеобразное единство народа: здесь нет отделенных или обособленных людей; где страдает и несчастен один, там одновременно страдают все; каждый обездоленный — это беда и проблема общая. Вытяни одну нитку из своей кофты и посмотри — ты повредил всю ткань. Если у тебя болит зуб, ты уже несчастен; если выскочила одна клавиша из фортепиано, то фортепиано испорчено. Каждый из нас, конечно, может закрыть глаза, следовать собственной корысти и изображать независимого счастливец; но беда от этого не станет меньше, скорее, еще больше: ибо покинутый ожесточится, подавит чувство возмущения и предастся зависти и мщению...

Так, каждого из нас можно сравнить с крупницей радия, которая непрестанно посылает излучения во внешний мир. Этим мы можем отравить и погубить воздух общечеловеческой жизни или же очистить и оздоровить его, в зависимости от того, какие излучения мы посылаем:

злые или добрые. Здесь каждому из нас приходится выбирать: продумать, взвесить все и решить. Кем ты хочешь стать: отравителем и вредителем или праведным и надежным человеком? Будешь ты разрушать или строить? Разбойничать или служить? Ненавидеть или любить? Соответственно ты должен подготовить свою душу, свое сердце, свою волю, свои мысли. Тогда можешь быть уверен: что ты выбираешь и что делаешь в душе, то будешь претворять и вовне. Твое сердце проявится в твоих поступках; и даже, когда этого «никто не видит», об этом все же узнают. Итак, ты должен стоять за каждым из своих решений, за каждым поступком, быть в нем сердцем и волею, обосновать его и суметь защитить. О каждом своем деянии ты должен иметь право сказать: «Я это сделал, я творческая причина тому, я принимаю на себя все добрые и худые последствия». А это как раз и есть ответственность: ты держишь ответ перед Господом на небесах и перед людьми на земле и не уклоняешься от него. Только трус увиливает; только шельма пытается выкрутиться. Праведный отвечает за свой поступок, считая его наилучшим из возможного и утверждая его как искренно-желанный. Он знает, что хотел поступить хорошо, что сам решился на этот поступок, старался предусмотреть его возможные последствия и поэтому ему не страшно.

И заметь еще одно, малыш: все добрые, которые умеют любить, которые созидают и служат, совершенно особо относятся друг к другу: они узнают друг друга легко и скоро, испытывают взаимное доверие и сообща делают свое дело. Они сплетаются в одну живую ткань, которая охватывает их всех; они стараются расширить эту ткань, укрепить ее и тем самым искренне и верно служить делу Бога на земле. И знаешь, по чему они узнают друг друга? По чувству большой ответственности».

«А если я совсем один и меня никто не видит, ведь я и тогда отношусь к добрым?» — «Да, дитя мое. Так и есть. Я уже вижу: ты меня правильно понял... Ты и вправду дитя Божие и носишь в своем сердце живое Царство Божие».

51. НЕТ И ДА

ДА, разумеется! Без НЕТ в жизни нельзя. НЕТ нельзя просто отмести. Ни теоретически, ни практически.

Итак, сначала — теоретически. Изучаемое необходимо выделить, как бы вырезать, изолировать; все, что к нему не относится, откладывается в сторону, отвергается, то есть ставится под НЕТ. И горе тому, кто не умеет удерживать за собой эту изучаемую сущность, не умеет подтвердить ее. Определяемое понятие сначала, как пилой, обтачивается со всех сторон НЕТ: оно не «этот», не «это» и также не «тот». И горе тому, кто знает лишь логическое НЕТ: его понятие остается неопределенным, как если бы он подразумевал ореховую скорлупу без ядра.

А затем — практически. Искусство говорить НЕТ, отвергать, образует форму и характер: все — злое, фальшивое, уродливое, неверное, несправедливое, низкое, мелкое и все прочее должно натолкнуться на наше мужественное и твердое НЕТ. Нельзя, конечно, предаваться всем желанием, побуждениям и страстям; иначе человек переродится и станет похотливым животным. Жить означает выбирать; тот, кому приходится выбирать, должен уметь отказываться. Никакое созидательное начало невозможно без внутренней цензуры, то есть без избирательного НЕТ. Кто хочет угнаться за всем, тот все потеряет. Быть дилетантом — мало; пострелом — еще меньше. Кто не умеет терпеть лишения, у того вообще ничего не получится. Кто хочет все подтвердить, тот вообще не знает, что значит сказать ДА. Мастер — это сконцентрированность на чем-то одном, главном, остальное же — по ходу дела отвергается.

Вот в чем сущность дела; НЕТ само по себе не путь, не цель, не решение проблемы. НЕТ здесь лишь для того, чтобы служить ДА.

Отвергай, отвергай многое, но все же сохраняй и утверждай существенное, святое, больше всего любимое! Только НЕТ и всегда НЕТ — не более чем ничто, или менее того, ибо из ничто еще может что-то образоваться, но из вечного НЕТ — ничего никогда.

НЕТ — подметальщик улиц; он подметает для ДА; НЕТ — оруженосец; ДА — сам рыцарь; НЕТ — подготовительная школа; ДА — творческая работа. НЕТ — не

более чем чистилище; рай начинается с ДА. НЕТ — отвращает, ликвидирует; ДА — предполагает, утверждает, связывает. НЕТ — разрушает; ДА — творит и строит. НЕТ — пустота; ДА — полнота. НЕТ — смерть, ДА — жизнь.

Горе тому, кто довольствуется НЕТ и упорствует в нем. В лучшем случае он станет мастером разложения. Вечное НЕТ в мышлении создает завистливо-ненавидящего эгоиста, это — развал и смерть. НЕТ в желаниях создает неуправляемого ниспровергателя, а это означает революцию, гражданскую войну и смерть. Родственные явления. Единая судьба. Симптомы одной и той же болезни. Но во всем — безбожие как образ жизни.

Современный мир более НЕТ. Созидательное, верующее, святое ДА дается ему с трудом. Как можно исцелить его? Определенно ясно лишь одно: для победы решительного, святого ДА ему вновь придется бороться, а возможно, и страдать! Ибо, действительно, кто есть человек, который ничего не исповедует? Что наше сердце без живого, истинного вероисповедания? Чем было бы сегодняшнее человечество и его культура, если бы оно две тысячи лет тому назад не признало христианство?!...

52. ВЕРНОСТЬ

Что могут люди без верности? Что удастся без верности? Ничего. Но нынешний мир мало что хочет знать об этом. Он славит корыстный произвол; он ослабляет все связи; он жаждет освобожденного человека. Он лишен верности и не замечает ее отсутствия. Всеобщее освобождение от оков, всеобщее взаимное предательство ведут человечество к гибели.

Все великое заложено глубоко; оно зреет медленно; требует людей с глубокими чувствами и твердой волей — людей, имеющих потребность в окончательной крепости своих убеждений и чувствующих себя только тогда хорошо, когда знают, что их поддерживает верность. Скоро возникает лишь неполноценное; зато оно и живет недолго, как бабочка-однодневка, и оно незначительно, как сметенная пыль. Великая идея — глубокие раздумья — долгие усилия — истинная верность: это единая цепь предпосылок, на которых зиждется все творчески-великое

как в жизни народа, так и в духе отдельного человека.

Как просто и точно звучат вот эти слова: «Я остаюсь тем, кто я есть; я буду любить то, что привязало мое сердце; и я буду действовать так, пока моя грудь будет подниматься от дыхания жизни». Кажется, как просто ведет себя верность! Однако она — редкий гость на земле. Почему?

Потому что верность идет изнутри и предполагает *цельность* души; но современный человек склонен к распылению, рефлексии, резонерству, ко всеотрицающему критиканству. Если человек целен, он обладает единственным духовным центром, который и определяет его жизнь; тогда он склонен к верности. Если же он распылен, в нем наличествуют несколько состязающихся друг с другом и потому бессильных «центров», между которыми он колеблется и которые постоянно обессиливают и предают друг друга. Но верность — это то душевное единство, та духовная «тотальность», из которой рождается внутренняя уверенность верного.

Чтобы быть верным, надо что-то любить; то есть надо вообще уметь любить, а именно безраздельной полной любовью. Эта любовь и определяет человека. Она привязывает его к любимой ценности, и верность таким образом есть приверженность ценности. Кто ничего не любит, тот, неприкаянный, порхает, ничему не верный, все предающий. Кто действительно любит, тот *«не может иначе»*: в нем властвует внутренний закон, святая необходимость. Не то чтобы эта необходимость была ему в тягость или закабаляла его: нет, но он и *не хочет* иначе, он ничего другого и не желал бы и не мог. Эту необходимость он воспринимает как нечто избранное им и желанное: как самоопределение, как истинную свободу. Она для него легка и «естественна»; и он несет и свою верность, как единственную и естественную возможность своей жизни...

Верный человек обладает глубиной характера. Тому, кто неглубок и пуст, верность не «удастся». У верного человека ясное, честное сердце. Тот, кто живет с сумбурным, мрачным сердцем, однажды теряет свою верность в этом мрачном хаосе. Верный человек обладает сильной, твердой волей. Как может соблюсти верность слабый человек? Верный человек есть та духовная сила Бы-

тия, та произнесенная присяга и клятва, та точка опоры, которую требовал Архимед, чтобы перевернуть мир. Возникая из внутренней силы, верность сама является источником силы. Она подкрепляется характером, достоинством и честью. Она — искра Божия, благословение Божие, она — истинное укрепление в Господе...

Все, что сделалось в человеческой истории по-настоящему истинным и «реальным»; что сумело победить все сомнения, страхи и опасности; что черпало из глубины и страдало по-рыцарски — жило в верности. Верность для нас, таким образом, как зов наших предков и — обет нашим внукам; а для нас это слово звучит как глубокое убеждение, утешение и успокоение. А кто действительно ведает верность, тот сумеет поведать кое-что о блаженстве и высшем счастье ее.

53. МЕСТЬ

Передо мною старое письмо. По всей видимости, оно могло бы вскоре отпраздновать свой столетний юбилей. Пожелтела бумага, подобно старой слоновой кости; края вот-вот осыпятся, складки подобны шрамам. Можно думать, его годами носили в кармане на груди. Как память? Как наставление? Этого никто уже не скажет. Я подобрал это письмо во время войны в заброшенном замке и сохранил его. А сейчас я хотел бы опубликовать его без изменений и дополнений.

«Мой любимый сын! Тяжестью легло мне на сердце твое последнее письмо. Читая его, я не верил своим старым глазам. Какими же гнусными, какими подлыми могут быть люди! Какие отвратительные последствия имеют похоть и ревность. Поверь мне, я пережил все вместе с тобой. Сначала эта попытка вкрасться в доверие, когда старый граф хотел тебя перехитрить и подкупить; затем эта бесстыдная клевета и, наконец, издевка и приказ по службе отправиться в дальние края. И сейчас кровь пульсирует у меня в висках. А твоя милая, бедная невеста! Сумеет ли она противостоять этим козням? Ах, как хорошо я понимаю тебя в том, что ты поклялся отомстить и ищешь мщения. Но возьми себя в руки, мой дорогой Фридрих, и спокойно выслушай меня.

На усмотрение человека предоставлено — мстить или

не мстить; многие считают, что месть сладка. Сладка месть лишь тому, кто отвечает натиску незаслуженного злодеяния никогда не ослабевающим натиском ненависти. Для этого он или должен носить в себе огромный первобытный заряд ненависти, и тогда это далеко не благородный характер; или он с удовольствием выставляет напоказ силу своих оскорблений, что недостойно мужчины. Разжигание старых обид мы должны оставить злым бабам. Увы, месть горька, как желчь, это — медленно действующий яд. Если ты еще не остыл на месте и не можешь с собой совладать, взорвись от возмущения. Если же все позади и ты предаешься мечтам о мщении, то ты опутан чужим злодейством и заболел им. Ты будешь непрестанно вынашивать месть и дышать мщением, яд неутоленной ненависти поразит твое сердце и голову.

Держись, мой любимый! Иначе злодей одержит победу над тобой, ведь ему удалось втянуть тебя, доброго и благородного, в круг своей злобы. И ты находишься теперь под властью его злого произвола. Подлец сделался теперь твоим злым роком, змеей, которая впрыскивает яд прямо в твою душу. Ему удалось покатить камень зла; если ты ответишь, расщелина будет все увеличиваться, все больше камней будет приведено в движение, пока не возникнет настоящая лавина зла. И если он подло поступил и скомпрометировал себя — неужели это причина для того, чтобы ты поступал по его примеру и уподобился ему? Если так будут поступать все, мир вскоре потонет в подлости, на нас обрушится поток ненависти. А мститель погибнет от своей собственной жажды мщения.

Что бы с тобой ни случилось, никогда не думай о мщении. Если нужно — да, думай о борьбе, о победе, о наказании. Но никогда — о мщении. Находи в себе духовные силы, чтобы сохранить холодную голову. Надо устранить последствия злых деяний. Надо обезвредить злодея. Надо установить истину и справедливость. Но стремление к возмездию, к тому, чтобы он страдал, чтобы ему было плохо, чтобы он был унижен — не должно быть ни твоею заботою, ни твоею радостью. Оставь место для всезнающего судьи; не пытайся ничего вершить прежде него. Оставляйся христианином и рыцарем; будь верен нашему роду!

Естественно, я помогу тебе, но при одном условии: откажись от мести! Уж я найду дорогу наверх и положу справедливый конец дворцовым интригам.

Сердечно и искренне, твой старый отец».

54. ПРОЩЕНИЕ

Я должен простить, считаете вы, чувствительные люди? Да, конечно, я хочу это сделать. Я это и сделаю, хотя мне это не всегда удастся легко. Люди часто так неблагодарны, зложелательны, коварны! Моя оскорбленная душа порою так ожесточается, что я не знаю, что с нею делать! И тем не менее я стараюсь искоренить в глубине своей души личную обиду, сохранить спокойствие и объективность, не думать более об отвратительном мщении, скорее, взвесить вопрос с точки зрения общечеловеческих ценностей, проявить по отношению к психологии оскорбителя понимание и воздать ему, где только можно, благодеянием. Я должен прямо признаться: мне не удастся ответить на подлости личного врага христианскою любовью; я — не святой, и подобное «прощение» превышает мои силы.

Но этого недостаточно вам, безмерно размягченным моралистам! Вы стараетесь всегда втолковывать нам исчерпывающее «всепрощение» и требуете его от нас; и если внимать вам, то возникает впечатление, что для всего злого на свете в вашем сердце есть лишь сострадание и участие, лишь терпимость и симпатия, и вы ничего не хотите ведать о естественном отвращении, справедливом возмущении, долге защищать других и самим воспитывать совершающих злодеяния. Странное участие! Противоестественная симпатия! Роковая терпимость!

Речь идет сейчас не о личном ущербе, а о субъективной обиде. С личным покончено; жажда мщения погасла. Что мне еще тут «прощать»?

Для того, чтобы быть «должным» прощать, мне надо прежде всего «сметь» прощать. А именно: существует полномочие на прощение, без которого любое «прощение» становится пустой и бессмысленной болтовней. Если оскорблен, предан, ограблен и изнасилован другой, то ведь я и не должен ничего «прощать». Или же я призван из «сострадания» к злодею скрывать любое преступле-

ние, тем самым непосредственно принимая в нем участие? Или, возможно, я должен, руководствуясь христианскою любовью, вымогать «участие» не к пострадавшему, а к злодею — виновнику чужого страдания? Однако христианство требует участия к страданию, а не к тому, кто заставляет и оставляет страдать; подобное участие было бы прямым предательством пострадавшего и, следовательно, общечеловеческих ценностей.

Если то, что я должен простить,— «грех», то прощение грехов — в Руце Господа; у меня на это нет полномочий. А если вы — христиане, то я напоминаю вам о том, что Христос далеко не всем прощал грехи и далеко не всем грешникам обещал прощение. Если же то, что я должен прощать,— нарушение закона или преступления, то здесь я тоже не компетентен. Мы, простые граждане государства, имеем лишь свои «настроения» и «мнения». Вы хотите, таким образом, чтобы прикрыли нашими «настроениями» и «мнениями» такие злодеяния, как клевета, разбой, убийство, осквернение детей, торговлю девушками, измену Родине, большевистское подстрекательство и т. п., чтобы мы с размягченным сердцем их прощали, сентиментально «сочувствовали» им, выступали симпатизирующими им заступниками и помощниками? Кто же вы тогда сами, заботящиеся об этом? И за кого вы принимаете нас, полагая, что мы способны на такое? Все это мы могли бы понять, если бы это было хоть как-то уместно: внимание, справедливость, мягкость, милость, помилование, амнистия; но не фальшивую сентиментальность участия или даже оправдания и не извращение здравого рассудка, которое делает человека соучастником!..

Такова ваша сентиментальная доктрина «всепрощения» — всего лишь нравственная попытка и моральное право. Леонардо да Винчи — большой знаток душевных глубин и тонкий наблюдатель разгула предательства среди его современников — однажды заметил: «Кто не наказывает зло, тот поощряет его». И он был прав: прощенье без предела равносильно предательству в великом деле.

55. ПУТЕШЕСТВИЕ

Есть прекрасная даль, в которую все мы стремимся. Об этой прекрасной дали втайне мечтает наше сердце,

когда мы говорим о путешествии. Ах, если бы нам только знать, где эта даль и как найти к ней верную дорогу!

Такими легкими, такими обычными сделало для нас путешествия новое время. Равнодушно отправляемся мы в путешествие, безропотно даем себя возить. Чем скорее и приятнее, тем лучше. Путешествие становится все более простым движением в пространстве: отдаленное «там» становится близким «здесь», и наоборот. Так легко нам сидится в мчащемся «четырёхместном автомобиле» или в купе для курящих скорого поезда и воображается нам, что мы «освеженными» и «отдохнувшими» вернулись в привычную круговерть мельницы жизни. Не утратили ли мы важный смысл путешествия, а заодно и дивное утешение в жизни? Способны ли мы путешествовать пешком, паломничать?

Не стоит труда менять одно место на другое, если тащишь за собой душевный застой и спертый воздух будней. Путешествовать значит странствовать, меняться, становиться другим. Итак, довольно избитых вещей! Долой запыленные очки! Выбираемся из узкой улочки только-такого-бытия, из болота жалкого крохоборства! Долой бремя собственной банальности! По-иному дышать, по-иному смотреть, по-иному слушать! Да, конечно, путешествие — это «движение»; но это «движение» должно иметь начало во внутреннем пространстве духа. Истинное путешествие, которое меняет и превращает, есть прежде всего «переход в другую разновидность бытия», о котором говорил еще Аристотель. Было бы безнадежным предполагать эту «иную разновидность бытия» извне, хотя бы так: «Я остаюсь закоснелым и окаменевшим, а ты, пестрый внешний мир, мучайся, чтобы рассеять и развлечь меня». Мертвые кости, кто сможет вас оживить? Жизнь дается лишь живому. Кто не светит сам, для того нет и света. Лишь тот, кто сам умеет молиться, сумеет подслушать и гимн природы...

Есть прекрасная даль, в которую все мы стремимся. Однако эта даль не так уж и далека: она начинается в нас самих. У кого нет ее внутри, тот не найдет ее и во вне, пусть он заедит свой «четырёхместный автомобиль» до смерти и злоупотребит всеми поездами и пароходами мира. У кого, однако, внутри есть эта прекрасная даль и кто знает о ней, тот непременно возьмет ее с собой в

путешествие! Каждый, кто собирается в странствие, должен спросить себя об этой глубине духа: «Где Я, который хочет самого лучшего в жизни? Где Я, которого касается все Великое и Святое? Где Я, который так искренно жаждет самых скрытых тайн природы и творения? Где во мне благодарный сын, чтобы восхититься своим отцом и воздать хвалу и ему? Это он должен путешествовать, это он берет меня с собой!»

И вот путешествие свершилось, а путешественник счастлив и утешен. Так путешествие становится изменением и превращением, духовным обновлением. Нам открывается возможность иного, желание иного и разрешение иного. Путешествие становится «возвращением в родной дом», проникновением в собственные, свободные глубины, странствием, паломничеством; и мир расцветается перед нами тысячами прекрасных образов...

Есть прекрасная даль, и ее мы должны достичь в нас самих. Тогда мы достигнем ее и в мире земном, и в мире ином: ведь однажды все мы отправимся в вечное путешествие. И мы должны подготовиться к этому последнему путешествию, как к возвращению в родной дом, в прекрасную даль...

56. ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ

Никому не ведомо, как возникает любовь между мужчиной и женщиной, откуда она приходит и что приносит с собой... Но однажды она приходит.

Я не имею в виду флирт, когда прикидываются, будто «немного влюблены», в то время как знают, что это не так, и согласны удовлетвориться таким же «невинно-виноватым» игривым, легким притворством с другой стороны. Здесь каждый втайне знает, что и он не принимает всерьез эту «любовную игру» и его самого не принимают всерьез, что он может и «по-иному», может играть и с другими, сможет обойтись и без своего теперешнего «партнера»... Это именуется времяпрепровождением, настроенным не более чем на похоть, и в результате все опошляющее, то же мимолетное стрекотание двух безответственных стрекоз... Далекое от любви, как небо от земли!

Если приходит настоящая любовь, человек теряет

чувство свободной бесшабашности, вольной игры. Он вдруг чувствует себя связанным, как будто его пронзила *необходимость* или он подпал под действие какого-то закона: теперь *он не может по-иному*, он как бы во власти чар.

По этому узнают настоящую любовь: кто «может по-иному» и «может с другими», тот еще ничего не знает о любви. Любовь — это избранность, в которой часто ничего не ощущается от избрания. Видишь себя определившимся, а возлюбленное существо единственным и незаменимым.

С этим избранным существом любящий хочет быть вместе, наслаждаться его присутствием без помех со стороны других, уже не играть, отринуть сдержанность, стать с ним совершенно искренним и придать этой искренности цельную форму. Приближается решающий момент: любимый должен узнать, что его любят; — ужасный момент... Вдруг он не ответит на любовь?!... Тогда всему конец, мир и жизнь становятся грудой развалин...

По этому узнают истинную любовь — она не только сосредоточенна и исключительна, но и «тоталитарна», она требует человека всего, она поглощающа, предписана судьбою. Истинная любовь хочет в человеке всего: не только внешне-человеческого, но и душу, и внутреннее содержание ее — сущность человека, святую тайну личной духовности, древний источник божественного дыхания в нем, чтобы сделаться *единым* в жизни, желаниях и молитвах. А кто ничего о том не ведает, тот не ведает ничего и об истинной любви.

При этом совсем не всегда думают о «женитьбе». Этот «итог» подводится как бы сам собою. Ибо, если мужчина и женщина охвачены истинной любовью и уже не могут жить друг без друга, тогда они образуют творческую жизненную общность, как новую, великолепную жизненную ценность, которая стремится быть признанной Богом и людьми — одобренной, освященной, уважаемой, охраняемой... Мы, разумеется, знаем: многие вступают в брак и без любви (бедные люди!); но если это любовь, то она ищет победы и свадьбы, подобно тому, как розовый куст добивается розы. Вовсе не стоит говорить о «вечной любви». Истинная любовь воспринимается, однако, как единственная и вечная — продолжающая-

ся вечно, связывающая навечно и ведущая к блаженной вечности. И тот, кто никогда этого не испытал, вероятно, не много знает о любви.

Любить и быть любимым своей возлюбленной. Какое счастье, какое богатство творческих возможностей... Уже само по себе — живая хвалебная песнь Господу. Исполнение лучших желаний, парящая радость, одухотворенный показ, восходящая утренняя заря... В человеке пробуждаются потаенные силы его далеких предков, с которыми он удивительным образом чувствует себя *единым*... Все просыпается для него, все живое окликает его; и он чувствует себя *цельным* и окрыленным. Ему, одному, «самому великолепному из всех» — можно цвести... Ей, единственной, чудесной — возносить хвалу, сметь служить, ею жить!..

Кто, однако, воспринимает эту радость не как невинную и святую — ибо она идет из неразделенной любви, ибо желаемая природой, ибо она освящена Господом!.. кто от всего этого счастья не чувствует легкой грусти — ибо в любви столь многое сгорает, потому что в ней просыпается предчувствие наступающих любовных страданий, ибо достигнута вершина жизни, и вечно преходящее хочет поднять свой голос!.. кто при этом не думает о бремени ответственности и не чувствует мировой боли — тот пока не знает, что такое истинная любовь...

И еще одно: любящий хочет счастья для себя, счастья творчески-прекрасной общности, грядущего счастья среди многочисленной детворы. Если же он одновременно не хочет счастья любимого существа, если его сердце не думает в своей глубине о жертвах, если оно не ставит счастье любимого существа выше своего собственного, то его любовь корыстна и себялюбива: о, тогда это не истинная любовь...

Ибо истинная любовь это искра Божия в человеке.

57. СЧАСТЬЕ

Что ты имеешь в виду, друг, что ты хочешь, когда говоришь о счастье? — «Вполне естественно: здоровья, чтобы требовать всего, богатства, чтобы все мочь; власти, чтобы всего достичь. Вот я и счастлив!»

Счастлив? Едва ли! Лишь тогда ты поймешь, что тебе

не хватает самого существенного; что ты бредешь по большой и широкой дороге разочарования.

Прежде всего здесь нет ничего «естественного»: дающие счастье условия жизни точно так же различны, как и люди. Из-за богатства и власти можно стать таким несчастным, что будешь стремиться к смерти. И только больному здоровью кажется счастьем. Ведь мир полон здоровыми, богатыми, могущественными людьми, которые в отчаянии ищут счастья. Ты разве этого не замечал?

«Требовать всего!» Бедняга! «Всего» ты никогда не достигнешь; ведь счастье — не вечная гонка, не охота за абсолютной невозможностью. Если хочешь счастья, научись искусству лишений. И больной требует отнюдь не «всего», а лишь «здоровья»; и если он не соблюдает меру в «здоровом», то скатывается в болезнь, чтобы вынести из болезни для себя немного мудрости, без которой счастье невозможно. И наконец: чего ты хочешь — вечно требовать или что-то и получать? Ибо без получения нет покоя, а без покоя нет счастья...

«Богатство, чтобы все мочь». Ты не настолько дитя, чтобы думать, что богатый «все может»? Он может лишь купить! А ведь лучшее в жизни не продажно. Продажное счастье вовсе не счастье, оно скорее — разочарование и несчастье.

Богатый может ослепить, тогда возникают видимость и обман; и это ты называешь счастьем? Богатство дает роскошь; и ты настолько наивен, чтобы воображать, что роскошь и счастье идентичны? Значит, ты не знаешь, каким глубоко несчастным, каким жалким можно быть в пышности и великолепии...

И — «власть, чтобы всего достичь»... Разве ты так близорук, чтобы не видеть, что власть налагает на человека невероятное бремя разных «должен» и «обязан»? Это бремя настолько велико, что у него нет времени вспомнить о своих «смею» и «могу». Необходимость власти подавляет ее свободу. Глядя снизу, наивный чудацкочеловек восклицает: «Боже, чего только он не может!» Глядя вниз, властелин вздыхает: «Боже, чего только я не терплю, за что только не отвечаю и сколько всего мне нельзя!» Ибо его большое «могу» есть лишь скудный отблеск его изнуряющего долга. Лишь у злых властителей, у тиранов, дело обстоит по-другому. Не подумай ли мне,

что ты считаешь счастьем тиранство?.. Видишь: от всей твоей «естественности» не осталось и следа. Так, вероятно, случается со всеми: сначала нам кажется, что мы точно знаем «наше счастье»; затем выясняется, что мы его никогда не знали... Поэтому какое тщеславие — гоняться за определенно мнимым «счастьем».

Хочешь узнать секрет счастья? Так послушай.

Счастье нельзя поймать. Не ищи, не гоняйся за ним, оставь старания и мучения! Счастье приходит само. Но не жди его, не вопрошай о нем, не требуй ничего! Ищи чего-нибудь другого: чего-нибудь верного, великого, за что стоило бы жить, бороться и умереть³². Посвяти себя этому делу с любовью, живи им так самоотверженно, как только сможешь; служи ему верно и самозабвенно, но не ищи «счастья»...

И в один прекрасный день ты обнаружишь, что на правом плече твоём сидит орел³³ и шептывает тебе на ухо святые, возвышенные вещи. С этого мгновения ты будешь счастлив; даже тогда, когда тебя постигнет личное несчастье; потому что орел подымет тебя над несчастьем и даст тебе блаженное утешение.

Ты этого не можешь? Или ты этого не хочешь? Тогда пребывай в заблуждении и дальше. Ты предрепрежден.

VIII. ДИФИРАМБЫ

58. СЛЕЗА

Пусть свободно течет, коль уж она появилась. Я знаю, она появляется очень редко. И тот, у кого ее никогда на глазах не бывало, тот, вероятно, чуть меньше, чем человек; он, возможно, так «мужественен», что потерял что-то человеческое. Ибо человеческому существу свойственно, что глубокая душевная боль застилает слезами глаза, и слеза, робкая и скромная, как цветок страдающего сердца, расцветает на глазах. О, люди, берегите эти нежные цветы!..

Нет сомнения: телесно есть у человека сердце. А душевно и духовно?

У нас, цивилизованных людей, бытует предрассудок: сильному, мужественному человеку не нужно сердца,

«этого источника слабости»; оно ему ни к чему; от него лишь затруднения и паралич; поэтому оно не должно ни трогать нас, ни влиять на нас. Тем более слезы — как нечто неприличное и недопустимое; и появление их — настоящий позор.

Что есть жизнь без сердца? Без сердца — значит без любви! Кто ничего не любит, тот не умеет и служить; приносить жертвы; оставаться верным. Что можно сделать с подобными людьми? Есть ли на свете великое дело, которое было или может быть осуществлено без любви и верности? А теперь сердце надо подавить или вовсе окончательно иссушить. Что же тогда останется людям? Непродолжительные причуды, злые капризы, пустые мелочи. Лишь эти жалкие паразиты могут побеждать и перебиваться без сердца и любви... Горе, горе бессердечному народу!

Если же сердце есть — страдаешь, и страдаешь тем сильнее, чем чувствительнее, шире и глубже восприятие сердца. Такое сердце участвует невольно в страданиях мира, видит все несправедливости и жестокости внутренним оком, из которого никогда не исчезает невидимая слеза. Эта слеза говорит о мировой боли; и насколько помнит человечество, нигде и никогда не было значительного художника, философа или пророка, который не знал бы этой слезы и которому она не помогла бы сделаться ясновидящим. Да, ясновидящим. Ибо лишь зримая слеза омрачает взор на недолгое для нее время; невидимая слеза сердца, напротив, открывает человеку духовное зрение. И если такая слеза однажды блеснет из телесного ока — неужто это уже позор?

Я дал бы людям возможность выплакаться спокойно, в тишине. Нехорошо так много страдать и все хоронить в своем сердце: постепенно образуется целое кладбище с погребенными в нем мнимыми мертвецами; и однажды толпа этих заживо погребенных болей внезапно восстанет и будет мучительно искать воздуха и жизни. Нам дана тишина ночи и верность друга, чтобы они видели наши слезы и навсегда умолчали о них. Пусть эти бутоны страдающего сердца расцветут и завянут в оке, никем не осужденные, никем не осмеянные...

Каждый плачущий — знает он это или нет — плачет от избытка мировой боли.

59. ЛЮБОВЬ

Если ты когда-либо был счастлив, то это было из-за любви. Если ты сейчас несчастен, знай: это от недостатка любви.

Я уже слышу возражения. Черствый «чересчур умник» возражает: «Что такое любовь? Нужно сначала определить понятие любви». А корыстный, падкий на наслаждения человек думает: «Но на любовь надо отвечать... Бывает же и несчастная любовь!»

Нет, любовь не надо «определять»; достаточно однажды по-настоящему пережить ее. На нее необязательно и отвечать; она сама по себе счастье; и того, кто «томится» от безответной любви, все же должно считать счастливым.

Там, где она начинается, кончается равнодушие, вялость, рассеянность, скука. Душа становится как бы раненой; однако эта рана необходима для счастья и здоровья. Она выполняет созидательную миссию. Непроизвольно, часто даже совершенно неосознанно, человек становится собраннее; его интересы унифицируются, внимание концентрируется. Начинается новая, интенсивная жизнь; скрытая внутренняя сила, творческая власть действуют в его душе уже по собственному побуждению. Сердце начинает воспламеняться; затем оно горит; а в точке горения — возлюбленный предмет. Из жизни как бы исчезают будни, и каждый новый день приносит надежды, желания и перспективы. Возникает новый центр жизни; возлюбленное «главное»; уютно обихоженное убежище.

Кто обладает подобным источником внутренней жизни, тот счастлив. Кто обладает таким внутренним «убежищем», тот богат. Пусть судьба его любви сложится «несчастливо»; пусть его жажда любви останется неутоленной, его счастье все же будет живым, а его богатство — настоящим. Поэтому любовь подобна радости, которая светит любящему, как солнечный луч, даже сквозь страдания, заботы, неудачи и болезни. И в одиночестве любви есть настоящее утешение; и слеза любви блаженна. Любовь подобна радостному свету, который светит человеку изнутри и дарит ему неиссякаемое тепло. То сердце, что чуть было не окаменело, растворяется, стано-

вится мягким, подвижным, легким, гибким, текучим. Душа становится нежной и чувствительной; она обращается с участием и пониманием ко всему свету. Поэтому любовь подобна доброте; ибо счастливому свойственна живая потребность осчастливить всех вокруг и наслаждаться чужим счастьем как отражением собственного...

Кто любит по-настоящему, тот может вчувствоваться в возлюбленное им. Чувство и воображение соединяются; отсюда возникает новая душевная сила, нежная и зоркая одновременно, чуткая и пронизывающая: таинственная идентификация с влюбленным, интуитивное ясновидение, безошибочное отдаленное предчувствие. От такой любви рождаются великие поэты: Хафиз, Овидий, Петрарка, Шелли, Гете; люди, для которых каждый цветок раскрывается по-особенному, каждая пташка поет по-другому, каждый солнечный луч приносит откровение, каждое человеческое сердце открывает свои тайны, — люди любовного, бескорыстного созерцания.

Мир полон дремлющей любви. Счастлив тот, в ком она проснется и кто сумеет не упустить ее, не опозлать, а сохранить живой. Тот несет в себе источник внутреннего блаженства и око духовного откровения; счастье, чтобы осчастливить людей; свет, чтобы светить другим; вечный поток и вечную песню...

А если эта любовь к другому человеку и не находит ответа, тогда ей еще надо очиститься, до полного самоотречения. Да, болью; по-другому не получается; но из этой боли счастье любви светится еще ярче. Якоб Беме писал, что как раз великое рождается в муках³⁴.

60. ГРОЗА

Это чудесное буйство небесных сил! Это светящееся и грохочущее утешение! Оно приносит нам так много; и так мало мы от него берем. Почему?

Горд просвещенный человек. Он «знает все»; он все понимает; и стихии природы «покорились» ему. Он гордится своим «разумом», «властью», «техникой», своими «завоеваниями». Ему уже кажется, что он «господин вселенной», будто он действительно проник в тайны природы, будто совокупность внешних, материальных вещей — и есть совокупность мира. Человек отломил лишь чуть-

чуть от законов природы; и знает чуть-чуть о законах своего «я». В целом он — гордо выступающее дитя, которое по наивности и из самомнения все больше отучается от драгоценной добродетели смирения и обращается с самыми роковыми вещами все самонадеяннее; дитя — у которого нет добродетелей ребенка, но которому свойственны пороки взрослого.

Для простодушного смирения таких людей, как Бетховен, Новалис³⁵, Эйхендорф — любое явление природы было живым символом, прекрасной аллегорией высоких вещей, как бы тайнописью Господа, которую надо с восторгом читать и разгадывать в своей душе. Солнце и луна, цветок и гора, море и облако, снег и радуга — не «напрасно» находятся здесь; они скрывают в себе мудрость, они говорят, поучают, провозглашают. Дух может услышать от них немало замечательного; он делает это еще и сегодня. Каждый поэт, художник что-то знает об этом; как и каждый человек, у которого еще живо и восприимчиво око сердца.

Что нам вешает гроза?

«Не забывай, человек, что ты земное создание, что над тобою, по небу, бегут легкие облака, которые уготовили тебе тяжелую долю. Знай, что ты мало знаешь и что вся твоя сила немногим больше бессилия. Не забывай, что тебя ожидает смерть и что ты можешь быть отозван в любой миг, как удар молнии. Одумайся: там, наверху, есть высшая сила, могучая, как гром, и чистая, как пламя.

Душна и мрачна твоя жизнь. Но она может сделаться еще мрачнее, тогда суетная тревога придет к тебе и страх овладеет тобой. Где сыщешь ты тогда прибежище, человек? Где место твоего отдохновения? Тогда ты смотришь вверх, туда, где исчезло солнце, где зловещий гнев связал черные горы и где чудовищные силы кричат тебе и друг другу грозным голосом. Тогда довольно; тогда чаша переполнена и ты должен осушить ее до дна. Дрожи, тварь! Ты идешь навстречу грозе...

Ослепляющей молнией приходит сверху просветление и облегчение. Со стремительной и разящей очевидностью открывается тебе тьма твоей души. Над твоей головой оглушительно рокочет, катится и гремит. Посмотри в пламя! Вслушайся в голоса! Так — благодаря молнии

совести и грому раскаяния — для тебя обновляется жизнь...

Ты ведь не думаешь, что небо молчит, видя происходящее на земле. Однажды оно заговорит и пошлет утешение верным и сознание тем, кто блуждает и чинит злодеяния. Гроза учит их смирению. И всех — чудесной надежде, что на небесах все прекрасно и могущественно»...

Так с помощью грозы обращаются к высокомерию твари земной.

61. СНЕГ

Только бы он остался лежать, радостный и чистый, как небесный подарок, чтобы радовать и облагораживать наши сердца. Только бы не исчез он так быстро, как прелестный сон, который делает нас счастливыми в течение ночи, чтобы почти бесследно рассеяться к утру... О, как же преходяще, как краткосрочно все прекрасное на земле! Оно является подобно чуду и ускользает как счастье...

Порхающим воздушным хороводом он приходит к нам, кружась, падая вниз из облаков. Почти жуток этот неустойчивый танец на всех высотах, этот танцующий хаос на всех расстояниях.

Белые творенья! Откуда вас столько? Куда вы так отважно? Парите ли вы в опьянении свободой? Напились ли с радости? Что манит вас вниз? Что будете делать на земле, если научились там, наверху, этой дикой радости беспорядка? Легкое племя, радостная невинность, дети неба, жертвы ветра — кто упорядочит вас? Хотите увлечь меня с собой в своем вихре? Считаете, что человек может вынести такое?!...

Но танец кончается. Они лежат тут, как нечто единое целое, великолепно собранные в своем блистательном убранстве. А вокруг — святая тишина, которая приказывает моему сердцу повиноваться; с напряжением прислушиваюсь я к ее возвещению.

Всю свою жизнь ты стремился к преобразению; ибо существование представлялось тебе в серых тонах. Ты сомневался и отчаивался; и вот смотри — все достигнуто, все исполнено. То, что еще вчера тускло лежало здесь, погруженное в безнадежную тьму, — сверкает, блестит и ликует,

преображенное милостью, погруженное в радость. Каждая травинка — украшена для себя, каждая веточка — любима и ухожена в отдельности. Голое поле — как нива блаженных; печальный лес — как тончайшее воздушное плетение из белых и черных нитей; пустой сад — переполненный дарами, неистощимый в новой красоте. Смотри: то, что так освящено, — опять ново и чисто, молодо и целомудренно; то, что так укутано, — забыто и прощено; то, что так светит, — примирено; то, что так преобразено, — посещено в радости, воскресло к новой жизни; то, что так упорядочено, — говорит о вечной гармонии...

И благословенная тишина становится внутренним спокойствием. Сомнение исчезает. Светится око. Ощущающая собственную невысказанность душа поет хвалу и благодарность — сходящему с небес благословиению...

Снег идет! Снег идет! Только бы он так и остался лежать, как радостное ручательство за прекрасные предсказания!

62. ЦВЕТОК

Приди, моя любовь! Но осторожно! И не говори громко. Сегодня, рано, при первом дыхании утра расцвела (ты знаешь?) наша желтая роза. Еще вчера, когда уходило солнце, она, будучи робким бутонем, позволяла укачивать себя убаюкивающему вечернему ветру. А сейчас она уже цветет чистою красотой. Знаешь ли ты, что ей надо от нас? Чтобы мы почтительно восхищались ею, чтобы в ее присутствии становились такими же простыми и скромными, такими же доверчивыми и счастливыми, как она. Приходи, мы насладимся ее видом, а затем я доверительно расскажу тебе о том, что говорит цветок человеку...

Если мир для тебя стал слишком пустым и слишком суровым, вспомни о цветке, как он рождается и как он живет; и тогда тебе не надо будет искать более благородного утешения. Как одиноко в себе несет он, растение, свою хрупкую тайну и медленно зреет для своей самоотверженной доли, беспомощно подверженный непостоянной или даже суровой погоде, доверяясь тайком лишь самому себе и Богу. Он спокоен и молчалив; покорившись судьбе и все же одолевая ее изнутри; подготавливая драгоценный дар и сам заранее готовый к неблагодарности мира.

Затем появляется бутон, как живое обещание красоты, как увлекательное будущее еще невидимого цветка. Он снисходителен к себе, будто знает, что все верное приходит само и в нужное время, что нельзя ускорять тайный ход жизни; как будто ему хочется научить нас, ворчливых, нетерпеливых людей, этой нежной и спокойной мудрости.

И вот цветок цветет! Мы находим его после прохладной ночи напившимся росы и погруженным в мечты. С чисто-сердечием младенца смотрит на нас он, совсем открытый и все же — весь в себе, такой щедрый и непосредственный, прелестнейшее и чистейшее создание в мире. Ничего от тщеславия, ничего от пышности. Он лишь то, чем он является; а то, чем он является, это действительно и целиком он. Он счастлив, ибо ему не надо чего-то хотеть: ведь он достиг высшей точки своего существования, он переживает теперь собственный апофеоз.

Поэтому его любит все, что тут живет и что способно к восприятию. Ему улыбаются феи, когда он был еще бутоном; и эльфы заранее радовались красивой чашечке. Он греется на солнце; и солнце радуется своему собственному земному зеркалу. Ему поют птицы, громкие — безмолвному, как будто они поют о нем или от его имени. И даже Изегрим³⁶ крадется мимо него со склоненной головой и смущенно удирает...

Затем приходят люди и восхищаются тихим чудом будней. Они смотрят в открытую душу растения и вдыхают его блаженное благоухание, которое они называют «ароматом». Они прислушиваются к тихой молитве природы — этому красноречивому молчанию, этой радости и наслаждению, этому посланному в мир безмолвному дифирамбу — и их сердце начинает исцеляться. Каждому жертвует цветок свой дар; и то, что он дарит, имеет свой особый вид. Это как зов, обращенный к еще не влюбленному; как утешение несчастливо любящему; как гимн для счастливого; как напоминание жестокосердому; как предостережение заносчивому; как упрек пустому рационалисту. А мечтатель, чья душа создана из такой же нежной материи, что и погруженный в мечты цветок, видит и слышит все, что предназначено другим, и черпает из этой прелестной мечты мира наслаждение, смешанное с печалью...

Да, с печалью. Ибо прекрасное мгновение кратко, ах, как кратко! А кружащий ветер уже ждет опадающих листьев цветка...

Приди, моя любовь! Мы еще посмотрим и насладимся. Ведь наша роза будет еще цвести, и благоухать, и безмолвствовать для нас.

63. КОРОВА

Играли в фанты. Две красивые дамы бросили жребий. Одна вынула из старого цилиндра мой брелок — маленькую золотую головку коровы. «Произнести хвалебную речь», — потребовала она. «Корове!» — вскричала вторая. — «Две минуты на подготовку, соберитесь!..» И вот я прижат к стене! Что тут можно сказать?! Но внезапно на душе у меня стало серьезно; почти благоговейно, немного печально... Затем оно пришло.

«Когда я думаю о той, которую мы все так легко забываем, то вижу ее вызывающий настоящее почтение образ, так, как я видел ее однажды высоко в горах. Огромная, как первобытный бык, и спокойная, как сами горы, она стояла там, на холме, среди покрытого цветами альпийского луга, — единственное живое существо во всей округе. Не было ни дуновения; не раздавалось ни единого звука; лишь полуденное солнце сжигало все вокруг. Божественное величие повсюду, светящаяся глушь и одиночество, отрешенная забывчивость, когда исчезает время и начинается свою безмолвную речь вечность... Большими мечтательными глазами она смотрела вдаль, преданно и немного печально, покорная судьбе и все же со скрытым вопрошающим упреком. Она смотрела на эти величавые пространства; и величавое наслаждение струилось из ее глаз. Это было почти счастье; но едва нарушенное. Была ли это мягкая грусть? Была ли это торжественная серьезность? Будто она была старой, древней, как эти горные зубцы; будто она знала так много, возможно, самое существенное в жизни; будто несла ношу и делала это с охотой; будто тайно страдала, возможно, за других, возможно, как жертва, и делала это с достоинством... И все же это был поток несказанного блаженства, невинного сладострастия, доброжелательной интимности, который светился навстречу мне. Странно, чудесно, молитвенно стало у меня на душе. Теперь я знал... этот глаз был материнским и святым.

Мечтала ли она? Возможно, размышляла? Откуда мне знать... Но с тех пор меня не покидает чувство, что я мог

бы понять индуса, который воспринимает дух коровы и поклоняется ему.

Каждая мать носит дитя и страдает. Каждая мать кормит грудью своего малыша. Это существо — кормит своим молоком и чужих, всех нас с молчаливой добротой, с преданным, спокойным терпением. Вся его жизнь — самоотречение, вечное ношение, вечное жертвование, вечное кормление своим молоком. Щедрость как профессия. Жертвенность как образ жизни. И так же — в смерти.

Проходят тысячелетия. Приходят в мир и уходят поколения. Поднимаются и рушатся большие империи. Она остается, она не уходит, эта мечтательная кормилица мира, чьим молоком вскармливаются целые народы; немая носительница мировой истории; материнское древнее лоно человеческой культуры. Так верна природе — и поэтому могуча и счастлива. Так верна человеку — и потому эксплуатируема им и оставляема в небрежении и забвении.

Самодовольно и безразлично принимаем мы ее дары и сердимся, если их не хватает; отделенные от нее законами рынка; так мелочно и ворчливо потребляя обезличенное, абстрактно-общее молоко большого города; без живого, сердечного отношения к матери-земле, к матери-корове».

Смущенно выслушали мой неожиданный дифирамб. Мы, робкие молчальники, порою бываем бестактными... Но затем все пошло по-прежнему, и мы занимались пустяками до поздней ночи.

64. РАДУГА

Медленно проходит сильная гроза. Только что дождь льет, как из ведра; еще кружится вихрем хаос облаков; еще сердито раскатывается гром; еще, дрожа, вспыхивают молнии; все потрясено и оглушено. И вдруг появляется она: воздушна, смела и ликующая. И всё взирает вверх, на нее: «Смотрите же, смотрите!»

Насколько серьезен был этот час небесного мятежа, насколько торжественно, предупреждающе и сердито разговаривала с нами высшая сила — и вдруг, как мягкая улыбка высшего судии, как прощение и прощание после трагического часа, как веселая игра на полной серьезности, над нами ликует воздушно и смело божественная радуга. Радостно наслаждается человек этой возвышенной

игрой, в наивной надежде, что она имеет отношение к нему, ко всем нам; нас считали зрителями, нам хотели что-то поведать, что-то дать, нам нужно было что-то заметить, как бы прочесть что-то в небе и взять с собою в жизнь. Поэтому речь идет теперь о том, чтобы — быстро собраться, забыть все и жить небесным символом; ибо прекрасные мгновения сосчитаны и знак скоро пропадет...

Она исчезает и бледнеет в своем охватывающем мир полете беззвучно, совсем иначе, чем шумный ветер, чем хлещущий дождь, чем сопровождаемая грохотом молния... Ни одним звуком не сообщает о себе спокойное величие; ни один шорох не извещает о ее появлении. Настоящему победителю не нужны фанфары; настоящий герой появляется без герольда.

Из хаоса туч, из напряженного буйства дождя, из всей неразберихи природы — надо всем, что вздыбило дикие стихии, — поднялась, дружески и приветливо светясь, законченная, чистая форма, самая чистая из всех — форма круга. Правда, видна лишь ее половина, возможно, даже меньше половины. Но наше внутреннее созерцание уже ликует, дополняя ее; ему довольно лишь отрезка совершенной формы круга, и оно уже наслаждается целым, совершенным кругом, ибо закон круга проявляется в каждом из его отрезков. Но все же эта форма круга создана не нами; ни один человек не рисовал ее, ни один даже не представлял себе. Скорее она пришла к нам извне, объективно и реально; она смотрит на нас, вниз, с небес, в своей светящейся и легкой радости. Радугой называется этот радостный круг мгновения, который вдруг удовлетворяет и ободряет наше подсознательное стремление к совершенной форме в великом масштабе неба и мира, и подтверждает наши беспомощные рисунки и представления: показывает победу формы над бесформенностью, закона над стихиями, порядка над анархией... Это — радуга, кротко принесенная дуновением гостя облаков, которая словно безмолвно шепчет нам: «Не страшитесь, люди! Дыхание совершенства сильнее всех страхов на свете! Только мечтайте, спокойно мечтайте о власти возвышенной красоты... Это не пустые мечты... Вашими мечтами грезит и мир... Правдивы и пророчески эти образы... Ведь есть таинственная гармония между вами и вселенной... И святая власть является порукой триумфа прекрасного закона»...

Так с неба сходит к нам прекрасное утешение. Утешение и ободрение. Успокоение и просветление. Тихое открывание мировой гармонии. Обещание будущей победы высшей силы над силами угрожающей и бунтующей бездны. Теперь пускай нас попытаются убедить, что это — лишь случайная игра красок, лишь странное мгновение искусства в природе, лишь преходящее отражение солнца в тучах. Наше сердце знает об этом больше; наше чувство не обманывается в глубоком значении символов...

Она еще тут, светящаяся гостья. Ее свет еще дышит, еще живут ее легкие, сверкающие краски... Как огромно это богатство! Как четки всеобъемлющие ступени! Как строга и красива связь! Итак, эта яркость красок живет в небесах? Или она ниспослана скорее от солнца, к нам, как дар, как зов, как творческий источник? Кто из нас может посмотреть в ослепляющее око солнца? Скорее всего никто. Но вот оно показывается нам, открытое в своей сущности, смягченное в своей резкости, верное и неизменное в своей форме; чтобы мы посмотрели на него, чтобы мы порадовались, чтобы мы его полюбили. Оно открывается нам в радуге, чтобы наше око могло вынести его...

Радуга, ты тень солнца! Ты отблеск вечности! Ты символ Бога в юдоли земного существования! Какая радость, что мы увидели тебя сегодня! Как счастливо то место на земле, где соблаговолит отдохнуть твой лучистый конец!..

65. ОСЕНЬ

«Она опять здесь, суровое, безутешное время года! Она всегда приходит слишком рано, чтобы укоротить наслаждение мимолетным летом. Она приходит, чтобы отнять; и то, что она однажды отнимает, она, как смерть, никогда не отдает обратно. Прелестные цветы! Кому они мешают! Щебечущие, звонко расппевающие пташки! У кого на них не распахнулось сердце? А теперь — все по-иному: короткие дни, суровые ночи, пустые поля, густые туманы; и повсюду лужи, лужи. Мрачная бесперспективность!»

По-детски ропщет человек на всех перекрестках жиз-

ни, сокрушаясь о промчавшемся мимо, призывая прийти неопределенное «прекрасное», близоруко и бессердечно спеша мимо великолепия настоящего. Почему? Стоит лишь открыть глаза!..

Великолепна осень, и каждый день она приносит нам нечто великолепное.

Посмотрите, какой пышный лес в своем день ото дня меняющемся богатстве красок! Ничего подобного никогда не могло показать лето — этого золота, этого багрянца, этого красно-коричневого цвета, этой покрытой бронзой зелени, этой радостной светлой желтизны, этого несказанного переплетения и неразберихи светящихся тонов на синем фоне и в нежной игре солнечных лучей. Так что нельзя наглядеться на это несмолкающее богатство! Как будто оно хотело сказать нам: «Наслаждайтесь, люди, и учитесь; проходит все, что было; но благородное умеет проходить в благородной красоте, придавать своему увяданию вид пышного расцвета, в своем исчезновении пропеть еще и дифирамб Всевышнему». Так происходит в природе. А мы, считающие себя умными, умеем лишь тосковать и роптать?

Да, пустыми стоят поля и сады. Но лишь потому, что они отдали свои спелые плоды. Это не пустота пустыни или даже смерти, но пустота отдохновения, благодарного покоя, тихого расслабления, жертвенного, самоотверженного приношения плодов. Все погружается в себя, чтобы возродиться изнутри; все погружается в себя, чтобы подготовить новые дары — со скромным достоинством, с тихой уверенностью, больше доверяя собственной, внутренней силе, чем внешней пустоте и мнимому бессилию. Как будто все хочет сказать нам: «Наслаждайтесь же, люди, этим несомненным доверием, этим гордым послушанием! Прислушайтесь к этому тайному, внутреннему плетению, к этой самоотверженной скромности служения. И учитесь чему-то лучшему, чем ссотования и ропот!»

Да, световой день становится все короче; все позже появляются на небе скупые следы редкого солнца; все раньше окутывают нас сумерки. Но если однажды прорвется солнце — какими нежными становятся свет и тени, каким одновременно прохладным и теплым дуновение воздуха, каким серебром блестит парящая в воздухе паутина, как душисто играет ковер из листьев на земле!

«Восхищайтесь этим видом, люди, иначе он ускользнет от вас. Радуйтесь исчезающей красоте. Учитесь воспринимать мгновение, которое открывает нам тайны вселенной!»

И если день для вас короток, если вы жаждете солнца, которое больше не светит и не горит, поступайте, как деревья и цветы: доверьтесь окутывающим вас сумеркам, сосредоточьтесь, погрузитесь в свои мысли, где из глубины вашей собственной души прорывается, светит и царит иной, духовный свет; погрузитесь в свои мысли, чтобы возродиться изнутри и подготовить новые дары; не придерживайтесь отживших образов существования; спокойно ждите новых голосов и нового понимания — со скромным достоинством, в тихой уверенности, больше доверяя таинственной силе духа, чем мнимой пустоте и бессилию!..

Сегодня я бродил по своему осеннему саду. Терпким и острым было дуновение воздуха. Душисто шуршал ковер из листьев под осенним солнцем. И тишина шептала мне о вечности.

IX. ДОРОГА К СВЕТУ

66. ОЧКИ

Вы не носите очки? Жаль! В противном случае я сказал бы вам кое-что об очках. Я ведь благодаря им кое-чему научился в жизни, что, возможно, было бы не без пользы и для других.

Ребенком я не носил очки. Тогда для меня существовали лишь «чужие очки», в которые я с такой охотой и с таким любопытством смотрел. Но это всегда было разочарованием: все сразу же становилось странно-расплывчатым, так жутко сдвинутым, неверным, обманчивым; или наоборот, все вещи становились забавно маленькими, будто они были отодвинуты вдаль, где они, как игрушки, педантично делали все по-своему. И я втайне думал: «Та-а-а-ким он видит мир! Нет, мой мир лучше». — «Оставь, ты испортишь себе глаза!» — нередко раздавался строгий голос. Но я сам был счастлив вернуться

к собственному «мировоззрению» и уже знал: чужие очки помогают нам мало.

Годы проходили без очков: к чужим я больше обращаться не хотел (они были неподходящими), а свои мне пока были не нужны. У меня была юношеская уверенность, что я «вижу все правильно, как оно есть в действительности»... Кто мог желать большего? И так я жил в наивном самодовольстве ничего не подозревающего создания.

Затем разразилась, большая война и вложила мне в руки цейсовский полевой бинокль. Внезапно мой горизонт сильно расширился. Было потрясающе — иметь возможность видеть так далеко, так ясно и так четко. И каждый раз, когда я откладывал полевой бинокль в сторону, я ощущал, что мое зрение просто сузилось, а я сразу же попадаю к тем самым «карликам», которые своим слабым взглядом видят близоруко, а многое и вовсе не воспринимают. С тех пор я принял два решения: не переоценивать свое нормальное зрение и всячески лелеять его.

В тяжелое и путаное послевоенное время у меня уже не было иллюзий. Я знал, что я плохо вижу, не могу обойтись без очков. И когда знаменитый глазной врач подобрал мне нужные очки и я впервые надел их, я удивился, как легкомысленно шагал я прежде по жизни со своим «зрительным» чванством. С тех пор я забочусь не только о своих глазах, но и об очках, особенно берегу их от грязи и пыли, которые Бог знает откуда оседают на них. Кое в чем я все же обязан опыту ношения очков...

Прежде всего, я совершенно не доверяю чужим очкам: я хочу все видеть сам, ясно и отчетливо, то есть через собственные очки. Итак, они научили меня склонности к самостоятельности, следовательно, и к формированию характера. Правда, говорят, что «самостоятельные» «невыносимы и задиристы». Однако не надо становиться «всезнайкой» по профессии или впадать в буйную неуступчивость; все важное должно лишь погрузиться в глубину собственной «самости», ибо в этой глубине формируется истинное и творческое убеждение.

Затем очки стали для меня постоянным предостережением от самодовольства и высокомерия. Мы все должны привыкнуть к мысли, что мало и плохо видим; что наш

обычный глаз не охватывает много чего важного, а возможно, и самого важного, что у нас есть веская причина всегда думать о пределах собственных умственных способностей. Нет ничего более легкого, чем переступить эти границы; ничто так не существенно, как постепенное расширение этих пределов. Наше духовное видение ограничено; оно всегда может привести нас к иллюзиям и разочарованиям. И как вообще прийти к верным «духовным очкам», которые могли бы помочь и спасти?..

Не близоруко ли человечество вообще? Не бредет ли оно на ощупь! Не принимает ли оно свое собственное движение вслепую за светлый прогресс духовного видения? Не предалось ли оно жалкому бахвальству хорошим зрением? Свои очки мы время от времени чистим, снимая с них грязь и налет. Но кто из нас думает о том, чтобы проверить и облагородить наши «духовные очки», расширить и углубить наш духовный взгляд? Кто знает пути и методы этого облагораживания? Как нам прийти к последней истине в духовном видении, которую философы называют «очевидностью», что означает: уже не временно-субъективное «воззрение», а законченное истинное «понимание»?

Как много людей носят очки, но чужие очки, которые они случайно нашли на улице и через которые они видят все искаженным и сдвинутым! Но даже эти очки они не умеют верно носить и отчистить... И тогда они становятся для них роком.

67. СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ

Что бы мы пережили и что бы сказали, если бы у нас отняли солнечный луч? Вот так — внезапно, совсем, на неопределенное время, возможно, навсегда. Наступила бы тьма — беспросветная тьма, плотная, как сажа, без утренней зари, без дневного света, без вечернего сияния. Черные тучи над головой и гнетущая темнота на земле. Итак — вниз головой в зияющую пропасть великого мирового круговорота? Страшно. А надолго — невыносимо.

И все же люди это выносят! Какое множество... И вовсе не замечают этого.

Как много живет на свете людей, которые из чисто просвещенного благоразумия укрылись за «отсутствием предрассудков», и «вон предрассудки» и окопались там,

только чтобы не совершить никакой «ошибки», чтобы только не верить во что-то «необоснованное», «недоказанное». Из боязни обманчивой «видимости», фальшивого или мнимого «блуждающего огня» эти мудрые рационалисты построили себе бетонный свод над головой и создали себе таким образом гнетущую тьму. Эта борьба в какой-то момент касалась всех любителей тьмы; а кто захочет защищать мракобесов? Чтобы только, ради Бога, из боязни тьмы не стать слепым; ибо в этом случае будет безнадежная, беспросветная тьма! Чтобы не выплеснуть с водой и ребенка! Чтобы не отрезать вместе с волосами и голову! Старая добрая логика гласит: «Слишком много доказывать означает все потерять». Один умный человек, который читал о бактериях, отказался от всего и забаррикадировался в камере без воздуха и света. Что же произошло? Он сам стал очагом бактерий.

Кто хочет жить, должен нести все тяготы жизни. Кто несет бремя, нуждается в утешении; тому нельзя ни в коем случае придавать своей жизни вид организованной безутешности. Что? Иллюзии? Нет, ничего подобного! Иллюзии не утешение. Мнимое утешение ведет к отчаянию. Обман — отец разочарования. Человек, возможно, уже настолько зрел, чтобы воспринимать божественный солнечный луч без обмана и самообмана.

Ему надо лишь свободно и смело открыть свое око; и солнечный луч уже здесь, со всеми своими прекрасными дарами. Да, свободно! Ибо человек не тогда свободен, когда он закрывает глаза из боязни иллюзии, а тогда, когда он открывает их из глубины сердца. И смело! Ибо человек смел не тогда, когда он, подобно страусу, прячет голову в песок, а тогда, когда, светясь, предлагает орган восприятия солнечного луча — око — миру и Господу. Око здесь существует для солнечного луча. В верно открытом око есть свое собственное солнце; и поэтому оно предрасположено к тому, чтобы верно увидеть большое и прекрасное солнце мира.

Но солнце мира не хочет, чтобы на него глядели, пялили глаза или просто глазели. Нет — его надо созерцать. Гегель сказал однажды: «Кто разумно видит мир и историю, того и они видят разумно». А кто созерцает мир с просветленной любовью, на того он посылает любовь и свет. А любовь и свет — есть солнечный луч.

68. ГЛАВНОЕ

Жил однажды чужак — он потерял «главное». Он был очень богат и имел все из вещей, что человек может себе только пожелать; и тем не менее у него не было чего-то, чего он даже и назвать не мог. Он так много мог, он почти все смел; но он не знал такого, к чему можно стремиться, и жизнь казалась ему бессмысленной и мертвой. Ничто не радовало его, и постепенно его богатство становилось для него непосильным бременем. Тогда он пошел к старой бабушке, которая пестовала свою древнюю мудрость в пещере дремлющей огненной горы, и рассказал ей о своей беде. «Отправляйся в большой мир, — сказала ему старуха, — ищи пропавшее; твое несчастье велико — тебе не хватает «главного»; и пока ты его не найдешь, жизнь для тебя будет бедой и пыткой». И несчастный отправился на поиски.

Эта сказка всегда приходит мне на ум, когда я думаю о современном мире и его духовном кризисе. Как богато человечество благами низшего порядка. И будет делаться все богаче. Пространство будет побеждено, воздух будет завоеван, таинственные свойства материи будут открыты и ими овладеют; добьются невозможного, услышат неслыханное. Все новые и новые инструменты, средства и возможности будут предоставлены человеку в распоряжение. Но главное отсутствует.

«Как» земной жизни развивается безостановочно, успешно. Но «зачем» земной жизни незаметно затерялось. Да, незаметно: было лишь несколько столетий духовной рассеянности. Это так, как если бы человек, который страдает рассеянностью, играл в шахматы и выработал для себя дальновидный, сложный план, осуществление которого уже наполовину завершено; и вдруг — он забывает свой план. «Прекрасно! Но для чего я все предпринимал? Чего я, собственно, этим хотел?!»

У большинства современников этот вопрос и не доходит до сознания. Они ничего не знают о «зачем?» жизни, как не замечают и то, что они невежественны. У них нет никакого ответа, и они не замечают отсутствия этого ответа. Потерянное, возможно, было бы найдено, но для этого надо сначала заметить его отсутствие; ведь лишь тогда несчастье становится устранимым, лишь тогда поиски возможны.

Стоит вспомнить о естественнонаучных и технических изобретениях последнего столетия. Пар, электричество, динамит, культуры бактерий, газ, железобетон, самолет, радио; ближайшее, возможно, расщепление атома и кто знает что еще. Само по себе — довольно и сверхдостаточно, чтобы создать нечто великое. Выход на такие пути предполагает, однако, всеобъемлющее окрыленное, дальновидное, целенаправленное сознание, огромную духовно-воспитательную силу искусства. Жизнь без смысла становится опаснее, чем когда бы то ни было. Возможности строительства могут стать инструментами всеобщего разрушения. Ведь сами по себе они не «хороши» и не «плохи»; они лишь мощная, неопределенная «возможность», концентрированная потенция — подобно подписанному свидетельству о полномочиях, оставшемуся незаполненным; или рассмотренная с точки зрения опасности — дремлющая огненная гора, непредсказуемая и свое нравная во всем.

Современное человечество должно хотя бы верно, интуитивно чувствовать — «куда» оно идет, «зачем» ему даны эти возможности, «как» надо употребить, применить все это, чтобы творческий путь не превратился в путь руин. Ему следовало бы также знать, что лишь духовно укорененный, благородно-желающий, дисциплинированный человек в состоянии не злоупотреблять этой концентрированной потенцией. Позволяют ли ребенку играть с порохом? Не рок ли это, если ученик волшебника вызывает духов, от которых он не знает, как избавиться? Что получится, если кучка лишенных духовных корней и нравственно разнузданных «завоевателей мира» начнет возиться с инструментами современной химии, техники и науки о бактериях?

Несчастье современного человека велико: ему не хватает главного — смысла жизни. Он должен отправиться на поиски. И пока он не найдет главного, беды и опасности будут подстерегать его все чаще и чаще... Пока он не вернется к откровению Христа и не станет вновь его исповедовать.

69. БЕЗ СВЯТЫНИ

Всем все более становится ясным, что нам чего-то не хватает, чего-то очень важного, чего-то существенного. Мы недосчитываемся его и не знаем, что это такое. Было ли так всегда? С каких пор это так? Довольно трудно сказать. Сначала мы почувствовали это во время войны, лежа в окопах, где бодрствовали ночами, и звезды стояли на небе. А затем — в неурядицах послевоенного времени, где все казалось таким бессмысленным, безнадежным, невыносимым.

Но ни одна жизнь не бессмысленна; и тот, кому неотступно смотрела в глаза смерть, вообще не может выносить более бессмысленной жизни. Ибо смерть обладает силой вопрошать о смысле жизни так, что приходится давать честный ответ. Лишь простая честность, лишь полная откровенность могут ее удовлетворить; но то, чего мало ей, также не сможет дать и нам ни удовлетворения, ни покоя. Нам нужен этот покой — не как подушка лентяю для сна жизни, но скорее как духовная уверенность, как источник душевного равновесия, как возможность созидательной сосредоточенности...

Современному человеку становится все яснее, что он живет без святыни и что жизнь без нее будет невозможно вынести. Он все больше понимает, что его жизнь осквернена и жаждет святыни. В этом он прав. Не в том смысле, что объективное существование мира как-то «потеряло свое значение» и сейчас лежит перед ним оскверненное и мелкое. Здесь скорее всего все по-прежнему. Как и прежде, перед его очами раскрывается молчаливая тайна небосвода, как и прежде, благоухают самые причудливые цветы, ему поют прекраснейшие голоса мира; как и прежде, предлагает ему свои неисчислимы дары мировая история, борется за свое тысячелетнее сокровище отчизна, борется и молится, и побеждает трудящийся люд. Осквернен не мир как таковой; он остается тем же, чем был всегда — великим иероглифом Господа, воспаленным и оживленным божественными лучами света, богатый огромным внутренним значением, призванный стать выдающимся произведением искусства...

Осквернение относится к самому человеку, к внутреннему устройству его души, его восприятия, его сердца и,

соответственно — к возникшему в нем образу мира. Его духовная жизнь как бы опустошена и обессилена; ему не хватает силы разъединенной сомнением веры, власти безоговорочной отдачи, силы окончательной очевидности. Духовно-духовные органы, которые призваны найти святыню и восславить ее, как бы поражены параличом. Он смотрит в мир и не видит в нем ничего Божественного и Святого; так и в истории, в своих ближних и в себе самом. То, что он видит, это как бы мир без солнца. Так он носит в себе мировоззрение без солнечного света: холодную тьму, ужасную бездну, где мертвая машина продолжает стучаться в вечность...

Современный «просвещенный» человек ведет таким образом скверную жизнь. В нем погасло святое пламя сердца. Ему недостает духовной энергии убеждения, порыва духовной страсти, без которых в мировой истории не свершалось ничего великого. Он слишком «умен», чтобы быть цельным. Он слишком «образован», чтобы неизменно во что-то верить. Он слишком «скептически», чтобы стать сильным. Он слишком слаб, чтобы следовать Богу.

Тогда как действительно непобедимая и неиссякаемая сила вливается в человека из Святыни.

70. ЧТО Я ДУМАЮ...

Что я «думаю» — довольно незначительно; ибо я «просто думаю». Кого касаются мои «мнения»? Никого. И это кажется мне правильным. Ведь это суть «мнения». Что можно построить на «мнениях»? Ничего. «Мнения» не многим более, чем песок или трясина. Стоит лишь подумать о том, что каждый из нас может произвольно менять свое «мнение», так просто, без причины, в два счета. Как часто? Так часто, как ему нравится. «Я считаю», «мне казалось», «по-моему», «я придерживался мнения»; и внезапно снова — совсем по-иному. «Мнение» — это легкий мотылек, он прилетел сюда из чужих краев, порхая, помашет крылышками и исчезает туда, откуда он прилетел. «Мнение» ни к чему не обязывает; оно также ни за что не ручается. Оно есть безответственное высказывание о вещах и вопросах, которые «еще» ускользают от нашей оценки или «уже» ускользнули от нее, выход за пределы собственного рассудка. Оно хорошо для время-

препровождения, светской болтовни, шутки, сплетен. И если его, как таковое, наивно принять всерьез, появятся ложные сведения, заблуждения, иллюзии, мучительные жизненные ошибки, неудачи, брань и междоусобицы. Особенно в тех случаях, когда люди не понимают, что их «мнения» есть «не что иное, как просто мнения».

В каждом серьезном случае «мнение» просто опасно и может стать роковым. «Я считал», что поезд отправляется на четверть часа позже, и вот пропустил серьезное дело. «Я считал», что справа не будет больше ни одной автомашины, и благодушно пошел через дорогу, и вот лежу дома с ушибами. «Я думал», подобное можно рассказывать, а теперь узнаю, что это называется клеветой и наказывается. Теперь я понимаю, что мой отец со своим вечным наставлением: «Ты должен разузнать, а не предполагать», был прав.

Эта истина не только для внешнего опыта, но и для внутреннего. Кто в мире науки принимает всерьез некомпетентное, беспредметное «мнение»? Для исследования нужен предмет, а не субъективное «мнение». А в области нравственности — действительно ли хорошо то, что называют «хорошим» легкомысленно «думающие» люди? Где тот муж, чей субъективно-мыслящий произвол дал бы переоценку благородному деянию и квалифицировал его как преступление против нравственности? Что даст искусствовед, который застревает в своих субъективных «ощущениях», «впечатлениях» и «настроениях», не касаясь существа дела? Что делать с «мнениями» в религии, где также речь идет о том, чтобы признать нечто «объективно существующим»? И если в политике каждый довольствуется своим «мнением» и проходит мимо великого дела, которое касается всех и каждого, а именно — дела общечеловеческих ценностей, что получится в результате, если не гибель? Ни одна хорошая книга, ни одна серьезная газетная статья не помещают «просто мнений», не делают этого даже тогда, когда они из такта или любезности преподносятся как «безобидное мнение». Тем самым общая культура человечества хочет, чтобы мнение не оставалось «просто мнением», чтобы оно, соответственно опыту, было углублено, наглядно представлено, облагожено.

Во всех областях жизни «просто мнению» противоре-

ит предметное, объективное положение вещей, которому мы должны следовать в своих мнениях. Конечно, человек не может жить без мнений; он должен предполагать, это ясно. Но «мнение» это лишь начало, лишь «приблизительное», лишь субъективное впечатление; не более чем «моя внезапная мысль», которая пока что удовлетворяет мою личную потребность в оценках жизненных содержаний, и не обязательно может быть «ошибочной». Если же мысль хочет быть не просто формальной, но и уважаемой, она должна подходить к себе самой серьезно и ответственно; должна быть выношенной, проверенной, «обоснованной»; должна сама обратиться к предмету, уцепиться за него, ему служить, выразить его содержание и лучи света в нем. Поскольку мнение определенно имеет в виду предмет, его ценность, его достоинство, оно становится «взглядом», «взгляд» углубляется до «понимания», и в конце нам светит «очевидность». Тогда истина осознана и о «мнении» речь больше не идет. А если и теперь говорят о мнении, то только исходя из деловой скромности и благожелательной терпимости.

Таким образом, то, что привязывает людей к «просто мнению», не скромность, а скорее наивность или безответственность. Истинная скромность, напротив, учит человека считать себя и свое «просто мнение» неважным, а скорее — искать предмет, говорить языком сути его, а затем благосклонно и спокойно означить приоткрытую истину о нем мнением. В связи с этим Иоганн Готтлиб Фихте однажды разразился бранью в адрес людей, застревающих в своих «мнениях»: вот это и есть «заносчивость, не имеющая себе подобных»...

Следовательно, довольно незначительно также и то, что «думаю» я.

71. УБЕЖДЕНИЕ

«...И без убеждения достойной жизни нет!»...

В этот миг я вошел в купе и поздоровался. Господин постарше вскипел, не отвечая на мое приветствие.

— Ах, это так старомодно! Кого теперь занимают подобные вещи? Ведь все так или иначе относительно, обусловлено, зависит от обстоятельств! В реальной жизни речь идет в лучшем случае о «подходящих мнениях» или

«кажущихся истинными диагнозах». Кто живет теперь, в нашу просвещенную эпоху, с «убеждениями» или «по убеждениям»? Станет ли утверждать подобное образованный врач?!

Господин помоложе сохранял драгоценное спокойствие. Лишь его глаза, казалось, тайком посмеивались.

«Вы меня удивляете, господин тайный советник! Я смущен. Как я могу ответить на Ваш гнев, если знаю, что приговорен с самого начала? Тем более, что в Ваших вопросах звучит твердое убеждение, что убеждений нет и быть не может. Мое положение несколько затруднительно: Ваше убеждение чувствует во мне убеждение противоположное, да еще говорится, его и быть не может. А если быть не может, как я смею защищать свое? Поэтому я вынужден просить Вас, терпимого релятивиста, о снисхождении и терпимости. Но я уже вижу Вашу добрую улыбку»...

«Хорошо, дорогой коллега, я снова кроток. Но «убеждение», как таковое, остается для меня все же психологической загадкой. Я надеюсь, Вы не станете отрицать, что все на свете относительно? Откуда же тогда эта уверенность у так называемых «убежденных» людей?»

Господин помоложе внезапно посерьезнел. Внутренний накал чувствовался в его слегка приглушенном голосе.

«Мне остается защищать мое «на-том-стою». Насколько я понимаю, не все так относительно: существуют абсолютные конечные истины, которые переживаешь в так называемой «очевидности». Этим я, конечно, вовсе не хочу вас рассердить. Я бы хотел предположить, что все в действительности «относительно», и — попробовать отыскать дорогу к убеждению».

«Вот и попробуйте, пожалуйста», — ободряюще обронил господин постарше.

«Все относительно» означает то же, что и «ничто не достоверно»; то есть что все изменчиво, текуче, условно и сверхусловно, обманчиво. На этом ничего не построишь. Отсюда настоятельная потребность в твердой почве, поиски фундамента, воля к «не-относительному». Глубокая и искренняя потребность — ручательство того, что сам принимаешь в этом участие сердцем и умом, что не скользишь равнодушно по поверхности вещей. Исследо-

вательская работа со своей стороны требует сосредоточенности и неутомимости. Так воля создает своеобразный внутренний опыт. При этом не пытается из всего выделять «относительное» — его так легко найти, оно объявляется само, но возникает вопрос, есть ли что-нибудь в жизни, что, несмотря на свою условность, установлено безусловно и имеет силу. Такая постановка вопроса открывает перед человеком как бы новое измерение: глубины, погружения и укрепления. При этом остаешься совершенно трезвым, осторожным, проверяющим; ничего от меланхолии и мечтательности. Ощупью ищешь какую-нибудь скалу; затем взбираешься на нее; затем твердо встаешь на нее и даешь потоку относительности нестись мимо тебя. Разумеется, я описал все это лишь образно; но, возможно, в качестве психологического намека и этого довольно. Точно так же и у нас, в медицине, необходимо погружаться в предметные дебри, или — если хотите — на дно морское. Истинное убеждение получаешь, конечно, при помощи свидетельства людей и чужих описаний, но сначала через жизнь в предмете; ибо предмет всегда наилучший свидетель, наилучший путь к истинному убеждению; он есть сама скала. И наши древние предки были правы, строя свои замки и крепости на скалах. Подобным образом люди приходят к таким переживаниям, как совесть, достоинство, честь, право, Родина и приобретают твердые, как скала, убеждения»...

«Ну, — проворчал с некоторым недовольством господин постарше, — я и не знал, что Вы профессиональный философ. Кстати, нам выходить, если мы намереваемся успеть на сессию».

На этот раз оба попрощались со мною довольно любезно. И государственный советник, конечно, пошел впереди.

72. КТО Я ЕСТЬ

Я всегда стараюсь различать — кто я есть в действительности и каким меня видят другие. Других ведь — неопределенное количество, и каждый видит меня на свой лад. Как я с этим примирюсь — второй вопрос; но я навсегда останусь тем, кто я есть в действительности. Один меня переоценивает, от этого я не стану лучше; другой

недооценивает меня, от этого я не стану хуже или незначительней. Тот, у кого есть хотя бы небольшой жизненный опыт, знает, как доброе имя человека можно испоганить сплетнями, злословием или клеветой. Как подумаешь, чего только о нас не говорят! Чего только не поведает глупейшая сплетня, чего не сумеет выдумать злостная клевета. Невероятно. Часто бесстыдно. Если это слышит юноша, он возмущается и мечет искры; зрелый мужчина презрительно отметаает наветы; пожилой замкнется и бровью не поведет. Глупые или злые люди мелют вздор, что зачастую вовсе нелегко вынести; однако каждый должен однажды глубоко прочувствовать, что, несмотря ни на что, он остается тем, кем является в действительности.

Надежда всем понравиться наивна и бесперспективна, так же как и желание, чтобы тебя все видели в верном свете и оценивали справедливо. Это особенно относится к нашему полному страстей бурному времени. Чем сложнее, тоньше и глубже внутренняя сущность человека и чем эффектнее его внешность, тем менее верно его нередко воспринимают, тем несправедливее оценивают. Нам, обычным людям, конечно, легче: кто интересуется нами? Кто станет нам завидовать сверх меры? Ведь воробы — и те пролетают мимо нас равнодушно. А тем не менее мы имеем дело с «кривым зеркалом» общественного мнения, утверждаемся по отношению к нему и защищаемся от него.

Нам надо раз навсегда примириться с тем, что каждый из нас носит в себе «отображение» («имаго») и что это «отображение» не является «подобием». Мы не должны гоняться за своими отображениями в чужих душах, чтобы их подправить или украсить. Скорее целесообразно великодушно и благородно предоставить всем людям «право на заблуждение» в этом отношении и не взваливать на себя обязанность правдивой «ретуши». Стоит представить себе, какой бы это был сумасшедший дом, если бы все гнались за тем, чтобы залатать или украсить свой собственный «имаго» в соответствующей чужой душе, — недостойное занятие для людей с комплексом неполноценности.

Неверно ставить свое бытие в зависимость от чужих людей; доверять собственное достоинство чужой близору-

кости или враждебности; позволить исчезнуть центру личной жизни. Бытие стоит впереди видимости, а элемент обманчивости неотделим от существования видимости. Мое бытие должно быть верным, тогда пусть моя видимость будет неверной. Я не то, что говорят, а возможно, шепчут или кричат обо мне другие. Я нечто гораздо большее, чем перекрестье их непонятливых, злобных, низких фантазий.

Но все же кто я? Я то, что я искренне есть. Я то, о чем от всего сердца откровенно, не колеблясь, высказываюсь. Я то, на чем моя сущность сосредоточивается в любви и возносит молитву. Меня надо искать там, где во мне исчезают боязнь и страх. Меня можно найти там, где во мне созревают судьбоносные решения, где начинаются решительные и смелые поступки моей жизни. Я там, где действую; я то, что делаю. Тут я «действ-ительно»; и это также моя «действ-ительность». Я — мое «око». Я — мое «сердце». Я — мое «слово», которое образуется из «понимания» сердца. Я — мое «деяние», которое следует моему оку, сердцу, слову. И если все это есть я, тогда мне недостает лишь последней уверенности, что это действительно я. А если у меня эта уверенность есть, тогда я ношу в себе истинный источник своего личного достоинства, и меня не выведут из себя чужие пересуды и лепетанье.

И если обманчивая видимость сбивает с толку и правит миром, меня она не сможет ни соблазнить, ни захватить врасплох. «На том стою. И не могу иначе. Да поможет мне Бог. Аминь»³⁷. Мир можно исцелить лишь духовным достоинством и верностью, лишь мужеством быть тем, кто ты есть.

73. ОЧЕВИДНОСТЬ

Как часто живут столь непосредственно, что дают потоку обстоятельств, впечатлений и событий проплывать мимо! А надо столько всего создать, исполнить, уладить. Слушаешь чужие мнения, видишь убежденных людей — а сам погружен в тепленькое безразличие: не отдаешься ничему, «сдержан», «сохраняешь дистанцию» и считаешь это «умным для жизни» и «аристократичным». В действительности же остаешься проблематичным ничем, этакой «сдер-

жанной» пустотой, этакой «сохраняющей дистанцию», изображающей аристократа стерильностью.

Чего недостает таким людям? Должно быть, чего-то принципиального?

Им недостает силы очевидности, этой великолепной способности что-то окончательно понять и признать истинной; этой творческой способности быть настолько захваченным истиной, что вся душа растворяется в ней. Для этого нужно многое. Прежде всего — глубина восприятия, которая исключает любую плоскую поверхность — это скольжение мимо великого дела; отсюда: дар собраться, сконцентрироваться, чтобы не расколоться на куски, столкнувшись с многообразным шумным миром. Плюс пророческая, интуитивная одаренность, как бы незамутненное духовное око, которое без помех, верно воспринимает лучи света в мире. И наконец — своего рода целостность внутренней сущности, что не позволяет вести вечную «гражданскую войну» между мышлением и чувствованием, волей и страстью, фантазией и активностью. Это те четыре силы, которые могут преодолеть просвещенного критикана, во всем сомневающегося брюзгу, стерильного педанта в нашей душе и проложить дорогу к очевидности; это как бы четыре столпа, которые несут купол очевидности.

Очевидность — вовсе не простое, будничное «считать за истину», что возникает без особой причины, существует временно и от которого равнодушно отказываются. Очевидность — и не чисто субъективное «кажется», которое охотно называют «интуицией», чтобы сказать, что имеют дело со своеобразным «озарением», из-за которого надо как можно скорее устранить любое сомнение и любую критику: «Господь дает это своим во сне».

Очевидность — это свет; но не всякое мерцание свечи приносит нам очевидность. Существуют также галлюцинации и отражение в воздухе. Очевидность — это свет, который идет от самого предмета, охватывает и наполняет нас, овладевает нами; и человек должен прийти, через борьбу, к этому предметному свету.

В этой борьбе к месту любое искреннее и объективное сомнение, не надо с ходу отмечать разумную и доброжелательную критику: очевидность не боится ее, устоит. Вредна лишь злока-мания сомнений; лишь необъективное, слепое

критиканство действует разрушительно. Честное, глубокое сомнение есть не что иное, как *жажда очевидности*. Кто удостоверяет непредвзято, тот подтвердит; кто открывает око, тот увидит свет. Поэтому при желании истинную очевидность можно опять же пережить, пересмотреть, удостовериться³⁸.

Стоит ей однажды появиться, как душа чувствует себя захваченной истиной. Нет более сомнений, нет «сдержанности», нет колебаний, нет релятивистских уловок. Это сам предмет светит нам тогда, «свидетельствует» о самом себе, говорит безмолвным, но могучим языком и окончательно «убеждает» нас. Тогда мы переживаем полную ясность, «четкую достоверность»³⁹ (Лейбниц), счастье «встречи», после которой не будет «разлуки».

Тем самым очевидность в великих делах означает внезапное прекращение, конец и начало нового бытия. Однажды пережившего ее человека очевидность делает любящим, горящим и светящимся; теперь он может открывать глаза другим людям; теперь он призван вести их. Такая очевидность восхищает человека и просветляет его душу. Она дает ему якорь, твердое положение и характер. Она делает его цельным и здоровым: теперь он любит то, чем живет, и живет тем, что любит. А за то, что человек так любит и так живет, он борется до смерти; и если он пал в борьбе, то пал как победитель.

Очевидность подобна молнии, ударившей в жерло кратера дремлющего вулкана, чтобы он проснулся и послал свое пламя в небо; или, возможно, — гранате, попавшей в безмолвный колокол, чтобы он зазвучал и дарил свой голос людям. Мировая история знает времена, когда целые народы беспомощно и страстно ждали этого голоса...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

УТЕШЕНИЕ

Как долго страдает и вздыхает человеческое создание на земле! Но оно преодолевает свои страдания только тогда, когда приходит к вечному свету. *Бог* — источник этого вечного света. К Богу должен поднимать человек свое око.

И когда лучи Божественного откровения достигают ока человеческого, тогда ему открывается Истина, тогда он созерцает Бога в небесах и Божественное на земле, и его страдания просветляются.

Поэтому мы должны не бежать от страданий, а принимать их как зов, как требование, как обещание — как открытую дверь в Царствие Божие. «Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Лук. 17, 21). И хотя этот путь крут и эта дверь узка, они безошибочно ведут к просветлению и избавлению. Именно поэтому сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» (Мтф. 5, 4). Через страдание и утешение приходит человек к Богу. Ибо в страданиях очищается человеческое сердце. И потому сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мтф. 5, 8).

Итак, прежде всего, мы должны очистить свое сердце. Сначала — от того, что нам несет современный мир («Сей век», Рим. 12,2 и др.): от высокомерия разума, от плоского материализма, от самодовольного безбожия, от искушений коллективной мечты, от соблазнов бесчестия, от опасности лишиться корней. А затем — от злых страстей гордыни, ненависти, зависти, мстительности; от близорукой корысти; от поверхностности любопытства, всезнайства, безответственности... Ибо все это оскверняет нашу жизнь и оставляет нас без главного, без святости, без убеждения, без *веры*. Мелкой остается наша жизнь, близоруким и бессильным — наш взор, черствым и неверным — наше сердце, безбожной — наша сущность. Поэтому мы забываем живое и созидательное Божественное зрелище. Прав был философ, который говорил — мы не видим солнца, потому что вздымаем облако пыли...

Через это облако современного мира и наши собственные страсти мы должны прийти к победе — нужно, чтобы оно улеглось. Тогда мы широко и глубоко откроем внутреннее око нашего сердца и воззрим вверх, к Богу и в созданный им мир. Тогда мы с удивлением увидим, что каждый цветок раскрывается для нас, каждый солнечный луч приносит нам свое откровение, каждое человеческое сердце открывает нам свои тайны. Дерево и зверь, гора и поляна, снег и гроза покажут нам свой скрытый божественный луч света. Мы поймем, что мир полон дремлющей любви, и нам нужно лишь разбудить эту любовь нашей собственной любовью. Тогда ни один страдалец не покажется

нам чужим; ни одна вещь не сможет скрыть от нас свою духовную тайну. Чем чище взгляд, чем искреннее сердце — тем глубже мир, тем непосредственнее дорога к Богу.

Тогда мы поймем, как мы раньше упустили истинную Божественность, Божественное происхождение нашего Спасителя Иисуса Христа и как много людей *еще* упускают или *уже* упустили их. Чтобы познать Божественное, нужно носить Божественное в собственном сердце. Чтобы созерцать Бога и верить в Бога, нужно иметь в самом себе священное место, некий алтарь, где горит и светит его священное пламя. Современный человек становится антихристианином, потому что в его сердце развеяно Божественное дыхание, потому что в душе его погас Божественный огонь. Поэтому он читает и слышит о нашем Спасителе, но не познает его и не видит в нем живого, сделавшегося человеком Бога. Его собственное сердце застыло, поэтому он не понимает, что «Бог есть любовь» (1 Иоанн. 4, 8). Его собственный дух мертв, поэтому он не может понять, что «Бог есть дух» (Иоанн. 4, 24) и что дух проявляется в Иисусе. Его собственное око слепо, и потому он опускает, что «Бог есть свет» (1 Иоанн. 1, 5) и что в Иисусе нет «никакой тьмы».

Надо только верно и глубоко раскрыть сердце — и придешь к Иисусу Христу. Без сердца человек становится антихристианином.

Надо только жить в Духе (в Истине, в Прекрасном, в Справедливом, в Глубине, в Целостности) — и ты у Иисуса Христа. Человек, лишенный Духа, становится антихристианином.

Надо только созерцать из сердца и из Духа, и увидишь нашего Спасителя в его вечном величии. Слепой человек становится антихристианином.

К Иисусу Христу должно вернуться современное человечество, к Его Духу, к Его Откровению. В смирении и покаянии оно должно очиститься, чтобы исповедовать Его: чтобы принимать жизнь как поднесенную чашу, чтобы в каждом событии в жизни искать путь к Богу; чтобы преодолеть себя самого и мир в Любви, Духе и Свете.

Это есть лучшее, достойнейшее, вечное утешение страждущих.

**ПОЮЩЕЕ
СЕРДЦЕ**

**Книга
тихих
созерцаний**

ПРЕДИСЛОВИЕ

О ЧТЕНИИ

Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать? Поймут ли? Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого зависит так много... И прежде всего — состоится ли у него желанная, духовная встреча с теми далекими, но близкими, для которых он втайне писал свою книгу?

Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения: глаза бегают по буквам, «из букв вечно выходит какое-нибудь слово» (Гоголь)¹, и всякое слово что-нибудь да «значит»; слова и их значения связываются друг с другом, и читатель представляет себе что-то — «подержанное», расплывчатое, иногда непонятное, иногда приятно-мимолетное, что быстро уносится в позабытое прошлое... И это называется «чтением». Механизм без духа. Безответственная забава. «Невинное» развлечение. А на самом деле — культура верхоглядства и поток пошлости.

Такого «чтения» ни один писатель себе не желает. Таких «читателей» мы все опасаемся. Ибо настоящее чтение происходит совсем иначе и имеет совсем иной смысл...

Как возникло, как созрело написанное?

Кто-то жил, любил, страдал и наслаждался; наблюдал, думал, желал — надеялся и отчаивался. И захотелось ему поведать нам о чем-то таком, что *для всех* нас важно, что нам необходимо духовно увидеть, прочувствовать, продумать и усвоить. Значит — что-то *значительное* о чем-то *важном и драгоценном*. И вот он начинал отыскивать верные образы, ясно-глубокие мысли и точные слова. Это было не легко, удавалось не всегда и не сразу. Ответственный писатель вынашивает свою книгу долго; годами, иногда — всю жизнь; не расстается с нею ни днем, ни ночью; отдает ей свои лучшие силы, свои вдохновенные часы; «болеет» ее

темою и «исцеляется» писанием. Ищет сразу и правды, и красоты, и «точности»² (по слову Пушкина), и верного стиля, и верного ритма, и все для того, чтобы рассказать, не искажая, видение своего сердца... И, наконец, произведение готово. Последний просмотр строгим, зорким глазом; последние исправления — и книга отрывается, и уходит к читателю, неизвестному, далекому, может быть, — легко-весно-капризному, может быть, — враждебно-придирчивому... Уходит — без него, без автора. Он выключает себя и оставляет читателя со своею книгою «наедине».

И вот мы, читатели, беремся за эту книгу. Перед нами накопление чувств, постижений, идей, образов, волевых разрядов, указаний, призывов, доказательств, целое здание духа, которое дается нам прикровенно, как бы при помощи шифра. Оно скрыто за этими черными мертвыми крючочками, за этими общеизвестными, поблекшими словами, за этими общедоступными образами, за этими отвлеченными понятиями. Жизнь, яркость, силу, смысл, дух — должен из-за них добыть *сам читатель*. Он должен воссоздать в себе созданное автором; и если он не умеет, не хочет и не сделает этого, то *за него* не сделает этого никто: все будет его «чтение» и книга пройдет мимо него. Обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному... Но, к сожалению, это совсем не так. Почему?

Потому, что настоящий читатель отдает книге свое свободное внимание, все свои душевные способности и свое умение вызывать в себе ту верную духовную установку, которая необходима для понимания *этой* книги. Настоящее чтение не сводится к бегству напечатанных слов через сознание; оно требует сосредоточенного внимания и твердого желанья верно услышать голос автора. Одного рассудка и пустого воображения для чтения недостаточно. Надо *чувствовать сердцем и созерцать из сердца*. Надо пережить страсть — страстным чувством; надо переживать драму и трагедию живую волею; в нежном лирическом стихотворении надо внять всем вздохам, встрепетать своею нежностью, взглянуть во все глубины и дали, а великая идея может потребовать не более и не менее как *всего* человека.

Это означает, что читатель призван верно воспроизвести в себе душевный и духовный акт писателя, зажечь этим актом и доверчиво отдаться ему. Только при этом условии состоится желанная встреча между обоими и читателю

откроется то важное и значительное, чем болел и над чем трудился писатель. Истинное чтение есть своего рода *художественное ясновидение*, которое призвано и способно верно и полно воспроизвести духовные видения другого человека, жить в них, наслаждаться ими и обогащаться ими. Искусство чтения побеждает одиночество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила духа — оживлять буквы, раскрывать перспективу образов и смысла за словами, заполнять внутренние «пространства» души, созерцать нематериальное, отождествляться с неизвестными или даже умершими людьми и вместе с автором художественно и мыслительно постигать сущность богозданного мира.

Читать — значит *искать и находить*: ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это есть *творческий* процесс, ибо воспроизводить — значит творить. Это есть борьба за духовную встречу; это есть *свободное единение* с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад. И тому, кто никогда этого не добивался и не переживал, всегда будет казаться, что от него требуют «невозможного».

Искусство чтения надо приобретать и вырабатывать в себе. Чтение должно быть углублено; оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и его душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать и чего читать не стоит, ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение разлагающее и обесиливающее.

По чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы становимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочтенного, — как бы букетом собранных нами в чтении цветов...

Книга, для которой я пишу это предисловие, выношена в сердце, написана от сердца и говорит о сердечном пении. Поэтому ее нельзя понять в бессердечном чтении. Но я верю, что она найдет своих читателей, которые верно поймут ее и увидят, что она написана для русских о России.

І. ПЕРВЫЕ ЛУЧИ

1. БЕЗ ЛЮБВИ
2. О СПРАВЕДЛИВОСТИ
3. ЕГО НЕНАВИСТЬ
4. МОЯ ВИНА
5. О ДРУЖБЕ

1. БЕЗ ЛЮБВИ

(из письма к сыну)

Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: *сильною волею, благою целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями?* Ты пишешь мне: «О любви лучше не говорить: ее *нет* в людях. К любви лучше и не призывать: кто пробудит ее в черствых сердцах?»...

Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое терпение и вникни в мою мысль.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что она *сама в нем просыпается и им овладевает*. И это дано нам *от Бога и от природы*. Нам не дано произвольно распоряжаться в нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать новые, нам не свойственные. Можно воспитывать себя, но нельзя сломать себя и построить заново по своему усмотрению. Посмотри, как протекает жизнь человека. Ребенок применяется к матери — потребностями, ожиданием, надеждою, наслаждением, утешением, успокоением и благодарностью; и когда все это слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок ищет своего отца, ждет от него приветов, помощи, защиты и водительства, наслаждается его любовью и любит его ответно; он гордится им, подражает ему и чувствует в себе его кровь. Этот голос крови говорит в нем потом всю жизнь, связывает его с братьями и сестрами и со всем родством. А когда он позднее загорается взрослою любовью к «ней» (или, соответственно, она к «нему»), то задача состоит в том, чтобы превратить это «пробуждение природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его, как свою судьбу. И не естественно ли ему любить *своих* детей тою любовью, которой он

в своих детских мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись без любви? Чем заменить ее? Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии?

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная выбирающая сила в жизни*. Жизнь подобна огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с собою. Нельзя жить *всем*, что он несет; нельзя отдаваться этому крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растрастит и погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении. Надо *выбирать*: отказываться от очень многого ради сравнительно немногого; это небольшое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и совершенствовать. И этим строить свою личность. Выбирающая же сила есть *любовь*: это она «предпочитает», «приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, помогает и блюдет верность. *А воля есть лишь орудие любви* в этом жизненном делании. Воля без любви пуста, черства, жестка, насильственна и, главное, *безразлична к добру и злу*. Она быстро превратит жизнь *в каторжную дисциплину под командой порочных людей*. На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь от них и от их влияния... Нет, нам нельзя без любви: она есть великий дар — *увидеть лучшее, избрать его и жить им*. Это есть необходимая и драгоценная способность сказать «да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишённого этого дара! В какую пустыню, в какую пошлость превращается его жизнь!

Нельзя человеку прожить без любви и потому, что она есть *главная творческая сила человека*.

Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и протекает не в произвольном комбинировании элементов, как думают теперь многие верхогляды. Нет, творить можно только *приняв богозданный мир*, войдя в него, вросши в его чудесный строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужна вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения, отпущенный человеку. Человек творит не из пустоты: он творит *из уже сотворенного*, из сущего, создавая новое в пределах данного ему естества — внешне-материального и внутренне-душевного. Творящий человек должен внять мировой глубине и сам запеть из нее. Он должен научиться *созерцать сердцем*,

видеть любовью, уходить из своей малой личной оболочки в светлые пространства Божии, находить в них *Великое — сродное — принадлежащее*, вчувствоваться в него и создавать *новое из древнего и невиданное из предвечного*. Так обстоит во всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и в правовой жизни, в общении людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело. И все великое и гениальное, что было создано человеком — было создано из *созерцающего и поющего сердца*.

Нельзя человеку прожить без любви, потому что *самое главное и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу*. Только созерцающая любовь открывает нам *чужую душу* для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только созерцающая любовь открывает человеку его *родину*, т. е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле. Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины. Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к *религиозности и к Богу*. Не удивляйся, мой милый, безверию и маловерию западных народов: они приняли от римской церкви неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и, приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание. Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они ныне переживают.

Ты мечтаешь о сильной воле. Это хорошо и необходимо. Но она страшна и разрушительна, если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если не совестью своего сердца? Как соблюдешь ей верность, если не любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации в восприятии людей, а к этому способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима и неспособность к ней может сделать че-

ловека сентиментальным предателем. Но гнев этот должен быть *рожден любовью*, он должен быть сам *ее воплощением* для того, чтобы находить в ней оправдание и меру...

Вот почему я сказал, что ты «и прав и не прав».

И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви не говорить». Это верно: *надо жить ею*, а не говорить о ней. Но вот посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда ненависти; в мире поднялось упорное и жестокое гонение на любовь — поход на семью, отрицание родины, подавление веры и религии. Практическая бессердечность одних увенчалась прямою проповедью ненависти у других. Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриною. А это означает, что пришел час *заговорить о любви* и встать на ее защиту.

Да, в людях мало любви. Они исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из искусства, из этики, из политики и из воспитания. И вследствие этого современное человечество вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по своему размаху. Видя это, понимая это, нам естественно спросить себя: кто же пробудит любовь в черствых сердцах, если она не пробудилась от жизни и слова Христа, Сына Божия? Как братья за это нам, с нашими малыми человеческими силами?

Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушиваемся в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что Христос и в нас и с нами...

Нет, мой милый! Нельзя нам без любви. Без нее мы *обречены* со всей нашей культурой. В ней наша надежда и наше спасение. И как нетерпеливо я буду ждать теперь твоего письма с подтверждением этого.

2. О СПРАВЕДЛИВОСТИ

С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости: может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать... Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен, — что такое справедливость и как ее осуществить в жизни? Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные,

беспокойно и подозрительно: того гляди «со согласишься» «на свою голову» — и что тогда?

Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо; каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит *явная несправедливость в его пользу*. При этом он убежден, что толкование его правильно и что он «совершенно справедливо» относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его «справедливостью» и чувствуют себя притесненными и обойденными. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается, «справедливостей» столько, сколько недовольных людей и единой, настоящей Справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить.

Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос, ум не находит верного решения и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения; они ведут к насилию и революции, а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании; и иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой.

Однако, все это не компрометирует и не колеблет старую, благородную идею справедливости и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее. И все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность.

Французская революция восемнадцатого века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы «равны» и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться «одинаково»... Этот предрассудок *естественного равенства* является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в *неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми*.

Если бы люди были действительно равны, т. е. одинаковы телом, душою и духом, то жизнь была бы страшно проста и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать: «одинаковым людям — одинаковую долю», или «всем всего поровну» — и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически; и все были бы довольны, ибо люди и в самом деле были бы, как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренне и внешне. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство — или даже прямая слепота — приводят людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья...

*На самом деле люди неравны от природы и неодинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они рождаются существами различного пола; они имеют от природы неодинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье; им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания; они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, неодинаково образованные, с разными привычками и талантами — люди творят неодинаково и создают неодинаковое и неравноценное. Они и духовно не одинаковы: все они — различного ума, различной доброты, несходных вкусов; каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во *всех* отношениях. И справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые *обязанности*: старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые *права*: дети, сумасшедшие и преступники не участвуют в политических голосованиях.*

Нельзя *взыскивать* со всех одинаково: есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше; есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже и т. д. И вот, кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди *неравны* от природы, *неравны* по своей силе и способности, *неравны* и по своему социальному положению; и что *справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми*; напротив, она требует *неравенства для неравных*, но *такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей*.

Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей — бесконечное множество; все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особенности? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как «воздать каждому свое» (по формуле римской юриспруденции)? Они *не* одинаковы; значит, и обходиться с ними надо не одинаково — согласно их своеобразию... Иначе возникнет несправедливость...

Итак, справедливость совсем не требует равенства. Она требует *предметно-обоснованного неравенства*. Ребенка надо охранять и беречь; это дает ему целый ряд *справедливых привилегий*. Слабого надо щадить. Уставшему подобает снисхождение. Безвольному надо больше строгости. Честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность. С одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые не-герой не должен претендовать. И так — во всем и всегда...

Поэтому справедливость есть *искусство неравенства*. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также *живая совесть и живая любовь* к человеку. Есть особый *дар справедливости*, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке *доброе, любящее сердце*, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность вчувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого чело-

века индивидуально и постигают скрытую глубину его души...

Вот почему справедливость есть начало *художественное*: она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним *предметно*. Она «внимательна», «бережна», «социальна»; она блюдет чувство меры; она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению. Она имеет много общего с «тактом». Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему *любовна*: она рождается от сердца и есть живое проявление любви.

Безумно искать справедливость, исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива, она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравниению. Безумно искать справедливости в революции; ибо революция дышит ненавистью и мстостью, она слепа, она разрушительна; она враг справедливого неравенства; она не чтит «высших способностей» (Достоевский). А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы *узнавать и беречь высшие способности...*

Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда *все* или, по крайней мере, очень многие станут *ее живыми художниками* и усвоят *искусство предметного неравенства*. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к *органическому интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий*. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость не отвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило *уравнивает*, а не *«опредмечивает»* (от слова «предмет») жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам «раз навсегда», «для всех людей», «повсюду». Ибо она именно *не* «раз навсегда», а *живой поток индивидуальных отступлений*. Она не «для всех людей», а *для каждого в особенности*. Она не «повсюду», а *живет исключениями*.

Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не «система», а *жизнь*. Ее нужно представлять себе в виде *потока живой и предметной любви к людям*. Только такая любовь может разрешить задачу: она будет *творить жизненную справед-*

ливость, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое *предметное* неравенство.

Вот почему в жизни важнее всего не *«найденная раз навсегда»* справедливость: это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего *живое сердце, искренно желающее творческой справедливости*; и еще — *всеобщая уверенность, что люди действительно искренно хотят творческой справедливости и честно ищут ее*. И если это *есть*, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни — условными, временными или случайными, и будут охотно покрывать их *жертвенным настроением*. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет *истинная, т. е. художественно-любовная справедливость*.

3. ЕГО НЕНАВИСТЬ

Как тягостно, почти невыносимо бывает это ощущение, что «он меня ненавидит»... Какое чувство собственного бессилия овладевает душою... Хочется не думать об этом; и это иногда удается. Но, и не думая, чувствуешь через духовный эфир эту струю, этот ток чужого отвращения, презрения и зложелательства. И не знаешь, что начать; и не можешь совсем забыть; и несешь на себе через жизнь это проклятие.

Каждый человек — знает он об этом или не знает — есть живой излучающий личный центр. Каждый взгляд, каждое слово, каждая улыбка, каждый поступок излучают в общий духовный эфир бытия особую энергию тепла и света, которая хочет действовать в нем, хочет быть воспринятой, допущенной в чужие души и признанной ими, хочет вызвать их на ответ и завязать с ними живой поток положительного, созидающего общения. И даже тогда, когда человек, по-видимому, ни в чем не проявляет себя или просто отсутствует, мы осязаем посылаемые им лучи, и притом тем сильнее, тем определеннее и напряженнее, чем значительнее и своеобразнее его духовная личность.

Мы получаем первое восприятие чужой антипатии, когда чувствуем, что посылаемые нами жизненные лучи не приемлются другим человеком, как бы отталкиваются или упорно не впускаются им в себя. Это уже неприятно и тягостно. Это может вызвать в нас самих некоторое смуще-

ние или даже замешательство. В душе возникает странное чувство неудачи, или собственной неумелости, или даже неуместности своего бытия; воля к общению пресекается, лучи не хотят излучаться, слова не находятся, жизненный подъем прекращается и сердце готово замкнуться. Замкнутые и малообщительные люди нередко вызывают такое чувство у общительных и экспансивных людей даже тогда, когда об антипатии не может быть еще и речи. Но антипатия, раз возникнув, может обостриться до враждебности, «сгуститься» в отвращение и углубиться до ненависти, и притом, совершенно независимо от того, заслужили мы эту ненависть чем-нибудь определенным или нет...

Тот, кто раз видел глаза, горящие ненавистью, никогда их не забудет... Они говорят о личной злобе и предвещают беду; а тот, кто их видит и чувствует себя в фокусе этих лучей, не знает, что делать. Луч ненависти есть луч, ибо он горит и сверкает, он заряжен энергией, он направлен от одного духовного очага к другому. Но ненавидящий очаг горит как бы черным огнем и лучи его мрачны и страшны; и энергия их не животворна, как в любви, а смертоносна и уничтожающа. Занимчивуется застывшая судорога души; мучительная вражда, которая желает причинить другому муку и уже несет ее с собою. И когда пытаешься уловить, что же так мучает ненавидящего, то с ужасом убеждаешься, что он мечтает увидеть тебя погибающим в муках, и мучается оттого, что это еще не свершилось... Я смотрю в эти ненавидящие глаза и вижу, что «он» меня не переносит; что «он» с презрительным отвращением отталкивает мои жизненные лучи; что «он» провел черту разлуки между собою и мною, и считает эту черту знаком окончательного разрыва: по ту сторону черты — он в неутомимом зложелательстве, по сю сторону — я, ничтожный, отвратительный, презираемый, вечно недо-погубленный, а между нами — бездна... Зайдя в тупик своей ненависти, он ожесточился и ослеп; и вот, встречает всякое жизненное проявление с моей стороны — убийственным «нет». Этим «нет» насыщены все его лучи, направленные ко мне, а это означает, что он не приемлет лучей от меня, не прощает мне моего бытия и не терпит моего существа — совсем и никак. Если бы он мог, то он испепелил бы меня своим взглядом. Он одержим почти маниакальной идеей — моего искоренения: я осужден, совсем и навсегда, я не имею права на

жизнь. Как это выражено у Лермонтова: «нам на земле вдвоем нет места»*... В общем и целом — духовная рана, уродство, трагедия...

Откуда это все? За что? Чем я заслужил эту ненависть? И что же мне делать? Как мне освободиться от этого цепенеющего проклятия, предвещающего мне всякие беды и грозящего мне преднамеренным погублением? Могу ли я пренебречь его ожесточением, пройти мимо и постараться забыть об этой черной злобе? Имею ли я право на это? Как избавиться мне от этого угнетающего сознания, что мое существо вызвало в ком-то такое духовное заболевание, такую судорогу отвращения?

Да, но разве вообще возможно распоряжаться чужими чувствами? Разве возможно проникнуть в душу своего ненавистника и погасить или преобразить его ненависть? И если возможно, то как приступить к этому? И где взять для этого достаточную силу и духовное искусство?..

Когда я встречаюсь в жизни с настоящей ненавистью ко мне, то во мне просыпается прежде всего чувство большого несчастья, потом огорчение и ощущение своего бессилия, а вслед за тем я испытываю настойчивое желание уйти от своего ненавистника, исчезнуть с его глаз, никогда больше с ним не встречаться и ничего о нем не знать. Если это удастся, то я быстро успокаиваюсь, но потом скоро замечаю, что в душе осталась какая-то удрученность и тяжесть, ибо черные лучи⁴ его ненависти все-таки настигают меня, проникая ко мне через общее эфирное пространство. Тогда я начинаю невольно вчувствоваться в его ненавидящую душу и вижу себя в ее черных лучах — их объектом и жертвою. Это ощущение трудно выдерживать подолгу. Его ненависть есть не только *его* несчастье, но и *мое*, подобно тому, как несчастная любовь составляет несчастье не только любящего, но и любимого. От его ненависти страдает не только он, ненавидящий, но и я — ненавидимый. Он уже унижен своим состоянием, его человеческое достоинство уже пострадало от его ненависти; теперь это унижение должно захватить и меня. На это я не могу дать согласия. Я должен взяться за это дело, выяснить его, преодолеть его и постараться преобразить и облагородить эту большую страсть. В духовном эфире мира образовалась рана; надо исцелить и зарастить ее.

* Слова Грушницкого. «Герой нашего времени»³.

Мы, конечно, не можем распоряжаться чужими чувствами; и, действительно, совсем не легко найти верный путь и надлежащую духовную силу для того, чтобы разрешить эту претрудную задачу... Но одно я знаю наверное, именно, что этот мрачный огонь должен угаснуть. Он должен простить меня и примириться со мною. Он должен не только «подарить мне жизнь» и примириться с моим существованием; он должен испытать *радость* оттого, что я живу на свете, и дать мне возможность радоваться *его* бытию. Ибо, по слову великого православного мудреца Серафима Саровского, «человек человеку — радость»⁵...

Прежде всего мне надо найти и установить, чем и как я мог заслужить эту ненависть? Как могла его возможная любовь ко мне — превратиться в отвращение, а его здоровое уважение ко мне — в презрение? Ведь мы все рождены для взаимной любви и призваны ко взаимному уважению... Нет ли и моей вины в том, что мы оба теперь страдаем, он, ненавидящий, и я, ненавидимый? Может быть, я нечаянно задел какую-нибудь старую, незажившую рану его сердца и теперь на меня обрушилось накопившееся наследие его прошлого, его былых обид и непрощенных унижений? Тогда помочь может только сочувственное, любовное понимание его души. Но, может быть, я как-нибудь незаметно заразил его моей собственной, скрытой ненавистью, которая жила во мне, забытая, и излучалась из меня бессознательно? Тогда я должен прежде всего очистить свою душу и преобразить остатки моей забытой ненависти в любовь. И если даже моя вина совсем ничтожна и непреднамеренна, то и тогда я должен начать с признания и устранения ее; хотя бы мне пришлось для этого — искренно и любовно — добыть себе прощение от него.

Вслед за тем мне надо простить ему его ненависть. Я не должен, я не смею отвечать на его черный луч таким же черным лучом презрения и отвержения. Мне не следует уклоняться от встречи с ним, я не имею права на бегство. Надо встретить его ненависть лицом к лицу и дать на нее духовно верный ответ сердцем и волею. Отныне я буду встречать луч его ненависти белым лучом, ясным, кротким, добрым, прощающим и добывающим прощения, подобно тому лучу, которым князь Мышкин встречал черный луч Парфена Рогожина. Мой луч должен говорить ему: «Брат, прости мне, я уже все простил и покрыл любовью, прими-

рись с моим существованием так, как я с любовью встречаю твое бытие»... Именно с любовью, ибо простить — значит не только не мстить, не только забыть рану, но и полюбить прощенного.

Два человека всегда связаны друг с другом двумя нитями: от *него* ко *мне* и от *меня* к *нему*. Его ненависть обрывает первую нить. Если она оборвалась, то страдают оба: он — потому, что его сердце судорожно сжалось и ожесточилось, и я — потому, что я должен смотреть, как он из-за меня мучается; и еще потому, что я сам, ненавидимый им, страдаю из-за него. Спасать положение можно только так: поддерживать вторую нить — от меня к нему — крепить ее и восстанавливать через нее первую. Нет другого пути. Я должен убедить его в том, что я не отвечаю ненавистью на его ненависть; что я не вменяю ему его вражду и злобу; что я признаю свою возможную вину и стараюсь ее искупить и погасить; что я понимаю его, страдаю вместе с ним и готов подойти к нему с любовью; и, главное, что моей духовной любви хватит для того, чтобы выдержать напор и пыл его ненависти, чтобы встретить ее духовно и постараться преобразить ее. Я должен обходиться с моим ненавистником так, как обходятся с тяжело больным человеком, не подвергая его новым, добавочным страданиям. Я должен посылать ему в моих лучах понимание, прощение и любовь до тех пор, пока он не восстановит оборванную им нить, ведущую ко мне.

Это, наверное, совершится не легко; вероятно, его ненависть будет упорствовать и не захочет так скоро угомониться и преобразиться. Но я буду настойчив и сохраню уверенность в победе; это залог успеха. Ненависть исцеляется любовью и только любовью. Луч настоящей любви укрощает диких зверей; то, что по этому поводу рассказывают о святых — не фантазия и не благочестивая легенда. Излучение любви действует умиряюще и обезоруживающе; напряжение злобы рассеивается; злой инстинкт теряется, уступает и вовлекается в атмосферу мира и гармонии. Все это не пустые слова: любовь заклиняет бури и умиротворяет духовный эфир вселенной; и даже врата адовы ей не препятствие⁶.

А если однажды это состоится, ненависть его преобразится и рана духовного эфира исцелится и зарастет, тогда мы оба будем радоваться радостью избавления и услышим,

как высоко над нами все ликует и празднует до самого седьмого неба, ибо Божия ткань любви едина и целостна во всей вселенной⁷.

4. МОЯ ВИНА

Нет, я еще не научился распознавать и нести свою вину. Мне надо для этого больше мужества и смирения. Но, может быть, я однажды еще достигну этого.

Как тягостно, подчас мучительно трудно бывает установить и признать свою вину. Душа начинает беспокойно метаться, а потом просто ожесточается и не желает видеть правду. Хочется непременно оправдать себя, отвергнуть свою виновность, свалить вину на другого или на других, а главное, — доказать не только другим людям, но и себе самому, да, именно самому себе, что «я тут ни при чем» и что я нисколько не виноват в этом. Виноваты все окружающие, в конечном счете — весь мир, но только не я: враги и друзья, природа и человек, родители и воспитатели, несчастное стечение обстоятельств и тяжелые условия, «среда» и «влияние», небо и ад, но не я! И это можно доказать, и это необходимо удостоверить, потому что в этом «не может быть никакого сомнения»...

Ах, эта предательская «потребность» в самооправдании... Она-то и выдает меня с головой... Эта погоня за доказательствами... Зачем они мне, если я твердо и окончательно уверен, что я «тут ни при чем»? Кто же требует от меня доказательств? Кто заподозревает меня, если не я сам? Но это свидетельствует лишь о том, что в глубине души я все-таки считаю себя виноватым; что есть некий тихий голос, который тайно твердит мне об этом и не оставляет меня в покое...

И вдруг, под влиянием этих неожиданных соображений, мое бегство от собственной вины прекращается... Конец малодушной тревоге. Я готов примириться с мыслью о своей виновности, исследовать, в чем именно я виноват, и признать свою вину. Ведь эта трусость многих уже запутала в тяжелые внутренние противоречия, в раздор с самим собою, в раздвоение личности, а иных доводила и до галлюцинаций. Но я готов... Пусть говорит мой обвинитель.

Да, нужно *мужество*, чтобы спокойно исследовать свою

вину и не искать спасения от нее в бегстве. И еще нужно *смирение*. Если человек не переоценивает своих сил и своих качеств, если он не кажется сам себе «умнейшей» и «добрейшей» личностью, то он будет всегда готов предположить свою вину. Зачем рассматривать все свои поступки с их наилучшей, наиболее благороднейшей стороны? Что за наивность... Откуда эта потребность изображать себя — перед собой и перед другими — всепредвидящим и неошибающимся праведником? Зачем идеализировать свои побуждения и успокаиваться только тогда, когда небывалый образ «чистоты» и «величия» воссияет под моим именем? Кто из нас свободен от безупречных желаний и побуждений? Кто из нас прав от рождения и свят от утробы матери?..

Нет, мне надо еще научиться тому, что есть вина, и как ее распознать и нести в жизни. Как же научиться этому?

Прежде всего надо удостовериться в том, что *все люди*, без исключения, пока они живут на земле, *соучаствуют во всеобщей мировой вине*; желанием и нежеланием, но также и безволием, и трусливым уклонением от волевого решения; деланием и неделанием, но также и полуделанием или пилатовским «умовением рук»⁸; чувствами и мыслями, но также и деревянным бесчувствием и тупым безмыслием. Мы соучаствуем в вине всего мира — непосредственно, и через посредство других, обиженных или зараженных нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние. Ибо все человечество живет как бы в *едином сплошном духовном эфире*, который всех нас включает в себя и связует нас друг с другом. Мы как бы вдыхаем и выдыхаем этот общий духовный воздух бытия; и посылаем в него свои «волны» или «лучи», даже и тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого, и воспринимаем из него чужие лучи, даже и тогда, когда ничего не знаем об этом. Каждая лукавая мысль, каждое ненавистное чувство, каждое злое желание — незримо отравляют этот духовный воздух мира и передаются через него дальше и дальше. И каждая искра чистой любви, каждое благое движение воли, каждая одинокая и бессловесная молитва, каждый сердечный и совестный помысл — излучается в эту общую жизненную среду и несет с собою свет, теплоту и очищение. Бессознательно и полусознательно читаем мы друг у друга в глазах и в чертах лица, слышим

звук и вибрацию голоса, видим в жестах, в походке и в почерке многое сокровенное, несовершенное, несказанное и, восприняв, берем с собою и передаем другим. Кашей бессмертный недаром обдумывает свои коварные замыслы. Баба Яга не напрасно развозит в ступе свою злобу. Сатанисты не бесцельно и не бесследно предаются своим медитациям⁹. Но и одинокая молитва Симеона Столпника¹⁰ светит миру благодатно и действенно. А неведомые праведники, коими держатся города и царства¹¹, образуют истинную, реальную основу человеческой жизни.

Вот почему на свете нет «виновных» и «невинных» людей. Есть лишь такие, которые *знают* о своей виновности и *умеют нести* свою и общемировую вину, и такие, которые в слепоте своей *не знают* об этом и стараются вообразить себе и изобразить другим свою мнимую невинность.

Первые имеют достаточно мужества и смирения, чтобы не закрывать себе глаза на свою вину. Они знают истинное положение в мире, знают об общей связанности всех людей и стараются очищать и обезвреживать посылаемые ими духовные лучи. Они стараются не отравлять, не заражать духовный воздух мира, наоборот — давать ему свет и тепло. Они помнят о своей виновности и ищут верного познания ее, чтобы гасить ее дурное воздействие и не увеличивать ее тяжесть. Они думают о ней спокойно и достойно, не впадая в аффектацию преувеличения и не погрязая в мелочах. Их самопознание служит миру и всегда готово служить ему. Это — *носители мировой вины*, очищающие мир и укрепляющие его духовную ткань.

А другие — вечные беглецы, безнадежно «спасающиеся» от своей вины: ибо вина несется за ними, наподобие древней Эриннии¹². Они воображают, что отвечают лишь за то, что они обдуманно и намеренно осуществили во внешней жизни и не знают ничего о едином мировом эфире и об общей мировой вине, в которой все нити сплелись в нерасплетаемое единство. Они ищут покоя в своей мнимой невинности, которая им, как и всем остальным людям, раз навсегда недоступна. Как умно и последовательно они размышляют, как изумительна их сила суждения, когда они обличают своих ближних, показывают их ошибки, обвиняют их, пригвозждают их к позорному столбу... И все потому, что им чудится, будто они тем самым оправдывают себя. Но как только дело коснется их самих, так они тотчас

становятся близоруки, подслеповаты, наивны и глупы. И если бы они знали, как они вредят этим себе и миру... Они стремятся доказать себе, что они сами «очень хороши» и «совершенно невиновны», что, следовательно, им не в чем меняться и не надо совершенствоваться. Но именно вследствие этого лучи, посылаемые ими в мир, остаются без контроля и очищения, и мировой воздух, уже отравленный и больной, впитывает в себя снова и снова источаемые ими яды пошлости, ненависти и злобы...

Если я увидел и понял все это, то я стою на верном пути. Каждый из нас должен прежде всего подмести и убрать свое собственное жилище. С этого начинаю и я.

Итак, я не ищу спасения в бегстве. Я принимаю свою вину и несу ее отныне — спокойно, честно и мужественно. Наверное, будут и тяжелые, болезненные часы; но эта боль — очистительная и полезная. Я буду искать и находить свою вину не только в том, что я совершил внешне, в словах и поступках, но и дальше, глубже, интимнее, в моих с виду не выразившихся, а, может быть, и неизреченных состояниях души, там, где начинается мое полнейшее одиночество и куда не проникает мое самопознание. Везде — где у меня недостает любви и прощения; везде — где я забываю о едином «пространстве» и общем «эфире» духа; везде — где я перестаю служить Богу и делать Его Дело или где я, во всяком случае, нецелен в этом служении.

Если я однажды понял мою вину, то мое сожаление о ней должно стать истинным страданием, вплоть до раскаяния и до готовности искупить ее; и главное, — вплоть до решения впредь стать иным и поступать иначе. Так вырастает во мне настоящее *чувство ответственности*; которое будет отныне стоять как бы на страже каждого нового поступка.

Исследуя мою личную вину, я нахожу и распутываю сто других различных нитей, сцеплений и отношений к другим людям. Медленно разворачивается передо мною ткань общественной жизни; я постепенно привыкаю воспринимать и созерцать общий эфир духовного бытия, — и вот я начинаю постигать, что я в действительности «посылаю» в этот общий воздух, и что я из него «получаю». Это научает меня верно измерять мою виновность и не падать под ее реальным бременем. Суровая, но драгоценная школа. Каждый шаг становится для меня ступенью, ведущей к ук-

реплению духа и верного характера. Не впадая в замешательство и не отчаиваясь, я вижу всю мою жизнь, как длинную цепь виновных состояний и деяний — и почерпаю отсюда все больше мужества и смирения.

И по мере того, как я достигаю этого, я получаю право исследовать вопрос о чужой вине; не для того, чтобы изобличать других и предавать их осуждению — потребность в этом все более исчезает во мне — но для того, чтобы вчувствоваться в их жизненные положения и в их душевные состояния так, как если бы я каждый раз оказывался на месте виновного человека и как если бы *его* вина была *моею*. Это значительно увеличивает и углубляет мой опыт виновности, и я постепенно научаюсь нести не только свою вину, но и чужую: нести, т. е. преодолевать ее духом и любовью.

Но, по правде говоря, мне еще далеко до этого... Овладею ли я когда-нибудь этим искусством, не знаю... Может быть, и нет... Но одно не подлежит для меня никакому сомнению, а именно, что это — верный путь...

5. О ДРУЖБЕ

У каждого из нас бывают в жизни такие времена, когда естественная, от природы данная нам одинокость вдруг начинает казаться нам тягостною и горькою: чувствуешь себя всеми покинутым и беспомощным, ищешь друга, а друга нет... И тогда изумленно и растерянно спрашиваешь себя: как же это так могло случиться, что я всю жизнь любил, желал, боролся и страдал, и, главное, служил великой цели — и не нашел ни сочувствия, ни понимания, ни друга? Почему единство идеи, взаимное доверие и совместная любовь не связали меня ни с кем в живое единство духа, силы и помощи?..

Тогда в душе просыпается желание узнать, как же складывается жизнь у других людей: находят они себе настоящих друзей или нет? Как же жили люди раньше, до нас? И не утрачено ли начало дружбы именно в наши дни? Иногда кажется, что именно современный человек решительно не создан для дружбы и не способен к ней... И в конце концов неизбежно приходишь к основному вопросу: что же есть настоящая дружба, в чем она состоит и на чем держится?

Конечно, люди и теперь нередко «нравятся» друг другу и «водятся» друг с другом... Но, Боже мой, как все это скучно, поверхностно и беспочвенно. Ведь это только означает, что им «приятно» и «забавно» совместное времяпрепровождение или же, что они умеют «угодить» друг другу... Если в склонностях и вкусах есть известное сходство; если оба умеют не задевать друг друга резкостями, обходить острые углы и замалчивать взаимные расхождения; если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, немножко услужить, — то вот и довольно: между людьми завязывается так называемая «дружба», которая, в сущности, держится на внешних условностях, на гладко-скользящей «обходительности», на пустой любезности и скрытом расчете... Бывает «дружба», основанная на совместном сплетничании или на взаимном излинии жалоб. Но бывает и «дружба» лести, «дружба» тщеславия, «дружба» протекции, «дружба» злословия, «дружба» преферанса и «дружба» собутыльничества. Иногда один берет займы, а другой дает займы — и оба считают себя «друзьями». «Рука моет руку», люди вершат совместно дела и делишки, не слишком доверяя друг другу, и думают, что они «подружились». Но «дружкой» иногда называют и легкое, ни к чему не обязывающее «увлечение», связывающее мужчину и женщину; а иногда и романтическую страсть, которая подчас разъединяет людей окончательно и навсегда. Все эти мнимые «дружбы» сводятся к тому, что люди взаимно посторонние и даже чуждые, проходят друг мимо друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и небескорыстным соприкосновением: они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их «дружба» распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно даже сказать, были ли они раньше вообще «знакомы».

Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга, подобно деревянным шарам. Тайственная судьба взметает их, как земную пыль, и несет их через жизненное пространство в неизвестную даль, а они разыгрывают комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одиночества... Ибо без живой любви люди подобны мертвому праху...

Но истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой и твор-

ческой любви. *Истинная дружба...* Если бы только знать, как она завязывается и возникает... Если бы только люди умели дорожить ею и крепить ее...

На свете есть только одна-единственная сила, способная преодолеть одиночество человека; эта сила есть *любовь*. На свете есть только одна возможность выйти из жизненной пыли и противостоять ее вихрю; это есть *духовная жизнь*. И вот, истинная дружба есть *духовная любовь*, соединяющая людей. А *духовная любовь* есть сущее *пламя Божие*. Кто не знает Божьего пламени и никогда не испытал его, тот не поймет истинной дружбы и не сумеет осуществить ее, но он не поймет также ни верности, ни истинной жертвенности. Вот почему к истинной дружбе способны только *люди духа*.

Нет истинной дружбы без любви, потому что именно любовь *связывает* людей. А истинная дружба есть *свободная связь*: в ней человек сразу — *свободен и связан*; и связь эта не нарушает и не уменьшает свободы, ибо она осуществляет ее; и свобода эта, осуществляя себя в привязанности, связывает человека с человеком в духе. Самая крепкая связь на земле есть свободная связь, если она слагается в Боге, соединяет людей через Бога и закрепляется перед лицом Божиим. Вот почему в основе каждого настоящего брака и каждой здоровой семьи лежит свободная, духовная дружба. Истинная дружба, как и истинный брак, заключается в небесах и не расторгается на земле.

Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность и истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью принять, что они возникли из настоящей духовной близости. Дружба свойственна только людям духа: это *их дар, их достояние, их способ жизни*. Люди без сердца и без духа неспособны к дружбе: их холодные, своекорыстные «союзы» всегда остаются условными и полупредательскими; их расчетливые и хитроумные объединения держатся на уровне рынка и карьеризма. Истинное единение людей возможно *только в Божием луче*, в духе и любви.

Настоящий человек носит в своем сердце некий скрытый жар, так, как если бы в нем жил таинственно раскаленный уголь. Бывает так, что лишь совсем немногие знают об этом угле и что пламя его редко обнаруживается в повседневной жизни. Но свет его светит и в замкнутом пространстве, и искры его проникают во всеобщий эфир жиз-

ни. И вот, истинная дружба возникает из этих искр.

Кто однажды видел пылинку радия, тот никогда не забудет этого чуда Божия. В малом замкнутом пространстве, в темноте, за стеклом лупы, видно крошечное тело, из которого непрерывно вылетают во все стороны подвижные искорки и быстро исчезают в темноте. Легким поворотом винта можно слегка ослабить зажим пинцета, держащего эту пылинку, — и тогда искры начинают вылетать щедро и радостно; зажим усиливается — и искры летят скудно и осторожно. А естествоиспытатели утверждают, что лучевой заряд этой пылинки будет действителен по крайней мере две тысячи лет...

Наподобие этого живет и сверкает человеческий дух; так посылает он свои искры в мировое «пространство». И из этих искр возникает истинная дружба.

Есть люди, для которых слово «дух» не пустой звук и не мертвое понятие: они знают, что в жизни есть «Божии цветы», и что жизнь ими красуется и светится; они знают, что человеку дано *внутреннее око*, способное видеть и узнавать эти цветы; они ищут их, находят их, радуются им и любят их сердцем. Такие люди носят в своем сердце духовный «заряд» и «душевный «жар»». Их личный дух подобен пылинке радия, излучающей свои искры в мировое пространство. И в каждой такой искре сверкает их любовь и светит сила любимого ими божественного содержания. И каждая такая искра ищет приятия, признания и ответа, ибо человеческая любовь всегда требует понимания и взаимности.

Но излетевшая искра духа может быть воспринята и постигнута только духовно живым и искрящимся духом, только таким сердцем, которое само любит и излучает. Холодный мрак поглощает все бесследно. Мертвая пустота не может дать ответа. Огонь стремится к огню и свет тянется к свету. И когда встречаются два огня, то возникает новое мощное пламя, которое начинает шириться и пытается создать новую, живую «ткань» огня.

Истинная дружба начинается там, где излетевшая искра духа касается чужой огненной купины и воспринимается ею. За восприятием следует ответная искра, которая воспринимается первопославшим и вызывает в нем ответ на ответ. Тогда начинается световой обмен. Искры отнюдь не исчезают в окружающем мраке. Каждая достигает цели

и зажигает. Вспыхивают целые снопы света, пламя разгорается, пожар растет. Свободные дары, творческое восприятие, светлая благодарность... И ни тени зависти. Дух наслаждается своей беззаветной откровенностью. Он знает, что его встретит духовное созерцание и вчувствующееся постижение. Сердце чутко вслушивается и радостно предвосхищает дальнейшее. И пламя Божие справляет на земле свой праздник...

Да, человеческая *душа* одинока на земле и часто страдает от этого. Она может почувствовать себя покинутой и брошенной. Но *дух* человека не мирится с одиночеством. Он укореняется в Божественном, живет для Божьего дела, свободно рассылет свои искры, и никакие «стены» ему не страшны. Он не верит в то, что атомное разъединение или распыленная множественность составляет последнее слово человеческого бытия, непреодолимую форму жизни; он не верит, что люди обречены на одинокое блуждание в хаосе, что им никогда не найти друг друга; он не верит в торжество «мировой пыли». Где-то, неизвестно где, когда-то, неизвестно когда, в великом лоне Божиих замыслов и творческих идей, он видел некое видение: единое, сплошное море пламени *сонно почивало* в пророческом спокойствии, так, как оно было задумано Богом изначала и призвано к *пробужденному бытию* в грядущем; он узрел это видение — вступил в новое, земное бытие, чтобы проснуться в виде обособленного, единичного «огонька» и начать на земле творческую борьбу за *духовно пробужденное воссоединение человеческого огневого множества*... Ибо человеческие души, эти духовные огни Божии, призваны пройти через индивидуацию и одиночество и вновь воссоединиться в единое, сплошное море — но уже духовно пробужденного огня...

И вот, истинная дружба, как любовь, и притом, как духовная любовь, создает первоначальную ячейку этого единства; из таких ячеек духовного огня сложится однажды великое и единое пламя Божие, светлая и радостная ткань Божьего Царства во вселенной...

Вот почему каждый духовно живой человек ищет истинной дружбы на земле и бывает счастлив, если ему удастся найти ее и осуществить. Этим он исполняет завет своего Творца и участвует в совершении Его обетования; этим он участвует в обновлении и преображении Божьего мира.

На свете есть много людей, которые ничего не знают об истинной дружбе и тем не менее беспомощно толкуют о ней; и не находя к ней пути, и не зная, как осуществить ее, удовлетворяются земною страстною «любовью», обычно вынося из нее разочарование и уныние. Но именно они должны узнать и почувствовать, что они призваны к ней и что она для них достижима. Ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку; — и малейшая искра духовного обмена, в живой беседе, в искусстве, в совместном исследовании или созерцании; — и всякая попытка совместно помолиться единому Божеству единым воздыханием, — содержит уже начаток, зерно истинной дружбы. Лестница начинается уже с первой ступени; и пение начинает свою мелодию уже с первого звука... И как грустно, если жизнь пресекается уже в своем зерне, если лестница обламывается на первой ступени, если песнь обрывается на первом звуке!..

Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истинной дружбы, духовно строить ее и любовно беречь ее. Тогда он узнает, в чем состоит блаженство истинной *верности* и легкая естественность настоящей *жертвы*.

II. ШКОЛА ЖИЗНИ

6. МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

7. ОБЛАКА

8. О ЛИШЕНИЯХ

9. О ЗДОРОВЬЕ

10. МИРОВАЯ ПЫЛЬ

11. О ШЕДРОСТИ

12. РАННИМ УТРОМ

13. О ВОЗРАСТЕ

6. МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Одно мгновение живет этот блаженный шарик... Всего один краткий миг — и конец... Радостный миг! Светлосмгновение! Но его надо создать и уловить, чтобы насладиться как следует; иначе все исчезнет безвозвратно... О, легкий символ земной жизни и человеческого счастья!..

Легкими стопами, тихими движениями, сдерживая дыхание надо приступать к этому делу: заботливо выбрать солонинку, непомятую, девственную, без внутренней трещины; осторожно, чтобы не раздавить ее, надо надрезать один

конец и отвернуть ее стенки... И потом бережно окунуть ее в мыльную муть, чтобы она вволю напилась и насытилась... Лучше не торопиться. Главное — не волноваться и не раздражаться. Все забыть; погасить все мысли и заботы. Отпустить все напряженные мускулы. И предаться легкому, душевному равновесию; ведь это игра... И захотеть играющей красоты, заранее примирившись с тем, что она будет мгновенная и быстро исчезнет...

Теперь можно бережно извлечь соломинку, отнюдь не стряхивая ее и доверяя ей, как верному помощнику; затем набрать побольше воздуха, полную грудь... и тихо-тихо, чуть заметным, скупым дуновением дать легчайший толчок рождению красоты...

Вот он появился, желанный шарик, стал наполняться и расти...

Не прерывать дыхания! Бережно длить игру. Ласково беречь рожденное создание. Чутким выдохом растить его объем. Пусть покачивается чуть заметным ритмом на конце соломинки, пусть наполняется и растет...

Вот так! Разве не красиво? Законченная форма. Веселые цвета; все богаче и разнообразнее оттенки красок. И внутри играющее круговое движение. Шар все растет; все быстрее внутреннее кружение; все сильнее размах качания. Целый мир красоты, законченный и прозрачный...

А теперь создание завершилось. Оно желает отделиться, стать самостоятельным и начать радостный и дерзновенный полет через пространства... Надо остановить дыхание и отвести соломинку от губ. Окрестный воздух должен замереть! Ни резких жестов, ни вздоха, ни слова! Бережным движением надо скользнуть соломинкой в сторону и отпустить воздушный шар на волю...

О, дерзновенно-легкий полет навстречу судьбе... О, миг беззаботного веселья...

И вдруг — все погибло! И веселое создание разлетелось брызгами во все стороны...

Ничего! Мы начнем сначала...

«Что за ребячество»... «Какой смысл в этой детской забаве?»...

Да, это, конечно, «детская забава»... И все же — не только «детская», и не просто «забава». Признаюсь, я с удовольствием предаюсь этой игре и многому научился при этом...

«Помилуйте, да чему же можно научиться у мыльного пузыря?»

Всякая красота, даже само-малейшая, даже самая бесцельная, так же как и всякий радостный миг жизни — имеют большую, непреходящую ценность. Они смывают душевные огорчения, они несут нам легкое дыхание жизни (даже и тогда, когда учат нас бережно выпускать воздух) и дают нам немножко счастья... И мы можем быть уверены: *ни один легкий, счастливый миг не пропал даром в человеческой жизни, а следовательно, и в мировой истории...*

Совсем не надо ждать, чтобы легкая красота или этот счастливый миг сами явились и доложили нам о себе... Надо звать их, создавать, спешить им навстречу... И для этого годится всякая невинно-наивная игра, состоящая хотя бы из соломинки и мыла... Так много легкого и красивого таится в игре и рождается из игры. И недаром дыхание игры живет в искусстве, во всяком искусстве, даже в самом серьезном и трудном...

Не отнимайте у взрослого человека игру: пусть играет и наслаждается. В игре он отдыхает, делается радостнее, ласковее, добрее, становится как дитя. А свободная, невинная целесообразность, — бескорыстная и самозабвенная, — может исцелить его душу.

Но мгновение красоты посещает нас редко и гостит коротко. Оно исчезает так же легко, как мыльный шарик. Надо ловить его и предаваться ему, чтобы насладиться. Обычно оно не повинуется человеческому произволению; и насильственно вызвать его нельзя. Легкою поступью приходит к нам красота, часто неожиданно, ненароком, по собственному почину. Придет, осчастливит и исчезнет, повинуюсь своим таинственным законам. И к законам этим надо прислушиваться, к ним можно приспособиться, в их живой поток надо войти, повинуюсь им, но не требуя от них повиновения...

Вот почему нам надо научиться *внимать*: с затаенным дыханием внимать природе вещей, чтобы вступить в ее жизненный поток и приобщиться счастью природы и красоте мира. И потому всякий, кто хочет живой природы, легкого искусства, радостной игры, должен освободить себя внутренне, погасить в себе всякое напряжение, отдаться им с детскою непосредственностью и блюсти легкое душев-

ное равновесие, наслаждаясь красотой и радостью живого предмета.

Наши преднамеренные, произвольные хотения имеют строгий предел. Они должны смолкнуть и отступить. И творческая воля человека должна научиться *повиновению: послушание природе* есть путь к радости и красоте. Мы не выше ее; она мудрее нас. Она сильнее нас, ибо мы сами — природа и она владеет нами. Ее нельзя предписывать; ее живой поток не следует прерывать; и тот, кто дует против ветра или в перебой его полету, не будет иметь успеха. Порыв не терпит перерыва; а прерванный порыв — уже не порыв, а бессилие.

Но прежде чем предаться этому играющему порыву и приступить к созданию новой красоты, надо возыметь *доверие* к себе самому; надо погасить всякие отговорки и побочные соображения, надо отдаться непосредственно, не наблюдать за собою, не прерывать себя, не умничать, не обессиливать себя разными «намерениями» и «претензиями»... Надо забыть свои личные цели и свои субъективные задания, ибо всякая игра имеет *свою предметную цель* и свое собственное задание. Этой цели мы и должны отдаться, чем наивнее, чем непосредственнее, чем цельнее, тем лучше.

А когда он настанет, этот радостный миг жизни, надо его беречь, ограждать, любить; — все забыть и жить им одним, как замкнутым, кратковременным, но прелестным мирозданием...

Тогда нам остается только — благодарно наслаждаться и в наслаждении красотой находить исцеление.

А если однажды настанет нежеланный миг и наша радость разлетится «легкими брызгами», тогда не надо роптать, сокрушаться или, Боже избави, отчаиваться. Тогда скажем угасшему мигу ласковое и благодарное «прости» — и весело, и спокойно начнем сначала...

Вот чему я научился у мыльного пузыря.

И если кто-нибудь подумает, что самый мой рассказ не больше, чем мыльный пузырь, то пусть он попробует научиться у моего рассказа той мудрости, которую мне принесло это легкое, краткожизненное, но прелестное создание... может быть, ему это удастся...

7. ОБЛАКА

Я полюбил облака еще ребенком. Я не знал, за что, и не мог бы тогда рассказать, чем они меня пленяют. Но я мог любоваться ими без конца. Они казались мне живыми существами, которые сами плывут в блаженную даль и меня зовут с собою: там жизнь воздушна и светла, легка и радостна. Какие-то желанные сны просыпались в душе, какие-то чудесные сказки завязывались в этих облаках. Я засматривался на эти воздушные сказки, пока не заболела шея и не начиналось тихое головокружение; кто-нибудь из старших называл меня «ротозеем» и я ходил некоторое время, словно пьяный. О, любимые друзья моих детских мечтаний, кроткие, ласковые, озаренные... Мы ничего не требовали друг от друга, мы ничего не обещали друг другу; они только плыли надо мною, а я наслаждался ими и забывал мои детские огорчения...

Я уже давно вырос, но ребенок живет во мне по-прежнему и радуется на своих старых и всегда юных друзей. А говорят, будто на свете нет вечной привязанности... Как только жизнь становится мне в тягость, как только земные обстоятельства кажутся мне непосильными,— я обращаюсь к облакам, я ухожу в их созерцание и утешаюсь.

Совсем незаметно и неожиданно оказываешься в другом мире, живущем по иным законам и радостно принимающем тебя в свой состав. Какая дивная вознесенность надо всем и как она легка; она дается им сама собою, без малейшего труда: она у них врожденная. И потому они сами так легки, так скромны, так свободны от всяких притязаний; они, наверное, не знают ничего о своей величавости и вознесенности. Или, может быть, они все же смутно ощущают ту могучую, неизмеримую, божественную высоту, которая простирается над ними?..

И потом — эта тишина, это спокойствие, эта дивная беззвучность! Она изливается от них и воспринимается нами, как облегчение, как отпущение и освобождение. И в глубине души рождается Лермонтовская мечта¹³, стать как они: приобщиться их беззаботности, бесстрастию их воздушных игр, безболию и безволию этих светорожденных созданий.

Как быстро они возникают! Как покорно они сливаются, растекаются и тают; как охотно они исчезают совсем,

приемля свою судьбу и поддаваясь легчайшему ветерку. И все-таки чудится иногда, что они уверенно и настойчиво плывут к своей цели, как если бы они точно знали, куда спешат.

И вечно меняется их образ, их очертание, их строение. Каждый миг обновляет их; каждый час делает их неузнаваемыми; каждый день несет нам небывалое и неповторимое. Неисчерпаемое богатство воздушных форм; непредвиденные сочетания бытия и небытия, пустоты и полноты; неожиданные, неопишуемые оттенки света и тени, тусклой серости и ликующих красок. То простота млечного покрова; то прозрачность тончайшей сети; то сложнейшее нагромождение тяжелых масс. И подчас их облик так странно напоминает наши земные формы. Не горы ли вознеслись там, вдали, закрывая горизонт? А здесь — не развалины ли небесного замка? Как таинствен этот вход в огромную пещеру!.. Проползают и исчезают драконы. Проплывают лежащие ели. Слагаются и уносятся крылья ангелов. Вихрями выются легкие кудри. Плывут воздушные корабли. Встают грозные, играющие видения. И все исчезает, и вот — на голубом небе ни облачка. Сколько чудесных поэм, сколько блаженных возможностей, сколько мгновенных поэм, вызываемых к жизни и отзываемых неведомым поэтом мироздания. И все — всегда — прекрасно; прекрасно и значительно; даже и тогда, когда все сольется в серую, сумрачную, безнадежную пелену. Великое зрелище. Щедрый дар. Небесная картина. Божия беседа и Божие утешение.

Этот дар дается нам для того, чтобы нам было куда спастись из этого перенапряженного, замученного мира, с его злобою и тяготою, с его чрезмерными требованиями. Здесь нам открывается дверь в царство легкой безответственности и прекрасного безразличия. Тут от нас никто ничего не требует, никто ничем не грозит и ни к чему не принуждает. Нам не нужно желать, добиваться, судить, отвергать, сосредоточиваться и помнить. Здесь не надо бороться и негодовать. Здесь можно забыться. Пусть задремлет утомленная воля, пусть исчезнут напряженные помыслы, пусть успокоится огорченное или раненое сердце. Человек предается легкому и свободному взиранию; ему дается счастье чистого и бескорыстного созерцания; он вступает в некий божий театр, древний как мир и благостный как его Творец.

Облака дают нам самозабвение, уводят нас от дневной заботы, смягчают и утоляют наш гнев, разрешают все судороги души, угашают ее жадность, рассеивают ее сумраки и смягчают ее упрямство,— столь бесстрастно и свободно их течение, столь кротко и благодушно их легкое естество. Успокаивается ожесточенная воля,— и сладостно становится человеку ничего не желать и иметь право на безволие. Отдыхает утомленная мысль,— и упоителен оказывается покой бездумия, рассредоточенного и наивного неразумения. Изболевшееся сердце перестает любить или не любить, звать или возмущаться,— целебно льется в него бесстрастие тишины, смирения и благодарности. И вся душа очищается, созерцая этот символ земной отрешенности и небесной благости,— все покрывающей и прощающей щедрости.

Если бы мы чаще и дольше созерцали облака, то мы, наверное, сами стали бы лучше. Ведь это живые сказки, сказки о том, как сбываются несбыточные желания... Или, может быть, это верные тени высших, небесных сил? Может быть, это дым каминовый, клубами овевающий незримый алтарь Божий? Почему сердце мое трепещет от предчувствия, когда заходящее солнце освещает это мощное, грозное облако, как бы благословляя его и даруя ему невиданную красоту? Почему я чувствую иногда, что по этим облакам, во всей силе и славе их, мог бы шествовать сам Господь Вседержитель? Может быть, это просыпается во мне довременная память о том, что совершалось в древнем бытии вещей? Или, может быть, я сам некогда был облаком и ныне радостно узнаю моих древних братьев?

Кто созерцает облака и живет в них сердцем, тот видит сны наяву, сны о возможном и приближающемся совершенстве... Может быть, это снятся нам дивные помыслы Божии, легким дуновением покинувшие лоно Его?..

8. О ЛИШЕНИЯХ

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем сафьянном переплете и сказала: «Вот тебе альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим; и пусть каждый из нас напишет тебе что-нибудь на память»... Вот было разочарование!.. Мне так хотелось оловянных солдатиков, они даже по ночам мне снились... И вдруг — альбом. Какая ску-

чища... Но дедушка взял мою сафьянную тетрадь и написал на первой странице: «Если хочешь счастья, не думай о лишениях; учись обходиться без лишнего»... Да, хорошо ему было говорить: «не думай»... А мне было до слез обидно. Но пришлось помириться...

Я тогда и не заметил, как глубоко меня задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем не хотел: это была прямая насмешка надо мною и над моими солдатами. Но позднее... И потом еще много спустя... У меня было так много лишений в жизни... И всегда, когда мне чего-нибудь остро недоставало или когда приходилось терять что-нибудь любимое, я думал о сафьянной тетради и об изречении деда. Я и сейчас называю его «правилом счастья» или «законом оловянного солдата». Кажется, тут замешана и сказка Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был малый — прошел через огонь и воду, и даже глазом не моргнул...

А теперь этот закон кажется мне выражением *настоящей жизненной мудрости*. Жизнь есть борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое. Конечно, тут являются искушения и опасности; и каждая опасность есть в сущности угроза. Если рассмотреть все эти угрозы, то все они приблизительно одинаковы: *они грозят лишениями*. Потому, что так называемые «унижения» суть тоже лишения в вопросах независимости, признания со стороны других и жизненного успеха; эти лишения бывают, конечно, наиболее тягостными. Нельзя примириться с утратой истинного достоинства и уважения к себе, но нельзя принимать к сердцу отсутствие успеха у других, а также поношение и клевету. Мы должны уметь обходиться без жизненного «успеха», без «почета» и без так называемой «славы».

И вот, если я буду бояться таких и им подобных лишений, то мне придется отказаться от главного, *предметного успеха в жизни* и от победы в жизненной борьбе. А если я хочу *предметной* победы, то я должен *пренебречь лишениями и презирать угрозы*. То, что иногда называют «крепкими нервами», есть не что иное, как мужественное отношение к возможным или уже начавшимся лишениям. Все, что мне грозит, и притом часто *только* грозит и даже не осуществляется, есть своего рода лишение, — лишение в области еды, питья, одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья

и т. д. И вот, человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель и желающий предметного успеха и победы, должен *не бояться лишений*; мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы или как бы выдержанный «экзамен на победу». Тот, кто трепещет за свои удобства и наслаждения, за свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему «ахиллесову пяту» и будет скоро ранен в нее: он будет ущемлен, обессилен, связан и поработан. Ему предстоит жизненный провал...

Всю жизнь нам грозят лишения. Всю жизнь нас беспокоят мысли и заботы о возможных «потерях», «убытках», унижениях и бедности. Но именно в этом и состоит школа жизни: в этом — подготовка к успеху, закал для победы. То, чего требует от нас эта школа, есть *духовное преодоление угроз и лишений*. Способность легко переносить заботы и легко обходиться без того, чего не хватает, входит в искусство жизни. Никакие убытки, потери, лишения не должны выводить нас из душевного равновесия. «Не хватает?» — «Пускай себе не хватает. Я обойдусь». ...Нельзя терять священное и существенное в жизни; нельзя отказываться от *главного*, за которое мы ведем борьбу. Но все несущественное, повседневное, все мелочи жизни — не должны нас ослеплять, связывать, обессиливать и поработать...

Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.

Во-первых, у него должна быть в жизни некая *высшая, все определяющая ценность*, которую он действительно больше всего *любит* и которая на самом деле *заслуживает* этой любви. Это и есть то, чем он живет и за что он борется; то, что освещает его жизнь и направляет его творческую силу; то, перед чем все остальное бледнеет и отходит на задний план... Это есть священное и освящающее *солнце любви*, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны... Именно таков путь всех героев, всех верующих, исповедников и мучеников...

И, во-вторых, человеку нужна способность *сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою волю и свое воображение* — не на том, чего не хватает, чего он «лишен», но *на том, что ему дано*. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет всегда голоден, завистлив, заряжен нена-

вистью. Вечная мысль об убытках может свести человека с ума или уложить в гроб*^{*}; вечный трепет перед возможными лишениями унижает его и готовит его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное ему, тот будет находить *в каждой жизненной мелочи новую глубину и красоту жизни*, как бы некую дверь, ведущую в духовные просторы; или — вход в сокровенный Божий сад; или — колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия родниковую воду. Такому человеку довольно простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться перед ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком¹⁴, чтобы постигнуть строй природы в его закономерности; ему нужен простой луч солнца, как Диогену¹⁵, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то ученики спросили у Антония Великого, как это он видит Господа Бога? Он ответил им приблизительно так: «Ранним утром, когда я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу, как солнце встает, слышу, как птички поют, тихий ветерок обдувает мне лицо — и сердце мое видит Господа и поет от радости»¹⁶...

Каким богатством владеет бедняк, если он умеет быть богатым...

Это значит еще, что лишения призывают нас к сосредоточенному созерцанию мира, так, как если бы некий сокровенный голос говорил нам: «В том, что тебе *уже дано*, скрыто истинное богатство; проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе *не дано*, ибо оно тебе не нужно»... Во всех вещах мира есть *измерение глубины*. И в этой глубине есть потаенная дверь к мудрости и блаженству. Как часто за «богатством» скрывается сущая скудость, жалкое убожество; а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием...

Поэтому нехорошо человеку обходиться без лишений; они нужны ему, они могут принести ему истинное богатство, которого он иначе не постигнет. Лишения выковывают характер, по-суворовски воспитывают человека к победе, учат его самоуглублению и обещают ему открыть доступ к мудрости.

И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня

* Ср. рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда».

в жизни. Но о моей синей сафьянной тетради, научившей меня когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную игрушку, но открыла мне доступ к истинному богатству. И *ее* — я не хотел бы лишиться в жизни...

9. О ЗДОРОВЬЕ

«Как это томительно, все время думать о своем здоровье... вечно беречься, всего опасаться, обходиться без запрещенного и все спрашивать: не повредит ли мне то-то и то-то? Вся жизнь наполняется страхом и опасениями... Все время наблюдаешь за собой, живешь с оглядкой, становишься сам себе тюремным наблюдателем... Радость жизни исчезает. Душой овладевает мнительность, ипохондрия. Не жизнь, а прозябание. Кому и зачем нужна такая жизнь?»...

Так жаловался я однажды в письме к моему деду, когда у меня начался процесс в легких и я должен был лечь в санаторию на много месяцев. Вот была тоска! Один этот градусник три раза в день, который я называл тогда «тюрьмометром»... Я был молод, подвижен, разговорчив и как раз начал интересную научную работу, которая требовала постоянных справок в библиотеке и выписок. И еще одно: я был влюблен... и не уверен в ее отношении ко мне. Ах, как я тогда терзался!..

Милый мой дед... Он давно уже скончался... Но я сохранил его ответное письмо. Оно настолько значительно и глубокомысленно, что его следовало бы непременно печатать. У моего деда философия выростала из сердца, питалась созерцанием и сливалась с жизнью; но больших философских трудов после него не осталось.

Вот его письмо от слова до слова.

«Ах ты, мой нетерпеливец, — писал он мне. — Чего ты томишься? Ведь я по письму твоему слышу, как ты тоскуешь. Пожалуйста, успокойся и не мешай своему Врачу. Да нет, не санаторному, Бог с ним; он все равно будет делать свое дело. Я разумею *твоего собственного, внутреннего* Врача, с которым ты не в ладах. А ты о нем ничего и не знаешь? Тогда я должен рассказать тебе про него. Но ты изволь спокойно лечь, поудобнее. Вот так, на спину... Удобно? Ну и не напрягайся, не делай угрюмого лица! Если будешь предаваться мрачным мыслям, то ничего не услы-

шишь и не поймешь из моего рассказа. Пожалуйста, не хмурь бровей. Дыши спокойно и глубоко, будто заснуть хочешь. Ну вот, а теперь слушай меня сердцем и внутренно проверяй каждое мое слово.

У всякого из нас есть свой собственный, внутренний Врач. Его нельзя ни видеть, ни слышать. Он ведет скрытую, таинственную жизнь и не отвечает на прямые вопросы. Но к нему можно и должно «прислушиваться». Изредка мы его видим во сне, но обыкновенно не знаем, что это он. Тогда нам снится какой-то симпатичный, дружелюбный человек, к которому мы питаем полное доверие; он очень благожелателен, сопровождает нас, молча помогает нам в делах и устраняет всякие неприятности; обычно мы не видим даже его облика, он живет как будто в тени; мы чувствуем только доброе и заботливое существо, и просыпаемся с чувством благодарности, ободренные и обласканные... Это и есть наш внутренний Врач, который нам дан на всю жизнь и с которым мы должны жить в ладах...

Ты, конечно, спросишь, как до него добираться? А видишь ли, у нас есть особый дар *внутреннего созерцательного внимания* и нам надо упражнять его. Надо прислушиваться к жизни нашего собственного инстинкта, той великой и умной подземной силы, без которой наша жизнь была бы совсем невозможной. Эта сила растит и строит человеческий организм — это удивительное сожительство или «земное единожительство» личного тела и личной души. Он печется о нас, ведет нас и охраняет, присутствует во всех органах нашего естества. Можно было бы сказать, что каждому человеку дан от Бога некий внутренний «строитель». Это он «просыпает» тебя по утрам, потому что ты «достаточно» поспал; он именно «просыпает» тебя изнутри, тогда как другие люди могут тебя только разбудить. Ты видал, вероятно, людей, которых никак не добудишься? Понятно почему: ты их насильно и произвольно будишь, а «их» органически-внутренно «спит»... Ты поскользнешься на ходу — а он уже позаботился о том, чтобы ты не упал: он поддержал твое равновесие. Ты порезал палец, и уже все сделано для того, чтобы ты не истек кровью; и пока ранка не заживет, она будет изнутри залечиваться твоим заботливым Врачом. Что бы ты ни предпринял, он все время заботится о тебе. Ты сегодня много поработал и хотел бы присидеть над книгами еще всю ночь;

он считает это вредным и заявляет об этом в форме усталости и сонливости. И если ты будешь настаивать на своем, начнешь много курить и пить крепкий кофе, то ты окажешься с ним в разладе и он может устроить тебе внутреннюю «забастовку». Трудный и напряженный день прошел, тебе пора спать, и он сигнализирует тебе об этом: глаза твои слипаются, ты начинаешь зевать и становишься вял и сонлив. Это от него идут чувства голода, жажды, холода, скуки и тоски: ты не бережешь себя, ты не знаешь, что тебе нужно, а он знает все потребности твоего организма и бережет тебя. Это он предупреждает тебя о том, что тебе нужно больше углеводов (сахар), меньше соли, гораздо больше витаминов; это от него «мороз по коже», чихание, зубная боль, повышенная температура, обложенный язык. Если ты не считаешься с этим — тем хуже для тебя; он не может и не будет «уговаривать» тебя, а сделает тебя слабым и больным — одумывайся и опоминайся, забрел в тупик — ищи выхода...

О каждом излишестве (вино), о каждом упущении (отморозил нос) он все время дает тебе знать. Живой человек есть целая система равновесий: равновесие тепловое, пищевое, сонно-бодрственное; равновесие в напряжении мускулов и нервов; кровообращение, мера движения и покоя, мера горя и радостей, мера чувственных наслаждений и мера целомудрия, мера сосредоточенной мысли и мера отвлечения и развлечения. Это он блюдет во всем необходимую меру и надлежащее равновесие и знает, что тебе необходимо; это он сокращает твою работоспособность, посылает тебе мигрень или бессонницу, или желание прыгать и бегать; или валит тебя на теплую лежанку, или устраивает тебе длительный нейроз.

Это он побуждает беременную женщину есть мел или древесный уголь, потому что они ей необходимы для ребенка. Когда ты в темноте подходишь к незримой для тебя опасности — он предупреждает тебя замиранием сердца и чувством непонятного ужаса. Надо приучиться прислушиваться ко всему этому. Тайнственный Врач твоего инстинкта мудрее и дальновиднее тебя. Он во всем требует *равновесия, целесообразности и меры*. Он есть воплощение *молчаливой творческой мудрости*. А от нас он требует — *внимания и повинования*; и за это он посылает нам *здоровье*: само себя поддерживающее равновесие жизни, и легкое, бодрое самочувствие...

Это искусство прислушиваться к бессловесному голосу своего инстинктивного Врача — современный человек, к сожалению, утратил. Первобытный человек обладал этим даром и был счастлив. Но теперешний злосчастный умник не способен к этому. Он гордится своим рассудочным мышлением и воображает, что сознательная мысль составляет главную суть и силу жизни. Он воображает, что «культура» одолела природу и подчинила ее себе. Он самодовольный рассудочник и гордец; и думает, что его произвол призван покорить богозданную природу и, может быть, даже впоследствии заместить ее. Он доходит до того, что выдумывает всякие противоестественные теории и способы жизни и ставит все вверх ногами. А его безбожие ослепляет его все более и более и завлекает его все дальше и дальше. *Грех противоестественности* становится все глубже у современного человека — и ему уже не избежать справедливого возмездия. Упорное неповиновение природе может *сломать человеку хребет*, ибо тот, кто восстает против богозданной природы, — *бунтует против Бога*.

Поэтому нам надо кое в чем вернуться *назад* — к *богозданной природе*, чтобы вернуть себе дары неба. Мы должны научиться ладить с нашим инстинктивным строителем и таинственным Врачом. Мы должны научиться вопрошать его, не надеясь на словесный ответ: чего бы ему «хотелось», чего бы он желал «избежать», что ему подходит и что — нет, и что он решительно отклоняет как вредное. Тут не следует умничать, не надо ничего изобретать самому. Советоваться со своим Врачом совсем не значит потакать своим страстям и вожделениям. Это — совсем иное: человек внутренне сосредоточивается и прислушивается к голосу своего организма; он внемлет голосу своего инстинкта, но не его слепоте и страстности, не его противодуховной жадности, а его *духовной мудрости*, данной ему от Бога и взлелеянной от природы. Человек как бы *возрождает в себе тот акт, при котором дух владеет инстинктом до самой его глубины и из самой его глубины*. Он совещается с *духом своего инстинкта* и олицетворяет его в образе своего «Врача». Это пробуждает в душе древнюю, первозданную глубину, которая, может быть, уже совсем заглохла, а может быть, только засушена рассудком. Человек как бы стучится в дверь своего богоданного и естественного Врача, чтобы приобщиться его самодетельной мудрости и возоб-

новить в себе *органическое самочувствие природы*. Врач отвечает без слов; его мудрость не «логична», а «органична»; он молча указывает «нужное», «одобряет», «подтверждает» или «отводит — не советует». Именно там, в этой глубине *инстинктивной духовности* живет творческое зерно здоровья, тот дивный *дар органического самоцеления*, с которым мы должны вступить в связь.

Вот в этом-то и дело, мой нетерпеливый мальчик! Ты тоже утратил живую непосредственную связь с твоим строителем и Врачом; и вследствие этого ты заболел. Теперь тебе надо во что бы то ни стало восстановить эту связь. Тебе нужно не просто вылечиться от кашля и заростить «раненое» легкое; тебе нужно начать новый образ жизни. Ты должен вступить в живой ритм природы, как бы окунуться в поток самоцеления и естественного самоподдержания. Это нельзя сделать насильно, простым решением, в кратчайшее время. Ты должен постепенно освоиться с мыслью, что здесь надо не приказывать, а повиноваться; не эксплуатировать свои силы по произволу, а блюсти *меру* напряжения и *равновесия* во всей жизни. Только *повинуясь природе, можно ей повелевать*. Кто живет и творит вместе с ней, из нее, того она несет охотно и радостно как своего господина. Ибо природа, подобно судьбе, ведет послушного и насильно тащит непокорного. Поэтому, если ты будешь доверять своему инстинктивному Врачу и слушаться его тихих указаний и предупреждений, то тебе не надо будет постоянно тревожиться о своем здоровье: он будет делать это за тебя. Ты будешь жить, любить и творить, а он будет поддерживать твое здоровье. Ты будешь блюсти его органические пожелания, а он будет идти навстречу всем твоим духовным требованиям. Вы будете сообща — живым, здоровым единством. И ты будешь здоров и будешь наслаждаться прекрасным, уверенным спокойствием за себя и за свое дело.

Так-то, мой милый. Здоровье есть нечто большее, чем люди обычно думают... Здоровье есть предначертанная Богом и угодная Ему гармония между личною природою и личным духом. Каждый человек создан для здоровья и призван к тому, чтобы быть здоровым. В больном виде мы не соответствуем нашему назначению и Божьему замыслу; какая Ему радость от наших уродств и мучений?.. Он посылает нам недуг для того, чтобы мы выздоровели,—

как путь к здоровью. Поэтому болезнь есть как бы таинственная запись, которую нам надо расшифровать: в ней записано о нашей прежней, неверной жизни и потом о новой, предстоящей нам, мудрой и здоровой жизни. Этот «шифр» мы должны разгадать, истолковать и осуществить. В этом — *смысл болезни*.

И все это есть *чудо*, живое чудо природы, великое чудо Божие, которого мы по привычке не замечаем; мы проходим мимо него, и наше заглушенное сердце остается холодным и безразличным. Подумай только, как это дивно: в каждом из нас заложена способность осуществлять в себе задуманную Богом гармонию духа, души и тела...; каждому из нас дан таинственный строитель и Врач, призванный к осуществлению этой гармонии...; каждый из нас обладает даром погрузиться в себя духом и воззвать к этой предначертанной и обетованной гармонии... Это значит сразу — вернуться к *природе и придать себя воле Божией*...

Но не верь мне на слово. Постарайся увидеть это все самостоятельно. Воспользуйся для этого своей болезнью: она должна не только исцелить тебя (ибо в этом ее призвание), но и умудрить. А мудрость дается только через испытание и страдание. Поэтому не сердись на свою болезнь; «дай себе отпуск»; представь себе, что ты уехал в путешествие и должен привести с собою — дружбу со своим Врачом, дар здоровья и органическую мудрость. Пережив все это сам, проверь, удостоверься и доведи себя до очевидности. Для этого нужно терпение. Все прекрасное на свете растет и развивается медленно. А ты ведь хочешь именно прекрасного — предначертанной от Бога жизненной гармонии. Возрасти ее, и вся жизнь твоя озарится по-новому: и любовь, и семья, и творчество, и старость»...

С тех пор я и в самом деле пережил все это, проверил, удостоверился и дошел до очевидности. А письмо деда я читал и перечитывал много раз, так что теперь знаю его почти наизусть...

10. МИРОВАЯ ПЫЛЬ

Притаившись, мягким пластом лежит она в колеях проселочной дороги и ждет только повода, чтобы взмыть и полететь: ветер ли заиграет, лошадь ли поднимет ее копытом или колесом — ей все равно, взлетит и облепит пут-

ника, и он не так легко отделается от нее. А если налетит настоящий вихрь и начнет вертеть, то она понесется смерчем, вздымаясь и торжествуя... Куда ни взглянешь — пыль повсюду. И в солнечном луче летают и золотятся миллионы легких пылинок: сверкнут, покрасуются и исчезнут в тени; значит, и тень полна ими... Где молотят или веют, там ей свободный полет: ее отдувает в сторону, а тяжелое зерно тихо струится в мешки и закрома. И напрасно хозяйки стараются отделаться от нее, выбивая ее из ковров и стирая ее с мебели: они только будят ее ото сна и наполняют ею воздух. Пыль оседает на черных лицах трубочистов и угольщиков; слеживается пластами на забытых книгах; ищет себе пристанища в мировом пространстве. А когда самому поднимает песок пустыни и несет его ураганом навстречу страннику, то она заслоняет ему самое солнце и дышит ему в лицо гибелью.

Кто вдумается и оглядится, тот найдет ее повсюду: и в золе от костра, и на свежем яблоке, и в человеческих легких, и в людской болтовне, в скучающей душе и в глупой книге, в хвосте кометы и в распадающемся обществе, и особенно во всех гражданских войнах и революциях. Все ветры бытия кружат ее во всех пространствах, отпавшую, беспочвенную и заблудшую; с виду безвредную, но в сущности — обременительную и несчастную, беспризорную и беспокойную. Ибо она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия и стала живым символом мирового хаоса и мировой угрозы. Пыль — это неустроенное множество, это хаос мировой безработицы, это надвигающийся распад и разложение.

Весь мир ищет единения и устройства; вся жизнь его проходит в борьбе за живой, творческий порядок; и смысл мирового множества в том, чтобы найти себе верную принадлежность, целесообразное взаимослужение, творческое равновесие. Так обстоит на всех ступенях бытия: и в малой клетке и в величавом течении планет, и в полевой былинке и в личной душе, в произведении искусства и в человеческом обществе. Всюду мир живет *необходимым* и выбрасывает *излишнее*; и там, где лишнее бывает извергнуто, оно или распадается в мировой прах, или смыкается в болезненное новообразование, грозящее расстройством и гибелью.

И вот в этом великом созидательном вращении мира ма-

лый атом имеет свое призвание: он должен верно постигнуть свою природу и свое отношение к целому, утвердить свою внутреннюю свободу и свое бытие и добровольно включиться в общую связь вселенной, в ее трудовой порядок. Если это удастся ему, то жизнь его сложится верно и счастливо: он будет развиваться и цвести, и этим расцветом своим служить великому делу вселенной. Если же это ему не удастся, то он не найдет ни своего служения, ни своего ранга; он окажется отпавшим и беспочвенным, одиноким и неустроенным, и присоединится к мировой пыли. Одинокая и безработная пылинка, бесцельно вращаясь в жизни, носится туда и сюда, как отвергнутый изгой, как праздный вертопрах, как беспризорное дитя мира. Жизнь ее лишена смысла и цели, ибо у нее нет питающей почвы и нет органической сопринадлежности; ей остается только слоняться в безделии, томиться и бунтовать... Существо, отколовшееся от мира, не участвует в великом хоре вселенной, и его личный голос не ведет свою самостоятельную и верную мелодию. Оно не несет совместно с другими бремя мирового бытия; и именно поэтому для него становится невыносимым и личное бремя жизни. Счастье примирения, включенности, вселенского братства не дается ему. Его судьба иная: вечная бесприютность, вечная жалоба, вечный протест, пока оно не найдет своего призвания, своего органического места, своего *служения*, а потому и *счастья*: ибо на свете нет счастья вне служения и нет покоя в одиночестве. Атом мира, нашедший *себя в мире* — уже не жертва «случая» и не дитя хаоса: он обретает свою *личную свободу* в служении *мировой необходимости* и вступает во вселенный хор, поющий осанну...

Правда, есть в мире «мудрость», которая пользуется и пылью, как пассивным орудием, как слепым и притом страдающим средством — пусть оторвавшимся и несчастным, но все же полезным целому, пусть несогласным и бунтующим, но вынужденным повиноваться; так что и хаос некоторым образом таинственно служит космосу. Но эта безжалостная «мудрость» не дает оторвавшемуся атому ни удовлетворения, ни покоя, предоставляя ему слепо страдать и проклинать свою судьбу. Отверженное дитя мира, отовсюду выколачиваемое и выметаемое, блуждающее в пространстве наподобие вечного жида, не может утешиться мыслью о том, что и пыль, и грязь, и бактерии,

и злодеи играют какую-то неясную роль во всеобщей «экономии мира»: эта мысль не дает ему ни избавления, ни счастья. Все неустроенные атомы мира — образуют единую, великую проблему мироздания, великое бедствие и грозящую опасность. Рано или поздно они начинают объединяться и поднимают восстание — то в космическом пространстве, то в пустыне, охваченной самумом, то в форме болезненного «новообразования» организма, то в виде социальной революции или гражданской войны...

Такова великая «организационная» задача мира: пыль должна быть принята и включена в живой порядок вселенной и общества, она требует от нас избавления и исцеления — счастья через свободное служение. Это не задача «мига» или «часа», это не случайное заболевание, исцеляемое по какому-то единому рецепту: нет, это задание всегдашнее, вечное, требующее постоянных усилий, все новых и новых *мудрых* и в то же время *бережных* мер. Ибо в великом вращении и формировании мира всегда будут вновь и вновь появляться отпавшие и неустроенные атомы, выброшенные, не приспособившиеся, «потерявшие голову» и неспособные вложиться в работу целого. И всегда будет возможность, что такие блуждающие атомы, протестующие и ожесточенные, сгрудятся и затянут мрачный гимн злобы и отвержения — протестуя против неустроившего их Творца, грозя космосу завистью и ненавистью, неся другим людям месть, уравнение и порабощение...

...Однако великая проблема «пыли» имеет еще иную сторону и иное значение. Ибо во *внутренней* жизни человека имеется *свое* распыление и *своя* особая пыль. Живя изо дня в день, мы совсем не замечаем, как душу нашу засыпает пыль ничтожных, повседневных мелочей и как самая душа наша начинает от этого мельчать, распыляться и вырождаться. Каждая человеческая душа имеет призвание стать неким гармоническим единством, живущим и действующим из единого духовного центра. Человек должен обладать духовно укорененным характером. Он должен быть подобен городу с единым крепким кремлем, в котором покоятся почитаемые им святые. Или еще: он должен быть подобен художественному произведению искусства, в котором все обосновано единою, главной идеею. Поэтому он не должен позволять жизни заносить себя пылью и распылять себя по мелочам.

Вот почему нам надо постоянно отличать духовно-существенное от неважного, главное от неглавного, руководящее от пустяшного, священное и значительное от мелочного и праздного; и притом для того, чтобы все время перелagать ритмический акцент жизни на значительное и священное. Тут дело не в бегстве от пустяков, не в важничанье, не в педантизме или ханжестве, а в укреплении духовного вкуса и распознавании вещей. Надо постоянно приводить наши жизненные содержания в связь с нашим духовным центром, измеряя их *его* светом и *его* содержанием так, чтобы они освещались из него и обличали свое истинное жизненное значение: то, что устоит в свете этого центрального огня и оправдается, то есть благо, то подлежит избранию и предпочтению, а все иное, не оправдавшееся, само будет обличаться и отпадать. Это и есть процесс очищения от душевной пыли. Не все потребно духовному организму для его внутреннего строительства; то, что не может служить ему, пусть выделяется и не живет в нашем внутреннем пространстве. Жить — значит различать, ценить и выбирать; кто этому не научится, тот будет засыпан пылью жизни. Жить — значит укорениться в главном и организовывать из него свой характер и свое мировоззрение; кто не способен к этому, тот сам распадется в прах и потеряет сам себя...

Все ничтожные мелочи нашего существования — все эти несчастья, низменные и пустые «обстоятельства» жизни, которые желают иметь «вес» и «значение», а на самом деле лишены всякой высшей сущности; все эти праздные, беспризорные жизненные содержания, несущиеся на нас непрерывным потоком, все эти засыпающие нас пошлости, которые претендуют на наше время и на наше внимание, которые раздражают нас, возбуждают и разочаровывают, развлекают, утомляют и истощают — все это *пыль*, злосчастная и ничтожная пыль жизни... И если мы не сумеем избавиться от нее и будем жить ею, отдавая ей пламя нашего существа; если мы не воспитаем в себе лучшего вкуса и не противопоставим ей более сильную и благородную глубину духа, то пошлость поглотит нас: наши жизненные деяния утратят высший смысл, станут бессмысленными и безответственными; наш жизненный уровень станет низким; наша любовь станет капризной, нечистой и нетворческой; наши поступки станут

случайными, неверными, предательскими — и дух наш задохнется в пыли бытия...

Тогда наша жизнь окажется поистине «даром напрасным, даром случайным» (Пушкин)¹⁷; она утратит свой смысл и свое священное измерение. Человек, доживший до этого, блуждает как бы в тумане и видит, по слову Платона, лишь пустые тени бытия¹⁸. Занесенный прахом, он сам поднимает прах, целые облака пыли, и именно поэтому он, по слову епископа Бёркли¹⁹, из-за поднятой им пыли не видит солнца. А когда им овладевают страсти, то влага этих страстей, смешиваясь с прахом его ничтожной жизни, становится липкой грязью, которою он и наслаждается, по словам Гераклита...

Притаившись у дороги нашей жизни, лежит вокруг нас эта коварная пыль; и лучше нам не тревожить ее и не посылать ее клубы по ветру. Незаметно забивается она во внутреннюю горницу нашей души и оседает на всем, что в ней укрыто; вот почему нам необходимо умение очищать от нее наши душевные пространства, и тот, кто этим искусством пренебрегает, рискует однажды задохнуться в своей собственной пыли. Ибо от пыли вырождается в человеке все: и мышление, условно «комбинирующее» относительные, отвлеченные понятия (логическая пыль); и беспочвенная, беспредметно играющая образами фантазия (эстетическая пыль); и воля, оторвавшаяся от своих священных корней, циничная, властолюбивая и жестокая, воспринимающая человечество как безличную, политическую пыль; и холодное и омертвевшее сердце, разучившееся любить и засыпаемое нравственно безразличным прахом существования...

А если сердце заглохло, то человек наполовину мертв; и не справиться ему с жизненной пылью. И современный мировой кризис есть кризис заглохшего сердца и восставшего праха.

11. О ЩЕДРОСТИ

Вы не знали моего прадеда?.. Жаль... Это был добрый и привлекательный человек... Ему было уже 76 лет, когда Господь отозвал его в Свои селения. Он был резчик по дереву, большой мастер; и тонкие работы удавались ему прямо удивительно: кружево, да и только, и с каким вку-

сом! А больше всего он радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному, талантливому человеку. Тогда он приговаривал: «Ведь этим я вошел в его жизнь, я помог ему найти в жизни хоть маленькую радость»... — и улыбался счастливой улыбкой.

А, значит, вы его все-таки встречали?.. Да, да, это был он: с длинными, белыми волосами... Высокий лоб, мечтательные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая улыбка: будто все вокруг улыбнулось... Да, и последние годы он ходил немного сгорбившись. Вот о нем-то я и хотел вам рассказать.

Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь, то мне часто кажется, что люди придают чрезмерное значение всякому имуществу и богатству, как будто большое состояние равносильно большому счастью. А это совсем не верно. Кто так думает и чувствует, тот, наверное, проживет несчастливую жизнь. И этому я научился у моего покойного прадеда.

Ему всю жизнь приходилось зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему подчас не легко; и несмотря на это, он был одним из самых счастливых людей на свете. Вы спросите, как ему это удавалось?.. А это он и называл «искусством владения» — или щедростью.

Он был седьмым в своей семье, и притом младшим; одни мальчишки. Старшие братья были все черствые и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему не давали. Родители у него умерли рано, и он едва мог дотянуть до конца городского училища. Тогда братья заявили ему: «Изволь сам себе зарабатывать пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал учиться тому, к чему его особенно тянуло: резьбе по дереву и игре на скрипке. С резьбой у него сразу пошло; вещи его очень нравились. И он объяснял это так: «Я *от души* это делаю, с *любовью*, а люди это чувствуют; ведь они все ищут в жизни любви, прямо голодают по ней; вот им и нравится»...

Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то тогда была дешева), но платил сам и за скрипичные уроки. Тогда он ушел от братьев и стал жить у бездетного дяди. Там его тетка очень любила; так и называла его — «голубчик мой». А в нем и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он позднее пополнял насытым чтением.

Бывало, только возьмет в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные. И горечь жизни забудешь: будто все заботы и тягости с тебя сняли и только сердце поет. Как он играл русские народные песни, да еще в настоящих древне-народных тонах и гармониях... Он потом с Мельгуновым²⁰ водился и с гуслеями все дружил... Бывало, сам стоит серьезный, благоговейный; и только глаза сияют блаженством.

Вы спрашиваете про «искусство владения»? Сейчас, сейчас расскажу... Бедности он не знал. Но и богатым никогда не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам мне об этом рассказывал: «Обе были из твердого дерева и грубой резьбы. Таких нельзя любить. И никакого пения в них не было. А во владении они тоже ничего не понимали: обожали свое богатство, оно из них так и смотрело. Ведь у каждого из нас *свое главное* из глаз глядит, а у них глядела жадность». Позднее он женился на моей прабабушке и жил с ней душа в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна и первая певунья на свадьбах; все старинные свадебные песни знала и как зальется, так все слушают и не дышат.

Когда прадед начинал, бывало, рассказывать или советы давать, я мог слушать часами, неотрывно. Потом я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про владение.

«Слушай, малыш,— говорит он мне раз,— есть особое искусство владеть вещами; и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы *не зависеть от своего имущества*, не присягать ему. Имущество должно служить нам и повиноваться. Оно не смеет забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух — или ты им владеешь, или оно на тебе поедет. А оно — хи-и-трое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом. И тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим господином, а ты будешь его холопом. Оно станет *главным* в жизни, а ты будешь его привеском. Вот самое важное: человек должен быть *свободен*; да не только от гнета людей, но и *от гнета имущества*. Какая же это свобода: от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь; мое имущество покоряется. Тогда я им действи-

тельно *владею*, ибо *власть* в моих руках. Тут нельзя бояться и трепетать. Кто боится *за* свое богатство, тот трепещет *перед ним*: как бы оно не ушло от него, как бы оно не попергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его, и все-таки однажды, хотя бы в час смерти, покинет его навсегда...

Вот я вырезаю по дереву. Это удается мне потому, что я владею моим скобелем и могу делать с деревом все, что захочу. Поэтому я могу вложить в мою резьбу все мое сердце и показать людям, какая бывает на свете нежная красота и радость.

Или вот — на скрипке. Смычок и струны должны меня слушаться; они должны петь так, как у меня на душе поет. Любовь владеет *мною*, а я владею *скрипкой*; вот она и поет вам всем про радость жизни и про Божию красоту.

То же самое и с имуществом. Оно дается нам не для того, чтобы поглощать нашу любовь и истощать наше сердце. Напротив. Оно призвано *служить нашему сердцу и выражать нашу любовь*. Иначе оно станет бременем, идолом, каторгой. Недаром сказано в Евангелии о маммоне. Кто верует в Бога, тот не может веровать в богатство, а кто раз преклонился перед чужим или перед своим богатством, тот сам не заметит, как начнет служить дьяволу...

Дело не в том, чтобы отменить или запретить **всякое** имущество; это было бы глупо, противоестественно и вредно. Дело в том, чтобы, *не отменяя имущество, победить его* и стать *свободным*. Эта свобода не может прийти от *других* людей; ее нужно *взять самому, освободить свою душу*. Если мне *легко* думать о своем имуществе, то я свободен. Я определяю судьбу каждой своей вещи и делаю это с легкостью; а они слушаются. Мое достоинство не определяется моим имуществом; моя судьба не зависит от моего владения; я ему не цепная собака и не ночной сторож; я не побирушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе: где нужно, там легко списывать со счета; где сердце заговорит — с радостью дарить; снабжать, где у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея; не **требовать** возврата, если другому не в состоянии; и братски забывать **о** процентах. И

главное,— слышишь, малыш,— никогда не трепетать за свое имущество: «Бог дал, Бог и взял, да будет благословенна воля Его». Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство, а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства»...

«В умных книгах пишут,— сказал он мне раз,— что имущество есть накопленный труд, а по-моему, и труд, и имущество *от духа и для духа*. А дух есть прежде всего — *любовь*. Поэтому у настоящего человека имущество есть *запас сердца и орудие любви*. Богатому человеку нужно много сердца; тогда можно считать, что он заслужил свое богатство. Много денег и мало сердца — значит, тяжелая судьба и дурной конец».

Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские песни, одну за другой: «Верный наш колодец» и «Не пой, соловушка» и еще много других, а я сижу счастливый и слушаю...

И все это он навсегда врезал мне в душу. И песни эти я и сейчас не могу слышать равнодушно. Эх, сколько свободы и доброты в русском человеке! Какая ширина, и глубина, и искренность в его песнях!

И кажется мне, что прадед мой думал и жил, как настоящий мудрец...

12. РАННИМ УТРОМ

Отчего это я проснулся сегодня так рано? Может быть, это ночная бабочка заметалась на рассвете? Или донеслись тихие раскаты далекой грозы? Или души моей коснулся тот молчаливый укор просыпающегося мира, который настигает всякого, погруженного на заре в свои одинокие сны? Не знаю. Но только я вскочил с таким чувством, как если бы проспал что-то очень важное, и полусонный, растерянный — открыл окно в сад. И тотчас же меня охватила струя раннего воздуха, нежная прохлада, упительная щедрость мира...

Еле светало, но ночь уже шла к концу. Высоко-высоко в бледном небе тихо гасли звезды. Неуверенный, слабый свет разливался с востока, как бы робко спрашивая, не пора ли?.. Ночные тени уже таяли, но все еще пытались сохранить свои тайны. И каждое мгновение все менялось.

Вчера весь день было так душно... Все было подавлено

и надломлено зноем. Земля поглотила так много солнечной жары, что возвращала ее избыток, а мы, жалкие люди, томно слонялись в изнеможении, ища прохлады. И даже ветер своим горячим, большим дыханием не давал облегчения... Где же это все? Куда исчезло? Воздух чист и легкий; он струится весельем, играет. Он выздоровел, вернул себе свежесть и упоен такую радостью, что сразу захватывает, будит и опьяняет светлыми предчувствиями. И вся тварь Божия купается в нем, наслаждается, отвечает благоуханием или пением.

Сладостно пахнет сирень, сама изнемогая от своей щедрости; чуть доносятся струи от первых ландышей; густыми волнами катится от черемухи; и от времени до времени все заполняется дыханием соснового бора.

А у птиц сущее ликование; высвистывают все сразу с такой прямодушной откровенностью, будто за ночь досыта намолчались и теперь хотят сообщить миру все свои открытия; или будто они ясно и окончательно разрешили все вопросы жизни и должны провозгласить свои решения. Где-то вдаль чокает еще соловей, но уже слабо и утомленно. Зато остальное птичье население предается беззаветному веселью. Все пространства полны нежным щекотом, бодрым щебетом, близким посвистом и далеким граем; говор, лепет, восклицания и неожиданный громкий всписк; тут и короткая долбня, и долгая дудка, и капризное чивикание, и надоедный треск; перебой и перекличка, обрывы и раскаты. Птичье праздничное гулянье; птичий сумасшедший дом. А с высокого каштана все покрывает своими авторитетными возгласами певучая иволга. И все эти звуки четки как самый воздух. А воздух все светлеет, как бы расступается и показывает просыпающиеся краски мира. И только люди досыпают свои тяжелые, то угнетающие, то соблазнительные сны...

Вдруг — легкое, но совсем особенное, прохладное дунение, трепет и шелест в вершине большого тополя, скользящий шепот в высокой траве — и в чуть голубеющем небе загорается маленькое сонное облачко... Новый день начался...

Почему так упоителен этот ранний утренний час? Откуда это счастье, наполняющее душу? Что видим мы, что постигаем мы в эти девственные минуты жизни?

Древняя старушка с лучистыми глазами рассказывала

мне об этом, когда я был еще ребенком; и я поверил ей на всю жизнь.

«День-то Божий,— говорила она,— уж очень светел да нежен. Все освещает. Все видит, все слышит и знает. А это куда как тяжко... Сколько дурного на земле, сколько злобы и греха... Разве это вынесешь? Потому он и не может долго длиться. Ему надо скрыться и уйти; он и прекращается. Все обиды забирает он с собой, все горе, всю боль человеческую уносит. И приходит на его место тьма ночная, всех разгоняет, все огни гасит, все дневные грехи прекращает, чтобы не видно было ничего и чтобы все поприкончилось. А день тем временем отдыхает и выздоравливает. А когда ночь настанет, загораются звезды Божии, кротко светят, чистоту изливают, земле мир даруют, человекам благоволение. Вот от этой звездной чистоты и доброты все и очищается; угомоняется шум человеческий, ложится пыль земная, все яды душевные истребляются, вся духота греховная исчезает. Земной воздух становится опять легким и пречистым. И Божий день опять может начаться»...

Как она все это развела, не знаю. Должно быть, днями очень мучилась, а по ночам долго подслушивала. Но я поверил ей на всю жизнь. И когда меня посещает опять счастливый час и мне удастся увидеть Божие утро во всей его красе и чистоте, тогда я твердо знаю, что она рассказала мне правду мира.

Это истинная правда, что наши дневные, человеческие дела поднимают целую тучу земной пыли. Истинная правда, что наши дурные человеческие страсти засоряют и заражают земную атмосферу. И еще большая правда, что в пыльном, зараженном воздухе земли нельзя вести прекрасную жизнь, нельзя радоваться ни земной красоте, ни Божьему совершенству. И если благодатное исцеление не дастся нам свыше и не очистит нас от нашей скверны — то откуда же ждать нам спасения?..

И разве не правда, что дневная жизнь все выводит на свет, обнажает перед нами все коварство, всю жестокость, всю низость мира и наносит нам рану за раной? О, впечатлительность дня! О, нежность детских восприятий! О, это горе за огорченных и стыд за нестыдящихся!.. И бывает так, что уже в первую половину дня накопится столько, что дышать нельзя от ядовитой пыли и что свет меркнет в

глазах. И тогда надо непременно прервать дневной поток сознания и искать целительного одиночества. И потому самые впечатлительные и нежные люди ищут облегчения в дневном, хотя бы и кратчайшем, сне...

День — забота и нужда, ночь — беззаботность и богатство. День — запряженность и напряженность, ночь — освобождение и простор. День — томление и утомление, ночь — забвение и самозабвение. День — борьба, ночь — покой. День — труд, ночь — желанная мечта. День — присутствие, ночь — отпуск и отсутствие. День — общение, ночь — разобщение и тишина одиночества. И что случилось бы с нами, земнородными, если бы ночь не давала нам облегчения, покрова и прощения? А мы еще и в снах не можем расстаться с нашими соблазнами и затруднениями... Что случилось бы с нами без этой тихой забвенности, без этой целительной темноты, без этой благодатной глубины, в которую мы незаметно погружаемся, чтобы приобщиться блаженному покою и свободным видениям?..

Все земное так скоро устает: природа устает от дневного напряжения; день утомляется от нашей пыли и от нашего яда, а мы сами устаем от нашей собственной беспомощности и неумелости, от неверного отношения к другим — нелюбовного, нетворческого, жадного и опасливого восприятия людей. И если бы исцеление и укрепление не давалось нам свыше, то откуда было бы нам ждать спасения?..

Но именно поэтому помощь нисходит к нам свыше. Меркнет дневной свет. Наступают сумерки. Темнеет. Гаснут потускневшие краски. Утомленные образы теряют свои очертания. Легкое кажется массивным; тяжелое становится почти невесомым. И тихий мрак покрывает, наконец, неразличимую, исчезающую вселенную. Наступает час разлуки: все вещи расстаются друг с другом, чтобы отдохнуть друг от друга, чтобы уйти в себя, чтобы утратить себя в блаженном одиночестве и вступить в забвенную, таинственную связь с заснувшим миром. И почерпнуть в этом отдых и очищение.

Тогда зажигаются в небе Божии звезды и посылают свои лучи запыленной и усталой земле. Тихо изливают они свою мудрость на землю, на всю природу и на человека, на всех усталых, запыленных и отравленных, посылая им очищение и исцеление, чтобы они могли удо-

биться звездам; чтобы люди утихли и умиротворились; ибо шум и гнев не от Бога; чтобы они стали кроткими и нежными, ибо грубость и жестокость — от человеческой испорченности; чтобы они стали чистыми и ясными, ибо пыль и грязь означают болезнь и страдание; чтобы они стали послушными и гармоничными, ибо в небе нет ни бунта, ни хаоса...

Так текут ночные часы. Сонный мир дышит этой целебной мудростью, воздух становится чистым и блаженным, краски опять получают свою жизненность и прелесть, цветы благоухают нежно и благодарно, а птицы и звери внемлют сквозь сон небесной гармонии.

Но именно потому человек бывает так счастлив, когда проснется в ранний час и приобщится пробуждению исцеленного мира; когда подышит очистившимся воздухом, увидит обновленную природу, услышит ликование пернатой твари, получит прощальный привет от гаснущих звезд и почувствует в начавшемся дне, в восходящем солнце и в его первом, дивно-прохладном дуновении — дыхание самого Бога. Тогда он начинает день, как если бы вновь родился для жизни: ибо сердце его очистилось и воля его живет надеждами; освежилось и обновилось его воображение и открылись его замыслы...

Каждый день несет нам этот блаженный ранний час, ибо каждое утро есть *Божие утро*, а мы не помним этого и проходим в жизни мимо Божией благодати, не умея находить и беречь ее дары.

13. О ВОЗРАСТЕ

Разве человек бывает когда-нибудь доволен тем, что у него есть? Ему всегда хочется чего-то другого — быть иным, иметь больше, уметь то, чего он не умеет делать. Всегда ему чего-то не хватает. Всегда он жалуется и претендует. Он не умеет ценить свое достояние и извлекать из него все возможное; и слишком часто ему кажется, что он непременно должен «достать» или «добыть» себе такое, чего у него нет. Все мы, люди, существа несытые и неблагодарные, склонные к недовольству и ропоту.

Вот так — и с возрастом...

Есть в жизни человека такая раздельная черта, до которой он торопит течение времени и от которой он хотел бы его замедлить или остановить. Эту раздельную черту

люди переступают в разные сроки. До нее человек говорит себе и другим: «ну, я совсем уже не так молод»... потому что ему все кажется, что его принимают за ребенка... А после нее человек всегда готов сказать и другим и себе: «но я совсем еще не так стар»... потому что он чувствует бремя лет и не хочет поддаваться ему. Мы все незаметно косимся на других — что они о нас думают, за кого нас принимают и как определяют наш возраст? А эти «другие» нигде не учились верному восприятию людей и определяют возраст по внешним признакам; и признаки эти слишком часто бывают обманчивы. Личность человека есть обстояние внутреннее, внешними признаками неуловимое; а возраст относится именно к внутреннему миру человека, ибо он есть качество духовное.

Бывают дети без сердца и воображения, рассудительные не по летам и черствые от рождения: «тощий плод, до времени созрелый»²¹ (Лермонтов); они никогда не были молоды и приходят в жизнь высохшими стариками. И бывают люди больших лет, с глубоким сердцем и живым духом, подобные старому, благородному, огненному вину. У кого сердце поет, тот всегда юн, а у кого сердце никогда не пело, тот родился стариком. Истинная молодость есть свойство *духа* — *его* сила, *его* творческая игра. И там, где дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени и обманчивая видимость.

К сожалению, люди мало знают об этом. У них не хватает духовной силы, чтобы самостоятельно определять свой возраст; и нет у них искусства оставаться духовно молодыми. Поэтому они покоряются состояниям своего тела, озабоченно считают про себя прожитые года, сокрушенно смотрят на свои падающие волосы, стараются скрыть от других свой настоящий возраст, сердятся на неосторожные вопросы, замалчивают день своего рождения и в конце концов принимают свои железы за главное в жизни... Как часто мы бываем несчастны от близорукости и наивности и не понимаем, что *духовность есть ключ к истинному счастью...*

Смолоду человек смотрит вперед и ждет небывалых возможностей; ему не терпится стать постарше и показать себя взрослым, а то ему слышатся отовсюду обидные словечки («ребенок», «мальчишка», «молокосос») и ему все кажется, что люди обмениваются улыбками на его счет...

Он все мечтает выйти из детских лет и приобщиться всем тайнам взрослости, которые от него зачем-то скрывают... Зачем?

Но вот свершилось: испытания детства кончились и взрослые говорят с ним, как с взрослым; ребяческая обидчивость исчезает, ни юношеской заносчивости, ни раздражительности больше нет. Ему кажется только, что старшее поколение скучно и надоедливо, что в нем есть что-то старомодное, устарелое, какая-то даже заостенелость. «Эти старики» думают, что у них есть какой-то особый «опыт жизни», которого он будто бы лишен; что они все знают и понимают лучше и что все всегда должно оставаться «постарому, как мать поставила». И все они ссылаются на свой «авторитет» и не дают ему ходу. Но, впрочем, время идет и скоро он **вступит** в свои права...

Незаметно для себя он переступает потом ту роковую черту, тот жизненный водораздел, после которого человек перестает торопиться и опоминается лишь тогда, когда все уже свершилось. Теперь ему уже не хочется становиться все старше и старше,— довольно. Напротив, так приятно **было** бы замедлить или приостановить полет времени. Вот **уже** подрастает новое поколение, со своими новыми вкусами, манерами и суждениями. И ему уже кажется, что это какая-то странная молодежь, что у нее что-то неладно и что сама она не знает, чего хочет. «Трудно с ними сговориться, они нас не понимают, а мы их»... И скоро он уже жалеет о прошлом, и хотел бы его вернуть, и хотел бы сбросить с плеч лет десять-пятнадцать... Но, к сожалению, это невозможно...

Итак, человек всегда недоволен; и он не прав в этом, особенно в том, что касается возраста. Надо не жаловаться и не роптать, не торопить и не замедлять, а *уходить* от своего возраста, *не поддаваться ему*. Возраст не определяется долгой жизнью и состоянием тела; он определяется другим мерилем. Покорность и беспомощность здесь неуместны; страх и притворство — унижительны. Надо добиваться и добиться *независимости от своего возраста*. Не надо спорить с ним и тяготиться им; пусть приходит старость: она не должна гасить нашу молодость. Можно быть сразу старым и молодым. Надо духовно одолевая свой возраст и превращая его в неважную мелочь существования...

Легко сказать... Но как же это делается?

А вот как.

Во-первых, надо определять возраст не по состоянию тела, а *по состоянию духа*. Во-вторых, надо *наслаждаться* во всяком возрасте его *благороднейшими радостями и разрешать выдвигаемые им духовные задачи*. И, в-третьих, надо жить во всяком возрасте тем, что не стареется и *не устаревает*, что от века и на века. И все это входит в искусство жизни.

Каждый возраст имеет свои цветы. Каждый несет свои радости. Каждому доступна своя духовная красота. И надо уметь наслаждаться всем этим.

Ребенок открывает глаза и видит перед собою мироздание во всем его богатстве и великолепии. Каждая былинка готова сообщить ему свою тайну, каждый цветок смотрит на него с приветливой лаской; каждая стрекоза прельщает его своим полетом; каждое дерево шепчет ему о величии и силе. Это есть время естественного богатства, изумления, радости, доверчивости и тайн. Девственная восприимчивость души, радость новых открытий, догадок и предчувствий, художественная серьезность в игре, непосредственное слияние с природою, первые пробуждения духа...

Юноша открывает любовь в ее сладостном томлении и в ее мучительном блаженстве. Каждая женщина кажется ему сосудом с нежною тайною, каждая сулит ему возможность будущего, идеального счастья. Это есть время мечтательных поисков, влюбленности и застенчивости, дружбы и отречения, время «вопросов» без ответа и время внутренней борьбы с самим собой. Весна, целомудренная любовь, первые бури, первый закал в разочарованиях, счастье искренней любви ко всей вселенной...

Взрослый человек находит свое жизненное призвание и занимает свое место в мире. Ему предстоит целый ряд драгоценных и радостных открытий. Он познает жизнь во всей ее трудности, серьезности и ответственности; он утверждает свою духовную самостоятельность; он убеждается в том, что воля есть сила строящая и оформляющая. Это есть время завершения личного характера, обнаружение своих сил и способностей; это время увлекательных замыслов и перспектив, время вступления в брак и рождения первого ребенка. Счастье начавшейся жизни, радость завершившейся любви.

Зрелый муж познаёт радость и муку человеческого творчества и божественную значительность мира. Он уже видит и предметную глубину жизни, и предел своих личных сил. Перед ним раскрывается сущность вещей, и жизнь его вступает в период плодоношения. Это есть время опубликования главных трудов и воспитания нового поколения, время заслуг, признания и восхождения. Красота позднего лета; благоухание сложенных скирдов и собранных яблок; счастье зрелых и законченных созданий.

Старость вкушает покой и тишину сердца; она видит перед собой дивный горизонт жизни и наслаждается властью свободного отречения. Это есть время отстоявшегося созерцания, сладостных воспоминаний, высшей духовной зрелости. Чудесное бесстрастие дружбы; благодатное богатство осени; одинокое стояние на сторожевой башне; тихое учительство мудреца; мировая скорбь философа; молитва отшельника о страдающих людях.

А древнему старцу дано еще большее и высшее: он приобщается таинственной целесообразности мира во всей ее глубине и благодати; он уже проникает взором в потустороннюю жизнь и готов благословить свой земной конец. Тихое освобождение от всего слишком-человеческого; беспристрастное и бескорыстное созерцание; благословляющая любовь; лучезарный закат солнца; предчувствие близкого преображения жизни.

Подумать только: сколь же счастлив человек, приемлющий утехи старости и не утративший даров юности... Сколь счастлив он, если в сердце его по-прежнему поет любовь, а из старческого ока сверкает детская искренность...

А если он прожил свою жизнь в служении вечному — в любви, в духовном созерцании и в божественной ткани мира, — то жизнь его была благословенная и счастливая... Это означает, что он еще ребенком радовался дуновениям Божиим в мире и что юношей он созерцал искру Божию в своей возлюбленной; вступая в жизнь, он уже постигал, Кем он призван и к чему, а зрелым мужем — твердо знал, Кому и чему он хранит верность. Тогда и поздняя мудрость его будет проникнута духовной любовью и он будет светить своему народу, как духовный маяк. И кто вступил в его луч, тот почувствует неземной источник этого луча. И покидая землю, он спокойно и радостно вступит в

тот вечный мир, которому всю жизнь принадлежали его помыслы...

И если *так* жить, то жизнь станет цветущим садом. Возраст будет преодолен, старость окажется одухотворенною... И не на что будет жаловаться и роптать.

III. ДАР МОЛИТВЫ

14. О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ
15. ГОРНОЕ ОЗЕРО
16. ВОЗВРАЩЕНИЕ
17. О МОЛИТВЕ
18. О МИРОВОЙ СКОРБИ
19. ГОРЫ

14. О ДУХОВНОЙ СЛЕПОТЕ

У людей нередко бывает так: если кто чего-нибудь лишен, то ему обидно видеть, что другие этим обладают. «Чего у меня нет, того чтобы и у других не было». Неприятно сознавать себя лишенным и обойденным. Чужое преимущество уязвляет и оскорбляет; и редко кто умеет «прощать» другим их одаренность... Обида и недоброжелательство так легко превращаются в зависть и злобу... Но если обойденный завистник добьется власти и, может быть, даже неограниченной власти над другими, тогда его убожество может стать для него совершенно нестерпимым и он сделает все, чтобы отнять у подвластных ему людей их «невыносимое» и «непростительное» преимущество. Отсюда в истории не раз возникали трагические столкновения между тиранами и талантами.

Если прислушаться к тому, что говорят современные воинствующие безбожники, то складывается впечатление, будто мы внемлем неистовым проповедникам — проповедникам безбожия, — старающимся навязать людям новую религию. И в самом деле, это есть религия безверия и противобожия. Дело не только в том, что эти люди сами утратили всякую связь с Богом; они еще принимают свое безбожие за величайшее достижение, за «освобождающую истину», за «радостное благовестие», словом — за *новое откровение*... Такое впечатление не случайно; оно исто-

рически обосновано и верно. И тот, кто вдумается в это явление нового времени, тот почувствует глубокую скорбь и тревогу.

Эта скорбь будет сначала подобна тому тягостному чувству, которое мы все испытываем перед лицом слепорожденного или глухонемого. Мы видим несчастного человека, который лишен драгоценного и чудесного органа, обогащающего и просветляющего душу. Этот орган раскрывает нам столь многое в мире, он дарует нам, зрячим и слышащим, такое богатство жизненных содержаний, такой поток значительных, глубоких и чистых переживаний, что мы не можем даже вообразить себя без них. Перед нами открывается особое и самоценное измерение мира и вещей; оно дает нам бесконечно много света и радости. И вдруг мы видим людей, которые лишены этих органов и которые, по видимому, даже не подозревают, что мы через них воспринимаем и от них получаем. Естественно, что перед лицом этих обойденных людей нас охватывает чувство, смешанное из сострадания, тяжелой грусти и растерянности.

Таково приблизительно то первое чувство, которое мы испытываем, встречая на жизненном пути духовно-слепорожденного безбожника. Как же он переживает мир без Бога? Что же он видит в природе и как он представляет себе человеческую душу? Как он справляется с жизненными страданиями и соблазнами? В чем он видит назначение и судьбу человека? Ведь мир должен казаться ему совершенно мертвым, плоским и пошлым, а судьба человеческого рода бессмысленною, слепую и жестокою.

И вот, в нас просыпается смутное чувство ответственности и, может быть, даже вины: мы — счастливы, он — несчастен; нам дано духовное богатство, которого он лишен; мы созерцаем и видим, а он слеп. Надо же помочь ему. Что же мы сделали для этого? Что надо сделать, чтобы восстановить в его душе орган духа? Как быть с такими людьми? И можно ли примириться с их духовною обреченностью?

И вдруг нам приходит в голову, что он сам не замечает своей слепоты и совсем не считает ее слепотою: напротив, он очень доволен тем, что у него нет этого дивного органа, этой духовной способности созерцать, видеть и веровать. Он совсем и не хотел бы приобрести его. Напротив: эту лишенность он переживает как особое преимущество, как

начало «новой» жизни и нового творчества, как знак «высшего призвания», как право на власть и на проповедь. Этот нищий принимает себя за богача; этот опасно больной воображает, что он-то и есть человек образцового здоровья; он принимает себя за новое существо, которому предстоит великое будущее. Он — «просвещенный мыслитель», а мы бродим во мраке, не то «обманутые», не то «злостные обманщики». Именно поэтому он должен просветить нас, освободить и показать нам путь к новому, истинному счастью. Одним словом, он рожден властвовать, а мы предназначены к покорности.

И вдруг мы видим, что все искажено, все перевернуто и поставлено вверх ногами. Нас охватывает легкое головокружение. Так бывает в тяжелых снах, которые мы потом называем кошмарными: люди ходят спиной вперед; или падают не вниз, а вверх; огромное богатство состоит из черепков и мусора; видишь себя слепым и испытываешь от этого чувство радости и гордости; чувствуешь себя злым тараканом и все-таки собираешься управлять миром... И, наконец, проснешься и благодаришь Бога за то, что эти сновидения кончились...

Подобное этому мы испытываем, когда прислушиваемся к проповеди современных безбожников. Чувство сострадания быстро исчезает и уступает место удивлению и негодованию. Мы видим перед собою людей в высшей степени самоуверенных и притязательных, которые по глупости принимают свою духовную скудость за высший дар и свои плоские фантазии за новое «откровение»: они считают нас отсталыми, «мракобесами», рабами предрассудков и суеверий; они объявляют нас своими врагами и вредителями народной жизни и предлагают нам — или «передумать» и согласиться с ними, или же готовиться к мукам и смерти. Вот что, приблизительно, они говорят нам: «Мы, безбожники, не видим никакого Бога и не желаем ничего знать о Нем. И это превосходно, это начало новой свободы. И если это есть слепота, то пусть все ослепнут, подобно нам. Только тогда все станут свободны и начнется новая жизнь. Для нас нет Бога, и вы, все остальные, не смеее веровать в Него. Учитесь у нас, ибо мы призваны учить и вести. А если вы не согласны, то мы постепенно уничтожим вас, так, чтобы на земле совсем не осталось верующих»...

Мы знаем хорошо, что бывает, когда слепой ведет сле-

пого: оба падают в яму. Но чтобы слепые люди брались вести зрячих, это неслыханно. Отвечать на это жалостью или состраданием невозможно. Тут решающим становится чувство ответственности и негодования. Надо выступить на защиту правого дела и восстановить естественный порядок вещей. Конечно, нельзя «запретить» безбожным их безбожие; запретом тут не поможешь и их самих не обезвредишь. Свобода веры обозначает и свободу неверия. Нельзя принуждать человека ни к безверию, ни к вере. Обратиться к Богу и уверовать можно только свободно. Но мы должны принять их вызов и дать им достойный ответ. Мы должны спокойно, предметно и убедительно доказать, что мы не нуждаемся в их «просвещении»; что мы уже видим духовный свет; что этот свет уже освободил нас; что вера наша по существу своему предметна, свободна по своему акту и освобождает нас своею силою и своим содержанием; и что *никакого освобождения от этой свободы нам не нужно*. Мы должны доказать, что их новое, мнимое «откровение» есть в действительности слепота, самообман и мрак; что оно не дает им никакого права на власть и ведет к гибели.

Мы, верующие в Бога, совсем не слепы. Мы видим *все* то, что видят безбожники, но мы это совсем иначе толкуем и оцениваем. Однако сверх того, что они видят, мы видим еще *иное*, несравненно более важное, драгоценное, глубокое и священное, чего они не видят. За это нас нельзя объявлять ни «фантазерами», ни «лицемерами».

Лучше было бы совсем не говорить о лицемерии: ибо лицемеры найдутся во всех направлениях и течениях и само существование этих притворщиков не говорит ничего против Истины и против Предмета. Надо считаться только *с искренними людьми и с честными созерцателями*.

Но мы не признаем себя и фантазерами. Фантазер смотрит в пустоту, сочиняет небывлицы о несуществующем и сам верит вымыслам своего воображения. Напротив, мы имеем живое отношение к *подлинно сущим реальностям*; нам не надо их выдумывать и нам нет никакой нужды заселять пустоты собственными вымыслами. То, что мы видим, никак нельзя отнести к галлюцинациям. Галлюцинация есть обман чувственного видения, а наши чувственные ощущения остаются трезвыми, естественными и здравыми

и не переживают ни экстаза, ни обмана. Тот, кто галлюцинирует, помешался; он видит чувственные сны наяву, он носится с призраками и принимает их за материальную действительность. А мы свободны от всего этого. Мы не безумцы и не сумасшедшие; мы переживаем земное так же, как и все здравые люди, не искажая его ни иллюзиями, ни снами. Среди религиозно верующих людей было немало гениальных ученых и изобретателей, напр.: Коперник, Бэкон, Веруламский, Галилей, Кеплер, Лейбниц, Бойль, Либих, Рудольф Майер, Шлейден, Дюбуа-Реймон, Фехнер и многие другие. Разве не они создали нашу положительную науку? Когда и где носились они с беспредметными фантазиями или предавались галлюцинациям? Это были трезвые наблюдатели, зоркие исследователи, ответственные мыслители, великие мастера Предметности. И они веровали в Бога; и открыто выговаривали свою веру. В силу каких оснований они признавали Бога? Почему? Потому что их *созерцающий опыт* открывал им не только чувственно-земной и материальный мир, но и *великие объемы духа и его реальностей*.

Истинная вера возникает не из субъективных настроений и не из произвольных построений. Она зарождается в *долноценном опыте* и бывает всегда укоренена в *предметном созерцании духа*. Этот духовный опыт имеет дело с *реальностями не чувственного* (совесть) или *не только чувственного* (искусство) или прямо *сверхчувственного* (религия) характера. Этот опыт не «мечта» и не «помешательство». Он требует *духовного трезвения* и поддается *духовной проверке*. Он имеет свою подготовку, свое очищение и особые упражнения; он осуществляется в предметном восприятии и добывается полной и окончательной очевидности. И тот, кто заранее все это отрицает и не желает этого знать, тот не имеет ни права, ни основания критиковать веру и отрицать религию.

Что мог бы сказать слепорожденный о *красках* дивной картины или прелестного цветка? Ничего... И вдруг кто-нибудь сделал бы отсюда заключение, что этой картины совсем не существует или что этот цветок есть наша галлюцинация... Кто поверит глухонемому, если он объявит, что никакой *музыки* нет, что все это «выдумки лицемеров»?.. Человек, лишенный духовного ока и слуха, не имеет никакого основания и никакого права говорить о духов-

ных предметах. Человек с заглушим сердцем или мертвым чувствилищем не знает ничего о любви; как же он может воспринять Божию любовь? Смеет ли он отрицать ее и кощунственно смеяться над ней? Человек, не живущий нравственным измерением дел и ничего не знающий о силе и блаженстве *совестного акта*, не будет иметь ни малейшего представления о добре и зле, о грехе и милосердии, о благодати Божией и об искуплении... Как объяснить ему, что такое *молитва*? Как поверит он, что молитва бывает *принята и услышана*? Как он может удостовериться в том, что истинная вера возникает совсем не из страха и что ей дано *преодолеть всякий страх*? Как объяснить ему, не знающему ни духа, ни свободы, что вера в Бога *освобождает душу* и что проповедуемое им безбожие несет людям *худшее в истории рабство* — порабощение страстям, материи и безбожным тиранам?..

Да, истинная вера имеет дело с великими и предивными *реальностями*, пробуждающими лучшие творческие силы человека. Общаясь с этими реальностями, верующие люди освобождаются от слишком-человеческих страхов; и не уступают им даже тогда, когда начинается борьба за священные начала жизни и когда надо решиться на исповедничество и мученичество. Тогда страх преодолевается силою духа и человек уходит из жизни победителем. И современные безбожники с их гонением на религию могли убедиться в этом множество раз.

Эти великие и пресветлые реальности совсем не обретаются в какой-то недостижимой и страшной темноте, как это рисуют себе безбожники. Бог живет не только «по ту сторону» нашего чувственного мира. Он присутствует и здесь, «по сю сторону». Он дает людям Свой свет и изливает Свою силу. Он дарует им Себя в откровении; и мы способны и призваны воспринимать Его живоносное дыхание и Его волю повсюду и во всем. Всюду, где природа или человеческая культура обнаруживает нечто прекрасное, истинное или совершенное — всюду есть веяние Духа Божия: и в таинственной чудесности кристалла, и в органическом расцвете природы, и в любви, и в героическом деянии, и в художественном искусстве, и в научном глубокомыслии, и в совестном акте, и в живой справедливости, и в правовой свободе, и во вдохновенной государственности, и в созидающем труде, и в простой человеческой доброте,

струящейся из человеческого ока... И там, где мы сходимся во имя Его и молимся Ему,— там Он среди нас...

А когда безбожники ставят нам вопрос, почему же мы не видим Его *телесным* *глазом*, мы отвечаем: именно потому, что мы не галлюцинируем; мы воспринимаем Его не телесно, не чувственно, а духом, духовным опытом и духовным оком; и напрасно думать, наивно и скудно воображать, будто реально только то, что доступно нашим «пяти чувствам».

Подобно тому, как мир не возник бы без Бога, так вся человеческая культура сокрушилась бы, если бы Дух Божий покинул ее. Не было бы жизни без солнца. Не бывать человеческому духу без Бога. Человек, отвергнутый и покинутый Богом, утрачивает свою творческую силу: он становится бессердечною, безвдохновенною, жестокою тварью, бессильною в созерцании и созидании новых, совершенных форм, но тем более способною ко взаимному мучительству и всеобщему разрушению; и жизнь его заполняется страхом, каторжным трудом и взаимным предательством. История дала тому достаточно свидетельств; неужели же нужны новые подтверждения и дальнейшие страдания?.. Кто проповедует безбожие, тот готовит людям величайшие бедствия: разнуздание, унижение, рабство и муку...

Наше поколение призвано к тому, чтобы показать людям ожидающую их грозную судьбу, чтобы удостоверить их в том, что путь без Бога ведет к гибели... Но как показать это духовным слепцам, которые не могут и не хотят видеть?..

15. ГОРНОЕ ОЗЕРО

В стороне от общих исхоженных дорог, там, высоко, у подножия крутой стены, покоится горное озеро, погруженное в свои видения. Оно смотрит чистым оком вверх, в мировое пространство, и принимает в себя все, что посылает ему небо, послушно и ясно отражая в себе его дары...— земное зеркало высоких событий...

Не легко к нему добраться. Долог подъем, терпеливо надо идти, шаг за шагом, все вверх и вверх, в твердой надежде увидеть необычайное. Все труднее становится восхождение, все строже и суровее — природа, все прохлад-

нее — бодрящий воздух. Вокруг застывший хаос. Глубоким мхом обросли скалы. Чуть слышно шепчутся редкие сосны. Первобытная, священная тишина. И только два голубых мотылька, беззаботно празднуя свое счастье, носят друг за другом через светлые пространства...

И вдруг путник чувствует его присутствие... Его не видно еще, но душу охватывает уверенность, что путь закончен и что оно сейчас покажется... Это завершенное, благоговейное безмолвие — верный знак его близости; это легкое, чуть влажное, зовущее веяние может исходить только от него; чувствуется вблизи некое живое средоточие, вокруг которого и для которого существует вся окрестность... И вот оно, наконец, во всем его тихом великолепии...

Просты и строги его берега: ему не нужно окружения, оно не ищет украшений. Оно лежит открыто, чтобы видеть все и на все отвечать. Неподвижна его прозрачная вода; законченную гладью смотрит его поверхность. Нежно сияет его глубина в неуловимых, бесчисленных то голубых, то зеленых оттенках; и все оно прозрачно до самого дна. Там, внизу, видны упавшие когда-то скалы — так глубоко, что глаз не верит расстоянию; видны столетние стволы деревьев — утонувшие дары гор, — целый мир благобно принятых и сохраненных богатств, мир блаженного бытия. Все покоится там, как в ясном сне, — навеки сбереженное, нетленное воспоминание; как помыслы перевозчанного глубокомыслия; как безмолвные молитвы отшельника. И мало-помалу душа постигает, почему эта дивная тишина вокруг и почему не слышно горных голосов, почему не щебечут даже птицы и почему новоприбывшие путники начинают говорить между собой шепотом. Природа умеет беречь свои тайны и хранить священное молчание. И требует того же от людей. И там, где покоится Божественное, там слышен бывает молчаливый ход веков.

Благоговейно обходит путник все озеро и вдруг останавливается в изумлении. Все, что было видно в его глубине, исчезло. В нем появилось новое и величавое, образ захватывающей красоты, целый горный хребет, с утесами и ущельями, со снегом и льдом, с рассеянными клочьями облаков, все в лучах солнца, все светящееся, чудно опрокинутое, как бы свисающее в водную гладь... Не призрак ли?.. Но этот призрак не исчезает, он длится, он пребывает и излучает свет и радость... Может быть, это просто игра

лучей и воды? Может быть... Но от этой игры сердце трепещет радостью: оно верит и не верит своему ясновидению; оно слышит гимн Богу; оно чувствует разумность и красоту вселенной и трепетно ждет дальнейших видений света и глубины...

Потрясенный и счастливый, стоит путник у берега, и видит и не верит, и все хочет еще удостовериться и навсегда запомнить увиденное. Пока сердце, переполненное счастьем и благодарностью, не потребует отдыха, и уставшие глаза не залиются влагой. Тогда он садится отдыхать на первый попавшийся камень.

А когда уходит дневной свет и разливаются тихие сумерки, когда появляются первые звезды и полумесяц показывается из-за крутой стены — какая радость искать и находить все эти образы в потемневшей глубине озера!.. Теперь эта глубина уже не прозрачна; она замкнулась в себе; таинственно и сумрачно молчит ее почерневшая вода, и в этой черной глади колдует лунный свет... И путник не помнит, как он добирается до ночлега и где он спит до самого утра... А там — все уже проснулось и радуется Божией заре...

Как изумительны эти первые, поддонные богатства прозрачного озера, его *собственные вечные помыслы*... Как просто и достойно, с какою ясностью и искренностью показывает оно глубину своего существа, посвящая всякого человека в свои тайны. О, чистота сердца! О, прозрачная, щедрая мудрость!

Но как великолепны, как ослепительны его *отраженные видения*... Как верно воспринимает его гладь эти дары, как охотно и радостно отдает их всякому оку... Оно радуется всему, исходящему от Отца Света, — и голубому небу, и чуть видимым звездам, и замечтавшемуся вечернему облачку, и вознесшейся голой стене, и каждому дереву, и каждой скале, которым дано счастье поглядеться в него. И передает эту радость каждому новому гостю, каждому усталому страннику, который подойдет и благоговейно посмотрит в его глубину: никто не уйдет без ответа, все унесут с собою утешение, свет и жизненную радость... О, смирение духа! О, созерцательность покоя! О, радость служения!

Так покоится оно в своем простом и строгом окружении, это око мира, воспринимающее и хранящее Божии дары, подобно тому праведнику, который ищет одних небесных

видений и свято блюдет ради них чистоту и прозрачность своего сердца. Два мира встречаются в нем,— внутренний мир сокровенных помыслов и внешний мир от Бога идущих видений,— и оба срастаются в единое, светлое и щедрое богатство мудрости.

16. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Современное человечество переживает великую смуту. Колеблются все основы жизни. Замутились все истоки духа. Идет великий распад и грозят все новые и новые беды. В этих бедствиях и страданиях нашего времени, в заливающих нас искушениях, среди обставших нас страхов — мы снова учимся молиться. Ибо мы утратили этот высокий дар и разучились этому дивному искусству. А без молитвы человек оказывается отпавшим от Бога и оторванным от источника истинной жизни: он выдан началу зла и не имеет силы противостать ему.

Каждый человек, кто бы он ни был и чем бы он в жизни ни занимался,— мужчина или женщина, старик или молодой, образованный или не образованный,— должен обладать умением собирать свои душевные силы и сосредоточивать свое внимание. В этом первая задача всякого воспитания, начиная с народной школы и кончая академическим преподаванием. Жизнь несетя и проносится в нас, как поток всевозможных ощущений, желаний и страстей; или как множество всяческих забот и занятий; или же как туча пыли, состоящая из разрозненных и ничтожных содержаний. В этом потоке, в этой мгле мы теряем себя и смысл нашей жизни. Нас одолевают, нами овладевают единичные пустяки, лишённые всякого высшего смысла. Пыль жизни засоряет нам глаза и лишает нас верного видения. Нас засасывает болото страстей и особенно тщеславия и жадности. Нам надо непременно освободиться от всего этого, хотя бы только от времени до времени. Нельзя гибнуть в этом болоте. Нельзя отдаваться этому потоку. Надо иметь минуты и часы для свободного дыхания и созерцания, когда заботы умолкают, повседневные жизненные содержания забываются и мы освобождаем себя от всего мелкого, слишком человеческого и пошлого. Наши душевные силы,— помыслы, желания, чувствование и воображение,— освобожденные от обыденного и ничтож-

ного, ищут иного, лучшего, обращаются внутрь и сосредоточиваются на том, что составляет самую *сущность* нашей личности; что есть *главное* в жизни человека; на том, что *священно и светоносно*, что определяет самый *смысл* нашего бытия. И это есть первый шаг к молитве.

Если мне удалось освободиться от повседневности и из хаоса жизненных содержаний, то мое сердце и моя воля оказываются *свободными для лучшего и высшего*. В чем же это «лучшее»? Как найти это «высшее»? Как узнать его? И почему я задаю эти вопросы, так, как если бы я ничего не знал о нем? Неужели я прожил на свете столько лет и никогда не ставил себе этого вопроса? Или ставил, но не умел разрешить его? Но чем же я жил доселе, если не знаю этого священного и светоносного и не умею вызвать его в себе? Чем же заполнена моя повседневная жизнь? Чем освещена она, если не этим светом? Чем освящена она, если не этой святыею? Чем она осмыслена, если этот смысл не дается мне даже в минуты свободы и сосредоточенности?.. И вот от этих вопросов душа моя приходит в смятение и растерянность; она видит *пустоту* своей жизни и *ничтожество* своих содержаний и отвечает на это *целостным порывом к лучшему*, к священному, светоносному, жизнеосмысливающему; и в этом порыве постигает, что это может быть только нечто *совершенное, подлинно совершенное*, и притом не «фантазия» и не «иллюзия», а *подлинно-реальное подлинное совершенство*. Так рождается во мне *живое желание* Бога и приближения к Нему. Ибо Бог есть подлинно-реальное совершенство, а живой и целостный порыв к Нему есть начавшаяся *молитва*.

Молитва есть сосредоточенный, искренний призыв, обращенный к Сущему Совершенству. Обращаясь к Нему, призывая Его, мы открываем Ему нашу душу; и наша открытая душа поднимается к Нему и вступает с Ним в живое творческое единение. В этом сущность всякой молитвы — и самой мудрой и самой наивной, и безмолвной и обильно-словесной, и просящей и благодарственной. И постольку люди всех религий могли бы молиться совместно.

Но наша, *христианская молитва* определяется не этим. Ибо мы обращаемся не к неосязаемому и непостижимому безличному Совершенству, но к живому, совершенному Богу, к нашему Небесному Отцу, который нераздельно с Сыном Божиим и с Духом Святым внимает молитвам своих

земных детей. Мы видим в Боге прежде всего и больше всего неисчерпаемый источник любви, к которому мы сами приближаемся и которому мы уподобляемся именно через любовь. Слабый луч нашей любви находит Его любовь, укрепляется и утверждается в ней; и воспринимает излучаемую ею благодать и силу. Так даются нам три величайших утешения: чувство непосредственного общения с Богом; чувство, что наша молитва может быть услышана Им; и чувство, что Он нас знает, любит и бережет. Христианину, который находит Бога любовью и слышит, как Бог отвечает ему Любовью на любовь, присуща особенная уверенность в том, что он не может быть покинут Богом, но что он всегда находится в Его любящей руке и под Его благодатным покровом. Поэтому христианин молится прежде всего *сердцем, открытым и искренним сердцем*; и предает себя во власть любящего Отца. И именно поэтому всем нам естественно и необходимо, переживая эпоху нынешнего крушения с ее искушениями, опасностями и страхами — искать Его покрова, Его помощи, Его света и силы.

Но при этом мы должны соблюдать два основных требования.

Мы не должны воображать, будто мы можем призывать Бога любви и света во всех наших земных делах и затеях. Ибо наши земные дела бывают низки и своекорыстны, часто — злы, коварны и губительны. Нельзя призывать Бога света в темных и бессовестных начинаниях. Нельзя ждать помощи от Бога любви в делах хищных и ненавистных. Молитва имеет оправдание и смысл только в борьбе за добро.

Если я действительно хочу добра, т. е. такого, что оправдано перед лицом Его любви и совершенства, то я смело и уверенно могу просить Его о помощи. И первая помощь, о которой я могу молиться, это умудрение и озарение души моей в деле выбора и служения: чтобы мне было дано верно отличать добро от зла и безошибочно желать лучшего, совершенного; чтобы мне было даровано чистое созерцание, верное различение, истинное познание и окончательное предпочтение. Мне необходима уверенность в том, что я действительно узнал Его Дело и действительно служу Ему любовью и волею. И если я в этом уверен, тогда я могу просить о помощи, молиться «с дерзновением» (Первое Послание Иоанна 5, 14) и спокойно надеяться:

«помоги мне в служении Делу Твоему»... Человек, следующий голосу своей христианской совести, молится с великой уверенностью: ибо он молится *вместе со своей совестью, от нее и за нее*.

Известный римский сатирик времен язычества, стоик Персий Флакк говорит, что люди часто просят у богов о таких низостях, о таких жалких и грязных делах, что они даже лучшему другу своему решились бы сообщить свою просьбу только на ушко, потихоньку. Такая молитва не только кощунственна, ибо ищет в Боге сообщника темному делу, но и бессмысленна, ибо с нею нельзя обращаться к Богу света и любви. Нельзя произносить такую молитву: «Господи, помоги мне в моих пошлых и злодейских начинаниях, пошли мне удачи в моих преступлениях и увенчай мои грехи успехом и счастьем»... И тот, кто ее произносит, молится не Богу, а господину своему — дьяволу.

Таково первое требование настоящей молитвы. Но есть и второе.

Никакая молитва не исключает *моих собственных усилий* и не делает их излишними: моя любовь, мое желание, мой труд, моя борьба должны служить тому делу, о котором я молюсь. Если это дело действительно хорошее и верное перед лицом Божиим, то я должен вкладывать в него свои силы, служить ему, бороться за него, идти против угроз и на всякую опасность. Тогда я молюсь самым служением моим; тогда со мною молятся моя любовь, моя воля, мое мужество и мое верное стояние; тогда я уверен, что служу всеми силами Божьему делу и что моя молитва будет услышана. Господь откроет мое духовное око, чтобы я мог видеть ясно и верно; очистит мое сердце, чтобы я искренно любил совершенное; укрепит мою волю, чтобы я не изнемог на пути и не пал духом; и направит мои шаги, чтобы я не попал на ложные пути и не заблудился. И если бы *моей* силы оказалось недостаточно, если бы всех наших человеческих сил не хватило бы, тогда, по молитве нашей, небесная сила сделала бы достижимым недостижимое.

Если же я молюсь *о себе самом*, о моей жизни и о моем благе, то я должен иметь уверенность, что *иду по верным путям жизни*. Молитва, восходящая из чистой совести, бывает чудодейственна. С великим дерзновением взывает к Богу человек, который в борьбе за Божие дело не щадит

себя самого. Тот, кто пренебрегает своими личными делами ради Божьего Дела, тот чувствует себя любимым и огражденным; и молится Богу так, как возлюбленное дитя обращается к любящему отцу. «Господи, не оставь без помощи дитя Свое. Научи и огради Своего верного сына»...

Так слагается, так возникает настоящая молитва к Богу. Такая молитва есть целое духовное искусство, и это искусство мы должны восстановить в себе перед лицом настигшей нас великой смуты. И все беды и страхи нашего времени, все духовное землетрясение, переживаемое нами в революциях и войнах наших дней, — все это есть великое чистилище души, училище веры и молитвы.

17. О МОЛИТВЕ

Человеческий дух не знает более действительного, более чистого утешения, чем молитва. Она несет человеку сразу очищение и укрепление, успокоение и радость, благословение и целение. И тот, кто этого не испытал, пусть лучше не судит о молитве: ему самому предстоит еще добиться этого утешения в борьбе и страдании. Тогда он почувствует, что приобщился новому источнику жизни и что в нем самом началось новое бытие, о котором он прежде не имел даже представления.

Современный человек живет на земле в вечных заботах и опасениях, переходя от разочарования к болезни и от личного горя к национальным бедствиям. И не знает, что начать и как преодолеть все это; и подчас с ужасом думает о том, что этот мутный поток будет нести и заливать его вплоть до самой смерти. Однако многое зависит от него самого: это он сам увеличивает себе бремя жизни и не умеет понять истинный смысл несомого бремени. Ибо путь ему указан: ему стоит только почувствовать свою *духовную свободу* и открыть свое *внутреннее око*. Это и совершается в молитве.

Нам всем хотелось бы, чтобы наша нескладная, угнетающая и часто унижительная жизнь началась по-новому и сложилась иначе, чтобы она цвела взаимным доверием, искренним благожелательством и вдохновением. Но как достигнуть этого, мы не знаем. Близоруко рассуждая, мы говорим о «счастье», счастье незаметно вырождается у нас в «удовольствие» и «наслаждение», а в погоне за наслаждениями и удовольствиями мы забредаем в болото и не

знаем, что начать. Но путь, ведущий к жизненному обновлению, известен и не так труден: мы должны *почувствовать сердцем священное в жизни, сосредоточиться на нем нашим созерцанием и зажить им, как драгоценным и самым главным*. А это и есть путь молитвы.

Нам нельзя тонуть в *несущественностях* быта. Тот, кто живет ими, тот привыкает к пошлому существованию и сам превращается, по слову юного Гоголя, в «существователя». И вот нам необходимо научиться *верно различать духовный ранг жизненных содержаний* и приучиться сосредоточивать свое внутреннее внимание *на божественной сущности* вещей, явлений и событий. Ибо жизненные содержания не равны, не равно-ценны, не равно-значительны. Среди них есть ничтожные и есть священные; есть такие, которые возводят душу и сообщают ей особую глубину и крепость, и есть такие, которые незаметно разлагают и обессиливают ее, делают ее мелкою, страстною и слепую. Есть такие, которыми сто́ит жить, и есть такие, которыми не стоит жить. Надо научиться распознавать их, выбирать существенно-священные и жить ими. Тогда и сам человек станет «существенным», он поймет смысл и цель жизни и войдет в живую связь со священной сущностью зримого мира. И путь к этому умению указывает и прокладывает молитва.

И пусть не думают люди, что вступить на этот путь — зависит не от них; что бывают чрезмерно тяжелые времена, которые затрудняют молитвенное обновление жизни; и что земная человеческая власть может лишить человека внутренней свободы и поработить его несущественностями быта. Ибо на самом деле тягчайшие времена посылаются людям именно для того, чтобы они опомнились и обновились; и нет на свете земной власти, которая могла бы погасить нашу внутреннюю свободу — и прежде всего, *свободу молитвы* — и которая могла бы помешать нашему очищению от пошлости.

Поэтому надо признать, что жизнь сама по себе есть как бы *школа молитвы или воспитание к молитве*. И даже тот, кто совсем никогда не молился, может быть приведен к молитве самую жизнью. Ибо для каждого неверующего может настать время величайшей беды, когда его захваченное врасплох и потрясенное сердце вдруг начнет молиться из своей последней глубины — в такой скорбной

беспомощности, такими вздохами отчаяния, такими вдохновенными призывами, о коих он дотоле и не помышлял. Тогда он почувствует как бы землетрясение во всем своем естестве, и неведомое пламя охватит его душу. Может быть даже так, что человек при этом сам не будет знать, к *Кому* он взывает, и уже совсем не будет представлять себе, откуда и какое может прийти спасение. Он взывает к *Кому-то*, *Кто все может*, даже и невозможное; он молит этого *Неизвестного* о помощи, которая уже не в человеческих силах, — молит в твердой уверенности, что *есть* на свете истинная Благость и она внимлет ему. И к этой неведомой, но всемогущей Благости он и обращается с молитвой, которая, как водный поток, внезапно прорывает все прежние плотины... Он говорит с этим Существом так, как если бы он видел Его перед собою, как если бы он знал Его от века...

И потом, когда проходит этот порыв, у него остается такое чувство, что он *всегда* веровал в этого Всеблагого-Всемогущего, всегда предполагал Его присутствие — каждым дыханием своим, и вот только теперь впервые нашел Его. То, чего ему доселе не доставало, был *душевный подъем к молитвенному вдохновению*. Ему нужно было *мужество сердца*, чтобы противостоять всем своим и чужим предрассудкам; нужна была *цельность души*, возникшая ныне из инстинктивного отчаяния; ему нужна была *мудрость сердца*, которая восторжествовала бы над глупостью ума; *вдохновение*, не посещавшее душу в пыли и грязи. Может быть, он уже и сам замечал это, ибо чувствовал себя расколотым и исцеленным. Может быть, он даже мучился этим, но не умел или не хотел преодолеть в себе внутреннюю раздвоенность, и потому «запрещал» себе молитву по соображениям «внутренней честности»... В этом обнаруживается вообще влияние нашей эпохи, «верующей» в ум, в анализ и культивирующей всяческое разложение... И только великие бедствия нашего времени дают людям способность преодолеть эти внутренние препятствия: они потрясают все наше существо до корня, смывают предрассудки, обнажают наше трепещущее чувствилище и превращают жизнь в действительную школу молитвы.

Дело в том, что настоящая молитва требует *всего* человека и захватывает его *целиком*. Она может излиться и в связных словах, но она может и не найти их, и молящийся будет вместе с Андреем Юродивым²² лишь восклицать в

слезах: «Господи! Господи!! Господи!!!...» И это единое, сердцем насыщенное слово будет весить более, чем множество душевно-полупустых слов. Молитва может найти себе выражение и в благочестивых движениях и обрядах; но бывают и такие молитвы, при которых внешние движения и свершения отпадают совсем. Тяжело раненный не может даже перекреститься. Неподвижно лежащий в окопе не смеет даже пошевелиться. А люди, живущие в эпоху гонения на веру, во время церковного террора, вырабатывают в себе умение молиться *внутренней молитвой сердца*, которая горит внутренним огнем при совершенно неподвижном, ничего не выражающем лице.

Это пламя внутренней молитвы и есть важнейшее и драгоценнейшее в религии. Оно требует *всю* душу человека. Здесь все цвета сливаются в белый цвет; все способности души — в единую силу. Феофан Затворник описывает это состояние так: «собранный должен гореть»²³. Здесь *мысль* не думает, не анализирует, не размышляет, не сомневается, но отдает свою пристальность, свою интенсивность в общий и единый огонь. Здесь нет отдельных *волевых* решений, но вся стремящаяся *сила воли* направлена целиком к единому Предмету. *Сердце* с его глубоким и нежным чувствилищем становится главным горном души; именно в нем сосредоточивается и сила *созерцания*, исходя из него и возвращаясь в него.

Вот почему молитва есть некий *сердечный жар*, который все вовлекает в себя, расплавляет и делает текучим. Она есть некий *духовный свет*, собирающий лучи, подобно увеличительному стеклу, в единый центр: в этом центре начинается горение. Неопытному человеку нередко кажется, что это горение есть его личное, субъективное состояние, которым все и ограничивается. Но на самом деле это горение вводит личную душу в *сверхличное Пламя*, отзывающееся на личный призыв и включающее в Себя лично возгоревшееся сердце. Человеческий огонь может и должен приобщаться в молитве *Божьему Пламени* — и в этом состоит таинственный смысл и благодатная сила молитвы. Сердце человека воспламеняется божественным Огнем и уподобляется «неопалимой купине». Личный огонь растворяется в Божием, и человек теряет себя в Его Огнилище. В настоящей молитве человек забывает и теряет себя: он уже не помнит, что он «есть», не ощущает своего зем-

ного естества; он видит и чувствует себя как бы в некоем *огненном столпе*, восходящем вверх, и слышит, как из души его восходят «неизреченные вздыхания» «самого Духа» (Римл. 8. 26)... И в этом свете и огне он становится дотоле, доколе выносит его сердце и дыхание.

Возвращаясь к себе после такой молитвы, человек чувствует себя так, как если бы он удостоился посетить свою исконную и священную родину; или еще,— как если бы обновилось самое естество (субстанция) его духовной личности; как если бы его омыл благодатный поток чистоты видения и ведения, утешения и покоя. Он удостоверился в том, что истинная *благодать* и истинная *Сила* суть едино; он чувствует себя приобщившимся этой благодатной силе; он напился из источника жизни и любви.

После такой молитвы,— даже если она продолжалась всего единую минуту,— у человека остается в сердце некий неугасающий, сияющий *уголь*, который разливает свое сияние через все внутренние пространства личной души и всегда готов снова вспыхнуть лично-сверхличным пламенем. Это можно было бы и так описать: от настоящей молитвы остается в душе *тихое, тайное, бессловесное молитвование*, подобное немеркнушему, спокойному, но властному свету. Оно непрестанно излучается из глубины сердца, как бы желая осветить и освятить все жизненные содержания души. Это как бы тихое дуновение Божие, идущее из потустороннего мира. Это есть как бы незакрывающаяся дверь в алтарь, к священному месту Божьего присутствия. И отсюда у человека возникает это дивное чувство, будто Потустороннее стало поюсторонним для его сердца и совести.

А между тем, жизнь совершает свой неуправляемый ход; и человеку иногда кажется, что не произошло ничего особенного, только, что в нем живет это сияние безмолвной, тихо-трепетной молитвы, ни о чем не просящей и ничего не домогающейся, и что он знает об этой открытой ему двери соединения, и знает, что она ведет к ключу целительной воды. Поэтому он может вершить свои жизненные дела, есть, пить и спать, напряженно работать и предаваться отдыху, а внутренний свет не покидает его: он будет мерю вспыхивать и очищать его душу, светить ему во всех его жизненных делах, освещая в них добро и зло, утверждая его в благе и отнимая у него возможность совершать

злые, черствые, низкие и пошлые поступки. Человек может забывать про этот, тихо тлеющий в нем, уголь безмолвной молитвы; но уголь этот будет неосвязаемо вершить свое великое дело — жизнеосмысливающее, очистительное, освящающее и исцеляющее. И стóбит только человеку опять постучаться в эту дверь и воззвать к этому свету — и снова разгорится огонь, запоет сердце, заструится живая любовь, заговорит чистая совесть и раскроется перед ним дверь в потусторонний мир с дивной перспективой личного бессмертия. И опять он почувствует себя у берега земной жизни и услышит дыхание Божие в себе и в мире.

Но теперь он уже знает, что его начальная молитва, предпогибельная молитва ужаса и отчаяния — была лишь первым, беспомощным порывом, лишь первым шагом по новому пути. Теперь он молится уже по-иному: свободным воспламенением, непрерывным излучением, всецелым включением своей жизни. И эти виды молитвы суть *высшие*. Их бывает много, столько, сколько человеку доступно отдельных жизненных актов. Всех видов молитвы «столько, сколько в одной душе или во всех душах может породиться разных состояний и настроений» (Иоанн Кассиан Римлянин)²⁴. Есть молитвы благодарности, преклонения, смирения, покаяния и очищения. Молитва может внимать дыханию Божью, созерцать мудрость Творца и даровать человеку очевидность; молитва может сомневаться, вопрошать, отчаиваться, скорбеть и призывать. Коперник молитвенно внимал законам природы. Фехнер²⁵ молился вместе с цветами и деревьями. Сегантини²⁶ преклонялся перед горами, как перед алтарями Божиими. Ломоносов молился вместе с северным сиянием. Державин — созерцающая бренность земного и бессмертие Божественного. Пушкин — каждым актом вдохновения. Лермонтов — с ландышами у ручья. Человеку дана от Бога великая молитвенная свобода, свобода превращать каждый акт своей жизни и своего труда в творческую молитву; наподобие той чудесной молитвы сеятеля, которую приводит Лесков в «Соборях»: «Боже, устрой, и умножь, и возрасти, на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего, произволяющего, благословляющего и неблагодарного»²⁷...

Так, есть молитва изнеможения, приносимая со многими слезами и дающая укрепление: «Господи, не могу больше»...

И есть молитва без слов и без слез, мгновенная, созерцательно-лучевая: единый взгляд духовного ока, направленный горе — «Он есть, Он бдит и я есмь Его орудие». Это молитва *утешения и силы*.

И есть молитва сердечного тепла, подобная этой: коснуться в самом себе Его неугасающего угля; и только.

А в путях и страданиях личной жизни всегда будет иметь судьбоносное значение молитва *служения и одоления*: «Вот я, перед Тобою, Господи, слуга Твой, ищущий только воли Твоей. Научи меня верно служить Тебе всяким дыханием и деянием моим. Пошли мне силы Твоей, мудрости Твоей, вдохновения Твоего. Не отдай меня на поругание врагам Твоим; изведи меня от угроз их. И соблюди мою свободу в жизни и творчестве, ибо свобода моя — в свершении воли Твоей»²⁸.

И на этих путях жизнь становится школой молитвы, а молитва — истинным источником жизни и творческой силы.

18. О МИРОВОЙ СКОРБИ

Поистине, это один из основных законов нашего мира, что все существа и все вещи *несовершенны* и должны *восходить к совершенству в борьбе и страдании*. Значение этого закона так велико и глубоко в жизни и творчестве людей, что настоящая зрелость человека начинается лишь с того момента, когда он продумает и прочувствует этот закон во всех его последствиях и выводах. Все, что есть хорошего, значительного, непреходящего, а особенно гениального и божественного в человеческой культуре, — все могло быть создано человеком только в страдании, все должно было быть заслужено и оправдано им. Это и имел в виду глубокомысленный чешский мистик Якоб Бёме²⁹, когда говорил, что качество рождается из муки...*

Постигнуть этот закон значит получить некое благодатное облегчение в той духовной беспомощности, которая грозит всем людям на земле. Ибо это постижение как бы извлекает нас из мутного потока жизни и, поднимая нас, хотя бы на миг, над страдающим миром, показывает нам его *извне и сверху*. И если человек дотоле жил как тварь среди

* Die Qualitäl quillt aus der Qual.

твари, то отныне он приобретает способность выйти духом из ее состава, увидеть ее муку и поставить вопрос о смысле ее бытия и ее мучений. Доселе он только *мучился* в мире среди прочей твари; отныне он восходит на высшую ступень бытия, ибо ему дано *страдать о страданиях мира*, т. е. испытывать *мировую скорбь*.

Растение и животное страдают *в мире*, оставаясь в его составе и составляя его собою, но им не дано страдать *о мире и за мир*. Человеку дан высокий дар возноситься над тварною жизнью мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее, страдающую. Поэтому человек призван понять и постигнуть, что *все живое должно страдать*. Человек должен прислушиваться ко вздоху и стону вселенной, включая сюда и человеческую тварь, внимать ей открытым сердцем и приобщаться мировой скорби через *бескорыстное сострадание*. Мы должны вчувствоваться в муку и жалобы стенающей природы и забывать в этом вчувствовании наше собственное страдание. Мы должны принять на себя страдания живых существ и понести его, как общий и единый крест мира; и попытаться постигнуть скрытый, но глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся мировой скорби, т. е. страданию о страдании мира. И, предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную близость к Богу...

Пока человек пленен и ослеплен своим собственным личным страданием, пока он мечется в беспомощности и слепоте не видит исхода, — он побежден своею тварностью и не находит пути к Богу. Он должен выйти духом из себя, вознестись над собою и увидеть страдание ближнего, всех людей, всей твари. Сначала он ужаснется, и этот ужас перед мукою мира вызовет в нем возмущение, ропот и, может быть, даже восстание; и эти чувства и настроения поведут его *не* к Богу, а уведут его *от Бога* и, может быть, даже подвигнут его *против* Бога. Ибо слепое возмущение свойственно именно твари в ее отношении к другой твари; если же оно направляется вверх, против Бога, то оно не освобождает тварь от ее тварности, но оставляет ее в слепоте, доводит ее до ожесточения и делает ее *восставшею тварью*. Человек, ослепший от ужаса, не видит вдаль и вглубь, он противится свету и разуму и уходит в отвращение и отвержение. Созерцание мировой муки требует мужества, а этого мужества у него нет. Созерцание должно окрылить его,

а он остается бескрылым. Тварный страх уводит его в темные погребки безнадежности, пессимизма и Бого-отрицания. И в этой тьме им постепенно овладевает аффектированный, вызывающий «демонизм» и упоенный ненавистью и гордостью сатанизм. И «скорбь» его становится безбожною, озлобленною и разрушительною. Именно такова была судьба всей «пессимистической» философии и литературы девятнадцатого века.

Только любовь освобождает и спасает человека. Ее первая и элементарная форма есть жалость к страдающему. Человек вчувствуется в чужую муку, со-испытывает ее и начинает проявлять живое, творческое участие. Он забывает о себе, живя чужим страданием, и этим освобождает себя от пребывания в собственной боли и личном горе. Его *собственная тварность* уже не связывает и не ослепляет его, но зато *чужая тварность* начинает овладевать им и заполнять его жизнь и душу. И если он не заметит этого вовремя и не преодолет этот новый плен, то он скоро окажется *пленником чужой тварной муки*. Пока жалость остается последним словом или высшим проявлением его любви, всякое страдание живого существа кажется ему бедою или несчастьем, а в тварной муке он видит сущее «зло» (Лев Толстой). Он начинает верить, что высшая цель жизни состоит в *избавлении человечества от страдания*. Он уже не может видеть страдающее существо, и борьба против страдания становится для него главной задачей. Безболезненная жизнь кажется ему высшим земным благом.

Это означает, что сострадательный человек *нашел своего ближнего*; и это очень хорошо. Но *смысл страдания* он не постигнул и *назначение человека* ему не открылось. Любя человека, он любит в нем не поборающего и освобождающегося «ангела», скрытого в глубине страдающей души, но вздыхающую и стенающую тварь; и на себя он берет не помощь «ангелу», а служение твари; и цель его не в том, чтобы страдающий дух очистился и победил, а в том, чтобы облегчить мучение твари. Вот почему жалостливый человек все еще подавлен страхом и ужасом; он все еще проклинает страдание и не постигает ни его смысла, ни его благодатности; он все еще боится муки и не знает ничего о ее творческом преодолении и просветлении. И потому его «мировая скорбь» не возводит его к Богу: он остается в

пределах «гуманности» и «сентиментальности», и луч Божий не озаряет ее. А как помочь страдающей твари, борющейся, идущей и взывающей к Богу — он не знает.

Любовь только тогда освобождает, когда человек воспринимает в человеке *сына Божия*, страдающего, одолеваемого и очищающегося страданием. Каждый из нас есть Божие дитя, странствующее по земле в образе человеческой твари. Но именно человеческая тварность возлагает на каждого из нас тот способ земной жизни, со всеми его несовершенствами, трудностями и противоречиями, который неизменно и непременно присущ каждому человеку. Поэтому каждый из нас должен спокойно, достойно и терпеливо принимать все обусловленные этим боли и страдания, «нести свой крест» и учиться творческому преодолению посланного. Нам не следует приходить в чрезмерный ужас при виде страдающей твари. Нам не подобает спастись любой ценой от боли и горя. Мы должны постигнуть необходимость страдания, его высшую духовную целесообразность и одухотворяющую силу, и раз навсегда усвоить его мировой смысл.

В отделении или даже удалении от Бога человеческая тварь должна страдать. Это страдание *зовет* ее к Богу и *ведет* ее к Богу; для этого страдание и посылается; в этом его назначение; таков его высший смысл. Растение и животное подвержены этому элементарному мировому страданию в его низшей «потенции» и не умеют претворять его в борьбу и просветление. Но человек имеет высшее призвание: он должен принять посланное ему страдание, как «посланное» ему, как призыв к очищению, как свободную, личную борьбу за творческое просветление личности.

Божие дитя страдает на земле потому, что это страдание возводит его к Отцу: в борьбе и одолении оно стремится к своей блаженной первородине. Мучение твари ужасно, если она не понимает высшего смысла своего страдания и не находит своего восходящего пути: тогда оно является с виду бессмысленной мукой. Но если тварь находит и смысл и путь и если этот высший смысл страдания исполняется и осуществляется, тогда не следует ужасаться и роптать и тогда сентиментальная жалость не является последним словом земной мудрости. Тогда страдание осмыслено и оправдано; и мы должны воспринимать его как зов и благословение.

Тогда перед нами открывается великая творческая мистерия мира и мы можем воспринимать ее и сердцем, и взором, и разумом. Душа наша наполняется мировой скорбью; и эта скорбь действительно возводит нас в «пространства», близкие к Богу.

Бог есть первый и высший источник живой любви. Поэтому он не может не страдать, видя, как созданная им живая тварь вздыхает и стонет в ожидании. Первоначально Он страдает не *в мире, а о мире*, ибо вздохи и стоны твари восходят к Его престолу. Но потом Он нисходит в мир, приемлет тварный образ, кровь и плоть, дыхание и муку. Он приобщается жизни мира и страдает в составе мира, вместе со страдающей тварью. Он принимает на Себя иго и бремя человека, чтобы открыть ему и даровать божественное искусство освобождающего, избавительного, духовно-творческого страдания. Бог становится человеком, чтобы избавить отпавшего и слепого человека от обреченности бессмысленному страданию; Бог становится человеком, чтобы возвести человека к Богу.

Человеку открывается новый путь; он должен увидеть его, свободно признать его и свободно избрать его. Тогда он преодолевает страдание в мире и превращает его в повод, в исходный пункт, в источник творческого очищения и просветления. Сначала он научается этому в самом себе и на самом себе; потом он пытается научить этому других людей. Тогда он постигает смысл мирового страдания и поднимается до истинной, до творческой мировой скорби. Он видит, как страдает и борется человеческая тварь. Он видит, что Бог принимает на Себя ее иго и бремя. И он несет вместе с тварью и вослед за Господом творческое страдание мира.

Таков истинный образ мировой скорби. Усвоив его, человек молится уже не о том, чтобы мир избавился от бед и страданий, но о том, чтобы страдание мира стало осмысленным, возводящим, творческим и просветляющим — о том, чтобы оно было облегчено, чтобы оно достигло своей высшей цели, чтобы оно совершилось и завершилось на Божиих путях.

19. ГОРЫ

В безмерной дали веков, вскоре после сотворения мира, когда земля ощутила впервые свою первозаданную форму и свои пределы, она опечалилась и восскорбела: ибо она увидела себя отверженной и униженной, оторванной от света и отдаленной от неба, вровень приглаженной, голой, пустынной и беспомощной... И стала она вздыхать и роптать: и возмутилась, и поднялась, и восстала мятежом. Это было буйное восстание, страшное и хаотическое. Но оно шло из последней глубины; оно было искренне, и искры его лете-ли к небу: оно было пламенное, и пламя его молилось Творцу; и от этого огня плавилась утесы, и первобытные камни текли потоком... Это был великий подъем глубин, жажда света, стремление к небу, извержение творческой воли... Восстала мечта о новых, совершеннейших формах, о новом богатстве бытия, о приближении земли к небу... И это восстание было влечением к Богу, ропщущей молитвой, мольбой о неотвержении отвергнутого...

И увидел Господь в своей вечной благодати — это воздыхание и эту бунтующую мольбу; и великий подъем глубин нашел Его благоволение: ибо косная пассивность и рабская покорность никогда не были угодны Ему, а всякий искренний порыв и молитвенный ропот приемлются в небесах, как молитва тоскующей твари. Потому благословил Господь это восстание земли и не позволил ему распасться в ничтожество, но повелел ему сохраниться навеки: возноситься к небу молчаливой молитвой, пробуждаться с благодатной зарею и блаженно расцветать в последних лучах уходящего солнца. А человеку Господь повелел созерцать эту таинственную запись прошлого и постигать ее сокровенный смысл.

И созерцая ее, мы называем ее ныне *горами*.

Когда я вижу снежные горы, поднимающиеся вдали к облакам, — сердце мое трепещет от неожиданного счастья: в нем просыпаются какие-то угасшие древние воспоминания... как если бы я уже созерцал когда-то эти видения и потому всегда тосковал по ним, как если бы начали исполняться самые дивные и священные обетования... Я стою захваченный и потрясенный и не знаю, можно ли верить этим призракам... Как легко, как смел этот взмах к небесам. Как нежны, как призрачны очертания. И как могу-

ществены скрытые за ним земные массы. Я вижу землю, восходящую к небу, я вижу небо, ее обнимающее, я вижу, как земля теряется в небе, сливается с ним,— может быть, сама становится небом? Не сон ли это? Или, может быть, это видение есть сущая реальность, а плоская жизнь повседневности — всего-навсего тягостный сон? Откуда во мне эта блаженная тревога, это чувство приближающейся родины?.. Как если бы это издали светящееся великолепие, это обетованное будущее — возникло из моего интимного прошлого, из моего довременного бытия... Или, может быть, душа моя настолько «ветха деньми», что я и в самом деле мог присутствовать при образовании миров? Или, может быть, эти далекие горы повествуют мне о том, чем я сам был, и что я есмь, и чем я буду, и какое великолепие ожидает меня впереди?..

Нежные видения. Пророческие образы. Божии сны...

Но вид исчез. Воздушные призраки скрылись в земном тумане и в небесных облаках. И только сердце шепчет мне о возможности невозможного...

А потом горы принимают меня в свою среду и несут меня вверх, спокойно и благостно позволяя мне попирать их ногою и карабкаться по их крутым обрывам. Их спокойствие передается мне, и я иду все выше и выше. Медленно взбираюсь я; торопиться нельзя и незачем; много времени нужно, чтобы одолеть высоту, чтобы привыкнуть к ней, чтобы не закружилась голова от этого дремлющего горного мятежа, чтобы не пресеклось дыхание от этой стихийной молитвы... Вот я уже устал, но с усталостью я не могу и не хочу считаться. Таинственная сила зовет меня кверху. Во мне проснулось некое влечение, как если бы меня захватил мощный довременный подъем, которому нельзя противостоять,— вверх, вверх, все выше,— и только исчерпав последние силы, можно отпасть и отказаться от восхождения... но и тогда в душе осталось бы чувство, будто я постыдно изнемог в великом деле... Нет, это невозможно, надо идти и дойти, чтобы пережить смысл и судьбу древнего восстания, чтобы научиться мятежной молитве гор...

И каждый миг все вокруг меняется: новые провалы, не-

виданные глубины, вознесшиеся высоты. Каждый поворот открывает непредвиденное. Каждый обрыв говорит о страшных событиях прошлого и о предстоящих новых оформлениях. Самое дикое — прекрасно. Самое ужасное — закончено... Вот что снилось земле тогда, в предвечной давности; вот какое богатство новых возможностей и новых форм предносилось ей тогда... И душу охватывает счастье от того, что ей позволено увидеть и пережить эту древнюю мистерию бытия.

И потом — этот воздух, которым мы дышим... Сначала — благоуханный и цветочный, потом — смолистый и разреженный, и наконец, — режущий холодом, ледяной и жгучий. Там, у нас, внизу, воздух густой и пыльный, вязкий и липкий; люди привыкают к нему и не замечают, что они вдыхают и глотают. Но здесь он струится сверху, как вода ледяного ключа, как небесный дар, как Божие благословение. Он кажется резким и колючим, и мнится, что его «мало», что тебе его не хватит. Но это надо побороть, к этому можно привыкнуть. Надо помнить, что близость к небу непривычна для человека; что ты переживаешь борьбу и судьбу первобытной земли, возжелавшей горней чистоты и приближения к Богу... А близость к Богу — требует иных способностей и новых усилий от грешной твари...

И вот, наконец, подъем закончен. Я наверху, в суровом уединении гор. Все исчезло — аромат цветов и гигантские сосны, стада и хижины. В строгом спокойствии смотрит на меня древний Хаос. Величаво молчат серо-желтые, голые утесы. В тяжелых сновидениях лежат обрывающиеся ледники, засыпанные сверху черной каменной пылью. И повсюду — захватывающая душу, потрясающая тишина, от которой слышны удары собственного сердца и в ушах начинает звенеть...

Да, все, что есть в мире великого, живет в молчании. И говорит тишиною. Если закрыл глаза, то кажется, что вокруг законченная пустота, полное отсутствие бытия. А если открыть их, то дивишься совершенному беззвучию этого обилия, этих каменных масс, этих грозных глыб... Горы не любят шума: они как бы ушли в себя, в свою сокровен-

ную жизнь; и таят про себя свои издревле зреющие помыслы. И только обвалы и лавины, не выдержав этого молчаливого величия, с грохотом и прахом свергаются вниз; да потоки вод, скатываясь в долину, выдают своим кипеньем и журчаньем тайные замыслы горных вершин. Но самые горы вещают только высочайшей тишиною, только своими незавершенно-завершенными очертаниями, только таинственной сопринадлежностью своих линий и масс...

Молчаливая красота. Строгая благодать. Скромное величие... И все вместе — подобно вечным гимнам. Царство беззвучных симфоний.

Стоишь и слушаешь это беззвучие. И учишься блюсти в высоких сферах жизни целомудренную тишину. Учиться блюсти свое достоинство, ни на что не притязая; и постигаешь, что истинное величие облекается в смирение. В борьбе за высоту, в восхождении к Богу не нужно шума; надо, чтобы вся жизнь стала тихой молитвой, и тогда она вознесется хвалой и светлым благодарением...

В далекие, предвечные времена воскорбела земля о своей судьбе и возроптала к Богу великим восстанием. И осталась в этом смятении. И застыла в своем мятеже. И мятеж ее был молитвою, а молитва ее была творческим хаосом. И вот этот хаос покорился Божьему слову, и восстание превратилось в гимн благодарности. Вдохновенный подъем смирился под Божиим благословением, а вознесенные скалы сдружились с лучами небесного света.

И горы почили в своей тишине, приемля некое богopodobие и раскрывая людям свой таинственный смысл в поучение и преображение.

IV. ПОСЕЩЕНИЕ

20. СОЗЕРЦАЮЩИЙ ПОЭТ

21. ОГОНЬ

22. У МОРЯ

23. О СТРАДАНИИ

24. О СМЕРТИ

25. О БЕССМЕРТИИ

20. СОЗЕРЦАЮЩИЙ ПОЭТ

Мы, созерцающие поэты, уверены в том, что все, сущее на земле и на небе, может быть узрено или услышано нами и что все ждет от нас изображения и истолкования... Все, даже самое нежное, лишенное чувственного образа; беззвучное, незримое и сокровенное... Мы не знаем сами, почему мы в этом уверены, как это нам удастся и что мы делаем для этого. Никакая преднамеренность тут не поможет. И никакого «метода» мы указать не умеем. Нельзя же назвать «методом» — наше самозабвенное мечтание, наше созерцающее «погружение», наше сосредоточенное «отсутствие» и забвение окружающей жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, что сновидение есть сновидение, что фантазия может разойтись с действительностью и что поэт — плохой свидетель в делах повседневности: уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, «присутствуя, отсутствует»³⁰...

«Мечта»... «Сновидение»... «Фантазия»... Но разве все это так бессильно и ничтожно? Разве созерцающий мечтатель и вправду не более чем «сочинитель», как говорили в эпоху Гоголя? Неужели его созерцания так-таки ничего и не стоят? А может быть — наоборот? Может быть, именно созерцающий поэт, этот мечтающий *сновидец* — и есть *ясновидец* и мастер в делах истинного бытия? Я разумею, конечно, не ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только себя самого во всевозможных чужих обликах, сам на себя удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь всевозможными страстями... Нет, я имею в виду *видения созерцающего поэта*. А это совсем иное.

Мы все могли бы согласиться в том, что сущность мироздания, его таинственная «самосуть», или, как говорят, «мировая душа» — остается сокровенною и не открывает-

ся людям легко, быстро или, тем более, исчерпывающе. Мы, поэты-мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о ней хоть что-нибудь; очень возможно, что они и в самом деле ничего о ней не знают; иногда они и сами открыто признаются в этом. Что же касается нас, то мы склонны допустить, что мир погружен в некий таинственный «сон»: он ушел в себя, погрузился в свою собственную глубину и скрыл свою настоящую сущность от посторонних взглядов; а мы... Мы следуем за ним, мы пытаемся настигнуть его на его собственных путях и воспринять его живую самосуть.

Когда поэт предается творчеству, то он уже не «спит». Но чтобы настигнуть ушедшую от него тайну мира, он вослед за нею тоже как бы «засыпает». В нем засыпает его трезвое и беспомощное дневное сознание, с его близоруким восприятием и с его, по-видимому, столь «умными» рассудочными мыслями. Этот ограниченный, подслеповатый «субъект» погружается в дрему, растворяется в некой душевной сумеречности и «исключается» как орган познания. Этим он освобождает место новому, с виду «сонному», на самом же деле *вдохновенному и проникновенному духовному созерцанию*. Тогда в душе просыпаются иные, окрыленные силы и перед нею раскрываются иные пространства. Словно разверзаются пол и потолок; они как бы свертываются и исчезают. Как во время ветра, дующего с гор, воздух становится прозрачным, далекое кажется близким, незримое становится зримым и глаз начинает видеть первозданную красоту и глубину; так и поэт видит звезды при полном дневном свете, как если бы он смотрел из глубокого колодца; он слышит в ночном мраке таинственные голоса мира и касается сокровенных сил его самосуты. Вдохновенный поэт внемлет, по слову Пушкина, «неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дольней лозы прозябанье»³¹... Он вступает в иной мир, или, может быть, новый мир вступает в него и овладевает им. Он пребывает в этом мире, он непосредственно приобщается ему, созерцает его, слышит его, живет его таинственным естеством. Он теряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной, первозданной стихии бытия. Он «засыпает» и «спит» вместе с миром и видит его «сновидения»: он созерцает его творчески-движущую, священную Идею — *Божью Идею мироздания*.

Он живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями, и приобщается к ее творческому действию...

Если посмотреть на дело извне и выразить его на обыденно-трезвом языке — то это «сон наяву», «поэтическое мечтание», «полет фантазии», а может быть, даже «бесмыслица»... Но в действительности это не сон, а «пробуждение»: поэт просыпается для *внутреннейшего и реальнейшего* в жизни, ему открывается *живая самосуть бытия*...

И то, что он «слышит» и «видит», есть нечто совсем иное по сравнению с тем, что нам несут обычные чувственные восприятия. Солнце поет ему величественный гимн; звезды несут ему знамения и пророчества; он видит, как молятся горы; он слышит, о чем мечтает ручей; море зовет его и обещает ему живую бесконечность; тихий, чистый снег несет ему дивное утешение. Вся вселенная полна дремлющей любви и молчаливого пения. Цветы таят свои помыслы и настроения. Птицы знают о многом неведомом и могут предсказывать. Гордые замыслы зреют в деревьях и потоках. И никто не поверит поэту, если он попытается рассказать о том, что ему принес ветер...

Пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании, он не может «творить», «сочинять» или создавать новые образы и формы. Но это состояние не может и не должно слишком долго продолжаться; иначе поэт может не вернуться больше в жизнь... Оно прекращается и исчезает; и он вновь возвращается к повседневной обстановке. Он возвращается обычно слегка «ошалевшим», утомленным и беспомощным, но обогащенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд, сокровище, которое он никогда не сможет исчерпать описанием и оформлением. А сколько он, может быть, еще растеривает «по дороге», забывает, не находит... И потому-то, что ему удастся сберечь и принести, кажется ему самому не то оскудевшим, не то поредевшим, не то искаженным... Иногда у него бывает такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что изнемогавший от богатства, видит перед собою одни черепки и пытается их зачем-то подсчитать...

И все-таки, все-таки — он *приобщился сокровенному естеству мира и воспринял его священную самосуть*. И вот все собранное и сбереженное желает найти себе верное выражение, глубокое истолкование, прекрасное обличие, художественную форму...

Лучше не спрашивать нас, как мы находим это истолкование и эту форму... У кого хватит силы, чтобы выговорить Божии Идеи? Кто найдет для них верные и точные выражения? В смиренной беспомощности помышляет об этом поэт; им то и дело овладевает сознание своего бессилия и робкая растерянность. И только сила внутреннего заряда, только *вдохновенное восстание самих сбереженных богатств* заставляет его приступить к делу.

Один выражает узренное в звуках и пении. Другой рисует. Третий ищет художественно точных слов. Иные лепят или строят; иные пытаются найти верные телодвижения в танце. Но все, что они создают, — эти созерцающие поэты, — все идет не от них самих, а *через* них. Все создания их *больше* их самих; ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосутности мира.

А у того, кто верно слышит их пение, трепещет сердце и радуется дух; и постепенно слагается новое чувство, новая уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру: «Нет, это не поэтический вымысел поэта. Это *древне*, как мир... И в то же время — *ново* и юно, как сегодняшний день... То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни, и драгоценно, как откровение... Я коснулся сокровенной правды мира и был счастлив»...

А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, те пожимают плечом и отходят; им это «не нравится», они обзывают нас «выдумщиками» и «фантазерами» и корят нас за самоуверенность и притязательность... Тогда мы смущаемся, и смолкаем, и сконфуженно уходим в наш угол; потому что мы ничего не умеем «доказать», мы можем только «показывать», а поднимать спор о видениях потустороннего мира — непозволительно и неприлично...

21. ОГОНЬ

Я могу часами сидеть перед камином и смотреть в огонь. На душу сходит дивная тишина, и кажется, что видишь необычайные дали и глубины. Радостно играет свет. Капризно и причудливо ложатся тени. Ласково струится дыхание тепла. И мне чудится, будто в душе моей просыпаются забытые мечты моих предков; встают передо мною величавые образы; я постигаю какие-то древние законы, вечные истины; я ухожу в прошлое и теряю чув-

ство времени. Радость и грусть борются в моем сердце; и где-то в последней глубине пробуждается щемящая тоска по утраченной, но блаженной родине. Тогда я чувствую, будто знаю гораздо больше того, чем доселе предполагал; будто мне открывается самая сущность мироздания; будто я касаюсь края ризы Божией...

Но сначала надо вызвать огонь к жизни: «приди таинственная сила, посети и освети мой темный очаг и прими в свою власть чающее тебя дерево». И вот вспыхивает первый синеватый огонек, осторожно, робко, как будто осматриваясь, вправду ли его зовут, можно ли ему довериться, готова ли для него пища?.. И потом, отзываясь и доверяясь, огонь все охотнее, все с большим увлечением вступает в жизнь, радуясь благоговейному призыву и расцветая в гостеприимном воздухе. Длинными языками охватывает он поленья, лаская и забирая их, и превращаясь в вольное пламя; легким хрустом, тихим шипением отвечают они ему, принимая и не принимая его игру и медленно накаляясь от его жгучего дыхания. А потом уже начинается общий праздник: свет и радость, вспышки и треск, искры и обвалы, угольное тление и дымные струи. И благодатное, всепроникающее тепло... А я сижу и смотрю, как прикованный, созерцаю эту чудную стихию и вижу через нее жизнь человечества и строй мироздания. И кажется мне, что время уже не властно надо мною.

Так сидели у домашнего очага наши далекие предки, и смотрели в огонь, и размышляли о своей суровой жизни и об ее опасностях, предвидели новые вторжения врагов и готовились к отпору. Ибо вся история России протекала в борьбе, и душа русского человека всегда нуждалась в жертвенной готовности. И вот то, что человек подолгу и неотрывно созерцает, предаваясь и вчувствуясь, — то становится его даром, его живым прообразом, источником силы и воодушевления. Душа человека незаметно отождествляется со своим любимым символом... И от созерцания огня души наших предков сами становились огнеподобными: *живыми, легкими, интенсивными, ясными, светящимися и сильными*. Недаром восток создал религию

«огнепоклонников»; недаром он видел в пламени символ Божества, дарующего *очищение и очевидность*...

Но огонь учил наших предков еще *свободе и единению*. Ибо там, где живет древнее пламя домашнего очага — там личная оседлость человека, там его *собственный* дом, его неприкосновенное, свободное жилище. Пусть мала его хижина, пусть невелика его домашняя власть, но в этих пределах он желает быть *свободным хозяином* и имеет право на это. Домашний очаг был у всех народов первым священным приютом *свободы и самостоятельности*. У очага собиралась вся семья и чувствовала свое единство; люди рассказывали друг другу о заботах и о горе, о удачах и о радостях; они советовались друг с другом о нуждах и опасностях. Они зажигали лампаду перед иконою и читали Священное писание. Здесь рассказывались сказки и былины. И когда огонь угасал, легкие призрачные тени скользили по стенам, были и небывальщина смешивались воедино и мир фантазии населял трезвую и суровую жизнь людей...

Какое счастье — вновь очутиться в этой первой школе бытия, снова предаться созерцанию древней стихии и поновому внять опыту, и скорби, и мудрости предков!

Как воздушно, как легко бытие этой таинственной силы. Пламя, подобно ветру, есть самое легкое и подвижное существо мира... Его жизнь есть вечное бодрствование, вечное распространение, вечное поглощение. Где огонь вспыхивает, там он утверждает свою власть и празднует свою победу. Вот почему он является символом *радостного преодоления*, естественного триумфа, победоносного танца.

Да и могло ли быть иначе? Ведь огонь есть величайшая сила мира. Он есть источник жизни и судьба вселенной — живое дыхание Божие. Он светит и показывает: поэтому без огня нет ни *очевидности*, ни *откровения*. От него идет тепло и жар: поэтому ни *жизнь*, ни *любовь* невозможны без пламени. Он несет нам очищение и зовет нас к новым формам бытия: кто жаждет *чистоты*, тот должен готовиться в духе к огненному очищению, а кто ищет *прекрасной формы*, тот должен сам возгореться внутренним пламенем. Огонь имеет власть преобразить и уничтожить:

вот почему во всяком живом существе живет *влечение* к огню и *страх* перед огнем.

Пламенно горит солнце в середине мирового вращения — и земля кружится вокруг него в священном трепете и тихом блаженстве. Пламя живет и в глубине нашей планеты — и все земное ощущает благодатность этого сокровенного жара и содрогается от ужаса, когда это пламя обращается к нам, сотрясая под нами землю. И где бы у нас ни загорался огонь — всюду тотчас же собираются люди, влекомые его видом и жаром, и силою, и дивятся, как прикованные, и никак не могут наглядеться, вчувствуясь и трепеща, словно желая войти в него, слиться с ним и загореться; но берегутся огня и готовы бежать от него, ибо то, что земной огонь захватит в свою власть, он сожжет, испепелит и уничтожит...

Так, вся тварь стремится к огню — и пугается, как только он вступает в свою полную силу и разворачивает все свое великолепие... Как ужасно было бы, если бы огонь совсем угас в мире и навеки воцарились мрак и холод... Какой страх объял бы вселенную, если бы пламя овладело всем сущим и испепелило его до конца.

Но мир создан в благом порядке. Благостно и мудро распределены среди твари дары огня. Каждое существо приобщается ему лишь в меру своих сил и способностей, приемля лишь столько от его света, от его напряжения, от его могущества, сколько оно в состоянии вынести. И все, что приемлет от огня, приемлет как бы *искру Божию* — чтобы достойно отвечать самому Творцу и Его дивному миру из глубины своего естества.

Вот откуда этот таинственный отблеск, испускаемый драгоценным камнем, этот слепящий луч алмаза, этот мягкий и бархатный огонь рубина, этот пламень желтого топаза, это сверкание изумруда и аквамарина, этот глубокий и скрытый огонь алмадина и хризоберилла...

А у растения — дано цветку, с его невинно-сияющим ликом, воспроизводить черты мирового светила и непосредственно обращаться к нему за теплом и светом...

А у животного свет сосредоточен в глазу, с его необузданным и неистовым, а потому страшным сверканием.

Но у человека, существа мыслящего и созерцающего,

свет глаза преодолевает свою животную неистовость и лучится одухотворенно в обращении к миру и молитвенно в обращении к Творцу.

И так повсюду: где огонь светит, там он требует ответа и наслаждается в этом ответном луче своим собственным светом...

Эта встреча двух огней — мирового и личного — осуществляется всего совершеннее в человеке. Ибо здесь огонь становится *пламенеющим духом* и все его дары и способности проявляются в их высшей и превосходнейшей потенции. Ибо внешний, материальный огонь был вызван к жизни дуновением Божиим лишь в качестве живого прообраза самого Духа. И даже самый наивный, первобытный человек предчувствует, предвосхищает это высшее значение огня. Вот почему наши отдаленные предки, наивно-мудрые первочеловеки, молились земному огню, как живому символу Господа, поклонялись в нем чистому дыханию Творца, праздновали его явление, как начальное откровение Божие. Они поклонялись огню, а разумели Дух Божий. И это символическое поклонение столь же древне, как человеческий род; и продолжает жить в каждом из нас. Так и Гераклит греческий, пророк огня, света и разума, знал, что он говорил, когда воспевал в лице Огня божественную первостихию мира и когда утверждал, что Пламя есть Разум, а Разум есть Огонь...

Что случилось бы с нами, людьми, если бы мы лишились духовных даров этой родины? Чем были бы мы без жара в сердце, без огня в молитве, без озаряющей очевидности в познании, без пламенной интенсивности в воле и в делах, без повелевающей, вдохновенной силы в очах? Но не значит ли это, что все наше лучшее достояние — самое благородное, самое прекрасное, самое мощное, что в нас есть — произошло от огня?..

И мы, христиане, знаем этот великий религиозный символ; им живут наши мысли и чувства. Вот почему мы именуем Христа Спасителя «Светом истинным» (Иоан. 1. 9) и крещаемся от Него «Духом Святым и огнем» (Мтф. 3. 11; Лук. 3. 16). Мы называем себя «сынами Света»

(Иоан. 12. 36) и чаем Духа Святого в образе «языков огненных» (Деян. 2. 3). А когда мы читаем эти слова: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» (Лук. 12. 49) — то в сердца наши нисходят пламя и свет, и мы знаем, коего мы духа...

Но огонь в моем камине на исходе. Он гаснет и меркнет; и надо проститься с ним. «Иди на покой, благое и чистое пламя, и будь благословенно за все, за твой свет, за твое тепло и за твое утешение»...

22. У МОРЯ

Давно я уже мечтал выбраться из этого душного города. Давно я уже томился в этой давящей, оглушающей уличной жизни, в этом городском существовании, полном горя и грязи, где все напрягает, выматывает и на каждом шагу ранит сердце. Туда, туда, на вольный простор, где все пределы снимаются и где даль раскрывает свои блаженные пространства... Как я мечтал о море...

И наконец — это состоялось... Тогда, давно, первый раз в жизни, когда я приобщился этому счастью.

То, о чем я мог только мечтать, — встало предо мною, как живое видение. Далекий, уходящий, исчезающий простор; он так тихо раскрывается, так легко дается, так ласково зовет. Взор впивается в него, ищет его предела и не находит; и радостно предчувствует, что и там, дальше, где предел глазу — нет предела простору. Здесь нет границ; а ведь каждая граница есть запрет и разочарование... Здесь нет стен; а ведь каждая стена есть обида и угроза... О, как мы привыкли сидеть в клетках! Как мы связаны, подавлены, запуганы в нашей жизни! Как мало мы можем, как немного мы видим, как урезаны наши горизонты, как скудна наша жизнь! Сколь многого мы лишены — и даже не замечаем этого!

Но здесь... Здесь — праздник пространства, здесь царит Беспредельное, здесь дышит воздух, здесь живут бесконечные возможности. Я упиваюсь этим воздухом,

я глотаю его. И сердце мое раскрывается, становится огромным и блаженным и наслаждается потоком этой разрешающей, зовущей любви... Как если бы мир хотел сказать мне великое и благостное слово притяжения, прощения и примирения...

И только потом, насладившись простором, помню, я заметил внизу огромное, тихое, но подвижное поле воды. Спокойно, мощно катило море свои гребни — куда?.. темно-синее, задумчивое, погруженное в свои и в небесные мысли... Как будто — вялое, с виду — утомленное; и в то же время — играющее, легкое, не знающее тяжести, не ведающее труда. Огромная живая равнина. С виду — обильное, неисчислимое множество; на самом деле — единое, дышащее существо. Странное — и приветливое; такое многосложное — и такое простое. Само величие — в царственной тишине; сама стихия, излучающая кротость и благость. Всем; *и мне, и для меня*... За что же мне? О, незаслуженная благодать... О, неожиданная милость...

В сердце рождается тихая грусть... Укор? Раскаяние? Почему мне всегда было «некогда»? Почему я впервые приобщаюсь к этому счастью? Боже мой, как скудна была доселе моя жизнь! Как много я упустил! Какое богатство я утратил!.. Я вижу, я понимаю: это благостное лоно могло прожить без меня еще целую вечность... И все же... Оно как будто бы ждало меня, готовило мне дары, оно согласно принять меня и осчастливить. И ныне прощает мне — и мое долгое отсутствие, и мой поздний приход... Мне будет все предоставлено, все открыто, все даровано — если только я открою ему мое сердце и буду внимать и созерцать...

Какое странное чувство охватывает человека у самого края воды... Плещущая волна как будто хочет сказать: «досюда и ни шагу дальше» — и тем самым она пробуждает в душе потребность, настойчивое желание переступить этот предел и проникнуть дальше указанного... Она манит и дразнит — и не пускает... Нет, она, конечно, пускает и даже приглашает; но только эта нежная влага

слегка расступится, ласково охватит меня и вымочит... Кто робок от природы, тому надо беречься; тут уже не избежишь, не спасешься, сухим не выйдешь: краткий, плещущий набег — и конечно, попался... И сразу — робости как не бывало... Какое бережливое прикосновение, какая гостеприимная встреча, какое любовное обхождение. Упоительно и радостно... Успокаивает и возбуждает... Единственное в своем роде наслаждение. Но теперь предел перейден, дело сделано — и хочется перейти его еще раз и еще раз... проверить первое ощущение, повторить ласковый прием... И — отдаться этой дивной стихии: трогать ее, гладить; ласкать, будоражить, дразнить, разбрызгивать, плыть, нырять, глотать ее, исчезнуть в ней, — и наслаждаться ею. И все время испытывать её жизнь и ее привет: воспринимать ее любовь и отдавать ей свою... Пока не наступит полное единение, совершенная близость: пока из блаженной игры не возникнет светлая дружба...

Одеваюсь и ложусь, утомленный, у самого берега в тени старой пинии и прислушиваюсь к голосу моря. Оно как будто хочет успокоить меня, погасить мое возбуждение, может быть, — усыпить меня, чтобы я отдохнул от непривычного счастья: от этой глубокой дали, которая раскрыла и подготовила мое сердце, и от этой ласковой игры, которая его наполнила и опьянила. Я закрываю глаза и предаюсь вниманию. Множество струящихся и лепечущих голосов шепчут мне о чем-то едином: сначала я слышу как будто тихие упреки, но они тают в дыхании ласкового прощения; потом я различаю нежные утешения: от них исчезает последняя тень грусти и исцеляется скорбь моего сердца, а потом идут надежды и обетования: они исходят из некой древней, мирозабвенной глубины и повествуют мне о райской жизни и о ее дивной невинности...

Сердце наполняется сладостным, непонятым счастьем — легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хочется без конца внимать, только благодарить и ничего больше не желать. И каждый миг набегают тихий шорох волны: она булькает и ласково шепчет, как будто понимает меня и хранит мой покой; она ленится и замирает, словно ворожит надо мной; нежно вскипает и шелестит,

и дышит на меня, будто хочет вызвать во мне несказуемые видения — и погрузить меня в блаженные сны, и уверить, удостоверить меня, что это не сны, а пророчества и обетования...

Я и доселе не знаю, что я тогда, убаюканный шелотом волн, спал или бодрствовал? или, может быть, я проснулся во сне к новой жизни? То, что было — исчезло и никогда больше не появилось. Но я чувствовал, что вечное и благое лоно мира приняло меня в свою тихую любовь и раскрыло мне свои чистейшие пространства... Мне было позволено взглянуть в эти тайные недра бытия, коснуться тех мест, где мы все обитали некогда в доверчивой невинности, где нас и доселе ждут Божие прощение и Божия любовь... И с тех пор я ношу в сердце непоколебимую уверенность, что все страдания человека осмысленны и необходимы; что он должен *выстрадать себе свободный и целостный возврат к Богу*; и что всех нас ожидает любовное прощение, благодатный покров, исцеление к невинности и мудрость блаженного созерцания...

Когда я пришел в себя, солнце заходило, исчезая в море, и я не знал, долго ли я был в отсутствии. Я лежал на берегу под пинией, и все, испытанное мною, казалось сном. И только поток счастья владел всем моим существом. Это счастье было подобно свету, а свет испытывался как любовь, а любовь дарила исцеление и упоение. И я чувствовал, что приобщился некоей неизмеримой, неистощимой благодати, для которой землерожденные еще не нашли верных слов, а то, что я сам мог выразить в словах, казалось мне только преддверием святыни, только папертью узренного мною храма...

Мое лицо было влажно. Не слезы ли это? Но тогда это слезы исцеленного, слезы счастья и благодарности... Или, может быть, это был привет моей новодревней первородины? Тогда я хотел бы сберечь его на всю жизнь и передать его другим людям, чтобы они испытали испытанную мною радость прощения и обновления.

И теперь, если меня посещает горе или овладевает мною тоска, и слезы появляются на глазах, то это уже

другие, новые слезы, которые я не умею отличить от блаженной влаги моей первородины... Ибо я посетил некий божественный берег и знаю наверное, что для сердечной боли есть мера, а для любви и прощения — меры нет; и еще, что всякая боль и всякое горе есть только подготовка к блаженству, есть только первая ступень к просветлению духа...

23. О СТРАДАНИИ

Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно или душевно, — вспомни сейчас же, что не ты один страдаешь и что всякое страдание — всякое, без исключения — имеет некий высший смысл. И тотчас же придет облегчение.

Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмотреться, и ты увидишь, что приобщен страданию вселенной. *Все* страдает и мучается — то в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдание про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить... Томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стесная в самом наслаждении, влачась в борении, в грусти и тоске — живет вся земная тварь, начиная с ее первого беспомощного деяния — рождения из материнского лона и кончая последним земным деянием, таинственным уходом «на покой». Так страдает и человек вместе со всею остальной тварью — как член мирового организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать; в этом наша судьба, и с нею мы должны примириться. Естественно желать, чтобы они были не слишком велики. Но надо учиться страдать *достойно и одухотворенно*. В этом великая тайна жизни; в этом — искусство земного бытия.

Наше страдание возникает из свойственного нам, людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого мы изменить не можем. Как только в нас просыпается самосознание, мы убеждаемся в нашей *самостоятельности и беспомощности*. Человек есть творение, призванное к «бытию о себе», к самостоятельности и самоподдержанию; и в то же время он служит всей природе как бы пассивным средством или «проходным дво-

ром». С одной стороны, природа печется о нем, как о своем детище, растит его, строит, присутствует в нем, наслаждается им, как существом, единственным в своем роде, а с другой стороны, она населяет его такими противоположностями, она разворачивает в нем такой хаос, она предается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни целесообразности, ни пощады. Так, я призван и предопределен к самостоятельному действию, но горе мне, если я уверю в свою полную самостоятельность и попробую предаться ей до конца... Я — свободный дух, но этот свободный дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимым природе и ограниченными всеми невозможностями естества... Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватывающая миры и разверзающая мне необъятные духовные горизонты, но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах своего единичного тела, она слабеет от голода, изнемогает в переутомлении и иссыкает при бессоннице... Я обособлен от других людей, замкнут в своей душе и в своем теле и обречен вести одинокую жизнь, ибо никто никого не может ни впустить в себя, ни вместить в своих пределах; и в то же время другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, как если бы я был их игрушкой или рабом... Таков я; таковы мы все, каждый из нас в отдельности, — однодневные цветы, распутившиеся для страдания, мгновенные и беззащитные вспышки вселенского огня...

«Жизнь ваша, смертные, столь тленный дар богов:
Цветете миг один, живые исполины»...

(Илличевский)³²

Да и все ли «цветем»? Мы, вечные «пациенты» природы, покорные «приемники» мировых волн, чувствительнейшие органы сверх-природы... Что-то царственное и рабствующее; нечто от Бога и кое-что от червя (Державин)³³. Так много. И так мало. Свободные — и связанные. Цель мира — и жертва вселенной. Порабощенные ангелы. Создания божественного художества, отданные бактериям в пищу и чающие могильного тлена...

Вот почему нас так часто и так легко настигает страдание; вот почему мы должны примириться с ним. Чем тонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем

отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух — тем более он обречен страданию, тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом, мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что *лучшие люди страдают больше всех...* И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдание и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это «неожиданным», «незаслуженным» и «бессмысленным»...

Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сначала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчувствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие тревожит нас; мы пытаемся проверить наше ощущение — и постепенно, путями неопишуемыми, в почти неподдающихся оформлению интуициях — мы убеждаемся в том, что нам действительно открылся *закон существования*, общий способ жизни, владеющий всею земною тварью, что нет бытия без страдания, что всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает не только это: он знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но что мы все еще мучаем друг друга — то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей... И, может быть, именно Достоевский, этот мастер терзающегося сердца, был призван пролить свет на эту земную трагедию...

Такова жизнь, такова действительность... И могло ли бы это быть иначе?.. И были ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного?..

Представим себе на миг иную, обратную картину мира. Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого страдания, до конца и навсегда; что некий могучий голос сказал ей: «Делай, тварь, все, что хочешь. Ты свободна от страдания. Отныне ты не будешь знать неудовлетворения. Никакая телесная боль не поразит тебя. Ни грусть,

ни тоска, ни душевное раздвоение тебя не посетят. Духовная тревога не коснется твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всестороннему довольству. Иди и живи».

Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории человечества...

Вообразим, что человек потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему неудовлетворенностью: одновременно с голодом и жаждою, этими первичными источниками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство собою, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Самый призрак возможных лишений, доселе ведший человека вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об опасности для здоровья и будившая его приспособляемость, изобретательность и любознательность — отнята у него. Все противоестественности оказались огражденными и безнаказанными. Все уродства и мерзости жизни стали безразличными для нового человека. Исчезло моральное негодование, возникавшее прежде от прикосновения к злой воле. Смолкли навсегда тягостные укоры совести. Прекратилась навсегда духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому аскезу³⁴... Все всем довольны; все всем нравится; все всему предаются — без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием — даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрачены, но скопились от воздержания...

Как описать те ужасные, опустошительные последствия, которые обрушились бы на человечество, обреченное на всестороннюю сытость?..

В мире возникла бы новая, отвратительная порода «человеко-образных», — порода безразборчивых наслажденцев, пребывающих на самом низком душевном уровне... Это были бы неунывающие лентяи; ничем не заинтересованные безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без подъема и без полета; ничего и никого не любящие — ибо любовь есть прежде всего чувство лишения и голода. Это были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные тупицы, развратные Лемуры³⁵. Вообразите их недифференцированные, невыразительные

лица, эти плоские, низкие лбы, эти мертвые, мелкодонные гляделки, вместо бывших глаз и очей, эти бессмысленно чмокающие рты... Слышите их нечленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной пресыщенности, этот невеселый смех идиотов? Страшно подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой порочности, об этом унижении ничего-не-вытесняющих полулюдей, которые прокляты Богом и обречены на то, чтобы не ведать страдания...

И когда представляешь себе эту картину, то видишь и чувствуешь, что дарует нам *дар страдания*; и хочется молить всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не лишали людей этого дара. Ибо без страдания — нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре пришел бы скорый и трагический конец.

Вот что оно нам дарует... Какую глубиною светятся глаза страдающего человека! Как будто бы расступились стены, закрывавшие его дух, и разошлись туманы, застилавшие его сокровенную личность... Как значительно, как тонко и благородно слагаются черты лица у долго и достойно страдавшего человека! Как элементарна, как непривлекательна улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого страдания! Какая воспитательная и очистительная сила присуща духовно осмысленному страданию! Ибо страдание *пробуждает дух человека*, ведет его, образует и оформляет, очищает и облагораживает... Духовная дифференциация, отбор лучшего и всяческое совершенствование были бы невозможны на земле без страдания. Из него рождается вдохновение. В нем закаляется стойкость, мужество, самообладание и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен преодолеть страдание.

И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это?.. И ради чего?

Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью³⁶. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о страдании: мы обязаны ему *всем* — и творчески-великим и творчески-малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание

есть как бы *соль жизни*; нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу³⁷. И более того: страдание есть *стремящая сила жизни*; главный источник человеческого творчества; тонкий и зоркий учитель меры; верный страж и мудрый советник; строгий призыв к облагорожению и совершенствованию; ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он вызывает к ответственности и очищению жизни; он говорит о заблуждениях и соблазнах; он требует, чтобы люди опомнились и обратились; он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам блаженстве...

Страдающий человек вступает на путь очищения, самоосвобождения и возврата в родное лоно — знает он о том или не знает. Его влечет в великое лоно гармонии; его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию, задуманного лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная, творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами «посещение Божие»... Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не «обреченным» и не «проклятым», но «взысканным», «посещенным» и «призванным»: ему *позволено страдать, дабы очиститься*. И все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью.

Таков смысл всякого страдания. Нерешенной остается лишь судьба самого страдающего человека: достигнет ли он очищения и гармонии в *настоящей земной жизни*, или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика...

Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой: оно *выражает* это отпадение человека от природы, обозначая в то же время *начало* его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоцеление человека, его тела и души: это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, он ищет «возвращения». Избавление уже началось, оно уже в ходу; и человек должен при-

слушиваться к этому таинственному процессу, приспособляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать: «Человек, помоги своему страданию, чтобы оно верно разрешило свою задачу. Ибо оно может прекратиться только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели»...

Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством и обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит — принять его как естественное и духовно-осмысленное явление. Ибо оно обращается к нам *из целесобразности самого мира*: то, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуетя своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания.

Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит, по крайней мере, на одну треть, а иногда и на добрую половину из *страха перед страданием*.

Но не подобает делать человеку и обратное, т. е. нарочно или произвольно вызывать в себе страдание. Неправы те, которые мучают себя, занимаются самобичеванием или оскоряют себя. Они неправы потому, что на них возлагается некая претрудная внутренняя борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе; а они не хотят принять этой борьбы, перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесною болью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру; ошибочно и нелепо дышать на градусник, взгоняя ртуть кверху, или прикладывать к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение и творчество должны приходить *сами*, в силу естества тела, души и духа; возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды — противоестественны и фальшивы. Ошибочно противопоставлять природе — искажающий ее произвол. Все хорошее и верное возникает

как бы по собственному почину, естественно, гармонически, как говорил Аристотель, «δι' αὐτοῦ» («через себя самого»). Мы призваны творчески жить и творчески любить; спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающееся страдание; и — главное — творчески преображать и просветлять страдание, уже наступившее нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но призыв к преобразению жизни, к просветлению души, оно есть путь, ведущий к совершенствованию, лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает в нас, с нами и о нас само Божественное начало. И в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления.

Вот почему страдающий человек не должен терять терпения или, тем более, отчаиваться. Наоборот, он должен *творчески* воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана *телесная боль*, то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их; и в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее: это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стонающую тварь. Надо противопоставить плотской боли — духовную сосредоточенность и *внимать* не телесной муке, а духовным содержаниям. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути. Нет человека, который умел бы *все* и знал бы *все искусства*, а искусство одухотворять страдание есть одно из высших. Конечно, для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь, но эта высшая мощь может быть вымолена, выработана и приобретена. И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверхчужая сторицею.

Но если человеку послано *душевное страдание*, — а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, — то он должен прежде всего не бежать

от него, а принять его, т. е. найти в жизни время и досуг для того, чтобы *предаться* ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть в глубь своей страдающей души, с молитвою в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собою во внутренних словах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться; надо не предаваться ее страхам и капризам, ее своеволию и ее тайным наслаждениям (ибо душевная мука всегда прикрывает собою большие наслаждения инстинкта); надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина; надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее приказом, уходом от нее и творческим напряжением; надо рассеивать ее туманы, ее обманы и наваждения, и превращать ее силу в радость божественным содержаниям жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преобразению души. Вот почему сокровенный смысл душевного страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим во чреве матери и чающим своего рождения; ибо страдание есть не проклятие, а благословение; в нем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений — некое богатство, борющееся за свое осуществление.

Если же человеком овладевает *духовное томление*, то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую *мировую скорбь* и тем возвело страдающего к Богу: ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении — скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть «благое иго» и «легкое бремя» (Мтф. 11. 30).

Вот почему апостол Иаков пишет: «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится» (Иак. 5. 13). Ибо молитва есть не что иное, как воздыхание духа к Богу, то «неизреченное воздыхание», которым «Сам Дух ходатайствует за нас» (Римл. 8. 26). Молитва есть зов о помощи, направленный к Тому, Кто зовет меня к себе через мое страда-

ние; она становится творческим началом творческого преобразования и просветления моего существа.

Но совершить все это никто не может «за меня» или «вместо меня», страдающего: все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преобразование. Другой человек может помочь мне советом; Господь не может не помочь мне дарованием сил и света. Но совершить мое очищение и просветление должен я сам. Вот почему оно требует свободы и без свободы невозможно. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии земного страдания. И именно этим определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле.

24. О СМЕРТИ

(письмо первое)

Дорогой мой. Ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии, и я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет. И теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит надо всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своею смертью и *включить ее в свою жизнь*. Такие времена обычно называются «тяжкими» и «страшными», а в действительности это времена духовного испытания и обновления — суровые, но благотворные времена Божьего посещения.

Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благодное, прощающее и исцеляющее. И вот почему.

Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа, во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности не

удавшаяся ни природе, ни родителям — сделалась бы *бессмертной*, и меня охватывает подлинный ужас... Какая жалкая картина: самодовольная ограниченность, которая собирается не умирать, а *заполнить собою все времена*. Несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению... Бесконечный «огрех», вечный недотеха... Что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать *всегда*... Или — несмываемое пятно земли и неба... Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы — в виде моей особы, и думаю: а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью, и я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее — и так без конца. Какая претензия и какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь как от тяжелого сна — к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти... Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена... А смерть придет, как избавительница и целительница. Милостливо укроет меня своим покровом. Даст мне прощение и отпуск. Откроет мне новые, лучшие возможности. А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии.

И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни — *меру и форму*. Слава Богу, все мое земное страстное кипение, эта бесконечная борьба с самим собою, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы, эта борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния,— все это не будет длиться вечно, не заполнит все Божии времена... Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час и «отрешит вола от плуга на последней борозде»... (Пушкин)³⁸. Безмерная длительность отпадает, и моя жизнь получает *меру срока*, меру долга, меру в напряжении, меру плена и меру томления. Как это благостно... Моя жизнь приобретает *форму* — форму свершающегося конца. Я знаю, я твердо знаю, что придет избавление, что откроется освобождающий исход и что мне надо к нему готовиться. И вот

главное: мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а *завершением* всей моей жизни; все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец. Но и это — благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно: меряя человеческой мерой, надо признать, что срок не слишком далек и что мне нельзя терять времени. Нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком. А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое, чудесное богатство мира — природы, человеческого общения и культуры — все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания — все это неисчерпаемо, ответственно, претрудно и обязывающе...

Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим *началом жизни*, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне: «знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям — в любви, в служении, в созерцании, в созидании — нет числа; не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни?..»

Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, *жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать*, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать — что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный искуc, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми *не стоит жить* или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих различений и познаний — верный масштаб, истинный критерий.

Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное: когда близится смерть или когда, по крайней мере, тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе, переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся — вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго; и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество, наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел. Так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается; второе оправдывается и подлинно освящается. И не то, чтобы мы само это производили; нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием.

Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни. Тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь. И вся наша жизнь пронесется перед нашим духовным взором, как на молниеносном параде. И все, что в ней было верного и благого, все, чем на самом деле стоит жить — все утверждается как подлинная реальность, все возносится в сиянии; а все, что было мелко, ложно и пошло, — все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость и судит себя, как растратчика сил и глупого мота. Зато — как он радуется всему верному и подлинному, и сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет и молит о восстановлении; и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитою «начерно» и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь уже «набело». Мгновенно родятся

планы новой, чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков и новых возможностей...

А когда опасность смерти пронесится и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и провееяна, и делает один из значительнейших выводов в своей жизни: *не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь*. Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, — все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить, тому и надо служить. Жизнь стоит только тем, за что стоит бороться на смерть и умереть; все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судия.

Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени. Она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения. Она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная «мера всех вещей»³⁹ или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узорешительница или как великая дверь для последнего ухода; она нужна нам прежде всего в *самой жизни и для самой жизни*. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть *воспитывает* в нас этот *вкус к жизни*, сосредоточивая и облагораживая его; она учит нас не терять времени, хотеть лучшего, выбирать из всего одно прекрасное, жить Божественным на земле, пока еще длится наша недолгая жизнь. Тень смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам: «опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертным». Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза — зрячими и дальнорукими. А ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от *телесной* индивидуации. Позволи-

тельно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака?

Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость, ее таинственность и загадочность — могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все время пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостижимую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим и, отгорая, уносится в какую-то пропасть; и эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. *Жизнь не менее таинственна, чем смерть*; только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни. И тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется, как новый друг, бережный, верный и мудрый.

25. О БЕССМЕРТИИ

(письмо второе)

Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души; и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос, со всею прямою и откровенностью, но помимо всякой богословской учености.

Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном, бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту «возможность» я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит, ну, приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытия. Есть люди, склонные к пустому, конструктивному мышлению: они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать такими понятиями, как «смертность живого духа». Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек и в особенности каждый ученый, исследователь должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом,

интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками и не впадать в «последовательную», но мертвую схоластику. *Нереальные возможности* суть *невозможности*, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о *реальных возможностях*, тот обязан находить соответствующие *реальности* и держаться за них.

Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен *духовного опыта*, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из *чувственного опыта естествознания*, рассудочно переработанного и духовно не осмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом и из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом «ничего не сказано» или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и *настоящих духовных реальностей* и судят о том, что от них скрыто.

Этот опытный источник, эту подлинную реальность каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно, он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них — *из них*. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни, а «доказательство» станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя слабое ощущение духа, как бы «горчичное зерно» этого опыта, или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания.

При всем этом я имею в виду *живой опыт нашего* не материального, не телесного и притом именно *духовного бытия*.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и предается тлению. Страшно нам, что угаснет

наше земное сознание и самосознание, прилепленное к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое «здешнее». Расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да и останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное, таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встает за вопросом и остается без ответа. Тьма. Бездна. Конец. Больше никогда.

Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно: никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только *я сам*, только *я один* могу сделать это, и притом через мой *собственный, внутренний опыт*. В этом опыте я должен пережить и увидеть *мое собственное духовное естество* и добыть себе *очевидность моего духовного бессмертия*. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне не ясен, не убедителен, не окончателен; уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстоятельств верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, т. е. приобрести его, или (еще точнее) *творчески создать* его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски, то сколько бы живые свидетели не рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы *узреть сверхземное*, надо реализовать и оформить в себе *сверхземной способ жизни*, из которого потом и возникнет *сверхземной язык*... И все это — в пределах земной жизни.

Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного, чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше «главное», за наше настоящее существо, а оно есть только Бого-данная «дверь», вводящая нас во внешний, материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотой. И когда мы видим, что эта «дверь» отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет «безгласною, бездыханною» перстиею, то мы в смятении готовы

допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец...

Мы не можем и не должны презирать или тем более «отвергать» наше тело: ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты: оно открывает нам все чудеса Бого-созданной твари, всю значительность, и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божию миру, нашего участия в нем; и пока мы живы, оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасно, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть *таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией*, живой и художественный *символ Его мудрости*, так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, его живою частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ... Но еще лучше, что он открывается нам *на время* и потом будет *отнят и закрыт*: ибо нам предстоит нечто более высокое, совершенное и утонченное.

Итак, несомненно, что наше тело входит в земной состав нашей личности. Но несомненно также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия. И в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании.

Человек способен не только к чувственно-телесному опыту. Ему доступен еще иной, не чувственный и все же предметный опыт; и мы должны вынашивать его, очищать его и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, мы постепенно открываем свое *нетелесное бытие* и утверждаем его, как *главное и существенное*. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии *духовных законов и предметов*. И первое, что нам при этом открывается, это *наша собственная духовная личность*.

Мое духовное «Я» открывается мне тогда, когда я

убеждаюсь, что я есть *творческая энергия*, такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом, как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его; она не признает его «мерюю всех вещей». Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные *формы, иные законы жизни, иные пути и состояния*, чем у тел или вообще у материи: это формы — *духовной самостоятельности и свободы*, это законы — *духовного достоинства и ответственности*, это пути — *духовного очищения и самосовершенствования*, это состояние *бессмертия и богосыновства*. Эта энергия, как таковая, есть изначально и существенно *искра Божия*; и человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру, как свою подлинную и собственную сущность; человек должен предаться этой духовной искре, потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь. Тогда он сам станет Божией искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в *несгорающую купину духа*.

Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается двойственным и распадающимся, так что Божия искра горит в человеке сама по себе и человек живет ее силою, ее формами и содержаниями, а земное тело чадит само по себе, со всеми своими слабостями и необходимостями, во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к *единству* и призван быть живою и творческою *целостностью*. Мой дух, эта творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратить и тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в *Божие огнище*, в некий *земной маяк Всевышнего*. Итак, в этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освящается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божиим, личным светильником Его

Света, индивидуальным иероглифом Духа Божия... И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого *художества Божия в человеческой душе*, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у Него единственным».

И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия, это художественное создание Его Духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии — имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти... И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнестись серьезно и принять ее на веру? Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения *земной материи и физической энергии*: это для них достоверно, в этом они не сомневаются. Но именно потому, что дух не есть ни материя, ни физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет... Дух — эта свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающая именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие... Какая жалкая попытка перенести самую брентную мысль земного мира — мысль о смерти — в сферу нетленных и непреходящих обстоятельств духа...

Есть великий Художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях и который донныне продолжает создавать мир человеческих духов, во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — Его искры, или Его художественные создания, или Его дети. *И именно в силу этого мы бессмертны. И наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение.* Правда, человеку лишь редко удастся предоставить свою свободу целиком — Божьему пламени; лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием Духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени; всю свою жизнь он *зреет к смерти*. И земная смерть его наступает тогда, когда ему не дано подняться выше, когда ему нечего больше достигать, когда он созрел к смертному уходу.

Друг мой. Это было великим счастьем, что мне дано было узреть Божий мир, внять его голосу, воспринять его живое дыхание — хотя бы бегло, скудно и беспомощно... Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мною великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты, величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки — какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад! Сколь благодно было это данное мне разрешение, как много получил мой дух от этого пребывания — от прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, от молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, от тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд. От добрых и от злых людей, и в особенности от великих созерцателей, которые хвалили Творца словами и помыслами, в пении и в живописании, изображением и изучением — или же прямою молитвою. Какое незаслуженное богатство! Какая неисчерпаемая глубина! Поистине, великие и неоплатные дары...

И это тоже было великим счастьем, что я не только мог видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своею жизнью: что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться; что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами; что мне было предоставлено жить и созреть к смерти...

А потом я буду отозван, так, как если бы я созрел для этого отозвания и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому, сверхземному богатству — чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно-интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно-ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно предчувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца — все это и еще иное, прекраснейшее, ожидает меня там, зовет меня туда, все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущее не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности: это будет творческое отожд-

дествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо *все* увидеть и постигнуть, оставаясь самим собою, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить ликуя все чудеса Божьего богатства, которые уже открылись мне или еще не открылись мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни.

Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу, Спасителю и Утешителю — в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неуместно Богу и в творении Его неуместно...

Так я понимаю бессмертие человеческого духа.

V. У ВРАТ

- 26. О БОЖИЕЙ ТКАНИ
- 27. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО
- 28. ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ
- 29. О ТЕРПЕНИИ
- 30. О СОВЕСТИ
- 31. ЧТО ЕСТЬ ОПТИМИЗМ ?
- 32. ОБ ИСКРЕННОСТИ

26. О БОЖИЕЙ ТКАНИ

Вчера зашел ко мне мой сосед — душу облегчить. Он посидел у меня с полчаса, долго раскуривал свою прокуренную трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него лежало на сердце.

«Мой отец, знаете, был очень добрый человек. Он давно уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло и светло делается. Он был, понимаете, портной; хороший портной, мастер своего дела; так умел построить костюм, что просто заглядение. К нему из соседних городов франты приезжали и всегда бывали очень довольны: так — посмотришь, будто нет ничего особенного, а приглядишься — ну просто художество. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то грустное напевает, а потом вдруг скажет: «Нехорошо вчера соседи Митревну избидели, зря, все виноваты перед ней»; или: «Петру-то Сергеевичу

в праздник надеть нечего, надо бы ему справиться»... И опять шьет.

Бывало, разволнуется и начнет мне о «ткани» рассказывать; а он никогда не говорил «матерьял» или «сукно», а всегда «ткань». «Присмотрись,— говорит,— Николаша, к людям. Ведь мы все одна ткань. Вот, гляди, каждая нитка к другой приникла и держит ее; все сплелись друг с другом, все вместе к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца одну нитку, и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, сплеховала, истончилась или порвалась, так весь кусок выходит в брак. Ни один хороший мастер этакую большую ткань не возьмет, ни один заказчик и смотреть на нее не станет. Так и гляди, выбирая, чтобы не промахнуться, чтобы больной ткани и в заводе у меня не было.

Вот и с людьми так же. Мир от Господа так устроен, что мы все — одна сплошная ткань. Все друг к другу приникли, все друг друга держим и друг другом держимся. Если одному плохо, то всем нехорошо, а люди этого не понимают: глупы, близоруки. Думают: «Что мне до него, когда мне самому хорошо»... А на самом-то деле не так. Если одному которому-нибудь плохо, то он мучается и болеет; и его мука от него во все стороны распространяется. Ходит угрюмый и других угрюмит. От его беспокойства всем неуютно. От его страха у всех раздражение делается. Люди друг к другу злым местом повертываются: не доверяют, подозревают, обижают, ссорятся. И все чувствуют, что это *от него* идет и на него за это раздражаются. И он это чувствует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нужна, а они к нему с раздражением. И никто не видит его муку, а видят только его угрюмость, жестокость, сварливость; и не любят его... И вот уже разрыв, порвалась ткань, врозь идет, расползается. Надо скорей чинить дыру; а никто за это не берется: «Мне,— говорят,— какое дело? его беда, он и чини». А разрыв все растет и ткань испорчена. А чинить можно только любовью: *твоя беда — моя беда, моя беда — общая*»...

А еще отец так говаривал. «Ведь это и в хозяйстве так. Бедный человек не одному себе беден, а всем. Нищий человек не у себя просит, а других тревожит, о муке своей говорит, язву свою обнажает. Где беда, там *общая* беда; где голод, там всем хлеб горек. Безработный не

один скитается, мы все им заболели. Все равно как зуб заболит; заболит — и весь человек в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяница — он свою беду во все стороны излучает, всех задевает, всех бременит. И опять вся ткань испорчена; и надо как можно скорее чинить, помогать, дыру заделывать. Где ты не можешь, я за тебя смогу; где оба не сможем, другие вывезут».

Сердечнейший человек, знаете, был отец. И помогал всем, везде, где только мог. «Я,— говорил,— «починкою был занят», «дырку заштопал». И так, бывало, делал: собирает отрезки от всех сукон и костюмов, иной раз прямо выпросит остаточек у заказчика, и подбирает; вертит, лицует, составляет, подгоняет; очень ловко... И потом шить начнет. И уж тогда веселые песни поет. Глядишь — жилет построил; или брюки. А иногда и целый костюм подберет; завернет аккуратно в платок и снесет бедняку. И тому запретит рассказывать: этого, говорит, никому не надо знать; молчи, и все. И только мы в семье понимали, что происходит. А уж любили его, как редко кого. И за советом приходили, и просто поплакать.

Нет, знаете, разбогатеть он не хотел; ни к чему это, говорил. Сами прокормитесь. Ка-кое наследство... Вот что о ткани говорил, это наследие. А как почувял смерть, позвал меня и сказал: «Ухожу, Николаша. Не грусти. Все мы — нити в ткани Божией; и пока живем на земле, дано нам эту ткань беречь и крепить. Помнишь ты, был хитон у Спасителя, несшитый, цельный, весь тканый сверху донизу. Вот этот хитон нам помнить надо. Все мы — нити его и по смерти призваны врати в него. Помни о нем. Это ткань Божия. Береги ее в земной жизни: каждую нитку крепи, от сердца ревнуй. Сердце больше всего слушай. О чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо»...

Вот и кажется мне, знаете, что он прав был. Все мы — одна ткань. И в этом, чуется мне, мудрость жизни сокрыта»...

27. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПИСЬМО

Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни семьи, ни друга; и

мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было любви: дальний город, чужие люди, черствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо.

Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.

«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на свое одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночество.

Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди это цветы, а цветы в букете не могут быть одинокими. И если только цветок распустится как следует и начнет благоухать, садовник и возьмет его в букет.

Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает; и он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит: он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живет с другими, он живет в других. А это и есть счастье.

Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что ведь это только *пол-счастья*, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу: кто действительно любит, тот не спрашивает и не скупится. Нельзя постоянно рассчитывать и выпрашивать: а что мне принесет моя любовь? а ждет ли меня взаимность? а может быть, я люблю

больше, а меня любят меньше? да и стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви еще нету (не родилась) или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает, и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и несчастный...

Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не пол-счастья, а *целое счастье*. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь на свободу, пусть лучи ее светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь.

И тогда ты испытываешь этот ответный, обратный поток не как «полное счастье», которого ты требовал и добивался, а как *незаслуженное земное блаженство*, в котором твое сердце будет цвести и радоваться.

Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в Его саду.

Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.

Твоя мама».

Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всеобщей. О, незаслуженное земное блаженство!

28. ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Вчера у меня был потерянный день. Это случилось как-то само собою, но вечером я почувствовал всем своим существом, что день этот для меня погиб.

Как только я проснулся, мною овладели заботы: выдвинулись всевозможные жизненные затруднения, осложнения и прямые опасности, целое змеиное гнездо. Напрасно я пытался отделаться от него презрением или юмором; напрасно корил себя за робость и пессимизм; напрасно искал спокойствия в молитве. Как будто давящий туман надвинулся на мою душу; узлы не распутывались, надежды гасли. Воображение рисовало надвигающиеся беды и унижения: когда жизнью овладевают черствые фанатики, духовные идиоты, то надо готовиться ко всему. Горечь и отвращение овладели мною. Сердце судорожно сжалось и ожесточилось. Надо было бороться. И так начался этот погибший день.

Нужно было собрать все силы и проламывать стены — одну за другою. Надо было найти спокойствие в самой тревоге, сосредоточиться, все взвесить, выработать план и с достоинством встретить опасность. Надо было перейти в наступление: идти от человека к человеку, будить друзей, уговаривать жестоковых, заклинять врагов. Надо было доказывать бесспорное, дробить камни, плавить железо... Есть же на свете счастливые люди, которые и не подозревают, во что превращается жизнь под управлением бессердечных доктринеров, какую ложь, какую мертвость, какое опустошение и какую грязь они несут людям и что приходится переживать из-за них...

Вечером, когда я вернулся домой и все узлы оказались каким-то чудом распутанными, — я чувствовал себя смертельно усталым. Все удалось, успех превышал всякие надежды, но день был потерян.

Он был потерян потому, что сердце мое пребывало в судорожном ожесточении, а оно ожесточилось оттого, что я видел вокруг себя ожесточенный мир и не заметил, как он меня заразил и отравил. Когда сердце ожесточается, то оно уже не способно к любви: оно не поет и не светит; оскорбленное и онемевшее, оно погружается в темное молчание; в нем нет ни ласки, ни улыбки; и к молитве оно уже не способно. Оно каменеет. А когда сердце окаменело, то чело-

век не может быть орудием Божиим; и день оказывается погибшим.

Это был погибший день потому, что я думал только о себе и хлопотал только за себя. Надо же было спастись как-нибудь из этого жизненного тупика... И все-таки... О, этот страх за свою шкуру, как будто она так необходима и драгоценна. Жизнь становится вращением вокруг себя самого, как если бы ни на земле, ни в небе не было ничего лучшего, высшего... Человек слепнет и глохнет для всего остального страдающего мира; и живая ткань Божия, ради которой только и стоит жить на земле, как бы перестает существовать для него. И день пропосится в душе, мертвый и пошлый; и уходит в прошедшее, как нерасцветший цветок.

Этот день пропал для меня потому, что я боролся с людьми, я старался подчинить себе их волю, использовать их, как свое орудие, и не было во мне живой любви к ним — ни к одному. Я подходил к ним осторожно и ловко, я уговаривал и доказывал, я внушал им необходимое, но сам я оставался сухим и деловитым и только пристально и зорко рассматривал их, как каменщик рассматривает свои неуклюжие кирпичи. Мало того. Они все время были противны мне, эти жестокие, самодовольные, заносчивые выскочки; и отвращение царило в моей встревоженной душе. И отвращение это надо было скрывать; и лицемерить, и лгать, ненавидя... Куда мне девать теперь это бремя? Как мне смягчить и разбудить мое сердце? Проснется ли оно опять к любви?.. Уходи же, уходи, пропащий день, чтобы можно было забыть тебя и исцелиться.

Да, день был пропащий, потому что все прекрасное и нежное на свете не существовало для меня. Птички не пели мне. Цветы не радовали мою душу и не благоухали мне. Я не видел ни одной детской улыбки. Я совсем не мечтал о красоте. Холодный ветер проносился надо мною, как над уличным фонарем. Я даже не помню, было ли вчера солнце на небе. И самое внутреннее пение мое, вечно поющее во мне о далях и глубинах, смолкло, и ручей его иссяк. Мир, как нежная тайна, мир, как живой гимн, мир, как чудо Божие — не существовал для меня. Нет, это была не жизнь; я не жил в этот день...

Он погиб для меня, потому что я не нашел ни одной нити, ведущей к Царству Божьему, и взор мой ни разу не

коснулся его дивной, сияющей ткани. В такие дни жизнь лишается смысла и святости, как бы ни везло человеку и как бы удачны ни были его земные дела. Ибо человек строит свою жизнь не делами, а деяниями; он дышит сверхчеловеческими веяниями; он живет близкими лучами, проходящими из священной дали; он живет дыханием Божиим...

Прощай же, пропащий день. Угасай в забвении. Единственный дар останется мне от тебя: что я увидел твою пустоту и понял, что потерял тебя в жизни.

29. О ТЕРПЕНИИ

У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он «больше не может»: «жизнь так тягостна, так унижительна и ужасна, что переносить ее дальше нельзя»... Но время идет; оно приносит нам новые тягости и новые опасности — и мы выносим их; мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить и перенести все это. Иллюзия «невозможности» рассеивается при приближении к событиям, душа черпает откуда-то новые силы, и мы живем дальше, от времени до времени снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно: наш взор близорук и поле нашего зрения невелико; мы сами не обозреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется; что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем; дивная способность, которую мы не укрепляем; великая сила личной и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура... Я разумею — *духовное терпение*.

Что случилось бы с нами, людьми, и прежде всего и больше всего — с нами, *русскими* людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам собою встает вопрос: как мог русский народ справиться с этими несчастьями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и унижениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность — его великое искусство не падать духом, стоять до конца,

строить на развалинах и возрождаться из пепла... И если мы, поздние потомки великих русских «стоятелей» и «терпеливцев», утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать...

Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет» — силу и бессилие, здоровье и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать «отказы» жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся «нет» и приветливо встречать неприветливую «изнанку» земного бытия. Пусть приближается низина жизни, пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное; мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу; напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага.

Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в детстве. Как тяжела ребенку первая утрата... Как томительны первые лишения... И первая боль нам кажется «незаслуженной» и первое наказание — чрезмерно суровым... Как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества... Но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь, и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе *жизненного стратега*: спокойно предвидеть наступление «неприятеля» и твердо встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями *все новую и новую силу духа*. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека, так что он станет слабее самого себя, то несчастье является *школой терпения* и научает человека быть сильнее себя самого.

Итак, человеку необходима прежде всего способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности и мужественно встречать страдание «с поднятым забралом». Это не легко;

этому надо учиться и научиться. Это удастся далеко не каждому и не всегда. Человеку естественно томиться в безрадостной жизни, а бывает так, что его окружает непроглядная тьма, без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство. Ибо человеку свойственно искать утех и развлечений; его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям; он «сластолюбив» от природы и сам не замечает, как вожделения и страсти овладевают его душою. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе; утеха нужна всякой твари, человеку нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни *не зависели от внешних обстоятельств*; чтобы радость наша имела внутренние источники; чтобы мы умели видеть свет и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укрощен силою воли; отчасти утешен новыми, иными радостями; он может быть подвергнут молитвенному заклинанию; во всяком случае — утихомирен.

Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собою и на самовоспитании; искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к Божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее *находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им*. Во всякой траве есть цветы; во всяком облаке есть красота; во всяком человеке есть своя глубина; о вечной тайне молчит природа; об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение и радость ждут нас повсюду; нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором.

Иногда с человеком надо обходиться как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо подарить ему новую красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений — и радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, то надо на-

учить его пускать мыльные пузыри: пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилия и упражнения для творчества... Надо упражняться в терпении; надо ввести в жизнь состязание в терпеливости; надо научиться *терпеть легко*. И пусть каждый из наших детей испытает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения.

И что бы ни пришлось человеку переносить — грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, — он не должен пугаться спозаранку, ибо застрашенная душа теряет власть над собою. Страх возникает от воображения опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его в воображении; кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застрашивает и разочаровывает свое терпение и становится его предметом.

Терпение есть своего рода *доверие к себе и к своим силам*. Оно есть *душевная неустранимость*, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу: «*пусть наступит неизбежное, я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит*»... Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим; а малодушное словечко: «*я не выдержу*» — совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое...

А если час пришел, если испытание началось и терпение впряглось своею силою, тогда важнее всего *не сомневаться в нем и в его выдержке*. Лучше всего не думать вовсе — ни о том, что терпишь, ни о своем терпении; если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе: «*ах, я так страдаю*» или: «*я не могу больше*» — и сейчас же наступает ухудшение. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу: он наблю-

дает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость: нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все, от мелкого, унижительного компромисса до последней низости: дело его кончено и сам он погиб...

И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах; надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу... Или, еще лучше: надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть, и свое унижение в словах предельной искренности перед Отцом, ведающим все сокровенное, и просить у Него силы от Его Силы и утешения от Утешителя... Тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдание осмыслится и душа почувствует снова *благодатную готовность терпеть* до конца и до победы.

Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути: *юмор* — в обращении к себе и *молитва* — в обращении к Богу.

Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость меряет тварную жизнь мерою духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она должна проснуться в тварном самосознании — и тогда она даст истинное облегчение. Тогда и само терпение улыбнется вместе с духом и с тварью — и вся душа человека объединится и укрепитя для победы.

Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к Тому, Кто послал ему испытание и призвал его к терпению. Тогда терпение участвует в молитве; оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех и наши заблуждения; и нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем. И потому когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя, как <бы> напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа.

Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его, т. е. добиться того, *чтобы наш дух перестал зависеть от него*; мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания — мудрости естественной и мудрости духовной, оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви; оно должно осветить нам по-новому смысл жизни.

Терпение совсем не есть «пассивная слабость» или «тупая покорность», как думают иные люди; напротив — оно есть *напряженная активность духа*. И чем больше оно прикрепляется к *смыслу* побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать; оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе; более того — оно есть *сама победа*, одоление слабости, лишения и страдания, победа над длительностью, над сроками, над временем: победа человека над своею тварностью и над всякими «жизненными обстоятельствами». Терпение есть поистине «лестница совершенства»...

И кто присмотрится к человеческой истории — сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, — тот познаёт и признаёт великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества; оно ведет через все пропасти искушения и страдания; оно есть *орудие и сила самого Совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни*; и потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры... Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество: верность, скромность и смирение; любовь, сострадание и прощение; труд, мужество и работа исследователя...

Терпеливо делает гусеница свое дело — и превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья, если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо почерпая свою силу из *сверхчеловеческого* источника, он сумеет нести *нечеловеческие* бремена и создавать на земле великое и чудесное.

30. О СОВЕСТИ

Есть старинное предание. В некотором государстве жил-был добрый король. Однажды в студеной зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него сжалось сердце и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем, — сказал он ему, поднимая его на ноги, — в моей стране найдется и для тебя любящее сердце»...

Так проявляется совесть в человеческой душе — часто неожиданно, но захватывающе и властно. Не произносится никаких слов, никаких повелений. В сознании нет ни осуждения, ни формул. В бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волею. Ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила. А слова и мысли просыпаются в нас лишь позже, при попытке описать и объяснить совершившийся поступок.

В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало — какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась... Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее «своею» и не включал ее в «себя». Хочется сказать: «я не знаю, откуда она взялась, но *совсем чужою* или *постороннею* мне я ее не ощущаю». Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильною и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простою *возможностью* и вдруг оказалась *необходимостью*. Она воспринималась, как дальний зов, и вдруг обнаружилась, как ветер и буря... Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток... Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость, и вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая «мечта» о земном совершенстве, и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой...

В душе внезапно отпали все «трезвые» соображения и «умные» расчеты; стихли все большие страсти и мелкие пристрастия; и даже опасения и страхи исчезли, словно их

и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал; да я и не считал себя способным к нему... Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным... Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой — лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее?.. Но откуда же он взялся? И куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам?..

Я знаю одно и знаю твердо: *тогда я иначе не мог*. Было что-то высшее и сильнее, что *заставило* меня поступить так. На меня как будто бы что-то «нашло», «захватило» меня и понесло. А подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка — у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, — *и не должен был, и не смел* действовать иначе. *Я не мог тогда иначе хотеть*; а теперь скажу: мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. *Так* и надо было. Это было *лучшее*, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то *тихим, спокойным блаженством*. Одного только мне бы хотелось — чтобы *он*, этот «лучший» и «большой», явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость...

Так совесть научает человека забывать о себе и делать его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной судьбы — не связывают его больше; все это отходит, хотя бы временно, на задний план. Человек перестает быть «личным» и вдруг становится «предметным» в лучшем и священном смысле этого слова. Это *не* значит, что он утрачивает свою «личность» и делается «безличным». Нет, совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-жадное, лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое место *дыханию высшей жизни*, побуждениям и содержаниям Царства Божия, объективной реальности, — тому, что можно обозначить строгим словом «Субстанциальности» или целомудренным словом «Предметности». Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного Дела,

т. е. Божьего Дела на земле. Кажется, будто он сбросил с себя бремя своекорыстия; или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья «отвалились» у него и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности... Но он уже никогда не забудет то чувство *блаженной силы и свободы*, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира; но он жил им, он испытал его и всегда будет тянуться к нему.

Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть: это расхождение между нашими *лично-эгоистическими побуждениями* и нашим *божественным призванием*, которое мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение окончательно и всецело отдаться Божьему Делу — *всегда* живет в глубине нашего сердца. Это влечение духа требует от нас всегда одного и того же: *самого лучшего*. И если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения...

Но в действительности жизнь идет иначе: мы слышим этот голос и не слушаемся его; а когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собою. Тогда мы испытываем наше «повиновение» совести как опасное жизненное «предприятие» или даже «приключение», как неблагоприятную мечтательную затею, или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, след., как тягостное бремя жизни... Если же мы *не* повинемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом *лучшая* его часть, остается приверженной ему; но внутреннее раздвоение продолжается... Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, — поднимается недовольство, особого рода печаль и тоска, мучительное неодобре-

ние. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение: тогда человек отводит ему место в глубоком подzemелии своей души и пытается запретить этот подвал и завалить самый ход к нему; но это несколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных *угрызений*, которые будут пожизненно грозить ему, нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя...

...А между тем, истинное *ис-целение*, обещающее *цельность* души, нуждается всего-навсего в моем согласии: только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, радость добровольности и предметного служения. Я исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я *должен* делать, но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а *светлая радость жизни*. Потому что я буду делать тогда то, чего желает *моя собственная воля*; и то, чего она желает, будет *лучшим*, и притом *на самом деле лучшим*. И это лучшее станет для меня *внутренней необходимостью, единственной возможностью* и осуществленным делом. Иначе я не могу; и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом — мой долг. Но я желаю осуществить его не потому, что «это мой долг», а потому, что это есть «объективно лучшее», к чему зовет меня мой *дух (совесть)* и к чему прилепляется *любовью* и мой *инстинкт*. Так возникает *совестная цельность человеческой души*.

Пока я еще не знал, что такое «совесть», и не переживал *силу и счастье совестного акта*, я спрашивал в холодном сомнении: «да разве это вообще возможно? разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения?»... Но если я испытал совестный акт, хотя бы единожды, — обнаруживаются глубокие изменения. Все былые сомнения и скептические вопросы отпадают; нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен потому, что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он, когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать *воззвать к совести по собственной инициативе*? Почему я должен думать, что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, я могу свободно и радостно предаться ее зову... Все это в моей власти, все это будет проис-

ходить в моем внутреннем мире... Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман...

Прежде всего, надо отложить всякое *теоретическое умствование*, ибо оно непременно приведет за собою форму мысли, суждения, анализа, синтеза и облечет все это в понятия и слова. Все это не нужно, ибо акт совести *не есть акт словооблеченного мышления*; он не теория, не доктрина, не «максима», не закон и не норма. Не надо ничего выдумывать; не надо размышлять и изобретать. Не надо стремиться к какому-то «всеобщему законодательству». Не надо *ничего предвосхищать*. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка.

Не следует также спрашивать о том, что было бы «*полезнее*» всего или «*целесообразнее*» всего; эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о «приятном», «удобном», «выгодном», «умном» и т. под.; все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать *лучшего, нравственно-лучшего*, и притом не «лучшего по-моему», а «лучшего на самом деле». Верующий христианин спросит о «христиански-лучшем», о «совершенном перед лицом Христа Спасителя».

И еще одно: этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы *узнать*, познать истину, формулировать ее и доказать; это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен *практически*, чтобы сделать, поступить, осуществить. А так как каждый практически-жизненный случай *индивидуален, единствен в своем роде*, то надо искать не *общего правила*, а *личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае*.

Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, «условий», уклонений и «резерваций» я встану таким, каков я есмь, перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, «сейчас» и «здесь» — внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца; я спрошу: как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христиански-лучшее, совершенное перед лицом Христа Спасителя?..

Я ставлю этот вопрос — и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное

дается само. Заглохшее сердце пробуждается и... королевская мантия ложится на плечи нищего...

Королевская мантия?.. Да, ибо это я, с моим заглушим сердцем и черствым нравом, я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному мятежью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым; и склонился ко мне, облакая меня своею Ризою, как светом, как любовью, как откровением⁴⁰. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь и свет новой жизни.

31. [ЧТО ЕСТЬ] ОПТИМИЗМ[?]

Вот что необходимо современному человечеству, — как воздух, как вода и огонь — это здоровый, творческий оптимизм. Мы стоим на пороге новой эпохи, нам нужны новые, творческие идеи; мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль; мы должны хотеть верного и притом желать сильную волю; и в довершение всего — мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием и в то же время в великой, творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении.

И для этого нам необходим *духовно-верный оптимизм*.

Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть «в хорошем настроении»; мало «не предвидеть ничего дурного». Легкомысленный весельчак всегда «в хорошем настроении», а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей; самоуверенность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к «спокойствию» во что бы то ни стало: оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья; он приобретает в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях: ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение, и оптимист не может закрывать себе на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом.

Итак, есть *ложный оптимизм и духовно-верный оптимизм*.

Ложный «оптимист» хранит хорошее расположение духа потому, что он человек настроений и предается своим личным, чисто субъективным состояниям. Его «оптимизм» не имеет предметных оснований. Он живет сам по себе, вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий. Он «оптимист» только потому, что обладает здоровым, уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его «оптимизм» касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а может быть, даже и ничего; а если он в самом деле что-нибудь *видит*, то он *видит* смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен; он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость за подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божиих. И потому его «оптимизм» — физиологически объясним и душевно мотивирован, но *предметно и метафизически не обоснован*; и ответственности за него он не принимает. Его «оптимизм» есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости; он может привести к сущим нелепостям; и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика...

Совсем иначе обстоит в душе *настоящего оптимиста*. Прежде всего его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками и пыльными мелочами, со всею его жестокостью и порочностью: ежедневная жизнь может взвалить на нас еще страшные бремена, лишения и страдания, но это несколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания, как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду *духовную проблематику человечества*, судьбу мира и знает, что эта судьба ведется и определяется *самим Богом* и что поэтому она разворачивается как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник его оптимизма: он знает, что *мир пребывает в Руке Божией*, и старается верно постигнуть творческую деятельность этой Руки; и не только — понять ее, но добровольно поставить себя, в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой высокой и благостной Руки («да будет воля Твоя»). Он желает «содействовать» Божьему делу и плану,

он стремится служить и вести, внимать и совершать: он желает того, что соответствует воле Божией, Его замыслу, Его идее... Он видит, что в мире слагается и растет некая Божия ткань, *живая ткань Царствия Божия*; он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что и ему удастся войти в нее живую нитью.

Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему Делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся Царство потому, что оно не может не настать, ибо оно осуществляется Богом. А его главная задача состоит в том, чтобы *верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение*.

Узнав свое место в замысле Божиим и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание — исполнить свой «оптимизм»; и если он знает, что это делает, тогда на него нисходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое Дело. Он расценивает себя, как нить в Божией Руке; он знает, что эта нить вплетается в Божию ткань мира, и чувствует через это свою богохранимость. С молитвою идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно «наступает на Аспида и на Василиска»⁴¹, «на змия и скорпия»⁴² — и остается невредимым; и потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла⁴³...

Это означает, что настоящий оптимист никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более, чем одна из земных нитей в Руке великого Творца жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимизм совсем выключает волю и растеривается перед лицом событий; где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, — там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не поддаваясь страху и не преувеличивая опасность; и чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуются от него. Он — *волевой человек*, знающий о своей ведомости и хранимости, *преданный тому Делу*, которому он служит, и питающий струю

своей жизненной воли из Божественного источника.

Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть *дар силы* или *искусство самоусиления*, живая бесконечность усилий — столь давно и безнадежно искомое «духовное *regretium mobile*»...

Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, созерцает его сущность и смысл в плане Божием и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего Дела, хотя эта победа казалась временами «его личным поражением», ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни — к Богу.

И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение.

32. ОБ ИСКРЕННОСТИ

Пока человек живет на земле, он остается одиноким; и ему не предоставлена свобода вырваться из этого одиночества или устранить его совсем. Основной *способ бытия*, присущий человеку, остается вечно тем же и не меняется на протяжении тысячелетий; и если бы он по существу своему изменился, то человек перестал бы быть собою, а стал бы каким-то «сверх-человеком» или «не-до-человеком», о котором мы ныне не имеем ни малейшего представления.

Каждый из нас есть единичная, замкнутая в себе душа, скрытая за единичным и единственным в своем роде индивидуальным телом, с которым она таинственным образом связана, которое ее обслуживает и выражает ее состояния. Именно этот способ бытия обеспечивает каждому из нас все *бремя* и все *благодатные преимущества* одинокой жизни.

Одинокость* есть *бремя*, потому что было бы гораздо

* Надо различать — «одиночество» и «одинокость». *Одиночество* человека состоит в том, что у него мало связей с другими людьми, мало общения, мало взаимного понимания, симпатии, дружбы, любви. Этому противостоит — *не-одиночество*, т. е. богатое и разнообразное общение

легче затеряться в слитном и несамостоятельном бытии людей, утонуть во всесмешении, нежели утверждать свою *самобытность и самостоятельность*, и притом — на надлежащей высоте, т. е. самому идти через жизнь, проходя *ответственный, сердечно-искренний и творческий* путь. Но одиночество имеет также свои великие и благодатные *преимущества*, потому что она есть живая основа и необходимая предпосылка *свободы духовности, личного очищения и просветления*.

Как ужасна была бы жизнь, если бы у человека не было внутренней отрешенности, если бы у него не было возможности уйти в свое огражденное и целомудренное одиночество, чтобы сосредоточиваться в себе, находить себя, работать над своим очищением и самосовершенствованием... Тогда человек был бы подобен дому с прозрачными стенами, в котором снаружи все всегда всем видно; или проходному жилищу, доступ в которое всегда и отовсюду открыт всякому гаду, зверю и злодею: в жизни его не было бы ничего прикровенного, огражденного, неприкосновенного и священного... Вечный сквозняк. Вечный проход и пролом. Уличный тротуар, открытый для всяческого злоупотребления. Безличное и бесформенное смешение. Вечно попорченная святыня...

Как это чудесно, как это премудро устроено, что мы, благодаря нашему человечески-земному способу бытия, защищены от взаимного вторжения, опошления и надругательства. Какое благотворное, прямо благодатное значение имеет в этом наша земная «оболочка», наше тело: оно ограждает непроницаемость нашей души, оно обороняет самоопределение нашего духа, оно блюдет тайну личного обращения к Богу и приближения к Нему. Человек устроен «от природы» так, что он может оставаться *с Богом*

и обилие творческих связей с другими. Все это осуществляется в пределах общей всем людям *одиночества*, потому что и скудость связей и обилие общения устанавливаются и протескают в пределах неизбежной для человека основной для его жизни *одиночества*. *Одиночество* есть способ бытия, присущий и уединенно живущему, непонятому человеку, и успешно общающемуся; многообразно связанному индивидууму. *Все люди* одиночки — одиночеством. Но одни заполняют свою *одиночество* щедрым и цветущим общением и потому менее замечают ее и менее страдают от нее. А другие предаются *одиночеству* в пределах своей *одиночества*, и именно таким людям дано изведать до дна ее естество, ее духовное значение и ее законы.

наедине; и он был создан таким именно для того, чтобы Господь мог быть *наедине с ним*. Человек есть *личный творческий центр*: в нем самом заложена та прочная граница, тот предел, о который сокрушится всякая произвольная коллективизация, противоестественная и противорелигиозная...

Но человеку даны одиночество и самостоятельность совсем не для того, чтобы изолировать его от его ближних или чтобы сделать из него хитроумного интригана, всесветного обманщика... Самостояние и самобытность человека,— его, скажем, «само-основность»,— совсем не означает отказ от общения, от совместности и любви. Духовная «аутáркния» (самосильность) совсем не должна вести к заносчивости или гордыне. Отрешенность дана человеку для того, чтобы он мог свободно обратиться к Богу, очиститься и укрепиться в Его Духе и вступить в общение с людьми *в качестве свободного, но уже укорененного в Боге сына Любви*. Индивидуальность дается человеку как способность свободного Богосозерцания, как возможность стать духом, вести духовную жизнь и творить духовную культуру. В этом *цель* его жизни; это есть то, что он призван создать и развить в себе.

Человек есть мир в малом масштабе («микрокосм»), который должен осуществить в себе и про себя одухотворение, очищение и устройство (т. е. воспитать в себе духовный характер), с тем, чтобы вслед за тем включиться и творчески вложиться в мир великого масштаба (в «макркосм»). Самостоятельность человека не есть право на произвол и на безобразия. Свободу нельзя понимать, как свободу *от* духа, *от* совести и от всякой веры. Напротив: великая симфония мира требует от каждого из нас, чтобы он укрепил и развил в себе свой самостоятельный голос и присоединил его свободное, личное пение, в верной гармонии, к общему хоровому пению, осуществляя предустановленный Богом мировой ритм.

И вот, *одиночество* человека есть высокое и нелегкое искусство, а *искренность* — есть его лучшее проявление.

Чтобы быть искренним, человек должен внутренне найти себя и иметь достаточно мужества оставаться самим собою. Найти себя значит увидеть сердцем свою святую, прилепиться к ней и подчинить ей свою жизнь. Пока человек не совершил этого, он колеблется между различными

возможностями, зовущими его, претендующими на него или соблазняющими его; ни одна из них не имеет безусловного преимущества перед другими, ни одна из них не окончательна и он может предаваться им и разыгрывать их по очереди. Его сердце не принадлежит «ничему»; поэтому оно может в любую минуту измениться и изменить, начать «чувствовать» по-иному и предать всякое дело. Его дух есть как бы «ничья вещь» («*res nullius*»), и потому он будет принадлежать «первому захватчику» («*primo occupanti*»), как говорят римские юристы. Такой человек ни к чему не относится серьезно и благоговейно. Ни одна жизненная возможность не есть для него «единственная», т. е. главная и необходимая. Он даже не может понять, что в жизни бывает *необходимо* быть «таким» и *только* «таким», и действовать «так» и *только* «так»...

Человек становится *искренним* тогда, когда он имеет в своей душе некое *священное средоточие*, к которому он относится с серьезным и целостным благоговением; когда он в своем жизненном выборе и делании «иначе» *не может и не хочет*. Тогда он стоит твердо. Тогда он имеет как бы крепкий якорь или живой и могучий корень. Тогда он *и не может* иначе *хотеть* и не хотел бы мочь иначе. И тогда ему нужно еще только *мужество*, чтобы блюсти верность своей святыне и делать из этого все жизненные выводы.

Чтобы быть искренним, человек должен стать *внутренне единым*. Пока его дух живет в разделении или разорванности, он не искренно любит, думает, говорит и поступает. Ибо в нем идет «гражданская война» с самим собою; он преследует одновременно различные цели и служит одновременно различным ценностям («богам»); в нем имеется несколько соперничающих между собою жизненных «центров» — и он предает их один за другим. Все в нем двусмысленно и неверно; его любовь не сильна и стоит малого; его мышление условно и относительно, он блуждает, сомневается и ничего не создает; его слова лукавы; в решениях он осгаётся всегда «себе на уме»; в делах он ненадежен, и верности он не знает. Поэтому он обладает слабым характером и полагаться на него нельзя. Первый и основной закон «индивидуальности» есть закон *внутренней неделимости*; этого закона он не соблюдает; им он не живет. Поэтому он *всегда неискренен*, даже наедине с самим собою, когда он про себя размышляет и принимает «одиного»

кие» решения. Ибо у него нет внутреннего единства; а без него не бывает и искренности.

Человек *искренен* тогда, когда он носит в себе *центральный огонь*, от которого разливается *свет* и из которого летят во все стороны *искры*.

У древних греков и римлян был в каждом доме священный алтарь, на котором всегда лежали наготове тлеющие угли. Этот алтарь назывался по-гречески «Ἑστία» (Гестия), а по-латыни Vesta (Веста) и почитался священным центром жилища...

Древние пифагорейцы утверждали, что в мире есть великий огненный центр «Κέντρον», «Μέσον»), первоначальное священное огнище, которое является творческим источником света, тепла и порядка. Филолай⁴⁴ обозначал этот центр словом «Ἑστία»: это было сразу — «Дом Божий» и в то же время «связующая сила вещей» и творческий источник природного порядка. Из этого источника происходил жизненный ритм мира...

И вот, каждый из нас призван утвердить в себе такую светящую и правящую *огненную Купину* и жить в ее свете и законе. Тот, кто живет из нее, становится искренним. Его Гестия светит ему во всех делах, а он сам излучает в жизнь *ее* лучи. Она дарит ему тепло и энергию; и его сердце становится Купиной и светит другим людям. Вся его жизнь получает направление и управление из этой Купины; от этого ритм жизни становится единым и центральным, а его собственная воля становится верной и сильной. Тогда все искры его любви, его мысли, его поступков вылетают из этого огнища; купина его сердца посылает ему *свои* слова, и они становятся *его* словами; искренними становятся его решения, его воззрения, его письма и написанные им книги; и самая душа его оказывается ясною, светлою, определенной и искреннею.

Искренность есть *мужество*; и человек становится мужественным. Искренность есть *вернопреданность*, и человек становится верным поборником Божьего дела. Искренность есть *прозрачность* горящей души; и человек становится огненным и прозрачным. А это значит, что он счастливо разрешил *задачу отрешенности* и преуспел в *искусстве одиночества*...

Такие люди призваны совершать важнейшее в жизни, в культуре и в истории: их дело молитва и освящение, со-

зерцание и познание, воспитание и духовное окормление, академия и художество, правление и суд. Им дается в жизни истинная дружба, которая возникает из творческого обмена искрами. Такие люди суть столпы церкви, семьи и государства: ибо все человеческие союзы вырождаются при отсутствии духовной искренности, от лжи и обмана, от лукавства и предательства, и только искренность делает их жизнеспособными и сильными.

Церковь, построенная на неискренности и неискренно ведомая — искажает и извращает дело религии; она потеряла дверь в Царство Божие, она водворила фальшь на святом месте, она есть *мнимая* церковь. *Семья*, построенная на притворстве и обмане, есть пустая иллюзия: она создает пролганное общение и мнимое единение; у нее нет духовной державы, и она обречена на распадение. Пролганное *государство*, построенное на насилии, страхе и притворстве — есть организованная порочность: оно подрывает и угашает всякое взаимное доверие; оно извращает и обессиливает личную совесть и честь; оно лишает человеческую жизнь ее божественного смысла и ее творческой свободы.

Но в человеческой жизни есть благодатная и благодатная сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добивается. Это есть сила *живого сердца*. Сердце может любить только искренно; неискренняя любовь совсем не любовь. Сердце может *петь* только искренно; фальшивое пение фальшивого сердца не звучит перед Богом. Сердце может *молиться* только искренно; молитва, не восходящая из сердечной купины, есть предчувствие несостоявшейся молитвы или же простое притворство. Неискренняя *вера* есть самообман и симуляция. Неискреннее *искусство* — фальшиво и нехудожественно. Неискренняя *доброта* есть противное лицемерие.

Великая беда современного человека состоит в том, что он *утратил искренность сердца*. Спасение его в том, чтобы восстановить ее и из нее начать новую культуру. Все, что задерживает этот процесс исцеления и возрождения — вредоносно. И вреднее всего, пагубнее всего то, что подавляет и ослабляет, расшатывает и подрывает искренность человеческого сердца.

Что может начать и создать человек с заглушим сердцем, если все великое и глубокое, все Божественное в

жизни требует искренности и любви?.. Из лицемерия и лжи никогда еще не возникало ничего великого и прочного. Вот почему искренность есть дар Бога и сокровище человека. И если современное человечество хочет выздороветь и возродиться, то оно должно вернуть себе силу и радость искреннего сердца.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ

Есть только одно истинное «счастье» на земле — *пение человеческого сердца*. Если оно поет, то у человека есть *почти* все; *почти*, потому что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло.

Сердце поет, когда оно любит; оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает; не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным «счастьем», которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным: тогда солнце не заходит, тогда Божий луч не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась *новая жизнь* и что человек приобщился *новому бытию*.

Мы все испытали слабый отблеск этого счастья, когда были цельно и нежно влюблены. Но то был в самом деле не более как отсвет его, или слабое предчувствие; а у многих и того менее: лишь отдаленный намек на предчувствие великой возможности... Конечно, цельно и нежно влюбленное сердце, как это было у Данте, у Петрарки или у Пушкина — чувствует себя захваченным, преисполнен-

ным и как бы текущим через край; оно начинает петь, и когда ему это удастся, то песнь его несет людям свет и счастье. Но это удастся только одаренному меньшинству, способному искренно петь из чистого сердца. Обычная земная влюбленность делает сердце страдающим и даже больным, тяжелым и мутным, часто лишает его чистоты, легкости и вдохновения. Душа, страстно взволнованная и опьяненная, не поет, а беспомощно вздыхает или стонет; она становится алчною и исключительною, требовательною и слепую, завистливою и ревнивою. А поющее сердце, напротив, бывает — благостно и щедро, радостно и прощающе, легко, прозрачно и вдохновенно. Земная влюбленность связывает и прикрепляет, она загоняет сердце в ущелье личных переживаний и настраивает его эгоистически; а настоящая любовь, напротив, освобождает сердце и уводит его в великие объемы Божьего мира. Земная влюбленность угасает и прекращается в чувственном удовлетворении, здесь она разряжается и разочаровывается, опьяненность проходит, душа отрезвляется, иллюзии рассеиваются и сердце смолкает, не пропев ни единого гимна. Часто, слишком часто, влюбленное сердце вздыхает бесплодно, вздыхает и бьется, жаждет и стонет, льет слезы и издает вопли — и не понимает своей судьбы, не понимает, что его счастье обманно, преходяще и скудно, что оно не более чем отблеск настоящего блаженства. И сердце теряет и этот отблеск, не научившись ни пению, ни созерцанию, не испытав ни радости, ни любви, не начав своего просветления и не благословив Божьего мира.

Сердце поет не от влюбленности, а от любви; и пение его льется подобно бесконечной мелодии, с вечно живым ритмом, в вечно новых гармониях и модуляциях. Сердце приобретает эту способность только тогда, когда оно открывает себе доступ к *божественным содержаниям* жизни и приводит свою глубину в живую связь с этими не разочаровывающими драгоценностями неба и земли.

Тогда начинается настоящее пение; оно не исчерпывается и не иссякает, потому что течет из вечно обновляющейся радости. Сердце зрит во всем Божественное, радуется и поет; и светит из той глубины, где человечески-

личное срастается со сверхчеловечески-божественным до неразличимости: ибо Божии лучи пронизывают человека, а человек становится Божиим светильником. Тогда сердце вдыхает любовь из Божиих пространств и само дарит любовь каждому существу, каждой пылинке бытия и даже злему человеку. Тогда в нем струится и пульсирует священная кровь Бытия. Тогда в нем дышит дуновение Божиих уст...

Где-то там, в самой интимной глубине человеческого сердца дремлет некое духовное око, призванное к созерцанию божественных содержаний земли и неба. Это таинственное око со всей его восприимчивостью и зрячею силою надо будить в человеке в самом раннем, нежном детстве, чтобы оно проснулось от своего первоначального сна, чтобы оно открылось и воззрилось в богозданные пространства бытия со священной и ненасытной жаждою созерцания. Это око, раз пробудившееся и раскрывшееся, подобно обнаженному чувствилищу, которое останется всю жизнь доступным для всего, что таит в себе Божий огонь; оно воспринимает каждую искру живого совершенства, радуется ей, любит ее, вступает с ней в живую связь и зовет человека отдать свои личные силы на служение Божьему делу.

Древние греки верили, что у богов есть некий священный напиток, «нектар», и некое божественное кушанье, «амброзия». И вот, в мире есть действительно такое духовное питание, но предназначено оно не для олимпийских богов, а для самих людей... И кто из людей питается им, у того сердце начинает петь.

Тогда сердце поет при созерцании природы, ибо в ней все светится и сверкает от этих «искр живого совершенства», как небо в августовскую ночь. Тогда сердце поет и от соприкосновения с людьми, ибо в каждом из них живет Божия искра, разгораясь и побораая, призывая, светя, духовно оформляя душу и перекликаясь с другими искрами. Сердце поет, воспринимая зрелые создания и героические деяния человеческого духа — в искусстве, в познании, в добродетели, в политике, в праве, в труде и в молитве,— ибо каждое такое создание и каждое деяние есть живое осуществление человеком Божией воли и Божьего закона. Но прекраснее всего то пение, которое льется из человеческого сердца навстречу Господу, Его

благости, Его мудрости и Его великолепию. И это пение, полное предчувствия, блаженного созерцания и безмолвного, благодарного трепета, есть начало нового бытия и проявление новой жизни...

Однажды в детстве я увидел, как в солнечном луче играли и блаженствовали земные пылинки,— порхали и кружились, исчезали и вновь выплывали, темнели в тени и вновь загорались на солнце; и я понял, что солнце умеет беречь, украшать и радовать каждую пылинку, и мое сердце запело от радости...

В теплый летний день я лег однажды в траву и увидел скрытый от обычного глаза мир прекрасных индивидуальностей, чудесный мир света и тени, живого общения и радостного роста; и мое сердце запело, дивуясь и восторгаясь...

Часами я мог сидеть в Крыму у берега таинственного, грозного и прекрасного Черного моря и внимать лепету его волн, шороху его камушков, зову его чаек и внезапно водворяющейся тишине... И трепетно благодарил я Бога поющим сердцем...

Однажды мне довелось созерцать любовный танец белого павлина; я стоял и дивился на его тончайший кружевной веер, грациозно раскинутый и напряженно трепещущий, на это сочетание горделивого изящества и любовного преклонения, на играющую серьезность его легких и энергичных движений; я увидел чистоту, красоту и безгрешность природной любви,— и сердце мое раскрылось в радости и благодарности...

На восходе солнца, в нежном сиянии и глубокой-полусонной тишине вошел наш корабль в Коринфский канал. В розовом свете спали далекие цепи гор; крутые берега канала высились, как суровая стража; благоговеино молчали и люди и птицы, ожидая и надеясь... И вдруг берега впереди расступились и зелено-млечные адриатические воды, несшие нас, хлынули в темно-синие недра Эгейского моря,— и солнце и вода встретили нас ликованием света. Могу ли я забыть это счастье, когда сердце мое всегда отвечает на него ликующим пением?..

У каждого из нас сердце раскрывается и поет при виде доверчивой, ласковой и беспомощной улыбки ребенка. И может ли быть иначе?

Каждый из нас чувствует навертывающуюся слезу в оке своего сердца, когда видит настоящую человеческую доброту или слышит робкое и нежное пение чужой любви.

Каждый из нас приобщается высшему, сверхземному счастью, когда повинуется голосу своей совести и предается ее потоку, ибо этот поток уже поет ликующую мелодию состоявшегося преодоления и потустороннего мира.

Сердце наше поет, когда мы предаем погребению героя, служившего на земле Божьему делу.

Сердце наше поет, когда мы созерцаем в живописи подлинную святыню; когда мы сквозь мелодию земной музыки воспринимаем духовный свет и слышим голоса поющих и пророчествующих ангелов.

Сердце наше поет при виде тайн, чудес и красот Божьего мира; когда мы созерцаем звездное небо и воспринимаем вселенную, как гармоническую совокупность; когда человеческая история являет нам сокровенную тайну Провидения и мы зрим шествие Господа через века испытаний, труда, страданий и вдохновения; когда мы присутствуем при победе великого и правого дела...

Сердце наше всегда поет во время цельной и вдохновенной молитвы...

А если нам сверх того дается возможность в меру любви участвовать в событиях мира и воздействовать на них, то счастье нашей жизни может стать полным. Ибо поистине мы можем быть уверены, что в развитии этого мира ничто не проходит бесследно, ничто не теряется и не исчезает: ни одно слово, ни одна улыбка, ни один вздох... Кто хоть раз доставил другому радость сердца, тот улучшил тем самым весь мир; а кто умеет любить и радовать людей, тот становится художником жизни. Каждый божественный миг жизни, каждый звук поющего сердца влияет на мировую историю больше, чем те «великие» события, хозяйства и политики, которые совершаются в плоском и жестоком плане земного существования и назна-

чение которых нередко состоит в том, чтобы люди поняли их пошлость и обреченность...

Нам надо увидеть и признать, и убедиться в том, что *именно божественные мгновения жизни составляют истинную субстанцию мира*; и что человек с поющим сердцем есть остров Божий — Его маяк, Его посредник.

Итак, на земле есть только одно истинное счастье, и это счастье есть блаженство любящего и поющего сердца: ибо оно уже прижизненно вырастает в духовную субстанцию мира и участвует в Царстве Божиим.

ПУТЬ
К
ОЧЕВИДНОСТИ

Предисловие

О НОВОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Современный мир идет навстречу духовному обновлению. Многие еще не видят этого: одни — потому, что не изжили своих старых заблуждений и продолжают считать их «последним словом» жизни и правды; другие — потому, что страдания и лишения нашей эпохи слишком велики и поглощают у людей все их силы. Есть и такие, которые почувствовали необходимость духовного обновления, но не видят нового верного пути и не знают, что начать... Но близится тот «день», когда духовное обновление начнется само собою, и притом потому, что старые пути и направления окажутся исчерпавшимися, разочарование охватит души и человеческие лишения и страдания покажутся невыносимыми...

Ввиду этого было бы важно предвидеть, каковы же будут эти иные, новые пути и что нам надо ныне делать для того, чтобы вступить на них без сомнения и колебаний. Человеку недостойно пребывать в беспомощности и пассивности, предаваясь своей непонятной «судьбе» с покорностью младенца. Человек должен разуместь свои ошибки и заблуждения, свободно судить их, а не предаваться изжитому психозу, принесшему уже столько бед. Человек призван овладевать своей душой и ее слабостями, освобождать себя из состояния духовной слепоты и творчески слагать свою новую судьбу перед лицом Божиим. Трагические события истории, смуты и бедствия посылаются нам для того, чтобы мы одумались и сосредоточились на самом жизненно-существенном, чтобы мы вспомнили о нашей творческой свободе и отыскали в самих себе нашу собственную духовную глубину с тем, чтобы из нее повести наше обновление,— свободно, мужественно и активно.

И прежде всего нам надо сосредоточиться на том, что мы утратили. Человечество попыталось за последние два

века создать культуру без *веры*, без *сердца*, без *созерцания* и без *совести*; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение.

Люди не захотели больше *веровать*, потому что они уверили себя, будто вера есть противоразумное, научно несостоятельное и «реакционное» состояние души. Люди отреклись от *сердца*, потому что им стало казаться, что сердце мешает инстинкту, что оно есть разновидность «глупости» и сентиментальности, что оно подрывает человеческую деловитость и ставит человека в смешное положение; а «умный» человек больше всего боится показаться смешным; он желает «делать дела» и утверждаться в земной жизни. Люди отвергли *созерцание*, потому что их трезвый, прозаический «ум» презирует человеческую «фантазию» и считает, что самое важное в жизни есть «эмпирическое» и «прозаическое». Они вытеснили из жизни начало *совести*, потому что ее живоносные призывы и укору совершенно не укладываются в контекст хладнокровных расчетов и деловых планов. И за всем этим, наряду с черствым себялюбием и самомнением, скрывался *ложный стыд и ложный страх*: люди боятся остаться в бедности и неизвестности, они боятся прослыть ребячливыми, несерьезными и смешными... Голодное самочувствие, тщеславие и чёстолюбие соединяются здесь с робостью перед «общественным мнением»...

Этот ложный стыд будет преодолен и устранен великими лишениями и страданиями нашей эпохи. Ибо страдание есть подлинная и могучая реальность, оно приобщает человека *бытию* настолько, что люди научаются быть, а не казаться, и их тщеславное желание «прослыть» и «прославиться» отходит на задний план. Но это и значит, что современному человеку предстоит еще мучиться и терпеть, и может быть, еще в неизведанных им формах гнета и унижения, до тех пор, пока не отпадет все кажущееся, условное и мертвое и пока не вырвется наружу исток внутренней реальности и творческой силы. Человек должен снова возжелать *подлинной реальности, субстанции* всяческого бытия и всякой жизни. Тогда в нем оживет и раскроется сердце; тогда он свободно и решительно отдастся сердечному созерцанию; на этом он вновь обретет Бога, примирится со своей совестью и начнет создавать новую культуру,— обретая новую *веру* во

Христа, слагая новую науку, созидая новое искусство, формулируя новое право и водворяя новую, отнюдь не социалистическую, социальность...

Нельзя ни предусмотреть, ни предсказать, когда именно начнется это духовное обновление и когда наступит час творческого прорыва и постижения. Отдельные носители и осуществители его жили во все века и совершают свое дело и ныне. Во всяком случае мы должны и теперь уже искать верного диагноза для современного духовного кризиса и намечать верные пути, ведущие к духовному обновлению.

К этому призвана особенно философия как любовь к мудрости, как потребность в божественных содержаниях, как ответственнейшее исследование, как воля к очевидности в делах высшей и предельной важности. И философы нашей эпохи поступят правильно, если они забудут свои субъективно-произвольные «конструкции» и всякие «гносеологические» и «диалектические» комбинации и отдадут свои силы предметному созерцанию.

Тогда они прежде всего увидят и укажут духовные раны современной культуры, начиная с утраты священного во всей человеческой жизни и кончая исследованием тех бездн, в коих гнездится зло мира.

Вслед за тем им придется установить диагноз нашего культурного кризиса и показать, как современное человечество переоценивает чувственную жизнь и чувственные наслаждения, как оно создает бессердечную культуру и погружается в хаос духовного затмения.

Обращаясь к путям духовного обновления, они должны будут заняться прежде всего вопросами воспитания, чтобы указать его важнейшие, забытые и запущенные в нашу эпоху задания: надо будить духовное начало в детском инстинкте, приучать его к чувству ответственности, укреплять в людях предметную силу суждения и волю к духовной цельности в жизни.

Надо верно оценить то бремя земного существования, которое мы несем через всю жизнь, и найти естественные и справедливые способы для социального облегчения его.

Особенно важно понять и объяснить людям сущность творческой жизни. Это величайшая задача для поколений, идущих нам на смену. Строение творческого акта,

созидающего культуру, должно быть постигнуто до глубины и обновлено из самой глубины, и притом — во всех областях и духовных призваниях.

И для того, чтобы разрешить все эти задания, людям надо обеспечить себе доступ к *первоначальным основам* духа и жизни. Человек будущей культуры должен снова возлюбить *духовную свободу*, предаться живой *сердечной доброте*, взрастить в себе драгоценное *смирение* как источник подлинной силы, преклониться перед *тайной Божьего мироздания*, укрепить в себе *силу сердечного созерцания*, научиться *радости благодарения* и восстановить в себе *подлинную религиозность*.

И то, что он тогда будет изучать в мире, освятит его личную жизнь и поведет его культуру по путям истинного христианства.

Часть первая

1. БЕССЕРДЕЧНАЯ КУЛЬТУРА

Из переписки двух ученых

Вот что стояло в *его* письме.

«Достоуважаемый коллега!

Не понимаю, чего Вы, собственно говоря, требуете от современного человечества?.. Чем дальше идет развитие культуры, тем напряженнее, тем интенсивнее она становится. Культура есть вообще *воплощение интенсивности*: «многое» собирается и сосредоточивается (аккумуляция) и затем действует в формах концентраций (интенсивность). Это составляет самую сущность культуры. Именно бескультурность выражается в рассеянии, в рассредоточенности; и именно поэтому варварство есть явление распада, бесформенного множества, экстенсивности, вялого бессилия. Напротив, кто хочет творить культуру, тот должен собрать свои силы, научиться концентрации, вниманию, единению; он должен все взвешивать, вкладывать в дело все свои силы и стойко держаться до конца. Без этого никакая культура невозможна. Но это и есть приговор для всякой наивности, непосредственности и бессознательности. Мысль и воля должны проснуться, сосредоточиться, подчинить себе воображение и создать

необходимое. При чем тут так называемая «жизнь чувства», или, как еще говорят, «сердца»? Что она может дать? Она будет только отвлекать, уводить, мешать умственной концентрации, ослаблять волевую энергию...

Стóит только перебрать по очереди отдельные области человеческой культуры — и все сразу обнаружится.

Возьмем ли всеопределяющую ныне *технику*, великую основу всякого культурного начинания. Она строится на математическом естествознании и руководится соображениями экономии сил, полезности и дохода. Здесь чувство ничего не может; оно будет только мешать и должно быть устранено...

Возьмем ли *хозяйство*, и в частности *деловой оборот*: две великие сферы реальной необходимости и целесообразной организации — царство трезвого расчета, хладнокровного взвешивания и предвидения. Здесь все решается верной калькуляцией, конкуренцией, рекламой и быстро принятым решением. Где здесь место для любви? Оно только спутает все, растворит, разложит и подорвет; оно поколеблет и остановит весь хозяйственно-общественный механизм, заставит человека наделать нерасчетливых глупостей и разорит его. Человек борется с человеком за свое существование — и на этом держится все хозяйство. Здесь господствует инстинкт самосохранения и соперничество. И кто предается чувствам и чувствительности, тот пропащий человек...

Посмотрите на *науку* — этот главный двигатель всей современной культуры. Здесь все построено на объективном наблюдении и бесстрастном анализе. Жизнь чувства, с его неустойчивостью и капризной субъективностью, внесла бы в науку только туман и пристрастие; и потому она должна быть здесь подавлена или во всяком случае устранена. Чем меньше «симпатии» и «антипатии», волнения и негодования, тем успешнее идет научное исследование. Ненависть и любовь только плодят научные ошибки. «Сердцу» просто нечего делать в науке.

А если взять культуру, как *политику*, то тут уже совсем не будет места для «сентиментальности». В политике царит личный, групповой и классовый интерес. Здесь идет умная и дерзкая борьба за власть. Здесь нужен холодный расчет, трезвый и зоркий учет сил, дисциплина и удачная интрига; и конечно — искусная реклама.

Политик должен блюсти равновесие в народной жизни и строить «параллелограмм сил» в свою пользу. При чем тут чувство? Сентиментальный политик никогда не дойдет до власти, а если получит ее, то не удержит. Здесь все решается *волей и силой*; и любви здесь нечего делать. Сентиментальность погубит *всякий* государственный строй.

Заговорите о любви в *современном искусстве*, и на Вас все обернутся как на устаревшего чудака-профана. Современное искусство есть дело развязанного воображения, технического умения и организованной рекламы. Сентиментальное искусство отжило свой век; это был век пастушек и романтиков. Ныне царит *изобретающее и держащее* искусство, с его «красочными пятнами», звуковыми пряностями и эффектными изломами. И современный художник знает только две «эмоции»: зависть, при неудаче, и самодовольство, в случае успеха.

И вот от всей культуры остается только *религия*, которая ныне, кажется, поколеблена в самых своих основах. Но западные европейцы давно уже уяснили себе, что в религии должна господствовать *воля, дисциплина и богословское доказательство*. Для того, чтобы иметь веру и религию, человек должен *захотеть веры и подавить* свои сомнения. Он должен подчинить себя церковной дисциплине и погасить свои субъективные симпатии. Самостоятельное, свободное кипение чувств и разнуздание личных мнений только подрывает и разрушает религию. Здесь нет места ни сомнению, ни произволу; и если церковь хочет быть сильною, то она должна *устранить сердце из религии*.

Вот почему культура вообще не нуждается в жизни чувства: последнее должно быть обуздано, укрощено и преодолено. Распущенное чувство есть прямо признак некультурности, пережиток варварских времен»...

Я отвечал ему.

«Ваши определения, почтенный коллега, очень ясны и чрезвычайно поучительны. Они удивительно освещают всю проблему. Именно из того, что Вы вскрыли, у современных поколений западного человечества возникла нынешняя *бессердечная культура*. И все мы должны постоянно думать о том, сможет ли она дальше существовать в таком виде и как можно было бы спасти ее... Потому что предва-

рительные итоги ее развития являют картину сущего *крушения*, а может быть, и *величайшей катастрофы*...

Культура последнего века покоится на некоторых основных предпосылках, которые редко выговариваются открыто, но которые внушаются современному «культурному человеку» с самого детства как нечто само собой понятное и не допускающее никаких сомнений. Именно поэтому он впитывает их в себя как бы с молоком матери и живет ими всю жизнь. Вот эти предпосылки.

Сердце существует только для глупых людей; умные люди не считаются с ним и не поддаются его нашептам. Совесть есть выдумка блаженных; с нею носятся только сентиментальные люди; только нежизнеспособные фантазеры дрожат перед этим призраком добродетели. Вера изжита и стала пережитком; она прощительна только наивным и непросвещенным людям; а умные и образованные люди могут только притворяться верующими, и притом в силу расчета и лукавства. Любовь есть или здоровый половой инстинкт, нужный для деторождения, или же старомодная сентиментальность, лицемерная фраза, остаток первобытного прошлого, которому нет места в современной культурной жизни...

Как сложились, как окрепли эти предпосылки современной культуры,— это долгая история: все развитие западноевропейского человечества дает ответ на этот вопрос; и было бы чрезвычайно поучительно проследить кристаллизацию этих основ из столетия в столетие. Однажды появится русский ученый, который выполнит эту работу. Под многовековым влиянием языческого, а потом католического Рима люди культивировали *волю и мышление*; они старались овладеть воображением, столь неосторожно проснувшимся в эпоху Возрождения, и подчинить его; и пренебрегали жизнью чувства, во всей его благодатной глубине, свободе и силе. От всего чувства оставалась одна чувственность: эротика без любви. Только от времени до времени вырывались из земли и поднимались к небу — совсем индивидуально и самовластно — личные «гейзеры» чувства, горячие источники любви и совести, которые при жизни не встречали ни понимания, ни сочувствия; а после смерти их личного носителя <его> дело искажалось или предавалось забвению (таков был Франциск Ассизский¹ в Италии, таков был Мейстер Экхарт² в

Германии, таков был Томас Карлейль³ в Англии). Мы, конечно, отметим и признаем в современной культуре начало общественной благотворительности; но при ближайшем рассмотрении окажется, что в основе ее лежит волевая дисциплина, соображение о пользе и умелая организация, а совсем не любовь, не совесть и не чувство. Общественная благотворительность на Западе обдумана и умна; почти всегда хорошо налажена и приносит немало пользы; но она почти всегда жестка и холодна, нелюбозна и неделикатна, ограничена определенными социальными группами и никак не связана с живою добротою... Она благотворит с выхолощенным сердцем.

Именно в этом все дело: западноевропейская культура сооружена как бы из *камня и льда*. Здесь религия, искусство и наука (за немногими, гениальными, исключениями) холодны; а политика, техника, хозяйство и деловой оборот — жестки и суровы и вменяют себе эту жесткость в великую заслугу («высший уровень культуры!»)... Любовь мешает уму и воле, а культура считается именно делом воли и ума. Проявлять жизнь чувства ребячливо, несерьезно; просто — смешно! и стать смешным — это самое страшное дело для «серьезного» человека... Культура есть дело строгое; а строгость формальна, холодна и жестка.

Умный английский философ Гоббс формулировал однажды социологический закон: «человек человеку — волк»⁴ (homo homini — lupus). Было бы несправедливо сказать, что это и есть закон современной культуры. Однако «культурное приличие» требует того, чтобы люди обращали друг на друга как можно меньше внимания: не обременяли друг друга ненужным наблюдением и общением. Человек человеку — *прохожий*. Или, как тонко подметил Чехов, человек человеку не то запертый сундук, не то источник недоразумений. Люди подобны деревянным шарикам, которые чокаются друг о друга и отскакивают в разные стороны. Люди друг другу — соперники или конкуренты; и каждый опасается чужого недоброжелательного ока и осуждающего разговора. Они заботятся друг о друге лишь в меру ожидаемой от другого имущественной или служебной пользы, или в меру своего тщеславия, или еще — в меру чувственного влечения. А использованного человека «списывают со счета» и при

первом удобном случае предают. И делают это совершенно сознательно и довольно ловко. И, зная это, для приличия — время от времени декламируют о гуманности; и расчетливо, с навязчивой рекламой, организуют «гуманные заведения». А впрочем, люди, как деревянные шары, случайно наталкиваются друг на друга, отскакивают и катятся дальше своею случайной дорогой. Люди относятся друг к другу так, как если бы их нормальное «рядомительство» было подготовительной стадией для столь же нормального «взаимного нападения». Но именно поэтому, как только дело доходит до борьбы, так оказывается, что «человек человеку волк»...

Поэтому эти судорожные спазмы современной культуры — революции, гражданские и международные войны — *не случайны*: они суть естественные выражения сердечной жесткости, алчности, зависти и ненависти. Жестокость этих столкновений уже заложена в повседневной жесткости и бессердечной жизни. И неудивительно, что антракты между революциями заполняются систематической подготовкой новых революций; и что революция стремится захватить всю вселенную. И антракты между войнами заняты изобретениями новых оружий; и «наука» уже торгует своими военными изобретениями, продавая их из страны в страну. Оружия эти становятся все более разрушительными, убийственными и мучительными; и уже направляются на мирное население. И уже работают везде школы взаимного выслеживания, замучивания и искоренения. И все это не случайно, а заложено глубоко в *бессердечии современной культуры*.

Вот почему надо признать и громко выговорить, что двигаться по этому пути далее невозможно. Бессердечная культура подрывает сама себя: в изобретении атомной бомбы она дошла до вселенского самоубийства, а изобретение это наверное не составляет последнего слова разрушительной техники. Источники и основы современной культуры должны быть в корне пересмотрены. Человечество творит свою культуру *неверным внутренним актом*, из состава которого исключены: *сердце, совесть и вера*, а сила *созерцания* — заподозрена, осмеяна и сведена к подчиненному, почти подавленному состоянию. *Так*, создаваемая культура есть *больная культура*, и то, что мы

переживаем ныне, все наши бедствия, страдания и тревоги суть естественные последствия этой больной культуры».

2. ОБРЕЧЕННЫЙ ПУТЬ

Вся современная культура, «социалистическая» и «несоциалистическая», потрясена в своих основаниях: ей грозит разложение и гибель. Это объясняется тем, что она создавалась и ныне по-прежнему строится с отстраненным и заглохшим, омертвевшим сердцем. Ее породил душевный акт *неверного строения*, и это вело и ныне ведет к самым тягостным, извращенным, трагическим последствиям. Современное человечество, «христианское» и противохристианское, должно понять и убедиться, что это есть ложный и обреченный путь, что *культура без сердца есть не культура, а дурная «цивилизация»*, создающая гибельную технику и унижительную, мучительную жизнь.

Пренебрежение, с которым современное человечество относится к «сердцу», объясняется целым рядом причин. В основе его лежит неверное представление о *творческом акте*, который трактуется *материально, количественно, формально: и технически*. Для того, чтобы жить в качестве *вещи среди вещей* (или, что то же, в качестве тела среди других тел), человек, по-видимому, не нуждается в «сердце», т. е. в живом и деятельном чувстве любви к Богу, к человеку и ко всему живому; такое существование может явно обойтись без этой необходимой и важнейшей силы: человек может отдавать свой интерес пище, питью, чувственным удовольствиям, внешним удобствам и впечатлениям или, наконец, лечению, не вовлекая своего сердца во все эти дела и занятия, оставаясь холодным, черствым и самодовольным «счастливецем». Подобно этому, человеку, понимающему творчество *не качественно, а количественно*, безразличному к нравственному, религиозному, художественному и социальному совершенству жизни, — нет особенной надобности вовлекать («инвестировать») в свои дела и отношения начало чувства и любви: обилие имущества и денег, повышение фабричной продукции и увеличение сбыта, умножение слуг и рабов, — все это достигается волею, рассудком, расчетом, мыслью, интригой, жестокостью и пресуплениями гораздо легче, чем любовью, которая может

оказаться прямым препятствием во всех этих делах. Точно так же *формальное* отношение к жизни и творчеству облегчает человеку достижение «успеха» чуть ли не на всех поприщах: формальное трактование права требует только мысли и воображения, и возможно без совести, без чести, без патриотизма и жалости; формальное отношение к религии превращает ее в дело пустого обряда и памяти; формальное восприятие искусства уже породило современный модернизм во всех его видах, не нуждающийся ни в сердце, ни во вдохновении, ни в предметозерцании; формальная политика есть дело власти (воли) и дисциплины, и современное тоталитарное государство есть ее прямое порождение; и так во всем, во всех человеческих делах и отношениях. Что же касается *техники*, то она является сущим средоточием материализма, количественности и формализма; здесь сердцу, по-видимому, решительно нечего делать.

И вот, человек, *так* понимающий и осуществляющий творческий акт, естественно и неизбежно предается наивно-животному *своекорыстию, жажде обладания, власти и почестей* и в довершение усваивает совершенно ложное понимание человеческого достоинства, столь характерное для современных поколений.

Современный человек, чувствуя, что ему грозит бедность с ее лишениями, и ослепляясь мнимой мощью капитала, старается *как можно больше нажать и как можно меньше затрудить себя*. Он гонится за «прибылью», он желает получать и иметь много, но не желает давать со своей стороны. Он хочет жить долго и наслаждаться много и потому старается отделяться от своих занятий по возможности формально, поскорее и полегче управляться с ними, не связывать себя ничем и вовлекать свои чувства в дела возможно меньше. Он считает выгодным сторониться по возможности от всего, что могло бы обременить его: он склонен считать все «относительным», «пустяками», «вздором»... И такая установка становится для него «защитной» и «бережливой» привычкой.

Кроме того, ему кажется, что такой подход к жизни наиболее соответствует его мужскому и профессиональному достоинству. «Настоящий» мужчина деловит и важен; он принимает свою серьезную деловитость за настоящую жизненную «Предметность». Он не живет чувством

и не принимает всерьез сердечных побуждений (исключение делается только для эротических увлечений, и то не всегда). Он избегает всего «субъективного», «личного»; он боится показаться «смешным». У него нет времени для «сентиментальностей». Он хочет «импонировать» людям, а для этого надо быть в жизни независимым, важным, чопорным. Поэтому он старается отделаться от «чувства» совсем. Он выступает в жизни, как человек деловой и холодный, и не придает значения «сердцу». Ибо он боится больше всего — показаться слабым и стать смешным...

Вот почему люди нашей эпохи *стыдятся* положительных и добрых чувств и не предаются им. И самая благотворительность становится у них делом расчета, черствого ума, организации; делом показным и недобрым. И самые разговоры их о «гуманности» звучат *фальшиво* и толкуются *партийно и двусмысленно*. Но если человек не живет сердцем, то нет ничего удивительного, что оно глохнет и отмирает и что это отмирание становится наследственно-потомственным. При этом люди не замечают, однако, что отрицательные чувства, дурные и злые (гнев, злоба, зависть, мстительность, ревность, жадность, тщеславие, гордость, жестокость и др.), остаются и беспрепятственно расцветают, тем более, что они, по-видимому, проявляют *силу* человека. Они импонируют большинству людей, ибо обнаруживают в человеке энергию, волю, настойчивость и властность; они внушают окружающим сначала опасение, а потом и страх, и даже незаслуженное уважение... Отсюда эта жалкая картина: *современный «культурный» человек стыдится своей доброты и несколько не стыдится своей злобы и порочности.*

Так развернулась большая культура наших дней: она строилась и создавалась при бессилии добрых чувств, из заглохшего и омертвевшего сердца. И тот, кто присмотрится к этому своеобразному душевному состоянию, тот неизбежно придет к следующим выводам.

Современный человек привык творить свою жизнь — мыслью, волею и отчасти воображением, исключая из нее добрые побуждения сердца; и, привыкнув к этому, он не замечает, куда это ведет; он не видит, что создаваемая им культура оказывается *безбожною*, впадает в *пошлость, вырождается и близится к крушению.*

Мышление без сердца, — даже самое умное и изворот-

ливое, — остается в конечном счете *безразличным*: ему все равно за что ни взяться, что ни обдумать, что ни изучить. Оно оказывается бесчувственным, равнодушным, релятивистическим (все условно, все относительно!), машинообразным, холодным, циничным; особенно — циничным, а потому характерным для карьеристов, для людей пролазливых, льстивых, пошлых и жадных. Такое мышление не умеет *вчувствоваться* в свои предметные содержания; оно не созерцает, оно лишено интуиции; его главный прием есть умственное разложение жизни, как бы умственная «вивисекция» живых явлений и существ. Поэтому оно остается аналитическим, оно действует разлагающе и так охотно занимается пустыми «возможностями» и «построениями» (конструкциями). Это делает его *беспредметным* в истинном и глубоком смысле слова; но люди этого не замечают. Отсюда возникает формалистическая и схоластическая наука, — формальная юриспруденция, разлагающая психотерапия, бессодержательная эстетика, аналитическое естествознание, парадоксальная математика, абстрактная и мертвая филология, пустая и безжизненная философия. Наука становится мертвым и ложным делом, а человек вынашивает беспочвенное, разнузданное, обманчивое мирозерцание.

Бессердечная воля, — сколь бы упорной и настойчивой она ни была в жизни, — является в конечном счете лишь животной алчностью и злым произволением. «Освободившись» от любви, воля оказывается бесцеремонной и безудержной, но воображает о себе, будто она «могущественна» и «свободна». В действительности же она является безжалостной, напористой и жестоковойной. Успех для нее — все; мучительство и убийство для нее — дело простое и обычное. Это — *злая энергия души*. Она живет всецело в трезвости земных похотей: это есть воля к обладанию и к власти, и расценивать ее надлежит не как духовную потенцию, а как *опасное явление природы*. Это и есть именно та воля, для которой поставленная цель оправдывает всякое средство. Это есть воля ненасытного властолюбия, воля тоталитарного государства и «единоспасительной церкви», антисоциального капитализма, коммунистического деспотизма, империалистических войн за колонии; такова воля всех карьеристов и тиранов.

И наконец — *воображение в отрыве от сердца*, как бы картинно и ослепительно оно ни изживалось, остается в конечном счете безответственной игрой и пошлым кокетством. Никогда еще оно не создавало истинного и великого искусства; никогда еще ему не удавалось узреть глубину жизни и высоту духовного полета; и никакой успех у толпы, если он бывал, не доказывал обратного. Фантазия, лишенная любви, есть не что иное, как разнудавшееся естественное влечение, не способное творить культуру; или же изобретательный произвол, не имеющий никакого представления о художественном совершенстве. Поэтому безлюбное воображение есть не дух, а *подмена духовности*, ее суррогат. Его «игры» — то похотливы и пошлы, то конструктивны, беспредметны и пусты. Это воображение, которое разрешает себе все; что доставляет ему удовольствие, и которое готово на всякий, и даже самый гнусный заказ, диктуемый ему хозяйственной или политической «конъюнктурой»... Именно оно, духовно-слепое, формальное и релятивистическое, породило в истории искусства современный «модернизм», со всем его разложением, снижением и кощунством...

Еще недавно казалось, что людям бессердечной лжекультуры никак не докажешь обреченности этого пути; они просто не хотели слушать наших возражений и обличений. «Почему же этот путь должен считаться обреченным, если история избрала именно его и осуществляет его? Все превосходно развивается, наука делает замечательные открытия, техника идет вперед и создает невиданное, промышленность процветает, медицина являет все новые достижения, юриспруденция вытачивает свою систему понятий, химия и физика производят миро-потрясающие, а может быть, даже миро-разрушительные опыты и т. д... В чем же обреченность этого пути?!»...

Стоя непосредственно перед крушением, в преддверии близящейся мировой катастрофы, люди не хотели видеть, что это не победоносное шествие, а скольжение в пропасть; что *формализм и разнудание* суть гибельные координаты; и что властолюбию даются в руки такие средства, которыми оно будет злоупотреблять в всеобщее унижение и порабощение... И вот события последних десятилетий показали, что путь этот есть действительно обреченный путь.

Теперь люди скоро убедятся в том, что мнимый «прогресс» есть в действительности разложение культуры. События заставят их пересмотреть свои воображаемые «достижения» и обновить свой творческий акт. Сердце и созерцание, любовь и интуиция должны быть реабилитированы и возобновлены и соответственно получают руководящую силу. Наряду с чувственным наблюдением внешнего мира, наряду с холодной и жесткой волей к власти должно расцвести особое *сердечное созерцание*, свободное от предрассудков прошлого, не компрометируемое псевдонаучной мыслью, воспринятое и осуществляемое в культурном творчестве. Это сердечное созерцание переродит и окрылит чувственное наблюдение мира; оно свяжет и облагородит холодную и жестокую волю к власти и укажет ей ее высшие цели и задачи.

Человек должен научиться этому новому созерцанию, воспринимающему и природу, и человека, и высшие предметы потустороннего мира — *любовию*; любовь, по завету Евангелия, должна стать первою и основною движущею силою и создать новую культуру на земле. Человек должен понять, что привычные для него вопросы — «а какая мне от этого польза?» и «как использовать мне данное положение вещей против других?» — суть вопросы, достойные животного, а не человека, и что такая установка души не может создать великую и жизнеспособную духовную культуру. Культурное творчество требует от нас *предметного служения, духовной преданности и жертвенности*, т. е. сердца и любви. Оно требует от нас *выбора истинной цели, верности, вчувствования и свободной совести*, т. е. опять-таки любви и созерцания. И эту творческую любовь, и это творческое созерцание нельзя ничем заменить или подменить: ни суровой дисциплиной, ни идеей долга, ни авторитетными велениями, ни страхом наказания. Ибо любовь имеет в виду свободно избранный и любимый предмет; она индивидуализирует все отношение человека и воспитывает в нем культуру предметности; она интуитивна, созерцательна; она невынудима и свободна; она исходит от совести, движется вдохновением и творит. Тогда как долг есть начало рассудочное и формальное, а дисциплина действует силою авторитета, она не выбирает своего предмета и довольствуется внешней исполнительностью. Конечно, при отсутствии любви — лучше

долг, чем произволение, и лучше дисциплина, чем разнуздание. Но ни долг, ни дисциплина не могут заменить любви.

Вот почему культура без любви есть пустое и мертвое понятие, мнимая культура или прямое лицемерие. И путь этот есть обреченный путь.

3. О ЧУВСТВЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Человек, как *духовное существо*, всегда ищет *лучшего*, ибо некий таинственный голос зовет его к *совершенству*. Он, может быть, и не знает, что это за голос и откуда он... Он, может быть, чувствует бессилие своей мысли и своего слова каждый раз, как пытается сказать, в чем же состоит это совершенство и какие пути ведут к нему. Но голос этот *внятен* ему и *властен* над ним; и именно желание отозваться на этот призыв и искание путей к совершенству придают человеку достоинство *духа*, сообщают его жизни *духовный смысл* и открывают ему возможность творить настоящую *культуру* на земле.

А человек призван быть на земле именно духом — не просто живым существом, наподобие животных и насекомых, и не только одушевленным созданием, удачно соображающим и желающим для себя всякой пользы, капризно и разнообразно чувствующим и нестесненно фантазирующим. Все эти душевные способности даются ему, но не для злоупотребления ими, а *для благого и ответственного служения*. И вот первое, что необходимо каждому человеку, желающему творить культуру, это чувство своего *предстояния*, своей *призванности и ответственности*. Можно было бы сказать, что люди делятся на две большие категории: одни — безответственно ищут в жизни или своего *наслаждения* (это люди «поглупее»), или своей *пользы* (эти люди «поумнее!»), другие же чувствуют себя *предстоящими* чему-то Высшему и Священному, так, что даже не умея сказать, что это за Высшее и где обретается это Священное, они не сомневаются в самом своем *предстоянии* Ему. Мир не есть для них «вольное пастбище», данное им для личного прокормления и устройства; он не есть для них и случайное нагромождение «впечатлений», «явлений», удовольствий и неприятностей. Они чувствуют и прозревают великий

смысл мирового вращения и своей собственной жизни, и не успокаиваются на том потоке «ничтожной суеты» и «мелкого сора» (А. К. Толстой), в котором тонут столь многие.

Это чувство предстояния и призванности сразу успокаивает их и тревожит: успокаивает — ибо дает им ощущение высшей «водимости» творческой основы, жизненного смысла и собственного достоинства; тревожит — ибо вызывает в них живое чувство *духовного задания, высшей ответственности и собственного несовершенства*. Это возлагает на них обязанность не мириться со всем тем, что происходит в них и во внешнем мире, обязанность оценивать, искать верных мерил, выбирать, решать и творить. Это зовет их сразу к труду, к дисциплине и к вдохновению.

Такое удостоверение в собственной духовности и приятие ее есть первооснова живой религиозности. Ибо то Высшее, чему человек *предстоит*, есть Господь, Его зовы и Его божественные излучения. И *призвание* человека определяется именно свыше. И духовное *измерение* человеческой жизни и всех ее дел имеет тот же единый источник. И ответственность человека есть в последнем измерении всегда ответственность перед Богом.

Само собой разумеется, что человек не всегда отчетливо *сознает* это и редко может точно *выговорить* ощущаемое. Но это ничего по существу не меняет. *Сознание есть не первая и не важнейшая ступень жизни, а вторичная, позднейшая и подчиненная*. И закрепление в слове глубоких и священных жизненных сил дается не каждому человеку, дается не всегда и не легко. Здесь важно и драгоценно не умствование и не словесное описание, а *твердое и глубоко укорененное чувство предстояния, призванности и ответственности*. Духовность человека отнюдь не совпадает с сознанием, отнюдь не исчерпывается мыслью, отнюдь не ограничивается сферой слов и высказываний. Духовность глубже всего этого, могущественнее, богаче, значительнее и священнее.

Духовность человека состоит прежде всего в уверенности, что в пределах его собственной души есть *лучшее* и худшее, *на самом деле* лучшее; такое, качество и достоинство которого не зависят от человеческого произвола; такое, которое надлежит признать и перед которым подо-

бают преклониться. К этому лучшему и высшему надо прислушиваться, сосредоточенно испытывать его, вникать в него, предаваться ему. И по мере того, как человек осуществляет это, он убеждается в том, что это высшее и лучшее совсем не исчерпывается его личными пределами, но является в нем самым как бы излучением и энергией действительно Высшего и Совершенного Начала, которому он и *предстоит* на протяжении всей своей жизни. Приобщаясь этому началу, духовный человек не может не радоваться Ему, не может не возжелать Его и не полюбить Его. И очень скоро он удостоверяется в том, что это радование естественно и целительно, что это желание драгоценно и жизненно необходимо, что эта любовь открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинному бытию и личному духовному достоинству. В этом делании духовный человек научается преклоняться перед Богом, чтить самого себя, видеть и ценить духовность во всех людях и желать творческого раскрытия и осуществления духовной жизни на земле. Это и есть сущая культура.

Все это можно было бы выразить так: в основе подлинной духовной культуры лежит *личная, искренняя религиозность* культурно-творящего человека*. *Религиозность есть живая первооснова истинной культуры.* Она несет человеку именно те дары, без которых культура теряет свой смысл и становится просто неосуществимой: чувство *предстояния*, чувство *задания* и *призванности*, и чувство *ответственности*.

Предстояние Высшему есть первый дар религиозности. Напрасно думать, что это чувство «унижает» человека или придает ему «рабские черты». Такое мнение свидетельствует о том, что данному человеку далеко до истинной свободы: он боится попасть в «рабское» положение именно потому, что он все еще чувствует себя сам «недавним рабом», или «полурабом», или, если угодно, «вольнотпущенником». Человек, нашедший свою свободу и утвердившийся в ней, знает, что никакие условия, ни внешние, ни внутренние, не могут отнять у него этой свободы; ибо оттого, что другие люди будут обходиться с ним,

* См. в моем труде «Аксиомы религиозного опыта», главы 1, 2, 5, 9, 16, 18, 19, 22, 25 и 26.

как с рабом, его свобода не угаснет, а только углубится до пределов внешней недосыгаемости; сам же он никогда не усвоит рабскую установку. Свобода, вообще говоря, не «дается», а «берется»; она берется духом как его неотъемлемое достояние и соблюдается им как неотчуждаемая святыня. Но для того, чтобы это совершилось, свобода должна найти свой источник в том Высшем, которому она имеет счастье предстоять и от которого исходит всяческая духовность и всяческая свобода. Именно это имел в виду мудрый Томас Карлейль, когда писал: «В груди человека нет чувства более благородного, чем это удивление перед тем, что выше его»... «человек не может вообще знать, если он не поклоняется чему-либо в той или иной форме»...* Надо сказать еще больше: человек не может творить культуру, не чувствуя себя предстоящим именно тому, что он должен осуществить в своем культурном творчестве. «Творящий» без верховного Начала, без идеала, перед которым он преклоняется, *не творит*, а произвольничает, «балуется», тешит себя или просто безобразничает (наподобие Пикассо и других модернистов). Новые поколения, следующие за нами, должны признать, что *поклонение Богу не унижает человека, а впервые довершает его бытие и возвышает его*. Человек же, который «ничему не поклоняется», обманывает сам себя, ибо на самом деле он поклоняется *себе самому* и служит своей бездуховной и противодуховной похоти. И культура его будет не культурой, а беспредметным посяганием и произволением, лишенным главного, не способным ни познать истину, ни создать художественное, ни совершить любовное, благое и чистое, ни узреть и раскрыть справедливое право.

Предстоящий *измеряет себя* именно тем, чему он предстоит. Именно это надо иметь в виду, читая Евангельские слова: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (Мтф. 5.48). Предстоящий Богу измеряет и оценивает себя лучами Божественности. Предстоящий совершенству судит себя высшим, доступным человеку критерием. Предстояние подымлет сначала *взор* человека, потом *сердце его и волю его*; оно вызывает в нем новые *мысли*, новое понимание себя, других людей и всей

* См.: Герон и героическое в истории, <Спб., 1898,> стр. 37, 113.

вселенной. Строение его души, доселе бывшее как бы одноэтажным домиком, надстраивается и возвышается. Его око начинает видеть новые «пространства», усваивает их и *приобщает их к своей жизни*. Или можно сказать: душа его переживает некое священное *окрыление*. Сердце его воспринимает новые, горние лучи и научается радоваться им, ожидать их и *трепетать* от этого ожидания. Воля его научается выходить из всего чисто личного, мелкого и пошлого, и сосредоточивается на лучшем, на объективно-лучшем, на совершенном; она научается представлять себе это лучшее не только «вверху», но и «вперед»: она находит в нем жизненное задание для своего будущего.

Так пробуждается и крепнет в человеке *живая совесть*. Не совесть, угрызающая за несовершенство в прошлом добра или за совершение в прошлом зла; но совесть как *творческая энергия*, энергия любви и воли, направленная вперед, в будущее, к предстоящим свершениям. Она же и дает человеку то высшее счастье на земле, которое выражается словами *духовное достоинство и призвание*.

Духовное достоинство состоит в том, что «предстоящий» человек утверждает свою жизнь приятием Божественного, *любовью* к Нему и *верностью* Ему. Он приемлет Его лучи, и эти лучи проникают в его душу до самого дна. Он проникается ими, как бы питается и животворится ими, и они сообщают ему свой огонь, свой свет и свое тепло. В них он находит свое *бытие*; так, что самое существо или естество его личности определяется и освящается ими. В глубине его души как бы строится храм, а в храме этом утверждается алтарь и престол с неугасающим светильником. И не в том смысле, чтобы этот храм, и престол, и светильник были бы «доступны» ему, как *иное* — *иному*, как извне приходящему «прихожанину»; но в том смысле, что этот храм есть *его собственная обитель*, и престол этот есть его собственная святыня, и светильник этот есть *его собственное горение*. Не только «в нем есть пламя», но он сам в полноте своего духовного бытия есть это пламя. И это пламя есть его Главное, от которого он не может отказаться, которым он дорожит превыше всего своего «прочего» и которому он не может изменить. И чувствуя это удостоверенно, он начинает постигать, что значит «читать самого себя» (Пуш-

кин!)⁵ и что такое есть чувство собственного достоинства.

Вот где скрывается последний и безусловный корень *духовной ответственности*, без которой человеку недостойно жить на земле и невозможно создавать духовную культуру.

Человек, как свободное и зрелое существо, *отвечает* за свою жизнь, за ее содержание и за ее направление. Это духовно-естественно и неизбежно. Дух есть живая сила, энергия, которая чувствует себя выбирающей, решающей и действующей; и это самочувствие его не иллюзия и не обман. Тайна свободы,— или, как обычно говорят, «свободы воли»,— состоит в том, что сила духа *способна сосредоточиваться, укреплять себя, увеличивать свою силу и преодолевать* свои внутренние затруднения и свои внешние препятствия. Дух человека «свободен» не в том смысле, что на него «ничто не влияет» или что он не несет никакого бремени «воздействия» и «причин»; но в том смысле, что *ему дан дар самоусиления, самоосвобождения*, который он должен принять и в пользовании которым он должен искуститься и укрепиться. Обычная воля человека есть не более чем потребность, влечение, страсть или упрямство. Но *духовная воля человека есть дар освободить себя от всякого неприемлемого и отвергаемого воздействия, как внутреннего, так и внешнего*. Человеческому духу присуще это живое чувство: «я мог в прошлом поступать иначе», и соответственно «я и в настоящем могу выбрать, решить и осуществить свое решение». Повторяю: это не иллюзия и не самообман, ибо эта *мощь самоусиления своей мощи* действительно присуща человеческому духу. Неискушенному и неопытному может казаться, что он «не умеет» или «не знает», как начать; что он «слаб» и «беспомощен». Но ему будет казаться это лишь до тех пор, пока он будет сохранять «душевную», а не «духовную» установку. Ибо душа человека может действительно «духовно не уметь» и чувствовать себя «духовно слабой и беспомощной»; ей неизбежно пребывать «под давлением обстоятельств» и «влечений»; для нее естественно колебаться, откладывать, не дерзать, искать оправданий и ссылаться на «среду», которая ее «заедает». Но для духа все это неестественно, чуждо, странно и мертво. Дух есть *живая энергия*: ему свойственно не спрашивать о своем умении,

а осуществлять его; не ссылаться на «давление» влечений и обстоятельств, а превозмогать их живым действием. Как сказал однажды Карлейль: «Начинай! Только этим ты сделаешь невозможное возможным».

Свобода эта состоит в том, что не его определяют «влечения» и «обстоятельства», а он определяет сам себя, то расценивая свои влечения и видоизменяя свои обстоятельства, то извлекая из себя решения и свершения, идущие наперекор всем обстоятельствам и влечениям. Свободы полной, тотальной, абсолютной нет и быть не может; и можно только радоваться тому, что человек лишен таких свойств и способностей. Ибо трудно себе даже представить, что за кошмарное создание представлял бы из себя человек, способный ежесекундно к проявлению какого-то метафизического произвола, обреченный на такие свойства, как невоспитываемость, непредусмотримость в решениях и поступках, неменяемость, хаотическая капризность и способность в любой момент провалиться в невиданную бездну зла. Общение с такими людьми исключило бы всякое взаимное доверие, всякое воспитание, всякий правопорядок и всякое участие в прекрасном космосе и в Царстве Божьем. Можно только благодарить Бога за то, что такая свобода не дана человеку. На самом же деле свобода есть сила и искусство человека определять себя самого и свою жизнь к духовности, согласно своему *предстоянию*, своему призванию и своей ответственности*.

Вот откуда у человеческого духа эта бессознательная, но твердая уверенность: «я мог иначе, но не сделал того, что мог»; или «я должен был совершить такой-то поступок и мог это сделать, но не сделал»; и соответственно: «многое в моем настоящем и будущем дается мне как готовое и неизменяемое, но мой личный образ действий зависит от моего выбора и решения, а следовательно, от моего призвания и от моей ответственности». При таком самочувствии и понимании явление *зовущей* совести и явление *укоряющей* совести получают свой полный смысл и значение. Призывы совести бесконечно расширяют горизонт человеческих возможностей, утверждая в

* См. в моей книге «Путь духовного обновления», гл. 3. «О свободе»; в «Аксиомах религиозного опыта», гл. 2, 3 и др.

каждом из нас способность найти путь к совершенству и вступить на него, возвращаться на него после ошибок и падений и всегда созерцать ту даль, в которой это совершенство нас ожидает. А укоры совести освещают нам те ошибки и падения, которых мы не сумели избежать; мало того, они как будто указывают нам, почему именно эти ошибки и падения состоялись, каких именно усилий наша свободная воля не совершила «тогда» для того, чтобы избежать уклонений и неудач, и какие именно усилия надо осуществить «теперь», чтобы укрепить себя для будущего. И смысл христианского покаяния и исповеди «на духу» состоит именно в том, чтобы оживить в душе человека чувство предстояния, энергию совести, веру в свое призвание, жажду духовной свободы и чувство ответственности... Отсюда уже ясно, какое великое значение имеет «священное недовольство» человеческого духа самим собою, а также трезвое, честное, искреннее самоосуждение, которым «заболевает» духовно выздоравливающая душа.

Итак, *предстоящий дух призван, а призванный человек ответствен*; и в основе всего этого лежит *дар к самоосвобождению*, сообщенный человеческому духу свыше.

Как это просто, ясно и бесспорно: человеку подобает жить не состояниями, а *действиями* и соответственно *отвечать* за эти действия. Дух человека подобен не воде, бесформенно растекающейся и безвольно плещущейся в своем ложе. Он не подобен и песку, пассивно лежащему, пока лежится, и пассивно осыпающемуся, «сползающему», когда потянет вниз. Дух человека есть личная энергия, и притом *разумная энергия*; разумная не в смысле «сознания» или «рассудочного мышления», а в смысле *предметного созерцания, зрячего выбора и действия в силу духовно-достаточного основания*. Так созерцал; так возлюбил; так выбрал; так совершил; и потому признаю это деяние *моим* деянием; поддерживаю его основания и мотивы и *принимаю на себя ответственность* за совершенное, признаю свою ошибку за ошибку, свое «заранее обдуманное намерение» признаю за таковое; и вина моя, и заслуга (если она есть) моя, и последствия мною совершенного я готов нести и за них отвечать. Неспособный к этому не может считаться ни *деятелем*, ни человеком с *характером*, ни морально зрелой личностью, ни творцом культуры, ни воспитателем, ни врачом, ни священником, ни

солдатом, ни судьей, ни политиком, ни гражданином. Он есть робкий обыватель, трус, карьерист или ловчила. Он сам себе не доверяет; а потому и ему не следует доверять. В старой Руси про таких людей говорили: «бегун и хоропяга». Да и что может быть более жалкое, чем *безответственный* чиновник или политик, имеющий полномочия, призванный действовать, обязанный решать — и мечтающий об одном: занести себе «на приход» свои жизненные успехи и уклониться от «расплаты» по закону об ответственности?..

Отсюда уже ясно, что необходимо различать: *предварительную* ответственность и *последующую* ответственность.

Предварительная ответственность есть живое *чувство предстояния и призванности* и в то же время — живая *воля к совершенству*. Человек еще не совершил деяния; может быть, и не решил еще, что делать; может быть, и даже не избрал своей высшей ценности и не наметил своей высшей цели. Он только чувствует в себе активную силу и волевою энергиею, он предвидит возможность и неизбежность будущих деяний — и связывает их намерением и внутренним обязательством осуществить «наилучше наилучшее». Он ставит себя перед Лицом Божиим и «предстоит»; он слышит призыв к совершенству и осмысливает его как «свою призванность»; он приемлет эту призванность и как бы «заряжает» свою душу волею к совершенству. Еще не совершив, он уже знает о своей ответственности. И это чувство своей ответственности — сразу *дисциплинирует* его, *сосредоточивает* его и *вдохновляет*.

Значение этой предварительной ответственности в культурном творчестве основополагающе и велико. Чтобы убедиться в нем, достаточно представить себе человека, который берется за какое-нибудь творческое дело и лишен предварительной ответственности. Что создаст живописец, который не знает ничего высшего и священного над собою, не чувствует своей призванности сказать верное, зоркое и значительное и нисколько не намеревается создать «наилучше наилучшее»? Он будет только тешить свою живописную похоть, писать кое-что и кое-как, капризничать, демагогировать или дразнить воображаемого зрителя, произволять и безобразничать. Не так же ли обстоит дело с поэтом, музыкантом, скульптором и архитекто-

ром? Именно отсюда возник весь современный «модернизм» в искусстве... Что познает безответственный ученый, который не связал себя внутренне аскетической клятвой — созерцать неутомимо, исчерпывать все возможные средства и пути для удостоверения, не щадить опытных усилий, не выдавать гипотезу за истину и утверждать с силою окончательности только достоверное и очевидное? Страшно и гадко думать о том, во что превратится у него научная культура. Чего можно ждать от безответственного судьи, не требующего ни верного правосознания от себя самого, ни очевидности в изучении факта, ни прозрения в душу подсудимого, ни точного знания закона? Такой судья, не ведающий ни предстояния, ни призвания, ни желания осуществить «наилучшее», создаст режим произвола, коррупции и кумовства. Безответственный политик есть интриган и карьерист, деятель, столь же отвратительный морально, сколь пагубный в общественном отношении; а между тем современная государственность кишит такими людьми — и в демократиях, и в тоталитарных государствах. Кто захочет лечиться у безответственного врача? Кто поручит своих детей безответственному воспитателю? Кто захочет принимать молитвы и таинства от безответственного священника? Какой полководец выиграет сражение, командуя безответственными офицерами, ведущими в бой безответственных солдат? Люди, не ведающие, что есть чувство предстояния и призванности и что есть воля осуществить «наилучшее наилучшее», неспособны творить настоящую духовную культуру. В этом приговор и им, и создаваемой ими лже-культуре...

Такова сущность, таков смысл ответственности,— и предварительной и последующей,— в деле творческого обновления и углубления грядущей духовной культуры. И тот, кто продумает это, тот примет на себя обязанность изъяснить это другим. А русский человек сразу поймет, что это всего важнее в деле возрождения России.

4. О ДУХОВНОСТИ ИНСТИНКТА

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем *духовность его инстинкта*. Если дух в

глубине бессознательного будет пробужден и если инстинкт будет обрадован и осчастливлен этим пробуждением, то в жизни ребенка совершится важнейшее событие и дитя справится со всеми затруднениями и соблазнами предстоящей жизни: ибо «ангел» будет бодрствовать в его душе и человек никогда не станет «волком». Но если в детстве это не состоится, то впоследствии всякие уговоры, доказательства и кары могут оказаться бессильными, ибо инстинкт со всеми его влечениями, страстями и пристрастиями не примет духа и не сроднится с ним: он не будет узнавать и признавать его, он будет видеть в нем врага и насильника, услышит одни запреты его и всегда будет готов восстать на него и осуществить свои желания. Это будет означать, что инстинкт утверждает в себе «волка»; он знать не знает «ангела» и отвечает на его появление недоверием, страхом и ненавистью.

В этом состоит секрет воспитания, его *живая тайна*. Но именно это и упущено нашей эпохой: последние поколения человечества разучились воспитывать в детях духовность инстинкта и тем открыли для них гибельные пути. Грядущая культура должна понять эту ошибку и обновить свое педагогическое искусство.

Не следует сводить человека к его «сознанию», мышлению, рассудку или «разуму»: он *больше* всего этого. Он глубже своего сознания, он пронзительнее своего мышления, могущественнее своего рассудка, богаче своего разума. Сущность человеческого существа — утонченнее и превосходнее всего этого. Его *определяет* и ведет не мысль и не сознание, но *любовь*, даже и тогда, когда она в припадке отвращения судорожно преобразуется в ненависть и окаменевает в злобе. Человек определяется тем, *что он любит и как он любит*. Он есть бессознательный кладь своих воззрений, безмолвный источник своих слов и поступков; он есть подземный ручей своих пристрастий и отречений, своих мечтаний и страстей; он есть гармония и дисгармония своих «неодолимых» влечений. Именно поэтому сознательная мысль не проникает до главных и глубоких корней человеческой личности; и голос разума так часто бывает подобен «гласу вопиющего в пустыне»; и потому *образование не воспитывает человека, а полубразованность прямо развращает людей*.

Воспитание человека начинается с его инстинктивных корней. Оно не должно сводиться к разглагольствованию или проповеди; оно должно сообщить ребенку *новый способ жизни*. Его основная задача не в наполнении памяти и не в образовании «интеллекта», а в *зажигании сердца*. Обогащенная память и подвижная мысль — при мертвом и слепом сердце — создает ловкого, но черствого и злого человека. Вот почему образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; оно развывает и поощряет в человеке «волка».

Кто желает воспитать ребенка, тот должен пробудить и укрепить в нем *духовность его инстинкта*.

Но, говоря о *духовности* или о *духе*, не следует представлять себе какую-то непроглядную метафизику или запутанно-непостижимую философию. Дух есть нечто, что каждый из нас не раз переживал в своем опыте и что нам всем доступно: но только один переживал духовные состояния и содержания с радостным наслаждением, другой — с холодным безразличием, третий — с отвращением или даже со злобою. Дух не есть ни привидение, ни иллюзия. Он есть подлинная *реальность* и притом *драгоценная* реальность, — самая драгоценная из всех. Тот, кто жаждет духа, должен заботиться об обогащении своего опыта; не о наполнении своей памяти из чужих книг и не об изощрении своего ума умственной гимнастикой; но о разыскании в непосредственной жизни всего того, что придает жизни *высший смысл*, что ее *освящает*. Один найдет этот творческий смысл жизни в природе, другой — в искусстве, третий — в глубине собственного сердца, четвертый — в религиозном созерцании. Каждый должен найти *свою собственную дверь*, ведущую в это царство; каждый должен найти ее сам, и самостоятельно переступить через ее порог. Но это лишь первый шаг; это только вход, обретение, начало; это только первый луч восходящего солнца. И чрезвычайно важно, чтобы этот шаг был сделан в самом раннем детстве, ибо — это надо всегда помнить, — все последующие шаги человека до известной степени подобны его первому шагу. Первый луч солнца должен озарить *детскую колыбель*: только тогда дитя

станет *«солнечным ребенком»*, а взрослый человек понесет через жизнь *«лучезарное сердце»*.

Дух живет повсюду, где появляется или переживается людьми *Совершенство*; и даже там, где человек искренно стремится к совершенному или хотя бы к объективно-лучшему (Божественному), не достигая его и не осуществляя его. Мудрый римлянин был прав, когда сказал: *«in magnis et voluisse — sat est»*⁶. В великом и божественном — весит и желание: сердцем хотел, но совершить не сумел, и зачтется желание по пасхальному слову Иоанна Златоуста.

Этот свет Совершенства в жизни природы и человека, это влечение к Божественному составляет духовный смысл природного естества и человеческой жизни; и притом не только в значении внешней и далекой «цели», но и в значении внутренней и реальной *творческой причины*. Совершенное может быть уподоблено не только дальней, зовущей звезде, но и сокровенной органической силе, творчески определяющей жизнь природы и человека. Кто увидит это в духовном созерцании, тот скажет: *мир имеет смысл, потому что ему светит совершенство*, и более того: *мир имеет бытие, потому что в нем живет и его направляет стремление к совершенству*. И всюду, где мы находим это, мы обретаем духовное измерение вещей и жизнь самого духа; переживая это, мы приобщаемся духу; приемля это, усваивая это и включая в свою жизнь — мы становимся сами духовными существами, «чадами духа». Без духа и вне духа мы не имеем истинного бытия, а остаемся, по слову Гоголя, «существователями».

Но если кто-нибудь принял в себя начало духа и начал духовную жизнь, то перед ним открываются новые горизонты, и он вступает в *новый план бытия*. Он убеждается в том, что *дух есть «воздух» и «хлеб» человеческой жизни*, ибо человек задыхается и изнемогает без него. Дух есть *дыхание Божие* в природе и в человеке; *сокровенный внутренний свет во всех сущих вещах*; начало, во всем *животворящее, осмысливающее и очистительное*. Он *освящает жизнь*, чтобы она не превратилась в мертвую, невыносимую пустыню, в хаос пыли и в вихрь злобы; но он же сообщает всему сущему силу, необходимую для того, чтобы приобщиться духу и стать духовным. А это и есть самое важное в воспитании.

Человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить. Именно их имел в виду Платон, истолковывая земную очевидность как «припоминание» идей, предвечно созерцавшихся человеком в мире сущего бытия⁷.

Где-то в глубине человеческого бессознательного, находится то «священное место», где дремлет первоначальное *духовное естество инстинкта*. В детстве его сон нежен и чуток; душа еще не обросла тою грубою «корою», которая будет образовываться и нарастать на ней в течение дальнейшей жизни; душевная оболочка у ребенка еще тонка и чувствительна. Подобно алмазу в хрустальной чаше, поконтся в младенческой душе *дух инстинкта* и как бы ждет луча благодати, чтобы сыграть светом; или подобно ребенку в колыбели, ожидает он, чтобы Божие солнце разбудило его своим светом. И это должно совершиться; и это должно повторяться, чтобы дух человека пробудился *раз навсегда* для всежизненного бодрствования и не заснул бы уже никогда.

Маленький ребенок прозябает в непосредственной беспомощности и живет потребностями своего маленького организма в забвенной дреме инстинкта. Более сильные и глубокие впечатления извлекают его из этого сумеречного состояния, иногда толчками, и проясняют сначала его *сознание*, а потом и *самосознание*. Этого «пробуждения» не следует ускорять нарочно и искусственно. Но как только эти проблески сознания начнутся, необходимо позаботиться о том, чтобы пробуждающие впечатления имели характер *благостный* и *духовный*, чтобы они исходили от духа и будили в младенческой душе духовные состояния. Впоследствии у ребенка будет много разных впечатлений, и острых, и тяжелых, и болезненных, и даже мучительных: будут и настоящие духовные травмы (ранения). Но первые детские ранения *не должны потрясать инстинкт, не пробуждая его духовную глубину*. Детский инстинкт, раз потрясенный во всей своей беспомощности грубым и жестоким впечатлением, раненный в своей слепоте, может пережить неизлечимую или почти неизлечимую душевную

судорогу, если у него не будет необходимой и драгоценной духовной опоры. Поэтому педагогически так важно, чтобы духовность инстинкта была пробуждена до этих неизбежных потрясений и ранений.

И вот воспитатель (мать или отец) имеет великую и ответственную задачу *пробудить* детскую душу при первой возможности *лучом божественной благодати и красоты, любви и радости*, чтобы она очнулась из своих забвенных сумерек, от чувственного наслажденчества и пережила благодатное пробуждение. Ласковый взор и голос матери уже начинают это дело. В глубине инстинкта должно открыться *духовное око*, чтобы, трепеща от счастья, воспринять Божий луч, идущий к нему из мира, и *влюбиться* в его сияние; чтобы душа раз навсегда поверила в *благую силу* мироздания и восхотела *новой красоты, новой радости и новой гармонии*; чтобы она *полюбила божественное и уверовала в Бога*. Ребенка надо приобщить к божественному счастью на земле *как можно раньше*; тогда, когда он еще ничего не знает ни о горечи жизни, ни о зле мира; когда душа его не испытала еще ни жестокости людей, ни суровости природы; когда он полон *естественной доверчивости и богат перевозданной чистотой*.

В мире есть чудесные сочетания красок — естественно-гармоничные, для вкуса безупречные, нежные и разнообразно богатые; надо показать их ребенку и радовать его ими. В мире есть изумительные, одухотворенные светотени, пленившие когда-то Леонардо, венецианцев, и Рембрандта; надо, чтобы веяние их коснулось ребенка и дохнуло на него. Есть простые и нежные мелодии* — их так много в русских народных песнях, колыбельных, свадебных и хороводных, — которые ребенок должен полюбить еще в колыбели. Мать, поющая их своему младенцу, начинает его истинное воспитание: это дух *ее* инстинкта обращается к духовности *его* инстинкта, рассказывая ему о возможности любви и счастья на земле. Какие чудесные колыбельные были пробуждены этим пением в младенческой душе и потом возвращены миру в композициях великих музыкантов! Душа засыпающего ребенка пела эти песни вместе с матерью и воспринимала сквозь них перевоз-

* Напр., *Andante-Cantabile* из первого квартета Чайковского; «*Мечтающее дитя*» из Детских сцен Шумана и др.

данное пение ангелов (Лермонтов); и потом унесла их в жизнь, как благословение материнской любви. Простой народ верит, что бывают люди с «злым глазом», которые могут «сглазить» ребенка, повредив ему душевно, духовно и телесно. В этом поверии кроется доля живой природной мудрости. В самом деле, бывают человеческие глаза, полные ненависти и зложелательства, магнетически перенапряженные и гипнотически сосредоточенные: они действительно в состоянии психически ранить впечатлительную, доверчивую и ничем не защищенную детскую душу. Заряд злобы бывает у таких людей слишком велик; внушающая сила слишком действительна; младенческая душа слишком обнажена, а духовность инстинкта еще не пробуждена и не обороноспособна. Поэтому правы те матери, которые ограждают своих детей от таких противодуховных, душевно ранящих и разлагающих взоров, ибо злоба людская на самом деле гораздо более распространена и могущественна, чем думали доселе духовно неопытные люди.

Но если ребенку минуло три года, если он начал наблюдать внешний мир и чувствовалище его открылось для новых восприятий и переживаний, то надо дать ему целое богатство духовных впечатлений. Надо направить его внимание на самые красивые и изящные явления природы и их *таинственную целесообразность*. Рано еще затруднять его «объяснениями»; достаточно, чтобы он заметил *совершенство*, скрытое и явленное в мире. Пусть залюбуется красотой бабочек и цветов, их нежными тонами, их изысканною, но хрупкою формою; пусть всматривается в величавое и легкое, а иногда грозное и глубокое зрелище облаков; пусть вслушивается то в рокот соловья, то в ликование иволги, то в ласковые переливы жаворонка; пусть полюбит молчаливый гимн бора, трепет осины, шелест березы, ропот дуба; пусть всмотрится в добродушную задумчивость коровы и научится ласково говорить с нею; пусть оценит своевольный ум коня, лукавое изящество кошки, верный взгляд собаки и ночной клич петуха. Пусть почувствует тайну природной жизни: дивную судьбу зерна, величие грозы, красоту инея, строгость мороза и ликование весны. И пусть понесет в сердце *благоговение, чуткость и благодарность*.

Ребенок должен как можно раньше почувствовать *реальность чужого страдания* и научиться *вчувствоваться в него*, что-

бы жалеть, беречь и помогать и идти на деятельную помощь. Необходимо найти прямой и близкий путь к его *сердцу* и научить его *хотеть добра и стыдиться зла*. Пусть навертываются у него слезы на глазах от русской жалуемой песни; пусть он научится умолкать при звуках серьезной и глубокой музыки. После пяти-шести лет он должен услышать о героях своей страны и влюбиться в них; он должен научиться «стоять» вместе с ними, бороться, побеждать и *не искать награды*. Надо, чтобы он научился вместе с Пушкиным благодарить Бога за то, что родился русским, и вместе с Гоголем — радостно дивиться на гениальность русского языка. Чем раньше он начнет скромно, но уверенно гордиться своею рускостью, тем лучше.

Ребенку необходим поток мужественной и братски-товарищеской любви от отца и женственно-ласковой, религиозно-совестной любви от матери. Не надо преувеличений; но в сердце его должна навсегда расцвести почтительная и нежная благодарность к родителям, пробудившим *его сердце* и укрепившим *его духовность*. Он должен открыть свое сознание *голосу совести* и научиться внимать его бессловесным призывам к совершенству; и, что важнее всего, он должен несколько раз, *по собственному почину отдаться* этому голосу и осуществить в жизни его требования, чтобы познать совесть не только через угрызения за грех, но через творческое осуществление ее зова.

И после *каждого* духовного пробуждения, восприятия, потрясения и свершения надо говорить ему о том, что *есть благостный Господь, знающий его и любящий его*; так, чтобы ему *самому* захотелось молиться; и тогда научить его лучшим и кратчайшим молитвенным словам и несколько раз *помолиться при нем и с ним вместе — огнем своего взрослого сердца*. Потом надо показать его сердцу Христа, Сына Божия. И сердце его узнает Его — само, безошибочно и навсегда.

Так пробуждается в ребенке его инстинктивная духовность, и «ангел» входит в сокровенную глубину его сердца. И, что особенно важно, это чтобы эти беседы и восприятия не превращались в скучные уроки, набивающие голову и принудительные для инстинкта; напротив, надо, чтобы из каждого такого переживания инстинкт извлекал свою сущую, искреннюю радость. Инстинкт должен *радоваться духовному совершенству*, встречать его умилением, благо-

дарностью, любовью. Пусть «волк» инстинкта воззрится на духовного «ангела», и встретится с Его взором, и узнает в Нем свое собственное высшее и лучшее естество, и почувствует к нему доверие и благодарность, и привяжется к нему любовью и верностью: ибо «ангел» взирает кротко и благостно, и «волк» должен получить от него этой благодати и кротости. Тогда они найдут друг друга и соединятся на всю жизнь. «Волк» предоставит в распоряжение «ангела» всю свою инстинктивную силу. Он будет нести радостно свое служение и глаза его не будут сверкать злобою. А «ангел» не будет горестно и беспомощно плакать о погибшем человеке.

Киплинг рассказывает, что когда животные в Индии ищут друг у друга помощи, то они приветствуют друг друга кличем «мы с тобою одной крови», и это заклинание всегда оказывается действительным и отказа в помощи не бывает: ибо звери и птицы признают высшее, объединяющее их кровное родство. И вот подрастающий ребенок должен пережить *дважды* соответствующее *духовное* сродство. Сначала — во встрече «волка» с «ангелом»: «ангел, я твой преданный волк!»; «волк мой, а я — твое собственное духовное естество»... А потом — в обращении к Богу: «я есмь искра Твоя, о, священное Пламя мира»; или по-христиански: «Отче, я Твой верный и благодарный сын»... Тогда человек утвердит себя в духовности и станет религиозно-цельным.

Это и есть важнейший акт воспитания. Ибо «воспитать» значит сделать из ребенка не преуспевающего человека-угодника, а духовно-зрячего, сердечного и цельного человека с крепким характером. А для этого надо зажечь и раскалить в нем как можно раньше *духовный «уголь»*: чуткость ко всему Божественному, волю к совершенству, радость любви и вкус к доброте. Это откроет ему путь вверх и даст ему духовную свободу. И тогда может однажды настать тот прекрасный день, когда им действительно овладеет сверхличное пламя духа и он явится людям, как Божие орудие, как светящийся и призывающий факел своего народа.

Итак, дух и инстинкт совсем не противоположны друг другу. Напротив: *дух есть высшее естество инстинкта, а инстинкт есть элементарная, но органически целесообразная сила самого духа*. Раздвоение их, а тем более проти-

воборство — болезненно, опасно и совсем не соответствует великому замыслу Божию. Дух человека совсем не призван к тому, чтобы оставаться мертвою возможностью или же отвлеченным, неосуществляющимся долженствованием: безжизненным законом над бездною греха. Дух человека призван к живому творчеству; он должен будить, побуждать и вести человеческий *инстинкт*, в том смысле, как выразился однажды римский оратор Квинтилиан⁸: «*instinctus divino spiritu*» («побуждаемый божественным Духом»...)*.

Инстинкт же не должен предаваться своим разнuzданным влечениям. Он призван *нести бремя мира и служить осуществлению божественной ткани в пределах мироздания*. Он должен принять эту задачу *свободно* и творить *с радостным усердием*. Ибо человеческий дух есть *дух инстинкта*; а человеческий инстинкт есть *инстинкт духа*.

И может быть, близится счастливое время, когда люди поймут этот закон, примут эту истину и пойдут по этому пути. От этого зависит все будущее нашей культуры.

5. СПАСЕНИЕ В ЦЕЛЬНОСТИ

Человек, находящийся в состоянии внутреннего раскола, есть несчастный человек. Он остается несчастным и тогда, если ему в жизни везет, если ему все удается и каждое желание его исполняется. То, что ему удается, не радуется ему и не дает ему удовлетворения, ибо одна часть его существа не участвует в этом удовлетворении. Исполнение его желаний тоже не дает ему радости, потому что он и в самом желании своем остается расколотым и не способным к цельной радости. Никакое внешнее счастье не делает его счастливым, потому что он внутренне несчастлив от своего распада. Никакой жизненный успех не дарует ему ни наслаждения, ни успокоения. У него не хватает внутреннего органа для того, чтобы быть счастливым. Этот внутренний орган называется *гармонией*, *согласованной тотальностью* (т. е. целокупностью) влечений и способностей, единением инстинкта и духа, согласием между верой и знанием.

* Слово «инстинкт» происходит от латинского глагола «*instinguere*», что значит «побуждать», «возбуждать», «двигать».

Человек, несущий в себе внутреннее расщепление, не знает счастья. Его ждет вечное разочарование и томление. Он обречен на вечную и притом безнадежную погоню за новыми удовольствиями; и везде ему предстоит неудовлетворенность и дурное расположение духа. Добиваясь и не получая, требуя и не находя, он все время ищет нового, неиспытанного, но приятного раздражения, и всякое «обещание» обманывает его. Он начинает измышлять неслыханные возможности; он утрачивает вкус, искажает искусство; извращает чувственную любовь; и вот он уже готов воззвать ко всем безднам зла, перерыть все углы и закоулки порока, чтобы раздобыть себе новое наслаждение или по крайней мере раздраженье и испробовать какую-то небывалую утеху и усладу. Ему нельзя помочь; ему трудно помешать; он должен выпить до дна чашу своей немощи и своих заблуждений, что ныне и происходит в мире... В том виде, который ему внутренне присущ, он не найдет разрешения, цельной и успокаивающей радости; и никогда не постигнет, что такое *блаженство*. Тот, кто обречен на частичное самовложение в жизнь, тот проживет на земле в сумерках уныния: его не обрадует никакая радость и солнце не даст ему своих лучей.

Было бы великой ошибкой толковать это вечное недовольство, как знак более утонченной и благородной натуры, которая не может удовлетворяться банальными жизненными путями и обычными, «земными» удовольствиями. Внутренний раскол, душевная расщепленность, духовная нецельность совсем не есть какое-то «высшее достижение», перед которым надо только преклоняться и которому надо подражать; напротив, это есть *болезнь духа*, которую необходимо преодолеть, от которой надо *исцелиться*. Хотя психологически нетрудно понять, что такие расщепленные и, в сущности, духовно больные люди любят воображать и изображать себя как неких «сверх-человеков»... Нам нисколько не импонирует, когда герои лорда Байрона выступают с таким суверенным самочувствием, как если бы их меланхолия или ипохондрия превращала их в каких-то «полубогов». Напрасно было бы преклоняться перед Фаустом как перед сверх-человеком только потому, что Гете сообщает о «живущих в его груди двух душах, желающих оторваться одна от другой», и потому, что он решает

подчиниться дьяволу, обещающему засыпать его земными наслаждениями. Люди восемнадцатого и девятнадцатого века имели мужество осознать и громко выговорить унаследованный ими душевно-духовный раскол. Но это мужество внушило им самоуверенность, верховную гордость и вызывающую манеру держаться; и в результате внутренний раскол выдавался и принимался за некое высшее достижение, за признак сверх-человека и новой эпохи. Разногласия между верою и рассудком существовали в Европе уже давно. Но в дальнейшем постепенно сложилась *апология разложения и распада, неприкрытое восстание против Бога и всего Божественного, систематическое опустошение жизни от всякой святыни и категорический разрыв с Христианством*. В конце концов этот разрыв с христианством был выражен у Ницше тоном откровенной ненависти и вызывающего упоения и нашел себе практическое осуществление и завершение в событиях последних десятилетий (1917—1953).

Человек, душевно расколотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает *истину*, то он не может решить, истина это или нет, ибо он неспособен к *целостной очевидности*. Если истина вступила в его *сознание*, то его *чувство* молчит и не отзывается на нее, и он отвертывается от нее, объявляя ее «не очевидным содержанием сознания», каковых в жизни имеется многое множество. Про него можно сказать, что он не умеет владеть своим достоянием и не способен принять приобретенное им богатство. Увидев Свет, он знает, что это «свет», но он не созерцает радостную светлость этого света и остается к нему безразличным. Так он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее иронией и насмешкой; и чтобы закрепить эту иронию, он выдвигает доктрину, согласно которой человек вообще не способен к достоверному знанию (агностицизм) и обречен на то, чтобы воспринимать все лишь относительно и признавать «релятивно» (релятивизм). Отсюда возникает систематически воспитываемое и поддерживаемое *малокровие познания*, принципиальное «ни-да-ни-нет», т. е. бегство от очевидности. Вот почему расколотый и нецельный человек оказывается духовно-обессилленным человеком. Он *не способен иметь убеждения*. В вопросах,

требующих исповедания, он немощен и беспомощен. Перед лицом истины он расслабленный человек.

И таким он является во всех областях духовной культуры. Так, например, проблему *добра и зла* он подменяет вопросом об относительно-полезном и сравнительно-вредном (утилитаризм) и решает этот вопрос в зависимости от случайных, рассудочных соображений. А в глубине души он считает, что «умные люди» вообще не занимаются этим пустым и компрометирующим вопросом — о зле и добре.

Если ему приходится говорить об *отечестве и о патриотизме, о правовой свободе, о справедливости*, то он и здесь становится на «умную» точку зрения релятивизма, и притом потому, что его патриотизм и его правосознание настолько же расколоты, нецельны, неискренны и ослаблены, как и его очевидность.

Религии он вообще не имеет, и *религиозность* его мертва, потому что вера требует от человека *целостной очевидности сердца* и не удовлетворяется никакими частичными компромиссами и никакой тепловато-безразличной терпимостью; все, что он может найти в себе для религии, это «вежливое невмешательство в чужие воззрения», но за этой «вежливостью» на самом деле скрывается презрение к обскурантам, и это «невмешательство» может в любой момент превратиться в агрессивную «борьбу с предрассудками, суевериями и клерикализмом».

Единственная область духовной культуры, которую он готов поощрять, это *искусство*, особенно если оно забывает о своем великом служении и стремится угождать его капризам. Но тогда оно должно отречься от своих здоровых и глубоко укорененных традиций, требующих целостного созерцания и вдохновения, и вступить на путь частичных, условных и относительных замыслов; искусство должно заняться своим чувственным нарядом и как можно заманчивее, как можно эффектнее разукрасить его; оно должно предаться опьяняющему «импрессионизму», или дико-невиданному «футуризму», или вымученному, острому и пряному «модернизму»; чтобы получить успех и признание, оно должно стать наружно-внешним, притязательным, экстравагантным, оно должно вызывать у пресыщенной и безразлично-сонной публики нервную щекотку...

Все это создает *выродившуюся культуру*, и в основе

этой выродившейся культуры лежит *выродившаяся жизнь*, душа расколота, духовно-бессильная, малокровная и нервно-растрепанная, беспочвенная, неукорененная и отвергающая все безусловное и окончательное. Расколотый человек всю свою жизнь балансирует между соображениями о пользе, которую он обозначает словом «разум», «разумный», и минутным капризом, которому он так охотно предается под именем «настроения». Если ему удастся держать кое-как равновесие между тем и другим, то его существование становится выносимым; если это ему не удастся, то он становится жертвой ипохондрии и ведет жалкое существование. Он вообще не знает, что начать, и главной целью его становится обогащение; все иное, высшее — недоступно ему, ибо более глубокие источники и настоящие святыни жизни не существуют для него. Отсюда эта беспредметная тоска или скука жизни, которая владеет современным «цивилизованным», но культурно и духовно опустошенным человеком.

Если он любит, то он всегда неуверен в своей любви, ибо и она, как и все иное в нем, односторонна и частична. А если он не любит, то и нелюбовь его столь же прохладна и творчески бессильна. Пророчески сказано об этом у Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы — случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь горит в крови...⁹

Если такой человек говорит «да», то это половинчатое «да», из-за которого темным и подозрительным призраком смотрит «нет»; но если он отрекается и говорит «нет», то и отречение его столь же условно, относительно, срочно, не окончательно и недостоверно. Его слова следует воспринимать, как звуки, ибо смысл этих слов почти всегда многозначен, а их духовная ценность всегда неуловима и проблематична. Во всяком жизненном положении он может сказать и поступить «так», но может — и совсем иначе; ибо слова и решения его духовно беспочвенны и высшей необходимости в жизни он не знает; да и связывать себя ему нет охоты. Он лишен важнейшей и драгоценнейшей основы духовного характера: единого, единственного, всеобъединяющего центра жизни.

Зрелый духовный характер подобен укрепленному

городу, в центре которого находится кремль: здесь построен храм Божий, с алтарем, на котором горит неугасающее пламя. Это и есть священный центр города, откуда заимствуют свой огонь все семейные очаги «огнищан». Здесь все соединяется и все объединяются; отсюда исходят все важные решения; отсюда излучается центральная воля, все организующая и упорядочивающая; здесь сосредоточивается сила, здесь вооружается верность, отсюда светит разум.

Расколотый человек совсем не может себе и представить такой личный характер, такой жизненный ритм. Напротив, ему нравится то внутреннее несогласованное «многосмешение», в котором протекает его жизнь,— эта собственная дисгармония, эта ничем-не-связанность, этот капризный произвол,— и он объявляет эту душевно-духовную смуту «высшей дифференциацией духа»... В нем сосуществуют рядом несколько «центров»; он ни одному из них не обещает верности и воображает поэтому, будто он выше всякой измены и всякого предательства. Как только один из этих «полу-центров» (или, вернее, одна из этих «точек зрения») оказывается неудобным или неудовлетворительным, так он «переезжает в другую квартиру» и опять устраивается с удобством, ничем не связанный, ко всему готовый, ни во что не верующий, ничего не любящий, скорый и легкий в предательстве и всегда самодовольный. И при всем том он совсем не понимает ни своего действительного состояния, ни своей великой беды; и если бы кто-нибудь стал объяснять ему его недуг, он не захотел бы ни слушать, ни верить; а если бы Божий луч осветил его душу, то он зажмурился бы, чтобы не увидеть правду.

Этот раскол в современном человеке был с самого начала чреват грядущим разложением. Он возник в ту эпоху, когда европеец отверг авторитарную религию и предался свободному исследованию и свободной мысли. Свободное исследование было бы вполне соединимо и согласуемо с христианской религией — путь, на который указал Василий Великий¹⁰ в своем «Шестодневе». Человеку с самого начала было дано и указано от Бога воспринимать божественное откровение не только из Священного писания и не только из личного духовного делания — из любви, из совести, из молитвы, из культурного творчества,— но еще и из созерцания богосозданной природы и

твари, в сокровенном существе которой заложен великий замысел ее Творца. Однако исторически развитие пошло иным путем. Начался процесс секуляризации; католическая церковь не питала доверия к свободно исследующему человеку и стремилась ограничить или совсем подавить эту опасную свободу; а исследователи стали испытывать церковную опеку как неудобноносимое бремя. И вот люди обратились к природе с напряженным любопытством и с естественной любознательностью, но отвернулись от церковного христианства; а раз отвернувшись от христианства, они отвергли и его дары — и прежде всего христианскую любовь и сердечное созерцание. Так, созерцание было заменено *наблюдением*, а наблюдение стало светским, близоруким и самодовольным; оно велось с величайшим усердием и подъемом, но в обращении к чувственному миру оно стало уходить все дальше и дальше от христианского духа. Оно освобождалось все больше от религиозных предпосылок, признавая их «эмпирически ненужными гипотезами» или даже прямыми помехами, и поставило себе задачу — все понять и все объяснить без Бога. Наблюдающее изучение природы не нуждалось уже в *понятии* «Бога», как объясняющей гипотезе, и признало наконец, что его «объяснения» оказываются тем более удачными и успешными, чем последовательнее оно отказывается от идеи Божественного вообще. И только философы пытались еще говорить о Боге; однако и у них эти высказывания становились все более неопределенными и скудными, ибо рационализм все повышал свои запреты и все строже требовал «последовательности», постепенно превращая идею Бога то в идею «субстанции вообще», то в идею «духа» вообще, избегая касаться вопроса об «абсолютном» и впадая в скудоумный релятивизм.

Так, *сердечное созерцание* Христианства и боголюбивый и боговыскающийся *созерцательный разум* превратились постепенно в отвлеченный *рассудок*, в сухое наблюдающее и анализирующее мышление, в «индукцию», оторванную от созерцания сердца и вчувствования. Этот метод вытачивался сначала в изучении внешней, материальной природы, а затем был перенесен на внутренний, душевно-духовный мир; и последовательное применение его не могло не повести к оскудению и опустошению знания. Внешние связи чувственного мира успешно устанавливались и ока-

зывались практически полезными; самодовольное наблюдение оправдывалось с точки зрения *техники*, получавшей все большую самостоятельность в отрыве от истинного и глубокого познания. Но внутренние реальности духа и утонченная «ткань» человеческой души упускались из вида в отвлеченно-холодном трактовании, столь характерном для механистического мировоззрения. Расколотый человек вырабатывал раскалывающую доктрину, не способную ни узреть, ни осмыслить тайну жизни и мировой разумности, и растеривал последние остатки своей духовности в бессердечном и поверхностном «самонаблюдении»... Его собственное естество сводилось постепенно к анализирующему рассудку, к беспочвенной и развязанной воле и бездуховному инстинкту самосохранения. Все иное иронически отвергалось: и «суеверная» вера, и творческое созерцание с его «беспочвенной фантастикой», и только иногда там и сям можно было подметить ложный стыд, когда заглохшее и осмеянное сердце давало знать о себе.

Таков современный культурный кризис. Это кризис нецельного духа, расколотого, расщепленного человека. Чем раньше люди постигнут это, тем лучше. Чем мужественнее, чем отчетливее и строже это будет сформулировано, принято во внимание и продумано до последних выводов, тем скорее начнется преодоление кризиса. Человек должен воссоединиться в своем собственном существе. Он должен собрать распавшиеся части и члены своего естества и sprysnut' их «живой водой» *исцеления*, наподобие того, как это описывается в русской народной сказке. Но здесь воссоединится не тело человека, а его *дух* — и для этого *исцеления* он должен выстрадать и вымолить себе благодать Святого Духа.

Человеческий ум должен найти путь к вере — не к суеверию, запугивающему нас, и не к пустоверию, проявляющему нашу глупость, — а к созерцательной вере, разумной и светлой, к вере «достаточного основания»¹¹. Человек должен победить в себе ложный стыд и не стыдиться своего сердца. Мысль должна примириться с творческим, предметным воображением и опять стать созерцающей, интуитивной и прозорливой. Аутистическая¹² фантазия должна пройти через школу предметной интенции и духовной ответственности. Формальная и разнузданная воля должна подчинить себя сердцу и совести... Тогда рассудок

научится взирать и видеть и станет *разумом*; а созерцающий разум станет повиноваться *сердцу*, так что все пути будут вести к сердцу и исходить из сердца. Ибо *сердечное созерцание, совестная воля и верующая мысль* суть три великие силы нашего будущего, которые справятся со всеми проблемами, неразрешимыми как для *бессердечной свободы*, так и для *противосердечного* тоталитаризма. Для разрешения их нужен цельный, целостный, *исцеленный* человек, заповеданный нам Евангелием.

И тот, кто взглянет вдаль духовно-отверстым оком и воззовет к нашему будущему с надеждою, тот прочтет над тесными воротами нашего будущего простой и мудрый призыв: «ищи исцеления».

Часть вторая

6. ХВАЛА ТРУДУ

У людей с незапамятных времен есть вожденная мечта, сказочный сон о «блаженной» стране, где царит изобилие во всем, где «текут молочные реки в кисельных берегах» и где *не надо работать*: «там, говорят, все дается человеку само собою без всяких телесных и духовных усилий; стоит только захотеть, и желание уже исполняется в полное удовольствие; счастливые бездельники все время наслаждаются; всюду валяются ленивые дураки и предаются своим хотениям невозбранно»... Эта ребяческая и, скажем прямо, *порочная* мечта лелеется человечеством давным-давно; она не изжита и поныне. Жизненный идеал сводится здесь к обеспеченному, наслаждающемуся ничегонеделанию. У всех одно единое призвание навеки — убивать время ленью. Ненужное накопление жизненных сил без достойной затраты их и без радостей труда. Бессмысленное прозябание и растрата жизни без любви и служения. Всеобщее тунеядство в мировом масштабе. Внутреннее оскудение от внешнего изобилия. Пассивное, пресыщенное отупение вместо творческого подъема. Подмена радости — наслажденчеством. Измена жаждущему, преодолевающему, созидающему духу. Вожденное сновидение полуживотного. Презренная утопия,

достойная лягушек в тинистом болоте. Отречение от собственного духовного достоинства. Вызов, обращенный к Богу...

Давно пора человечеству порвать с этой глупой мечтой! Давно пора понять, что жизненный идеал обретается где-то в совсем иных сферах. Потому что жизнь без труда — позорна и несчастна, а *честный труд* есть уже наполовину *само счастье*; да, конечно, только наполовину; ибо цельное счастье — не только в *честном*, но сверх того еще и *любимом, и вдохновляющем* труде над созданием Царства Божия.

В течение последнего века человечество много страдало от безработицы и накопило жизненный опыт, который давно пора продумать и осмыслить. Пора признать и выговорить, что *безработица* как таковая, пусть обеспеченная или даже затопленная частными и государственными субсидиями, унижает человека и делает его несчастным. Уже одно это томительное чувство, что «я в жизни не нужен» или что «мир во мне не нуждается», что я выброшен из великого процесса мирового труда и стал социальной пылью, лишней и ветром гонимой пылью мироздания, — пробуждает в сердце здорового человека всевозможные ощущения личной несостоятельности, приниженности, обиды и горечи. Если кто-нибудь желает работать — а это желание присуще всякому здоровому человеку — и при каждой попытке найти работу наталкивается на жесткое и холодное «нет», то им естественно овладевает безнадежность. Он видит, как другие работают и зарабатывают себе пропитание, он чувствует себя сопричисленным к социальному отбросу, и в душу его вселяется гнев или затаенная злоба; он предается зависти и ненависти и начинает помышлять о мести и революции.

Как томительна жизнь в этом вынужденном ничегонеделании!.. Весь Божий день проходит в бессмысленной пустоте и мертвой скуке, так что в конце концов человек радуется любому заполнению тянущихся часов, каждому, даже самому вульгарному, развлечению, всякому политическому или уголовному приключению... Трудно себе представить, какие беспочвенные «идеи», какие глупые замыслы, какие фантастические или прямо чудовищные жизненные комбинации проносятся день и ночь в воображении целодневного лентяя; и многое из этого большого

вздора начинает ему казаться «возможным» и осуществимым; многое становится для него прямым искушением, борьба с которым требует от него выдержки и мужества... Униженный до праздношатайства, привыкший к лени и пустомыслию, человек незаметно начинает смотреть на жизнь с безнадежностью, на честную работу с отвращением и на правопорядок с презрением. И эта печальная реакция на безработицу является, в сущности говоря, психологически понятной — и *здоровой*... Ибо здоровому человеку *труд нужен, как воздух, как уважение к себе самому, как радость, как молитва.*

Представим себе жизнь здорового человеческого организма. В этом живом центре энергии, в этом пожизненном «*perpetuum mobile*» непосредственно образуются и скапливаются химические, электрические, физиологические и психологические заряды. Отрекающийся аскез может снизить их размеры и их интенсивность, но их создание и их «давление» не может быть ни остановлено, ни прекращено на протяжении всей жизни. Эти материальные и инстинктивные скопления энергии, эти нервные напряжения, эти волевые притязания, эти волны чувства и это гудение мыслей — все это должно быть устроено, организовано и истрачено в жизни человека. Все это желает быть «отреагировано», целесообразно «израсходовано», осмысленно изжито; все это требует благодетельного и устроющего труда. Ибо труд дает заряд-разряд, он освобождает, «распрягает», уравнивает, успокаивает. Прилив нуждается в отливе для того, чтобы отлив снова уступил место приливу. Безработная социальная «пыль» должна быть вновь принята и включена; она должна снова включиться в работу; иначе она станет жертвою порока и преступления, оружием политических приключений, двигателем революций и войн...

Человеку от природы присуща здоровая потребность — *быть чем-то* в жизни, что-то *весить* на весах бытия, пользоваться *признанием и уважением*. Это естественно и совсем не предосудительно, если только эта потребность не превращается в назойливое тщеславие или большое властолюбие. Каждое человеческое существо, как центр личной энергии и как духовный индивидуум, имеет притязание и право проделать в жизни известный искус, испытать свои силы и «оправдаться» своими достижения-

ми: ибо тот, кто оправдался, кто «показал» себя с лучшей стороны и доказал всем свою положительную силу, тот привлечет к себе общее уважение и сам установит свой жизненный вес. А для этого есть только один путь: *трудиться* и трудом своим *создавать новое и благое*. В этом и состоит жизненное испытание; именно этим человек «оправдывает» свое земное бытие. Здесь мало «мочь» — здесь надо *совершить и создать*; мало говорить пустые слова «я бы мог, если бы захотел»: надо захотеть и осуществить, «показать себя на деле»... И как только человек перестает «мечтать» и «болтать», как только он «облекает» (инвестирует) свою личную энергию в созидание, так труд его дает плоды, и он сам оправдывается на деле. Каждый из нас должен иметь за собою такие выдержанные испытания, такие понесенные и оправдывающие его труды. Каждый из нас должен утвердить себя в жизни; он должен быть «признан»; он должен приобрести спокойную уверенность в себе; он должен показать, что он способен прокормить себя и свою семью. Отсюда у людей возникает некое инстинктивное уважение к самому себе, которое в дальнейшем присоединится к чувству собственного духовного достоинства. Смешны бывают те люди и те народы, которые проявляют это чувство в наигранной важности, в «сверхпочтенном» одевании и в чванливых манерах; и когда видишь это, то невольно думаешь о том, что здесь «показное» прикрывает скрытые пробелы и недостатки «внутренне-подлинного»... Ибо надо уметь преодолевать до невесомости и свою жизненную борьбу и свое мнение о себе самом...

Так или иначе, но всякий истинный успех на земле есть *успех труда*.

С этого и начинается то, что следует называть «счастьем труда»; но только *начинается*. Это счастье состоит далее *в общении с природой*. Так обстоит дело и у земледельца, и у лабораторного ученого, у железнодорожного сторожа и у художника, у матроса и у врача, у фабричного рабочего и у священника. Каждый из них по-своему вступает в общение с природой. Каждый учится у нее, каждый старается приспособиться к ней, использовать ее для своих целей, как бы уговорить ее. И это прислушивающееся уговаривание природы, это *овладевающее ею обучение у нее*, это осторожное одолевание и подчинение

ей является для каждого духовно живущего человека одною из радостей в земной жизни. Бережно и внимательно вступает человек в соприкосновение с окружающей его материализованной мудростью, пытается предусмотреть ее возможные комбинации и по-новому воспользоваться ими на пользу человека. И бывает так, что она его умудряет, а иногда и наказует, а иногда она и награждает его сторицею. В труде природа и культура «братаются» друг с другом, а человеку выпадает на долю радость посредника в этом вековечном процессе. Мир вращается не зря, не бессмысленно; это есть внутренняя борьба за совершенствование, и это выражается уже в том, что человеку дается возможность познавать устройство мира и до известной степени направлять его развитие. Человеку дается счастье вкладывать свои трудовые и творческие силы в этот процесс борьбы и страдания, и притом все в большем размере и с большим успехом. Ибо в мире дремлют еще необозримые, непредусмотренные возможности культурного повиновения.

Таким образом, труд позволяет «берущему» человеку не только «брать», но и «давать». Каждый человек «берет», и у природы, и у других людей — уже ребенком — и до последнего вздоха. Каждый нравственно чуткий человек знает об этом и живет с этим чувством всю свою жизнь. Поэтому в нем и не исчезает потребность — *достойно отплатить* за полученные дары и превратить одностороннее «получение» в благодарный «обмен дарами». Получение обязывает; «оплата» облегчает душу и снимает с нее бремя. Но интенсивнее всего человек «дает» тогда, когда он отдает *себя* или предается, а именно *в любви и в труде*. Недаром сказаны слова «о поте лица твоего»; а духовный труд поглощает человека еще больше, чем телесный. Каждый настоящий человек хочет, «получая», оправдаться перед природой и перед людьми: и он прав в этом. Он «инвестирует» свою силу, свою волю, свою мысль, свою любовь, свое воображение — в свой клочок земли, в свой ткацкий станок, в свою книгу, и тогда уже не чувствует себя в мире ни тунеядцем, ни «приживальщиком». В этом освобождении и самооправдании и обнаруживается *благодатное значение труда*.

Но счастье труда не ограничивается и этим. Всякий труд есть *исследование*, и всякий труд есть расширение

человеческого *горизонта*, человеческих перспектив и человеческой *власти*. Каждый трудящийся созерцает, приспосабливается к природе и имеет дело с новыми сочетаниями и заданиями в мире. Нет повторений в жизни и в истории. Каждое мгновение ново, небывало и своеобразно. Каждое из них ставит новые задачи и открывает новые постижения. Надо только улавливать их и верно истолковывать. В повседневной жизни это называют «жизненным опытом» и «культурной традицией». Но каждый жизненный опыт есть целое гнездо суждений и познаний; и каждая традиция есть драгоценное наследие, оставшееся от прежних исследований. Пока человек живет, он ищет в жизни «верного пути» (философски говоря — он ищет «метода», от греческого *μέθοδος*). А верный путь это тот, который ведет к *предметной субстанции мира* и, следовательно, к *Божией Идее*, и к *Божией ткани*. В молитве и в состоянии *вдохновения* этот путь близок нам и обретается легко. Но его надо находить и по нему надо идти и в *повседневной работе*; а для этого человеку нужна мудрость тысячелетий, традиции близких и далеких предков, опыт отцов и личная исследовательская энергия в работе. Тогда человек работает вместе со всем остальным человечеством; он пользуется всем добытым и приобретенным как великим вспомогательным наследством и чувствует себя идущим впереди всего прошлого, как бы последним звеном в цепи этого стародавнего исследования. И всякое новое полезное изобретение примыкает, как новодобытый результат, к длинному ряду прошлых познаний.

А сколь велика радость труда при каждом *творческом* достижении! В такой творческий труд человек вкладывает себя целиком, он весь в движении и напряжении — от скрытых побуждений инстинкта вплоть до высших способностей духа. Все сосредоточивается в направлении на единую цель, все переживает подъем и полет; все ищет и созерцает, предчувствует и взывает; все всматривается в приближающуюся даль и напряженно ждет в надежде. Искры вспыхивают во тьме и снова исчезают. Холод восторга проносится в душе. Дух «уже знает» нечто такое, чего он еще не постиг, а сердце поет заранее и не сомневается в победе. Тогда человек начинает чувствовать себя *орудием высших сил* и научается сдерживать свое дыхание, чтобы не сделать какого-нибудь своевольного,

ложного шага; человек начинает опасаться за свое достоинство; вступая в цепь предметных потребностей и постигая их, он ликует в духовной радости; он сразу — и счастлив, и смущен, и сердце его преисполнено благодарности... А потом, когда труд уже закончен и новое создание предстоит ему, тогда человек испытывает еще большее смущение при мысли, что он создал нечто вполне самобытное, ибо Господь видел его сердце, а оно хотело создать нечто истинное, а не новое и не своеличное; и тогда рождается потребность вновь и вновь проверить и удостовериться, что «субъективное» не подменило *истины* и «новое» не исказило *предмета*... А впоследствии человек смиренно шепчет про себя благодарственную молитву за то, что ему удалось «немножко увековечиться»; ибо поистине ничто не исчезает в мире бесследно, каждый труд «вплетается» или «врастает» в ткань мироздания, приемлется ею и органически питает и укрепляет ее... Пусть человек только трудится, вернопреданно и самозабвенно, в предметном направлении и не щадя своих сил... Остальное есть дело Божьего попечения и суда...

А если этот творческий труд осуществляется в искусстве или если он по крайней мере переживается самим человеком в художественном измерении, тогда радость становится еще большей. Ибо художник призван созерцать и выговаривать в своей земной работе — сверхземное. Он медитирует из глубины; и та глубина, которую он видит или, вернее, которая им овладевает, желает явиться миру через него. Он должен только чувствовать заботу и ответственность, чтобы не исказить те предметные содержания, которые открываются ему и овладевают им, — своими субъективными образами и материалом своего искусства... И вот эту ответственность несет каждый человек, причастный художественному чутью в исполняемой им работе. Так, садоводство и лесонасаждение приобретают художественное измерение, а вслед за ними и всякий хозяйственный труд; тогда садовник или иной владелец размышляет о своем земельном участке или о своих постройках в более глубоких измерениях, чем измерение «пользы» и «выгоды», и придумывает единый план целого, не только доходный, но имеющий свое символически-художественное значение; тогда все части и все принадлежности этого целого созерцаются как необходимые «члены»

целого художественного организма; они несомы единою идеей, которая их отбирает и освещает. И тот, кто никогда еще не видал такого художественно-символического парка или сада, которыми изобилуют, напр., окрестности озера Комо в Италии, тому предстоят еще благородные эстетические впечатления...

И все это вместе создает *счастье труда*. Кто увидит это, — а в этом должен был бы убедиться каждый из нас — тот постигнет высший смысл человеческого труда и строительства. Тот, кто трудится, *участвует в жизни бого-созданной ткани мира*: он содействует ее постижению, ее развитию и ее полному расцвету. И тот, кто участвует в этом великом деле и помышляет не только о пропитании, но ищет целостного здоровья, творческой радости, земного счастья, своего личного самоутверждения в мире и самооправдания перед лицом Божиим, кто, трудясь, желает *стать художником Царства Божия* на земле, тот имеет все основания возносить молитву благодарности перед началом труда и по его окончании.

7. О ТВОРЧЕСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Вот кто с полным правом требует себе свободы, притязает на нее и добивается ее. Она должна быть ему предоставлена и обеспечена, чтобы никто не смел ему ничего предписывать и чтобы никакая человеческая власть на земле не запрещала ему творить как ему Бог на душу положит... Никакое внешнее указание не должно ограничивать его духовное созерцание; ему не следует говорить «твори так» и «не создавай того-то». Ибо всякая предварительная цензура мешает его творчеству и всякое предписание пресекает его вдохновение. Если только он достаточно проникнут чувством ответственности, то всякое постороннее вмешательство излишне. Ибо творчески благодатствованный человек предстоит высшей власти в высшем измерении; он от нее получает свое направление и ей повинует; и потому ему должна быть предоставлена свобода творческого усмотрения. Это не есть свобода злодея или преступления. Это не есть и разнуздание ко вседозволенности. Это не есть и право на разврат, на пошлость и на безвкусию. Но это есть *право на свободную*

творческую молитву; это есть свобода совестного и ответственного Богохваления...

Для таких людей надо делать все, чтобы расширить им их земные возможности и облегчить им процесс их творчества. Если такому человеку необходим творческий покой, то надо ему обеспечить тишину и беззаботность. Если ему нужна эта мраморная глыба, чтобы создать из нее «Давида» Микель-Анджело, то надо позаботиться о доставлении этого мрамора в его мастерскую. Если он мечтает о новой, невиданной скрипке, которая будет петь ангельскими головами, то надо помочь ему в осуществлении этой мечты. Если ему нужен в его лаборатории новый аппарат для регистрации человеческой ауры, то нужно сделать все возможное, чтобы исполнить его желание. Его общение с внешним миром — с природой и с людьми — должно быть по возможности облегчено ему. Надо избавить его от нужды. Надо оградить его от грубых, пошлых, навязчивых людей. Нельзя допускать, чтобы он, подобно Леонардо да Винчи, всю жизнь подыскивал себе прозаический или вульгарный заработок помимо своего вдохновенного призвания. Он не должен терпеть всю жизнь нужду и биться с долгами подобно Рембрандту, Бетховену, Гоголю и Достоевскому. Нельзя мириться с тем, что его, подобно Шопену, преждевременно сведут в могилу бедность и голод. Непозволительно оставлять его беззащитным в тот опасный час, когда какой-нибудь порочный и злой авантюрист, наподобие Дантеса или Мартынова, покусится на него, как на Пушкина и Лермонтова, чтобы убить его на поединке. Напротив, его жизненный путь должен быть огражден и сглажен, чтобы он мог свободно предаваться своему вдохновению, создавая свои лучшие произведения и выговаривая свои видения для вечности. Ибо в таком человеке поистине струится Божий поток, а к его словам и песням прислушиваются ангелы.

Аристотель сказал однажды, что человек «свободен от природы» тогда, если он способен *иметь свои мысли*, а не только воспринимать чужие; если же он свободен от природы и вынашивает свои собственные мысли, то он нуждается в «досуге», чтобы вынашивать эти творческие идеи. Понятно, что здесь дело идет не о простых и кое-каких мыслях, но об идеях и концепциях, которые воспринимаются духовным оком и духовным слухом из самой сущности мироздания.

«Досуг» рабочего человека отводится ничего-не-деланию, развлечениям и наслаждениям, спорту или дремоте. Досуг творческого человека посвящается сосредоточенному созерцанию, напряженному труду, истинному созиданию — подчас великой муке, иногда сплошному блаженству. Предаваясь своему «досугу», творческий человек отводит все несущественное, механическое и случайное, чтобы жить только существенным, органическим и необходимым. Он живет не рассеянно, не развлеченно, а сосредоточенно. Он освобождает себя от всех субъективных капризов и произволений. Он погружает свой взор во «внутреннее», в глубину; но не просто в пространства своих субъективных переживаний, воспоминаний и фантазий, но в сферу предметного бытия, чтобы воспринять его сущность, чтобы удержать ее и выразить ее в верной и точной форме. Именно поэтому окружающим его людям кажется, что он «отсутствует» и не видит ближайшего; но это означает только, что он присутствует где-то в иных «местах». Они считают его нередко «мечтателем» или «фантазером» и причисляют его к «грезящим поэтам»...

Лишь немногие, причастные духовному опыту, знают, что он переживает и что в нем происходит, зачем ему нужна свобода и чем он заполняет свой досуг. Ибо на самом деле его внешнее освобождение и его кажущаяся «рассеянность» служат некой *внутренней связующей необходимостью*, и его драгоценные досуги, которые Пушкин любил обозначать словом «лень», заполнены напряженным созерцанием или духовным вслушиванием. Он, свободный, связан как никто другой; и его свобода служит ему для того, чтобы постигать эти внутренние необходимости и следовать их требованиям. Он совсем не волен выдумывать что угодно; ему не предоставляется произвольно изобретать или «построить» по собственному усмотрению. Он должен *внимать* — «созерцать» и «вслушиваться». Он призван «погружаться» в предмет до тех пор, пока этот предмет не овладеет им. Тогда он почувствует себя *в его власти*; или, познавательного говоря, он почувствует, что видит предмет с силою *очевидности*. В этом состоянии он должен пребывать до тех пор, пока предмет не захочет говорить через него, а сам он не почувствует себя готовым стать «орудием» своего предмета, как бы зажать его «пульсом» и «дыханием». Тогда он получит право и

основание выразить пережитое содержание — излить его в форме сонета, романа, сонаты, статуи, картины, исследования, философского «описания», богословского трактата, проповеди, нового закона или зрелого совестного поступка. И тогда его произведение возникнет *через него*, а не только *из него*. Тогда он окажется как бы «цвницей»¹³ своего предмета, его посредником и возвестителем. Может быть, даже кто-нибудь услышит в нем арфу Божию.

То, что он воспринимает и созерцает, есть объективная *предметная сущность бытия*, к которому человек должен проникнуть, — *каждый* человек, каждый из нас; ибо каждый из нас призван жить на земле *из самой субстанции и ради нее*, из главного и для главного, а не пылить, задыхаясь от собственной пыли. В самом деле, наша земная жизнь состоит из двух элементов: из несущегося потоком, неисчерпаемого хаоса случайной пыли и из сокровенно сияющей и тихо призывающей субстанциальной ткани. Смысл жизни состоит в том, чтобы мы преодолевали эту хаотическую пыль случайных единичностей и проникали к субстанциальной ткани, чтобы закрепиться в ней. Каждый из нас начинает свой жизненный путь как бы в ночи, окруженный неудобопроглядной темнотою: вокруг жуткая неизвестность, и только там и сям через мрак сверкают и приывают далекие звезды. И каждый из нас призван к тому, чтобы всмотреться и вчувствоваться в тот единый и единственный источник света, от которого эти звезды заимствуют свое сияние. И, может быть, слишком многие из нас всю жизнь блуждают в этой темноте и выходят к единому Свету лишь после своей земной смерти...

Беспомощны мы, люди, в этих земных сумерках, то и дело сгущающихся в полную темноту. А многие, может быть, совсем и не знают о том, что они беспомощны и что им нужна помощь: их лишенность не осознана ими, они не ищут и не добиваются высшего. А между тем творческие люди могли бы им помочь. Мало того: они должны все время помогать, не спрашивая о том, есть ли зовущие на помощь, и кто они, и где они. Они призваны созерцать, вынашивать и отдавать; они должны готовить свои дары и отдавать, рассылать во все стороны свои лучи, — не званые, не прошенные, нередко отвергаемые или изгоняемые, может быть, даже побиваемые камнями. Первый луч всегда беспокоит освещенного, второй —

раздражает его, третий оскорбляет; и нередко лишь четвертый пробуждает, и тогда уже следующие лучи согревают и исцеляют. А тот, кто был побит камнями,— светит, греет и исцеляет даже и посмертно.

Надо будить в людях *потребность в чистом воздухе Божьих пространств*; надо, чтобы людям становилось душно, тоскливо и горько в пыли их земной жизни, в бессмысленном хаосе их чисто субъективных мелочей. Надо будить в людях волю к священной предметности, к божественным лучам, к духовной радости. Эту потребность надо будить в них как можно раньше, чтобы они не проспали всю свою жизнь в слепоте и темноте. Благородные натуры живут этой волей всю свою жизнь; она подобна в них естественной жажде, которая утоляется только творческим созерцанием. Личный успех в жизни не удовлетворяет их; их «своекорыстие», названное у Аристотеля духовным эгоизмом, ищет сверхличного, высшего, духовного, предметного. Они всю жизнь ищут того пути, который уверенно ведет и приведет их к субстанции, во всем и везде: в вере, в науке, в искусстве, в политике, в личных отношениях с людьми, в службе и в воспитании. Они ищут пути («метода») и находят его; а кто нашел, тот может помогать и призван будить; знает он об этом или не знает — он *призванный воспитатель своего народа*.

Ему, конечно, поставят вопрос, откуда он знает, что он *действительно нашел путь*, что он созерцает «предмет» и видит его *верно*, что он «укоренился» именно в субстанции, а не в своей личной выдумке. Отвечать на этот вопрос каждый творческий человек должен своими *созданиями* и своей личной жизнью: ибо настоящая предметность свидетельствует сама за себя, и свет, идущий из субстанции, из Божественной ткани мира, светит благодатно и убедительно. Но он может ответить и словесно, дать описания и доказательства, ясно и точно повествуя о своем пути и о том, чему и как он научился. Это делали уже многие и великие, и меньшие люди, начиная с Конфуция, Лаотзе¹⁴ и Будды — и вплоть до наших дней. Каждый сделает это по-своему, в меру своего дара и искусства. Но если сравнить между собою эти описания и советы, то всякий из нас невольно изумится их существенному сродству.

Однако есть еще один особый признак, по которому

можно проверить свою предметность и распознать чужую. Это та своеобразная новая связь жизненных содержаний, та *внутренняя необходимость*, которая обнаруживается в узренном и пережитом, слагаясь в единое целое. Творческий человек, открывший эту связь и выразивший эту необходимость, знает хорошо, что *не он создал* это новое здание, что он не *изобрел* его, а только *нашел* как *уже объективно обстоящее*; он изумлялся, найдя его, и всю жизнь радовался своему «открытию». И потому в нем живет ощущение, что он не «творил», а только «воспроизводил», созерцая и описывая свой предмет. В нем остается чувство, что искомое и найденное было *древне, исконно, может быть, вечно*; и что то, что он увидел и выразил, было лишь *вновь найдено* и является ныне лишь *в новом облачении*. Это есть то самое ощущение, которое привело Платона (в диалоге «Менон») к признанию мира идей и которое с тех пор называется по его имени «платоновским созерцанием». Но тот, кто внимательно читает великую книгу человеческого духа, тот найдет это ощущение «вновь узренного древнего обстояния» почти у каждого из великих поэтов, исследователей и философов. В русской литературе это выразил с особенной силой и точностью Алексей Константинович Толстой:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих
ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку...
...Много ль в пространстве невидимых форм и неслышимых
звуков,
Много чудесных в нем есть сочетаний и слова, и
света,
Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть,
и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье,
лишь слово,
Целое с ним вовлекает создание в наш мир
удивленный...¹⁵

А мы, которым позволено приблизиться к этим созданиям, истинам и деяниям, воспринять их и возрадоваться о них, — мы нередко приобщаемся этому ощущению «обновленной древности», или «древнего в новом облачении», или «возродившегося Вечного», и подтверждаем его. Нами овладевает тихое и глубокое чувство «древлепочтенного», «стародавней мудрости», «прекрасной необходимости»,

«Богосозданной сопринадлежности», «блаженного такобытия». Тогда мы от полноты души, и духа, и сердца, и инстинктивного чутья произносим этому новооткрытому и очевидному предметному содержанию наше приемлющее «Да» — и чувство счастья овладевает нами, счастья от того, что нам дано было увидеть это и подтвердить.

Образно выражаясь, можно было бы описать это так. Когда Божии творческие идеи ниспадают из Его вечного лона в хаос грешного и неустроенного мира, то их подхватывает бурный ток смятения, искажает их совершенство и растерзывает их дивный состав. Отсюда возникает высокое задание: узреть каждую из этих идей в ее полном и целостном составе и восстановить ее в ее зрело-совершенном виде. Египетская мифология рассказывает, что когда-то Изиды искала по всему свету те четырнадцать частей, на которые было растерзано тело ее супруга Озириса; и вот, находя и составляя их, она не создавала его тела, но лишь *восстанавливала* его в его первоизданной красоте. Поэтому каждого творческого человека можно сравнить с ищущей Изидой: он не создает, а лишь воссоздает Божию идею и радуется возможности помыслить Божий замысел, верно узреть «Закон Божий» и осуществить его. Ему светит целостный облик искомого; его ведет любовь к Божественному; он проверяет себя тою высшею необходимостью, которая открывается ему в духе; он наслаждается воссозданием Вечного, он радуется, чуя отблеск Божией благодати в своем создании.

И именно поэтому творческий человек знает лучше всех, что он создает, воспроизводя Божию идею; и потому он непрестанно и напряженно подымлет свой взор к Богу.

8. О СИЛЕ СУЖДЕНИЯ

Пока человек живет, он слагает суждения и руководствуется ими. Он судит сознательно и бессознательно; высказываясь и совершая молчаливые поступки; делая логические выводы и проявляя купеческую изворотливость; спрашивая и отвечая, и уклоняясь от ответа; везде — в политике, в искусстве и в обыденной жизни. За каждым жизненным решением и деянием скрывается

целый узел суждений — иногда не высказанных, иногда еле помысленных, нередко сокращенных, быстрых, так называемых «непосредственных умозаключений». Здесь по большей части нет тех умственно построенных, логически оформленных, ясных и зрелых суждений, с которыми считается логика; гораздо чаще это инстинктивно вспыхивающие «суждения пристального взгляда», заботы, страха, зависти, своекорыстия, юмора, оценки, отвращения, решительного отказа от почти состоявшейся покупки или внезапного оборонительного телодвижения. И тем не менее — это все *суждения*.

Пока человек живет, он должен воспитывать и укреплять свою силу суждения. Ему необходимо *организовывать* свой внутренний мир и окружающую его внешнюю среду. Ему необходим *строй и порядок*. Приводить в порядок значит властно вмешиваться в хаотически-случайный поток жизненных содержаний, разделять, обособлять, выбирать сопринадлежащее и устанавливать новые, жизненно-необходимые связи, *новую сопринадлежность вещей*. Организовывать, значит отличать *существенное от несущественного* и придавать существенному *вес и значение*; это значит устанавливать преобладание, подчинение и сочленение, распределять функции, обязанности и полномочия — и тем создавать целостный и жизнеспособный организм (крестьянское хозяйство, правящее ведомство, фабрику, армию, школу, умственный организм книги, художественный организм картины, симфонии, драмы и т. д.). И в основе всего этого лежит *процесс суждения* как необходимое и творческое выражение жизни.

Суждение совсем не есть «привилегия» отвлеченных мыслителей. Судит *каждый человек* — образованный и необразованный, умный и глупый, теоретик и практик; каждый разделяет и связывает, оценивает и выбирает, выделяет существенное и формирует, упорядочивает и организует — и на письменном столе, и в кухне, и в гараже, и в магазине, и в парламенте. И это искусство — во всем *схватывать существенное*, все связывать существенною сопринадлежностью и согласно этому «строить жизнь» — есть искусство суждения, столь необходимое для всякой жизнеспособности, для творчества и для человеческого счастья. Это надо всем продумать до конца, раз навсегда; и сделать из этого выводы.

Вот почему каждый из нас призван воспитывать в себе самом, в своих детях, учениках и подчиненных *силу суждения*; но не только в них, а и во всех людях, с которыми его сводит жизнь,— незаметно выправляя постановку вопросов, тактично подсказывая их верное решение, уточняя мысль и настойчиво выдвигая во всем главное, существенное, лучшее. Ибо сила верного суждения лежит в основе всей человеческой культуры.

Это самовоспитание, эта борьба за свою и чужую силу суждения осуществляется через *аскез*. Аскез обозначает не только «упражнение», но и «воздержание», причем и то и другое ведет к *лучшему умению*. Это слово говорит о *постоянной работе над усовершенствованием*; вызывается же эта работа *чувством ответственности*. Аскез есть *школа*, ведущая к лучшему; дисциплинирование и сосредоточение силы; восхождение к властному искусству. И где это совершается — это упражнение и воздержание, эта школа и дисциплина,— там живет истинная *академия*, там бережется и укрепляется сила национальной мысли, «мозг» страны, творческая энергия знания, то, что можно было бы назвать вместе с французским мудрецом «*la moëlle du lion*»¹⁶... Ибо аскез силы суждения есть верный путь, ведущий к расцвету подлинной национальной культуры.

Итак, первое, что надо делать,— это будить в людях *чувство ответственности*. Кто живет, тот судит; кто судит, тот обязан отвечать за свои суждения. Ибо каждый жизненный поступок есть суждение; и, обратно, каждое суждение есть *деяние*, есть жизненный акт, который неудержимо передается во все стороны, то служит благу, то приносит вред и причиняет жизненные раны. Поэтому надо вести борьбу со всяким безответственным, легкомысленным, произвольным, заносчивым и беззастенчивым суждением и рассуждением! Долой безответственность, долой легкомысленный произвол! Настоящая, серьезная жизнь доступна только тому, кто относится серьезно к своим суждениям и понимает значение умственной *концентрации и духовной компетентности*...

Чувство ответственности вызывает в людях *волю к предметному и верному суждению*, и соответственно, решение применять свою силу суждения *осторожно и обоснованно*. Отсюда возникает готовность — *воздерживаться от*

*суждения всюду, где нет достаточной компетентности, честно и храбро говорить «не знаю», «не вижу», «не исследовал», «не продумал», «не понимаю», «не могу». Надо приучить себя к тому, что моя сила суждения имеет свои пределы, что я не в состоянии судить там, где не вижу и не понимаю; что лучше *показаться* кому-нибудь «*неучем*» или «*глупцом*», чем *оказаться на самом деле* развязным или даже нахальным болтуном. Надо научиться смирению. Важнее и драгоценнее быть смиренным аскетом в суждении, чем самоуверенным всезнайкою. Надо отучить себя от всякого неуместного апломба, этого первого признака ограниченности или даже глупости.*

Так начинается воспитание силы суждения. Оно начинается с вопроса: *чего требует от нас верное суждение?* И еще: *что мне надо совершить в самом себе, чтобы произносить самостоятельные и верные суждения?* Ответ гласит: при каждом суждении человек должен *интенционально сосредоточиваться*. Слово «интенция» происходит от латинского глагола «intendo» и означает сразу: *определенное направление и сосредоточенное напряжение*. Добывая суждение, надо временно зажить одним-единим жизненным содержанием и выйти из остальных: нужна способность к концентрации, к погружению в единое, к уходу в колодец; надо выбрать *одно* содержание и предоставить себя в его власть, «втянуться» в него всецело. Это приучает человека к живому и интенсивному *восприятию предмета*.

Но это восприятие должно непременно *соответствовать природе данного предмета*. А предметы различны, своеобразны, многовидны. Зная это, надо подготовиться к тому, чтобы настежь открывать «двери» своей души всякому данному предмету. Надо отдавать в его распоряжение все свои внешние и внутренние силы, и притом именно те, которых он требует; свои чувственные «органы», если они понадобятся (зрение, слух, осязание, обоняние, мускульное чувство, способность ощущать тепло и холод и т. д.); свою силу воображения и творческую фантазию; побуждения любви; напряжения эмоций и аффектов; чувственно прикованное, нечувственно освобожденное и сверхчувственно окрыленное мышление; силу своей воли, а может быть (напр., в этике и политике), и энергию действия. Человек, желающий судить о предмете, должен быть готов

обратиться к нему именно теми силами и способностями своего существа, которых он потребует. Что скажет о живописи слепой? Что может произнести о музыке глухой? Человек с чувственно-связанным воображением не решит ни одной геометрической задачи. Человек с мертвым или скудным чувством не сможет судить в делах нравственности, религии, художества и патриотизма; безвольному и близорукому человеку лучше не участвовать в политике ни суждением, ни деянием...

Восприятие предмета будет мнимым или скудным у того, кто располагает только чувственными ощущениями и отвлеченною мыслью: самое драгоценное в жизни останется недоступным для него. Человек должен уметь приспособляться к тому *способу бытия*, который присущ *данному предмету*; он должен ставить в его распоряжение всю «клавиатуру» своих человеческих способностей. Только таким путем он построит верный «мост» к предмету. Только при этом условии он «вос-примет» в себя предмет своего суждения, именно *его*, а не его обманчивого сходно-именного «двойника». Ибо в суждении дело идет не о словах или именах, а о *реальностях*. И только тот, кто «вос-примет» в себя предмет своего суждения, может надеяться на то, что не он (субъект) скажет что-то о предмете, а *сам предмет* «заговорит» через него о себе и произнесет о самом себе драгоценное суждение.

Только при соблюдении этого требования есть надежда на удачу: человек сможет попытаться *выразить воспринятое в словах*. Это нелегко. Это может удалиться, но не совсем; это может отчасти и не удалиться. Надо зажить предметом и говорить из него. И нередко человек будет чувствовать себя при этом — затрудненным, медленным, беспомощным, ищущим и ненаходящим, «в томлениях крайнего усилия» (Фет)¹⁷. Всякий, кто пытался идти по этому пути, знает, что «целое» дается нелегко и что иногда оно почти на дается; его надо внутренне как бы «делить на части», сосредоточивая «лупу» своего созерцания, своей мысли, своего слова на отдельных «частях» или сторонах, по очереди. И каждая «часть» потребует той же самой сосредоточенности и осторожности, с которой начиналось первое восприятие. У того, кто упражняется, постепенно вырабатывается особое «искусство деления» — отбрасывающее существенное и отодвигающее несущественности,

требующее неутомимого удостоверения и переудостоверения, требующее готовности не переоценивать добытое, а признавать его лишь предварительным итогом, с тем чтобы начинать все снова со свежими силами.

Одновременно с этим вырабатывается *умение спрашивать*, ставить вопросы, та необходимая вдумчивость и осторожность умственного взора, без которой невозможно никакое исследование. Надо иметь такое чувство, как если бы каждый вопрос возникал из глубины самого предмета и подсказывался им. Ибо настоящий вопрос рождается произвольно, он как бы навязывается или предписывается; он произволен, не вял, не ленив и не холоден; он насыщен, интенсивен, требователен; он борется, он зовет, он как бы властно стучится в дверь. И именно предметная серьезность его создает уверенность, что ответ не замедлит.

В этом процессе возникает и *искусство сомнения*. Я разумею не холодное и равнодушное сомнение безразличного человека: *такое* сомнение бесплодно; оно разрушает, разлагает и губит, особенно тогда, если оно является беспредметным, ироническим и всеобъемлющим: «сомневаюсь во всем, даже в собственном сомнении»... Нет, я разумею ищущее и добывающееся сомнение, интенционально-сосредоточенное, содержательно-определенное и предметно-укорененное: такое сомнение немедленно вызывает потребность в новом, верном восприятии предмета, которое и осуществляется. Такое сомнение драгоценно, плодотворно и удостоверяюще. Оно известно всем серьезным исследователям и всем религиозно-верующим людям. Оно является двигателем для силы суждения, источником всякого серьезного знания, орудием всякого художественного искусства.

Тогда может родиться творческий и продуктивный «ответ», в основании коего всегда лежит *исходная, подлинная честность*. Этот «ответ» надо представлять себе как некий длительный, вековечный процесс, который длится с самого рождения первочеловека и его познания, слагается и ныне, и будет длиться всегда. Не потому, что каждое человеческое познание «относительно» и «недостоверно»; нет, каждый *предметный ответ* достоверен и полноценен; но он *не исчерпывает* предмета, он не раскрывает его целостно, до самого дна. Предмет подобен «махровому»

цветку, не имеющему «*последних лепестков*»: он раскрывается все дальше и глубже, без конца, расцветая снова и снова. Отсюда и бесконечное «отвечание»: оно дарит человеку истину, но эта истина имеет образ «бесконечно махрового цветка». Этот «цветок» не есть иллюзия или фантазия; он подлинно обстоит; он раскрывается сам; и это расцветание совершается все дальше и дальше во всем своем великолепии. Сила суждения требует благоговения перед предметом и великого терпения.

Вот почему всем крупным, призванным мыслителям свойственно как бы вечно цветущее мышление, ибо у них всякое понятие, всякое суждение, всякое слово — вскрывает новые связи, разворачивает новые ходы, как бы отверзает новые двери, ведущие к предметным источникам и колодцам, в предметные шахты. Такие мыслители — качественно всегда *подлинны*; по объему и материалу — всегда *новы*; по огню своей мысли — всегда *искренны*. Их мысль никогда не впадает в релятивизм; но она всегда незакончена. Ибо таким создан и так обстоит Божий мир: таким помыслил его Господь и в таком виде Он отдал нам его на исследование и познание, чтобы мы всюду осязали Его могущество и величие, Его излучения, Его присутствие и созерцали мир как живой символ, как живой «иероглиф» Божий...

И потому мы можем быть уверены, что, где начинает господствовать отвлеченное, схематическое мышление, упрощающее и повторяющее, раз навсегда нашедшее мнимый «ответ» на все свои неверные «вопросы» и самодовольно навязывающее всем свой «штамп» или «трафарет», там сила суждения иссякла и омертвела, там воцаряется мертвая ложь и пошлость (например, «механизм» в естествознании, «формализм» в юриспруденции, «конструктивизм» в философии, «кубизм» в живописи, «модернизм» в музыке, «диалектический материализм» в истории, политике и экономике и т. д.).

И посему всем нам и повсюду, и особенно *нам, русским, которым еще предстоит воспитать в себе национальный духовный характер*, — нам надо упражнять и крепить свою силу суждения, нам необходимо судить свободно и ответственно и высоко ценить *аскетическое начало в мысли*. Нам надо помнить, что беспредметные суждения и противопредметные рассуждения слагают гибельную

болтовню, за которую множество людей будет расплачиваться долгими и жестокими страданиями.

Аскез силы суждения требует от нас, чтобы мы честно знали, *где* кончается наше знание, где наша сила суждения захлебывается, иссякает и изнемогает. Он учит нас рассматривать наши знания, как «еще-незнание»; он приучает нас к насыщенному и в то же время непритязательному мышлению. Он ведет нас через все преграды вопрошания и сомнения, через очистительные огни самокритики и возражения самому себе, так, чтобы мы могли выйти из всего этого искуса закаленными и обновленными.

Однако аскез силы суждения совсем не есть проявление *умственного безволия*; ибо осторожный человек несколько не лишен воли; и осторожность совсем не ведет к разлагающему релятивизму или агностицизму. Этот аскез отнюдь не есть и прикровенное «бегство» от предмета; напротив, он означает выдержанную борьбу за предмет, мужественное движение к нему. Он превращает человека как бы в *орудие самого предмета*, в его послушный знак, может быть, в его живогласную трубу. Он дает нам *искусство незнания*, храбрость откровенного непонимания, смирение, чтобы учиться и поучаться. Есть великая духовная красота в том молитвенном исследовании, которое мы видим у всех великих философов и естествоиспытателей,— у Сократа, Аристотеля, Коперника, Галилея, Кеплера, Декарта, Лейбница, Галлера, Ломоносова, Либиха, Ньютона, Фехнера и у других. Есть дивный духовный аромат в их честном, точном, зорком и скромном вопрошании...

Итак, аскез силы суждения требует предметной концентрации и точного, ответственного выражения тех содержаний, которые восприняты от предмета; последний этап есть нахождение *верной формы* суждения, утвердительной или отрицательной, с точным объемом (общим, частным или единичным). Само собою разумеется, что все это требует *духовной воли*, умственного напряжения с «долгим дыханием» и сосредоточенного внимания,— именно того, что французский скульптор Родэн так неудачно пытался выразить в напряженных мускулах и сосущих губах мощнотелого атлета («Мыслитель»); неудача здесь в том, что сосредоточенность и напряжение мысли отнюдь не имеют «соматической» (т. е. телесной) и «инфантильной»

(т. е. «ребяческой») природы, но требуют, наоборот, «распряженных» мускулов и забвения о собственном теле. Аскез силы суждения есть дело *духа*. Он воспитывает к *предметности в жизни* и притом *во всех* областях культуры. Он должен сообщить человеку *гибкость внутреннего акта, зоркость в восприятии и точность в описании и мышлении*. Он укрепляет в человеке чувство ответственности и строгую честность; он борется со всяким легкомыслием, со всезнайством, с тщеславием, с хвастливостью, праздным пустословием и безответственной болтовней. Одним словом — это есть *школа истины, красоты и культуры*. И там, где люди работают над этим и обучаются этому, там живет и цветет *подлинная национальная академия* — в науке, в религии, в искусстве, в политике и во всякой деятельности.

И прежде всего — воспитание судящей силы составляет основную задачу *умственного образования*. «Образованным» надо считать не многознающего «энциклопедиста» и не всезнающего «сноба»: обременение или переобременение человеческой памяти не дает зрелости человеческому духу. Мудрый грек Гераклит был совершенно прав: «многознание не научает человека владеть умом»¹⁸... Образован воистину — не перегруженный интеллект, напоминающий «британскую энциклопедию» или «книжный каталог ватиканской библиотеки». Истинная образованность есть *сила созерцания и зрелость суждения*. Она отвергает всякое «авторитарное» мышление и живет *самостоятельным творческим общением с самим предметом*. И потому образование есть прежде всего воспитание к *самодетельному созерцанию и мышлению, к исследованию*.

Исследование совсем не является монополией ученого и его «лаборатории». Исследуют все, кто имеет непосредственное дело с предметом: моряк, ведущий свой корабль; крестьянин, налаживающий свое хозяйство; офицер и солдат на поле сражения; рабочий у своего станка; купец в своей лавке; учитель в школе; священник в своем приходе. Всюду, где человек обращается с вопросом к Богу, к природе и к своему человеческому окружению, он выступает в качестве самостоятельного мыслителя и оказывается исследователем. И этим он доказывает (говоря словами Аристотеля), что он человек «свободный от природы», ибо «рабом от природы является тот, у кого ума хватает только

для понимания чужих мыслей», но не для выработки своих...

Подобно этому *религиозная* зрелость человеческого духа состоит в том, что он ответственно, осторожно и благоговейно судит о религиозных предметах и делах. Это имел в виду еще Цицерон, когда производил слово «религия» от латинского глагола «telegēge», что значит совестно и благоговейно воспринимать и обсуждать божественные содержания. Тот, кто решает вопросы религии слишком легко и быстро, тот обнаруживает *ребячливое* умонастроение, которое не следует смешивать с чистотой и цельностью детской души, заповеданными в Евангелии. Ребятичливый человек готов верить всякому слову, слуху и вздору; он не умеет ни проверить, ни удостовериться; он не знает ответственности и не понимает священных сомнений; и не имеет ни малейшего подозрения о том, какова таинственная глубина религиозных обстоятельств. Истинная религиозность начинается именно с «духовной нищеты», т. е. со смиренного и искреннего «незнания», с подлинного «алкания и жаждания правды»... Человек исповедует свою духовную скудость и отсюда в нем зарождается плодотворное созерцание и вопрошание, сомнение и удостоверение, ответственность и внутренняя честность, которые никогда не успокоятся на суеверии, на беспочвенной фантазии, на «соблазне» и «прелести». Больной и нечистый «мистицизм» отбрасывается, и всякое религиозное воззрение, при всей его иррациональности, слагается как своего рода зрелое и благоговейное суждение, как зрелый плод религиозного аскеза.

Подобное этому мы видим и в искусстве. То, что художник призван «выговорить» в своем произведении как «главное-сказуемое» есть *зрело промедитированное суждение о вечных предметах*. Каждый образ, который он вынашивает и выбирает для выражения своей главной идеи, возникает в процессе осторожного созерцания и ответственного суждения. Каждое «нет» и каждое «да», которое он безмолвно произносит в себе, отвергая одно и предпочитая другое, имеет именно этот смысл. Каждая линия и каждая краска в его картине; каждый аккорд и каждая модуляция в его сонате; каждая фраза его романа, каждое слово в его стихотворении; каждый оконный наличник в его фасаде; каждый жест его танца — есть сконцентрированный

итог многих созерцающих, спрашивающих, проверяющих и выбирающих суждений, которых он, наверное, никогда не переживал в сознательно-логической форме. Настоящее искусство возникает в аскетическом процессе художественного суждения: художник обязан отвергать все, что он переживает как «только возможное», до тех пор пока не появится *предметная необходимость*, повелительно требующая своего признания. Об этом знал Леонардо да Винчи, создававший свои произведения медленно, отыскивая, меняя, в великом аскезе своего художественного суждения, и оставивший некоторые из них в неоконченном виде. Об этом знали великие художники слова — поэты, исправлявшие свои стихи в несколько «этажей» (Пушкин), и прозаики, переписывавшие и переделывавшие свой текст до 8 и 9 раз (Гоголь). Поэтому каждый творящий художник призван ждать и добиваться *предметной очевидности* и должен творить, предаваясь аскезу в своем художественном суждении. Иначе он не создаст ничего необходимого и вечного, ибо произведения его останутся «игрою в возможность», однодневными капризами, баловством, предназначенным для развлечения неприхотливых и скучающих людей, «эстрадою для снобов»...

Те же законы господствуют и в *этике*. Каждое жизненное деяние является выражением многих суждений — о желаниях и о долге, о добре и зле, о полезном и вредном, о приличном и неприличном, о людях вообще и о данном человеке, о любви и ненависти, о Боге и о душе... В этом участвуют и инстинкт самосохранения, и сведения о целях и средствах, и совесть, и честь, и любовь, и сострадание. и вчувствование. Так, каждый совестный поступок есть самостоятельное суждение, исходящее из глубины сердца и решающее вопрос о самом лучшем в жизни; и то обстоятельство, что это совестное суждение не имеет зрело-сознательной, логической формы, делает его «суд» еще более ответственным во всей его молниеобразной непосредственности; и совсем не случайно язык африканских негров передает совестный акт так: «*сердце говорит слово*»...

Вот почему так важен аскез суждения в этике; вот почему смирение оказывается одной из важнейших «добродетелей познания». Это раскрывает нам также глубокое значение Евангельского слова «не судите...»: ибо тому, кто судит людей и осуждает, слишком часто остается недо-

ступной последняя сердечная глубина бедного грешника; и профессиональный судья, на которого возложена *обязанность* судить, оказывается на высоте только тогда, если он постоянно старается вчувствоваться в живое и неустойчивое правосознание преступника.

Так обстоит дело и в *политике*. Каждое голосование, каждый закон, каждая реформа есть заключительное суждение, за которым скрываются целые цепи предварительных суждений. Эти исходные суждения, эти «предпосылки» говорят о самых различных содержаниях человеческой жизни, начиная с религиозной веры, добра и зла, родины, свободы и права и кончая прозаическими соображениями о пользе и вреде. Строго говоря, активный гражданин, имеющий право голоса, *должен знать все*, все взвешивать, все решать и нести ответственность за каждое свое суждение. И ему остается только подумать о том, как он справится с этим без предварительной и долгой школы суждения. Поэтому Сократ был совершенно прав, когда он обращался к своим согражданам с сомневающимися и испытывающими вопросами, чтобы как-нибудь разочаровать их в их политическом всезнайстве и подвигнуть их к настоящему ответственному аскезу в деле суждения. И тот, кто поймет это, тот навсегда откажется от слепой веры в то, будто «глас народа есть глас Божий»...

Итак, аскез силы суждения составляет настоящий и необходимый фундамент всей человеческой культуры; и народное образование должно заботиться и неустанно бороться за *зрелость личного суждения*. Это есть необходимый путь к воспитанию, духовной зрелости и мудрости.

Какое обширное, какое плодородное духовное поле откроется перед нами в грядущей освобожденной России, где русская национальная талантливость познает бремя ответственности и энергию дисциплины!..

9. О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕРШЕНСТВЕ

Искусство наших дней, именуемое «модернистическим», заблудилось среди дорог и ушло в беспутство; в этом и сейчас уже согласны все истинные друзья искусства, не порвавшие со здоровым, сразу — *духовным и есте-*

ственным вкусом. Об этом знают особенно серьезные и великие художники нашей эпохи. Они знают, что далекое и прекрасное будущее принадлежит не модернизму, этому выродившемуся мнимо искусству, созданному, восхваленному и распространяемому беспочвенными людьми, лишенными духа и забывшими Бога. После великого блуждания, после тяжелых мучений и лишений человек опомнится, выздоровеет и обратится снова к настоящему, органическому и глубокому искусству; и так легко понять, что и ныне уже глубокие и чуткие натуры предчувствуют это грядущее искусство, призывают его и предвидят его торжество.

Кто попытается представить себе это грядущее искусство, тот должен прежде всего отказаться от идеи «неслышанного», «невиданного» новаторства, ломающего переворота, опрокидывающего «открытия». Вся эта погоня за новшеством, за небывалым, за «потрясающим» или «головокружительным» есть проявление духовной смуты, порождение бессильного тщеславия у автора и у скучающих, ищущих «возбуждения» снобов в публике. Будущее, конечно, принесет нам *новое* искусство; но это «новое» возникнет из *обновленного духа* и из *глубоко чувствующего сердца*, т. е. из тех слов души, которые всегда задумывали и вынашивали всякое истинное произведение художества. Подлинная духовная глубина имеет свои особые законы, не поддающиеся субъективному произволу и не заменимые никакими нарочитыми изобретениями или выдуманными «конструкциями». Новое искусство принесет нам *новые духовные содержания*, а не новые бессодержательности, не новые пустоты и не новые пошлости. Оно создаст *новые формы*, а не новые бесформенности, не новые разнуздания, не новые хаосы. Оно разрешит себе «многое», но ничего такого, что выходит за пределы *духовной необходимости*, ибо здесь лежит критерий дозволенного, мера допустимого: в искусстве верно и художественно *только необходимое*.

Грядущее искусство будет опять укорененным, почвенным, органическим. Это совсем не обещает школьную придирчивость, педантство, тяжелую походку, строгое выражение лица, скучные поучения, обязательные трафареты...

Нет, это указывает на совсем иное измерение. Здесь

имеется в виду не цензура содержаний и не предписанные формы, но творческий источник, творческий замысел и творческий акт.

Пока искусство движется по здоровым творческим путям, его содержания не нуждаются в цензуре, потому что она само собою, внутренне и изнутри осуществляет строжайшую и убедительнейшую цензуру, драгоценную и художественную: это цензура предметной необходимости, которая в дальнейшем должна быть проверена и укреплена художественной критикой. Что же касается формы искусства, то ее вообще не следует предписывать: она совсем не должна следовать каким бы то ни было внешним требованиям — ни публичному спросу на базаре, ни прямым указаниям политической диктатуры; исключение может быть только одно: если такое требование совпадает с внутренним голосом художника, но и тогда художник пойдет за своим внутренним голосом, а не за посторонним желанием «заказчика». Поэтому мы имеем полное основание ожидать от грядущего русского искусства — новых, т. е. первоначально-подлинных духовных содержаний и новых, т. е. предметно-оригинальных форм: это будут новые образы, выговоренные на «языке» первоначальной подлинности и с силою впервые рожденной формы, — в общем потоке насущного духовного питания и благодатной радости...

Это новое искусство возникнет из перенесенных русским народом испытаний, лишений и страданий; и совершится это потому, что в русских людях обновятся источники жизни, родники творчества, самый способ жизни и сила художественного созерцания. *Россия идет к возрождению здорового художественного акта.*

Строение художественного акта по самому существу своему свободно и предоставляется творческой силе самого художника. Здесь ничего нельзя предписывать; здесь нет обязательных рецептов. Но неутомимое и вчувствующееся изучение может установить здесь известные отрицательные границы, несоблюдение коих ведет к вырождению искусства.

Так, художественный акт, — каково бы ни было его строение и в каком бы искусстве художник ни творил, — не может и не должен получать свое направление *извне*; иначе акт вырождается. Художник не должен сле-

довать моде, она не должна ему импонировать, ибо та духовная, первоначальная глубина, где живут художественные содержания и откуда они восходят к осуществлению, не знает ничего о моде. Художник, будь он портретист или архитектор, не должен принимать от своих заказчиков никакого содержания, разве только если заказывающий обыватель сам выносил такое же художественное созерцание и вступает с художником в братский обмен духовными дарами. Художник должен с самого начала примириться с идеей возможного «неуспеха» или «провала» у публики; он должен быть готов к тому, что он не встретит понимания и справедливой оценки, что творчество его не даст ему ни радости признания, ни прокормления, ни дохода; и приготовившись к такому исходу, он должен спокойно, без робости идти своей дорогой. Искусство не есть промысел, приспособляющийся к внешним условиям, к спросу и заказу; оно есть *служение*, ориентирующееся по *внутренним* требованиям, по духовным звездам. И художник, мало зарабатывающий, непонятый и «отвергнутый» современниками — должен спокойно и достойно идти своей дорогой.

Действительно, ему предстоит важное и высокое служение, которое он несет и совершает на благо всего человечества: ибо он есть *свободный и неподкупный провозвестник*, показывающий людям *объективно-значительные* и притом для многих *сокровенные духовные содержания*. В этом его призвание, которому он и посвящает себя; в этом его «должность», которую он свободно возлагает на себя. И это призвание предполагает у него определенные склонности и способности, которые он должен иметь или приобрести. Не каждому дано созерцать сокровенные духовные содержания, развивать и укреплять в себе это созерцание, следовать узренному ответственно и в строгом повиновении, вынашивать задуманное и изображать его в оправданных, необходимых и точных образах. А к этому сводится главное в искусстве. Искусство, которое ничего не знает об этом, а может быть, и не желает знать — *не есть искусство*; это есть безответственная игра, баловство или же доходный промысел, а может быть, и то и другое одновременно: автор кощунственно балуется и богатеет (Пикассо). Бороться с такими промышленниками трудно; устранить их из жизни совсем, может быть, даже невоз-

можно. Но если такие затеи начинают вытеснять искусство или заменять его, тогда искусство вступает в критический период, в эпоху упадка: оно отрывается от своего призвания и от своего главного назначения.

Настоящий художник *отправляет духовное служение*. Он совсем не призван развлекать публику, увеселять ее или угождать ей. Он призван созерцать «внутренне», вслушиваться в него, служить ему и повиноваться, погружаться в него и творить из него, сообщать и возвещать о нем. Торговать и торговаться — не его дело. Он должен как бы заклинать в самом себе «духа земли». Он должен находить то «пространство», где живут *духовные содержания*, вступать в него и почерпать в нем *предметные медитации*. Он должен поставить себя в распоряжение Божьего дела, его сокровенной борьбы и его творческих страданий — и приобщиться этой борьбе и этим страданиям через *отождествление* с ними. Чем ответственнее он совершает при этом свое служение, тем глубже становятся его медитации; чем полнее он отводит и исключает свой собственный произвол, тем более предметными, истинными и художественными оказываются его «про-рицания»; чем сосредоточеннее и строже становится его внутренняя дисциплина, тем благоуханнее и «слаще» становится «медь» его искусства.

Но для этого ему нужна вся та внутренняя и внешняя свобода, которая вообще доступна человеку. Ему необходима свобода, чтобы достойно нести свою одинокую ответственность и сполна осуществлять те требования, которые ставит ему художественное творчество. Никакая цензура не может дойти до *источников* его творчества; и только конгениальный ему критик может сказать ему впоследствии, справился ли он со своею ответственностью... Чтобы разрешить эту задачу, художник должен быть свободным и блюсти свободу в своей «лаборатории» — в созерцании, суждении, выборе оформления; а следовательно, и в линиях, в красках, в звуках и в тональностях, в словах и жестах, превращая их в живые и насыщенные символы «Главного-Сказуемого»... Он должен быть *субъективно* свободен, чтобы уловить и выразить *объективную необходимость*; ибо в искусстве есть такая особенная, внутренне постигаемая *объективная необходимость*, к которой и сводится сущность дела.

Эта особенная необходимость составляет *критерий* всякого настоящего искусства. Если художник постигнет ее из глубины и осуществит ее целостно, то произведение его получит ту замечательную *«убеждающую» силу*, ту зрелую *законченность*, ту *власть* давать людям удовлетворение и счастье, по которым узнается *совершенное искусство*.

Каждый настоящий художник носит в себе внутреннее чувство или даже сознательное убеждение, что в процессе творчества ему не все позволено, что многого он просто «не смеет», что выбор темы, отбор «материала» и оформление его не предоставлены на усмотрение его *произвола* или его *тщеславия*; что он на все должен иметь *духовное право* и *предметное основание*. Вот так, как однажды Пушкин, негодуя на безвкусную и уродливую «поправку» цензора в его стихе, восклицал: так «я не властен сказать, я не должен сказать, я не смею сказать!»¹⁹ Художнику на все необходимо *художественное полномочие*; он отвечает за все созданное им, хотя нередко он, отвергая, не может обосновать словами свое отвержение, а утверждая, умеет только *настаивать* на верности, предметности и необходимости избранного... Но дело не в словесных доказательствах, а в *категорических «показаниях» внутреннего художественного опыта*.

Это искание *художественной необходимости* и *духовного права* в творчестве составляет самую основу настоящего искусства. Оно, конечно, очень затрудняет работу, но зато приводит ее на настоящий уровень. Этим как бы отрезаются бесчисленные возможности в выборе: они сами отпадают, ибо обнаруживают свою несостоятельность. Наивному новичку, не знающему ничего об ответственности, может, правда, казаться, что он «все может» и «все смеет»: «ему нравится» — «значит, хорошо»; он готов принимать всерьез всякую свою выдумку: он воображает, что всякая субъективная «навязчивая идея» создается художественным вдохновением и что все, что доставляет ему удовольствие — «замечательно». Но настоящий художник знает, что нужно предметное основание и художественное право; что надо повиноваться *художественной совести*. Он знает, что он «смеет» закреплять только то, что верно и необходимо; он знает, что если нет этого чувства «смею», то это значит, что он «не смеет».

Поэтому его *свободное* творчество *связано*: оно состоит в том, что он, созерцая и вопрошая, ищет этой художественной связанности, этой духовной необходимости. Он становится только тогда уверенным и спокойным, когда его чувство *«так я смею»* крепнет и превращается в чувство *«именно так я обязан и иначе я не смею»*... Дело не в том, что «можно» провести эту линию, наложить эту краску, ввести эту модуляцию, употребить это словесное выражение, но в том, что *«только это и нужно»*, *«именно этого и не хватало»* и *«обойтись без этого невозможно»*, ибо именно это *соответственно и точно*. Художественно-сказуемое *требует* именно этого и требование его должно быть выполнено. Художник *не смеет* иначе; поэтому он и *не желает* иначе; поэтому он иначе и *не может*. Тогда он чувствует себя уверенно: тогда на него нисходит спокойствие. Ибо он создавал не по своему личному произволению, но *повиновался внутренней необходимости*, которая предъявляла свои требования и которой он радостно повиновался.

Каждый серьезный художник, погружаясь в свои «темы» и «образы», старается уловить в своем внутреннем мире эту предметную необходимость, следовать ей и соблюдать ее. Каждая линия, проводимая им, остается для него «проблематичной», «простой возможностью, и не более того» до тех пор, пока он не начнет ощущать ее как нечто «строго соответственное», «точное», «органически-живое», «прочно-растающее». «Соответственное» *чему?* «Точно» выражающее *какой* предмет? «Прочно-растающее» в *какой* «живой организм»? На эти вопросы ему, может быть, трудно ответить, но этих словесных ответов от него не следует и требовать. Важно то, что его внутренний опыт недвусмысленно и достоверно сообщает ему, что он уловил «необходимое» и «единственно точное» и что проведенная им черта соответствует некоторому важному и решающему, хотя и сокровенному содержанию; это значит, что она «верна», «обоснована», что она отличается таинственной, но совершенно очевидной «точностью» (любимое выражение Пушкина)... Тогда найденное подобно прочно лежащему камню в болоте, на который можно стать и опереться, чтобы нащупывать и отыскивать дальнейший путь.

Это «ощущение» *органической необходимости* в худо-

жественном творчестве отнюдь не есть ни призрак, ни самообман; напротив, ему присуще чрезвычайное, определяющее значение. Когда человек работает, напр., над дешифрированием непонятого текста, то ему приходится иметь дело с предположениями и неуверенными догадками до тех пор, пока он не почувствует, что вступил в *поток живого, связного, единого смысла*; тогда у него делается уверенность, что он не выдумывает ничего своего, субъективного, но верно улавливает то, что объективно скрыто в разбираемой им криптограмме. Подобно этому настоящий художник старается уловить сокровенное содержание художественного замысла, выразить его — соответственно, точно, «адекватно» — в образах и «изложить» в словах, звуках, красках, жестах или камнях. При этом он несет в себе уверенное и подлинное чувство, что он творит не изобретая, а как бы *воспроизводя нечто подлинно существующее*, или же что вся его изобретательная способность направлена на верное отображение объективно предстоящего ему «предмета». И когда он, закончив свое произведение, показывает его или выставляет, то у него иногда бывает смутное чувство, что некоторые «места», или «линии», или «словесные обороты», или «плоскости», «краски», «модуляции» его произведения — не совсем закончены, неокончательно обоснованы, не вполне «предметны» или недостаточно точны. Тогда он начинает внимательно прислушиваться к критикам и сразу замечает, кто из них говорит из предметного созерцания, уловив художественную необходимость в его произведении, и кто из них, напротив, застрял во внешностях снобизма, в условностях отвлеченной формы, в аутистических выдумках и потому идет в своих разглагольствованиях *мимо* главного. Он умеет благодарно ценить скромные, исследующие замечания истинных критиков; он чувствует себя понятым, польщенным, он проверяет себя этими замечаниями и нередко «соглашается»; критик оказывается его ценителем, другом и помощником... А к самодовольному разглагольствованию мимо взирающих рецензентов он относится с пренебрежением, хотя и знает, что именно эта болтовня нередко влияет на публику и руководит ее мнением. Именно это последнее имел в виду Л. Н. Толстой, когда он однажды с тихим юмором вымолвил: «критика — это когда глупый человек пишет об умном»...

В каждом произведении искусства надо различать

троякое, как бы три слоя, причем эти слои не расположены один *над* другим, а открываются один *за* другим: *от поверхности в глубину*. Можно было бы выразить это и иначе: здесь есть центральное, главное «ядро», заключенное как бы в две «скорлупы», так что «ядро», пронизывает обе скорлупы своими лучами и что внутренняя скорлупа может быть воспринята только через посредство внешней. Но это описание дает только указание, только намек на художественную правду.

Внешний слой искусства («первую скорлупу») можно было бы обозначить как *«эстетическую материю»*: таковы слова и фразы в литературе; линии и краски в живописи; слышимые звуки в музыке; камень, дерево, металл в скульптуре и архитектуре; тело танцующего, его одежда и обстановка в балете. И вот чувственно уловимый материал искусства имеет свои собственные законы, например: фонетические, грамматические, стилистические и орфографические правила в литературе; физические, математические и акустические законы в музыке; естественные свойства камня, дерева и металла в скульптуре и архитектуре; физиологические, анатомические, психологические и духовные законы, владеющие человеческим телом — в танце. Эти правила и законы должны быть соблюдены для того, чтобы произведение искусства *художественно удалось*. Фонетическое безобразие, грамматический хаос, стилистическая беспомощность и бессвязность могут погубить стихотворение. Нечистые, фальшивые звуки, не принадлежащие, монотонные аккорды с параллельными ходами могут испортить любое музыкальное произведение. Протоестественные, искусственно-выдуманые, тяжелые, акробатически-вымученные, невыразительно-мертвые движения в танце могут сделать его фальшивым и художественно-невыносимым...

Но эти необходимые, элементарные, азбучные законы чувственной материи не являются *ни высшими, ни последними* законами искусства. Есть другие, важнейшие и определяющие законы — и от них может изойти «применение» для низших законов: они могут властно потребовать аллитерации, или бесстильности, или бессвязности в словах; дребезжащих или монотонных звуков в оркестре; безвкусного сочетания красок или «обратной перспективы» в живописи, безобразных, вымученных движений в танце... Так,

Римский-Корсаков, великий и безошибочный знаток гармонии, пишет Мусоргскому о его «Ночи на Лысой горе»: «Величание Сатаны должно быть непременно зело паскудно и потому всякая гармоническая и мелодическая погань позволительна и уместна» (см.: Мусоргский. «Письма и документы», стр. 454). Унисон справедливо считается скучнейшим видом музыкального звучания; но Бородин, изображая азиатский примитив татарского ига, ведет его тему во властном сокрушительном унисоне (первая часть знаменитой Второй симфонии)... И так обстоит во всех видах искусства: законы эстетической материи подчиняются Главно-Сказуемому. Пушкин, гениальный мастер легчайшего стиха, ставит, *когда надо*, такие строки: «Бой барабанный, крики, скрежет,— Гром пушек, топот, ржанье, стон»...²⁰ Или еще: «В молчаньи правил грузный челн»...²¹

Осязаемая материя искусства совсем не есть важнейшее в искусстве; она не есть нечто самодовлеющее и ее нельзя трактовать как «самостоятельное» тело художества. Напротив: она есть нечто вторичное, служебное, повинное послушанием высшему смыслу произведения. Эстетическая материя является «носителем», «орудием» или «знаком» того художественного содержания, которое должно быть «высказано» или «показано». Этот носитель должен быть на высоте выражаемого содержания, он должен соответствовать ему. Орудие должно быть послушным. Знак должен быть выразительным и содержательно насыщенным. Власть над ним имеет *эстетическое содержание* (т. е. художественный образ и говорящий через него *художественный предмет*). То главное, что художник «сказует» (или «показывает», или «знаменует»), — властвует над эстетической материей, властно выбирая слова, краски, звуки, плоскости, жесты и массы вещества. И в «материи» только то является художественно-верным, что потребовано «Сказуемым».

Поэтому в произведении искусства эстетическая материя должна возникать из содержания, имея в нем свое оправдание и основание. *Художественно* только *содержательно-необходимое*. Совершенно здесь только то, что *выразительно*, в своей выразительности *точно*, в своей точности *прозрачно* и потому *необходимо*; что эконоит силу, время и внимание и верно ведет к Главно-Сказуемому данного произведения. Вся эстетическая материя должна стоять в

распоряжении Главно-Сказуемого, обнаруживая величайшую покорность, готовность и гибкость; она должна чутко приспособляться и видоизменяться, *не отрекаясь от своих собственных законов*, но находя в них новые, может быть, небывалые формы.

Второй «слой» искусства (вторая «скорлупа») есть показуемый и воспринимаемый *эстетический образ*. Это есть то воображаемое художником «обличие» или «очертание», которое подыскивает себе материю, для того чтобы воплотиться в ней и «излучаться» из нее и через нее. Эстетический образ может иметь чувственную природу: таковы обличия материальных вещей — бабочка, цветок, дерево, дом, ландшафт; но он может иметь и нечувственную природу: таковы душевное настроение, напр. «Меланхолия» Грига, или человеческий характер, напр. «князь Мышкин» у Достоевского, или духовная борьба людей, напр. Брут и Цезарь у Шекспира. А в музыке «образом» является музыкальная *тема* во всей ее индивидуальности, видоизменяемости и судьбе, *в ее общении* с другими темами данного произведения.

Все эти эстетические образы имеют свои особые законы: каждый образ должен явиться как нечто подлинно-объективное, правдоподобное, созерцательно-убедительное, индивидуально-внутренне-единое, самому-себе-верное, законченное, органически связанное с другими образами и т. д. Расплывчатые, неясно показанные, неразличимые, плохо ракурсированные, противоестественные, неправдоподобные, в восприятии неубедительные, дробящиеся чувственные образы — характерны для *плохого* искусства; незрело выношенные, невыкристаллизовавшиеся, мало индивидуализированные, смутные человеческие характеры, которые выводятся в психологически неестественных жизненных положениях, произносят искусственные, аффектированные слова и совершают духовно необоснованные, неестественные поступки, — создаются плохими художниками и относятся к дурному, нехудожественному искусству. Все это оказывается художественно фальшивым, неприемлемым; все это разочаровывает, утомляет и проваливается.

Но законы второго «слоя» тоже *не самостоятельны*, не *самодовлеющи* и не являются высшей инстанцией. В каждом произведении искусства весь строй образов

подчинен опять-таки высшему и важнейшему «слою» — *главной идее* произведения, *«Главно-Сказуемому»*, *художественному предмету* и оказывается его верным и необходимым орудием.

Все дело именно в этом третьем, глубочайшем «слое», в том «главнейшем-важнейшем», что составляет «ядро» или «зерно» произведения; ради его художественного «произнесения», ради его «прикровенного показания» все зачинается, вынашивается и творится. Все эстетические образы должны быть выращены из него, разворачывая *его* содержание, повинувшись *его* ритму, выражая *его* идею и волю. «Слой» эстетических образов должен ясно, точно и экономно выражать *художественный предмет* произведения; он должен служить предмету в качестве верной и прозрачной среды, чтобы предмет светился и воспринимался через него с очевидностью, скрываясь за ним и открываясь через него. Поэтому все образы данного произведения — романа, драмы, картины, сонаты, симфонии, скульптуры, балета — должны стоять в распоряжении художественного предмета, в подчинении ему, оказывая ему величайшую готовность, уступчивость, гибкость и выразительность.

Это настоящее «ядро» произведения, этот сущий и глубочайший центр его, к которому все сводится, ради которого все делается и творится и без которого все распадается — есть *основная концепция* художника, его сокровенный «замысел», который привел его творчество в движение. Именно он, этот предметный «замысел», задуманный не мыслью и не произвольным хотением, но *зачатый в сфере той бессознательной духовности*, которая присуща каждому из нас, — именно он подыскивает себе необходимые образы и верную чувственную материю. Он есть тот «духовный цветок», который художник увидел на просторах духа; этот цветок пленил его и он взял его с собою, чтобы подобрать для него художественное одеяние и показать его в таком виде другим людям. Этот духовный цветок можно было бы обозначить как «идею», но с тем, чтобы не приписывать ей никакой рационалистической формы: ибо эта «идея» постигается *иррациональным сердцезерцанием*, которое не следует смешивать с обычной мыслью; это есть, если угодно, «мысль», но в смысле *духовной медитации*; это есть «созерцание», но осуществляемое

не чувственными силами души, а *сердцем*, луч которого постигает, пленяется и «берет с собою».

Этот «духовный цветок» не есть субъективная выдумка или чисто личная химера художника. Он есть *реальность*, духовная сущность. Его можно было бы обозначить как *духовный «перво-образ»* или как *живой способ бытия*, как классическое, каждому человеку доступное *жизнесостояние*. Это жизнесостояние переживается самим художником, созерцается им и становится его *предметом*. Он находит его в Боге, в человеке или в природе вещей. Есть такие первообразные состояния, которые он находит *только в Боге* — напр., «совершенство», «несотворенность», «вечность», «благодать», «неисчерпаемая милость»; или — в Боге и в человеке: «любовь», «прощение», «доброта», «бессмертие»; или только в человеке, напр., «грех», «совесть», «молитва», «страстное борение», «искушение», «ненависть», «пошлость», «зависть», «преступление», «раскаяние»; или — в Боге, в человеке и в природе, напр., «свет», «покой», «творчество», «страдание»; или только в природе и в человеке, напр., «сон», «жажда», «засыхание», «расцветание», «отцветание», «наслаждение»... Все это может открываться художнику то статически, то динамически, то в великой простоте, то в чрезвычайной сложности, то в молчании, то в пении, то в единичности, то во множестве, то намеком, то бурей. Что именно из этих «первообразов» или «первичных состояний» художник увидит, чем он пленится, что выберет, — в этом он свободен. Но каждый такой «предмет» он должен подлинно пережить; он должен быть «взят им в плен»; он должен пройти через некую «одержимость», им, чтобы начать верно говорить *из него* и художественно показывать его. Такой духовный опыт отнюдь не является его «монополией»; он доступен каждому человеку, способному вообще к духосозерцанию: каждому наивному обывателю, в особенности же призванному художественному критику, который должен быть способен воспринимать каждое произведение искусства в его цельном составе и во всех его необходимых «слоях» и частях.

Согласно этому, каждое произведение искусства как бы хочет сказать человеку: «впусти меня в дух твоей души, переживи меня цельно, дай мне состояться в твоём внутреннем «пространстве», в твоей жизненной ткани; я пода-

рю тебе счастье, а может быть, и муку; я дам тебе углубление и озарение, постижение и очищение, видение и умудрение»... Или иначе: «возьми меня с собою, я несу тебе мудрость и просветление»... Или еще иначе: «здесь тебя ожидает новая духовная медитация, показанная в образах, прими ее и унеси ее в жизнь»... И человек, который действительно воспримет такое произведение искусства и промедитирует скрытую в нем медитацию, приобщится через его «материю» и через его «образы» к скрытому в них «духовному цветку».

Таков смысл подлинного искусства; в этом его сущность и призвание: оно призвано нести людям *истинный аромат духа*. Художник не призван «поучать» и «проповедовать»; он не смеет становиться тенденциозным и навязывать людям какую-нибудь доктрину. Он призван сам цвести среди цветов духа, естественно, непреднамеренно (*desin volto*), органически и с некой таинственной, легкой, побеждающей властностью; цвести и дарить людям подлинный, чудесный и очистительный аромат своих духовных цветов.

Так обретается *критерий художественности*: так узнается совершенное произведение искусства. Если выразить этот критерий в виде требования, то мы должны будем сказать:

Художник! Будь верен *законам эстетической материи*. Эти законы ты должен знать и соблюдать, а материей ты должен владеть вполне. Только тогда ты сумеешь точно и совершенно приспособить материю твоего произведения к требованиям эстетического образа и художественного предмета.

Будь верен также и *законам эстетического образа*. Ты должен верно постигнуть своеобразие этих «существ» и вполне овладеть ими. Только тогда ты сумеешь оформить весь хоровод созерцаемых и показываемых тобою образов — в строгом и выразительном соответствии с твоим основным замыслом, с твоей предметной медитацией, с ее духовным цветком...

А чтобы возыметь основной замысел, чтобы постигнуть художественный предмет, ты должен уйти в глубину сердечного созерцания и спросить из своего созерцающего сердца Бога, мир и человека о тайнах их бытия. Погрузись в эту духовную глубину, как в некое море, и вернись в нее

с жемчужиной. Затеряйся в блаженных пространствах духовного опыта и принеси оттуда самый лучший цветок. И соблюди в своем творчестве верность этой жемчужине или этому цветку. Только тогда ты узнаешь, как и чем живет «предметно одержимый» художник; только тогда ты сможешь создать адекватные предмету образы и точную эстетическую материю: давай необходимое и только необходимое! только предметно укорененное! и ничего лишнего, ничего чрезмерного! только такое, через которое светится и сияет сам первообраз предмета!

Вот правило, вот критерий художественно-совершенно-го искусства. И в будущем русский народ, пробужденный и очищенный посланными ему небывалыми страданиями, снова вступит на этот великий, классический путь своих великих художников и начнет опять создавать новое и прекрасное искусство.

10. БОРЬБА ЗА АКАДЕМИЮ

Одно из самых тяжелых и опасных наследий революции в России состоит в утрате истинного академического уровня. Высшие учебные заведения, и университеты в особенности, были с самого начала отданы в жертву вождениям и претензиям революционной среды. Их самостоятельность была осмеяна и попорана; отбор личных сил и выработка программ были изъяты из ведения ученых и переданы в руки неучей; и по мере того, как тоталитарное государство упрочивалось, вся академическая жизнь — исследование, преподавание, критика и оценка трудов, дух и направление познающей воли — все было подавлено, искажено и снижено. Академия была превращена в «техникум революции»; ученые были поставлены на колени, и наука в ее истинном значении должна была уйти в нелегальное подполье. Этому извращению и унижению придет однажды конец, и Россия восстановит свой академический дух и уровень.

Что же такое есть академия? В чем ее призвание? Чему должны служить ученые для того, чтобы уровень университета был на истинной высоте?

Академия есть *высшая ступень* в образовании и воспитании человека; и этим уже определяется ее сущность и

своеобразие. Ибо предшествующие ей ступени только готовят человека к последней и высшей.

Низшая школа научает человека чтению, писанию и пониманию прочтенного; она учит ребенка собирать свое внимание, овладевать своей памятью и сосредоточиваться в указанном направлении. Хороший наставник непременно позаботится еще и о том, чтобы пробудить в ребенке духовность его инстинкта — доброту, совесть, достоинство, религиозную веру, национальное чувство и правосознание...

Средняя школа учит человека усваивать указанный ему познавательный материал и технически владеть им: понимание должно стать активным размышлением, горизонт ребенка должен год от года становиться все шире, память должна укрепляться и обогащаться. Но авторитет преподавателя остается руководящим: от него исходят разъяснения, указания, уроки, задачи и упражнения. Преподаватель как бы становится между учеником и предметом в качестве посредника и рассказывает ему из предмета и о предмете столько, сколько он признает необходимым и посильным, проверяя внимание ученика, его память и усвоение. Он сообщает ученикам правила и приемы мышления, упражняет их в применении этих правил, исправляет их ошибки и дает им указания. Тем самым он как бы пробуждает и укрепляет («повивает») силу суждения у своих учеников, приучая ее к верной направленности и дисциплине, но оставляя ее до поры до времени в подчиненном состоянии. Талантливый преподаватель наверное позаботится еще и о том, чтобы пробудить в учениках интерес к своему предмету, зажечь в них любовь к нему и жажду познания; он вложит в преподавание столько искреннего огня, что ученики, сами того не замечая, начнут жить активной силой суждения — слагать свои собственные вкусы, воззрения и убеждения; а главное — укреплять и применять духовность своего инстинкта.

И все это составляет только подготовку к высшему образованию, к академии: там — все меняется.

Академия обращается не к ребенку и не к подростку, а к умственно созревшему человеку: она воспитывает его к *самостоятельному бытию и мышлению*. Конец школьным схемам, пассивно воспринимаемым трафаретам, обязательным приемам и непрерывному контролю! Начинается самодеятельность духа, познания и мысли... И к этой само-

деятельности должно вести академическое преподавание. Естественно, что на младших курсах эту самодеятельность надо будить и укреплять («повивать») — советами и разъяснениями, сообщением известных приемов и умений; но на старших курсах студент должен пытаться мыслить и познавать самостоятельно.

Этим академическое преподавание отличается от уроков гимназии по самому существу своему. Здесь совершается не наполнение памяти, не усвоение понятого и не только техническое упражнение мысли. Здесь дело идет об укреплении и углублении *силы суждения*; здесь сообщается умение *самостоятельно подходить к предмету, воспринимать его и исследовать*. И на этом должно сосредоточиваться академическое преподавание.

Ошибочно, слепо и печально поступают те профессора, которые и в университетах практикуют гимназический способ обучения, применяя его только к другим, более трудным и сложным содержаниям. У них академия просто не составляется и не осуществляется: они сами не переросли гимназию и в университете им, строго говоря, делать нечего. И академические экзамены совсем не призваны к тому, чтобы замучивать студенческую память и авторитетно контролировать навязанное мышление. Академия учит *предметной мысли и предметному исследованию*; и академический экзамен должен проверять не память, а силу суждения и умение ориентироваться в неисследованном и неизвестном...

Академия воспитывает человека к духовной и интеллектуальной *самостоятельности*, к *активному наблюдению и мышлению*, к *исследованию* и, значит, к *духовной свободе*. Подготовка заканчивается. Экзамен «зрелости» сдан и молодой человек «созрел». Теперь он может приступить к настоящему развитию своей силы суждения. Ему предстоит *непосредственная встреча с предметом*, творческое упражнение в самостоятельном испытывании и исследовании. И как хорошо, если он приобщился к начаткам этой самостоятельности еще в гимназии, если он вступает в академическую аудиторию как духовно заинтересованный, как ищущий самостоятельности человек...

То, что академия должна дать ему, есть именно *непосредственная встреча с предметом*, умение организовывать эту встречу и верно обходиться со своим объектом —

будь это материальный мир или душевное явление, математическая величина или функция, живое слово в филологии, трудно уловимое событие истории, верное испытанное право в юриспруденции или духовное обстояние в философии. Юный академик должен научиться самостоятельно и непосредственно *воспринимать* свой предмет, находить его, выделять его, переживать его, созерцать и исследовать. А опытный академик должен постараться передать ему это умение. Доцент университета призван становиться между слушателем и предметом именно для того, чтобы вызвать их верную жизненную встречу, чтобы показательно организовать это творческое восприятие и вслед за тем исключить себя и сомкнуть разлученное. Он как бы берет студента за руку и ведет его к *источнику*, чтобы показать ему, как этот источник в действительности выглядит, как его надо находить, как с ним обходиться и как надо *через источник доходить до самого предмета*; именно в силу этого так называемые «практические занятия» или «просеминарии» и «семинарии» имеют в университетском преподавании особенное значение, вводя студента в научную лабораторию.

Академическое мышление *начинает* с непосредственного опыта; академическое познание черпает из *источника*; академическое исследование есть самостоятельное переживание исследователя, ответственная борьба за истину, критическое толкование, упражнение (аскез) силы суждения, искусство доказывать и показывать. В этом слагается личное «воззрение» и «убеждение», выросшее из лично-пережитой очевидности. Академия должна сообщать человеку искусство *ответственного*, одинокого мышления — искусство *мыслить из самого предмета*, силу целостного созерцания (интуиции) и строгого аналитического наблюдения (индукции). *Беспочвенное* мышление есть злоупотребление мыслью, свойственное необразованности; *дедуктивное* мышление есть опасное орудие полуобразованности; и то, и другое должно быть преодолено. Академия не устанавливает «догматов»: она вопрошает, ищет и исследует; она не ставит запретов и не ведет к застою: она живет *динамически и творчески*, но ее динамика — *ответственна и осторожна*, она испытует, сомневается и проверяет.

Одним словом — академия осуществляет *«метод»*

и воспитывает к *«методу»*. Метод есть первоначально греческое слово; оно обозначает *путь к цели*; в познании — *борьбу за истину*. И академия есть именно *школа самостоятельной борьбы за истину*. Всю свою жизнь научный исследователь борется *с самим собой*, чтобы приобрести необходимую чистоту, зоркость и гибкость духа; *с предметом*, чтобы его испытать, увидеть и изобразить; *с языком*, чтобы верно овладеть им и приспособить его. Он борется из-за истины, чтобы действительно пережить ее, закрепить и выразить.

Этим сказано многое, может быть — все.

Теперь должно быть понятно, почему мы утверждаем, что академия воспитывает человека к *свободе*; ибо свобода есть *ответственная, творческая самостоятельность человека*. Но именно поэтому академия может существовать только в атмосфере свободы и творить только из свободы. Это не свобода произвола, и злоупотреблять ею нельзя. Это есть свобода от всяких посторонних требований, от всяких чужеродных науке ограничений, от всякого человеческого давления на совесть и на ум исследователя, от всякого политического и социального угодничества. Это есть внешняя свобода при внутренней связанности. Все внешние вмешательства отвергаются для того, чтобы можно было строго следовать требованиям предмета и исследовательской совести. Поэтому это есть освобождение от человеческих претензий, ради служения божественному делу совестного познания. Таков смысл академической свободы.

Вот почему академия вся целиком держится на *чувстве ответственности*; атмосфера, необходимая ей, есть атмосфера методически воспитанной, искренно-честной и совестно-проверенной *воли к истине*. Но надо признать, что и чувство ответственности, и воля к истине возникают не только и не просто из академического духа, но особенно *из духа живой религиозности*. Воспитывая человека в свободе и приучая его к внутренней дисциплине, воспитывая его к самостоятельности и приучая его к самопреодолению, академия требует от него победы над аутизмом*, над произволом и над тщеславием, и приобретения того

* Аутизм (от греч. αὐτός — сам) состоит в преобладании субъективно-личного произвола над духовно-предметным элементом жизни.

истинного *смирения*, которое присуще настоящему ученому.

Всю свою жизнь ученый стоит перед великою тайной видимого и невидимого мира, перед бесконечной глубиной и сложностью Богом созданного Предмета — и созерцает эту живую тайну и глубину и старается воспринять ее и исследовать. Чем выше и значительнее человеческий дух, тем больше его благоговение и его смирение. Чем пронизательнее его взор, тем искреннее его изумление, как на это указывал еще Аристотель; тем строже его суждение о самом себе, как это бывает у аскета. Настоящий академик знает *свои* пределы и пределы *своего знания*; и потому он не бывает заносчив и не страдает гордостью. Умный академик прекрасно знает, где начинается его «глупость», и никогда не считает себя умнейшим из людей. Он чувствует в себе *вечного студента*, который всегда будет знать недостаточно и которому только дано счастье расшифровывать Богом созданный мир, как некий Божий иероглиф, — пребывая всегда в борьбе и не надеясь исчерпать свой предмет.

Вот почему *тихое, созерцающее и глубокое благоговение* является истинным источником академического исследования. И это благоговейное преклонение перед Богом — созданной тайной мироздания, это изумление человека, испытующего Божии «следы» и «лучи» в мире, есть одна из благороднейших молитв, доступных человеку, *молитва благодарности и очевидности*, ничего не выпрашивающая и ни на что не жалующаяся. Такая молитва несет ученому свои лучшие дары: любовь к предмету, чающему исследования; волю к точной и полной истине; чувство ответственности за всякое утверждение и отрицание; душеочистительное смирение и аскез силы суждения. Поэтому при верном понимании дела академия не только не враждебна религии, но напротив, она представляет собою *одну из благороднейших форм религиозности* и творчество истинного ученого есть *тихое богослужение*. «Понятие» Бога не является объясняющей «гипотезой» в составе науки; но Дух Божий есть истинная и определяющая основа всех академических трудов и достижений.

Все великие ученые последних веков знали и открыто исповедовали это — и Коперник, и Бэкон, и Галилей, и Ньютон, и Кеплер, и Лейбниц, и Бойль, и Ломоносов, и

Либих, и фон Майер, и Дю-Буа-Реймон, и Фехнер, и Карлейль. Они выговаривали свое понимание с недвусмысленной ясностью и благоговением; и были в этом правы и безошибочны. Они искали и находили не видимость, *а сокровенную сущность*. А чтобы проникнуть до сущности, надо смотреть вглубь, туда, где пребывает живая тайна мироздания, — творчески задуманная Господом и заданная нам для творческого исследования. Настоящий исследователь касается этой тайны всегда с благоговением и, коснувшись, очень скоро убеждается в том, что умственное восприятие мироздания незаметно приводит человека к созерцанию Божества.

Вот почему академия, разучившаяся изумляться и благоговеть, растерявшая чувства любви и ответственности — неминуемо вырождается и перестает быть Академией. Она мертвеет, перестает творить и начинает служить духу разложения, снижения и гибели; ее «ученые» блуждают по поверхности явлений, «распыляют» и «склеивают», повторяют свои или чужие (предписанные им!) мертвые схемы, мыслят слепо, механизмируют свой собственный труд и теряют подлинный, живой предмет...

Такова академия, такова истинная сущность университета и всякой высшей школы как таковой (если она еще заслуживает своего имени): это есть *лаборатория испытующего и сомневающегося исследования, которое творится в духе религиозного созерцания*. Академия возникает из свободы, творит в свободе и воспитывает к свободе; и в то же время она стремится свободно уловить те высокие обязательства и те высшие необходимости, которым человек должен добровольно подчиниться ради предметного познания. Она исследует не для того, чтобы все разложить и разрушить, но для того, чтобы узреть подлинное, верно описать его и творчески созидать жизнеспособное. Она, конечно, есть школа мысли; но эта мысль насыщена любовью и волею: она наблюдает, созерцает и радостно постигает дело рук Божьих. Поэтому академия требует *всего* человека: а от него самого — требует *нравственного напряжения и религиозного подъема*: иначе он не коснется самого главного и заветного: тайны чувственных, нечувственных и сверхчувственных миров.

И первое, с чего всякая академия должна начать,

это преодоление всех извне навязанных и потому мертвых умственных схем и трафаретов: все они действуют на мысль, на совесть, на дух и на волю человека подобно *трупному яду*.

11. О ПАСТЫРСКОМ ПРИЗВАНИИ

Однажды, уже после изгнания, за рубежом ко мне обратился протестантский пастор с вопросом, как надлежит, по моему мнению, понимать пастырское призвание? После некоторых колебаний и размышлений я ответил ему следующим письмом.

Многоуважаемый господин Пастор!

Должен сознаться, что вопрос, поставленный в Вашем письме, привел меня в немалое затруднение. Сумею ли я, светский ученый, верно постигнуть и описать сущность пастырского призвания?

Я разделяю всей душой Вашу тревогу и заботу. Наше время предъявляет ко всем нам высокие и неотступные требования. Это время великих испытаний и каждому из нас необходимо проверить сущность и смысл своего призвания. Пробил час суда над собою, час духовного очищения и обновления. Наши поколения блуждают по неверным дорогам и опасным берегам: они утратили тот благодатный, но «узкий» путь, который был нам указан. Они должны одуматься и начать *религиозное обновление*. Они должны вновь воспламенить в себе тот «Огонь», который был принесен нам Спасителем (Лук. XII, 49). Кому нужна соль, потерявшая свою силу? Куда могут завести нас ослепшие вожди? Верьте, я разделяю Вашу священную тревогу и постоянно думаю о причинах современного религиозного оскудения...

Нам остается одно: начать неутомимую борьбу за религиозное очищение и обновление. Надо предвидеть, что это будет борьба *великого напряжения и долгого дыхания*. Мы должны вернуть себе *цельную веру*, в которой *сердце и разум, созерцание и воля* сольются в единый гимн, в такой гимн, чтобы на него отозвалась сущая *духовность нашего инстинкта*; чтобы он, обуздавши своего «волка», обновился в своем духовном зраке и приступил бы к новой жизни. Тогда будут найдены *новые творческие идеи* и нач-

нутся новые творческие дела, завещанные нам Евангелием. И сложится новая христианская культура.

И если не от христианского пастырства нам ждать этого религиозного очищения и обновления — то от кого же? И если христианское духовенство не найдет в себе силы, мудрости и искренности для этого подвига; — то куда же обратиться нам наши взоры?

Но именно поэтому, думается мне, было бы вернее и плодотворнее, если бы нашлись *духовные лица*, которые смогли бы и захотели бы произнести великие, руководящие слова о сем предмете из глубины данного им предметного опыта, — чтобы это были слова истинной жизни и истинного обновления... Я — светский человек, а светским людям не подобает притязательность в вопросах внутрицерковного строительства. Но раз что Вы желаете слышать мое суждение, то я отложу неуместную на сей раз воздержанность и попытаюсь дать Вам исповеднический ответ. Но для этого позвольте мне видоизменить Ваш вопрос так: *чего мы, православные христиане, ожидаем от наших пастырей?* с какими запросами мы идем к ним? чем они могут заслужить наше доверие и нашу любовь?

Не буду говорить о богословском образовании и о подготовке к духовному пастырству: это подразумевается само собою. Они должны знать Писание, и Предание, и все учения Церкви — лучше нас, и разуместь все это глубже нас, чтобы помогать нам в часы сомнения и в поисках разумения. Они должны также владеть душевно-духовным искусством пастыря, глубокочувствием и ясным взором духовника, проницательно разумеющего индивидуальную человеческую душу и способного указать ей в трудную минуту жизни верный путь. Эти познания необходимы, это искусство драгоценно; здесь не может быть двух мнений. Но мне кажется, что мы ожидаем от них большего; что для нас важнее всего — *истинный и живой евангельский дух*, тот дух, который свидетельствует нам о Христовой благодати. Я разумею: *молитвенную силу, любящее сердце и свободную, живую христианскую совесть...*

Что может дать человеку богословское наставление, протекающее из отвлеченного, сухого, логически умствующего рассудка, не созерцающего сердцем Христа Спасителя и не дающего нам увидеть Его? Какое значение имеет абстрактная «экзегеза»²² или дедуктивный аргумент

в созерцательных и молитвенных пространствах живой религиозности? Могут ли они дать религиозную очевидность душе, ищущей Божьего света и огня, чающей живого Бога? Сколько раз, слушая за границей беседы и проповеди инославного духовенства, я думал о том, как богато оно книжною образованностью и как скупое оно в дарах сердца и духа! Как чуждо это русской православной душе!

Поистине, нет лучшего религиозного научения, нет более действительного проповеднического служения, *как сила и искренность* личной молитвы. Ибо вера крепнет и распространяется не от логических аргументов, и не от усилий самонасилующейся воли, и не от повторения слов и формул, но от *живого восприятия Бога, от молитвенного огня, от очищения, подъема и просветления сердец, от живого созерцания, от реального восприятия Благодати.* Я полагаю, что очень многое зависит от способности священника *искренно и беззаветно молиться сердцем*, ибо если он способен к этому и если он молится так в своем уединении, то церковная его молитва будет зажигать, очищать и просветлять сердца его прихожан. Это пламя одинокой молитвы будет гореть и в его церковном богослужении, и в его проповеди, и в его жизненных делах. И мы, его прихожане, сразу почувствуем сердцем, что «Сам Дух» молится в нем «воздыханиями неизреченными» (Римл. VIII, 26) и что эти воздыхания передаются и нам по неизреченным путям.

Пастырь, коему присуща эта искренность и сила молитвы, является как бы «неопалимой купиной» в своем приходе: прихожане его, иногда сами того не замечая и не разумея, становятся соучастниками его молитвы — им передается теплота его веры; они приобщаются его духовному полету. Его поучения воспринимаются по-особому: не только умом, а сердцем, живую совестью и честною волею. Его беседы несомы творческим духовным опытом; они проникнуты живым христианским созерцанием; они идут из сердца и воспринимаются всею душою. И уже простая встреча с ним испытывается, как утешение и безмолвное ободрение.

А в основе этого лежит некий религиозный закон, согласно которому *глубина веры растет и крепнет в молитве*, ибо молитва есть *благодатное вознесение души к Богу*,

озаряющее, очищающее и удостоверяющее. Вот почему пастырь должен быть живым источником и живою *школою молитвы*.

Второе, что мы желаем найти в нем, — *это живое любящее сердце*. Ведь лучшее христианское благовествование и утешение проистекает из доброты и сердечного понимания. Пока человеческое чувство сохнет и глохнет в умственно-отвлеченных богословских построениях, пока ум холодно рассуждает и выносит приговоры, враждует в прениях и каменеет в ненависти — до тех пор человеку остается недоступным все откровение Господа Христа. Бессердечные люди не постигают в Евангелии самого главного: а поняв, не живут им и не осуществляют его. Черствая жадность делает человека слепым и глухим. «Реки воды живой» (Иоан. VII, 38) текут только для любящих людей: ибо любовь отверзает человеку зрение и слух — и для Христова откровения, и для жизни и страдания других людей.

Если священник имеет эту любовь, то она чувствуется и в его церковной молитве, слышится и в его проповеди, обнаруживается и в его делах. Кто беседует с ним или помогает ему, у того возникает особое ощущение: он чувствует, что воспринял от своего духовника нечто драгоценное, жизненно важное и ободряющее, что он испытал свет и теплоту духовного огня, что он почувствовал живую доброту, что он приблизился к тому, что разумел Христос, когда говорил о любви. Ибо живое сердце имеет запас доброты для всех: утешение для горящего, помощь для нуждающегося, совет для беспомощного, ласковое слово для всякого, добрую улыбку для цветов и для птичек. И простое обхождение с таким человеком становится незаметно живою *школою сердечного участия*, любовного такта, христианской мудрости. И все это прекрасно и благодатно, ибо истинный *духовник* есть носитель христианского духа, духа любви и сердечного созерцания.

И вот третье, чего мы ищем и ждем от нашего пастыря — это *свободная и творческая христианская совесть*. Эта совесть должна жить в нем, как самостоятельная и независимая сила, как критериальная мера добра и зла, мера, по которой мы могли бы проверять, выправлять и крепить нашу собственную совесть. Там, где мы беспомощно сомневаемся и колеблемся, он, как *мастер совести*,

должен видеть ясно и глубоко: где мы блуждаем и заблуждаемся, он должен знать и указывать нам прямую дорогу; где мы вопрошаем, он должен иметь ответ. Он должен поддерживать нас в искушениях и соблазнах, он должен быть нашей опорой в колебании и изнеможении. Он должен сразу прозревать, где есть нечестность, неискренность, измена; но при этом — хранить справедливость в суде и осуждении. Ибо совестный христианин не преувеличивает — ни в утверждении, ни в отрицании; его суждение исходит из предметно-видящего смирения, но произносится с мужеством и силою, ибо не он произносит его, а *предметный огонь в нем*. Нам нужен искренний и откровенный исповедник, ничем и ни в чем не подкупный, не алчный, бесстрашный пред сильными и свободный от властолюбия; нам нужен живой очаг христианской совести, с чистым пламенем и кротким светом.

Мы же сами должны обеспечить ему независимую и достойную жизнь: мы должны раз навсегда отрешить *требу от мзды*, чтобы погасить и в нас самих и в нашем пастыре идею о том, будто молитва «покупается» и благодать «продается»; чтобы не было торговли о святине, чтобы пастырь мог молиться свободно, не помышляя о прибыли, а прихожанин мог обращаться к нему за помощью, не учитывая своих средств и расходов. Благодать и деньги инородны друг другу: недостойно мерить Божье дело монетою, невозможно унижать своего пастыря нуждою и поборами. Дело Церкви есть дело духа, любви и совести, дело молитвы и созерцания; и прихожане должны снять со своего пастыря заботу о земном, обеспечивая ему необходимое и достойное.

Я выскажу Вам, многочтимый господин Пастор, мое глубокое убеждение, если признаюсь, что отношу все мною высказанное не только к нашим православным общинам, но и к общинам и священнослужителям *всех* христианских исповеданий. Я думаю, что всюду, где веет дух Христа, прихожане будут счастливы иметь в своем пастыре живой источник *молитвы, любви и христианской совести* и что сии три основы составляют драгоценнейшую и сильнейшую скрепу христианской Церкви вообще. Мне не кажется при этом, что высказанные мною ожидания слишком высоки и трудны в осуществлении, ибо дело священника, пастыря и духовника не есть обычная профессия, сходная

с другими, но требует *особого призвания и особых даров*. Эти дары даны не всякому: но тот, кому они не даны, не должен посягать на это звание. Здесь дело не столько в «умении», сколько во «вдохновении»; не столько в обрядовой словесности, сколько в живой полноте чувства (погречески «плéрома»); не в отбытии «требы», а в духе ее совершения. Пастырь, не знающий о требованиях «плéромы» и не укрепивший в них своего сердца — на чем утвердит он свою веру и молитву, как поведет он своих прихожан к Богу, чем наполнит он свой храм, как укрепит он свой приход? Спрашиваю и не нахожу ответа...

Простите же мне мое откровенное письмо. Бывают времена, когда полуправда становится недопустимой и непростительной. Я не мог и не смел ограничиться ею, но, высказывая здесь высказанное, я все время имел живое чувство, что самое время, нами переживаемое, время страшное, болезненное и мучительное, диктует мне свои требования и ожидания. И я глубоко благодарен Вам за то, что Ваш вопрос дал мне возможность облегчить мое сердце изложением этих ожиданий и требований.

С истинным почтением

(Подпись).

12. О ПРИЗВАНИИ ВРАЧА

В былые годы вся наша семья в Москве лечилась у врача, которого мы все любили, как лучшего друга. Мы питали к нему безграничное доверие, и все-таки, как я вижу теперь, мы недостаточно его ценили... В дальнейшем тяжкая судьба, растерзавшая Россию, разлучила и нас с ним; и жизнь дала мне новый опыт в других странах. И вот, чем дальше уходило прошлое и чем богаче и разнообразнее становился мой жизненный опыт пациента, тем более я научался ценить нашего старого друга, тем более он вырос в моих глазах. Он лечил своих пациентов иначе, чем иностранные доктора, лучше, зорче, глубже, ласковее... и всегда с бóльшим успехом. И однажды, когда меня посетила болезнь, особенно длительная и с виду «безнадежная», я написал ему и высказал ему то, что лежало на сердце. Я не только «жаловался» и не только «вспомни-

нал» его с чувством благодарности и преклонения, но я ставил ему также вопросы. Я спрашивал его, в чем состоит тот способ диагноза и лечения, который он применяет? И что этот способ присущ ему, как личная особенность (талант, умение, опыт?), или же это есть зрелый терапевтический метод? И если это есть метод, то в чем именно он состоит? Можно ли его закрепить, формулировать и сохранить для будущих поколений? Потому что «метод» означает «верный путь», а кто раз открыл верный путь, тот должен указать его другим.

Только через несколько месяцев получил я от него ответ: но этот ответ был драгоценным документом, который надо было непременно сохранить. Это было своего рода человеческое и врачебное «credo», исповедание веры, начертанное благородным и замечательным человеком. При этом он просил меня,— в случае, если я его переживу,— опубликовать это письмо, не упоминая его имени. И вот я исполняю ныне его просьбу, как желание покойного друга, и предаю его письмо гласности. Он писал мне.

«Милый друг! Ваше вопрошающее письмо было для меня сущею радостью. И я считаю своим долгом ответить на него. Но скажу откровенно: это было нелегко. Я уже стар и времени у меня, как всегда, немного. Отсюда эта задержка; но я надеюсь, что вы простите мне ее. У меня иногда бывает чувство, что я действительно мог бы сказать кое-что о сущности врачебной практики. Но нет спасения во многоглаголании... А отец мой всегда говаривал мне: «уловил, понял — так скажи кратко: а не можешь кратко, так помолчи еще немножко!»...

Однако обратимся к делу.

То, что Вы так любезно обозначили, как мою «личную врачебную особенность», по моему мнению, входит в самую сущность практической медицины. Во всяком случае, этот способ лечения соответствует *прочной и сознательной русской медицинской традиции*.

Согласно этой традиции, деятельность врача есть дело *служения*, а не дело дохода; а в обхождении с больными — это есть *необобщающее, а индивидуализирующее* рассмотрение и в диагнозе мы призваны не к отвлеченной «конструкции» болезни, а к *созерцанию ее своеобразия*. Врачебная присяга, которую приносили все русские врачи и которую мы все обязаны русскому Православию, произ-

носила у нас с полною и благоговейною серьезностью (даже и неверующими людьми): врач обязывался к самоотверженному служению, он обещал быть человеколюбивым и готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым; он обязывался безотказно являться на зов, по совести помогать каждому страдающему; а XIII том Свода Законов (ст. 89, 132, 149 и др.) вводил его гонорар в скромную меру и ставил его под контроль.

Но этим еще не сказано самое важное, главное — то, что молчаливо предполагалось, как несомненное. Именно — *любовь*. Служение врача есть служение *любви и со-страдания*: он призван любовно обходиться с больным. Если этого нет, то нет главного двигателя, нет «*души*» и «*сердца*». Тогда все вырождается и врачебная практика становится отвлеченным «подведением» больного под абстрактные понятия *болезни* (*morbis*) и *лекарства* (*medicamentum*). Но на самом деле пациент совсем не есть отвлеченное понятие, состоящее из абстрактных симптомов: он есть *живое существо, душевно-духовное и страдающее*; он совсем *индивидуален* по своему телесно-душевному составу и совсем *своеобразен* по своей болезни. Именно таким должен врач *увидеть* его, постигнуть и лечить. Именно к этому зовет нас наша врачебная совесть. Именно таким мы должны полюбить его, как *страдающего и зовущего брата*.

Милый друг, это не преувеличение и не парадокс, когда я утверждаю, что мы должны любить наших пациентов. Я всегда чувствую, что если пациент мне противен и вызывает во мне не сострадание, а отвращение, то мне не удастся *вчувствоваться* в его личность и я не могу лечить его как следует. Это отвращение я непременно должен преодолеть. Я должен *почувствовать* моего пациента, мне надо добраться до него и *принять его в себя*. Мне надо, так сказать, взять его за руку, войти с ним вместе в его «жизненный дом» и вызвать в нем *творческий, целительный подъем сил*. Но если мне это удалось, то вот — я уже полюбил его. А там, где мне это не удавалось, там все лечение шло неверно и криво.

Лечение, целение есть совместное дело врача и самого пациента. В каждом индивидуальном случае должно быть создано некое врачебно-целебное «мы»: он и я, я и он, мы

вместе и сообща должны вести его лечение. А создать это возможно *только при взаимной симпатии*. Психиатры и невропатологи наших дней признали это теперь, как несомненное. При этом пациент, страдающий, теряющий силы, не понимающий своей болезни, зовет меня на помощь; первое, что ему от меня нужно, это сочувствие, симпатия, вчувствование — а это и есть живая любовь. А мне необходим с его стороны откровенный рассказ и в описании болезни, и в анамнезе, мне нужна его откровенность; я ищу его доверия. — и не только в том, что я «знаю», «понимаю», «помогу», но особенно в том, что я *чую его болезнь и его душу*. А это и есть его любовь ко мне, которую я должен заслужить и приобрести. Он будет мне тем легче и тем больше доверять, чем живее в нем будет ощущение, что я действительно принимаю бремя его болезни, разделяю его опасения и его надежды и решил сделать *все*, чтобы выручить его. Врач, не любящий своих пациентов... что он такое? Холодный доктринер, любопытный расспрашиватель, шпион симптомов, рецептурный автомат... А врач, которого пациенты не любят, к которому они не питают доверия, он похож на «паломника», которого не пускают в святилище, или на полководца, которому надо штурмовать совершенно неприступную крепость...

Это первое. А затем мне нужно прежде всего установить, что пациент *действительно болен* и действительно *желает выздороветь*: ибо бывают кажущиеся пациенты, мнимые больные, наслаждающиеся своею «болезнью», которых надо лечить совсем по-иному. Надо установить как бесспорное, что он *страдает и хочет освободиться* от своего страдания. Он должен быть готов и способен к *самоисцелению*. Мне придется, значит, обратиться к его внутреннему, сокровенному «самоврачу», разбудить его, войти с ним в творческий контакт, закрепить эту связь и помочь ему стать активным. Потому что в конечном счете всякое лечение есть *самолечение* человека и всякое здоровье есть самостоятельное равновесие, поддерживаемое инстинктом и всем организмом в его совокупности...

Да, каждый из нас имеет своего личного «самоврача», который чует свои опасности и недуги, и молча, ни слова не говоря, втайне принимает необходимые меры: то гонит на прогулку, то закупоривает кровоточащую рану, то гасит аппетит (когда нужна диета), то посылает неожиданный

сон, то прекращает перенапряженную работу мигренью. Но есть люди, у которых этот таинственный «самоврач» находится в загоне и пренебрежении: они живут не инстинктом, а рассудком, произволом или же дурными страстями — и не слушают его, и перестают воспринимать его тихие, мудрые указания; а он в них прозябает в каком-то странном биологическом бессилии, исключенный, загнанный, пренебреженный...

Без творческого контакта с этой самоцелительной силой организма можно только прописывать человеку полезные яды и устранять кое-какие легкие симптомы; но пути к истинному выздоровлению — не найти. Настоящее здоровье есть *творческая функция инстинкта самосохранения*; в нем сразу проявляется — и воля, и искусство, и непрерывное действие индивидуального «самоврача». А контакт с этим врачом добывается именно через вчувствование, через верные советы, через оптимистическое ободрение больного и ласковую суггестию (своего рода «наводящее внушение»).

Отсюда уже ясно, что каждое лечение есть *совершенно индивидуальный процесс*. На свете нет одинаковых людей; идеи равенства есть пустая и вредная выдумка. Ни один врач никогда не имел дела с двумя одинаковыми пациентами или тем более с двумя одинаковыми болезнями. Каждый пациент единственен в своем роде и неповторим. Мало того: на самом деле нет таких «болезней», о которых говорят учебники и обыватели: есть только *больные люди* и каждый из них болеет по-своему. Все нефритики — различны; все ревматики — своеобразны; ни один невратеник не подобен другому. Это только в учебниках говорится о «болезнях» вообще и «симптомах» вообще; в действительной жизни есть только «больные в частности», т. е. индивидуальные организмы (утратившие свое равновесие) и страдающие люди. Поэтому мы, врачи, призваны увидеть каждого пациента в его индивидуальности и во всем его своеобразии и постоянно созерцать его, как некий «уникум».

Это значит, что я должен создать в себе — наблюдением и мыслящим воображением — *для каждого пациента как бы особый «препарат», особый своеобразный «облик» его организма, верную «имаго»²³ страдающего брата. Я должен созерцать и объяснять его состояния, страдания*

и симптомы через этот «облик», я должен исходить из него в моих суждениях и всегда быть готовым внести в него необходимые поправки, дополнения и уточнения. Мне кажется, что этот процесс имеет в себе нечто *художественное*, что в нем есть эстетическое творчество; мне кажется, что хороший врач должен стать до известной степени «художником» своих пациентов, что мы, врачи, должны постоянно заботиться о том, чтобы наше восприятие пациентов было достаточно тонко и точно. Нам задано «вчувствование», созерцающее «отождествление» с нашими пациентами: и это дело не может быть заменено ни отвлеченным мышлением, ни конструктивным фантазированием.

Каждый больной подобен некоему «живому острову». Этот остров имеет свою историю и свою «предысторию». Эта история не совпадает с анамнезом пациента, т. е. с тем, что ему удается вспомнить о себе и рассказать из своего прошлого; всякий анамнез имеет свои естественные границы, он обрывается, становится неточен и проблематичен даже тогда, когда пациент *вполне* откровенен (что бывает редко) и когда он обладает хорошей памятью. Поэтому материал, доставленный анамнезом, должен быть подтвержден и пополнен из сведений, познаний, наблюдений и созерцания самого врача. Он должен совершить это посредством осторожного предположительного выспрашивания и внутреннего созерцания, но непременно в глубоком и осторожном молчании («про себя»). Так называемая «история болезни» (*historia morbi*) есть на самом деле не что иное, как вся жизненная история самого пациента. Я должен увидеть больного *из его прошлого*; если это мне удастся, то я имею шанс найти ключ к его *настоящей* болезни и отыскать дверь к его *будущему* здоровью. Тогда его наличная болезнь предстанет предо мною, как низшая точка его жизни, от которой может начаться подъем к выздоровлению.

Человеческий организм, как живая индивидуальность, есть таинственная система *самоподдержания, самопитания, самообновления* — некая целокупность, в которой все принадлежит и друг друга поддерживает. Поэтому мы не должны ограничиваться одними симптомами и ориентироваться по ним. Симптомы, с виду одинаковые, могут иметь различное происхождение и совершенно различное значение в целостной жизни организма. Симптом

является лишь поверхностным исходным пунктом; он дает исследователю лишь дверь, как бы вход в шахту. Он должен быть поставлен в контекст индивидуального организма, чтобы осветить его и чтобы быть освещенным из него.

Как часто я думал в жизни о том, что филологи, рассматривающие слово в отвлечении, в его абстрактной форме, в отрыве от его смысла, как пустой звук,— убивают и теряют свой предмет. И подобно этому обстоит у нас, у врачей. *Все живет в контексте* этого индивидуального, Богом созданного, органически-художественного сцепления, в живом контексте *этой* человеческой личности, с ее индивидуальным наследственным бременем, с ее субъективным прошлым, настоящим и органическим окружением. Сравнительная анатомия учит нас строить в синтетическом созерцании — по *одной* кости весь организм. Врачебный диагноз требует от нас, чтобы мы по одному верно наблюдаемому симптому — ощупью и чутьем, исследуя и созерцая, постепенно — построили всю индивидуальную систему дыхания, питания, кровообращения, рефлексов, внутренней секреции, нервного тонуса и повседневной жизни нашего пациента. Это органическое созерцание мы должны все время достраивать и исправлять на ходу всевозможными приемами: испытующими вопросами, которые ставятся мимоходом, без особого подчеркивания и отнюдь не пугают больного молчаливыми наблюдениями за его с виду незначительными проявлениями, движениями и высказываниями, молчаливыми прогнозами, о которых больной не должен подозревать, осмыслением его походки, анализом его крови и других выделений и т. д. Все это невозможно без вчувствования, и вчувствование невозможно без любви. Все это доступно только художественному созерцанию. И практикующий врач поистине может быть сопоставлен с «идиографическим» историком, исследующим одно, единственное в своем роде и его особенно заинтересовавшее «историческое явление».

Человек, вообще говоря, становится «тем», что он *ежедневно* делает или чего не делает. Пусть он только попробует прекратить необходимое ему движение или целительный сон — и из этих упущенных им «невесомостей» каждого дня у него скоро возникнет болезнь. Напротив, если он ежедневно хотя бы понемногу будет грести веслами или если он научится засыпать хотя бы на пять минут

среди повседневной суеты, — то он скоро приобретет себе при помощи этих ежедневных оздоравливающих упражнений некий запас здоровья.

Поэтому здоровая, гигиеничная «программа дня», могущая постепенно восстановить утраченное равновесие организма, обещает каждому из нас исцеление и здоровье. Настоящее врачевание не просто старается *устранить* лекарствами известные неприятные и болезненные симптомы, нет, оно *побуждает организм, чтобы он сам преодолел эти симптомы и больше не воспроизводил их*. И точно так же дело не только в том, чтобы отвести смертельную опасность, но в том, чтобы выработать *индивидуально верный образ жизни* и научить пациента *наслаждаться им*. Эти слова точно передают главную мысль: настоящее «лекарство» — не горько, а сладостно, оно изобретается врачом для данного пациента, в особицу, и притом изобретается совместно с пациентом, оно должно вызвать у пациента жажду жизни, дать ему жизнерадостность и поднять на высоту его творческие силы. Здоровье есть равновесие и наслаждение. Лечение есть путь, ведущий от страдания к радости.

Есть поговорка: «подбирай не Сеньку по шапке, а шапку по Сеньке». Это и для всякой одежды и обуви. Это применимо и к лекарствам и к образу жизни. Нет всеисцеляющих средств; «панацея» есть вредная иллюзия. Нет такого «впрыскивания» и нет такого образа жизни, которые были бы всем на пользу. Если врач изобретает новое средство или новый образ жизни (напр., режим Кнейпа²⁴, или вегетарианство) и начинает применять его у всех пациентов — настаивая, экспериментируя, внушая и триумфируя — то он поступает нелепо и вредно. Я называю такое лечение «прокрустовым врачеванием», памятуя о легендарном разбойнике, укладывавшем всех людей на одну и ту же кровать: длинному человеку он обрубал «излишки», короткого он вытягивал до «нужной» мерки. Такие врачи всегда встречались, они попадают и теперь. Такой врач «любит» тех пациентов, которым его новое средство «помогает» — ибо они угождают его тщеславию и доходулюбию, а к тем, которым его мнимая «панацея» не помогает, он относится холодно, грубо или даже враждебно.

Утверждая все это, я совсем не отрекаюсь от всех

наших лабораторий, анализов, просвечиваний, рентгеновских снимков, от наших измерений и подсчетов. Но все эти арифметические и механические подсобные средства нашей практики получают свое настоящее значение от верного применения: все это только начальные буквы нашего врачебного текста, это естественно научная азбука наших диагнозов, но отнюдь еще не самый диагноз. Диагноз осуществляется в живом художественно-любовном созерцании страдающего брата, и врачебная практика есть индивидуально-примененное исследование, отыскивающее тот путь, который восстановил бы в нем утраченное им органическое равновесие.

Но это еще не все. Горе тому из нас, кто упустит в лечении *духовную проблематику* своего пациента и не сумеет считаться с нею! Врач и пациент суть духовные существа, которые должны совместно направить судьбу страдающего духовного человека. Только при таком понимании они найдут верную дорогу. Человек не гриб и не лягушка: энергия его телесного организма, его «соматического Я», дана ему для того, чтобы он тратил и сжигал его вещественные запасы *в духовной работе*. И вот есть люди, которые сжигают *слишком много* своей энергии и своих веществ в духовной работе — от этого страдают, и есть другие люди, которые пытаются истратить *весь запас* своих телесных сил и веществ — *через тело*, духом же пренебрегают — и от этого терпят крушение. Есть болезни воздержания (аскеза) и болезни разнуздания (перетраты). Есть болезни пренебреженного и потому истощаемого тела; и есть болезни пренебреженного и потому немощного духа. Врач должен все это установить, взвесить и найти индивидуально-верное решение, и притом так, чтобы пациент этого не заметил. Нельзя лечить тело, не считаясь с душой и духом, но дух очень часто и знать не желает о том, что его «лечат»... Поэтому каждый из нас, врачей, должен иметь доступ ко многим тонкостям душевных болезней, всегда иметь при себе «очки» нервного врача и применять их осторожно и молчаливо...

Только на этом пути мы можем осуществить синтетическое, творчески живое диагностическое созерцание и врачевание. Только так мы постигнем страдание нашего пациента в его органической целокупности и сумеем верно облегчить его таинственную болезнь.

Милый друг! Я бы хотел вручить Вам эти отрывочные замечания как своего рода «исповедание» старого русского врача. Это не мои выдумки. Я только всю жизнь применял эти правила и теперь выговорил их. Они укоренены в традициях русской духовной и медицинской культуры и должны быть переданы по возможности новым подрастающим поколениям русских врачей. А так как я наверное завершу мой земной путь раньше Вас, то прошу Вас об одолжении: сохраните мое письмо и опубликуйте его после моей смерти там и тогда, когда Вы признаете это целесообразным. Но не называйте при этом моего имени, потому что, правда же, дело не в имени, а в культурной традиции русского врача. Да и времена теперь такие, что всякое неосторожно названное имя может погубить кого-нибудь».

Письмо заканчивалось дружеским приветом и полной подписью. А мне оставалось только исполнить просьбу моего старого друга, что я ныне и делаю.

13. О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСПЕХЕ

(Забывтые аксиомы)

Самые опасные предрассудки это те, которые замалчиваются и не выговариваются. Так обстоит особенно в политике, где предрассудки цветут буйно и неискоренимо. И вот первый политический предрассудок должен быть формулирован так:

«Что такое политика — известно каждому, тут не о чем разговаривать»...

«Известно каждому»... Но откуда же это ему известно? Откуда приходит к людям верное понимание всего того тонкого, сложного и судьбоносного, что таит в себе политика? Что же, это правильное постижение присуще людям «от природы»? Или, может быть, оно дается им во сне? Откуда этот предрассудок, будто каждому человеку «само собой понятно» все то, что открывается только глубокому, дальнозоркому и благородному духу? Не из этого ли предрассудка вырос современный политический кризис? Недаром человечество постепенно приходит к тому убеждению, что наш век есть эпоха величайших политических неудач, известных в мировой истории. И может быть, уже

пора извлечь уроки из этих неудач и подумать о новых путях, ведущих к спасению...

Было бы необычайно интересно и поучительно проследить через всю историю человечества и установить, какие данные, какие предпосылки ведут к *настоящему политическому успеху* и что надо делать, чтобы добиться в жизни такого подлинного политического успеха? В этой области человеческий опыт чрезвычайно богат и поучителен — от древности до наших дней... *Кто*, собственно говоря, имел политический успех? Какими путями он шел к нему? Кто, наоборот, терпел крушение и почему? И в конце концов, что же такое есть «политический успех» и в чем он состоит?

Установим прежде всего, что в неопределенной и легко вырождающейся сфере «политики» отдельные люди и целые партии могут иметь *кажущийся успех*, который в действительности будет фатальным политическим *провалом*. Люди, слишком часто говоря о политике, разумеют всякие дела, хлопоты и интриги, которые помогают им *захватить государственную власть*, не останавливаясь ни перед какими подходящими средствами, фокусами, подлостями и преступлениями. Люди думают, что все, что делается *ради государственной власти, из-за нее, вокруг нее и от ее лица*, — что все это «политика», совершенно независимо от того, каково *содержание*, какова *цель* и какова *ценность* этих деяний. Самая коварная интрига, самое отвратительное преступление, самое гнусное правление является с этой точки зрения «политикой», если только тут замешана государственная власть.

Так, история знает людей и партии, которые делали свою скверную и преступную политику, нисколько не заботясь и даже не помышляя об *истинных* целях и задачах государства, о политическом общении, о благе народа в целом, о судьбах нации, о родине и об ее духовной культуре. Они искали *власти*, они желали *править и повелевать*. Иногда они совсем даже не знали, что они будут делать после захвата власти. Иногда они открыто выговаривали, что они преследуют интересы одного-единственного класса и ничего не желают знать о народе в целом или об отечестве. Они бывали готовы жертвовать народом, родиной, ее свободой и культурой — во имя захвата власти и во имя классового злоупотребления ею. Иногда же они обманно

прикрывались «социальной программой» с тем, чтобы после захвата власти творить свои собственные желания, вождения и интересы... История знает множество авантюристов, честолюбцев, хищников и *преступников*, овладевших государственной властью и злоупотреблявших ею. Нужно быть совсем слепым и наивным, чтобы причислять эти разбойничьи дела к тому, что мы называем *Политикой*.

Когда мы видим в древней Греции в эпоху Пелопонесской войны, как люди высшего класса связываются такими обязательствами: «Клянусь, что я буду вечным врагом народа и что сделаю ему столько зла, сколько смогу» (см. у Аристотеля и Плутарха), то мы отказываемся признать это «политической деятельностью»... Когда в той же Греции властью овладевают повсюду честолюбивые, жадные и легкомысленные тираны, то это не Политика, а *гибель политики*. Когда в Милете демократы, захватив власть, забирают детей богатого сословия и бросают их под ноги быкам, а аристократы, вернувшись к власти, собирают детей бедного сословия, обмазывают их смолой и сожигают живыми (см. у Гераклида Понтийского)²⁵, то это не Политика, а ряд *позорных злодеяний*.

Когда мы изучаем историю таких римских «цезарей», как Тиберий, Калигула, Нерон, Вителлий, Домициан, то мы чувствуем, что задыхаемся от отвращения ко всем их низостям и жестокостям, к их разврату и злодейству — и *нет* тех аргументов, которые заставили бы нас признать их деятельность «политической» и «государственной»: она остается *криминальной и развратной*.

Когда в Италии в XV веке воцаряются тираны, — почти в каждом городе свой, — то их злодеяния можно называть «политикой» только по недоразумению. Нет того вероломства, нет той жестокости, нет того ограбления, нет того кощунства, которого бы они не совершали; нет той противоестественности, перед которой они останавливались бы. Такие имена, как Галеаццо Мария Сфорца, Ферранте Аррагонский, Филипп Мария Висконти, Сигизмунд Малатеста, Эверсо д'Ангвиллари²⁶ — должны найти себе место в истории *мировых преступников*, а не в истории Политики. Ибо политика имеет свои здоровые основы, свои благородные, духовные аксиомы, — и тот, кто их попирает, причисляет сам себя к *злодеям*.

Робеспьер, Катон и Марат были не политические деятели, а палачи. Тоталитарные деспоты и террористы наших дней позорят политику и злоупотребляют государством; им место среди параноиков, прогрессивных паралитиков и преступников, а не среди политических правителей.

И вот если такие люди «имели успех», если им удалось захватить в государстве власть и осуществить в своей жизни торжество произвола и своекорыстия, то это означает, что они «преуспели» в своей *частной жизни*, на горе народу и стране, а сам народ переживал *эпоху бедствий и унижений*, может быть, прямую *политическую катастрофу*. С *формальной* точки зрения их житейская борьба и их карьера имела «политический» характер, потому что они добивались государственной власти и захватывали ее. Но *по существу дела* их деятельность была *антиполитической и противогосударственной*. Как авантюристы и карьеристы — они «преуспевали», но как «политики» они осуществляли *позорный провал*, ибо они губили свой народ в нужде, страхе и унижениях. Их «орудие» — государственный аппарат — имело политический смысл и государственное значение: но их цель попирала всякий политический смысл и последствия их дел были государственно-разрушительны. Тот *путь*, которым они шли, казался им, а может быть и народной массе — «политическим», но то, что они делали, и способ их деятельности, и создаваемое ими — все это было на самом деле противогосударственно, противообщественно, праворазрушительно, антиполитично и губительно: источник несправедливостей, бесчисленных страданий, ненависти, убийств, развала и разложения.

Все это означает, что *Политику нельзя рассматривать формально и расценивать по внешней видимости*. Она не есть дикая скачка авантюристов; она не есть погоня преступников за властью. Есть основное и общее правило, согласно которому никакая человеческая деятельность не определяется теми *средствами* или *орудиями*, которые она пускает в ход, — ни медицина, ни искусство, ни хозяйство, ни политика. Все определяется и решается тою *высшею и предметною жизненной целью*, которой призваны служить эти средства. Государственная власть есть лишь средство и орудие, призванное служить некоей высшей цели; и не более того. Дело определяется тем великим, содержательным заданием, которому государственная власть призвана

служить и *в действительности служит*. Политика не есть пустая «форма» или внешний способ, она зависит от цели и задания, так что цель определяет и *форму власти* и способ ее осуществления. Политика есть сразу: *и содержание* и форма. И поэтому истинный *политический успех* состоит не в том, чтобы завладеть государственной властью, но в том, чтобы *верно ее построить и направить ее к верной и высокой цели*.

Итак, надо различать *истинный политический успех* и *мнимый*. Частный, личный жизненный «успех» тирана есть *мнимый успех*. *Истинный успех* есть публичный успех и расцвет народной жизни. И если кто-нибудь удовлетворяется устройством своей личной карьеры и пренебрегает благополучием народа и расцветом его национальной жизни, то он является *предателем своего народа и государственным преступником*.

Итак, что же есть *истинная политика*?

Политика есть прежде всего *служение* — не «карьера», не личный жизненный путь, не удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает или не приемлет, тот не способен к истинной политике: он может только извратить ее, опошлить и сделать из нее карикатуру или преступление. И пусть не говорят нам, что «большинство» современных политиков смотрит на дело «иначе»: если это так, то все беды, опасности и гнусности современной «политики» объясняются именно этим.

Служение предполагает в человеке *повышенное чувство ответственности* и способность *забывать о своем личном «успехе-неуспехе»* перед лицом Дела.

Истинное политическое служение имеет в виду не отдельные группы и не самостоятельные классы, но *весь народ в целом*. Политика по существу своему не раскалывает людей и не разжигает их страсти, чтобы бросить их друг на друга; напротив, она *объединяет людей* на том, что *им всем общее*. Народная жизнь *органична*: каждая часть нуждается в остальных и служит им; ни одна часть не может и не смеет подавлять остальные, используя их безответственно. Каждый из нас заинтересован самым реальным образом в благополучии каждого из своих сограждан; один бедствующий без помощи ставит всех в положение черствых предателей; один нищий есть угроза всем; один заболевший чумою заразит всех; и каждый сумасшедший,

каждый запойный пьяница, каждый морфинист есть общая опасность. Поэтому истинная политика утверждает *органическую солидарность всех со всеми*. И поэтому истинный политический успех доступен только тому, кто живет *органическим созерцанием и мышлением*.

Такая программа *всеобщей органической солидарности* ясна далеко не всем, и чем более человек духовно близорук и своекорыстен, тем менее она ему доступна. История знает бесчисленное множество живых примеров того, что массы совсем не желали настоящей политики и соответствующей ей программы, а валили за антиполитическими и противогосударственными предложениями демагогов. В XIX веке такую разрушительную практику, такой *политический разврат* формулировал и провозгласил Карл Маркс с его классовой партией и программой...

Но мудрые и верные отнюдь не должны соблазняться этим: они должны блюсти *свое* понимание и *свою* программу даже тогда, если это грозит им изоляцией и преследованиями. Надо иметь достаточно *гражданского мужества*, чтобы справиться и с изоляцией, чтобы принять и преследование, иными словами, чтобы примириться со своим *личным политическим неуспехом*. Надо быть уверенным, что придет иное время, придут иные, отрезвленные и умудренные поколения, которые признают этот кажущийся политический «провал» за *истинный политический успех* и найдут настоящие верные слова для осуждения политического разврата.

Но если настоящий политик встретит сочувствие у своих современников, тогда он должен вести борьбу и попытаться увлечь на верный путь широкие круги народа. Ибо *политика есть искусство объединять людей* — приводить к одному знаменателю многоголовые и разнообразные желания. Здесь дело не в том, чтобы люди «сговорились друг с другом на чем угодно», ибо они могут согласиться и на антиполитической программе и на противогосударственных основах: сговариваются ведь и разбойники, и экспроприаторы, и террористы, и детопоккупатели... Нужно *политическое* единение, политическое и по форме, и по содержанию: лояльное, правовое, свободное по форме и общенародное, справедливое, органическое и зиждущее по содержанию. И в этом состоит задача истинной политики.

Поэтому политика есть *волевое искусство* — искусство

социального воления. Надо организовать и верно выразить *единую всенародную волю*, и притом так, чтобы это единение не растратило по дороге *силу* совокупного решения. Ибо история знает множество примеров, где «единение» с виду удавалось, но на самом деле уже не имело за собою *реальной волевой силы*: попутно делалось так много «нежелательных уступок», заключались направо и налево такие неискренние, лукавые «компромиссы», что люди охладели и только притворялись «согласными»; на самом же деле никто уже не хотел — ни единения, ни его программы, и когда начиналось строительство, то все рушилось, как карточный дом. Вот почему политика есть искусство *совместного и решительного воления*: безвольная политика есть недоразумение или предательство, всегда источник разочарования и бедствий.

Отсюда вытекает, что политика нуждается в *свободной и необманной* (искренней) воле. Истинное единение покоится на *добровольном согласии*: люди должны объединяться не по принуждению, не из страха, не по лукавству и не для взаимного обмана. Чем меньше интриги в политике, тем она здоровее, глубже и продуктивнее. Комплот обманщиков, провокаторов, диверсантов, словом — людей бесчестных и безответственных никогда не создаст ни здорового государства, ни верной политики. Чем больше в политике конспирации, тем больше в ней лжи и обмана. Чем сильнее влияние таинственной и двусмысленной закулисы, тем больше лжи, предательства, своекорыстия будет в политической атмосфере. Нельзя объединить и согласить *всех*, это не удастся никогда. Надо объединить лучших, умнейших, способных к ответственному служению, не связанных никакими закулисными «приказами» и «запретами», а это объединение должно позвать за собой разумное большинство общества и народа. И при этом надо всегда помнить, что это «большинство» неспособно *творить и создавать, созерцать и строить политику*: оно способно только *отзываться* на идею и *поддерживать* программу. Всегда все значительные и великие реформы *вынашивались инициативным меньшинством* и им же проводились в жизнь, а большинство только соглашалось, участвовало и подчинялось. Это отнюдь не означает призыва к тоталитарному строю, самому больному, извращенному и унижительному из всех политических режимов. Но это оз-

начает призыв — *не переоценивать голос массы в политике, ибо масса не живет органическим созерцанием и мышлением, доступным только лучшему меньшинству*, которое и призвано осуществлять его и вовлекать в него массу доказыванием и показыванием...

Для того, чтобы создать это единение, *лучшие люди* народа (т. е. именно те, которые хотят и могут служить общей органической солидарности) должны договориться и согласиться друг с другом, крепко сомкнуть свои ряды и затем приступить к объединению народа. Если лучшие политики страны этого не сделают, то это дело будет вырвано у них *противогосударственными антиполитиками*. Это значит, что политика требует *отбора лучших людей* — прозорливых, ответственных, несущих служение, талантливых организаторов, опытных объединителей. Каждое государство призвано к *отбору лучших людей*. Народ, которому такой отбор не удастся, идет навстречу смутам и бедствиям. Поэтому все то, что затрудняет, фальсифицирует или подрывает *политически-предметный отбор лучших людей* — вредит государству и губит его: всякая властолюбивая конспирация, всякие честолюбиво-партийные интриги, всякая продажность, всякое политическое кумовство, всякая семейная протекция, всякое привлечение государственно-негодных элементов к голосованию, всякое укрывательство, всякое партийное, племенное и исповедное выдвижение негодных элементов... Кто желает *истинного политического успеха*, тот должен проводить всеми силами *предметный отбор лучших людей*.

И вот то, что этот отбор может и должен предложить народу, есть *осуществимый оптимум в пределах общей органической солидарности*. Тут немедленно возникает ряд вопросов: чего искать? какова наша цель? в чем наша всенародная солидарность? как осуществлять эту цель? какие меры необходимы? какие законы должны быть изданы? и возможно ли немедленно отыскать и осуществить «всеобщую справедливость»? В ответ на эти вопросы необходимо всегда находить и предлагать — *наилучший исход из осуществимых*. Никогда не следует мечтать о *максимуме* и ставить себе *максимальные* задачи: из этого никогда ничего не выйдет, кроме *обмана, разочарования, жесточения и демагогии*. Нужен не фантастический максимум, а наилучшее из осуществимого (*трезвый оптимизм*)!

Это означает сразу: *политика невозможна без идеала; политика должна быть трезво-реальной*. Нельзя без идеала; он должен осмысливать всякое мероприятие, проносить своими лучами и облагораживать всякое решение, звать издали, согреть сердца вблизи... Политика не должна брести от случая к случаю, штопать наличные дыры, осуществлять безыдейное и беспринципное торгашество, предаваться легкомысленной близорукости. Истинная политика видит ясно свой «идеал» и всегда сохраняет «идеалистический» характер.

И в то же время она должна быть *трезво-реальной*. Ее трезвый «оптимум» не должен покоиться на иллюзиях и не смеет превращаться в химеру. Но именно сюда ведет полное невежество массы, слепое доктринерство полубразованных демагогов; и хуже всего бывает, когда такое доктринерство имеет успех у невежественной толпы и когда ему удается закрепить свою власть системой террора.

Трезвый и умный «оптимум» (наилучшая возможность! наибольшее из осуществимого!) всегда учитывает все реальные возможности данного народа, данный момент времени, наличные душевные, хозяйственные, военные и дипломатические условия. Этот оптимум должен быть исторически обоснованным, почвенным, зорко рассчитанным — *реализуемым*. Истинная политика — сразу *идеалистична и реалистична*. Она всегда смотрит вдаль, вперед — на десятилетия или даже на столетия; она не занимается торгашеством по мелочам. И в то же время она всегда ответственна и трезва; и не считается с утопиями и противоестественными химерами. Политика без идеи оказывается мелкой, пошлой и бессильной; она всех утомляет и всем надоедает. Политика химеры есть самообман; она растрчивает силы и разочаровывает народ. Истинная же политика имеет крупные очертания, она значительна и благодетельна; и силы ее возрастают от осуществления и в то же время она никого не обманывает, но *экономит силы и поощряет народное творчество*. Ее судит время; и суждение грядущих поколений всегда оправдывает ее.

Для того, чтобы осуществить в жизни этот возможный «оптимум», политика нуждается в возможно лучшем *государственном устройстве* и возможно лучшем замещении *правительственных мест*.

Государство есть *властная* организация; но оно есть

в то же время еще и *организация свободы*. Эти два требования, как две координаты, определяют его задачи и его границы. Если не удастся организация власти, то все распадается в беспорядке, все разлагается в анархии, — и государство исчезает в *хаосе*. Но если государство пренебрегает свободой и перестает служить ей, то начинаются судороги принуждения, насилия и террора, — и государство превращается в великую *каторжную тюрьму*. Верное разрешение задачи состоит в том, чтобы государство *почерпало свою силу из свободы и пользовалось своей силой для поддержания свободы*. Иными словами — граждане должны видеть в своей свободе *духовную силу*, беречь ее и возводить свою духовную свободу и силу к государственной власти. *Свобода граждан должна быть верным и могучим источником государственной власти*.

Власть призвана повелевать и, если нужно — принуждать, судить и наказывать. В государстве никогда не должна иссякать *импонирующая воля*; сила его императива должна быть всегда способна *настоять* на своем и вызвать повиновение. Но это господство должно непременно обеспечивать гражданам свободу, уважать ее и блюсти ее. Внешняя деятельность государства (устройство порядка, взывание налогов, законодательство, суд, администрация, организация армии) не есть нечто самостоятельное и не может держаться как чисто внешний процесс, как дело «погонщика». Если вся эта деятельность становится чисто внешним делом (вынуждения, выжимания, проталкивания, приговаривания, наказывания, «окрики» и казни), чем-то механическим, нажимом и прижимом, взывающим не к сердцу и духу, а к страху и голоду (как в тоталитарных государствах), то государство рано или поздно терпит крушение и разлагается. Ибо на самом деле государственная жизнь есть *выражение внутренних процессов, совершающихся в народной душе* — инстинктивных влечений, мотиваций, волевых решений, импонирования, самовмещения, повиновения, дисциплины, уважения и патриотической любви. Государство и политика *живут правосознанием народа и почерпают свою силу и свой успех именно в нем*. И здесь важно — с одной стороны, *правосознание лучших людей*, с другой стороны, *правосознание массы*, среднего уровня. Держится правосознание — и государство живет; разлагается, мутится, слабеет правосознание —

и государство распадается и гибнет. Правосознание же состоит по существу своему в *свободной лояльности*.

Вот почему всякая истинная политика призвана к *воспитанию и организации национального правосознания*. Это воспитание должно совершаться в свободной лояльности (не в запугивающем рабстве!) и приучать граждан к свободной лояльности, т. е. к добровольному блюдению права. Поэтому настоящий и мудрый политик должен заботиться о том, чтобы государственное устройство и состав правительства были *приемлемы* для национального правосознания и действительно вызвали в нем и сочувствие и готовность к содействию. Так, если народное правосознание мыслит и чувствует авторитарно, то демократический строй ему просто не удастся. Напротив, правосознание с индивидуалистическим и свободным укладом не вынесет тирании. Нелепо навязывать монархический строй народу, живущему республиканским правосознанием; глупо и губительно вовлекать народ с монархическим правосознанием в республику, которая ему чужда и неестественна. Государственное устройство и правление суть «функции» *внутренней жизни* народа, ее выражения, ее проявления, ее порождения: они суть функции его правосознания, т. е. его духовного уклада во всем его исторически возникшем своеобразии.

Всякий истинный политик знает, что государственная власть живет свободным правосознанием граждан, поэтому она должна давать этой свободе простор для здорового дыхания и выражать эту свободу в жизни. А народ призван заполнять свою свободу лояльностью и видеть в правительстве — *свое* правительство, ограждающее его свободу и творчески поддерживаемое народом. Поэтому истинная государственная власть призвана не только «вязать», но и освобождать и не только освобождать, но и приучать граждан к добровольному самообязыванию. Власть «вязет», чтобы обеспечивать людям свободу; она освобождает, чтобы люди учились добровольному подчинению и единению.

Однако государственная власть отнюдь не призвана к тому, чтобы *развязывать в народе злые силы*. Горе народу, если возникнет такая власть, — все равно, будет ли она освобождать зло по глупости или в силу порочности. Свобода не есть разнуздание злых и право на злые дела. Отрица-

тельные силы должны обуздываться и обезвреживаться; иначе они злоупотребят свободой, скомпрометируют ее и погубят. Зло должно быть связано для того, чтобы добро было свободно и безбоязненно развертывало свои силы. Поэтому истинная политика *властно связует и упорядочивает жизнь, чтобы тем освободить и поощрять лучшие силы народа.*

Но и связанные силы зла не должны гибнуть. Истинная политика мудра, осторожна и экономит силы народа. Поэтому ей присуще искусство — щадить отрицательные силы и волевые их заряды и находить для них положительное применение, указуя злему, завистнику, разрушителю, преступнику, разбойнику, бунтовщику и предателю возможность одуматься и приняться за положительный труд...

Такова сущность истинной политики. Таков путь, ведущий к истинному политическому успеху.

Политика есть *искусство свободы*, воспитание самостоятельно творящего субъекта права. Государство, притупляющее свободную человеческую личность, подавляющее ее и исключаящее ее — есть тоталитарное государство, учреждение нелепое, противоестественное и преступное; оно заслуживает того, чтобы распасться и погибнуть.

Политика есть *искусство права*, т. е. умение создавать ясную, жизненную и гибкую правовую норму. Государство, издающее законы темные и непонятные, несправедливые и двусмысленные, нежизненные, педантичные и мертвые — подрывает в народе доверие к праву и лояльности, развязывает произвол и подкупность в правителях и судьях и само подрывает свою прочность.

Политика есть *искусство справедливости*, т. е. умение вчувствоваться в личное своеобразие людей, умение беречь индивидуального человека. Государство, несущее всем несправедливое уравнение, не умеющее видеть своеобразие (т. е. естественное неравенство!) живых людей и потому попирающее живую справедливость — накапливает в народе те отрицательные заряды, которые однажды взорвут и погубят его.

Такова сущность истинной политики. Она творится через государственную власть и потому должна держать это орудие в *чистоте*; государственная власть, став *бесчестной, свирепой и жадной* — заслуживает свержения и

позорной гибели. Политика дает человеку власть, но не для злоупотребления и не для произвола; грязный человек, злоупотребляющий своей властью, и произволяющий — является преступником перед народом. Напротив, истинный политик переживает свое властное полномочие как *служение*, как *обязательство*, как *бремя* и стремится постигнуть и усвоить *искусство властвования*. И пока его искусство не справилось и не нашло творчески верное разрешение задачи, и пока он сам не освобожден от своего обязательства, он должен нести бремя своего служения, — ответственно и мужественно, — хотя бы дело шло о его личной жизни и смерти. Государственная власть есть не легкая комедия и не маскарад, где снимают маску, когда захочется. Нет, ей присуща трагическая черта; она каждую минуту может превратиться в трагедию, которая захватит и личную жизнь властителя и общую жизнь народа. Поэтому истинный политик *обязан рисковать своею жизнью*, подобно солдату в сражении; и именно поэтому люди робкие и трусливые не призваны к политике.

И вот *истинный политический успех* доступен только тому, кто берется за дело с *ответственностью и любовью*...

Нет ничего более жалкого, как *бессовестный и безответственный* политик: это человек, который желает фигурировать, но не желает отдаться целиком своему призванию; который в своей деятельности всегда не на высоте; который не умеет расплачиваться своею земною личностью; который бежит от своей собственной тени. Это трус по призванию, который *не может иметь политического успеха*.

И нет ничего более опасного и вредного, как политик, *лишенный сердца*: это человек, который лишен главного органа духовной жизни; который не любит ни своего ближнего, ни своего отечества; — который не знает верности, этого выражения любви, но способен к ежеминутному предательству; который с самого начала уже предает всякое свое начинание; который не имеет ни одного Божьего луча для управляемой им страны; циник по призванию, который *может иметь «успех» в личной карьере, но никогда не будет иметь истинного политического успеха*. Вокруг его имени может подняться исторический шум, который глупцы и злодеи будут принимать за «славу». Вокруг него могут пролиться потоки крови; от него могут произойти катастро-

фические бедствия и страдания; но творческих путей он не найдет для своего народа.

История знает таких тиранов; но никаких Неронов, никаких Цезарей Борджиа, никаких Маратов не чествовали так, как их чествуют ныне при жизни и по смерти. Современные люди утратили живое чувство добра и зла; они принимают извращения за достижения, низкую интригу за проявление ума, свирепость за героическую волю, противоестественную утопию за великую мировую «программу». Наши современники забыли драгоценные аксиомы политики, права, власти и государства. Они «отменили» дьявола, чтобы предаться ему и поклониться ему...

И величайший, позорнейший провал мировой истории (русскую революцию) они переживают как величайший политический успех.

Но час недалек и близится отрезвление.

14. ЧТО ЕСТЬ ФИЛОСОФИЯ?

Если русская философия хочет еще сказать что-нибудь значительное, верное и глубокое русскому народу и человечеству вообще, — после всех пережитых блужданий и крушений, то она должна прежде всего спросить себя, в чем ее призвание, с каким предметом она имеет дело и каков ее верный путь (метод)? Она должна возжелать ясности, честности и жизненности. Она должна стать убедительным и драгоценным исследованием духа и духовности. Если же она не одумается, не перестанет подражать иностранным и в особенности германским образцам и не попытается начать свое русское национальное дело сначала из глубины русского национального духовного опыта, то она скоро окажется мертвым и ненужным грузом в истории русской культуры...

И прежде всего русские философские мыслители должны отказаться от намеренного выдумывания «философских систем». Философ вообще не обязан выдумывать и преподавать какую-то «систему». Это чисто немецкий предрассудок, от которого давно пора освободиться. Эта задача принадлежит к *мнимым* задачам культуры, и не следует воображать, будто она «сама собой подразумевается»... Одно из двух: или философия есть произведение личной фантазии, развивающее субъективную точку зрения; тог-

да она *не обязана* брать на себя задачу создавать законченно-закругленную и внутренне-непротиворечивую «систему»; напротив, каждый получает право фантазировать, следуя своей способности и склонности. Или же философия есть *предметно-связанное исследование с предметно-обоснованными выводами*, и тогда она совсем *не имеет права* навязывать себе систематическую стройность и логическую непротиворечивость; тогда каждый философствующий обязан неуклонно и неумолимо испытывать исследуемый предмет и так описывать, излагать, изображать его, как он есть *в действительности*. В самом деле, откуда мы могли бы знать с самого начала, что предмет, который мы всю жизнь испытываем и исследуем, — сам по себе *систематичен* и живет по законам *нашей человеческой логики*? Кто дал нам право выдавать максимальные требования нашего рассудочного рационализма за законы бытия самого предмета? Откуда эта уверенность, что предмет философии действительно живет и действует так, как мы этого напрасно добиваемся от нашего рационалистического мирозерцания? Возможно и вероятно, что предмет философии *разумен*, но он может быть разумен такой Разумностью, по сравнению с которой наша обычная «разумность» есть сплошное неразумие... И правда, сущее бытие предмета не обязано повиноваться нашему рассудочному мышлению... Наоборот, помысленная нами «истина» должна сообразоваться с «истинным бытием предмета», а не наоборот: а это «истинное бытие» бесконечно глубже, живее, обширнее и богаче, чем выдумываемые нами «системочки». Смешно думать, что шапка захочет определять форму головы по своему размеру... Что за притязательность — преуказывать духовному предмету формы человеческого ума!..

Итак, философ совсем не призван «выдумывать систему». Достаточно, если он сделает все возможное, чтобы *предметно созерцать и мыслить*. А систематический строй он должен спокойно предоставить самому предмету: если его предмет в самом деле есть «система», то его философия верно передаст и изобразит ее; но если предмет есть бессвязная совокупность, то это обнаружится и в его предметной философии. Исследующий философ не смеет повелевать предмету; он не смеет и исказить его в своем изображении. Философ, воображающий себя «бухгалтером», на-

водящим порядок, или унтер-офицером, выстраивающим шеренгу понятий,— смешон и жалок. Он не смеет предвосхищать и предопределять тот Божий дар, который дается ему для исследования, будь то «мир», или «природа», или «история», или «дух», или «искусство»... Он не может «указывать» своему предмету; ему не дано «знать заранее» или «знать лучше»; он не призван починять разрывы или несогласованности предмета своими рационалистическими выдумками. Сколько искажений было внесено в философские исследования такими притязательными затеями! Как много произвольных «определений» и пустых «конструкций» возникло из этого!..

Поэтому русские философы, желающие сказать свое верное и веское исследовательское слово, должны отделаться от навязчивой идеи «философской системы». Надо честно, ответственно и предметно исследовать, а не выдумывать и не «конструировать». Надо осуществлять и совершенствовать философский *опыт* и философское *созерцание*, а не создавать в дедуктивном порядке выдуманное отвлеченное «здание». В философии действует, как и во всех областях знания, *закон исследования*: самое легкое, самое непроизводительное и наиболее импонирующее множеству обывателей есть дедукция (выведение системы из общего логического понятия или закона); самое трудное, самое скромное и творчески значительное, что делает человека настоящим исследователем, есть *созерцающая индукция* (опытное описание предмета в его единичных обнаружениях). Философ призван переживать свой предмет в его объективной реальности, проверять пережитые им содержания, *описывать* их и показывать другим людям. При этом он остается исследователем, совершенно независимо от того, излагает ли он свои познанные содержания в терминах профессиональной философии со множеством «цитат» и «примечаний», или в простом облачении повседневных слов, не затрудняя читателя импонирующим «подвалом» примечаний, подчеркивающих «богатые познания» мелким шрифтом («петитом»).

Вопрос о том, есть ли философия *наука*, не стоит решать ни в положительном, ни в отрицательном смысле. Если она есть наука,— а она *может быть наукой*,— то это наука, требующая от человека особого *духовно-религиозного* опыта и особого описательного *художества*. Но нам

достаточно здесь установить, что философ поступает правильно и умно, если он рассматривает свою работу как *исследование* и тем самым принимает на себя *ответственность* исследователя, *волю к предметности* и *бремя доказательства*. Пусть он только не заботится о том, что из этого выйдет: «монизм», «дуализм» или «плюрализм», «реализм» или «идеализм», «рационализм» или «интуитивизм»... Об этом впоследствии будут вкривь и вкось судить и объявлять его критики, его историки или составители надгробных речей... хотя будет еще лучше, если они об этом помолчат... ибо дело не в этом, а в *предметной верности* его исследований. Пусть он только требует от себя исследовательской честности и точности, и пусть помнит свою духовную ответственность перед Всевышним и перед своим народом...

Это означает, что есть особый *философский опыт* и что этот опыт надо понять и усвоить, а затем осуществлять его, укреплять его и культивировать. Что же это за опыт и какими силами человека он осуществляется?

Указать эти силы значит определить «строение философского акта», т. е. установить, что именно человек должен внутренне делать с данными ему от природы способностями.

Строение философского акта неоднородно в разных областях философии; напротив, философский исследователь должен с самого начала примириться с тем, что ему придется применять силы и способности своего существа в разнообразных сочетаниях и приспособлять их с гибкостью и чуткостью — сообразуясь с требованием самого предмета. А предмет философии дается ему в своеобразных и различных облициях.

Философу всюду дается его предмет, где у него есть ощущение, что его касается Божий луч, требующий от него восприятия и познания. «Эвристически», т. е. в деле *искания и нахождения*, это ощущение должно руководить им, несмотря на то что в дальнейшем испытании и исследовании может оказаться, что это ощущение было лишь иллюзией. Однако оно может быть и совсем не иллюзией, и тогда ему удастся установить, что Божий луч в самом деле дается людям на различных путях и различным способом. Все такие подлинные явления и переживания могут быть обозначены словами «дух» и «духовность». И вот дух «ды-

шит» в природе, в человеке, а также в том, что сам человек создает Божьей помощью. Так, например, начало «духа»,— этот сущий предмет философии,— раскрывается нам в цветке и в горной цепи. Мы переживаем его и в состоянии очевидности, несущей нам созерцаемую истину. Оно овладевает нами в переживании истинной любви и совести. Оно открывается нам в видениях художественного искусства, создаваемого самим человеком. Мы внемлем ему, постигая свою свободу и переживая зовы правосознания и патриотизма. Он сияет нам из источников религиозного откровения. И каждый раз оно требует от нас *опытного акта с другим строением*; и мы должны каждый раз осуществлять такой акт с чувством ответственности и с великим тщанием.

Тот, кто желает исследовать *познание истины* и установить, что есть верное знание предмета, посвящает себя проблеме *очевидности* и приступает к теории познания; он должен осуществить и накопить обширный и разносторонний *опыт очевидности*. Человек, никогда не переживавший очевидности, не знающий, как слагается и проверяется это своеобразное переживание и как оно внутренне «выглядит», создаст в теории познания только игру мертвыми понятиями и пустые конструкции. К тому же очевидность дается человеку совсем не в одном теоретическом мышлении. Она переживается в религии иначе, чем в науке; она слагается в искусстве на других путях, чем в нравственной жизни; да и в различных науках акт очевидности имеет различное строение (напр., в логике, математике, в химии, в астрономии, в истории, в юриспруденции, в филологии). Во всяком случае вне этого реально пережитого и неутомимо собираемого опыта очевидности теория познания мертва и пуста. Философ, не выносивший духовной культуры и не работавший в качестве исследователя ни в одной науке, а может быть, вообще отрицающий акт очевидности (в качестве скептика, агностика или нигилиста),— неприемлем и невыносим в качестве гносеолога (т. е. теоретика познания), сколько бы тысяч страниц он ни прочел, ни написал и ни напечатал на традиционном, профессиональном жаргоне отвлеченной мысли. Ибо акт очевидности требует от исследователя *дара созерцания*, и притом *многообразного созерцания*, способности к *вчувствованию*, *глубокого чувства ответственности*, *искус-*

ства творческого сомнения и вопрошания, упорной воли к окончательному удостоверению и живой любви к предмету.

Итак, философ должен воспитать себя к *духовной очевидности*.

Подобно этому: тот, кто желает в качестве исследователя обратиться к *нравственности, добродетели и добру*, должен прежде всего углубить и расширить свой нравственный *опыт*. Нравственность не может быть ни постигнута, ни изображена в отвлеченных построениях и спекуляциях; здесь дело совсем не сводится к теоретическим соображениям и определениям понятий. «Нравственное» должно быть реально пережито исследователем. Философ, рассуждающий о любви, о радости, о добродетели, о долге, о добре и зле, о силе воли, о свободе воли, о характере и других подобных предметах — по чужим книгам или понаслышке, не познает ничего, он только воображает что-то о каких-то духовных «окаменелостях» или «мумиях».

Нравственный опыт требует всего человека: он нуждается в его любви, в его страстях, в его решениях и деяниях. Человек должен отдать этому опыту всю свою личность — свою жизненную силу, свой жизненный успех, свою судьбу. Он должен предстать пред своею совестью; он должен предаться ей и деятельно зажить из нее; осуществляя эти деяния, он должен увидеть перед собою угрозу для жизни, взглянуть в глаза смерти и преодолеть свой страх смерти. Нравственный опыт не дается тому, кто сидит неподвижно в своей комнате, кто предается праздным фантазиям, кто является «дезертиром» своего призвания и своего долга. Кто хочет написать «этику», тот должен иметь за собою живой опыт любви, борьбы и страданий; он должен знать, что значит *отчаиваться* и в отчаянии *молиться*, и еще, что значит иметь *жизненный успех* и в успехе *соблюдать скромность и смирение*. Он должен пережить в собственном опыте дивную, сковывающую и освобождающую, укореняющую и очистительную *силу совестного акта*; он должен знать, что *совестный человек рискует всем*, идет на смерть и, если бывает спасен, то сам изумляется этому больше всех. Только тому, кто переживает это все, и другое, связанное с этим, — только ему открывается *нравственное измерение вещей и людей*, только он поймет «предмет этики».

Итак, философ должен воспитать себя к *акту совести*. Согласно этому, исследователь, посвящающий себя философии искусства, должен приобрести в этой сфере обширный и глубокий опыт созерцания. Здесь особенно важно пробиться через чувственно-формальную кору внешнего эстетического явления, открыть себе доступ к органической сопринадлежности зрелых образов искусства и убедиться в том, что субъективный вкус отнюдь не есть последнее слово в оценке произведений искусства. При этом очень важно, чтобы философ сам каким-нибудь способом участвовал в художественном творчестве: его опыт получит совсем иной вид и иное значение, если он попытается самостоятельно пережить процесс «замысла», вынашивания, борьбы за идею предмета, облечения ее в ткань образов и обретения художественной формы, ибо тогда он будет созерцать искусство не только «извне», но и «изнутри». *Сноб*, рассматривающий искусство формально, никогда не станет *философом искусства*; холодное наблюдение и погоня за возбуждающим, дразнящим, угодливым, популярным, невиданным никогда не заменит художественного опыта. Искусство есть возвышенное служение человеческому духу и чистая радость Божественному. Поэтому исследование искусства, осуществляемое философом, предполагает долгую аскетическую работу над своим собственным вкусом, который должен быть облагорожен; он предполагает далее чуткое религиозное сердце и целую культуру вчувствования и созерцающей мысли.

Итак, философ должен воспитать себя к *художественному созерцанию и опыту*.

Это приобретает особое значение в области *религиозной философии*. Здесь исследователь должен выносить настоящий религиозный опыт, живое религиозное созерцание, которое позволит ему вчувствоваться в каждый чужой религиозный опыт, как подлинный, так и мнимый, сопережить его и проверить. Неверующий исследователь, лишенный религиозности, соберет в лучшем случае, наподобие Вильяма Джемса²⁷, мертвую коллекцию чужих переживаний. Зато фанатически верующий человек, склонный к религиозной исключительности, нетерпимый и презрительный, поступит правильно, если он ограничится дедуктивным вероисповедным богословием и оставит в покое до неизмеримости обширное поле чужих («ложных») религиозных

учений. Ибо исследователь в области философии религии нуждается в особом созерцании чужих (особенно ложных и извращенных) религиозных воззрений: это созерцание должно быть терпимым, способным к вчувствованию, психологически гибким и спокойно-мудрым, ибо только тогда оно откроет ему доступ в те сокровенные глубины, где у людей зарождаются религиозные воззрения, и к тому дивному многообразию, в котором человечество воспринимает и преломляет даруемые ему Божьи лучи. Не может исследовать световые и красочные оттенки человек, не видящий цвета; что он скажет об их необычайном, не имеющем на человеческом языке названий, богатстве, если он сам воспринимает только один-единственный цвет, а остальные оттенки отвергает как «ложные»? Сердце Божие больше и шире, чем вероисповедное учение, ибо оно не только терпит иные исповедания, но еще и ведаёт, что единое-истинное исповедание не всем народам по силам и что скудному духу лучше иметь хоть какое-нибудь Бого-созерцание, чем никакого... Вот почему философия религии требует терпимости, чуткости и сердца.

И, конечно, прежде всего — самостоятельного и подлинного религиозного опыта.

Понятно, наконец, что и философ права должен найти свой особый опыт и предмет и вступить с ними в непосредственное, исследовательское общение; а для этого он должен выносить верный опытный акт и систематически осуществлять его. Этот акт можно было бы обозначить как здоровое и нормальное правосознание. Сущность этого акта и его возникновение могут быть описаны так. Каждому человеку присущ инстинкт самосохранения со всеми его страстями и притязаниями, инстинкт неискоренимый и жизненно необходимый. Но притязания его должны иметь свой предел и признавать его. Этот предел ставит им личный дух человека, важнейшая и драгоценная сила человеческой личности, придающая смысл и указующая цель нашей жизни. И вот инстинкт призван не враждовать с духом, а принимать его закон и добровольно подчиняться ему. В зрелом виде душа человека и обнаруживает добровольную законопослушность, или, что то же, «автономную волю к свободной лояльности». Эта воля и есть живая основа правосознания. Таким образом, в жизни свободного правосознания участвуют все силы человеческого существа.

ва: творческий инстинкт, любовь и уважение к ближним, любовь к родине, созерцание, испытующее духовные глубины, лояльная воля и формулирующая мысль; все это — в жизненном и жизнеустрояющем сплетении и притом укорененное в духе, который всегда и во всем требует от человека самого лучшего. Три великие аксиомы лежат в основе здорового правосознания: чувство собственного духовного достоинства, способность свободного человека к самоуправлению и взаимное уважение и доверие людей друг к другу. На этих основах и будет построено правосознание грядущей России.

Ясно, что и философия права невозможна без *предметного правового опыта*.

Итак, в общем и целом, так же как и во всех своих ответвлениях, философия есть наука, вырастающая из духовного опыта. И первая задача ее состоит в том, чтобы растить и крепить свой опытный акт. Однажды Сократ поставил древнему миру вопрос: изучима ли и определима ли добродетель? Этот вопрос сохраняет и ныне все свое значение, и притом для *всей* философии. И ответ, который он имел в виду и который он пытался вложить своим слушателям в сердце, имел такое же значение, как и самый вопрос: человек сможет лишь постольку исследовать сущность добродетели, поскольку он сам будет ею жить и ее осуществлять. В этом смысле можно было бы сказать: человек, утверждающийся в духе, является для себя мерою всех духовных «вещей». Иными словами: философ, желающий успешно исследовать свой предмет, должен реально-опытно переживать его и тем самым осуществлять его. Иначе он не может и не смеет: он должен превратить свою душу и свою жизнь в *орган своего предметного опыта*. Только ставши сам орудием духа, он сможет испытать и познать сущность духа. А это означает, что профессиональный философ обязуется постоянно и неутомимо работать над очищением своей души (катарсис).

Он должен вести всежизненную борьбу за достижение своего предмета, или, иными словами, он должен воспитать себя к тому, чтобы предмет стал ему доступен.

Так он должен очищать и укреплять свою *очевидность*, проверять и удостоверять ее; он должен усвоить аскез силы суждения; он должен изошрить свое созерцание и придать ему точность; он должен овладеть своими страстями;

придать своему восприятию гибкость, приспособимость и многообразию; он должен стремиться к законченности и добиваться окончательного.

Далее, он должен укреплять свой *совестный акт* и удостоверяться в его верности и силе, доверять ему, очищать свою душу ради него и предаваться ему. Он должен действовать в жизни *по совести и из совести*, в его лучах воспитать в себе духовный характер.

Он должен воспитывать и очищать свое *эстетическое созерцание* и свой *художественный вкус*. В каждом произведении искусства он должен научиться искать и находить его сокровенно-явленный смысл. Он должен приучать себя блюсти аскез своего эстетического суждения и до тех пор упражняться в художественном отождествлении с лучшими произведениями искусства, пока искусство не станет для него «языком богов» или, лучше сказать, Божьим иероглифом.

В *религии* он должен научиться созерцанию и молитве. Молитва дает ему духовное укоренение, а оно научит его отвергать и опровергать все аналитические, скептические, нигилистические и издевательские аргументы безбожия. Он должен пережить в своем сердце действие Божьего огня и приобрести на всю жизнь некий раскаленный уголь веры. Этот уголь раскроет перед ним живую сущность религии и подарит ему живой орган для понимания всех религий мира.

Наконец, он должен растить, крепить, очищать и углублять свое правосознание. Он должен поставить его в луч Божий и отыскать его последние, благороднейшие и чистые источники; а религиозность заставит его подчинить все это *воле к совершенству*. Он должен ввести свое правосознание в непосредственную жизнь, действовать из него, громко исповедовать его природу, вести за него борьбу и научиться толковать его интуиции и осуществлять его требования. Он должен отдать себя в его распоряжение и стать его верным орудием.

Таков настоящий путь (или «метод») философа. На этом пути обновится и расцветет будущая русская философия и тогда она перестанет праздно умствовать и предаваться соблазнительным конструкциям. Основное правило этого пути гласит так: сначала — *быть*, потом —

действовать и лишь затем из осуществленного бытия и из ответственного, а может быть, и опасного, и даже мучительного делания — *философствовать*.

Часть третья

15. О СВОБОДЕ

Современный человек не верит ни во что и сомневается во всем — сомнением безразличным и бесплодным; и потому все, чего коснется его сомнение, теряет для него свою ценность. Так он сомневается и в свободе; и вследствие этого он предает ее и лишается ее.

Но мы не сомневаемся в свободе и знаем достоверно и точно, почему она нам необходима: без нее *нет путей к достойной жизни, к духу и к Богу*.

Пока человек пользуется свободой, он мало думает о ней. Он дышит, живет и наслаждается ею; он непосредственно плывет в ее легком потоке. Свобода подобна воздуху: человек дышит воздухом, не думая о нем. Воздух как будто бы сам вдыхается и сам покидает нас, все время изливаясь и изливаясь. Мы вспоминаем о нем обычно лишь тогда, когда его не хватает, когда он становится тяжел или смраден, — когда человек начинает задыхаться. Тогда мы вспоминаем, иногда с мгновенно охватывающим нас ужасом, что без воздуха нельзя жить, что мы забыли о нем и не дорожили им, что он *безусловно необходим*, что начинается гибель...

Так обстоит и со свободой. Человек не может жить без нее; она безусловно необходима ему подобно воздуху... Почему?

Потому что человек может *любить* — *только свободно*. Ибо настоящая любовь — искренна и цельна, не вынуждена и не лицемерна; она свободно возникает и свободно дышит... или же она не возникает совсем и заменить ее тогда нечем... Кто любил, тот знает это по собственному опыту. И потому можно с уверенностью сказать, что человек, презирающий чужую свободу и подавляющий ее, не знает, что такое любовь: у него черствое и мертвое сердце.

Только *свободно* можно *веровать и молиться*. Ибо настоящая, живая вера всегда захватывает самую послед-

нюю глубину души, куда не проникают никакие чужие повеления и запреты, где человек *самостоятельно* созерцает, видит, любит и верует: где он свободен. Если же этого нет, то вера его неискренна и называть ее верою совсем не следует. Молитва верующего подобна глубокому вздоху, или пению сердца, или священному пламени: она вздыхает, поет и горит *сама*, и предписать ее невозможно... Поэтому надо признать, что человек, подавляющий свободу веры и молитвы, — кто бы он ни был сам: безбожник или «религиозный» фанатик, — не ведает сам ни молитвы, ни веры; в нем *нет Бога*, и ждать от него добра — дело безнадежное.

Подобно этому — *мыслить и исследовать* человек может *только свободно*: потому что настоящее мышление *самостоятельно* и всякое подлинно научное исследование *самодеятельно*; оно не терпит навязанного авторитета и не может двигаться по предписанию и запрету. Навязанный образ мысли убивает мышление, так что от него остается только словесная видимость. «Слепое исследование» есть живое противоречие, научная невозможность. Именно поэтому человек мысли признает за другими *право на глупость и на заблуждение*: ибо он бережет *свободу*, как необходимое и драгоценное жилище, в котором потом однажды поселится *умная истина*. Напротив, кто насаждает рабски подражательный трафарет, тот не понимает природу мысли; он далек и от истины и от ума.

Для того, чтобы человек пережил *очевидность* и приобрел *убеждение* — ему необходима *свобода*; только свободное убеждение имеет духовную силу и жизненный вес; только оно захватывает последнюю глубину личности; только оно формирует характер человека; только оно может быть верным даже до смерти... Кто этого не понимает, кто считает возможным навязывать людям убеждения, тот никогда не переживал очевидности и не шел дальше слепой одержимости.

Всякое *творчество* человека требует *свободы*: *добровольного самовложения, созерцающей инициативы, личного почина, любви и вдохновения*. Творчество возникает из внутреннего, нестесненного, таинственного побуждения, в котором участвует *сам индивидуальный инстинкт* и которым руководит *сам личный дух*. Эта личная инициатива драгоценна во всех сферах культуры — в искусстве и в

хозяйстве, в науке и в политике, в воспитании и во всякой жизненной борьбе.

Всякое человеческое творчество возникает из лишений и из страдания и всякое создание культуры есть преодоленное и оформленное страдание человека. Для того, чтобы это преодоление состоялось, человек должен *сам* принять свое страдание, сам искать выхода, сам созерцать, молиться, очищать и просветлять свое сердце. Никто не может заменить его в этом; и помощь извне может прийти только в виде совета, а не в виде предписания и запрещения. Нет творчества без свободы. И тот, кто не понимает этого, тот никогда ничего не творил и не испытывал вдохновения.

Только *свободно* может человек пережить *акт совести*: раскрыть свое сердце, внять совестному зову, принять его волею и осуществить его поступком. Этот драгоценный акт не может быть ни запрещен, ни предписан. Он сразу — духовен и органически целен, таинственно глубок и инициативно-самодеятелен. Нарушить его свободу значит попытаться лишить человека совести, а к этому способны только бессовестные люди...

Но любовь, вера и молитва, мышление и исследование, очевидность и духовный характер, творческое вдохновение и акт совести — разве это не важнейшее в жизни человека, разве не в этом смысл его земной жизни? Разве не этим творится культура? Конечно, именно этим!

Но тогда жизнь человека без свободы — *бессмысленна* или *невозможна*. Так это и есть на самом деле. Все духовное и великое возникает в жизни таинственным образом *из себя самого и через самого себя*; таинственно загорается в существах пламя жизни, вложенное Богом; свободно разгорается оно, стремясь ввысь, к Богу. Так воспламеняется любовь; так человек молится; так творится искусство; так строится наука; так преодолеваются духовные кризисы; так крепнет духовный характер человека; так совершаются героические поступки.

Это необходимо понять, в этом необходимо удостовериться раз навсегда: предписанное мышление есть мнимое мышление; есть симуляция мысли, безответственное пустословие. Вынужденная любовь есть несостоявшаяся любовь. Навязанная молитва, произносимая без участия свободного сердца, есть жалкая видимость молитвы, лице-

мерие, пытающееся обмануть людей и Бога. Лишенный свободы, человек духовно мертвеет и только осуществляет предписанную ему пошлость: он ведет жизнь раздвоенную, бессильную и неискреннюю; ему нельзя доверять, на него нельзя полагаться; он живет обманом и самообманом; и всю жизнь стоит накануне предательства. Или же, — в лучшем случае, — его здоровый инстинкт и его живой дух покидают сферу внешнего лицемерия и уходят в душевную глубину, создавая себе там катакомбную жизнь, где он блюдет свои свободные побуждения и следует голосу свободного вдохновения...

Так обстоит во *всей* человеческой жизни, не только в духовной культуре, но и в *хозяйстве*. Только свободный труд не унижает человека, и именно поэтому он продуктивен и созидателен; только невынужденное, добровольное, радостное прилежание может быть признано инстинктивно-здоровым и духовно-верным делом. Принуждение ни в чем не может заменить свободного интереса и творчества. Все подобные попытки — безнадежны, где бы они ни возникали и какие бы цели они ни преследовали.

И кто этого не знает и не понимает, тот однажды убедится в этом на собственном, вероятно, мучительном опыте; ибо всякое уклонение от законов духа и природы наказуется страданием.

Две великие опасности грозят человеческой свободе: во-первых, *недооценка свободы*, ведущая к легкомысленному *отречению от нее*; и, во-вторых, *злоупотребление свободой*, ведущее к *разочарованию* в ней и *утрате* ее.

Это может случиться с каждым человеком и с каждым народом, что он *недооценит* здоровую и благословенную свободу, или же *впадет* в преувеличение и необузданность и *злоупотребит* ею. Тогда он потеряет ее. В этом еще нет позора; но это есть великая ошибка, которая ведет к *беде*, а может привести и к *позору*. Тогда начинается добровольное или недобровольное порабощение, которое может длиться долго и привести к сущей, — личной или все-народной, — трагедии: тогда придется пройти суровый путь — *страдания, терпения, научения и освобождения*.

Тот, кто теряет свободу вследствие легкомысленной недооценки ее, сначала, может быть, не заметит своей утраты и своего лишения; но потом начнутся унижения и лишения и ему придется страдать до тех пор, пока он не осоз-

нает, чего он лишился, и не встоскуется по свободе. Однако вернуть потерянную свободу нелегко: необходима *борьба* за нее, надо *понять* смысл полученного жизненного урока, понять неизбежность борьбы и подготовиться к ней. *Избавление* придет только тогда, когда поработанный почувствует, что ему *свобода дороже жизни*; когда он поймет, что свободу надо ценить, как воздух, и что злоупотреблять ею нельзя. Тогда под гнетом принуждения вспыхнет подлинная жажда свободы: инстинктивная потребность и духовная воля соединятся для этой борьбы и в человеке созреет способность не только добиться свободы, но закрепить ее в *достойных* формах, для *верного* жизненного наполнения...

Свобода не просто «даруется» сверху: она должна быть принята, взята и верно осуществлена снизу. Дарованная сверху, она может стать «напрасным даром»: внизу ее недооценят, неверно истолкуют и употребят во зло. Человек должен понять ее природу: ее правовую форму, ее правовые пределы, ее взаимность и совместность, ее цель и назначение; мало того, он должен созреть для того, чтобы верно осознать ее нравственные и духовные основы. Если этого не будет, то он превратит свободу в произвол, в «войну всех против всех» и в хаос. И трагедия ее утраты начнется сначала.

Свобода есть *духовный воздух* для человека; но для *недуховного* человека она может стать соблазном и опасностью. Культура без свободы есть мнимая культура, праздная видимость ее; но некультурный человек обычно воспринимает ее как «*право на разнуздание*» или как *призыв к произволу*. Народы медленно созревают к истинной свободе. И история человечества подобна бесконечному круговороту порабощения, страдания, терпения и освобождения.

А мы, наблюдая этот трагический круговорот, не сомневаемся в свободе, ибо мы верно и точно понимаем ее духовный смысл.

16. О ДОБРОТЕ

Чтобы оценить доброту и постигнуть ее культурное значение, надо непременно самому испытать ее: надо воспринять луч *чужой* доброты и пожить в нем и надо почувство-

вать, как луч *моей* доброты овладевает сердцем, словом и делами *моей* жизни и обновляет ее. Но, может быть, еще поучительнее испытать чужую *недоброту* в ее предельном выражении — вражды, злобы, ненависти и презрения, испытать ее длительно, всесторонне, как систему жизни, как безнадежную, пожизненную атмосферу бытия. Это-то, по видимому, и дано человечеству двадцатого века в отрешение, умудрение и обновление... Великое счастье — испытать чужую подлинную доброту, поверить ей, довериться ей и не обмануться... Она всегда приходит «незаслуженно», «сверхсметно»: иногда на зов, иногда без зова; не по обязанности, не в силу долга, но как дар, дающийся по собственному почину, без возврата, без ответного дара и возмещения: «ни за что ни про что»... И тогда она невольно вызывает в душе вопрос: «неужели вправду? неужели это возможно? неужели есть в мире и *такая* стихия? и если *есть*, то почему же мы все не участвуем в ней и не наслаждаемся ею?» Ведь это — совсем *иная*, совсем *новая жизнь*, настоящая, радостная, светлая; и после нее, без нее — все кажется сумеречным, печальным, ошибочным, жестким и едва выносимым... Чужая добротa — это сразу зов, и обещание, и исполнение обещанного: предчувствие чего-то большого, чему даже не сразу верится; теплота, от которой сердце согревается и приходит в ответное движение: ибо в нем сразу просыпаются — смущение и благодарность, и любовь, и новая очевидность, удостоверяющая нас в мирообъемлющей стихии Евангельского обетования...

Человек, раз испытавший это, не может не ответить (рано или поздно, уверенно или неуверенно) *своею* добротой, своим лучом, как бы «посылаемым» в мир, «участвующим» и «связующим». И ответ этот взойдет из него тем раньше, тем увереннее и тем плодотворнее, чем меньше он будет в плену у каменеющего ожесточения и у ложного стыда.

Это есть великое счастье — почувствовать в своем сердце огонь доброты и дать ему волю в жизни. В этот миг, в эти часы человек находит в себе свое «лучшее», пение своего сердца, преобразование своего инстинкта: раскрывается его последняя глубина, преодолевается его одиночество, расширяется объем его самочувствия до пределов живущего и страдающего мира. Забывается «я» и «свое»; исчезает «чужое», ибо оно становится «моим» и

«мною». И для вражды и ненависти не остается места в душе.

Жизнь человечества, утратившего доброту, была бы подобна страшному, нескончаемому сновидению. Вот как эта жизнь предносилась великому греческому мыслителю Анаксимандру²⁸.

В неизмеримом мировом пространстве идет жестокая борьба; и конца ей не видно. Из «Беспредельного», — предвечного и таинственного лона всех вещей непрестанно выделяются все новые единичные существа; и каждое из них желает *себе всего*, стремится ко *всему* и добивается *единой и исключительной власти*. Ранее, когда каждое из этих существ «почивало», растворенное в Беспредельном, когда ни одного из них «о себе» не было, они все пребывали в единстве и, не выделенные из Единого-Беспредельного, были «всем и во всем». Но потом каждое из них, просыпаясь к самостоятельной жизни (вступая в «процесс индивидуации»), выделялось и становилось отдельным существом «о себе», единичным и ограниченным, а первоначальное блаженное состояние в Беспредельном утрачивалось. Но возможно ли забыть раз испытанное блаженство? Возможно ли не желать его возвращения и восстановления?.. И вот, каждое из них желает этого утраченного блаженства, добивается его — *само по себе и для себя*, не понимая, что оно доступно только Богу и достижимо только в Боге... Отсюда — эта всеобщая, безнадежная борьба.

Каждое из этих существ утверждает себя в своей единичности и ограниченности и в то же время посягает на «все» и требует себе «всего». И все мешают всем. И каждый видит вокруг себя одних врагов. И потому все предаются соперничеству и зависти: все претендуют, нападают, суетятся и кипят во вражде; все куда-то стремятся, раздраженные, озлобленные, ненавидят друг друга и радуются чужой неудаче. Никто не хочет воздержаться и уступить; каждый желает завладеть всем и «поглотить» все; и ни один не понимает, что *именно его притязание на все* исключает других, отвергает их и делает его собственную цель *неосуществимой*. Борьба ожесточается потому,

что все борются за невозможное; и чем упорнее борьба, тем невозможнее достижение. И каждый буйствует до тех пор, пока не истощатся его силы, пока он не погибнет, так и не поняв своей трагической ошибки. Погибая же, он теряет свое индивидуальное обличие, перестает быть единичным и ограниченным и растворяется в Лоне Беспредельного. Только после этого все они могут обрести в Боге полноту бытия и утраченное блаженство... А в это время из общего Лона всех вещей выделяются все новые и новые существа и начинают ту же отчаянную и безысходную борьбу...

В истории человечества бывают такие периоды, когда это мрачное видение кажется верным отображением действительного мира и человеческой судьбы: эта безнадежная борьба *частей* ради завладения *целым*, это не утолимое посягательство, эта жажда власти и объема, эта упорная всеобщая вражда, эта обреченность слепоты... И тогда мы начинаем искать исхода и спасения. И верное решение проблемы не в «роковом возмездии», провозглашенном у Анаксимандра, и не в «добровольном самоугашении», проповеданном Буддой, но в любовной доброте, завещанной нам Христом, Сыном Божиим.

Индивидуальное обличие дается нам не слепым роком и возникает не по нашему произволению; а возмездие за творимую неправду, сколь бы ни казалось оно «справедливым» — не осмысливает трагедию и не дает ей творческого разрешения. Что же касается добровольного ухода в Нирвану, в ее безгрешное и чистое блаженство, предносившееся Будде, то этот уход явился бы *отказом* от возложенного на нас жизненного бремени, от борьбы за мир и от живой любви. Даруемое нам индивидуальное обличие есть духовная миссия, а не «недоразумение», которое мы имеем право погасить; оно таит в себе некий высший смысл и творческое задание, и мы не вправе уклониться от него и искать спасения в бегстве...

Напротив, это бремя надо принять и понести. Человек должен изжить свое индивидуальное обличие в достойном и прекрасном осуществлении. А это дается только *любовной добротой*.

Человек христианской доброты не может и не хочет

участвовать в этой посягающей борьбе всех против всех. Все это завистливое состязание, вся эта ненавистная суетня, вся эта жадность и злоба — невыносимы для него: он не «требуется всего», он не видит в людях врагов и соперников, у него нет для этого ни алчности, ни самомнения, и он отходит от этого хаоса с огорчением и болью, может быть, даже с отвращением... У него нет ни способности, ни потребности жить вечным отрицанием, угрожать во всех направлениях, нападать на других, лишать их всего и толкать их в погибель; или, по слову Леонардо да Винчи, «жить на счет гибели других». Ненависть угасает от живой доброты, зависть совсем и не зарождается; жажды мести не возникает. Любовь не способна наслаждаться ни коварством, ни интригой, ни насилием; она не произволяет, не посягает и не сутяжничает. Доброта ищет мира и добывается его искренним «благоволением»; а при виде всеобщей мировой вражды и свары она испытывает только горе.

Не зная, как помочь этому бедствию, этой слепоте и жадности, доброта отвертывается от них и *прислушивается к новому порядку вещей*. Она помнит утраченное блаженное единство в Боге и мечтает о нем, как о Царстве Божием на земле. Оно предносится ей — то в виде незримой духовной ткани, сокровенно объединяющей вселенную; то в виде осуществленного на земле «вечного мира»; то в виде мировой «симфонии», поющей осанну вместе с Шиллером и Бетховеном; то в образе звездного неба, блюдущего в тишине свое дивное равновесие. Благостное сердце живет предчувствием, подобным воспоминанию, или воспоминанием, подобным пророческому обетованию: предвечное блаженство не утрачено навек, оно живет в нас в виде прозревающей надежды, ибо великое всеединство мира и людей угодно Господу, оно задано нам всем к осуществлению и мы призваны помышлять о нем и трудиться над ним — всю жизнь, вопреки всем трудностям и видимостям.

Из этого завета и предчувствия исходит христианская доброта. Она видит и множество, и смятение, и непримиримость, и раны, и разрывы, и пропасти — и ищет для них целения. А черствость и злоба, напротив, живут этими разрывами, бережат эти раны и предаются этой непримиримости. Злые люди пребывают в ожесточении и слепоте и

ничего не знают о препорученной человеку сокровенной ткани Царства Божия...

Когда мы смотрим в глаза истинно доброму человеку, мы видим струящийся из них благодатный свет, приемлющий, сочувствующий и согревающий. В них нет подозрительности и суда, нет жесткости и отталкивания. В них участливый вопрос о нашем жизненном бремени и страдании. Мы видим не острый, пронзительный луч допрашивающей и требовательной души, но ласковое сияние как бы из окна родного дома. Это трогает и утешает, примиряет, успокаивает и облегчает. И мы с изумлением спрашиваем себя, как это возможно, что далекое сразу кажется близким, а чужое — родным? Как возможна любовь к незнакомому человеку? Как может столь необычайное и маловероятное осуществиться воочию?

Сердце, живущее доброю, излучает в мир через свой ласковый взор творческое и неисчерпаемое «да». Ибо доброта есть как бы открытая дверь, вечное гостеприимство, братский прием. Чувствовалище доброй души открыто миру; оно готово как бы выйти из себя и уйти в другого. Добрый человек — брат всей твари. Он как бы помнит первоначальное всеобщее единство, совместное происхождение из единого всеблаготворного источника, от всеблаготворного и всемогущего Господа; он как бы чувствует в себе жизнь и обращение всеединой крови мира, вопреки тому, что «естество человеческое», по слову Василия Великого, является «расторгнутым и на тысячи частей рассеченным»... Дверь, ведущая в дом его души, открыта: она ведет в тот великий Отчий Дом, где «много обитателей» (Иоан. 14,2); по-видимому, мы все пребывали в этом Лоне до совершения времен; и это Лото обещает нам, по совершении времен, — избавление, приют и покой. И вот, живая доброта излучает свет этого всеединого Лона, свет любви, приятия, благожелательства и духовного родства. Она уже осуществляет всеобщее воссоединение. А мы, озаренные и согретые этим светом, изумляемся, за что нам дается это утешение? Ибо мы смутно чувствуем, что мы ничем не могли «заслужить» эту доброту и эту любовь...

Такая сердечная доброта человека есть излучающаяся

благость Самого Создателя, верно воспринятая и передаваемая в мир. А Божия Благодать не ищет заслуг, но изливает себя «на праведных и неправедных» (Мтф. 5, 45). И когда Божия Благодать льется через человеческое сердце, светит и согревает, тогда невыносимый раздор в человечестве начинает стихать, и ненависть опоминается, и зависть стыдится, и посягание приходит в смущение. Ибо доброта несет людям благую весть о воссоединении. Она есть дыхание утраченного блаженства. Ей дано, как солнцу, растапливать льды и, как огню, плавить камни...

Все это означает, что истинно доброе сердце живет в ткани Божьей и чует свою сокровенную связь с остальным человечеством. Оно не отъединяется от этой ткани, не посягает и не враждует. Оно вчувствуется в жизнь другого, в жизнь каждого, отзывается и готово помогать. Такой человек смотрит в мир доброжелательно, ласково, сострадательно. И самый взор его есть уже благодеяние для ожесточенных; и слова его звучат, как призыв вернуться на родину. И каждое существо, вступающее в поле его зрения, вызывает в нем луч благоволения, зажигает в нем огонь Божьей доброты и дарит ему радость. Вот почему преподобный Серафим Саровский говорил каждому человеку: «радость моя!»... И эти простые, но таинственные слова из райских селений были сразу изливанием личного сердца и евангельским зовом в Лоно Отца. Ибо человек человеку во Христе — не волк и не враг, а свет и радость...

Доброта есть целебный бальзам на раны мира, болеутоляющее лекарство для душевных разрывов и духовных ран. Она живет мечтою и созерцанием в блаженном первобытии, в предвечном Лоне всех вещей; она как бы пророчествует о грядущем воссоединении в Боге и бережет в земной жизни священную ткань благоволения, мира и всеединства...

Какая же культура возможна без доброты? Культура есть единый дух у многих душ; единая общая ткань у отдельных, разъединенных людей; и возникает она в творческом общении одиноких созерцателей. Как же можно создать ее без доброты?..

17. О СМИРЕНИИ

Иногда у нас возникает сомнение, можно ли в самом деле требовать смирения от *всех* людей? Где взять его по-

вседневному человеку, с головой ушедшему в борьбу за существование, с ее заботами, страхами и интригами? Разве смирение не есть добродетель избранных, прошедших путь религиозного очищения? Может быть... Но именно поэтому мы радуемся, когда замечаем в ком-нибудь искру неподдельного смирения; и у нас тотчас же слагается уверенность, что судьба послала нам жизненную встречу с *превосходным* человеком.

У смирения есть особое свойство — *повышать духовную ценность человека.*

Если мы видим перед собою какого-нибудь прославленного деятеля (в науке, в искусстве или политике) и замечаем в его манере держаться самомнение, тщеславие или гордость, — то мы начинаем охладевать к нему, наша симпатия гаснет и ценность его умалется в наших глазах. Это происходит не только потому, что его самопревознесение как бы принижает нас самих и что мы чувствуем себя явно пренебреженными или даже сопричисленными к «ничтожествам». Это было бы понятно: ибо это означало бы, что у нас самих не хватает смирения и что поэтому его апломб кажется нам «невыносимым». Но гораздо важнее то обстоятельство, что его заносчивость умалает *его* дух и снижает *его* ценность.

Это так и есть на самом деле.

Истинному величию причитается простота, доброта, легкость и скромность. И чем более у даровитого человека этих прекрасных и чарующих свойств, тем искреннее обращаются к нему сердца. Это естественно: в глубине души у всех нас живет убеждение, что «победитель» жизненных трудностей и предметов должен был прежде всего победить самого себя... А скромность и выражает эту победу.

Зато тот, кто считает себя «перлом создания», кто воображает, что осуществил «высшее» и что его творчество «совершенно», тот обнаруживает свою близорукость и ограниченность. И чем горделивее он держится, чем больше его притязание и чем навязчивее он его предъявляет, чем более он доволен собою и чем менее он смотрит *вверх и вперед*, тем сильнее наше разочарование: мы теряем уважение к нему, он уже не импонирует нам, и у нас делается такое чувство, как если бы мы натолкнулись в нем на маленького и глупого человека, который заслонил нам в нем самом умного, большого и значительного... Какое огорчение!

Напротив: от истинной скромности идет некое духовное благоухание; в ней есть что-то трогательное и пленительное. Может быть, скромный человек не достигнет так скоро «признания» и «славы», как самоуверенный человек, выступающий с апломбом, или как назойливый хвостун, над которым люди посмеиваются и все же поддаются его саморекламе: смотрят на его «фейерверк», знают, какая ему цена и все-таки незаметно начинают считать его «выдающимся» человеком. Однако фейерверк скоро сгорает и после него остаются только обугленные деревяшки, сажа и зола, и тут-то лучи скромного человека, с их тихим, но подлинным светом, начинают обращать на себя общее внимание.

Можно было бы сказать: выдающийся, но заносчивый человек обнаруживает свои пределы и снижает свой рост; небольшой человек с истинным смирением — причастен духовному величию. Гордость разочаровывает и обесценивает. Смирение пробуждает любовь, увеличивает ценность человека и возносит его духовно. Будь непритязателен и терпелив; примиришься с тем, что ты пройдешь в жизни незамеченным; предоставь другим блеснуть и красоваться. Твое время придет тогда, когда начнется *настоящее*, не личное, а *предметное*. Может быть, это будет *после* твоей земной смерти, когда наступит время «жатвы» и когда *каждое* зернышко будет бережно собрано, и *твое* зерно будет с любовью принято. Может быть... И вот с этим надо примириться. Надо выносить в себе потребность и волю — *быть, а не казаться*; и уверенность, что «зерно бытия» больше, чем призрачное величие; и еще крепкую заботу о том, чтобы действительно вступить в сферу *подлинного бытия, сущего перед лицом Божиим*. А остальное несущественно...

Тщеславие всегда злоупотребляет пространством человеческого общения для того, чтобы добиться в нем «успеха», «влияния» и «славы», всей этой лестной видимости, — и не думает о том, что «успех» есть почти всегда успех *у толпы*, а у толпы мало духа и еще меньше вкуса. А «влияние»... Как часто оно состоит в том, что «влияющий» прислуживается к людям, гнется во все стороны, чтобы угодить своим влияемым, и кончает тем, что сам оказывается безличным орудием чужих интересов. А «слава» прельщает только тех, кто никогда не заглядывал за ее кулисы и не

догадался еще, что она составляет нередко монополию профессиональных «славоделателей». Вот почему человек, приобщившийся истинному смирению, встречает каждый свой успех желанием проверить — не покривил ли он в чем-нибудь душою для угождения толпе; и на всякое свое «влияние», как только оно обнаруживается,— он отвечает повышением чувства ответственности и юмором: юмором — чтобы не впасть в тщеславие и не поверить лести; чувством ответственности — ибо ему необходима уверенность, что он вложил в свои дела *свое лучшее*. А «славу» свою он встречает с тревогою,— ибо незаслуженная слава есть ложь, а заслуженная слава должна быть еще проверена смертью прославившегося... Ибо человеческий приговор — суетен; а Божий приговор произносится лишь по смерти.

Итак, тщеславие борется за призрачное, а смирение вводит в царство реальности.

Тщеславный человек совершает три ошибки: во-первых, он принимает самого себя за нечто очень «важное» в жизни; во-вторых, ему кажется, что он чрезвычайно «многого» достиг и очень многое совершил; и, в-третьих, ему хочется, чтобы эти великие «достижения» и «совершения» были повсеместно признаны и превознесены.

Преодоление тщеславия должно начаться с постижения третьей ошибки.

Надо принять во внимание, что сила суждения и компетентность, необходимые для истинного «признания», присущи лишь очень немногим людям; что на свете есть слепое и бестолковое признание, легкомысленное и безответственное восхваление, поддельный и своекорыстный восторг, продажная критика и оплаченный успех. Надо понять, что в современном обществе есть множество тайных союзов,— религиозных и национальных, политических партий, полуполитических клубов и даже эротических союзов,— члены которых при всяких обстоятельствах поддерживают друг друга, восхваляют и выдвигают «своих» и замалчивают или поносят «чужих». Надо отдать себе отчет в том, что масса следует моде и рекламе, партийным внушениям, закулисным нашептам и очень часто верит наемной «клаке», которую в Италии называют «негодьями в желтых перчатках» («ladri in guanti gialli»). Как много людей, восхваляющих модное — по расчету,

из страха перед общественным мнением или по тщеславию и снобизму!.. И как смутно делается на душе, когда слышишь похвалу из уст безвкусного пошляка, или нигилиста, или заведомого лжеца и злодея: и стыдно, и тревожно, и грустно! Сознание, что мой труд одобрен нечестивцем, что я угодил духовному слепцу или глупцу, что известные плуты восхищаются моим созданием на всех перекрестках, может вызвать в душе настоящее удручение... И тот, кто сообразит и продумает все это, скоро поймет, что только признание *зрелого судьи, мудрого созерцателя и чисто-сердечного критика* может быть желанным и радостным. А такие люди будут хвалить меня только тогда, когда я сам буду чувствовать, что меня оправдывает моя собственная совесть и что меня укрепляет Божий луч. Вот почему Пушкин был прав, когда советовал поэту не дорожить успехом у толпы и судить себя самого высшим и строгим судом...

Надо рассмотреть «людскую славу», понять ее шаткое и фальшивое естество — и *разлюбить* ее. Это значит победить тщеславие внешней «популярности». А для этого надо утвердить в самом себе высокий и строгий критерий совести и религиозное чувство ответственности, чтобы затем сказать самому себе: «что мне людская хвала и людское поношение, когда мне светит луч Божий?»

Тогда можно приступить к преодолению второй ошибки тщеславия. А именно, человек должен приучиться к невысокой оценке того, чего он достиг и что он совершил. Если он силен, то пусть не считает себя сильным; если он умен, то он не должен причислять себя к «самоумнейшим» людям; если он порядочный человек, то пусть он не переоценивает свою добродетель; если он даровит, то пусть познаёт меру своего таланта и не воображает, будто он «велик» и «гениален». Почему? И зачем это нужно?

Тот, кто «достиг» и «совершил», тот «успокаивается», погружается в самодовольство и прекращает поиски и борьбу. Кто знает «достаточно», тот прекращает изучение и исследование, не углубляет свой дух, останавливается в своем развитии, начинает повторяться и теряет свои богатства. Всеведущий «знаток» дошел до своего предела и начинает отставать. Он забыл главное, именно, что Божий Предмет — беспределен во всех отношениях и смыслах и что человек есть лишь скромный ученик этого Пред-

мета. Кто достиг «совершенства», для того уже не может быть правил и запретов, и завтра он разрешит себе *все*. «Безошибочный» не увидит ни своих слабостей, ни своих ошибок. Высокоумный человек и не подозревает того, что завтра появится сверхумный, который поставит его в положение глупца и повергнет его в смущение и растерянность. А талантливый художник, который вообразит себя гениальным мастером,— быстро прекратит свою внутреннюю работу, снизит свою требовательность, утратит драгоценное и воспитывающее недовольство собою и сам не заметит, как создаст завтра ничтожное творение, над которым все будут подсмеиваться исподтишка.

Вот почему каждый, кто создаст что-нибудь, не должен подолгу предаваться радостям достижения, но скорее сосредоточиться на недостатках своего создания: он должен повышать свои требования, отыскивать свои промахи, неумения и несовершенства, судить свое творение мерою полною и великою и замышлять лучшее. Надо всегда смотреть вдаль,— подобно человеку на башне; надо всегда думать о том, чего мне еще духовно не хватает,— подобно скупцу, собирающему богатство; надо постоянно чинить и крепить свои стены,— подобно осажденному полководцу. Надо жить не гордостью от совершенного и достигнутого, но смирением при мысли о неудавшемся и еще предстоящем в будущем.

Кто знает пределы своего знания и своих знающих сил, тот останется *вечным студентом* и станет *истинным исследователем*. Кто научится видеть свои духовные пределы и болеть о них, тот будет *всю жизнь расти*. Кто сознает свои слабости и недостатки, тот будет бороться с ними, побеждать их и совершенствоваться. Для лечения необходим верный диагноз, тогда как незамеченные болезни запускаются и становятся хроническими. Словом, настоящий человек вырабатывает особую культуру своих несовершенств, стараясь не преуменьшать их и не преувеличивать. Это и есть источник истинной скромности, начало самосовершенствования, секрет духовного роста и развития. Тот, кто смотрит вдаль и ввысь, тот увидит Божественное, которого он лишен и о котором он вздыхает; и когда он затем обращается к совершенному и достигнутому,— он стоит смущенный и пристыженный: «Господи, сколь я бессилен и немощен!»... Он всегда чувствует, что ему не хватает Глав-

ного; что до истинной высоты ему далеко, как до звезды небесной; что все его наличное достояние есть только начало, только зов и обетование; что гордиться ему нечем; и что все у него еще впереди. Надо приучить себя к той «нищете духом», о которой сказано в Евангелии²⁹, и найти в себе мужество бедняка, скромность вопрошающего и бодрость ученика.

Тогда остается еще третий шаг: надо переложить центр тяжести в своей жизни и борьбе с себя самого, со своей особы — *на предметную стихию бытия*, на то, что можно было бы обозначить словами «ткань Божия в мире». Пока человек не имеет жизненной цели и пока он служит только себе самому и своему жизненному «успеху», до тех пор скромность будет казаться ему чем-то страшным и ненужным, может быть даже — вредным, а до смирения он не дойдет никогда: желая выдвинуться, он будет предаваться хвастливости, заносчивости и тщеславию и будет думать про себя, что скромность подобает нищим, а смирение — лицемерам. А между тем скромность начинается там, где человек чует над собою нечто Высшее, а смирение возникает в тот миг, когда человек преклоняется перед этим Высшим. Человеку необходимо иметь в жизни нечто такое, что он ценит и любит, чему он служит как своей *главной цели*: ей должен быть посвящен его труд, ради нее он сосредоточивает свои силы, за нее он борется, ей он жертвует собою и всем остальным. И тот, кому дано это счастье служения и горения, скоро начинает замечать, что ему все удастся тем легче и тем лучше, чем меньше он думает о себе и чем цельнее он отдается *предметной стихии своего служения*. Нельзя считать себя и свой личный успех важнейшим делом жизни. Надо научиться выходить на Божий простор из жесткой скорлупы своего себялюбия; надо сердцем и волею преодолеть свое одиночество, свой наивный эгоцентризм. Скучна и душна жизнь человека, не знающего ничего о сверхличных богатствах богозданного мира. И только тот, кто узнает счастье предметной жизни и вложится в Божию ткань мира, только тот почувствует в себе силы Ильи Муромца, дарованные ему его высокими пришельцами: Божие дело — станет его личным делом, невозможное делается для него возможным, а за плечами у него вырастут крылья настоящего вдохновения.

Божие дело требует от нас цельного и беззаветного

служения; а мы пребываем в тщете личных дел и растрачиваем на них любовь, силы и время, и всю жизнь; подобно чеховскому торговцу, подсчитываем наши воображаемые «убытки» и мнимые неудачи... Нам все кажется, что жизнь обделила нас, что нам еще что-то «причитается», что наши «справедливые притязания» неудовлетворены и что все у нас в долгу. Человек, предающийся таким настроениям, всю жизнь, подобно раненому животному, зализывает свою незаживающую рану; но в действительности — рана эта мнимая и стоит только не думать о ней, чтобы она начала заживать. Такие душевные раны исцеляются только забвением, живой любовью к людям и служением Богу. Человек, не способный обновить направление и центр своей жизни, остается в плену собственной пошлости, обливая слезами свое непоправимое прошлое и свое горькое настоящее.

Служение Божьему Делу требует от нас преданности и стойкости; и надо предаться ему. Надо отождествить свой личный успех — *с его* успехом и подчинить свою судьбу — *его* развитию и росту. Любовь и воля человека должны получить свое содержание и свою цель от этого великого «горного хребта» человеческой истории и таким образом — предметно обновиться. Может показаться, что в этом самоотверженном служении человек действительно отказывается от себя и теряет себя; однако на самом деле он *впервые обретает самого себя в великой и священной ткани Божьей*. Он теряет свое человеческое, «слишком человеческое», грешно-страстное естество; но зато находит себя — духовно-подлинного, «предметно-наполненного», смиренного и достойного слугу Божьего Дела на земле.

Именно в этом смирении он впервые находит и утверждает свое истинное духовное достоинство; не уважение других людей, не «почести» и не «славу», не довольство собою, но главное и основное, человечески-духовное достоинство, дающееся тому, кто утвердится и укоренится в Божественном. Там, где водворяется это достоинство, там не бывает гордости. Ибо гордость не от Бога; а достоинство от Бога и ведет к Богу. Гордость не знает о смирении; именно поэтому ей предстоят многие и жестокие унижения... А настоящее достоинство рождается из смирения и не может быть унижено; и если кто-нибудь пытается унижить его, то он

только возвеличивает его и поднимает его на высоту. Смирение ведет к Богу. Достоинство пребывает в Боге. Поэтому Марк Отшельник³⁰ был прав, советуя «не почитать себя за нечто великое», но беречь свою «нищету духа»*; и Ефрем Сирийский³¹ был мудр, говоря: «превозношение ослепляет умные очи, а смирение просвещает их любовью...»**

И вот оказывается, что смирение все-таки подобает каждому из нас: и гражданину, и ученому, и художнику, и воину, и пастырю. Каждый может и должен приобщиться ему: найти свое духовное достоинство, вложиться в служение Божьему Делу, полюбить великое и возжелать непреходящего. И если бы кто-нибудь спросил, как легче всего и скорее всего возжечь в себе чувство смирения, то ответ был бы таков: не сравнивать свое «превосходство» с «ничтожеством» других людей, но чаще, как можно чаще, приводить свою «малость» пред лицо Божьего величия, как бы «вычитая» себя из Его совершенства и созерцая обнаруживающуюся «разность»...

От этого в сердце вселяется, как бы само собою, сущее смирение: и оказывается, что мои «долги» так велики, что я не успеваю и добраться до чужих «долгов»; начинается щедрое «прощение» другим и строгое взыскание с себя самого. Тогда честолюбие смутится и смолкнет, и человек поймет, что важно не то, какой «пост» он занимает в жизни, но то, *что и как* он творит на этом «посту». Ибо в жизни и в мире надо не фигурировать и не величаться, а трудиться над все-единою и вечною тканью Царства Божия, а в этом служении бывают тихие и незаметные свершения, но не бывает «ничтожных» дел и «унизительных» заданий...

Если бы только люди поняли это и захотели вступить на этот путь!

18. ПОТЕРЯННАЯ ТАЙНА

В ранней юности человек есть существо вопрошающее и любопытное: ребенок видит многое, а понимает мало и все спрашивает и расспрашивает, и получает ответы, которые его не удовлетворяют. И скоро у него возникает

* Добротолюбие, <М., 1895>, <т.> I, <с.> 516.

** Добротолюбие, <М., 1895>, <т.> II, <с.> 424.

ощущение, будто взрослые скрывают от него какие-то тайны, секретничают, уклоняются от прямых ответов и не хотят говорить о самой сущности вещей и дел: «все не то, все не так, все скрывают»... И вот ребенок начинает чувствовать себя разочарованным и даже обиженным: «Что они думают, я так глуп, что поверю их глупым ответам? Ну, хорошо, я постараюсь дойти до всего сам»...

И вот начинается наблюдение и подглядывание, подслушивание и размышление, изобретение *своих* «объяснений» и «теорий», которые должны «разъяснить» все до конца. Ребенок живет во внутреннем беспокойстве, но прикрывает его деланным безразличием, а за всем этим в нем скрывается жадное внимание, пристальная наблюдательность и беспокойный, исследовательский дух. Нельзя примириться с «секретами»; они должны быть разгаданы. Нельзя остановиться перед запретной тайной; надо ее разоблачить. Тайна это вроде обмана: умные дурачат глупых; но глупые не мирятся и хотят стать тоже умными. Тайна означает, что взрослые хотят держать нас, детей, в состоянии незнания и зависимости; и все — чтобы нами командовать. Потому что «в действительности» все просто, легко и доступно.

Вот почему в детских разговорах так часто слышится словечко «о-очень просто!». И произносится это словечко насмешливо, самоуверенно и даже авторитетно. Поэтому и педагогическое наблюдение оказывается верным: чем таинственнее держатся родители, чем меньше они удовлетворяют детей в их любопытстве, тем больше дети усваивают себе плоское мышление, стремящееся все разоблачить, упростить и опошлить. И потому следовало бы не устранять детей от тайны, не «секретничать» и не запрещать им проникновение в глубь вещей, но постепенно, осторожно вводить их в тайну естественного бытия, любовно и благоговейно посвящая их в мудрость вселенной (конечно, не столь грубо и пошло, как это предлагает Жан-Жак Руссо!): смотри, созерцай, постигай, изумляйся и преклоняйся в благоговении...

В восемнадцатом веке западное *человечество* запротестовало против подобного «унижения», заболело острым чувством мнимой «обиды» и захотело *все упростить и как можно проще объяснить*. Эта обида и это глупое тяготение передались и девятнадцатому веку и вдруг вспыхнули зло-

бой, завистью и ненавистью в *немыслящих массах двадцатого века*. При этом понятно, что католическая церковь с ее многовековыми запретами и кровавым террором инквизиции олицетворяла собою «родительский облик», монополизирующий власть для поддержания «тайны» и блюдуший «тайну» ради закрепления своей власти: это она не разрешала «детям» свободу исследования (вспомним Галилея³², Ванини³³, давнишний спор об «антиподах»³⁴ и т. д.); это она пыталась сберечь для «эзотерического ведения» великие тайны Божия существа и Божьего мира. И вот «дети» пережили эпоху Возрождения и эпоху Просвещения, выросли умственно и созрели волею, и предались овладевшему ими «духу противоречия». Подавляющий церковный авторитет был отвергнут, и началось повсюду самостоятельное наблюдение, любопытная погоня за явлениями и неутомимое следопытство.

Эта противоположность между *церковной опекой и автономным мышлением* постепенно укрепилась и вызвала сначала скрытую, а потом и явную враждебность; вражда не нашла себе ни примирения, ни исцеления; напротив, она даже обострилась во второй половине девятнадцатого и в первой половине двадцатого века, когда рядом с трезвой и разумной наукой выступила заносчивая и скудоумная полунаука, когда темная масса вообразила себя «просвещенной» и в мире разлилось плоское и пошлое полубразование.

В восемнадцатом веке это течение сформировалось под влиянием французских энциклопедистов. Возникло новое умонастроение, которое предавалось религиозно-беспредметному скепсису, стало постепенно руководящим и ведущим, захватило и государей на троне (Фридрих II Прусский, Екатерина II) и победоносно вступило в девятнадцатый век. Было высказано и «принято», что церковь строится врагами просвещения и распространяет обскурантизм; что религия, строго говоря, беспочвенна; что всякая вера «напрасна» и есть «всуе-верие»; что Евангелие содержит лишь «миф» о Христе; что всякое чудо есть обман, подлежащий разоблачению и обличению; что есть только единственный источник достоверного знания — чувственный опыт... Что же касается так называемых «тайн», то их вообще нет — ни в природе, ни в человеке: на самом деле все просто и ясно; стоит только взяться за наблюдение и раз-

мышление, и каждый увидит, что все явления возникают естественно, закономерно, что все заранее определено законом причинной необходимости. Мир совсем не таинствен и не глубок; он сплошь детерминирован, трезв и прозаичен; для объяснения его совсем не нужна «гипотеза» Божьего бытия... Механически и нисколько не духовно совершается его ход, ибо он просто катится по рельсам причинности. И тот, кто пытается усмотреть в нем еще какую-то романтику, фантастику, мистику или иную беспочвенную сентиментальность, есть мракобес, «*vir obscurus*»³⁵, реакционер, вредитель, а может быть, и сущий плут.

Как из этого умонастроения — из этого плоского сенсуализма и пошлого материализма — возникло современное воинствующее безбожие, понятно без дальнейших разъяснений: стоит только заострить основные тезисы этого мировоззрения, выговорить их с волевым темпераментом и сделать все последовательные, особенно практические, выводы...

Надо признать, что великие научные исследователи отнюдь не впадали в это умонастроение. Но поскольку они практически принимали гипотезу механического объяснения и применяли ее, они часто не замечали, как эта, в известных пределах продуктивная, но достаточно плоская и отнюдь не исчерпывающая гипотеза разрасталась в самодовлеющее, якобы «все-объясняющее» и «единственно научное» мирозерцание. Отсюда возникала так называемая «традиция позитивизма», согласно которой настоящий и строгий исследователь обязан устранять всякую «мистику», сводить всякое явление к его простейшим элементам и причинам, не дивиться на чудеса мироздания, разлагать все таинственное, лишать его всякого священного ореола и объяснять все строгими и общими законами, разочаровывая и отрезвляя наивных людей.

Это и была традиция «обиженных» и «униженных» умов, ребяческой уязвленности и детской потребности представить себе все в простом и плоском виде. Эта была традиция борьбы и вражды против всего, что кажется таинственным: посягание — все «разгадать», разоблачить и свести к рассудочным схемам. Это давало «наслаждение» от «удачного» всеупрощения и всеопошления. И в последнем счете — это было восстание против библейско-церковного сведения всего к Господу Богу, как «источнику

всяческих». И более того: это было прикровенное восстание против Бога; жажда низвергнуть Его с трона и занять его место.

Но если отвлечься от этой традиции и обратиться к великим и гениальным исследователям природы, то надо признать, что они умели созерцать тайны мироздания и дивиться им искренно и глубоко. Можно было бы сказать: *большой исследователь приступает к своему исследованию с чувством, что он противостоит некоей великой тайне и заканчивает свой труд с убеждением, что он не овладел тайной мира и не исчерпал ее*. Всякое серьезно-глубокое научное объяснение ведет нас в глубину мира, но на один шаг; никакое объяснение не исчерпывает эту глубину, ни одно из них не «отменяет» ее. Ибо эта таинственная глубина не есть нечто воображенное нами, не есть выдуманное нами содержание сознания, но есть *предметно-сущее обстояние*.

Каждый из нас должен однажды конкретно представить себе этот великий объективно-сущий предмет, мироздание в его непомерно-тотальных размерах и в его неизмеримой внутренне-микроскопической глубине; это мироздание, которое то разворачивает перед нами свои бесконечно великие дали и расстояния, отнюдь не давая доступа к ним, то указывает нам на свои бесконечно малые разветвления, отнюдь не давая их «в руки»; это мироздание, в котором все,— великое и малое, недостижимо-далекое и неуловимо-глубокое,— связано друг с другом, сплетено в сплошную ткань и несется из прошлого через настоящее в будущее в качестве динамического и целесообразного Единства... Каждый из нас должен оживить и расширить свое предметное созерцание в попытке представить себе этот предмет и затем вообразить себе *чудо этого «самопроизвольно-активного» равновесия*, из которого говорит некая молчаливая разумность и неизъяснимая сила; чудо, перед которым благоговейно преклонялись и Аристотель, и Коперник, и Лейбниц, и Василий Великий, и Кеплер, и Леонардо да Винчи, и Бойль, и Ломоносов... И тот, кто хоть раз в жизни коснется этого своим духом, тот навсегда уяснит себе, что здесь дело идет не о каком-то субъективном секретосочинительстве и тайноукрывательстве и не о праздной самомистификации, но о *величественной и прекрасной мировой тайне*, которую открыто признавали и

исповедовали все отцы христианской Церкви, начиная с апостола Павла, и все основоположники современного естествознания, кончая Фехнером и Дюбуа-Реймоном³⁶.

В наших исследованиях мы выделяем из этой сверхсложной и таинственно-связной ткани отдельные «обломки», «обрывки» или нити; и поэтому мы должны помнить, что *таких* выделенных и теоретически препарированных частей в реальном предмете *нет*. Это мы сами умственно «извлекаем» или «отвлекаем» эти обломки, обрывки или нити, чтобы исследовать их в изолированном виде; и прибегая к этому приему вследствие ограниченности нашего опыта и вследствие слабости нашей мысли, мы должны разуметь и помнить, что имеем дело с нашими научными «препаратами», или умственными «построениями», не более. Практически эти человеческие «элабораты»³⁷ являются неизбежными и пригодными; и это нас ослепляет: возвращаясь из наших научных лабораторий к созерцанию предмета (мироздания), мы все снова забываем включить необходимую «поправку» на упущенное нами — на динамическую связанность вселенной, на таинственное единство мира, на сверхсложность и взаимное воздействие всех этих «обломков», «обрывков» и «нитей». Мы забываем, что в действительном мире этот единичный «фрагмент» стоит в многообразном и уводящем вдаль взаимодействии с другими «фрагментами» и что эта отдельная естественно-закономерная нить включена в необозримую ткань других, по-своему закономерных нитей. А если нам удастся, сверх того, практически использовать некоторые из этих нитей с эффектными последствиями, то мы готовы принять себя за властных «хозяев» вселенной и начинаем воображать, что мы действительно раскрыли все тайны мира и овладели ими. А на самом деле мы стоим перед мирозданием, как хвастливые нищие, которые, держа в руке грош, воображают себя богачами, или как наивные дети, которые собираются исчерпать море игрушечным ведром...

На этом пути мы теряем доступ к тайне мироздания; наша наука беднеет, наш ум становится близоруким, наши исследования становятся плоскими и пошлыми. Но само собой разумеется, что на величественном строении мироздания это никак не отзывается. Ибо мир остается как и прежде — *великим и таинственным чудом, возникшим из творчества некоей разумно-сокровенной Власти, несомым*

некой целесообразно-сокровенной силой, движущимся к некой отдаленно-сокровенной цели. А если кто-нибудь настолько слеп и ограничен, что он *не может* принять и созерцать это воображением, или если кто-нибудь усвоил себе такую рассудочно-мертвую установку, что он *не желает* постигнуть и признать это,— то ему будет очень трудно помочь.

Всю свою жизнь человек проводит на земле, окруженный Божьими дарами, таинственными чудесами природы, души и духа. Уже самая жизнь, как она проявляется в самоподдержании одноклеточных существ и как она далее развивается до самых тонких и сложных душевно-телесных коррелятов человеческого существа, есть тайна творческой активности, научно неразложимое и ни к какому механизму не сводимое обстояние. Всюду, где жизнь самоутверждается и развивается, будь то в пространственном движении или в психическом проявлении — от бактерии или вируса до слона, от гриба до лианы, от губки и жемчужной раковины до акулы, от прелестной бабочки типа Неонтолема до невыносимо уродливой китайской свиньи,— всюду перед нами таинственное чудо, сокровенно присущее каждому живому существу. На этом мы должны научиться созерцать и наблюдать и *не живые существа* в их таинственном строении и распадении, в их таинственном покое и движении. Мир «прост» только для глупцов; но для глупцов не существует и вообще никаких разумных законов.

Вот почему в основании всякого серьезного исследования лежит исходное допущение, что в мире нет ничего «простого», что наука во всех вещах и существах имеет перед собою сверхсложный и всесторонне обусловленный предмет, сокровенно-глубокий и неисчерпаемый ни чувственным опытом, ни рассудком. Наука видит себя везде перед лицом *тайны*. Это исходное допущение совсем не должно внушить исследователю робость, остановить или пресечь его работу: оно приемлется не для того, чтобы погасить исследовательскую жажду, превратить ее в сплошное пассивное удивление или изумление, или погрузить человека в растерянное слабоумие. Напротив, это допущение, как живая основа исследования, должно открыть человеку его истинное задание, а также укрепить и повысить его чувство ответственности.

Кто признаёт тайну мироздания, тот в качестве исследователя верно поймет предстоящую ему задачу: а именно, он научится последовательно различать между *самим предметом* и наблюдаемым (и описываемым) *содержанием опыта*. А это различие является основным и определяющим *во всяком исследовании*.

Так, человеку не надо наблюдать и объяснять мироздание в его предметном обстоянии, в его целокупном и таинственном существе. Исследователь вынужден интенционально (т. е. силою своего сосредоточенного разумения) «вырезать» свой, подлежащий исследованию, опытный «участок», свое изучаемое и познаваемое содержание; ему приходится «аскетически» довольствоваться одним «отрывком» или одною «нитью» и сосредоточиваться на таком урезанном, оскудевшем содержании. Согласно этому, историк, например, выделяет из всеединого и величавого мирового процесса одну ограниченную эпоху или один единичный «облик» этой эпохи (фигуру императора Карла Пятого, или жизнь Леонардо да Винчи, или эпоху Возрождения, или русскую Смуту); юрист изучает кодекс Юстиниана или французскую конституцию 1791 года; энтомолог пишет трактат о цейлонской белой бабочке типа «*Hestia Jasonia*» или об одной из групп «прыгающих прямокрылых» (саранча); физиолог — о функциях тригеминального нерва; экономист — о строении и формах английского кооперативного движения в XIX веке; филолог — о предлогах «*κατά*» и «*πρός*» у греческого оратора Лисия и т. д. То, что исследователь выделяет и описывает, — *на самом деле включено и вращено в великий процесс всеединого и таинственного мироздания*. Только интенциональное внимание³⁸ исследователя «вырезает», «отвлекает», «изолирует» изучаемое содержание, причем иногда природа милоливо дает ему соответствующий образцовый экземпляр (в виде бабочки, или белого павлина, или орловского рысака), а иногда ему приходится самому изготовлять себе необходимый «препарат» (в анатомии, физиологии, гистологии). Но в общем исследователь всегда имеет дело с *содержанием своего опыта*, которое он должен всегда мысленно включать в цельную картину мироздания, созерцая этот великий предмет и относя к нему все доселе познанное. Поэтому не следует именовать этот опытно выделенный «отрывок» или «обломок» предметом: это и не точно и

ведет к заблуждениям. Необходимо признать, что «опыт» есть целесообразное *средство* в познании, но *отнюдь не его цель*, не его *последнее слово* и не *высшая инстанция*, к которой взывает исследователь. Исследование невозможно без опыта и помимо опыта. Но наивно и слепо думать, что оно заканчивается данными опыта...

И вот исследование слагается совсем иначе в зависимости от того, созерцает исследователь свое «отрывочное содержание» в *луче мировой тайны*, в *великом контексте Предмета* или нет.

Если исследователь забывает великую тайну целокупного мироздания, если он принимает свое отрывочное, выделенное содержание за первоначальную и самодовлеющую величину, тогда он *теряет таинственную глубину и в предмете, и в опытной содержании*. Он *изолирует* свой «обломок» от духа Целого и делает его *плоским и мертвым*. Тогда и чувство ответственности у самого исследователя становится неустойчивым и бессильным, а его наблюдение, несомое коротким, отрывочным дыханием, делается рассудочным, легковесным и плоским. Он не стремится к разрешению великого задания, а «крохоборствует»; он не созерцает, а подглядывает; он «парцеллирует»³⁹ мироздание и оказывается не способным участвовать в величии миропознания. Этим он как бы запирает ту дверь, которая ведет от его «опытного отрывка» в глубину самого Предмета; он как бы обрывает нити, связующие его «обломок» с Предметом, а его исследовательскую лабораторию с творением Господа Бога. Такой исследователь должен быть причислен к самодовольным и скороготовым «всеобъяснителям». Можно было бы сказать, что его жажда познания быстро утоляется первым же глотком воды из местной лужи. У него «маленькие глаза» и слабое зрение наподобие крота. Он пытается измерить бездну Божьего творения сантиметрами. Он думает, что мироздание столь же скудно и плоско, как его собственное «представление», и что великий Предмет кончается там, где его собственное умственное содержание оказывается исчерпанным. Он считает каждую свою «гипотезу» за «достаточную», потому что природа не может простираться далее и глубже, чем его субъективные предположения. Итак, он начинает с того, что теряет тайну мироздания, и заканчивает мертвой механической картиной мира, которая приводит его ко всепошляющему безбожию.

Совсем иначе слагается исследование у того, кто умеет ощущать божественную тайну мира и преклоняться перед ней. Так вел свои исследования уже Аристотель, у которого всякое познание начиналось с «изумления» и возникало из «дивования». Это исследовательское изумление было предвосхищающим восприятием тайны мироздания и в то же время живым предчувствием Божества. Оно всегда пробуждает в душе ученого ту своеобразную *исследовательскую совесть*, без которой наука просто вырождается или совсем не удается. Эту исследовательскую совесть можно было бы обозначить как *волю к предметности познания* или как повышенное и обостренное *чувство ответственности*, как постоянную готовность проявить величайшую *осторожность, приспособление и вчувствование*, чтобы приблизиться к созерцанию великой и глубокой тайны мироздания. Если исследователю удастся предвосхитить эту тайну в «большом мире» (в макрокосме), то он сумеет восчувствовать ее и в своем «малом обломке» (в микрокосме); и тогда его, неизбежное для всякого исследователя «упрощение» не будет иметь дурного влияния на его познание. Напротив, выделенный обломок мира станет для исследователя как бы «представителем» мировой тайны, *Божьим иероглифом* или как бы входной дверью в познаваемую предметную глубину бытия.

Так начинается всякое настоящее исследование: *с аскезы — в ограничении и с волею к безграничному углублению*. И тогда каждое выделенное и упрощенное содержание опыта предстает ученому как своего рода «шахта», подлежащая разработке, как подземный ключ или как кладезь, в который надо спуститься для того, чтобы узреть священный центр мировой тайны. При этом каждая найденная нить связуется с сокровенной, но не потерянной тайной мироздания; каждый исследуемый «отрывок» мировой ткани является как бы живою тенью Бога или отблеском Его света; а самая наука, — позитивная, эмпирическая, доказывающая наука, — оказывается своего рода *введением в созерцание Божественного Существа*.

Именно так понимали это великие основатели и подвижники современного естествознания; именно это было непонято и упущено малыми умами и духовно подслеповатыми наблюдателями. Но в будущем это возродится и ожи-

вет. Тогда наука опять превратится из мертвого гербарiums в живой сад Божий и никакая рассудочная доктрина не отпугнет ее от преклонения перед чудом и тайною, сотворенными Господом. А исследующее мышление вернет себе свою созерцающую силу и осуществит необычайное.

Потерянная тайна мироздания будет опять возвращена человеку для переживания и творческого созерцания. Но это станет возможным только тогда, когда *обновится строение познавательного акта*. Тайна никогда не станет доступною для простого чувственного наблюдения. Она не будет усмотрена и аналитическим рассудком с его экспериментирующим и препарирующим мышлением. Предметная тайна мироздания доступна для *созерцающего вчувствования* и может сообщиться наблюдению и анализирующему рассудку *только через вчувствование*. Именно таков был в общем и целом акт великих исследователей. Они подходили к миру с открытым, любящим и дивующимся сердцем; они наблюдали, созерцая и медитируя; они думали, вчувствуясь в предмет и преклоняясь перед его мудрой таинственностью; они с самого начала ведали о его глубине и до конца радостно удостоверились в ней. Их сердце трепетало вместе с мирозданием и пребывало в нем. И потому мир жил в них и раскрывал перед ними свои глубины; а они сами были не только исследователями мира, но и мудрецами и любимцами природы.

И вот будущее сулит нам возрождение такого познания.

19. О СЕРДЕЧНОМ СОЗЕРЦАНИИ

I

Человек рожден прежде всего — для созерцания: оно возносит его дух и делает его окрыленным человеком; если он сумеет верно пользоваться этими крыльями, то он сможет осуществить свое призвание на земле. И вот надо пожелать человечеству, чтобы оно уразумело свое призвание и чтобы оно восстановило в себе эту дивную окрыляющую способность созерцания.

Но это означает, что человечество должно приступить к великому, перестраивающему обновлению души и духа:

оно должно *пересмотреть строение своих культурано-творящих актов*, признать их исторически сложившуюся несостоятельность, восполнить их, усовершенствовать и *открыть себе новые пути ко всем великим Богоданным предметам*. Это — единственная возможность выйти из современного кризиса и начать духовное оздоровление; это единственный способ остановить современное скольжение в пропасть и начать период возрождения и подъема. Человечество подошло к пропасти, не замечая ее, воображая, что оно творит «новую культуру» и осуществляет великий прогресс «свободы» и «гуманности»; а на самом деле оно создавало бескрылую, декадентскую псевдокультуру, подрывающую свободу и отрекающуюся от гуманности. Оно не заметило главного, а именно: *омертвения своего сердца и своей духовности и обессиления своего творческого акта*.

Оно пыталось создавать «новую культуру», не применяя необходимых для нее внутренних, духовных «органов» и предоставляя им угасать и отмирать. Оно пользовалось неверными, бессильными «орудиями» внутреннего мира и не замечало, что истинная культура требует *иных сил и иных органов*, и забывало, что никакое самовосхваление и самодовольство не обеспечивает истинного качества.

Эти формулы имеют общее и определяющее значение для *всей* культуры наших дней. И дальнейшая история, ныне закрытая непроглядным туманом, зависит от того, увидит ли человечество это заблуждение и когда именно оно увидит его; постигнут ли его наши дети, или дети наших детей, или еще более отдаленные потомки, и, постигнув, захотят ли они и сумеют ли начать это творческое обновление.

На развалинах мира, который еще недавно казался «новым», а ныне стал «отжившим», мы все — европейцы, азиаты, американцы — должны одуматься, сосредоточиться на нашем внутреннем душевно-духовном укладе, произнести над собою честный и искренний суд и распространить это самоосуждение на все области культурного творчества. То, что совершается в мире за последние полвека, есть *крушение нашей культуры*, которая не справляется с внутренне глубокими, а внешне — грандиозными задачами наших дней. Крушение это выражается, во-первых, в том,

что она предоставила в своих собственных недрах сложиться, окрепнуть и победоносно выступить новому *духовному варварству*; во-вторых, в том, что она сумела противопоставить этому духовному варварству только *формальную цивилизацию, чувственное разложение и хозяйственную жадность*. Нам нельзя отвертываться от этого печального зрелища и замалчивать его; напротив, мы обязаны поставить честный диагноз, выговорить правду и приступить к отысканию новых жизненных путей...

...Почему *современная философия* ушла в отвлеченную пустоту, в бесплодную запутанность, в конструктивные выдумки и в мертвый «гносеологизм»? Чего не хватало ей? Почему отлетел от нее живой дух? Почему дедуктивная *теология* со всей ее «диалектикой» и религиозной мертвостью расцвела именно теперь, одновременно с воинственно-кошунственным безбожием, к которому она обнаруживает странную и страшную симпатию? Почему эта теология несет одни педантические рассуждения, лишённые света, тепла и живого творчества? Откуда это разложение в современном *искусстве*, эта духовная беспредметность, ведущая к бесформенности, эта кошунственная игра без души и без художественного измерения? Откуда в *музыке* эта безобразная «политональность» и вызывающая «атональность», эта погоня за назойливой и безвкусной «звучностью», это отвращение к прекрасному и глубокому? Откуда в *живописи* этот культ самодовлеющей красочности, это презрение к естественному, эта жажда хаоса? Откуда в *поэзии* это сочетание блеклости с пустозвонством? Откуда в *беллетристике* эта погоня за непристойностью? Чего хотят люди от искусства? В какую низину и пошлость соскользнут еще так называемые «художники»? Откуда этот, исторически неслыханный *кризис государственности*, с его революционными брожениями и тоталитарными извращениями? Не свидетельствует ли он о прямом разложении современного *правосознания*, предавшегося релятивизму и отвлеченно-мертвому формализму? Как это могло случиться, что последние *естественнонаучные открытия и технические изобретения* (радио, воздухоплавание, газосведение, расщепление атома) были немедленно использованы для тоталитарного рабства и бесчеловечнейших войн истории? Почему современное человечество так неистово в разруше-

нии (атомная бомба) и так убого и неумело в создании новой социальной жизни? Что же, демократии последнего века так долго и так успешно боролись за свободу, за частную инициативу и за самоуправление для того, чтобы *разнуздать* освобожденных и отдать их в новое, неслыханное *рабство*? Где же новые, творческие, социальные идеи современности, где синтез свободы и справедливости?..

Можно не продолжать этот ряд обличительных вопросов. Наши поколения уже видели и на живом опыте убедились, куда ведет и приводит это разложение культуры. Теперь надо решить, как остановить этот процесс и где искать спасения?

Здесь может помочь только критический пересмотр и обновление структуры нашего, унаследованного нами, культурно-творческого акта. В строении этого акта у нас не хватает самой глубокой и благородной способности человеческого существа — *сердечного созерцания* и всего того, что с ним связано, всех его духовных сил, даров и проявлений. И вот человечество должно вернуть себе эту компоненту: понять ее значение и назначение, возжелать ее и *дострадаться до ее возрождения*. Мы не представляем себе этого процесса как произвольного решения и быстрой перемены. Это процесс длительный, органически-духовный, требующий от людей творческих усилий и ведущий их через страдания. Но в отдельных представителях человечества он может и должен начаться теперь же. Надо побороть в себе ложный стыд, мешающий нам *любить и созерцать из любви*; надо почувствовать всю оплодотворяющую силу этого акта; надо будить его в детях и завещать новое воспитание внукам и правнукам; надо внести этот оживший дар во всю человеческую культуру — от религиозной веры до архитектуры, от научной лаборатории до концертного зала, от судебного присутствия до земледельческого труда, от законодательного собрания до народной школы и армии. Надо доверить все свое творчество и всю свою судьбу — этой благодатной, евангельски-христианской силе сердечного созерцания, издревле жившей в восточном Православии...

II

Условимся различать в человеке следующие душевные силы, или «способности»: восприятия, возникающие из чувственных ощущений; мышление; инстинкт; волю; силу воображения и жизнь чувства. Из этих способностей культуро-творящий акт современности покоится на *чувственных* восприятиях, признавая их как бы «дверью», ведущую к внешнему миру; а над ними ставится в качестве критического стража — *индуктивное мышление*, по возможности с механически-инструментальной проверкой; отсюда возникает естествознание и техника. То, что добывается этими двумя способностями, передается затем *инстинкту и воле*; инстинкт созидает из этого хозяйство, а воля — государственный строй. При этом приходится неизбежно пользоваться и *силой воображения*; совсем без нее нельзя обойтись; но она всегда остается под подозрением, под именем «фантазии» и подвергается строгому контролю *мысли и машины*. Что же касается *чувства*, то оно вообще устраняется из серьезной, научно признанной и деловой культуры; ему отводится место — в зависимости от личных потребностей — в частной жизни. В деловом обороте чувству нечего делать; в культурном творчестве оно только отвлекает и вносит сентиментально-личный элемент; что же касается частной жизни, то людям предоставляется предаваться или не предаваться своим чувствам по мере досуга, склонностей и инстинктивных влечений: для этого у них есть семья...

Что же дают нам и чего не дают основные, «официально» признанные силы современной культуры?

И вот *чувственные ощущения*, взятые сами по себе, оказываются в *духовном* отношении слепыми и творчески бессильными; они нуждаются в руководстве; им необходима высшая, целе-сознательная и ведущая инстанция. Если ее нет, то они начинают служить телу и его похотям, бездуховному инстинкту самосохранения и размножения во всей его самовластности и безоглядности. Это мы видим в хозяйственной наживе и конкуренции; это обнаруживается и в современном модернистическом искусстве.

В науке власть и контроль принадлежат *теоретическому мышлению*. Это несомненно приводит к познавательным

успехам. Однако такой «научный прогресс» остается духовно-безразличным и мертвенным. Ибо мысль, взятая сама по себе, отвлеченна и логически понудительна, но *бездуховна и бессердечна*. Предоставленная собственной природе и инерции, она является аналитически-отвлекающей силой, все разлагающей, развязывающей и подкапывающей. Еще недавно в мире чествовали мышление как величайшую силу доказательства и просвещения, как орган самой истины, как «разум» (Ratio!); и вот оно незаметно опустилось до произвольного и плоского «конструктивизма» и превратилось в пошлый, скептический рас­судок. И оказалось, что «чистое» (голое) мышление — духовно индифферентно и мертво в делах созерцания и сердца. Оказалось, что оно представляет из себя величайшую опасность для человеческого рода, — орган лжи и мнимых доказательств, орудие обманной и губительной пропаганды, путь соблазна и разрушения...

Не стоит доказывать, что человеческий *инстинкт** есть великая сила, что от него можно ждать большой «пользы» и жизненной службы, но что, взятый сам по себе, он ведет не путями духа, а звериными тропами. Поскольку око духа в инстинкте спит или, может быть, угасло совсем, постольку он становится орудием человеко-животности — гибким, цепким, изворотливым и лукавым. Но *о достойной жизни, но о духовной жизни, о социальной жизни* — он и не задумывается. В биологическом отношении человеческий инстинкт есть сила таинственная и изумительная; но в духовном отношении он может остаться слепым и бессильным. Свою истинную мощь, полноту своих способностей он приобретает только тогда, когда в нем просыпается *око духа* и когда оно, пробудившись, становится определяющим, ведущим и облагораживающим началом жизни. Дело не в том, чтобы «дух» и «инстинкт» как-нибудь примирились в человеке, ужились и не «мешали» друг другу, но в том, чтобы «волк» инстинкта радостно предался «ангелу» духа и свободно служил ему, встречая с его стороны бережное и благодатное водительство. Проблема разрешена верно, если духовность светит из инстинкта, а инстинкт «облекается в дух».

* См. выше главу о «Духовном инстинкте».

Что же касается человеческой *воли*, то она, взятая сама по себе, есть сила формальная и духовно-безразличная. Она есть способность выбирать и решать, но верного критерия для выбора и предпочтения она не имеет. Она есть способность «держаться» и «нести бремя», но ведения того, во имя чего она несет свое бремя, ей не дано. Это есть сила концентрации, лишенная очевидности. Это есть дар повелевать, но без веры в правоту и в духовное достоинство предписанного. В сущности — великая, но *страшная и пустая сила*. Поскольку дело сводится к «единой линии» в жизни и к ее «ритму» — воля необходима и незаменима; но поскольку дело идет о верном выборе духовно-истинных целей и жизненных содержаний — постольку воля бескрыла и беспомощна. Самые отвратительные и самые преступные, самые богопротивные организации человеческой истории строились и держались силою воли. Но воля, взятая сама по себе, есть сила холодная, жесткая и безлюбивая; она создает беспринципную власть; она ведет не к Богу, а к дьяволу.

Что же касается *воображения*, то оно, предоставленное самому себе и своему нестесненному полету, оказывается приятной и развлекающей способностью: оно представляет себе в образах все возможное, что кому угодно. Оно легкоподвижно, капризно и безответственно; оно угождает инстинктивным желанием человека и жаждет удовольствий; оно всегда может «так» и еще «совсем иначе»; ему нравится беспочвенность и беспредметность; иногда оно может случайно вознестись в сферу духа, но и там оно остается духовно-безразличным и не превращается в творческое созерцание.

Есть одна сила, которая имеет призвание направлять, укоренять и сообщать духовную предметность всем этим способностям, — *это сердце, сила любви и притом духовной любви к действительно прекрасным и драгоценным предметам*. Дело жизненного выбора и притом *верного и окончательного* выбора есть дело духовной любви. Кто ничего не любит и ничему на земле не служит, тот остается пустым, бесплодным и духовно-мертвым существом. У него нет в жизни высшего и властного руководства и все силы его остаются как бы на распутии. Но так как жизнь требует движения и не терпит застоя, то способности его начинают жизнь самовольную и разнузданную. *Чувственные оущице-*

ния становятся у него самодовлеющими и распушенными; *мышление* развивается механически, холодно и оказывается во всей своей прямолинейной последовательности — враждебным жизни и разрушительным (таково дедуктивное мышление у полуобразованных людей! Таков всеразлагающий анализ скептиков!). В жизни человека с пустым и мертвым сердцем господствует жадный до удовольствия *инстинкт*. Воля его становится жесткой и циничной; воображение — легкомысленным и творчески бесплодным. Ибо в высшей и последней инстанции все вопросы человеческой судьбы решаются любовью. Только любовь может ответить человеку на важнейшие вопросы его жизни: «чем стоит жить? чему стоит служить? с чем бороться? что отстаивать? за что идти на смерть?» И все остальные душевные и телесные силы человека суть в конечном счете не более, чем верные и способные слуги духовной любви...

Так слагаются высшие духовные органы человека. Любовь превращает *воображение в предметное видение, в сердечное созерцание*, из этого вырастает *религиозная вера*. Любовь наполняет мысль живым содержанием и дает ему силу *предметной очевидности*. Любовь укореняет волю и превращает ее в могучий орган *совести*. Любовь очищает и освящает *инстинкт* и отверзает его *духовное око*. Любовь углубляет и облагораживает *чувственные восприятия*, она придает им художественный смысл и заставляет их служить искусству. И во всем этом нет никаких преувеличений; все это простые и основные истины духовной жизни, в которых опытный глаз сразу узнает основные истины христианства.

III

Согласно этому *сердечное созерцание* надо понимать так.

Когда человеческая любовь избирает себе такое жизненное созерцание, которым действительно стоит жить и за которое стоит и умереть, — то она становится *духовной любовью*. Если же духовная любовь овладевает человеческим воображением, наполняет его своею силою и своим светом и указывает ему достойный предмет, то человек отдается *сердечному созерцанию*: в нем образуется новый, чудесный орган духа, орган творчества, познания и жиз-

ни, который возносит и окрыляет его. Этот орган требует внимания, упражнения и привычки; он открывает перед человеком новые возможности и новые пути культуры.

Тогда человек обращается к миру с тем, чтобы *предметно вчувствоваться* в него и сочетать таким образом весь *объективизм предметной культуры* со всею силою *лично субъективного самовложения*. От этого его творческий акт получает новое направление и новую силу. А если к этому присоединяется *художественное дарование*, то он приобретает способность особой мощи. Его восприятие может дойти до *художественного отождествления с сущностью вещей и человека*, и тогда оно начинает открывать ему гораздо более того, чем обычно считается возможным. Систематическое укрепление и осуществление такого акта художественного отождествления может дать настоящие чудеса в смысле точного постижения: у человека может развиться дар своеобразного *ясновидения*. Этот дар может стать для него сущим бременем и мукой, ибо в мире столько зла, злых побуждений, отвратительных преступлений и хаоса, что воспринимающий их в порядке отождествления человек не может не страдать.

И вот созерцающее вчувствование может постепенно овладеть всеми другими способностями человека: инстинктом, волею, мыслью и другими силами духа. Тогда личная душа человека станет как бы покорным и лепким воском, который будет повиноваться каждому предмету и до известной степени *превращаться в то самое*, что человек воспринимает и познает. От этого у гениальных художников накапливается целое богатство жизненных постижений, сокровище из разнообразнейших образов мира, так что со стороны может показаться, что этот художник обладает каким-то «всеведением». Это и есть то самое, что изумляет нас у Пушкина, у Достоевского, у Леонардо да Винчи и у Шекспира: кажется, что этому художнику открыто *все*, что он *все* знает, все видит и обладает способностью переживать и изображать «чужое», как «свое собственное»; или еще: кажется, что он «всюду побывал» и всюду точно и до конца постиг первоэданые состояния всех вещей и глубочайшие связи всех духов между собою; или еще, что дух его древен, как мир, ясен, как зеркало, и мудр некой божественной мудростью... и что именно поэтому он всегда творчески юн и нов, оригинален и неисчерпаем...

Такой акт можно было бы обозначить как «созерцание сердца» или просто как «созерцание». Именно этой творческой компоненты не хватает современному человеку и современной культуре. Мы должны признать ее драгоценной способностью и добиться ее возрождения и восстановления; мы должны дорожить ею и укреплять ее в себе, для того, чтобы очистить, оплодотворить и углубить нашу культуру.

Созерцать значит приблизительно то же самое, что «смотреть» или «рассматривать»; но созерцание есть *духовное* смотрение и видение, которое способно очищать, символически углублять и творчески укреплять чувственный взгляд человека.

Созерцать значит приблизительно то же самое, что «наблюдать»; но созерцание есть такое наблюдение, которое *вчувствуется в самую сущность вещей*.

Созерцание можно было бы условно охарактеризовать, как «*воображение*»; но только созерцать — значит *взирать интенционально*; поэтому созерцание призвано *вживаться в образы мира или в объективный состав каждого предмета — ответственно и сосредоточенно*.

Созерцание, если угодно, сродни «фантазии»; но только созерцающая фантазия руководится *духовной любовью*. Поэтому она не разбрасывается, а сосредоточивается и отдает свою «интенцию» — в смысле «направления» и в смысле «интенсивности» — любимому духовному предмету.

Можно было бы определить *созерцание* как *непосредственное восприятие* («по-ятие» или «по-н-ятие»), но только в том смысле, что оно предается *тотальному вживанию в любое жизненное содержание*. Это содержание, может быть, мыслится, или желается, или воспринимается чувственно, или видится в мечте, или же рисуется, лепится, поется, строится, выговаривается в слове или совершается в виде поступка. Созерцающее вчувствование может предаться любому жизненному содержанию или любому предмету, — воспринять его и культурно-творчески претворить его. При этом оно всегда обращено к *реальностям*, которые избираются и воспринимаются силою духовной любви.

Поэтому сердечное созерцание может присоединиться к любому культурному акту: и каждый культурный акт, к

которому оно приходит, приобретает особую предметность, пронизательную глубину, духовную значительность и творческую силу.

Так, в *познании* оно может возвыситься до того «интеллектуального видения», которым жил Платон, в котором Кант отказал человеку и которое Гегель положил в основу своей философии. В *этике и политике*, в целепонимании и действии оно может приобрести волюнтаристический характер и открыть человеку предвидение событий, практическое созерцание вдаль, вширь и вглубь. В *искусстве* оно приведет человека к *символически-художественному* видению и сделает его мастером «эстетического предмета». В сфере *права и правопедения* оно пробудит в человеке живую интуицию правосознания и сообщит ему такое предметное *правовое видение*, о котором современная юриспруденция забыла и думать.

Оно зажжет в *ученом* любовь к его предмету, даст ему волю к вчувствованию, искусство отождествления и делает его исследователем «самосутности» и знатоком человеческой души. *Священник* и *духовник* научатся зреть сердца людей, зажигать их Божьим лучом и вести их к самостоятельному и предметному религиозному опыту. Все лечение *врача* обновится силою индивидуализирующего вчувствования. Школьное *преподавание* переродится и дети начнут переживать по-новому уроки геометрии, географии, истории, педагогики и особенно Закона Божьего, излагаемые в словах и образах сердечного созерцания. Кто имел хоть одного учителя, *так* преподававшего свой предмет; кто хоть раз в жизни встретил адвоката, или судью, или податного инспектора, обладавшего *этим* даром; кто имел дело с ротным или батальонным командиром, любившим своих солдат,— тот сразу поймет эту перспективу и верно оценит ее. Что же касается *художественного творчества*, то его настоящий источник живет именно в сердечном созерцании. Воображающее вчувствование есть именно тот подход к миру, который открывает человеку все двери и все богатства вселенной; нет ничего такого, что могло бы заменить художнику луч созерцающего сердца,— ни в замысле, ни в вынашивании, ни в формировании, ни при завершающей отделке.

При этом нельзя забывать, что в человеческой жизни есть такие реальности, которые воспринимаются, откры-

ваются и обогащают дух *только через сердечное созерцание*. Замечательно, что это именно те предметы, которые определяют смысл человеческой жизни, так что без них жизнь человека скудеет и мертва. Духовно воспринять *Бога* и утвердить свою *веру* в Него можно только при помощи сердечного созерцания; оно не может быть заменено никаким умственным доказательством, никаким волевым решением, потому что вера возникает от *вчувствования в Совершенство*. Обрести свою *земную родину* и служить ей верою и правдою можно только через сердечное созерцание: тот, кто не любит свою родину, кто не умеет беречь и творить ее любовным созерцанием, кто не видит ее сущности, ее своеобразия, ее развития, ее живых сил, ее жизненных необходимостей и опасностей, кто не имеет духовного основания вложить в нее свою волю и отдать за нее свое достояние и свою жизнь, — тот не знает, что такое патриотизм. Есть еще и другие предметы, требующие именно этого акта. В конце концов сердечное созерцание составляет подлинную сущность всякого творческого отношения человека к человеку: без него нет ни истинной *дружбы*, ни истинного *брака и семьи*, — но лишь бледные и обманчивые тени живого общения.

Вот почему я сказал с самого начала: созерцание возносит человеческую душу и делает ее окрыленной. Об этом знали все религиозные вожди и все великие мыслители человечества. Об этом знает кое-что и каждый счастливый человек. И если наша грядущая культура сулит нам надежду и утешение, то лишь при том условии, что возродится и обновится сила человеческого духа.

20. О БЛАГОДАРНОСТИ

Нет сомнения — человечество найдет пути, ведущие к обновлению, углублению и окрылению своей культуры. Но для этого оно должно научиться *благодарности* и на ней строить свою духовную жизнь.

Современное нам человечество не ценит того, что ему дается; не видит своего естественного и духовного богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нем заложено. Оно ценит не внутреннюю силу духа, а внешнюю власть — техническую и государственную. Оно хочет не творить, создавать и совершенствовать, а вла-

деть, распоряжаться и наслаждаться. И поэтому ему *всегда мало и всего мало*: оно вечно считает свои «убытки» и ропщет. Оно одержимо *жадностью и завистью* и о благодарности не знает ничего.

И вот каждый из нас должен прежде всего научиться благодарности.

Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни — и мы увидим, что каждое мгновение как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и умеем ли мы благодарить. И тот, кто выдерживает это испытание, тот оказывается *человеком будущего*: он призван творить новый мир и его культуру, он *уже* носит их в себе, он творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого испытания, тот одержим духовною слепотою и завистью, он носит в себе разложение гибнущей культуры, он человек отживающего прошлого. Вот критерий духовности, вот закон и мера, о которых мало кто думает, но по которым необходимо различать людей.

Как только человек откроет свое духовное око и воспримет окружающую его вселенную, — сквозь эту жестокую кору повседневности и примелькавшейся, привычной, омертвевшей пошлости, — так он откроет великое множество даров, окружающих его отовсюду. Обычно мы принимаем эти дары самоуверенно и равнодушно, как нечто само собою разумеющееся, как наш «экзистенциальный минимум», причитающийся нам; кажется, что все это рассыпается в мире «так, между прочим», «ниоткуда» и никакого особенного значения не имеет. Мы измеряем эти дары мерою нашей личной пользы и ропщем, и негодуем, если что-нибудь нас не удовлетворяет или нам не подходит... Мы проходим через жизнь, как властные и самодовольные хозяева, которые имеют полное право заметить и не обратить внимания, принять и отвергнуть, одобрить и пожурить, воспользоваться и забыть. Мы выбираем нужное и полезное, мы предпочитаем удобное и приятное, — и оставляет прочее без внимания. Как неблагодарные наследники, мы совершенно не думаем о Том, Кто оставил нам это жизненное богатство и Кто вложил в каждый самонаименованный дар следы Своего Духа.

Как только мы откроем наше духовное око, так мы

увидим везде и повсюду целое богатство таких даров, данных нам не для жизненного использования или злоупотребления, а для изучения, истолкования, изумления и радования. Мы разучились дивоваться на эти истинные чудеса Божии, мы проходим мимо них с каменным и холодным сердцем и если кто-нибудь дивуется на их таинственную божественность, то мы пытаемся разочаровать и «успокоить» его при помощи механически-плоских «объяснений» — и считаем это признаком нашей «образованности» и «просвещенности». Но это и свидетельствует о нашей духовной «декадентности» и бесплодности; и еще о нашей *завистливости* и *неблагодарности*. Ибо, в самом деле, кто, получив некий богатый дар, начинает злоупотреблять им в бессердечии, тот лишен чувства благодарности; он отвечает на щедрость — черствостью и на благость — пренебрежением и это обличает в нем завистника. А зависть делает его слепым.

Мир полон чудес Божьих — вот древняя мудрость, которая не увянет во веки веков. Никакие научные исследования и открытия не отнимут у нее ничего; они только возобновят и подтвердят ее с новою силою. Так было, так и будет. Никакое наблюдение не лишит богосозданного чуда его глубины и значительности; никакое мышление, познание и объяснение не погасит его необъясненной таинственности. Мы просыпаемся к бытию и жизни — и видим себя окруженными этими дарами, как бы включенными или вращенными в них: *пространство, время, живая материя, душевные способности, духовные силы*. Мы живем всю жизнь в *этих дарах, ими, из них*; мы творим в них новое и можем создать из них дивное и значительное; мы наслаждаемся ими и тогда, когда злоупотребляем ими; а когда мы покидаем эту жизнь, то иногда уходим с чувством, что нам было дано бесконечное богатство и что мы сделали из него слишком мало.

Какой драгоценный дар иметь собственное, лично-особенное, единственное в своем роде, покорно-непослушное *тело*, всю жизнь прислушиваться к нему, чтобы овладеть его таинственными законами и подчинить их законам *духа*! Какое драгоценное право — превратить его в верный символ своей духовности, и наконец, когда оно впадает в изнеможение, покинуть его для лучшей, более свободной и духовной жизни!

А этот изумительный дар Божий, именуемый *пространством*, с его светом и тенью, с его прерывно-непрерывным наполнением, с его бесконечными звездными далями, с его богатством форм и красок, со всеми радостями движения и относительного покоя, с творческими перспективами в искусстве! Сколько созерцания, сколько тайн, сколько мудрости!

А дивный дар *времени* — с неисследимым началом и неведомым концом... Всего один кратчайший, светлый миг длительности, скользящий из будущего в прошлое, пожизненно непреходящий, раскрывающий нам сразу две перспективы — утрачиваемого богатства в прошедшем и обетованного богатства в будущем... Великое русло мгновений, которое мы можем заполнить творческим трудом, любовью, богосозерцанием, молитвой и красотой и по которому мы в действительности то проносимся в страстях и злодеяниях, то влачимся в пошлых развлечениях...

А это неисчерпаемое богатство *природы* — в ее органическом единстве, в ее сокровенной закономерности, в ее покое и в ее бурях, в ее благостной готовности служить человеку, показывать ему свою красоту, открывать ему свою разумность и тихо принять его покинутые останки...

Каждый дар дивен и драгоценен, каждый указывает человеку его задачи и его никогда не заполнимые перспективы. Каждый говорит нам о сокровенной благости, мудрости и любви к человеку; каждый зовет его к истинному счастью.

Да, это — счастье: властвовать над своим телом и над своею душою, строить и крепить свой характер, копить духовные богатства, совершенствовать свои духовные акты. Это счастье — творчески работать, создавать в мире новую красоту, отдавать свое вдохновение и свои усилия на создание Божьей ткани в мироздании. Это счастье — вести общение с людьми, вчувствуясь в их жизнь и постигая ее смысл; отдавать им свое лучшее и принимать их дары; прощать им и получать от них прощение; иметь отца и мать и самому делаться отцом или матерью; иметь верных друзей; отстаивать свою родину и служить своему народу. Это счастье — любить и быть любимым; это чудо — обмениваться взглядом любви и

выражать любимой женщине полноту своего чувства — целостно и нежно. Это счастье — воспринимать веяние духа и одухотворять свою душу и жизнь. Это счастье — переживать молитву, исследовательскую очевидность, со-вестный акт, художественное созерцание, истинную политическую свободу и служить водворению справедливости на земле.

Но высшее счастье состоит в том, чтобы находить в собственном сердце *Божий луч*, следовать ему и молитве и в делах, постигать его во всем и повсюду и открывать другим людям доступ к нему.

И вот когда наше духовное око отверзается, видит эти дары во всей их драгоценности и неисчерпаемости и когда сердце наше ощущает скрытую за ними благодать и любовь, — то приходит час нашего ответа на все узренное и полученное. И если мы не отвечаем молитвою благодарения, то мы оказываемся недостойными этих даров. Но при этом мы уже не можем оправдываться нашей прежней слепотой. Если наше сердце не отозвалось, не вострепетало и не загорелось, если оно не преисполнилось благодарности, то это означает, что оно ожесточилось в черствой зависти.

Что такое благодарность? Это ответ живого, любящего сердца на оказанное ему благодеяние. Оно отвечает любовью на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и тепло, верным служением на дарованную благодать. Благодарность не нуждается в словесных изъявлениях и иногда бывает лучше, чтобы человек переживал и проявлял ее бессловесно. Благодарность не есть и простое признание чужого благодеяния; ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание чувством обиды, унижения или даже жаждою мести. Нет, настоящая благодарность есть *радость и любовь* и в дальнейшем — потребность ответить добром на добро. Эта радость вспыхивает сама, свободно, невынужденно и ведет за собою любовь — свободную, искреннюю. Человек приемлет дар — и радуется не только полученному дару, но и доброте дарящего, Его любви и Его бытию и наконец тому, что эта доброта пробуждает любовь в душе самого одаренного. Дар есть зов, взывающий к доброму ответу. Дар есть луч, требующий ответного излучения. Он обращается сразу — и к сердцу, и к воле. Воля принимает

решения; она желает ответить и начинает действовать; и это действие *обновляет жизнь* любовью и добротой.

Когда человек видит перед собою неисчерпаемые дары Божии, то в нем очень скоро возникает чувство, что он никогда не сможет ответить сполна на эту неисчерпаемую благодать. Чем дольше, чем постояннее он погружается в созерцание этих даров, тем увереннее он читает повсюду символические письма Всевышнего и тем сильнее становится в нем чувство, что он никогда не сумеет ни прочесть их до конца, ни воздать Господу достойную благодарность и хвалу. Сколько гениальных естествоиспытателей носили в себе это чувство в течение всей жизни, и все они знали о том, что «достаточного» ответа они не имеют!..*

И в самом деле, чем мы можем ответить великому Подателю этих даров? Какая благодарность соответствовала бы Его благодати?.. Поэтому правы те, кто, проведя свою жизнь в созерцании и благодарении, завершают ее молитвою: «прости мне, Господи, что я не сумел достойно возблагодарить Тебя за дары Твои, что не хватило у меня любви и радости для того, чтобы любить Тебя превыше всего и радоваться на Твои создания»...

Так отверстое око духа воспринимает дары Творца; так истинная благодарность поставляет нас в луч Божий и возводит нас к созерцанию Его. Каждый миг жизни испытывает человеческое сердце, способно ли оно к благодарению, созрело ли оно для благодарности; ибо каждый миг несет ему дары, из коих благодатно излучается верховная мудрость и любовь. Поэтому глубочайший смысл благодарности состоит в том, что она *открывает человеку доступ к Богу*: ибо она есть не что иное, как воспламенение личного огня, отвечающего на зов вечного отеческого пламени из средоточия вселенной.

Так религиозная благодарность очищает душу от зависти и ненависти. И будущее человечества принадлежит именно благодарным сердцам.

* См. книжечку профессора Деннерта: «Die Religion der Naturforscher». Leipzig. 1925. Я привожу выдержки из нее в моей книге «Путь духовного обновления», а также в «Аксиомах религиозного опыта».

21. ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Из частного письма

Дорогой друг!

Ответить на вопрос, который ты мне ставишь с такой неумолимой строгостью, совсем не так легко и просто. Ведь это один из самых тонких и глубоких вопросов, касающихся человеческого существа. Здесь дело идет о самой интимной сфере внутреннего мира, где многое оказывается столь «воздушным» и неуловимым, безмолвным и избегающим слов, где самое ароматное оказывается невыразимым и неопишваемым, так что иногда кажется совершенно невозможным приблизиться к исследуемому предмету, не говоря уже о его логических определениях и об их исчерпывающей точности. Далее, между верою и неверием, между религиозностью и безрелигиозностью есть множество своеобразных промежуточных состояний, при которых человек остается колеблющимся, нерешительным, неуверенным, сомневающимся и неустойчивым, причем из этих состояний есть пути, возводящие к подлинной вере, и другие пути, низводящие к слепому ожесточению. Иногда под корою теоретического неверия живет в тайне настоящая и глубокая религиозность; и наоборот, нередко, ярковыраженная церковная набожность скрывает за собою совершенно недуховную душу с ее совершенно сухими и бессердечными психическими механизмами, известными в науке под именем «навязчивых» или «панических»... Посмотри: в мире есть множество вероисповедно-причисленных, но неверующих людей — «христиан», совершенно не верующих в Бога и не способных сказать своим детям что-нибудь верное о Христе. И кто знает, проснется ли в этих людях и когда — живое религиозное чувство...

Поэтому нельзя требовать в этой области скороготовых и притязательных логических определений! И если кто-нибудь предлагает такое определение, то мы имеем полное основание отнести к нему с недоверием.

Но я попытаюсь дать тебе несколько существенных, исследовательски-нащупывающих указаний, по которым можно бывает узнать религиозного человека.

Самое важное состоит в том, что религиозность не

есть нечто частичное, но *целостное*. Она имеет удивительную способность внутренне объединять человека, придавать ему духовную цельность или «тотальность». Эта целокупность инстинкта, души и духа, разрозненных влечений и главного, основного жизненного потока достигается различно в разных религиях. Но она всюду имеется налицо, где религия сохраняет свое духовное достоинство. Религиозный человек подобен «монументу». И строго говоря, человека только тогда следует называть религиозным, если и поскольку ему удастся стать духовным единством. Бывает так, что человек становится таким единым духом только в труднейшие часы своей жизни; но тогда именно в эти часы он и оказывается подлинно религиозным. Но дело может сложиться и так, что человек только в последние часы своей пошлой или даже преступной жизни вознесется к внутренней, душевно-духовной тотальности, подобно тем «детопокупателям», о которых повествует Виктор Гюго («L'homme qui rit») ⁴⁰: в открытом океане их настигает буря, они терпят кораблекрушение, в первый раз в жизни произносят молитву Господню и тонут, стоя на коленях. Если человек духовно слаб, расколот или растерян, то это означает, что его религиозность только еще возникает или, наоборот, разлагается и гибнет. Тогда он не может молиться; а тот, кто в таком состоянии пытался молиться, тот знает хорошо, что это была попытка собраться воедино, духовно сосредоточиться и вознестись к цельности, стать хотя бы на миг духовно-тотальным существом...

Поэтому можно было бы сказать: религиозен тот, кто *способен молиться*. Но молиться не означает становиться в молитвенную позу и произносить определенные слова. Молитва совсем не означает и просьбу. Есть молитва бессловесного созерцания, молчаливой благодарности, самоутраты в небесной благодати. Можно молиться в форме вопрошания; можно молиться волевым решением; взывая о помощи, внимая новой, благодатно-молящейся музыке; простыми поступками; неутомимым исследованием. И такое молитвенное свершение всегда сохраняет свой религиозный характер: это есть подъем человеческого огня к Божьему Огнелищу и озарение человеческих сумерек божественным Светом.

Сущность религии состоит вообще в том, что человеку

дается и человеком овладевает Откровение. Есть высшее озарение, окончательное и истинное узрение — *очевидность*. Но это не то «озарение», которое касается одного взора, еле затрагивает холодный взгляд и бесплодно соскальзывает с него. Откровение не дается любопытному глазу воображения; оно не касается мертвой поверхности душевной, но вступает глубоко во внутренний мир, чтобы захватить сокровеннейшее чувствилище. Оно подобно не касательной линии, а секущей. Оно проникает до самой глубины *сердца*, до источника *воли* и освещает подобно молнии сумрачные пространства *инстинкта*. Его луч пронизывает душу до ее *инстинктивной духовности*. Подобно яркому лучу оно пробуждает око инстинктивно-сокрытого духа, чтобы осчастливить его и воссиять обратно из его глубины. В качестве пламени оно зажигает огонь воли и воля начинает желать духовной жизни, с тем чтобы от его укрепления и облагодатствования эта воля вступила бы в единение с Божьим пламенем. Это и есть то самое, что Макарий Египетский⁴¹, этот живой пламенник Божий, называл «срастанием» (*ἁρᾶσις*, конкретность). И религиозность есть жизнь из этой, свободно и искренно принятой, таинственной и блаженной сращенности.

Образно говоря, это можно было бы описать так. С неба падает молния — и дуб загорается мощным огнем; чем выше дерево, тем ближе к нему молния, тем дальше светит охватившее его пламя. Или еще: молния падает в заснувший вулкан, и вулкан отвечает извержением, которому теперь не будет конца. После восприятия откровения начинается *новая жизнь*: и эта новая жизнь есть *религиозная жизнь*. Пронизанный лучом Благодати, человек становится единым и цельным. И молитва есть не что иное, как стремление к этой встрече, или — отверзание духовного ока навстречу лучу, или — зов, направленный к божественному пламени.

Поэтому религиозность не есть какая-то человеческая «точка зрения», или «миросозерцание», или «догматически-послушное мышление и познание». Нет, религиозность есть *жизнь, целостная жизнь* и притом *творческая жизнь*. Она есть *новая реальность*, состоявшаяся в человеческом мире для того, чтобы творчески вложиться в остальной мир. Она есть соприкосновение мира с Богом и притом в этой новой, лично-человеческой точке. И бо-

лее того: она есть новое вступление Божьей «энергии» в человеческий мир, новое «облечение» божественного Света, божественной Благости и Силы в новое человеческое сердце. В общем — Событие мировой истории в процессе возникновения и укрепления Царства Божия.

Люди, подходящие к этому событию извне, знают мало об этой реальности и говорят об изменении «субъективной точки зрения», о «личном обращении» данного человека. Но обновленный человек переживает нечто иное. Он ощущает в себе новую реальность, владеющую им, объединяющую его личность и включающую его по-новому в новый мир. Он чувствует в себе, подобно Илье Муромцу, новую силу, которая представляется ему беспредельною. Эта сила есть до известной степени «он сам», — отсюда его *повышенная ответственность*, и в то же время она гораздо больше и могущественнее его, — отсюда его *искреннее смирение*. И действительно, в нем живет новая Сила и Власть, которая делает его гораздо более сильным, чем он был сам по себе и чем он смел когда-нибудь надеяться. И теперь его величайшая забота состоит в том, чтобы оказаться достойным этой Силы и Власти и соблюсти себя в надлежащей чистоте...

То внутреннее воссоединение, которое он переживает, состоит в том, что в его собственных пределах возникает *новый, властный центр*. Этот центр светит ему в его внутренней жизни то как тихое сияние раскаленного угля, то как победное и радостное пламя. Это светоносное сияние подобно молитве, которая, раз начавшись, не прекращается более. Религиозный человек может исполнять свои жизненные дела, может, по-видимому, предаваться до поглощения своим исследованиям, восприятиям и увлечениям и не думать о своем светоносном источнике, — но свет не исчезает, он остается и длится, он сияет, светит и ведет. Иногда кажется, что он только дарует свет, но непрерывно, тихо, благостно и властно. Но иногда кажется, что он зовет, — то шепотом; то «знаменуя» и предупреждая, как у Сократа; то требуя и вовлекая в решения и деяния, как у христианских праведников; то в виде побеждающей любви, как у Исаака Сириянина⁴² и у Серафима Саровского; то разверзая внутреннее око и даруя созерцательную очевидность, как у великих философов и естествоиспытателей. А когда человек возвращается из

своих мирских предприятий и земных вовлечений к себе, в свою лично-духовную глубину, то он убеждается, что его пребывание «вне центра», в земном лесу, куда он уходил от своего храма, не разлучало его с его священным центром и что огонь его божественного алтаря не угасал. Это испытывается как великая радость и ободрение. Возвращение в уже сложившийся и устойчивый центр придает его пламени *очистительную силу*; и каждый раз, как это возобновляется, духовная центрированность человека становится все более мощной и определяющей. Так человек получает возможность постоянно осязать в своей душевно-духовной глубине некую непрекращающуюся сокровенную молитву,— бессловесную, тихо сияющую наподобие лампы,— и не выходить из центрального луча даже и в таких жизненных положениях, которые являются, по-видимому, «безразличными» или «периферическими»...

Так слагается характер религиозного человека. Постепенно его духовный центр,— где он обретает в себе Божию Энергию или где он «утрачивает» себя в Его лучах,— становится в нем *вездесущим*. Это совсем не выражается в том, что он то и дело принимает благочестивый вид, надоедает всем окружающим своим пустосвятством, держится чопорно и елейно или ведет постоянно богословские и моральные беседы. Нет, его центрированность остается интимной и личной, и притом совершенно подлинной в своей интимности, и совершенно тихой, непоказной при всей ее подлинности. Но все в нем светится и сияет. Свет изливается во все его душевные состояния, планы, труды и предприятия. Светятся его глаза, лучится его взгляд. Светла его улыбка. Поют звуки его голоса; гармонически естественна его походка. Он сам становится ясною и прозрачною «средой» для своего центра, послушным и верным «органом» своего излучающего сердца. И вся атмосфера его души уподобляется утреннему воздуху, промытому ночным ливнем с бурей. Про таких людей хочется иногда сказать: «он чист, как стеклышко Божие»...

Или иными словами: духовный центр такого человека непрерывно посылает свои «волны» и «лучи». Эти лучи

освещают его внутреннее пространство в его одиночестве; они светят вовне, исходя из его дел; они проникают из него во внешний мир. А мир должен быть счастлив и горд, имея в своем составе такого свободно-искреннего и духовно-прозрачного человека.

Вот почему религиозный человек не склонен ко лжи. *Отвращение к неискренности* есть дивный и верный знак религиозности. При наличии серьезных духовных побуждений такой человек может, конечно, заставить себя умолчать об известных событиях и скрыть известные состояния души. Жизнь сложна и многообразна; и голая правда не всегда в жизни духовно уместна и благотворна. Но религиозный человек никогда не лжет *перед лицом* своего Центра, никогда и ни в чем, так же как он не лжет *о* своем Центре и *из* него. Он не может выговорить ложь или совершить предательство перед лицом Божиим уже в силу одного того, что он не выходит из своего центрального луча и сам служит ему верною и прозрачною средою. Но именно поэтому каждый беззастенчивый лжец нерелигиозен и отчужден от Бога; и церковь, разрешающая и практикующая ложь, утрачивает свой священный смысл и становится орудием противобожественной силы.

Все это можно было бы выразить так. Религиозного человека нетрудно узнать по тем лучам света, которые исходят из него в мир. Один светит добротой; другой — своим художественным искусством; третий — своей очевидностью, или умиряющим покоем, или дивным пением, или простыми, но благородными деяниями. Именно это понимает Евангелие: «по плодам их узнаете их» (Мтф. 7, 16). Этот свет живой религиозности трудно скрыть или не заметить, потому что он проникает сквозь все дела и «светит миру» (Мтф. 5, 14); и только совсем ожесточенные и сердечно-слепые люди могут пройти мимо него, ничего не заметив. Внутренняя жизнь религиозного человека должна обнаруживаться и стремиться выйти во внешний мир. Из родникового ключа естественно и верно пить воду. Весенний воздух дается людям для того, чтобы они им дышали; и свет Божий должен светить людям (срв. Мтф. 5, 16). А живая религиозность есть дух Божьей весны, веющий в проснувшемся сердце; и есть вода из Божьего родника, который таинственно пробился в об-

лагодатствованной душе; и есть свет Божий, который признан свободно и беспрепятственно излучаться в мир.

По этим свойствам, и склонностям, и проявлениям узнается религиозный человек. В нем есть дуновение духа; в нем есть пение души; из него излучается свет. И всегда он больше, чем он сам; и всегда он внутренне богат, настолько, что он сам далеко не всегда знает меру своего богатства. Ибо то, что он в себе носит и что он излучает, есть Царство Божие, которого он является тайным участником.

Послесловие

О ДУХОВНОМ ИЗЛУЧЕНИИ

Мы, люди современной эпохи, не должны и не смеем предаваться иллюзиям: кризис, переживаемый нами, не есть только политический или хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу, корни его заложены в самой глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними вопросами и ведет нас в священную область. Мы не имеем ни права, ни основания изображать наше крушение как «невинную» и «неопасную» случайность. Мы должны найти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле; мы должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Нам надо освободиться от мелочей повседневности и приучиться смотреть вдаль: куда идет, куда соскальзывает современный мир? что ожидает нас? что нам делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую, прекрасную жизнь?..

Но есть закон, в силу которого грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины. Поэтому нам необходимо подлинное углубление духа; мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего собственного существа, в «субстанцию» нашей человечности, или, как сказал бы Аристотель, в «энтелехию» нашего духа, в ту священную сферу, благодатность

и божественность которой возвестил нам Сын Божий, Иисус Христос. Повсюду, во всем мире должен начаться постепенно духовный пересмотр наших душевных актов и наших предметных содержаний: в отдельных людях, и в малых кружках, в религиозных общинах, в философских обществах и в целых культурных движениях; люди будут сосредоточиваться на последних, священных истоках своей жизни; они будут созерцать жизнь своего сердца и судить о нем, — каковым оно должно быть, и каким оно оказалось в действительности, и чего ему недостает... Чем серьезнее, чем ответственнее, чем глубже, чем искреннее будет этот пересмотр, тем лучше. Ибо бедствия нашего времени велики и опасность можно будет преодолеть только тогда, если будет захвачена последняя глубина человеческой души, если человечество опять проложит себе путь к Богу. Здесь дело совсем не только в «моральном перевооружении», в этих скудных и вымученных словах, обозначающих новую и дешевую моду и обеспечивающих в лучшем случае укрепленную закулисную дисциплину. Человечество нуждается в обновлении духа и облагорожении инстинкта, в возвращении к Евангельской вере, а не в «чистых перчатках» обещаемых антихристом.

Обновление, предстоящее нам, должно составить целую эпоху в истории. Ибо старые дороги исхожены и прежнее строение акта, творившего культуру, привело нас к ужасным, чудовищным проявлениям внутренней жестокости и внешней техники. И близится время, когда мы все будем помышлять только о внутреннем обновлении и будем искать Божьей помощи и спасения.

Поэтому наше время есть время поворота. Никогда еще отрицательные силы человеческого существа не выступали с таким дерзновением, так самоуверенно, с таким самосознанием; никогда еще они не делали таких вызывающих попыток захватить власть над миром; никогда еще человек не располагал такими техническими возможностями; никогда еще он не владел такими разрушительными средствами... В мире намечается перелом; может быть, он уже совершается. Прежнее равновесие утрачено. И той худшей опасности, которая нам грозит,

мы можем противостать только при условии внутреннего обновления...

И первые признаки начинающегося обновления мы узнаём в том своеобразном излучении, которое будет исходить от обновленных людей, в этих лучах живой доброты, сердечного созерцания, совести и мужественно-спокойной веры. Ибо нельзя приходить в соприкосновение с этими последними сферами человечески-божественной глубины, не пробудив в своем инстинкте живой духовности, не оживив в себе христианского сердца со всей его дивной энергией и прозорливостью. А живое сердце посылает в мир свои лучи; и эти исходящие из него лучи не просто человеческие, но божественно-духоносные...

Все чаще слышатся голоса, утверждающие, что человечество может спастись только через «Новое откровение»... Как если бы данное нам откровение Христа было «исчерпано» или «изжито»; как если бы человечество уже исходило Его пути — пути богосыновства, благодарности, сердечного созерцания и живой доброты,— и они не привели ни к чему... Как если бы современный кризис был не *нашим* кризисом, а кризисом *Господа Бога*, потому что Он открыл нам «слишком мало» или «слишком давно» и теперь должен поторопиться и восполнить упущенное. А в действительности это мы не сумели воспринять данное нам Откровение и зажечь им по-настоящему...

Лучи божественного Откровения не были отняты у нас. Они светят нам и ныне, как в начале; и мы имеем задание — верно воспринять эти лучи и зажечь ими. Нам надо найти религиозный акт верного строения, который позволит нам совершить это так, чтобы эти лучи не только светили нам, но излучались через нас и из нас самих, из нашего сердечного созерцания, соединяя нас с другими людьми, освещая нам близкое и далекое будущее и направляя нашу земную жизнь.

Современный человек должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, *что он сам излучает в мир* и притом во всех сферах жизни. Он должен удостоверить в том, что дело идет о его душевном очищении, об оживлении и творческом изживании его сердца. Потому что заглухшее и омертвевшее сердце бессильно и сле-

по; и когда он обращается к жизни, то оно не может вложить в нее ничего хорошего.

Человеческая культура может быть обновлена только живым, излучающим сердцем, ибо только в нем зарождаются новые творческие идеи, только ему дается *очевидность*.

КОММЕНТАРИИ



В настоящем томе собраны работы И. А. Ильина, которые с известной долей условности можно назвать «собственно философскими», в отличие от других его произведений, посвященных анализу отдельных философских учений, философии нравственности, искусства и художественного творчества, государства и права, политической философии, философии религии, пневматической актологии* и т. п. В данном случае ильинский интерес обращен непосредственно к миру самой философии как способу осмысления и познания жизни, места человека в ней и его назначения. Иными словами, философия Ильина — особого рода, далекая от общепринятого, традиционного понимания. Скорее, это философствование — размышление очень тонкого, глубокого, пронизательного, высокого, знающего, умудренного большим жизненным опытом ума. И в этом смысле содержание помещенных здесь трудов в наибольшей степени соответствует изначальному значению понятия «философия», как его трактовали древние — «любовь к мудрости».

Главную тему первых двух работ можно сформулировать приблизительно так: философия — жизнь — знание — вера. В них автор касается целого ряда очень важных, сугубо философских вопросов: что такое философия, ее предмет, цели и задачи, метод философского исследования, морально-этические качества философа, истинность философского знания, философия и религия (вера), современное Ильину состояние философии, необходимость ее возрождения и др.

Три следующие произведения, составляющие своеобразный «трип-

* И. А. Ильин понимал под этим выражением сосредоточение на личном, духовном состоянии верующего (см.: Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. — Т. 1. — Париж, 1953. — С. 13). Исследователь его творчества Н. П. Полторацкий, характеризуя это фундаментальное двухтомное сочинение И. А. Ильина, пользуется данным выражением как устойчивым философским термином (см.: Полторацкий Н. П. Россия и революция. Русская религиозно-философская и национально-политическая мысль XX века: Сборник статей. — Теневфлай, 1988. — С. 245, 246; Полторацкий Н. П. Иван Александрович Ильин: Жизнь, труды, мировоззрение. — Теневфлай, 1989. — С. 65, 66).

тих», в основном посвящены философскому осмыслению жизни. Условно их тему можно обозначить так: философия — человек — жизнь. Это как бы «путеводитель», «пособие» для человека, идущего по жизненной стезе, где встречаются не только радости, но и невзгоды, страдания, сомнения, душевные муки и терзания... Написаны они в необычной литературно-художественной форме, в жанре, не имеющем своего четкого наименования, который больше всего, пожалуй, близок к духовному писательству. Упомянутый жанр уходит корнями в древние жития христианских святых. В европейской истории его развивали в своих творениях св. Блаженный Августин, Франциск Ассизский и др.; в русской традиции он был продолжен в творчестве св. Феофана Затворника, св. Игнатия Брянчанинова, Андрея Муравьева, св. Иоанна Кронштадтского, Митрофана Лодыжинского, Евгения Поселянина, Сергея Нилуса, а в русской светской прозе — Николаем Гоголем. Такая на первый взгляд простая, тихая, доступная каждому, «рожденная главным органом Православного Христианства — созерцающим сердцем», философия Ильина имела для него принципиальное значение, недаром он так часто ссылается на этот «триптих» в основном труде своей жизни — «Аксиомах религиозного опыта».

ШЛЕЙЕРМАХЕР И ЕГО «РЕЧИ О РЕЛИГИИ»

Впервые статья была напечатана в 1912 г в московском журнале «Русская мысль» (№ 23. Кн. 2. С. 41—46). В настоящем издании текст воспроизводится по этому журналу.

¹ Шлейермахер Фридрих Даниель Эрнст (1768—1834) — немецкий философ, богослов и общественный деятель. В упоминаемую Ильиным книгу вошли две его работы. Первая — «О религии: речи к образованным из среды ее пренебрегателей» — впервые опубликована в Берлине в 1799 г., позже неоднократно переиздавалась. Вторая — «Монологи: новогодний подарок» — вышла в свет в 1800 г.

² Франк Семен Людвигович (1877—1950) — русский религиозный философ.

³ Высказывание И. А. Ильина от слов «Все те, кто исследует не внешние предметы, а внутренние...» до слов «...дар религиозного созерцания и дар философского анализа», по сути, является его философской установкой, философским кредо. Этот тезис в той или иной форме, а иногда дословно, он неоднократно повторяет в последующих своих произведениях.

⁴ *Дискурсивный* (от лат. *discursus* — довод, аргумент, рассуждение) — рассудочный, логический, рациональный, в отличие от интуитивного, чувственного.

⁵ *Аутодафе* (исп. и португал.) — букв.: дело веры; публичная церемония расправы (чаще всего сожжения) с еретиками или еретическими сочинениями по приговору инквизиции в католических странах средневековой Европы.

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ. ТРИ РЕЧИ. 1914—1923

Впервые книгу выпустило издательство «YMCA-PRESS» в Париже в 1925 г. На ее титульном листе год не указан, но в июле 1925 г. было опубликовано рекламное объявление издательства, где, в частности, сообщалось: «Вышла из печати. 1. И. А. Ильин. Религиозный смысл философии. 3 речи. 114 стр. Цена 8 фр. во Франции и 0.40 долл. в других странах» (см.: ГАРФ, ф. 5814, оп. 1, д. 63, л. 27).

Книга состоит из трех разделов, представляющих собой самостоятельные работы — речи, две из которых публиковались ранее. «Философия как духовное делание» впервые напечатана в журнале «Русская мысль» (М., 1915. № 36. Кн. 125. С. 112—128) «Философия и жизнь» в первый раз появилась в сборнике «София. Проблемы культуры и религиозной философии» (Берлин, 1923. Т. 1. С. 60—81) «О возрождении философского опыта», по-видимому, до 1925 г. не издавалась.

В настоящем издании текст воспроизводится по названной выше книге.

¹ *Софисты* — древнегреческие философы, выступавшие в роли профессиональных учителей «мудрости» и «красноречия» (V—IV в. до н. э.). Они не составляли единой школы. Общее в их взглядах — отказ от религии, рационалистическое объяснение явлений природы, признание относительности этических и социальных ценностей. Начисто отрицали существование абсолютной истины. Свою задачу видели в том, чтобы научить человека убедительно доказывать истинность любой точки зрения, выгодной ему в данный момент

² *Гёльдерлин* Фридрих (1770—1843) — немецкий поэт. В его творчестве, сочетающем принципы просветительного классицизма и зарождающегося романтизма (оды, лирика, трагедия «Смерть Эмпедокла»), запечатлено стремление к слиянию человека с природой (в духе античности). Психическое заболевание поэта нашло отражение в его произведениях, проявившись в форме переживания разлада с обществом и самим собой.

Шуман Роберт (1810—1856) — немецкий композитор. Выразитель эстетики немецкого музыкального романтизма. Пытался покончить жизнь самоубийством, бросившись в Рейн.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, прозаик и

поэт. Яркий выразитель кризиса идеологии гуманизма — его творения в большинстве своем неблагоприятные, богоборческие и антихристианские. Страдал тяжелейшим психическим расстройством. Послужил прототипом Леверкюна — героя романа Томаса Манна «Доктор Фаустус».

Врубель Михаил Александрович (1856—1910) — русский живописец. Для его произведений характерны декоративность и драматизм мироощущения, тяготение к символично-философской обобщенности образов, нередко несущих печать трагизма. Лечился в психиатрической клинике.

Все четыре примера, приведенные И. А. Ильным, характерны для эпохи романтизма и нашего «серебряного века», когда насыщенная творческая жизнь, требующая непрерывной активности и энергии, вызвала тяжелые психические заболевания, а сами творцы, являя собой образец утонченного сочетания гениальности и безумия, как бы находили в болезни новое откровение.

³ В отрывке, начинающемся со слов «*Познавательльно обращаясь к этому предмету...*» и завершаемом словами «*...и любимое обстояние, к которому стремится познающий разум философа*», подробно изложен используемый И. А. Ильным феноменологический, или, как он его назвал, дескриптивный, метод Эдмунда Гуссерля (1859—1938) — немецкого философа, родоначальника феноменологической школы.

⁴ *Сократ* (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий философ. Считал добродетель тождественной знанию: по его мнению, человек, *знающий*, что такое добро, никогда не станет поступать дурно.

Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма. Его учение и, в частности, понятия акт, действие, воля, «философия как религия совести» оказали огромное воздействие на формирование философских воззрений И. А. Ильина. Фихте связывал разум с активностью, деятельностью субъекта (абсолютного «Я») и рассматривал его не как отвлеченное понятие, а как «практический», т. е. «нравственный», разум. Практически-нравственное отношение к миру он считал исходным. «Мы действуем не потому, что познаем, но познаем потому, что предназначены действовать; практический разум есть корень всякого разума» (Фихте И. Г. Назначение человека. — Спб., 1906. — С. 84).

⁵ *Пропедевтический* (от греч. пропедео — предварительно обучаю) — предварительный, подготовительный, предшествующий более обстоятельному изучению.

⁶ *Диалектика* (греч.) — букв.: веду беседу, спор, рассуждаю. В первоначальном значении — искусство выстраивания доводов в споре. Именно в данном смысле употребляет здесь И. А. Ильин этот термин.

⁷ *Релятивизм* (от лат. *relativus* — относительный) — методологический принцип, утверждающий относительность и условность наших знаний и ведущий к отрицанию возможности познания объективной истины, т. е. к агностицизму.

⁸ *Тайноведение*, или оккультизм (от лат. *occultus* — тайный, сокровенный) — общее название учений, признающих существование скрытых сверхъестественных сил в человеке и космосе, недоступных общему человеческому опыту, но доступных людям, прошедшим особое посвящение и специальную психологическую тренировку.

⁹ *Антропософы* — приверженцы антропософии, оккультно-мистического учения о человеке как носителя «тайных» духовных сил. Основано в начале XX века немецким философом-мистиком Р. Штейнером. Выделилось из мистического учения о богопознании — теософии, которую Штейнер стремился превратить в «экспериментальную» науку, ставящую целью раскрыть «тайные» способности человека с помощью специальной системы воспитания: особых упражнений, мистерий, занятий эвритмией (гармонией), музыкой, медитацией.

¹⁰ *Нибелунги* — обладатели чудесного золотого клада, история борьбы за который составляет популярный сюжет древнегерманского героического эпоса («Эдды Старшей» и «Песни о Нибелунгах»).

¹¹ Совр. название — невроты.

¹² *Гетерономный* (от греч. гетерос — иной и номос — закон) — внешний, чуждый, чужеродный по отношению к чему-либо.

¹³ *Метафизическая спекуляция*. — здесь: умозрительные построения. Спекуляция (лат. *speculatio*) — букв.: наблюдение, разведывание.

¹⁴ *Дивинаторный* — предугадывающий, угадывающий.

¹⁵ *Метафизика* (от греч. мета та физика — после физики) — наука о высших принципах знания, бытия и деятельности. Она долгое время была наиболее отвлеченной и самой общей частью философии. Термин «метафизика» ввел систематизатор произведений Аристотеля — Андроник Родосский (I в. до н. э.), назвавший так группу аристотелевских трактатов о «бытии самом по себе» (у Аристотеля они шли сразу после «Физики»).

Иммануил Кант (1724—1804) во второй («критический») период своего творчества (после 1770 г.) подверг метафизику — как совершенно изолированное, спекулятивное познание с помощью разума, посредством одних лишь понятий, возвышающееся над знанием из опыта — резкой критике (см.: Кант И. Критика чистого разума//Собр. соч.: В 6 т.— Т. 3.— М., 1964.— С. 86—92)

Иоганн Фихте, Фридрих Шеллинг (1775—1854) и Георг Гегель (1770—1831), по сути, исходили из того, что в основании спекулятивного

мышления и спекулятивного знания лежит подлинный душевно-духовный познавательный опыт, и строили свою «положительную метафизику» на тождестве субъекта и объекта в сфере духовно-идеального и развивающегося бытия, понимаемого как духовно-творческая деятельность (у Фихте — человека, у Шеллинга — абсолюта через Вселенную, у Гегеля — абсолютного духа через человека как медиума Бога). Тем самым они преодолели «слабое место» философии Канта — учение о «вещи в себе» (см. об этом более подробно в главе третьей «Спекулятивное мышление вообще» в кн.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. — Т. 1. — М., 1918. — С. 37—64.).

¹⁶ *Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632—1677) — нидерландский философ. Рассматривал окружающую нас реальность, природу как единую, вечную и бесконечную субстанцию, которую он отождествлял с Богом. Считал, что вещи, предметы и явления во всем своем многообразии подчинены жестким причинно-следственным связям и отношениям, фактически не оставляющим места событиям случайным. Мир представлял его уму как математически выверенная система, секреты которой можно познать, пользуясь геометрическим методом, подобно тому, как доказывается теорема в геометрии. Этот метод он и продемонстрировал в своей «Этике».

¹⁷ *Сенсуальный* (от лат. *sensualis*) — чувственный.

¹⁸ *Коррелят* (лат.) — то, что соотносимо с чем-либо, соответствует чему-либо.

¹⁹ По поводу рассуждения И. А. Ильина см.: Гуссерль Э. Логические исследования. — Спб., 1909. — С. 54—58.

²⁰ *Больцано* Бернارد (1781—1848) — чешский математик и философ-идеалист. Выступал против психологизма в логике. Оказал влияние на мировоззрение Гуссерля.

²¹ Воля понимается здесь как способность к выбору цели деятельности и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. Это специфический акт, не сводимый к сознанию и деятельности как таковой.

²² *Nihil est in intellectu, quod non fuerit ante in sensu* (лат.) — ничего нет в интеллекте, чего бы не было прежде в ощущении.

²³ *Nisi intellectus ipse* (лат.) — кроме самого интеллекта.

²⁴ *Humor sui* (лат.) — самоирония.

²⁵ *Трубецкой* Сергей Николаевич (1862—1905) — русский религиозный философ, публицист, общественный деятель. В своей «Истории древней философии» (Ч. 1. М., 1906; Ч. 2. М., 1908) он рассматривал развитие философских идей Древней Греции в связи с религиозными культурами того времени и предшествующих периодов.

²⁶ *Пифагорейцы* — представители течения в античной философии, восходящего к древнегреческому философу, математику и астроному Пифагору (2-я пол. VI — нач. V в. до н. э.). В Кротоне (Южная Италия) он учредил просуществовавший до IV в. до н. э. союз, имевший целью нравственно-религиозное преобразование жизни. Пифагорейский союз также был научно-философской школой. Гегель писал о нем: «Общество в целом носило характер добровольного жреческого или монашеского ордена нового времени. Желавший поступить в орден подвергался испытанию в отношении степени его образованности и способности к послушанию; собирались также справки о его поведении, его склонностях и делах. Члены ордена были подчинены особой дисциплине, причем делалось различие между принятыми в орден, так как их делили на экзотериков и эзотериков; последние посвящались в высшие научные истины, и так как ордену не были чужды политические планы, то они занимались также и политической деятельностью; первые же должны были быть послушниками в продолжение пяти лет» (Гегель. Соч.— Т. IX. — М., 1932.— С. 180).

Центральной в учении пифагорейцев была идея о бессмертии души и ее перевоплощениях (метемпсихозе) в последующих человеческих рождениях. Причем очередное воплощение зависит от нравственных достоинств умершего. Отсюда в качестве высшей этической цели при жизни они выдвигали требование очищения (катарсиса) человека. Это достигалось через специальные мистерии, вегетарианство и познание музыкально-числовой структуры космоса.

²⁷ *Акузматика* — экзотерики, послушники.

²⁸ *Математики* — эзотерики, ученые.

²⁹ *Гераклит Эфесский* (ок. 544 — ок. 483 до н. э.) — древнегреческий философ, математик и диалектик. Он учил, что все происходит из «огня» — стихии, обладающей жизнью, сознанием и провиденциальной волей и представляющей собой «чистую сущность», «невоспринимаемый субстрат». К нему примешиваются «чувственные» элементы (т. е. явления), которые и воспринимаются людьми. Фактически «огонь» выступает у него как божественная энергия, божественный космический дух. Человеческие души несовершенны и вовлечены в вечный космический круговорот элементов. Чтобы вырваться из него, избавиться от страданий, необходимо сделать свою душу «сухой», т. е. приблизить ее к «огню». А это возможно при отказе от чувственных, плотских земных удовольствий, «увлажняющих» душу.

³⁰ *Парменид* (40-летний возраст его приходится на период ок. 515 до н. э.— согласно Платону, ок. 504 или 501 — согласно Аполлодору) — древнегреческий философ, основатель одной из раннегреческих философских школ — элейской. Он был убежден в том, что истинное знание

дает нам только разум, а на чувствах основываются лишь недостоверные и противоречивые мнения людей.

³¹ Друг и последователь Сократа — Херефонт, прибыв однажды в Дельфы, обратился к оракулу с вопросом: «Кто на свете мудрее Сократа?» Пифия ответила ему, что никого нет мудрее. Узнав об этом, Сократ задумался: «Что хотел сказать Бог и что он подразумевает? Потому что я сам, конечно, нимало не считаю себя мудрым. Что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не лжет же он: не пристало ему это». Описанное событие послужило Сократу поводом для того, чтобы обратиться к «самопознанию»: «Ты, лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города, больше всех прославленного мудростью и могуществом, не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?» Добродетель стала целью его жизни. (Подробнее см.: Платон. Апология Сократа//Соч.: В 3 т. Т. 1.— М., 1968.— С. 87—88.).

³² См.: Платон. Федон//Соч.— Т. 2.— М., 1970.— С. 24.

³³ *Дианоэтическая* — интеллектуальная, мыслительная добродетель. «...одни добродетели мы называем мыслительными (*dianoëtikai*), а другие нравственными (*ethikai*); мудрость, сообразительность и рассудительность — это мыслительные добродетели, а щедрость и благородствие — нравственные» (Аристотель. Никомахова этика//Соч.: В. 4 т. Т. 4.— М., 1984.— С. 77).

³⁴ Здесь: размышления, рассуждения.

³⁵ *Декарт* Рене (латинизир. имя Картезий) (1596—1650) — французский философ, математик, физик и физиолог. Он наделял человеческую душу разумом и отождествлял ее с умом, рассматривая как мыслящую душу, источник которой — Бог. По Декарту, человек в своей жизни должен полагаться на разум. Если же он действует под влиянием побуждений, не проясненных светом разума, разумной души, его ум впадает в заблуждение, что ведет к дурным, греховным поступкам.

³⁶ Здесь имеется в виду раннее произведение Спинозы «*Tractatus de intellectus emendatione*» (1661 г.) — «Трактат об усовершенствовании разума». И. А. Ильин пользовался переводом В. Половцевой, который назывался «Трактат об очищении разума» (М., 1914). Как считает российский философ, профессор МГУ В. В. Соколов, «подобный перевод является безусловно неточным, вольным и даже искажающим название оригинала» (см. примеч. к изданию: Спиноза Б. Избр. произв.— В 2 т.— Т. 1.— М., 1957.— С. 626).

³⁷ *Фрейд* Зигмунд (1856—1939) — австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа — учения о бессознательном в пси-

хике человека. И. А. Ильин, знавший его лично, положительно относился к его открытиям.

³⁸ *Volens aut nolens* (лат.) — волей-неволей.

³⁹ *Домена* (фр. *domaine*) — владение. В современном употреблении — домен.

⁴⁰ *Интенция* (от лат. *intentio* — стремление) — намерение, цель, ориентация. И. А. Ильин употребляет его и в другом значении — сосредоточенное внутреннее напряжение.

⁴¹ *Modus essendi spiritualis* (лат.) — способ духовного бытия.

⁴² *Модус* — отдельная вещь как проявление всеобщей субстанции

⁴³ *Антоний Великий* (ок. 250—356) — основатель христианского монашества, отшельник, жил в Египте. Прославляется Церковью. Мощи его были обреты и в 544 г. помещены в Александрии, впоследствии неоднократно переносились, с конца XV в. покоятся в церкви св. Юлиана в г. Арле (Франция). См. цит. место: *Добротолубие*.— М., 1895.— Т. 1.— С. 64.

⁴⁴ Сократ говорил: «Началось у меня это с детства: возникает какой-то голос (даймоний.— Ю. Л.), который всякий раз отклоняет меня от того, что я бываю намерен делать, а склонять к чему-нибудь никогда не склоняет» (Платон. *Апология Сократа*//Соч.: В 3 т. Т. 1.— М., 1968.— С. 100).

⁴⁵ Леонид (508/507—480 до н. э.) — спартанский царь в 488—480 г. до н. э. В период греко-персидских войн возглавил объединенное войско греческих полисов против персидского царя Ксеркса. Погиб в сражении у Фермопил. И. А. Ильин имеет в виду самую знаменитую из трех фермопильских надписей на могиле царя Леонида, принадлежащих древнегреческому поэту Симониду Кеосскому:

Ὁ ξείν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε
κεῖσθε, τοῖς κείνων ρήμασι λεγόμενοι.

О, чужеземец, поведай лакедемонянам, что здесь вот мертвыми мы полегли, их соблюдая закон.

(Пер. сост.)

⁴⁶ *Primum esse, deinde agere, postremo philosophari* (лат.) — вначале быть, потом действовать, после этого философствовать.

Исследователь творчества И. А. Ильина Н. П. Полторацкий замечает, что эти слова были его философским кредо (см.: Полторацкий Н. Иван Александрович Ильин.— С. 30).

⁴⁷ «По-китайски слово «Тао» означает путь, дорогу...; слово же «Тáo» означает по-китайски слово» (Ильин И. А. *Аксиомы религиозного опыта*.— Т. 1.— Париж, 1953.— С. 275). «Существо Тао — правда и неизменная сила; оно бесконечно, не исчерпаемо ничем, возвышенно, блестяще, беспредельно и вечно» (Там же. С. 256). Сегодня более употребительно написание «дао».

⁴⁸ П л а т о н. Апология Сократа//Соч.— Т. 1.— С. 112.

⁴⁹ В примечании к теореме 29 своей «Этики» Спиноза поясняет суть дела: «Прежде чем идти далее, я хочу изложить здесь или, лучше сказать, напомнить, что мы должны понимать под *natura naturans* (природа порождающая) и *natura naturata* (природа порожденная). Из предыдущего, я полагаю, ясно уже, что под *natura naturans* нам должно понимать то, что существует само в себе и представляется само через себя, иными словами, такие атрибуты субстанции, которые выражают вечную и бесконечную сущность, т. е. ...Бога, поскольку он рассматривается как свободная причина. А под *natura naturata* я понимаю все то, что вытекает из необходимости природы Бога, иными словами, каждого из его атрибутов, т. е. все модусы атрибутов Бога, поскольку они рассматриваются как вещи, которые существуют в Боге, и без Бога не могут ни существовать, ни быть представляемы» (Спиноза Б. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1.— С. 387—388).

⁵⁰ Сам И. А. Ильин поясняет это в другом месте следующим образом: «Тот, кто в голосе совести узнал голос Божий и через него познал, что нравственный поступок есть проявление Божией силы в человеке, тот — не «верит», нет — тот знает с очевидностью видения, что его поступок абсолютно необходим и абсолютно целесообразен в процессе осуществления добра в мире. За видимым, чувственным строем вещей, людей и их столь «важных» и «умных» расчетов, там, дальше, в глубине — сокрыт иной мир (*Fichte. Appellation <an das Publicum>*.— В. V.— S. 205), иной строй, иной порядок дел и отношений. Это есть «моральный миропорядок». Богом руководимый (*Fichte. Appellation.*— В. V.— S. 220; *Rückerinnerungen.*— В.— V.— S. 369), созидаемый и направляемый и прямо противоположный чувственному миропорядку (*Fichte. Appellation.*— В. V.— S. 207)» (Ильин И. Философия Фихте как религия совести//ВФиП.— М., 1914.— № 25.— Кн. 122 (II).— С. 184).

⁵¹ Уход личности в субстанциональную всеобщность — это второй этап гегелевского тринитарного развития духа («субъективный дух», «объективный дух» и «абсолютный дух»), когда личный дух, преодолев свою изолированность, опустился в глубину — «на уровень сверхиндивидуальной, родовой и субстанциональной Всеобщности» (см.: Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека.— Т. 2.— М., 1918.— С. 32) Это есть отождествление личности с другими — семьей, обществом, государством, «ибо эту всеобщую субстанцию и составляют все [индивиды], которые находятся в данном состоянии мира» (Гегель. Феноменология духа//Соч.— Т. IV.— М., 1959.— С. 164). Мотивация такого отождествления излагается Гегелем так: «Слекулятивное или разумное и истинное заключается в единстве

понятия или единстве субъективного и объективного. На данной стадии развития это единство существует с очевидностью. Оно образует субстанцию нравственности — именно семьи, половой любви (здесь это единство имеет форму особенности), любви к отечеству — этого стремления к общим целям и интересам государства, — любви к Богу, а также храбрости, когда последняя выражается в готовности жертвовать жизнью за общее дело, и, наконец, также и чести, если последняя имеет своим содержанием не безразличную единичность индивидуума, но нечто субстанциальное, истинно всеобщее» (Гегель. Философия духа // Соч. — Т. III. — М., 1956. — С. 227).

⁵² Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ-иррационалист, представитель волюнтаризма. Для него одиночество — показатель богатства внутреннего мира человека. Вот одно из его высказываний на этот счет: «Человек может быть в себе целое самим собою, лишь пока он один... Поэтому человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «я». В одиночестве ничтожный человек чувствует свою ничтожность, великий ум — свое величие, словом, каждый видит в себе то, что он есть на самом деле. Далее, чем совершенней создан природой человек, тем неизбежнее, тем полнее он одинок.

...Истинный, глубокий мир и полное спокойствие духа... приобретаются в уединении и становятся постоянными только в совершенном одиночестве. Если при этом собственное «я» человека богато и высоко, то оно наслаждается высшим счастьем, какое можно найти на этом бедном свете.

...Общительность человека приблизительно обратно пропорциональна его интеллектуальной ценности, и сказать «он очень необщителен» — это почти то же самое, что «он — человек высоких достоинств» (Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. — М., 1990. — С. 93, 94, 96).

⁵³ Букв.: переход в другой род (*греч.*).

⁵⁴ *Mutatis mutandis* (*лат.*) — с соответствующими изменениями.

⁵⁵ *Ео ipso* (*лат.*) — тем самым.

⁵⁶ *Экзотерический* (от греч. экзотерикос — внешний) — предназначенный для всех, доступный не только узкой группе посвященных, в отличие от эзотерического — тайного, скрытого, предназначенного только для посвященных.

Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ В ЖИЗНЬ. КНИГА РАЗДУМИЙ

И. А. Ильин выпустил на немецком языке трехтомную серию книг, связанных единым внутренним содержанием и замыслом. В них он попытался ответить на постепенно восходящие от простого к сложному

вопросы, которые ставит жизнь перед каждым из нас. Вот названия этих книг: «Ich schaue ins Leben. Ein Buch der Besinnung» (Я вглядываюсь в жизнь. Книга раздумий), «Das verschollene Herz. Ein Buch stiller Betrachtungen» (Замирающее сердце. Книга тихих созерцаний) и «Blick in die Ferne. Ein Buch der Einsichten und der Hoffnungen» (Взгляд вдаль. Книга размышлений и упований). Автор предполагал опубликовать их на русском языке и назвать несколько иначе: «Огни жизни. Книга утешений», «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» и «О грядущей русской культуре. Книга заданий и надежд». Задуманное философ полностью не осуществил. Он написал по-русски только «Поющее сердце», а также включил некоторые главы из остальных книг этого цикла в другие свои произведения, изданные на русском языке. Поэтому не должно вызывать недоумения повторение некоторых страниц перевода книги «Я вглядываюсь в жизнь», предлагаемого вниманию читателя (например, «Вступление», «О справедливости» и других), в «Поющем сердце».

Первая часть («Ich schaue ins Leben. Ein Buch der Besinnung») знаменитого ильинского триптиха была опубликована в Берлине в 1938 г. Второе издание вышло там же в 1939 г. Помещенный здесь перевод с немецкого осуществлен впервые и выполнен О. В. Колтыпиной в апреле — июне 1992 г. специально для настоящего собрания сочинений. Текстологическая подготовка любезно проведена З. Г. Антипенко.

¹ *Инфернальный* (лат.) — находящийся в аду, происходящий из ада. Здесь: проявляющий дьявольское, сатанинское начало.

² ...*пытка египетская* — точнее, египетская казнь. По преданию, когда Моисей по воле Бога обратился к фараону, царю египетскому, с просьбой «отпустить сынов Израилевых из земли своей» и получил отрицательный ответ, то над Египтом разразилась череда бедствий, которые по своим масштабам были беспримерными в истории и получили название казней египетских. Всего их было десять. (Подробнее см.: Быт. 7, 17—25; 8, 2—14; 8, 16—19; 8, 20—32; 9, 1—7; 9, 8—11; 9, 18—34; 10, 3—19; 10, 21—29; 12, 29—33.) Здесь это выражение употребляется в смысле высшей степени муки, бедствия, бича Божьего.

³ В оригинале редкое немецкое слово *Spiz* — вершина (горы).

⁴ *Плутарх* (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк, автор «Сравнительных жизнеописаний» — труда о выдающихся греках и римлянах (50 биографий).

⁵ *Светоний* Гай Транквилл (ок. 70 — ок. 140) — римский историк и писатель, автор не дошедших до нас произведений энциклопедического характера. Главное его сочинение «О жизни двенадцати цезарей».

⁶ *Аристид* (ок. 540 — ок. 467 до н. э.) — афинский полководец,

политический противник вождя демократической группировки в период греко-персидских войн, афинского полководца Фемистокла.

⁷ «И вот случилось то странное и непонятное, что и по сей день удивляет всех, начиная с верного ученика Сократа — Ксенофонта: власти, считавшие себя демократическими, не выдержали этой добродушной иронии Сократа, и ему был вынесен судебный приговор — такой, какого до тех пор еще никому не выносили в Афинах в случаях отвлеченных идейных разногласий. Было решено его казнить. Но Сократ остался верным своему мировоззрению даже здесь. Хотя негласно ему и была предоставлена полная возможность бежать из тюрьмы и уйти в изгнание, он предпочел претерпеть казнь и выпить предназначенную ему чашу с цикутой. При этом он не уставал прославлять законы своей страны и убежденно выдвигал строгое требование для себя и для всех повиноваться законам своей родины, каковы бы они ни были, до тех пор, пока они не окажутся отмененными. Последними его словами перед смертью, как пишет Платон в своем «Федоне», было обращение к своему ученику Критону с просьбой не забыть принести в жертву Асклепию петуха: таков был обычай после выздоровления. И здесь Сократ высказал ироническое суждение: под выздоровлением он понимал в данном случае свою смерть и уход в иную жизнь» (см. вступ. ст. А. Ф. Лосева «Жизненный и творческий путь Платона» в кн.: Платон. Соч.— Т. 1.— С. 17—18).

⁸ *Вильгельм I Оранский* (1533—1584) — принц, деятель Нидерландской буржуазной революции, лидер антииспанской дворянской оппозиции. Убит испанским агентом.

⁹ *Фридрих II Великий* (1712—1786) — прусский король с 1740 г., полководец. «Он превосходил всех государей Гогенцоллернского дома ясностью ума, силою воли, быстротою решений и действий, равно как стоял несравненно выше всех современных правителей по своим общим государственным дарованиям» (И е г е р О. Новая история: В 4 т. Т. 3.— Спб., 1884.— С. 531).

¹⁰ *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед, правовед. «Если бы не было наилучшего (optimum) мира среди всех возможных миров, то Бог не призвал бы к бытию никакого», — писал он в «Опытах теодицеи о благодати Божией, свободе человека и начале зла» (Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. Т. 4.— М., 1989.— С. 135).

¹¹ Цитату см.: Кант И. Критика практического разума//Соч.: В 6 т. Т. 4 (I).— М., 1965.— С. 413.

¹² «*Вещь в себе*» — философский термин, означающий вещи как они существуют сами по себе, в отличие от того, какими они являются нам в нашем познании. В философии Канта «вещь в себе» — главный

и самый тонкий момент: находясь в основании познаваемых чувственно-ощущаемых и рассудочно-мыслимых предметов и явлений, сама она скрыта, принципиально не познаваема.

¹³ *Эйхендорф* Йозеф (1788—1857) — немецкий писатель-романтик, поэт. Цитату см.: Эйхендорф Й. Волшебная палочка (пер. Нозля Карпа)//Стихотворения.— Л., 1969.— С. 81.

¹⁴ См. ссылку на Лафатера в книге: Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта.— Т. 1.— Париж, 1953.— С. 221.

¹⁵ *Приподнять завесу Изиды* — узнать тайну.

Изида (Исида) — в древнеегипетской мифологии супруга и сестра умирающего и воскресающего бога Осириса, богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания. Изображалась в виде женщины с рогами коровы и закрытым завесой лицом.

¹⁶ *«arbiter elegantiarum»* (лат.) — законодатель изящества.

¹⁷ *Бальнеология* — раздел курортологии, изучающий минеральные воды и их лечебно-профилактическое применение.

¹⁸ *Цирцея* (Кирка) — в греческой мифологии волшебница с острова Эя, обратившая в свиней спутников Одиссея, а его самого удерживавшая на этом острове в течение года; перен.— коварная обольстительница.

¹⁹ *«enfant terrible»* (фр.) — бедовый ребенок, сорванец.

²⁰ См.: Платон. Соч.— Т. 2.— М., 1970.— С. 95—156.

²¹ «Образ мантинеянки Диотимы достаточно загадочен у Платона. Его можно считать чистой фикцией и видеть в имени этой мудрой женщины только символический смысл (мантинеянка — из г. Мантиней; *mantis* — по греч. «пророк», «пророчица», *manticos* — «пророческий»). Мантинея в Аркадии славилась прорицателями; Диотима — «чтимая Зевсом» Не исключена, однако, возможность ее реального существования» (см. коммент А. Ф. Лосева в кн.: Платон. Соч.— Т. 2.— С. 527)

²² См.: Гете. Изречения в прозе.— Спб., 1885.

²³ *Хилиазм* — вера в «тысячелетнее царство» Бога и праведников на земле, предшествующее концу света. Хилиастическое учение, основывающееся на ложно толкуемых словах Апокалипсиса (гл. 20), держалось в христианской церкви со II по V век. В 255 г. хилиазм был осужден христианской церковью. В дальнейшем не раз претерпевал возрождение (учение Иоахима Флорского о царстве Святого Духа и др.). Плебейский хилиазм, характерный для ряда еретических движений позднего средневековья, достиг своей кульминации в учении Т. Мюнцера, вождя Крестьянской войны в Германии (1525), идеолога радикального крестьянско-плебейского крыла Реформации. В новое время хилиазм является составной частью идеологии некоторых религиозных сект.

²⁴ *Пляска святого Вита*, или Витова пляска — болезнь, сопровождаемая непроизвольным судорожным подергиванием мускулов лица или какой-нибудь части тела. Названа по имени св. Вита, от которого ждали исцеления больные истерией во время волны психических заболеваний в Германии в XIV в.

²⁵ *Гоббс* Томас (1588—1679) — английский философ, создатель первой законченной системы механистического материализма. В труде «Левиафан» (1651) он изложил свои взгляды на человека, общество и государство. Гоббс не считал человека стадным существом по природному инстинкту, но естественное состояние людей он представлял в виде «войны всех против всех».

²⁶ *Лютер* Мартин (1483—1546) — видный деятель Реформации в Германии, вождь ее умеренного крыла, основоположник лютеранства — одного из направлений протестантизма.

«На том стою и не могу иначе! Да поможет мне Бог! Амины!» — слова, произнесенные Лютером в ответ на предложение Вормского рейхстага (1521 г.) отречься от «ереси».

²⁷ См.: Фрагменты ранних греческих философов.— Ч. I.— М., 1989.— С. 196.

²⁸ По Аристотелю, «раб от природы тот, кто причастен разуму лишь настолько, чтобы понимать чужие мысли, но не настолько, чтобы иметь свои» (Аристотель. Политика//Соч.: В 4 т. Т. 4.— М., 1984.— С. 383).

²⁹ Для И. А. Ильина «право на глупость» было не «красным словом», а принципиальной, глубокой интуицией — способностью непосредственного постижения истины. Он считал, что в абсолютной глупости дремлет мудрый совет, который приходит к нам задним числом. Вот отрывок из его письма, датированного 5 июня 1917 года: «Я был при старом режиме буржуазным радикалом и федералистом-демократом (прибл.) вне партий. Я и сейчас вне партий (не могу отказаться от драгоценного права на глупость!)» (ЦГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 130, л. 66 об.). Позже в парижской газете «Возрождение» (№ 736, 8 июня 1927 г.) он опубликовал замечательную статью «Право на глупость».

³⁰ *Кобольд* — в германской мифологии нечистый дух, вроде русского домового.

³¹ «Тао» есть имманентный всему сущему ритм божественной жизни, т. е. как бы путь Бога, в который человек призван включиться верным блюдением Его закона в личной и общественной жизни (нравственной, правосознание, правопорядок). «Тао» есть воля неба и верный «метод» («путе-шествие») человека» (Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта.— Т. 1.— С. 131).

³² ...за что стоило бы жить, бороться и умереть — это девиз

И. А. Ильина. Впервые он встречается в его работе «Духовный смысл войны» (М., 1915). Здесь см. также с. 55, 60, 224, 262, 301, 339—340, 354, 543.

³³ *Орел* — символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия, один из наиболее распространенных обожествляемых символов богов и их посланец в мифологиях различных народов мира. В библейской мифологии орел — воплощение божественной любви и возвышенности, силы и мощи, юности и бодрости духа.

³⁴ *Бёме* Якоб (1575—1624) — немецкий философ-мистик. См.: Бёме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении.— М., 1990.— С. 245—405.

³⁵ *Новалис* (Фридрих фон Харденберг) (1772—1801) — немецкий поэт и философ. Среди прочих высказал идею о всеобщем символизме природы.

³⁶ *Изегрим* — волк, персонаж поэмы Гете «Рейнике-лис».

³⁷ Слова Мартина Лютера (см.: коммент. 26 к данной работе).

³⁸ Ср.: «Очевидность же есть именно не что иное, как «переживание истины» (Гуссерль Э. Логические исследования.— С. 164).

³⁹ См.: Лейбниц Г. В. Соч.— Т. 3.— М., 1984.— С. 65.

ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ. КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ

Впервые книга опубликована на немецком языке под названием «Das verschollene Herz. Buch der stille Besindungen» в Берне в 1943 г. Вариант на русском был подготовлен самим автором и издан его вдовой Н. Н. Ильиной в Мюнхене в 1958 г.

Печатается по тексту указанного издания.

¹ Гоголь Н. В. Мертвые души//Собр. соч.: В 7 т. Т. 5.— М., 1967.— С. 23.

² Ср.: «Точность и краткость — первые достоинства прозы» (Пушкин А. С. О прозе//Полн. собр. соч.— Т. 7.— Л., 1978.— С. 12).

³ Лермонтов М. Ю. Герой нашего времени//Собр. соч.: В 4 т. Т. 4.— М., 1976.— С. 126.

⁴ По поводу «черного луча» любопытен следующий отрывок из письма И. А. Ильина к П. Б. Струве от 3 ноября 1922 г. из Берлина, фактически через месяц после высылки философа из Советской России: «Если Вы думаете, что там у нас был духовный застой — то Вы глубоко ошибаетесь. Нет, там была огромная адская кузница духа; молот сатаны отбирал драгоценные камни от шлака, и уцелевшие под его ударами получали новый луч — черный, в своем первоначальном белом сверкании. Без этого черного луча — все души бессильны бороться с сатаной» (ЦГАРФ, ф. 5912, оп. 1. ед. хр. 60, л. 17 об., 18).

⁵ Преп. Серафим, принимая к себе людей для духовной беседы, встречал каждого словами: «радость моя». Это приветствие служило также обычным обращением о. Серафима к инокам Саровской обители, своим духовным чадам и вообще ко всем приходившим к нему. Вот один из примеров такого обращения: «...Радость моя! молю тебя стяжи мирный дух, и тогда тысячи душ спасутся около тебя» (Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустыножителя и затворника.— Муром, 1893.— С. 71. См. также с. 123, 162, 188).

⁶ ...и даже врата адавы ей не препятствие — ср.: «врата ада не одолеют ее» (Мтф. 16, 18).

⁷ ...как высоко над нами все ликует... во всей вселенной — ср.: «Когда мы искренно каемся во грехах наших и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется нам, учреждая праздник, и созывает на него любезные Ему Силы, показывая им драхму, которую Он обрел паки, т. е. царский образ Свой и подобие...» (Житие старца Серафима, Саровской обители иеромонаха, пустыножителя и затворника.— С. 299).

⁸ См.: Мтф. 27, 24.

⁹ Отличие этих «медитаций» от православных молитв на примере восточных религий отмечено иеромонахом Серафимом Роузом: «Вся сила, дарованная тем, кто применяет на практике восточные религии, берет начало в том же феномене медиумизма, главной характеристикой которого является пассивность перед «духовной» реальностью, которая дает возможность человеку войти в контакт с «богами» нехристианских религий. Этот феномен можно наблюдать в восточной «медитации» даже тогда, когда ее называют «христианской» (Роуз С. Святое православие. XX век.— М., 1992.— С. 121).

¹⁰ Симеон Столпник (356—459) — христианский аскет. Родился недалеко от Антиохии в Сирии в бедной семье. В юности пас стада, затем ушел в монастырь. Положил начало новому виду подвижничества: поставил столб в 6 локтей высотой (приблизительно три метра) и, взойдя на него, постоянно пребывал в поспе. Впоследствии он все более и более увеличивал высоту столба (до 40 локтей) и простоял на нем около 47 лет. По преданию, умертвив «воздержанием и труды страсти», Симеон силою обитавшей в нем благодати Божией исцелял болезни и предвидел будущее.

«Одинокая молитва» — это образное выражение И. А. Ильина.

¹¹ См.: Быт. 18, 23—33.

¹² Эринии — в греческой мифологии богини мести.

¹³ Вероятно, И. А. Ильин имеет в виду стихотворение М. Ю. Лермонтова «Тучи».

¹⁴ Возможно, И. А. Ильин считал, что наблюдение за простым пау-

ком привело Спинозу к созданию учения о единой субстанции (т. е. о том, что лежит в основе всего), которая для него являлась Богом, или природой.

¹⁵ *Диоген Синопский* (ок. 404 — ок. 323 до н. э.) — древнегреческий философ. Практиковал крайний аскетизм. Современники называли его «сумасшедшим Сократом». По преданию, жил в бочке, подчеркивая этим ненужность удобного жилища, а на вопрос Александра Македонского, чего бы хотел Диоген от него, ответил: «Отойди, не загораживай мне солнца».

¹⁶ Эту цитату в известных источниках найти не удалось. Надо заметить, что И. А. Ильин в литературных приложениях к «Аксиомам религиозного опыта», где он дает аутентичные данные используемой им литературы, именно эту цитату Антония Великого приводит без указания источника (см.: Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. — Т. 2. — С. 222).

¹⁷ См.: Пушкин А. С. Дар напрасный, дар случайный//Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 3. — Л., 1977. — С. 59.

¹⁸ См.: Платон. Государство//Собр. соч.: В 3 т. Т. 3 (I). — М., 1971. — С. 321—325.

¹⁹ *Беркли Джордж* (1685—1753) — английский философ. Отвергал бытие материи как субстанции (основы всего) и признавал истинным существование только духовного бытия.

²⁰ *Мельгунов Юлий Николаевич* (1846—1893) — русский фольклорист, пианист. Его сборники — первый опыт воспроизведения многоголосной фактуры русских народных песен.

²¹ *Лермонтов М. Ю.* Дума//Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. — М., 1975. — С. 46.

²² *Андрей Юродивый* (Тотемский) (1638—1693) — русский святой, праведник. Родился под Вологдой в селении Усть-Тотемское. По смерти родителей ушел в г. Галич, где обрел приют у одного из иноков монастыря Воскресения Христова. Наставником его стал игумен обители Стефан. Каждое лето ходил по окрестным городам для поклонения святыням. После кончины Стефана перебрался в г. Тотму, поселившись у церкви Воскресения Христова. Здесь он и прожил остаток жизни, днем юродствуя, а ночи проводя в молитве. Канонизирован Русской православной церковью.

²³ *Феофан Затворник* (в миру Говоров Георгий Васильевич) (1815—1894) — русский епископ, богослов, проповедник, с 1872 г. жил в затворе. Эти слова Феофана Затворника не найдены. Указание И. А. Ильиным в «Аксиомах религиозного опыта» (Т. 1. С. 261) страницы 8 книги Феофана (выражения «нетленное тщение» и «собранный должен гореть») неверно: первое выражение там есть, а второго нет.

²⁴ *Иоанн Кассиан Римлянин* (?—435) — святой христианской церкви. Родился в Южной Галлии, около Марсея, в знатной и богатой семье, получил хорошее образование. В Константинополе был рукоположен в дьяконы св. Иоанном Златоустом. Затем жил в Риме. Прославился подвижнической жизнью по египетским образцам и мудростью. Св. Кассиан оставил после себя собрание житий святых, правила иночества и сочинение, направленное против константинопольского патриарха Нестория, утверждавшего, что Иисус Христос, будучи рожден человеком, лишь впоследствии стал сыном Божиим (мессией). В Русской православной церкви почитается как святой Касьян.

См. цитату в «Добролюбии» (Т. 2.— М., 1895.— С. 133).

²⁵ *Фехнер* Густав Теодор (1801—1887) — немецкий физик, психолог, философ, писатель-сатирик.

²⁶ *Сегантини* Джованни (1858—1899) — итальянский живописец, представитель неимпрессионизма. Одна из тем его картин — альпийские горные пейзажи.

²⁷ Молитва нищего огородника Пизонского, записанная Н. С. Лесковым. См.: Лесков Н. С. Самаряне//Полн. собр. соч.— Т. 1.— М., 1902.— С. 100.

²⁸ Автор этой молитвы — И. А. Ильин. По словам профессора Н. П. Полторацкого, это «молитва служения и одоления, которая всегда может иметь судьбоносное значение в путях и страданиях личной жизни» (Полторацкий Н. П. Россия и революция. Русская религиозно-философская и национально-политическая мысль.— С. 289). Ср. также: Ильин И. А. Молитва перед решением//День Русского Ребенка.— № 7.— 1940.— С. 46—47; Московский журнал.— № 11.— М., 1993.

Бёме не чех. Такие фамилии, как Бёме и Бём, широко распространены в Германии и образованы от названия чешской земли Богемии. В частности, Бём (нем. Böhm — чех) характерна для евреев-ашкенази.

³⁰ Ср.: «И если тебе будет угодно привести знаменитое речение «Имеющий уши слышать да слышит» (Мтф. 11, 15; Лук. 8, 8; 14, 35 и т. д.), то обнаружишь его у Эфеста (Гераклита.— Ю. Л.) в следующем виде: те, кто слышали, но не поняли, глухим подобны: присутствуя, отсутствуют — говорит о них пословица» (Климент Александрийский. Строматы. V, 115, 3).

³¹ Пушкин А. С. Пророк//Полн. собр. соч.— Т. 2.— С. 304.

³² *Илличевский* Алексей Дамнанович (1798—1837) — русский поэт. Учился в лицее с А. С. Пушкиным. После окончания лицея служил чиновником. В 1827 г издал сборник стихотворений «Опыты в антологическом роде».

³³ Имеются в виду строки из оды Г. Р. Державина «Бог»: Я царь —

я раб — я червь — я Бог!//Но, будучи я столь чудесен, //Отколе пришел? — безвестен; //А сам собой я быть не мог (Державин Г. Р. Стихотворения. — М., 1958).

³⁴ Т. е. монашескому подвигу, подвижничеству; другие употребления этого термина объяснены И. А. Ильиным на с. 439.

³⁵ *Лемуры* (ларвы) — в римской мифологии вредоносные духи, призраки мертвецов, похороненных без соблюдения должного ритуала, бродящие по ночам и насылающие на людей безумие.

³⁶ «Ничто великое в мире не совершалось без страсти» (Гегель. Философия истории//Соч. — Т. VIII. — М.; Л., 1935. — С. 23).

³⁷ «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую?» (Мтф. 5, 13).

³⁸ Вольная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Родрик». Ср.: «Отрешишь волов от плуга//На последней борозде» (Полн. собр. соч. — Т. 3. — С. 427).

³⁹ Сочинение Протагора «Истина» начинается со слов: «Мера всех вещей — человек...»

⁴⁰ Ср.: Псал. 103, 2: «Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер».

⁴¹ Ср.: Псал. 90, 13: «На аспида и василиска наступишь».

Аспид — род ядовитого змея; в богослужебных книгах под ним подразумевается дьявол. *Василиск* — сказочное чудовище с головой петуха, туловищем жабы, хвостом змеи, устрашающее всех своим свистом и опаляющее дыханием.

⁴² «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов» (Лук. 10, 19).

⁴³ См.: Платон. Апология Сократа//Собр. соч. — Т. 1. — С. 112.

⁴⁴ *Филолай* из Кротона (р. ок. 470 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель пифагорейской школы

ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ

Это одна из последних работ И. А. Ильина, подготовленная для печати самим автором, но опубликованная в Мюнхене в 1957 г. уже после смерти философа. В нее вошли главы из его книги «Blick in die Ferne. Ein Buch der Einsichten und Hoffnungen» («Взгляд вдаль. Книга размышлений и упований»), ранее изданной на немецком языке (предполагавшийся русский вариант — «О грядущей русской культуре. Книга заданий и надежд»), а также часть статей из газетных публикаций и три бюллетеня из «Наших задач». Вместе взятые, они посвящены «акту очевидности» — философскому понятию, введенному самим Ильиным, который уделил ему немало страниц своего обширного наследия. Ставя это произведение в конце третьего тома и нарушая при этом хронологический прин-

цип, положенный в его основу, мы преследовали цель по возможности полно воспроизвести упомянутый ранее его триптих. Печатается по тексту мюнхенского издания.

¹ *Франциск Ассизский* (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, автор ряда религиозно-поэтических произведений, канонизирован католической церковью. Основал религиозное братство близ г. Ассизи. Проповедовал аскетизм, заботу о душе, идеалы подвижничества раннего христианства, занимался благотворительностью, призывал к отказу от собственности. После смерти Франциска Ассизского братство превратилось в официальный католический орден францисканцев, отрешившийся от основных идей подвижника.

² *Экхарт Иоганн* (Майстер Экхарт) (ок. 1260—1327) — монах-доминиканец, представитель немецкой средневековой мистики. В учении об Абсолюте выделял бесосновное божественное «ничто» как основу Бога и всего бытия. Согласно Экхарту, человек способен познавать Бога потому, что имеет в душе божественную «искорку». Отрешаясь от своего «я» и соединяясь с божественным «ничто», человеческая душа становится орудием вечного порождения Богом самого себя. В 1329 г. папской буллой многие тезисы учения Экхарта объявлены еретическими.

³ *Карлейль Томас* (1795—1881) — английский философ, историк, писатель. Согласно Карлейлю, в мире существует трансцендентная реальность природы и общества (Бог), которая скрыта от нас символическими покрывалами-эмблемами, т. е. данными наших чувств. Именно они делают недоступным для человека божественный строй мироздания. Философия призвана разгадать по символам-эмблемам присутствие божественного духа в видимых формах являющегося нам мира. Карлейль резко критиковал англиканскую церковь и буржуазные духовные ценности.

⁴ См. коммент. 25 к работе «Я вглядываюсь в жизнь».

⁵ Слова из стихотворения А. С. Пушкина «Еще одной высокой важной песни...» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— Т. 3.— С. 150)

⁶ «*In magnis et voluisse — sat est*». (лат.) — «В великом и желать уже достаточно». Высказывание принадлежит римскому поэту Сексту Проперцию (ок. 50—ок. 15 до н. э.). Позже стало знаменитой латинской поговоркой.

⁷ См.: Платон. Собр. соч.— Т. 2.— С. 34—42.

⁸ *Квинтилиан* (ок. 35 — ок. 96) — римский оратор и теоретик ораторского искусства. Его трактат «Об образовании оратора» — самый подробный сохранившийся труд по античной риторике с экскурсом в историю греческой и римской литературы.

⁹ Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума».

В оригинале — «Когда огонь кипит в крови» (Лермонтов М. Ю. Собр. соч.— Т. 1.— М., 1975.— С. 46).

¹⁰ *Василий Великий* (Кесарийский) (ок. 330—379) — архиепископ, теолог, философ-платоник. Родился в Кесарии Каппадокийской. В юношеском возрасте много путешествовал. В Афинах встретился с епископом г. Назианзы — поэтом, прозаиком и мыслителем Григорием Болословом и подружился с ним на всю жизнь. Здесь он изучал грамматику, риторику, астрологию, математику, философию и медицину. В 364 г. был посвящен в пресвитеры, а в 370 г. поставлен епископом. За заслуги перед Церковью и необыкновенную высоконравственную и подвижническую жизнь Василий Кесарийский канонизирован, назван «великим», «славой и красотой Церкви». Из его сочинений известен «Шестоднев», в котором изложены принципы христианской космологии. Знаменита и его литургия. И. А. Ильин очень часто цитирует Василия Великого.

¹¹ Закон достаточного основания (лат. *principium sive lex rationis sufficientis*) — принцип логики, выражающий обоснованный (доказанный) характер суждений, входящих в состав человеческого знания. Для Аристотеля это была «наука об определенных причинах и началах» (см.: Аристотель. *Метафизика*. I.— 1982 а 3//Соч.: В 4 т. Т. 1.— М., 1975.— С. 67), для Канта — один из первых принципов метафизического познания (см. его работу: *Новое освещение первых принципов метафизического познания*//Кант И. Соч.: В. 6 т. Т. 1.— М., 1964.— С. 265—314). Особое значение закону достаточного основания придал Шопенгауэр в своей диссертации 1813 г. «О четверократном корне достаточного основания», указывая на 4 вида данного закона. Ильин употребляет здесь этот известный философский термин в смысле «знающей веры».

¹² *Аугустический* (от греч. *аутос* — сам) — погруженный в мир личных переживаний, отстраненный от внешнего мира.

¹³ *Цевница* — русский и украинский музыкальный инструмент типа многоствольной флейты.

¹⁴ Имеется в виду Лао-цзы — древнекитайский мудрец, легендарный основоположник даосизма — религиозно-философского течения в Китае.

¹⁵ См.: Толстой А. К. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Т. 1.— Л., 1984.— С. 71—72.

¹⁶ «*la moëlle du lion*» (фр.) — сущность льва (букв.— спинной мозг льва).

¹⁷ Из стихотворения «Я потрясен, когда кругом...». См.: Фет А. А. Полн. собр. стихотворений.— Л., 1959.— С. 113.

¹⁸ Точные слова Гераклита: «Многознание уму не научает». См.: *Фрагменты ранних греческих философов*.— Ч 1.— М., 1989.— С. 195.

¹⁹ См.: Письмо А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому от 14 октября 1823 г. // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. 10. — Л., 1979. — С. 54. Восклицательный знак поставлен И. А. Ильиным.

²⁰ Неточная цитата из поэмы «Полтава». В оригинале «Бой барабанный, клики, скрежет...». См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. 4. — Л., 1977. — С. 215.

²¹ Из стихотворения «Арион». См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. — Т. 3. — Л., 1977. — С. 15.

²² *Экзегеза* (от греч. экзегесис — толкование) — толкование неясных мест в древних, в том числе религиозных, текстах.

²³ *Имаго* (лат.) — образ, подобие.

²⁴ *Кнейп* Себастьян (1821—?) — немецкий католический священник. Будучи больным, прибег к водолечению. С течением времени выработал собственную систему оздоровления с помощью воды и водных процедур, которую широко применял при лечении и профилактике многих заболеваний обращавшихся к нему людей.

²⁵ *Гераклид Понтийский* (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ, ученик Платона, принадлежал к Древней платоновской академии.

²⁶ *Сфорца* Галеаццо Мария — тиран Милана из династии миланских герцогов, захвативших силой власть в городе и управлявших им с 1450 по 1535 г. Сам он властвовал в 1466—1476 гг. Возбудил к себе всеобщую ненависть и был убит сторонниками республики.

Ферранте Арагонский — видимо, речь о Фернандо, представителе Арагонской королевской династии, находившейся у власти на Сицилии. Его правление пришлось на 1458—1494 гг. и сопровождалось беспрецедентными междоусобными войнами, доведшими остров до хозяйственного разорения.

Висконти Филиппо Мария — представитель знатного рода ломбардских феодалов, тиранов Милана в 1277—1447 гг. Он правил в 1412—1447 гг., ведя многочисленные войны с Флоренцией и Венецией за установление власти над северными итальянскими территориями.

Сигизмунд Малатеста — вероятно, имеется в виду Сиджизмондо ди Пандольфо, один из отпрысков знатного феодального рода Малатеста, властитель г. Римини (середина XV в.), хорошо образованный, но беспринципный по натуре человек, служивший в качестве наемника у папы римского, Альфонса — короля Неаполитанского, герцогов Сфорца, а также в войсках Венеции, Флоренции и Сиены.

Д'Ангвиллари Эверсо (Абверсо) (конец XIV—1464) — малоизвестный итальянский политический деятель, участник междоусобной борьбы правителей отдельных земель и городов за власть.

²⁷ *Джемс* (Джеймс) Уильям (1842—1910) — американский философ

и психолог, один из основателей прагматизма. См. его книгу «Многообразии религиозного опыта» (М., 1910).

²⁸ *Анаксимандр* (ок. 610 — после 547 до н. э.) — древнегреческий философ, автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе». Ввел понятие «архэ» — первоначала всех вещей, каковым считал апейрон — бесконечное, бесформенное, бескачественное перво-вещество.

²⁹ «Блаженны нищие духом...» (Мтф. 5, 3).

³⁰ *Марк Отшельник* (Марк Подвижник) (IV — нач. V в.) — христианский аскет, один из египетских отцов Церкви. Автор богословских книг.

³¹ *Ефрем Сирин* (IV — нач. V в.) — христианский богослов. Родился в Месопотамии, в г. Низибии. Вел подвижническую жизнь. Оставил после себя много богословских, истолковательных, обличительных и нравственно-наставительных трудов.

³² *Галилей Галилео* (1564—1642) — итальянский ученый, один из основателей точного естествознания. Боролся против схоластики, считал основой познания опыт. Активно защищал гелиоцентрическую систему мира Николая Коперника, за что был подвергнут суду инквизиции (1633), вынудившей его публично отречься от своих взглядов. Конец жизни провел в ссылке.

³³ *Ванини Джулио Чезаре* (1585—1619) — итальянский священник, философ, находился под сильным влиянием учения Джордано Бруно. За свои взгляды был обвинен в ереси и атеизме и сожжен по приговору инквизиции.

³⁴ *Спор об «антиподах»* — имеется в виду начавшийся еще в античности и продолжавшийся вплоть до начала XVI в. спор о возможности существования обитателей (антиподов) на диаметрально противоположной стороне земли. Древние отрицали такую возможность. Исторически спор определялся утверждением в умах идеи шарообразности Земли и познанием природы земного тяготения и после географических открытий конца XV в. и кругосветного путешествия Магеллана (1519—1521) сам собой прекратился.

³⁵ «*vir obscurus*» (лат.) — темный человек.

³⁶ *Дюбуа-Реймон* Эмиль Генрих (1818—1896) — немецкий физиолог и философ, основоположник электрофизиологии.

³⁷ *Эlaborаты* — здесь: продукты, данные исследований.

³⁸ *Интенциональное внимание* — здесь: концентрированное, направленное на определенный предмет.

³⁹ *Парцеллирует* — здесь: разделяет на части, дробит.

⁴⁰ «*L'homme qui rit*» (фр.) — «Человек, который смеется». Название романа В. Гюго.

⁴¹ *Макарий Египетский* (Великий) (301—391) — христианский подвижник, аскет. В молодости был пастухом. В тридцать лет поселился в уединении в отдаленной пустыни в Египте, посвятив себя молитвам Богу. Слава о его праведности распространилась очень широко, привлекая к нему массу народа. Был рукоположен в пресвитеры. Оставил после себя сочинения нравоучительного характера.

⁴² *Исаак Сирианин* (Ниневийский) (? — конец VII в.) — сирийский аскетико-моралистический писатель. Его произведения посвящены вопросам мистического самоуглубления и борьбы со страстями.

СОДЕРЖАНИЕ

ШЛЕЙЕРМАХЕР И ЕГО «РЕЧИ О РЕЛИГИИ»	5
РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ФИЛОСОФИИ. ТРИ РЕЧИ.	
1914—1923	15
I. Философия как духовное делание	17
II. Философия и жизнь .	36
III. О возрождении философского опыта	59
Я ВГЛЯДЫВАЮСЬ В ЖИЗНЬ. КНИГА РАЗДУМИЙ	89
Вступление. Искусство чтения	91
I. Тяготы жизни	93
1. Скука (Из письма)	93
2. Бессонница	94
3. Забота	97
4. Будни	99
5. Неудача	100
6. Плохое настроение	102
7. Болезнь	104
8. Бедность	106
II. Жалобы	108
9. Рюкзак	108
10. Книжный шкаф	110
11. Обиженные	111
12. Одаренный	113
13. Неполноценный	115
14. Красивая женщина	116
15. Некрасивая женщина	118
16. Шум	120
III. Сведение некоторых счетов	122
17. Любопытство	122
18. Ненависть .	123
19. Продажность	125
20. Карьерист	127

21. Сноб	129
22. Мужское общество	131
IV Опасности .	133
23. Материалист	133
24. Безбожие	135
25. Зависть	137
26. Самомнение	139
27. Коллективная мечта	140
28. Гражданская война	142
29. Бесчестие	145
30. Несправедливость	147
31. Оторванность от корней	149
V Проблемы характера	152
32. Улыбка	152
33. Легкомыслие	154
34. Словоохотливый	156
35. Молчаливый	157
36. Хитрец	159
37. Умный	161
38. Одиночество	163
VI. Об искусстве жизни	164
39. Подарок .	164
40. Светская болтовня	166
41. Опоздание	167
42. Право на глупость	169
43. Порицание	170
44. Искусство похвалы	172
45. Противник	174
46. Искусство спора	175
47. Такт	177
48. Юмор	178
VII. Наставления .	180
49. Деловитость	180
50. Ответственность	181
51. Нет и Да	184
52. Верность	185
53. Мечь	187
54. Прощение	189
55. Путешествие .	190
56. Истинная любовь	192
57. Счастье	194
VIII. Дифирамбы	196

58. Слеза	196
59. Любовь	198
60. Гроза	199
61. Снег .	201
62. Цветок	202
63. Корова	204
64. Радуга	205
65. Осень	207
IX. Дорога к свету .	209
66. Очки	209
67. Солнечный луч	211
68. Главное	213
69. Без святыни	215
70. Что я думаю...	216
71. Убеждение	218
72. Кто я есть	220
73. Очевидность	222
Послесловие. Утешение	224
ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ. КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ	227
Предисловие. О чтении	229
I. Первые лучи . . .	232
1. Без любви (из письма к сыну)	232
2. О справедливости	235
3. Его ненависть	240
4. Моя вина	245
5. О дружбе	249
II. Школа жизни	254
6. Мыльный пузырь	254
7. Облака	258
8. О лишениях	260
9. О здоровье	264
10. Мировая пыль	269
11. О щедрости .	274
12. Ранним утром	278
13. О возрасте	282
III. Дар молитвы .	287
14. О духовной слепоте	287
15. Горное озеро	293
16. Возвращение	296
17. О молитве	300

18. О мировой скорби	306
19. Горы	311
IV Посещение	315
20. Созерцающий поэт	315
21. Огонь	318
22. У моря	323
23. О страдании	327
24. О смерти (письмо первое)	336
25. О бессмертии (письмо второе)	341
V У врат	348
26. О Божией ткани	348
27. Рождественское письмо	350
28. Потерянный день	353
29. О терпении	355
30. О совести	361
31. Что есть оптимизм?	366
32. Об искренности	369
Послесловие. Поющее сердце	375
ПУТЬ К ОЧЕВИДНОСТИ	381
Предисловие. О новом человеке	383
<i>Часть первая</i>	386
1. Бессердечная культура. Из переписки двух ученых	386
2. Обреченный путь	392
3. О чувстве ответственности	398
4. О духовности инстинкта	407
5. Спасение в зельности	416
<i>Часть вторая</i>	424
6. Хвала труду	424
7. О творческом человеке	431
8. О силе суждения	437
9. О художественном совершенстве	448
10. Борьба за академию	462
11. О пастырском призвании	469
12. О призвании врача	474
13. О политическом успехе (Забываемые аксиомы)	483
14. Что есть философия?	496
<i>Часть третья</i>	506
15. О свободе	506
16. О доброте	510
17. О смирении	516
18. Потерянная тайна	524